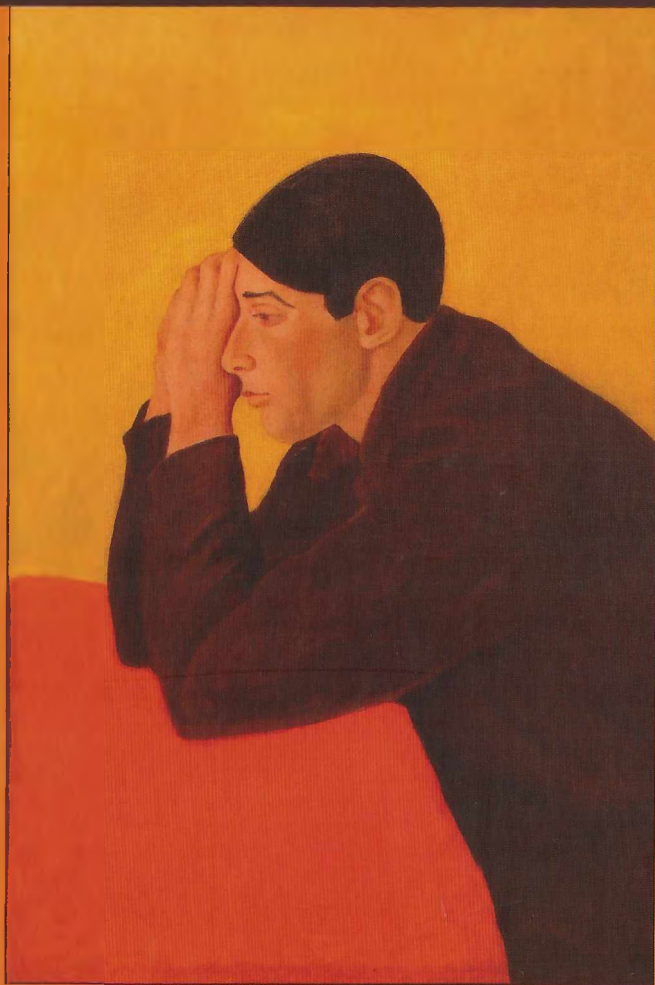


Лев Ельницкий

Три круга воспоминаний



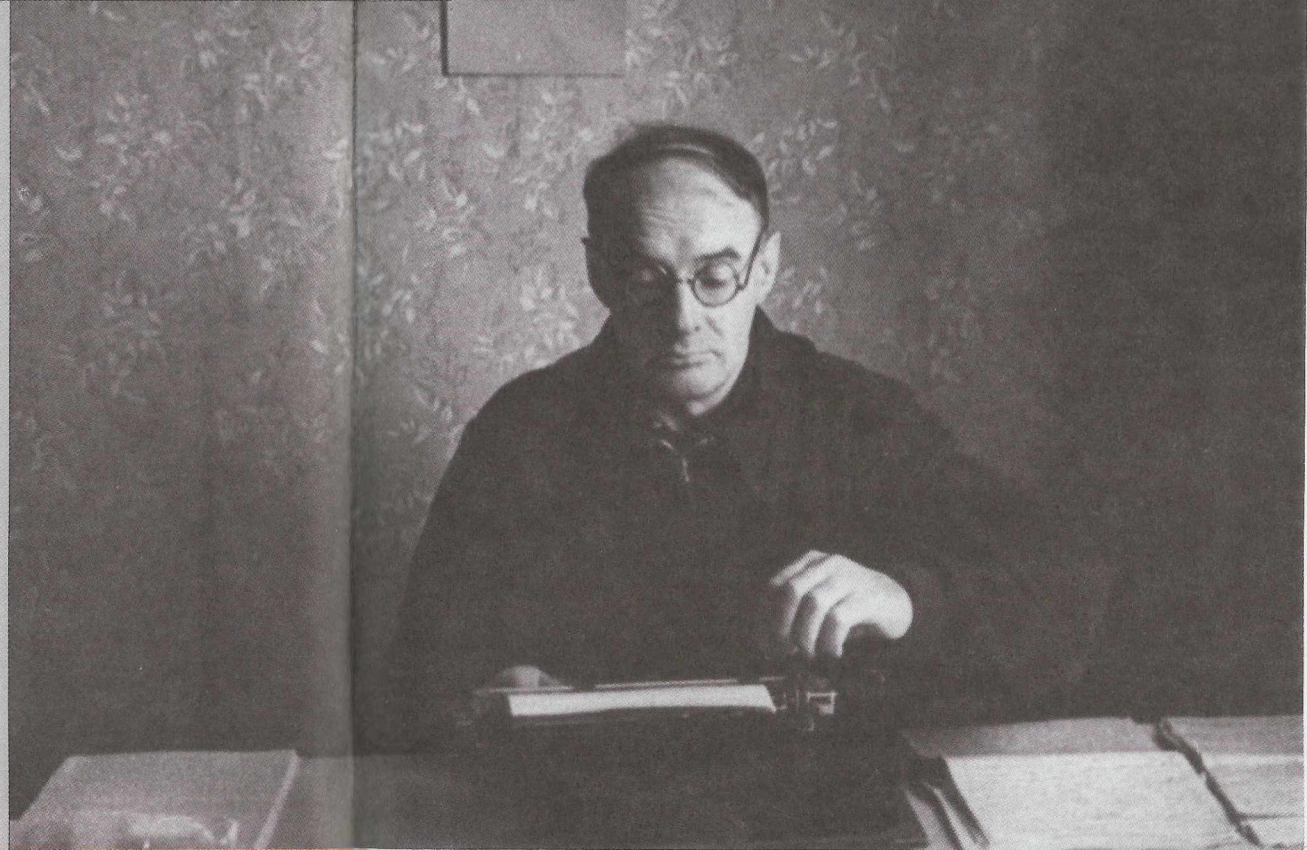
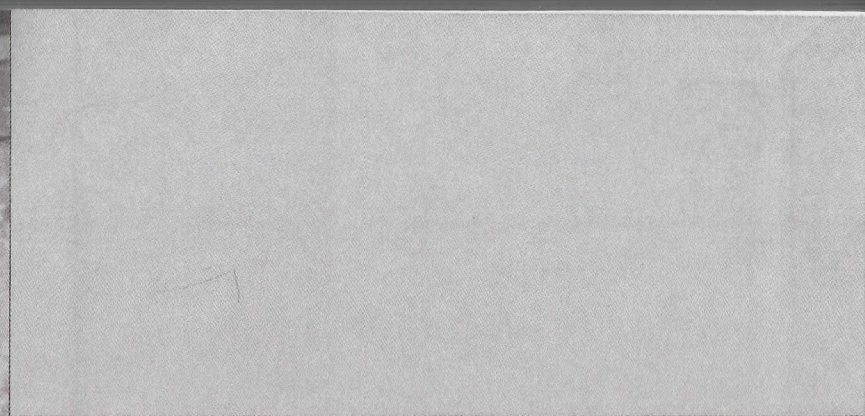
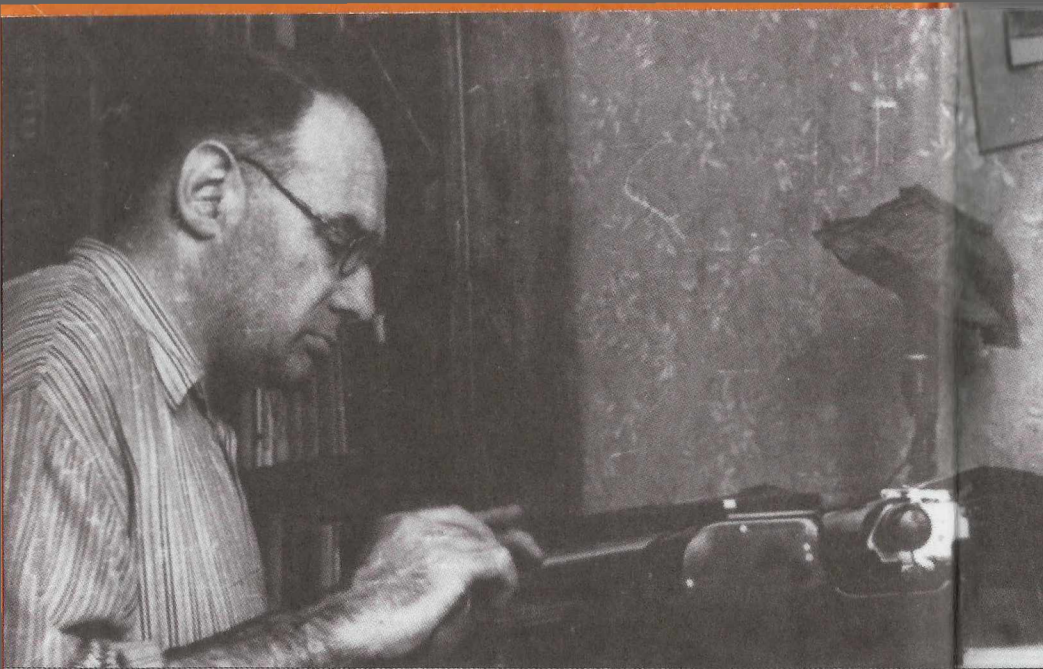
ВОЙНА И ПЛЕН

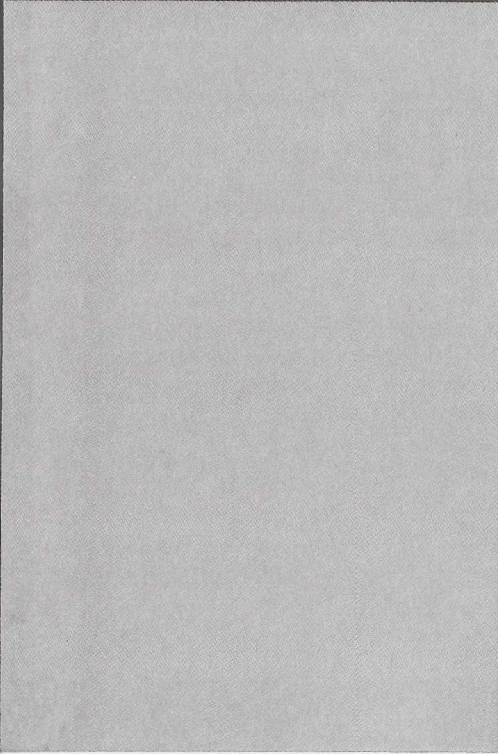
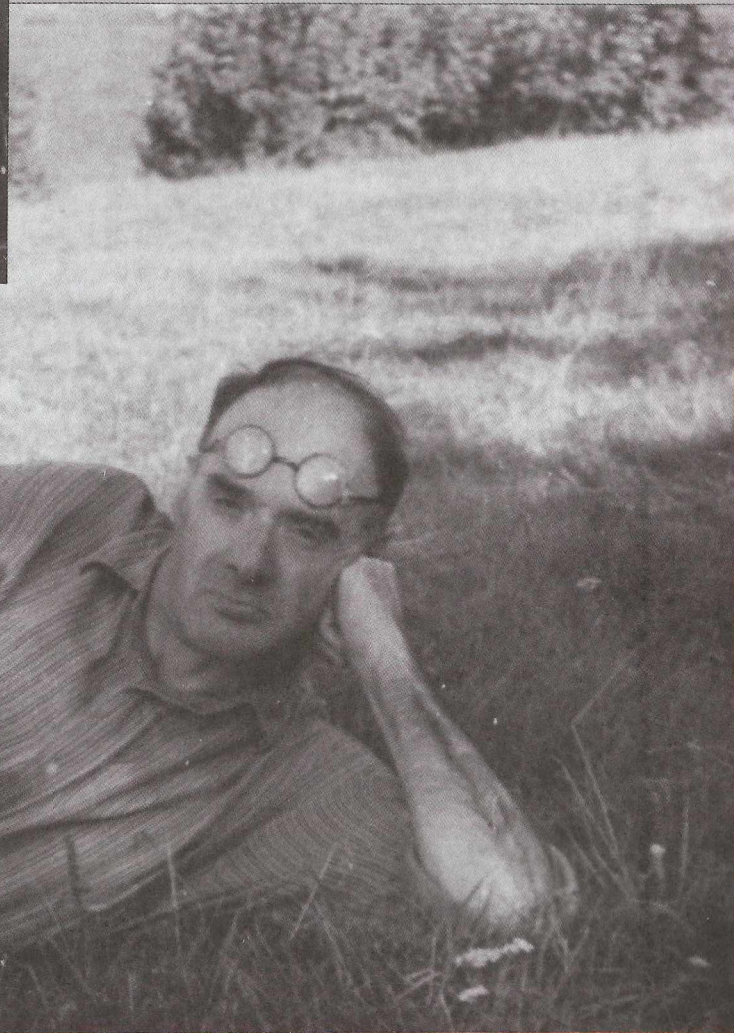
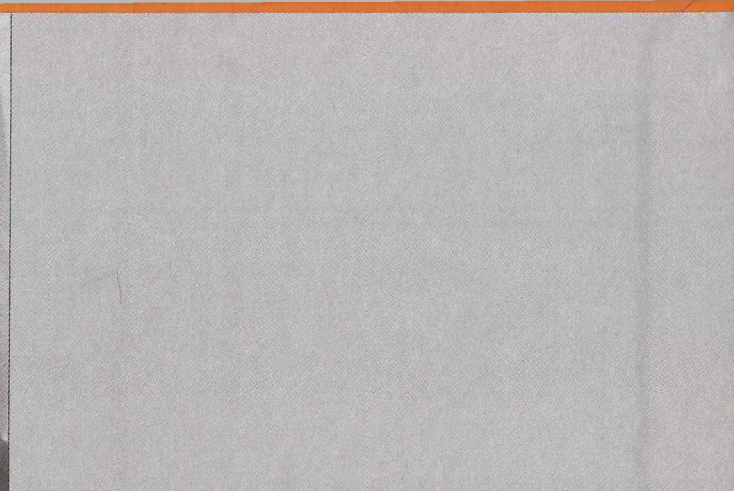
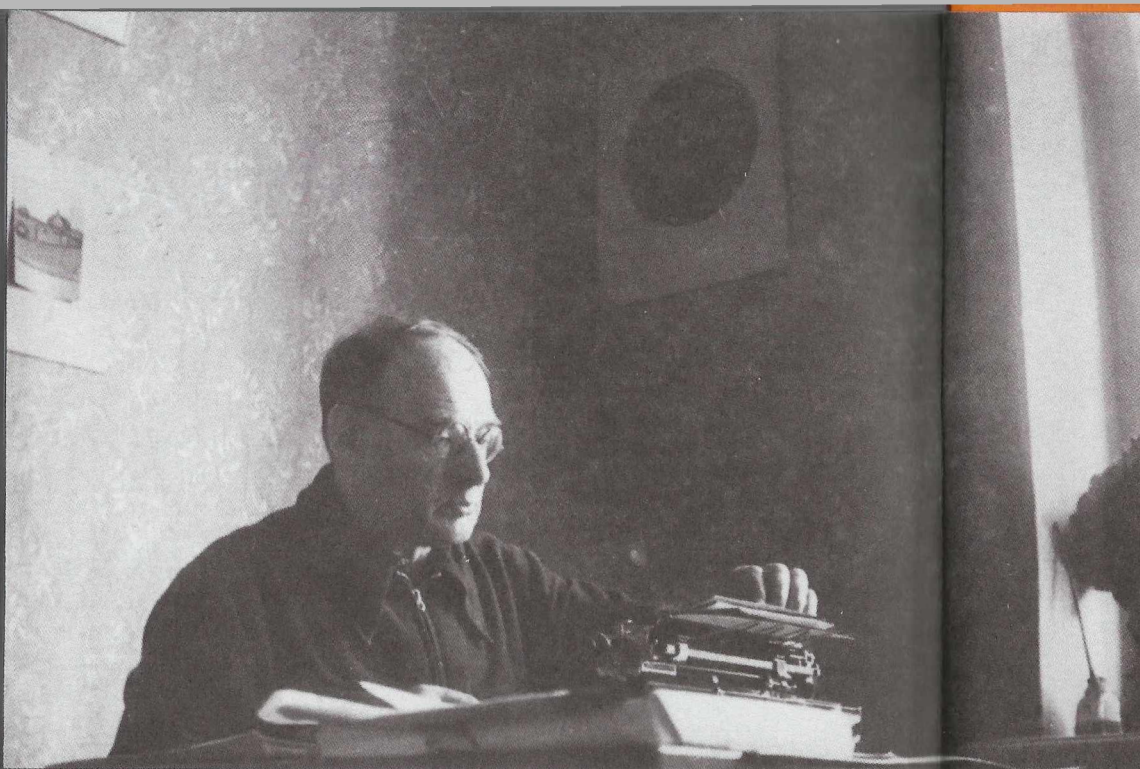
ВОЙНА И ПЛЕН

Лев Андреевич Ельницкий (1907–1979) – историк античности; в 1930-е годы он работал в Историческом музее. В 1941 году Ельницкий вместе с другими сотрудниками музея ушел на фронт в составе московского народного ополчения и вскоре попал в плен. После возвращения он был арестован и пробыл в лагере шесть лет.

В первом томе воспоминаний автор предельно искренне рассказывает о своем участии в войне и о пребывании в немецком плену.







УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Е 57

Подготовка текста *Андрея Ельницкого*
Оформление *Л. Митич*

Е 57 Лев Ельницкий. Три круга воспоминаний. Война и плен / Лев Ельницкий. — М.: Аграф, 2012. — 480 с. — ISBN 978-5-7784-0422-9

Лев Андреевич Ельницкий (1907–1979) — историк античности. В 1930-е годы он работал в Историческом музее. В 1941 году Лев Андреевич вместе с другими сотрудниками музея ушел на фронт в составе московского народного ополчения. Вскоре его часть оказалась в окружении и он попал в плен. Всю войну он находился в немецком плену. Вернулся домой только в конце 1945 года. После войны большая часть советских солдат, побывавших в плену, подверглась репрессиям. Ельницкий был арестован в начале 1950 года и пробыл в лагере 6 лет.

Его воспоминания много лет пролежали в домашнем архиве и только сейчас выходят в свет. Они состоят из трех томов. В первом рассказывается о войне и пребывании в немецком плену. Второй том будет посвящен аресту и заключению в советском лагере. И третий расскажет о судьбе Ельницкого в науке.

Эта книга написана предельно искренно и проникновенно, она не оставит равнодушным ни одного читателя.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-7784-0422-9

©Ельницкий А.Л., 2012
©Издательство «Аграф», 2012

ПРЕДИСЛОВИЕ

Исследователь античной культуры, историк и археолог Лев Андреевич Ельницкий (1907–1979) родился в Санкт-Петербурге. Детство провел в Пензе, куда был выслан в предреволюционные годы его отец — деятель и историк русского революционного движения. Учился в школе в Москве, здесь же поступил на исторический факультет Московского университета, но курса не закончил. До войны работал в Государственном Историческом музее, занимался практической археологией, определив свои интересы в области скифской и греко-римской культуры.

Дальнейшая судьба Льва Андреевича сложилась очень непросто. Трагические события тех лет коснулись его самым непосредственным образом. С началом Великой Отечественной войны он ушел на фронт в составе московского ополчения и вскоре вместе с другими ополченцами оказался в немецком плену. Пройдя долгий и тяжелый пленный путь, он был освобожден из плена уже в Берлине, весной 1945 года.

Но на этом испытания для Льва Андреевича не закончились. Все, кто побывал в плену, в те времена считались изменниками родины, многие сразу же после войны были арестованы. Лев Андреевич в первые годы после войны остается на свободе, но вернуться на прежнее место работы в Исторический музей он уже не мог, жил в постоянном ожидании ареста. Он вынужден был довольствоваться местом внештатного сотрудника в журнале «Вестник древней истории». В начале 1950 годов он был арестован и осужден на 25 лет заключения. Шесть лет провел в лагерях в районе Воркуты. Когда политический режим в стране смягчился, он был освобожден по амнистии, но официальной реабилитации так и не получил.

После освобождения Лев Андреевич возвращается к научной работе, но двери официальных научных учреждений оказались для него закрыты. Несмотря на это Лев Андреевич продолжает сотрудничество с журналом «Вестник древней истории», не теряет связей с научными институтами Москвы. В 1960–1970-е годы им были опубликованы четыре монографии и большое количество статей по различным вопросам древней истории, а также переводы из Плутарха. Но отсутствие официального места службы и научных степеней затрудняло его положение, некоторые его работы остались неопубликованными.

Лев Андреевич является автором не только научных книг и статей, но и обширных воспоминаний о своей жизни, которые составляют три тома (о войне, о лагере и о судьбе в науке). Эти воспоминания были написаны в 1960–1970-х годах и пролежали много лет забытыми в домашнем архиве. При жизни Льва Андреевича речь об их публикации не могла идти в первую очередь по цензурным соображениям. Дальше этому мешали текущие заботы и жизненная суета. И вот наконец настало время, когда эти воспоминания могут увидеть свет. Публикацию мы начинаем с первой части, которая была написана в 1960-х годах. В ней описывается период 1941–1945 годов, проведенный Львом Андреевичем в немецком плену, отчасти на русской земле, а позднее — на территории Германии. Своеобразное «изучение» войны происходило «методом погружения» в стихийно складывавшиеся обстоятельства, без всякой возможности посмотреть на происходившее со стороны. С началом войны Лев Андреевич был призван в московское ополчение. Ополчение, в котором оказались в том числе люди, освобожденные от воинской службы и в большинстве без всякой военной подготовки, было в некотором роде, по словам автора, «инвалидной командой». Движение ополчения вперед, по направлению к линии фронта, на самом деле было движением в неизвестность. Очень скоро выяснилась почти полная неинформированность командного руководства ополчения относительно хода войны, сказавшаяся в случайности и безответственности командных распоряжений. Это незнание общей картины событий, непонимание ополченцами своей роли в происходившем привело к трагическим последствиям. Та часть ополчения, в которой находился Лев Андреевич, так и не побывав в боевых действиях, оказалась в немецком тылу, большая часть ополченцев попала в плен. Для Льва Андреевича начинается череда перемещений из одного лагеря военнопленных в другой. Встреча с немцами происходит в районе Спас-Деменска (по дороге на Медынь и Ель-

ню); первый лагерь для русских военнопленных, куда попадает Лев Андреевич, находился в Рославле; потом он был переведен в лагерь под старинным городком Карачевым; в лагерях на дороге Брянск—Орел он находился до августа 1943 года. Когда началось отступление немецких войск, Льва Андреевича переводят вместе с другими военнопленными в Мглин, потом в Бобруйск. С весны 1944 года он работает в Минске, в так называемой дорожной лаборатории, поскольку изначально пришлось иметь дело с дорожными службами регулярной немецкой армии. Дальнейшее отступление немцев привело Льва Андреевича в Берлин, в берлинский лагерь для военнопленных Груневальд.

С самого начала войны Лев Андреевич «выбрал» для себя два вида деятельности. Сначала были востребованы его скромные медицинские познания — в ополчении и в первые дни пребывания в плену он выполнял обязанности фельдшера; в лагерях военнопленных при его владении немецким языком он был необходим в роли переводчика, посредника между русскими и немцами. Лев Андреевич сознавал при этом свою работу как очень важную именно для военнопленных — абсолютно бесправных людей, обреченных прежде всего на тягостные физические страдания. Работа давала возможность Льву Андреевичу помогать — пусть самой малостью — конкретным людям, испытывавшим острейшую нужду в такой поддержке; а кроме того — наблюдать разнообразие человеческих лиц, стихийно собранных войной в одном месте. В Воспоминаниях открывается своеобразная портретная галерея людей, с которыми Льва Андреевича свели обстоятельства: военнопленных и деревенских жителей, немцев разных чинов и разного уровня культуры; женщин, к которым и в условиях войны Лев Андреевич сохранил романтическое отношение как к существам особой породы («романы» Льва Андреевича с учительницей из деревни Юрасово или немецкой девушкой Рут из Берлина)...

Вместе с тем для Воспоминаний характерна постоянная сосредоточенность автора на себе. Впечатляюще переданы переживания человека, чья жизнь непрерывно подвергается опасности: переживания страха смерти, абсолютной незащищенности личного существования; физических ощущений холода и голода, вообще хрупкости человеческого тела; стремительного одичания людей, когда вши, кровь, гной, необходимость прятаться и отказываться от себя самого становятся едва ли не единственным проявлением жизни. Возникает картина полной непредсказуемости человеческого

существования, отсутствия перспективы как завтрашнего дня, так и неопределенного будущего.

Дополнительную остроту этим переживаниям придает еврейская тема. Автору придется пережить и как-то осмыслить расстрел евреев в Рославле и постоянно возвращаться мысленно к этому событию; придется непрерывно испытывать страх оттого, что он может быть заподозрен или «уличен» в еврействе как особого рода преступлении.

Пребывая в плену, Лев Андреевич утратил связь с домом и родными. Нормальная жизнь, когда человек чувствует себя представителем семьи, рода, целой страны, казалось, закончилась навсегда. Казалось, что и вся человеческая цивилизация и культура были отменены в один миг. Человек разом утратил связи с миром людей, природой и вселенной, оставленный и забытый в своем одиночестве.

Противодействием переживаниям такого рода стали стихи Льва Андреевича, которыми буквально «пропитаны» Воспоминания. Эти стихи, такие же трудные, как и отразившаяся в них жизнь, с постоянными смысловыми и ритмическими сбоями, с не найденными иногда рифмами, передают дыхание человека на войне, пронзительную наготу существования, зависимость от бесчувственного случая, необходимость «выключать» все желания в постоянной готовности к самому худшему. И хотя на смысловом уровне эти стихи говорят о близости смерти, о страхе как единственно полноценной человеческой эмоции, на самом деле они являются актом духовного сопротивления жестокости исторических обстоятельств.

Л. М. Ельницкая

Основные научные работы Л. А. Ельницкого

Подготовка переиздания свода В. В. Латышева «Известия древних писателей о Скифии и Кавказе» (ВДИ, 1947—49).

Перевод двух трактатов из «Моралий» Плутарха (ВДИ, 1978—79).

Книги

1. «Знания древних о северных странах». М.: Географгиз, 1961.
2. «Древнейшие океанские плаванья». М.: Географгиз, 1962.
3. «Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII—III вв. до н.э.». М.: «Наука», 1964.
4. «Скифия евразийских степей». Новосибирск: «Наука», 1977.

ВОЙНА И ПЛЕН

Начало войны, запись в ополчение

Хотя разговоры о возможности скорой войны с гитлеровской Германией велись уже давно, и вокруг чувствовалась подготовка к этой войне, началась она для меня все-таки совершенно неожиданно. Потом я вспоминал, что когда в мае 1941 года ездил в Ленинград, город произвел на меня впечатление прифронтового. Он еще не остыл от финской кампании 1939—40 годов. Во многих местах на улицах виднелись кирпичные или бетонированные щиты у окон подвальных этажей, видимо, на случай воздушных бомбардировок. Повсюду мелькали надписи: «газоубежище»... Несмотря на то, что финская война давно уже кончилась, все эти защитные приспособления и относящиеся к ним надписи отнюдь не уничтожались и даже никак не маскировались.

Поражало также количество военных на ж.д. станциях и в вагонах. Но, однако, сопоставил я все это и осмыслил как следует только уже после начала войны. До этого же времени все подобные впечатления способны были лишь поддерживать некую смутную подсознательную тревогу. То ли их было недостаточно, а вернее, мое понимание не простиралось еще настолько далеко, чтобы предвосхитить нависшую угрозу уже совершенно реальной и близкой войны.

Да сознание, может быть, и избегало инстинктивно этого понимания, как тяжело больной человек, который и мог бы, пожалуй, осознать свое реальное положение и предвидеть близкую

гибель, инстинктивно цепляется даже за тень надежды и никак не хочет осмыслить истинное состояние вещей...

Из обстоятельств, заставлявших насторожиться, отметить могу лишь впечатление, произведенное рассказом одного товарища по работе, только что вернувшегося, в середине мая 1941 года, с военного сбора. Он говорил, что их командир очень волновался по поводу плохих результатов стрельбы и почти истерически кричал на них — младших командиров: «Да поймите же — это не так себе подготовка — в бой пойдем, в бой...» Он был украинец и произносил «у бой, у бой...» И предвидел он именно войну с немцами.

22 июня в Москве было, кажется, первое в 1941 году по-настоящему теплое летнее утро. Я довольно рано ушел в «Ленинку» и, посидев некоторое время над книгами, вышел в курительную комнату. Стоял и курил у открытого, выходявшего в густую зелень старых деревьев окна, на втором этаже. Рядом с окном в углу курилки стояла телефонная будочка. В ней разговаривал какой-то молодой, по-летнему одетый человек. Вдруг на его лице отразилась некоторая растерянность, он приоткрыл дверцу будки и произнес, ни к кому собственно не обращаясь: «Товарищи, война. Бомбили Киев...»

Слов этих, строго говоря, было недостаточно для того, чтобы можно было отдать себе точный отчет в том, что за война, кто и когда бомбил Киев, но этого, вероятно, и не требовалось. Всё как-то вдруг сразу сделалось ясно само по себе. Внутри меня все оборвалось, окончательно, непоправимо. Я почувствовал, что вот этой жизни моей, да и не только моей жизни, а вообще всему, что меня окружало и вокруг меня происходило, наступил конец... Я машинально пошел на антресоли к моему столику, собрал книги, сдал их и вышел на улицу. Когда я по Воздвиженке шел домой, на Арбат, из громкоговорителей раздавались первые слова памятной речи Молотова. У самой Арбатской площади я задержался ненадолго у рупора в небольшой и текучей толпе слушающих. В голосе, сообщавшем о неожиданном нападении немцев, мне почудилась некоторая растерянность...

В это погожее воскресенье улицы Москвы были полны народа. Люди гуляли с ощущением того, что это их последний мирный день. Война уже началась, но она еще не коснулась нас своими черными крыльями, еще не заслонила солнца. И все спешили воспользоваться его последними ласковыми и мирными лучами. Лица прохожих были взволнованы, глаза у многих лихорадочно блестели...

Дома, в разговоре с родными, мы сошлись на том, что нас, вероятно, будут бомбить уже в эти же сутки. И когда на следующую ночь была объявлена ложная воздушная тревога и производились учения московской противовоздушной обороны, не только я, но и многие значительно более опытные в военно-воздушных делах люди, приняли ее всерьез. Я в ту ночь дежурил по месту работы, в Историческом музее. В грохоте, производившемся зенитными батареями, нам чудились также и близкие разрывы бомб. Мы предвосхищали и заранее переживали то, что было еще впереди...

Мысленные взгляды назад соединяли и связывали во что-то единое разрозненные события недавних дней. Занятие Прибалтики, занятие Польши, Финская война, война немцев в Европе... Когда в апреле 1941 года в писательском «доме творчества» в Малеевке я сидел в обеденные часы за одним столиком с Георгом Лукачем и его женой, он уже и тогда очень определенно и отчетливо объединял все эти события и многое очевидно предвидел. Только теперь, после начала «нашей» войны с Германией, это стало доходить и до меня, может быть потому, что свои комментарии к газетным сообщениям Лукач произносил на немецком языке, воспринимавшемся мною тогда на слух еще довольно плохо. А он почти не умел говорить по-русски и в затруднительных случаях в качестве переводчицы между нами выступала его жена — венгерка, как и он, но как всякая женщина, более легко овладевшая чужим языком (по крайней мере в его разговорной части). Про нас тогда говорили: вон сидит Лукач с женой и еще какой-то «немец». Немец... Всю горечь этого провидения я тогда не мог и вообразить, тем более, что по-немецки совершенно не вязал лыка, хотя читал ежедневно разные толстые книги на этом языке и в письменном виде понимал его очень прилично.

Окончательно все стало на свое место только много времени спустя. Перечитывая свои стихи тогдашних дней, я вижу, что предчувствия войны были во мне, но я почему-то не осознавал их с достаточной ясностью. Помню, как с какой-то весьма болезненной остротой, весной того же 1941 года, я переводил «*Les vaincus*»¹ Верлена. Много позднее я склонен был объяснять мое тогдашнее состояние неосознанными предчувствиями последующих событий.

...События же, хотя развивались и быстро, но все же не столь стремительно, как это происходило в порядке их предвосхищения

¹ «Побежденные» — стихотворение о коммунарах. Здесь и далее прим. ред.

в моем лихорадочном сознании под влиянием больших и малых страхов и тревог. Дня через три или четыре после начала войны я уже был записан в состав Московского народного ополчения вместе со многими другими сотрудниками нашего музея. Запись в ополчение производилась «добровольно». Отказываться было невозможно, да и не приходило в голову. Одного отказавшегося было молодого человека тотчас же подвергли общественному ostrакизму. В ополчение записывались люди самого различного возраста (от 16—17 и до 60 лет) и самых разных физических состояний. Противопоказанием для записи в ополчение являлось лишь наличие такой военной специальности, которая предполагала призыв в армию в самую первую очередь. Впрочем, в качестве курьеза, ирония которого стала мне ясна лишь несколько месяцев спустя, может быть упомянут отказ от записи в ополчение моего тогдашнего сослуживца А.Я. Брюсова. Ему в то время было уже больше пятидесяти, но он мотивировал свой отказ не этим, а тем, что воевал в войну 1914 года и пробыл долго в германском плену. Он и перед этим нередко козырял своим пленом, и все мы относились к военнопленным той войны, как к людям особенно пострадавшим и обездоленным...

Я же в период призыва на военную службу в 1929 году был признан негодным (по легочным явлениям туберкулезного характера) и не получил вследствие этого никакой военной подготовки. Только в самое последнее предвоенное время я с полгода занимался на организованных общественным порядком при музее курсах противохимической обороны. Так что мне, как говорится, «сам бог велел» идти в ополчение.

Что это за ополчение, каковы должны были быть его задачи — об этом ничего официально не объявлялось. Вполне допускаю, что роль его была столь же мало ясна и самим его организаторам. Среди нас ходили слухи, будто ополчение предназначается для того, чтобы при обороне Москвы взять на себя функции милиции, железнодорожной, пожарной охраны и т.п. Судя по характеру набравшихся в него в большинстве неподготовленных в военном отношении или вышедших из призывного возраста или же не пришедших в него еще людей, слухи эти представлялись довольно резонными, и мы им охотно верили. Я, во всяком случае, на таких ролях представлял себя совершенно на месте. «Призыв» происходил в каком-то пустынном здании, в Замоскворечье, толком не скажу где именно. В глазах встают обширные залы, в одном из которых толпились люди у столов, жавшихся к стенам. И хотя людей было много, они отнюдь не заполняли помещения. Высокие

лепные потолки совершенно не соответствовали тогдашнему случайному назначению этих зал. Человек в штатском, взявший мой военный билет со штампом «не годен», не глядя на меня, пробормотал с оттенком не то подозрительности, не то презрения: «Сколько этих не годных...»

После того как у меня были отобраны документы и я был зачислен в состав запасного полка дивизии Ленинского района, недели полторы не было ничего о нашем ополчении слышно. Как всегда, я ходил на работу. Не помню, приходилось ли мне нести за это время ночные дежурства в музее. Не помню, потому что ночи проходили спокойно. Один или два раза объявлялась воздушная тревога, но без каких-либо реальных последствий. Ожидавшихся было нами в первые же дни воздушных налетов на Москву не производилось. Мы не понимали еще, что для осуществления подобных налетов немцам по тогдашнему состоянию авиационной техники необходимо было приблизить свои аэродромы на расстояние километров 500 или 400 от Москвы.

Родственники мои жили на даче в Перловке. Числа 3-го июля я ехал туда из Москвы после работы, в угаре от безрадостных сообщений с фронта, от внутреннего тревожного напряжения, которое хотя и стало несколько слабей, чем в самые первые дни войны, но не покидало душу ни на минутку, особенно после лихорадочной работы в музее по упаковке коллекций для их предполагаемой эвакуации. В поезде было много народу. Шли оживленные, иногда нарочито шуточные разговоры о том, кто, когда и куда направляется в армию...

«Ты смотри, “ополчись” как следует...» — шутила какая-то девушка со своим приятелем или родственником, видимо моим товарищем по ополчению. Это был день обращения Сталина к народу по радио с первой оценкой произошедших событий. И хотя в этой речи, несомненно, содержались некоторые трезвые и оптимистические ноты, общий тон ее и необычность обращения — «братья и сестры» — вселили в меня новую тревогу и свидетельствовали о растерянности правительства. Идучи по дорожкам дачной местности, я повторял в себе и оценивал внутренне слова сталинского обращения. Окружавшая меня мирная природа несколько умеряла мою вновь разыгравшуюся тревогу. Мучительно хотелось выйти из того напряженного душевного состояния, в котором я пребывал после начала войны. На даче все обещало мне этот отдых, хотя бы на одну ночь. И там разговоры вращались вокруг сталинского обращения, но они перемежались то и дело

семейно-дачными темами и обстоятельствами: нас отвлекали моя четырехлетняя дочь, требовавшая к себе внимания, и полугодовалый сын.

Тревога вернулась в полной мере с наступлением темноты, после того как дети уснули, а мы, взрослые, остались опять сами с собой и с войной. Ни мне, ни жене моей не спалось. По соседству, заунывно и настойчиво, действуя на нервы, выла собачонка. Мы обменивались впечатлениями, строили предположения в отношении дальнейших военных событий и наших собственных перспектив. В двенадцать или в час раздались гудки сирен воздушной тревоги, звучавшие где-то вблизи и доносившиеся из города.

«Навыла, проклятая», — прошептала моя жена, вообще не страдавшая суеверием. И мы долго не могли уснуть в ожидании налета, зенитной стрельбы и бомбардировки. В воображении все это представляло необыкновенно красочно и устрашающе. От возникшего было во мне чувства умиротворения после дачного окружения и общения с семейством не осталось и следа. Чувство войны, ее неотвратимости и безнадежной трагичности вновь охватило меня полностью. Только лишь «ополченство» никак не представляло передо мною реально; в сущности, я позабыл о нем и думать.

Мне об этом тотчас же напомнили по возвращении в город, в музей: завтра необходимо явиться в школу, в одном из переулков близ Третьяковской галереи, имея при себе ложку, кружку и другие необходимые в походе вещи... Что это означает? Никто не мог точно ответить на этот вопрос. Наиболее вероятное из высказывавшихся предположений состояло в том, что нас хотят перевести на казарменное положение.

После холодного июня наступила очень жаркая погода. Я явился в школу в чем был — в легком платье и в сандалиях на босу ногу, кажется даже без шапки. Нас разбили на роты и взводы, часто строили, но за построениями не следовало никаких дальнейших действий, и люди, постояв некоторое время, садились где попало, ложились, собирались группами, разбредались. Ночевать было предложено в школе, и я, в составе своего взвода, спал на полу в одном из больших классов, подстелив под себя откуда-то раздобытую газету. Нас, кажется, со второго же дня стали кормить, но многие бегали поесть домой, даже уходили домой ночевать. Хотя и был приказ ни в коем случае не расходиться, но за выполнением его не следили строго. На другой день и я сбегал домой, застал там всех своих. Меня уговаривали поесть, я пытался сделать бутерброд, но было очень жарко, масло текло, да и вообще ничего не лезло в горло.

Жена мне сказала, что она с детьми назначена на эвакуацию в ближайшее же время, но когда именно в точности неизвестно, так же как и неизвестно точно куда. Куда-то за Волгу.. И хотя это было лишним подтверждением полнейшего расстройтва, конца нашей прежней жизни, несмотря на всё волнение, испытываемое каждым, домашние мои были довольно веселы, шутили, и это передавалось мне. Я тоже отшучивался, пусть лихорадочно и с непрерывной тревожной дрожью внутри.

Как и некоторые другие люди в те времена, хранившие идеи и устремления первых лет революции, с их моральной и патристической «свободой», мы с женой не состояли в зарегистрированном браке. Дети были записаны у меня в паспорте. Юридически нас ничто не связывало. Ввиду предстоящей разлуки, с возможными трагическими последствиями, решено было оформить в загсе наш брак. Произошло это буквально в несколько минут, почти без всяких формальностей. Жена с очень большой легкостью, без каких-либо внутренних колебаний, приняла мою фамилию. Когда я высказал ей некоторое удивление по этому поводу, она мне ответила: «Лучше пусть будет русская фамилия...»

Она была еврейка и фамилию свою — Триус, как будто не столь уж национально определенную, воспринимала как еврейскую. Моя мать тоже была еврейка. Но я, потому ли, что в нашем социал-демократическом семействе не было ничего национально выраженного ни в русском, ни в еврейском отношении, потому ли, что вообще не любил свою мать и с 14-летнего возраста был под большим влиянием другой женщины — Веры Николаевны Соколовой, которую и осознал позднее в качестве матери — впрочем, и она была едва ли не еще более космополитична, чем мои родители, и ощущала себя скорее француженкой, чем русской, — по всему поэтому, а главным образом потому, что в то время национальный вопрос вообще не фигурировал в нашем быту, я совершенно не связывал себя с еврейством.

Соображение жены моей по поводу перемены фамилии, однако, не очень меня удивило. Более я ему удивляюсь теперь. Видимо все же что-то уже было в воздухе и тогда такое, что очень быстро позволило возродиться антисемитизму и национализму..

Вокруг школы толпилось большое количество народу — друзей и родственников ополченцев. Люди стояли сплошной стеной, в ушах раздавался непрерывный гул и гомон. Приходили и ко мне, но в такой обстановке легче было принимать участие в чужих разговорах, чем вести свои собственные: внимание рассеивалось и приходилось ловить себя на том, что не схватываешь

сказанного, смотришь в сторону, не будучи в состоянии сосредоточиться на чем-то тебе близком и интимном...

В тот вечер я ушел из дому в школу в том же, в чем и пришел. Остаться ночевать дома я не решился, но обещал обязательно прийти завтра. Тогда уж, думал я, и переоденусь, возьму что-нибудь с собой...

Выход ополчения из Москвы. База у Катуара

Ночью мы были разбужены криком: «Подъем!» Было совершенно темно. Со двора раздавалась команда: «Строиться!» Было около двух часов ночи. Очень хотелось спать. Не то чтобы было холодно, но как-то все же немного зябко со сна. С досадой думалось, что это опять ложная тревога (что-то в этом роде происходило и в предшествующую ночь), хотелось лечь где-нибудь и уснуть поскорее снова. Но нас вывели на этот раз в пустынный переулок перед школой, и в предрассветных сумерках можно было угадывать общее количество растянувшихся по переулку рядов разношерстных людей. «Шагом марш!..» И мы двинулись по Пятницкой улице, потом по Садовой, по Большой Калужской.

Хотя нас уводили в предутренней темноте и пустоте улиц, кое-кто все же прознал о нашем уходе — появилось некоторое количество «проводящих». Я вглядывался в их лица и с надеждой, и со страхом: мне казалось, пожалуй, это лучше, что никого из моих здесь нет. Всякая неизвестность при расставании особенно мучительна. Много лет спустя я видел фильм «Летят журавли», в котором показан уход ополченцев: отрешенные, с устремленными в неизвестность взглядами, уходили люди сквозь толпу провожающих родных и близких... Мы уходили не так, но что-то было все же и очень общее, хватавшее за самое сердце...

Шедший впереди меня пожилой человек после получасового марша снял ботинки, оставшись в одних носках и уверяя, что в обуви ему очень печёт подошвы... Мне тоже было не очень удобно в сандалиях на босу ногу. Идти мне было бы удобней в носках и в более твердой обуви. Приведут ли нас к утру обратно в школу?

На Калужской, где-то в конце ее, слышались звуки оркестра. Около него стоял какой-то бравый и седоватый военный с двумя или тремя ромбами на воротнике френча, в окружении других людей в военной и штатской одежде. Говорили, что это командир нашей дивизии со своим штабом. На некоторое время мне стало

почему-то весело. Комичным показался этот комдив с его окружением. Я чувствовал себя, по-видимому, значительно бодрей многих из тех людей, с которыми вместе шел, не могу сказать в одном ряду, потому что ряды к этому времени распались, перемешались, и мы шагали скорее толпой, чем строем.

Подымалось солнце. Мы шли уже по какой-то большой загородной шоссеиной дороге среди сосновых деревьев. Кто-то сказал, что это на Кунцево... Потом потянулись высокие зеленые заборы с колючей проволокой наверху и с часовыми у закрытых ворот: правительственные дачи, кажется даже дача самого Сталина. Вспомнилось что-то на тот счет, что Сталин живет не в Кремле, а именно на такой даче, где-то в районе Кунцева... Часовые, стоявшие навытяжку перед воротами и калитками, казавшимися массивными и снабженными смотровыми глазками, производили странное впечатление. Мне тогда же подумалось, что это должно напоминать лагеря для заключенных, весьма умножившиеся к тому времени в количестве даже под самой Москвой, хотя я никогда еще близко не наблюдал их.

Здесь ли сейчас наш «хозяин»? Чем он занят, спит ли в этот ранний утренний час? Мы шли усталым, тяжелым шагом, в молчании. И за заборами и воротами этих дач тоже все было тихо...

Стали передаваться слухи о том, что нас ведут на учения, куда-то километров за 30.

Тридцать километров... Пройду ли я это расстояние? Внутри подымалась какая-то очень большая усталость, накопленная за целые годы. Я так давно не отдыхал. Отпуска проходили за работой и бывали еще более напряженными, чем обычное рабочее время. Экспедиции и командировки хотя и приносили перемену обстановки, однако не были отдыхом в собственном смысле слова. Такими мыслями я реагировал на подымавшуюся усталость и боль в ногах. Мучительно думал еще и о том, что дома меня сегодня будут ждать — я ведь обещал обязательно прийти, а я даже не могу дать знать о том, что меня уведут... Далеко ли и надолго ли?

Переход в 30 километров был для меня, да и для всех других, с непривычки или с отвычки, очень утомительным. Весьма многие отстали в пути и потом постепенно догоняли ушедших вперед. Нас привели, как выяснилось позднее, в лес неподалеку от платформы Катуар по Киевской дороге. Первую походную ночь, очень теплую и сухую, как и многие последующие ночи этого лета 1941 года, мы провели в этом лесу на наскоро наломанных ветках кустарника. Спали крепко и без тревог. Утром весь полк

был построен на широкой лесной поляне — четыре-пять тысяч человек. Пришел со своим штабом командир полка, кадровый военный с двумя шпалами в петлицах. Прочие наши командиры были такие же, как и мы, штатские люди — командиры запаса.

Командир полка сказал несколько отрывистых слов о серьезности начавшейся войны:

— Он как трахнет...

Это почему-то привело многих, в том числе и меня, в возбужденно легкое настроение. Послышались ответные возгласы, дававшие понять, что-де нам не так уж и страшно, если «он трахнет»...

Потом командир полка стал выискивать среди нас разного рода военно-хозяйственных специалистов, а также медработников. В заключение он спросил, есть ли желающие идти в санитары? Я уже и раньше, задумываясь над тем, что бы я мог делать серьезного и полезного на военной службе, приходил к заключению, что таким делом для меня, скорее всего, могла бы стать медицина. У меня не было медицинского образования, если не считать те незадолго до начала войны, в 1940—41 годах, в общественном порядке пройденные краткосрочные курсы под девизом «готов к химической обороне», в результате чего я получил звание инструктора химобороны. На этих занятиях, помимо борьбы с химическими поражениями, преподавались и общие правила первой помощи. Кроме того, у меня вообще была склонность к медицинской работе и в археологических экспедициях, в которых мне приходилось участвовать в 30-е годы: я, в силу этой склонности, явочным порядком становился экспедиционным медиком.

По всему по этому я встал в шеренгу людей, изъявивших желание стать санитарями. Вероятно, интеллигентский мой вид и очки на носу показались подозрительными командиру полка:

— А силенка-то есть в руках? Тут ведь надо таскать да таскать...

Я ответил что-то на тот счет, что дело-де не в одной силе, что я обладаю склонностью к этому и некоторой подготовкой...

И вот я стал санитаром. Вероятно, это обстоятельство до какой-то степени определило мою дальнейшую судьбу. Прежде всего, из-за этого я должен был расстаться с моими товарищами по музею. До того мы держались вместе, я шел среди своих бывших сотрудников, близ меня были люди, с которыми я много лет работал бок о бок. Некоторые из них даже высказались неодобрительно о моем вступлении в санитары, отнесли к этому так, будто я совершил

в отношении них нечто вроде предательства. Мне самому было больно отрываться от них.

По окончательном распределении я оказался в санвзводе батальона, в составе которого не было никого из музейных: они угодили все в другой батальон, находившийся, впрочем, тут же по соседству, так что мы довольно часто встречались.

Командиром нашего санвзвода оказался некий молодой военфельдшер — еврей, а инструктором взвода и его помощником еще один человек постарше, вполне интеллигентный, с которым мы подружились, держались вместе, тогда как командир санвзвода все время пропадал в санроте полка, командиром которой была женщина-врач, по-видимому его знакомая. Санитаров не распределяли по ротам, и мы держались вместе большой компанией. Мы еще не были действующей санчастью. У нас не было никаких медикаментов, ни перевязочных средств. Со всеми нуждами по части медицинской помощи следовало обращаться в санроту полка.

В первые же дни нашего пребывания у Катуара было объявлено время приема женщиной-врачом — командиром санроты полка. Выстроилась огромная очередь. «Добровольцы» поспешили заявить о своих недомоганиях. И действительно, им было о чем заявлять: в составе нашего ополчения, ввиду неясности его будущих задач, которые, во всяком случае, представлялись достаточно ограниченными территориально подмосковным районом, а функционально — охранно-сторожевой деятельностью, оказалось очень много людей ни по возрасту, ни по состоянию здоровья не соответствовавших военной службе. Возраст ополченцев простирался, как было сказано, от 17 (а то и от 16) до 60 лет, наличествовали калеки (хромые, одноглазые и т.п.), психопаты, туберкулезники, желудочники... Они-то и составляли длинную очередь на прием к врачу, «принять» которую едва ли ей удалось бы и за неделю.

И я слышал, как командир полка громко кричал врачихе:

— Что вы делаете? Да к вам завтра весь полк прибежит...

— Я хочу выслушать жалобы...

— Никаких жалоб... Лечите только тех, кого безотлагательно нужно...

Прием был прекращен, и очередь разочарованно разошлась.

В таком неопределенном состоянии провели мы еще несколько дней. Продолжались не имевшие видимого смысла построения

в две, в три шеренги и с командой «рассчитайсь!». Производились элементарные военные учения, выражавшиеся преимущественно в шагистике. Начали свою деятельность политкомандиры, проводившие краткие беседы на военные темы, читки фронтовых сводок и боевых эпизодов из газет.

Мой новый товарищ — он же инструктор нашего санвзвода — разъяснял мне выгоды нахождения в запасном полку: строевой состав такого полка, по его мнению, должен был часто меняться, командование же и специальные подразделения должны были сохраняться в постоянном составе... Вскоре после этих разговоров выяснилось, что нас распределяют по другим полкам дивизии, всех, также и санвзвод. В запасном полку оставалось только командование его подразделений, в том числе и мой товарищ. Мы с сожалением попрощались...

Я попал в первый батальон второго полка. В этом полку уже всё начальство состояло из кадровых командиров. Санитарным взводом командовала фельдшерица, как вскоре выяснилось — жена начальника штаба батальона. Инструктором взвода была тоже женщина — настолько простоватая, что трудно было предположить у нее даже и фельдшерское образование. С командиром у меня произошел на первых же днях конфликт, впрочем, не имевший для меня неприятных последствий. И произошел он, собственно говоря, довольно случайно.

Мы обосновались около штаба батальона и устроились более основательно, чем раньше. Хотя мы — санитары — продолжали жить в шалашах из ветвей, у наших командирш была настоящая палатка, а для медпункта было использовано небольшое пустующее помещение — какая-то беседка или сарайчик. Появились медикаменты, и взвод наш начал действовать. Командирши стали принимать больных, я им помогал на приемах, и вот случилось так, что я, не подозревая о присутствии за моей спиной начальства, отменил какое-то назначенное главной командиршей лекарство. Она очень обиделась, тут же сделала выговор мне, но, не удовлетворившись этим, нажаловалась мужу. Меня вызвали в штаб батальона и спросили, на каком основании я отменяю распоряжения врача и моего командира? Имеется ли у меня медицинское образование? Я отвечал что-то довольно категорично в утверждение моей правоты, и у батальонного начальства хватило такта не выгнать меня за это из санитаров. Но отношения мои с командиршами странным образом после этого не только улучшились, но и наполнились известным содержанием: они со мной стали советоваться и привлекать к работе.

Такое существование продолжалось хотя и недолго, но протекало довольно нудно. Распоряжения из штаба передавались по цепочке, и мы — санитары — по очереди (тот, кто дневалил) целыми днями прилежно выкрикивали: командир такой-то роты — в штаб батальона!

Около нас расположился какой-то прибывший из Москвы ларек, в котором можно было купить конфет и фруктовой воды. Хотя небольшие деньги у меня с собою и были, но уже и тут начал действовать тот внутренний запрет, который еще более стал тяготеть надо мною позже, когда мы приблизились к фронту: я не мог взять в рот ничего сладкого, вообще ничего лишнего; мне это не то чтобы казалось кощунством, а просто не лезло в глотку..

Дальнейшая наша судьба по-прежнему была неясна. Что с нами будет? Зачем мы тут стоим? Своих музейных товарищей я теперь встречал все реже. Поговорить становилось не с кем. Коллеги мои — санитары — были люди совсем простые, начальницы — тоже.

Многие, впрочем, продолжали робко надеяться, что мы тут ради обучения, которое производилось на редкость примитивно и неорганизованно. Нас по-прежнему немного гоняли, командиры взводов и рот сообщали о разных видах оружия людям, этого оружия не имевшим. Но поскольку у нас были образованы пулеметные роты и минометные взводы, в появлении соответствующего вооружения не сомневалось ни начальство, ни многие из нас.

— Миномет это очень хороша штука... — без малейшего чувства юмора, но весьма задушевно поучал нас один из кадровых лейтенантов, от роду лет двадцати с небольшим, командир одного из взводов. Такие слова кой-кого оживляли. Некоторые — больше кто помоложе — мечтали об оружии. Пожилые люди, даже из числа командиров запаса, относились ко всему этому сдержанно, но охотно делились воспоминаниями эпохи гражданской войны или более свежими впечатлениями японской и финской кампаний.

В ротах надо было выделить санинструкторов и санитаров. Обнаружилось двое-трое военфельдшеров с боевым опытом прежних времен. Нашего полку прибыло: ротных инструкторов и санитаров вызвали в санвзвод и всех нас вместе элементарно инструктировали относительно первой помощи, переноски раненых, наложения жгутов, искусственного дыхания... Старые фельдшера относились к этому иронически и не менее боевых командиров запаса охотно делились своими военными воспоминаниями.

Сдержанно иронически относились они и к нашим командирам. Женское начальство им, видимо, вообще мало импонировало. Но я имел возможность убедиться в чрезвычайной ограниченности медицинской подготовки моих бывалых коллег...

В особенности впечатлял один пожилой уже фельдшер — инструктор одного из взводов, воевавший в польскую кампанию 1920 года. Он оценивал как нереальные и не соответствующие боевой обстановке инструкции нашей начальницы, хотя и держался с ней очень почтительно.

— В бою-то ведь только поспевай... Там не до правил, не до приемов... Этого подхвати, того оттащи — санитары твои снуют, как в угаре...

Реализм этих воспоминаний, по сравнению с отвлеченными и сухими инструкциями, невольно оказывал на нас свое действие.

Неожиданно и очень быстро — за какой-нибудь час — наш полк в один прекрасный день был до зубов вооружен. Выданы винтовки всем нижним чинам. Пулеметные роты вооружены «Максимами» и более современными легкими дисковыми пулеметами. Командный состав, начиная с помкомвзводов, получил автоматы или пистолеты.

Путь на запад: Малоярославец, Медынь, Ельня...

В одну из ближайших ночей нас подняли по тревоге. В полнейшей тьме было произведено построение. Из какого-то близлежащего колхоза привели две крестьянские подводы, на которые было погружено имущество штаба батальона и санвзвода. Ясно было, что предстоит двигаться. Внутри проснулась надежда: может быть, нас хотят возвратить теперь — вооруженными и несколько обученными — в Москву?

Двинулись мы часа в два в три ночи в кромешной тьме. Я очень боялся потерять штык от винтовки, который было приказано при переходах, в особенности ночных, надевать острием вниз, чтобы не поранить кого-нибудь из товарищей. А штык в таком положении очень плохо держался на стволе. Нас предупредили, что оружие должно быть в целости и сохранности, никакие заявления об утрате не принимаются...

Я в этом убедился, когда при мне один из комвзводов грубо и громко кричал растерянному бойцу, потерявшему не то имен-

но штык, не то затвор: «Иди ищи куда хочешь, бери где хочешь, чтобы винтовка сегодня же была в порядке...» После таких распоряжений следовало еще опасаться и того, что кто-нибудь, не дай бог, стащит у тебя недостающую ему потерянную деталь...

Как только начало светать и знатоки местности, из числа шагавших неподалеку от меня, могли ориентироваться, стало ясно, что нас выводят опять на Варшавское шоссе и что мы удаляемся от города. На душе стало снова очень тоскливо. Надежда на возвращение в Москву, на возможное свидание с близкими сразу утратила и ту маленькую реальность, какой она, оказывается, все-таки для меня обладала, хотя я и гнал ее от себя и готов был принять лишь как некую необычайно счастливую случайность. Видимо, этому не суждено было сбыться, а так хотелось бы хоть на одну минуту попасть домой...

Из газет, во всяком случае в передаче наших политруков, очень трудно было понять, где собственно идет война? С одной стороны, сообщалось об оставлении некоторых пограничных пунктов в Прибалтике и Западной Украине, с другой — в связи с боевыми операциями — упоминались пункты, находящиеся весьма далеко от границ, на Украине и в Белоруссии. Такая неопределенность весьма влияла на возобновление тревоги и неуверенности в наших душах, которая было поулеглась за время пребывания в тихом лесу, где мы ничего, в сущности, не видели и не слышали, кроме звуков природы да самих себя.

Шла вторая половина июля. Стояло знойное лето, с огромным количеством ягод и начинающих грибов. У меня бывали спокойные и свободные минуты в походе и на стоянках, я оставался один в лесу, среди тишины и приволья. Я и искал этого и внутренне чурался: мне казалось ужасным и невозможным хоть на секунду забыть о войне. Я не мог собирать ягоды — они мне не лезли в рот, самый их вид подымал во мне убийственную тошноту и тоску...

На одной из стоянок я оказался вблизи комиссара полка. У него был вполне интеллигентный вид, и я рискнул обратиться к нему с вопросом о положении на фронте.

— Мне кажется, — заявил он после нескольких неопределенных ответов, основанных на газетных сообщениях, и, видимо, почувствовав, что я хочу знать то, что он сам обо всем этом думает, — фронт выравнивается по Днепру...

Это было похоже на правду, вносило какую-то ясность в газетную невнятицу и как-то внутренне успокаивало, несмотря на ужас такого молниеносного продвижения немцев.

Отчего такое стремительное отступление? Ведь у нас так много войск и техники на границе? Выстроены везде такие доты и дзоты, которые не уступят линии Маннергейма?

На «Варшавку» мы вышли где-то километрах в 60—70 от Москвы и сразу очутились в чаду всяческого движения, в сфере распространения разноречивых сообщений и слухов. Машины с людьми двигались в обоих направлениях. Попадались участники и очевидцы военных событий, видевшие своими глазами то, что происходило неделю или две тому назад где-либо в западных областях, недалеко еще от границ. Они отмахивались от вопросов, отвечали односложно и непонятно — то ли им уже надоело отвечать, то ли они сами ничего не могли понять в том, что вокруг них происходило.

Возникали, исходившие будто бы от тех же участников и очевидцев, сообщения об актах беззастенчивой измены со стороны нашего военного начальства. Рассказывали, например, как один генерал уехал из своего штаба на поданном ему немецком танке... Невозможно было поверить подобным рассказам. Конечно, все это нелепая чепуха, брехня, но ведь на какой-то же реальной почве она возникла? Хотелось понять происхождение таких фантазий, представить себе ту обстановку, в которой могли возникнуть эти рассказы.

Мне вспомнилось в связи со всем этим, как перед уходом из Москвы я слышал рассказ об отступлении группы актеров Художественного театра, гастролировавшего перед началом войны в Бресте. В их распоряжении был будто бы только один автобус, в который все не могли втиснуться, некоторые шли пешком... Я вспомнил об этом потому, что из рассказа возникало ощущение той паники и эвакуационной спешки, которую мы теперь своими глазами видели здесь, на Варшавском шоссе, недалеко от Москвы.

В том рассказе, правда, присутствовали и некоторые успокоительные нотки, быть может — думал я — специально в него привнесены, дабы он не производил очень панического впечатления. Рассказывалось, как спокойно и храбро вел себя И.М.Москвин, невозмутимо брившийся где-то во время бомбежки. В это не верилось внутренне, как не верилось в рассказы о советских генералах, разъезжающих на немецких танках. Бомбежек мы еще не испытывали и представляли их себе с преувеличенным страхом.

Еще в Москве перед уходом в ополчение я заклеивал дома и в Музее окна тонкими бумажками для предохранения стекол от взрывной волны, как это тогда рекомендовалось соответствующими инструкциями. Было много разговоров о предстоящих бом-

бежках... Один мой родственник, участник польского похода 1939 года, говорил деланно равнодушно:

— Конечно, в городе неприятней всего фугасная бомба... Падает где-то за несколько кварталов, а кругом все рушится...

Становилось жутко, когда я пытался представить себе картину этих взрывов и вызываемых ими разрушений.

Где-то очень высоко в чистом белёсом небе тонко и прерывисто звенел самолет. Мы почти не видели над собой авиации. Я мучительно вглядывался ввысь.

— Чужак кружится, — сказал мне, заметив мои старания, какой-то проходивший мимо боец-кадровик. Сказано это было спокойно и уверенно. Не было у меня оснований усомниться в его определении этого самолета. Лишь позднее я убедился, что по звуку очень трудно определить, чьи самолеты летят. А тогда я подумал — вот он первый немецкий самолет над моей головой. Будет ли он сейчас бомбить или это разведчик? И всякий раз, когда возобновлялся звук пропеллера на большой высоте, мы задирали головы и старались разглядеть самолет.

Чуть ли не в этот же самый день какая-то наша рота была направлена на розыски где-то невдалеке совершившего вынужденную посадку нашего истребителя. Через некоторое время мимо нас пронесли на импровизированных носилках летчика. Это был очень молодой лейтенант, немного испачканный свежей землей, с поцарапанным лицом, но живой и как будто даже невредимый. Он ворочал по сторонам глазами и пытался приподняться на носилках, от чего его, однако, удерживали люди, шедшие рядом. Выражение лица у него было какое-то растерянное, не соответствовавшее моим представлениям о летчиках-истребителях.

Дня два, кажется, у нас происходили стрельбы. Стреляли в овраге из винтовок по неподвижным мишеням. Стреляли, в общем, одни желающие. Я еще не испытывал в то время того отвращения к оружию, которое во мне развилось позднее, но стрелять мне не хотелось, и никто меня к этому не понуждал. Так что я в качестве стороннего наблюдателя видел, как люди ложились, производили несколько беспорядочных выстрелов, затем долго ждали, пока осматривали мишени и объявляли о результатах стрельбы. Потом ложились другие. Выглядело все это довольно нудно. Что-то не ладилось. Кадровое начальство — командиры рот и взводов — покрикивали недовольно на своих помощников из числа ополченских командиров запаса. Я слышал, как один из

этих последних серьезно и убежденно говорил: «Я же докладывал командиру роты, что подразделение к стрельбе не готово...»

И в этих словах, да и в некоторых других припоминавшихся тогдашних разговорах слышалось затаенное раздражение и неуважение старых командиров к молодым, только что кончившим училища кадровикам. А те, разумеется, задирали носы, всячески подчеркивали, что они-де кадровые, и давали это почувствовать людям старшим по возрасту, часто и по чину и по военному опыту...

Видимо, из-за этой самой неготовности стрельбы прекратили, а больше они почему-то и не возобновлялись.

Нам пришлось принять участие в рытье огромного противотанкового рва, шедшего от шоссе в обе стороны по открытой местности. Помимо нас, в этой работе принимали участие какие-то юноши и девушки — школьники старших классов, собранные сюда из ближайших городов. Было очень жарко, глинистую почву, туго поддававшуюся лопате, конать было нелегко, работа шла вяло. Инструмент был гражданский, плохо прилаженный. Мы приглядывались к городской детворе, от которой успели уже отвыкнуть за время лесной жизни. Они иногда лениво перешучивались, но, в общем, держались довольно хмуро и равнодушно. При звуках приближавшихся самолетов раздавался крик: «Воздух». Глаза подымались кверху, самолетов обычно не было видно, и на предупреждения никто особенно не реагировал.

У одного из наших вдруг резко подскочила температура — до 40°, — и мое начальство, опасаясь какой-либо инфекции, приказало мне и еще одному санитару доставить его в гражданскую больницу, находившуюся в придорожном поселке, в километре от места нашего расположения.

Поселок был заражен военным угаром. У многих изб стояли машины — военные и гражданские. Окна были в пыли. Пыль густо лежала на траве, на деревьях, улица была изъезжена шинами, домики выглядели пустынно, безлико...

Но больница, в чистеньком деревянном домике на отлете, сохранила полностью свой аккуратный и мирный вид. Чистые окна, за которыми виднеется белая мебель, чистое, с несколькими стульчиками, крыльцо... Приветливая сестра приняла у меня нашего больного. Я ему искренно позавидовал. Видно было, что он, как жаждущий мира и покоя человек, с чувством глубокой радости и умиротворения ляжет сейчас на чистую белую койку. В больнице было необыкновенно тихо. Те несколько минут, которые я про-

вел на ее крыльце, как бы вернули меня в утраченную довоенную жизнь. Исполнив поручение, с сожалением и молча возвращаясь с напарником-санитаром к своим, я думал с завистью, что вот мол нашему товарищу повезло: мы, скованные войной, будем и дальше тянуть нашу лямку, а он вырвался из нее, будет лежать в этой тихой и мирной больнице, может быть вернется домой...

Вообще я гнал и гнал от себя мысли о доме. Что там происходит? Живут ли мои родные еще в Москве, или они уже эвакуировались? Некоторые из наших ездили с разными поручениями хозяйственного порядка в Москву, но по их рассказам выходило, что в городе все по-старому, так же шумно и так же много народу...

У нас уже с некоторых пор появилась полевая почта; я писал домой, сообщал ее номер, но никакого ответа на письма мои не получал. Поскольку и другие не получали писем, у меня не было особенных причин для тревоги: почта наша, видимо, еще не наладилась, а в Москве покуда что все было как будто спокойно.

Ночи становились темными, звездными. Я иногда просыпался и тревожно прислушивался к тишине: никаких военных звуков. Но вот однажды меня разбудил гул множества авиационных моторов. Самолеты шли без огней, в каком направлении — трудно было понять; шум этот стоял в воздухе часа полтора-два, потом все затихло.

На другой день пошли разговоры о первом налете на Москву. Подробностей мы еще не знали никаких. Но во мне шевельнулось непроизвольное чувство: вот почему судьба увела меня в этот лес, далеко от города... Я внутренне выругался и поспешил заглушить в себе этот эгоистический голос. Какая там судьба и чему тут вообще можно радоваться, нужно ли радоваться, даже с чисто эгоистической точки зрения?

В следующую или в одну из ближайших ночей налет повторился. Один мой знакомый, единственный интеллигентный человек в моем окружении, наблюдал, находясь где-то поблизости, работу нашей московской воздушной обороны: систему прожекторов и зенитных батарей, образовавших вокруг города, видимо, несколько заградительных зон. Говорил, что зрелище было весьма внушительным и красивым. Я этого ничего не видел. В моих глазах стояла лишь картина ложного налета по воздушной тревоге, объявленной в Москве в одну из первых ночей войны, да баллоны воздушного заграждения, которые подымались над центром города в ночное время сразу же по объявлении войны...

В один из ближайших дней политрук сообщил нам о первых налетах на Москву, о том, куда падали бомбы. Разрушен Вахтанговский театр! Ведь это совсем рядом с моим домом. Что там происходит, цел ли наш дом, не пострадал ли кто-нибудь из наших? Вместе с острым чувством беспокойства я находил в себе, к собственному стыду, исходившее из каких-то неподконтрольных тайников чувство радости, что меня нет в городе и что я не вижу всего этого своими глазами. В этот момент, должно быть, мне не пришлось бы в голову мечтать о возвращении в Москву. Неизвестно, что ожидает меня впереди, но первых московских бомбардировок волею судьбы я избежал, думалось мне. И хотя мне неприятны и мучительны были такие мысли, вызывавшие во мне стыд за эти эгоистические чувства, я успокаивал себя тем, что все это от меня совершенно не зависит, и что бы я ни думал и ни чувствовал — я могу только наблюдать, покуда жив, как за тем, что происходит, так и за моими собственными, иногда неожиданными и подспудными реакциями...

Только было мы привыкли к мысли, что вот-де копаем противотанковый ров, как неким вечером нас засветло построили и уже в темноте привели к железнодорожным путям. Не знаю, что это была за станция. Собственно мы ее и не видели, так как остановились среди мелкоколесья, на некотором от нее расстоянии. Предчувствие каких-то новых перемен, каких-то существенных событий, связанных с этим перемещением, усугублялось тем, что у нас в батальоне вдруг неожиданно переменилось начальство. Прежний наш командир, видимо, отбывал на лечение обострившегося в полевых условиях туберкулеза. С ним уходила и его жена — мое непосредственное начальство... Она на прощание сказала, что на ее место пришлют мужчину. Помощница ее покинула нас еще за несколько дней до этого.

Вид у нашего командира, когда я провожал его глазами, был угрюмый, ссутуленный... Да, если мы идем на фронт (неужели на фронт?), то ему там, конечно, нечего делать, так же как и его жене.

Новый наш комбат был молодой, в чине старшего лейтенанта, смуглый, в пилотке (прежний носил фуражку), подвижный и довольно крикливый.

«Я был бы тряпка, а не командир...» — слышал я, как он кричал на кого-то. Нет, он, конечно, не тряпка, но уважения во него его истеричность не вызывала никак. Непроизвольно возникало желание чем-нибудь ему досадить. Вероятно, оно появлялось не у меня одного, потому что истошные его крики доносились до ушей то и дело...

Ночь была теплая и тихая. Хотелось спать, и в то же время тревожила неизвестность: зачем нас сюда привели, что тут должно произойти? Ждем час, полтора. Некоторые начали потихоньку закуривать... Командиры подняли страшный крик — прекратить курение, никакого огня, даже от сигарки!..

После этого крика, заставившего нас погасить спрятанные в рукава самокрутки, командир батальона, находившийся неподалеку от меня, не выдержал и закурил сам. Думая видно, что этим маскирует спичечную вспышку, он упал лицом вниз на землю в момент закуривания. При виде этой картины я потерял к нему последнее уважение... Впрочем, все мы тогда еще не были в состоянии оценить реальное значение папиросного огня для противовоздушной маскировки...

Как-то неожиданно и бесшумно подошел товарный состав, и нас повзводно стали сажать в вагоны. Многие расположились прямо на полу, но были и какие-то широкие брусья, на которых, хотя и с неудобствами, можно было сидеть. Поезд двинулся с большой скоростью, без остановок. Я задремал. Проснулся от того, что мы остановились. Было все так же темно. Не сообразив толком, сколько времени мы ехали, я услышал крик: «Вылезай». Завизжала вагонная дверь, и мы стали выпрыгивать в темноту на насыпь. Кругом ничего не было видно. Очень хотелось спать. Лечь бы где-нибудь тут прямо на косогоре насыпи и проспать до утра... Но нас построили и повели по какой-то проселочной дороге, вскоре вышедшей на шоссе.

Когда рассвело, впереди обозначился какой-то небольшой городок с несколькими церквями, невысокими деревянными и каменными домиками. Как оказалось — Малоярославец. Недалеко же мы уехали! В полусонном пустынном городке было много военных машин, много пыли на всем. Окна в домах, как и в Москве, проклеены бумажками. Во многих местах, по дворам и на улицах, стояли какие-то подводы с людьми, производившими впечатление беженцев.

Вся эта картина вызывала тоскливое чувство, усиливала тревогу, снова поднявшуюся во мне после переезда по железной дороге, после бессонной ночи и в предчувствии всех ожидавших впереди неизвестностей.

На железнодорожных путях виднелось много товарных составов. В вагонах и на платформах были люди, выглядевшие не по-дешнему, спавшие в разных позах на мелком скарбе.

«Это что — беженцы?» — спросил я какого-то местного, по-видимому, человека. «Евреи едут — вишь сахару сколько везут, мануфактуры...» — довольно безразлично, но с достаточной уверенностью ответил он. Сахар и мануфактура — это то, в чем ощущался общий недостаток еще и перед войной. Хотелось понять — куда оно все девается? Вот вам и ответ — беженцы-евреи едут. Едут и везут с собой сахар и мануфактуру. Таково было убеждение, хотя перед нашими же глазами у беженцев виднелись только жалкие узлы, корзины да дощатые чемоданы с домашним старьем... Ничего не поделаешь, так видно человек устроен — видит, что хочет.

Снова нас принял лес, еще более пышный и нетронутый, чем леса Подмосковья, где мы стояли до этого. Трава в нем поднялась чуть ли не по пояс, количество ягод и грибов представлялось просто феноменальным.

Среди этого леса мы принялись рыть окопы и землянки, укрепляя их накатами из нетолстых бревен поваленных тут же деревьев. Работа была не тяжелой, да и мы к ней уже привыкли — натренировались на рытье окопов в предшествующих местах стоянок и в противотанковом рве.

В качестве начальника санвзвода к нам прикомандировали молодого врача монгольской внешности — казаха или узбека. Он был мало деятелен, неразговорчив на людях, с блестящим стетоскопом на груди. Прибыл он из санроты полка. Можно было думать, что ему известно нечто большее, чем нам здесь в батальоне. Но вдвоем со мной, с глазу на глаз, он делился теми же недоуменными вопросами и сомнениями, какие я находил в себе...

Неожиданно тут привезли нам военное обмундирование. С двойственным чувством расставался я с моей гражданской одеждой: было приятно снять ее, потому что она, в особенности сандалии, истрепалась и очень испачкалась, заскорузла... Но, с другой стороны, я внутренне цеплялся за нее среди одетых в военное обмундирование людей.

«Мы не обмундированы, мы не военные, мы ополченцы. Хотя у нас есть оружие, но у нас нет, может быть и не будет вовсе, военной формы...»

Пришлось распрощаться и с этой иллюзией в длинной цепи утрат всяческих иллюзий и свыкания с суровой военной действительностью. В конце концов, мы не без удовольствия сняли изношенную грязную одежду и, в особенности обувь, хотя приспособление нового обмундирования требовало определенных усилий.

Башмаки были тяжелы и хороши, ноги их ощущали как твердую защиту от всяческих камней и корневищ, от воды, грязи и холода. Но неумело обернутые портянки терли кожу и концы их вылезали наружу. Обмотки тоже никак не желали держаться положенным образом и расползались то и дело. Труднее же всего было сворачивать аккуратную скатку из шинели. Назначенный для ее связывания брезентовый тренчик был вскоре утерян, и его пришлось заменить веревочкой...

Постепенно наш военный быт все более упорядочивался. Нам сообщили номер полевой почты (до этого обратным адресом служило наименование ополченской части Ленинского района г. Москвы). Раздобывали правдами и неправдами бумагу, писали письма и делали из них солдатские уголки. Я писал домой безлично: «дорогие мои...» — не представляя себе, кто именно будет читать мои письма и мне на них отвечать.

Мы расположились опять в пустынном, сухом и светлом лесу, без каких-либо признаков близкого жилья. Говорили, впрочем, что где-то неподалеку аэродром. Может быть, нас и привели сюда, чтобы мы охраняли этот аэродром? А может, и нет тут никакого аэродрома? Что аэродром где-то тут все-таки был, обнаружилось в ближайший же день по беспорядочной стрельбе зениток, целивших в одно более или менее определенное место на облачном небе, без того, однако, чтобы был виден хоть какой-нибудь самолет или слышался гул его мотора...

«Обмишулились», — предположил кто-то из наших. Потом мне рассказывали, как ночью прибегал в наше расположение какой-то капитан и ругал, размахивая наганом, наших людей, вздумавших развести костер: «Всех перестреляю, к такой-то матери...»

Мне представилось, что аэродром, видимо, где-то действительно очень близко, если его начальство боится демаскировки нашим огнем... Я не понимал тогда, что у аэродрома мог быть свой световой маяк, и наш огонь вводил бы в заблуждение ночные самолеты.

Мы опять принялись за рытье окопов, ходов сообщений и устройство землянок с накатами из бревен. Наш санвзвод должен был отрыть подземное помещение для приема и первичной обработки раненых. Для взводного начальства, хотя оно по хорошей и теплой погоде с удовольствием обитало снаружи, тоже была вырыта небольшая землянка. Может быть, нас тут и оставят, по крайней мере на какое-то время? Уж очень основательно занимаемся мы всем этим устройством.

Работа кипела с утра до вечера на протяжении недели. В большой и весьма добротно оборудованной землянке, с несколькими слоями бревенчатого наката и хорошо замаскированной, неподалеку от нас расположился штаб нашего батальона. Мне была выдана хорошая брезентовая санитарная сумка с порядочным запасом перевязочных пакетов, с парой пинцетов и скальпелем и с некоторым количеством простейших медикаментов. Начальству нашему было предложено иметь санинструкторов с двумя санитарями в каждой роте. Я опять был послан по ротам для выявления подходящих людей. Опять обнаружились двое с военфельдшерским образованием. Один из них, пожилой человек лет под пятьдесят, казацкой внешности, служил в гражданскую войну у Буденного ротным фельдшером. Это тоже был человек с боевым опытом. Когда подобранные мной люди были вызваны к нам во взвод для инструктажа, он, как и прежние наши санитары с боевым опытом, поглядывал на всех, не исключая и начальство, как на новичков, не нюхавших пороха. К наставлениям, какие им делал наш командир, он отнесся скептически, а по их окончании сказал уже между нами (ему поддакивали и другие «старички»), что все это чепуха и что в боевой обстановке все получается вовсе не так: «Раненых подтаскивают, только успевай принимать... Разве тут что сделаешь с двумя санитарями? И повозка нужна санитарная для каждой роты — что ты с ними, с ранеными, сделаешь без повозки?»

Подобные «находки», как этот буденновский фельдшер, оказывались возможны потому, что ряды нашего полка все время продолжали пополняться. Однако контингенты, за счет которых происходили эти пополнения, отличались довольно резко от первоначального состава ополчения. Достаточно сказать, что среди новоприбывших был очень высок процент только что выпущенных из лагерей уголовников. И это такой народ, что хотя его в целом-то было и немного, влияние его на окружающих оказалось достаточно резким — одних они разлагали, и те начинали быстро усваивать соответствующую психологию, другие же очень страдали и тяготились их присутствием.

Повозок у нас действительно не было, не только в ротах, но и в санвзводе. Та крестьянская телега, на которую грузилось имущество взвода во время марша и которая добывалась для этого в соседнем колхозе, а затем опять ему возвращалась, разумеется, не годилась для медицинских надобностей. Опять начинало казаться, что все-таки мы далеко не настоящая военная часть. Разве может военная часть не обладать необходимым транспортом?

После проведенного два или три раза теоретического инструктажа практическое ознакомление инструкторов и санитаров с приемами перевязки и переноски раненых, наложения жгутов, шин, искусственного дыхания и т. д. поручено было мне. Я обходил вместе с инструкторами расположения наших рот, раздавал бойцам индивидуальные перевязочные пакеты, объяснял, как ими при нужде пользоваться. Потом мы еще с отдельными санитарями обсуждали всякие возможные обстоятельства, тренировались в переноске людей на шинели и т. п.

Так проходили дни. Мы снова кой-как обжили наш участок леса и привыкли к нему. Разбросан был батальон довольно широко и переход из роты в роту предполагал небольшую прогулку через лесные лужайки, а то и небольшие пахотные поля. Все наши занятия и приготовления происходили среди полнейшей тишины и удивительного расцвета природы. Дни были яркие, солнечные, ночи хотя и звездные, но совершенно теплые. Если бы не наше обмундирование и не окопы, у края которых все это происходило, трудно было бы поверить в реальность и серьезность всех этих действий. Даже и несмотря на обстоятельства, вносившие некоторый элемент реальности, трудно было оценить предстоящее в серьезных и конкретных чертах...

Где сейчас проходит фронт? Удерживается ли он на Днепре? Уже примерно с неделю не сообщалось на этот счет ничего нового ни изустно — политруками, ни из от случая к случаю попадавших в мои руки газет: они были заполнены всякого рода «боевыми эпизодами» — рассказами о героическом поведении наших бойцов в каких-то обстоятельствах, на каких-то неопределенных участках фронта. Рассказы были выдержаны в памятном еще со времен Первой мировой войны и вообще, видимо, свойственном нашей психологии кузьма-крючковском стиле.

В общем, о ходе вещей опять ничего не было известно при нашей лесной отрешенности, и оставалось только умерять свое любопытство, свои фантазии и пытаться сосредоточиться на конкретных ежедневных обстоятельствах.

Но вот мы уже и опять движемся дальше... Идем проселками, лесными тропами. Такое впечатление, что зашли в какие-то совершеннейшие дебри. Идучи мимо какого-то небольшого и сильно заросшего озера, видели плывущего молодого лося. Что за места! Куда мы идем и зачем? Что нам нужно в этих медвежьих углах?

Разумеется, вся эта лесная романтика довольно скоро кончилась. На другой день мы были уже снова на шоссейной дороге... Оказывается, все на той же самой Варшавке. Идем, как выяснилось из расспросов местных жителей, на Медынь. Первый раз, кажется, и слышу о таком городе. Острили насчет меду, насчет дынь... Потом перешли на те «дыньки», которые падают сверху...

Крутом стояли леса. Шли по обочине, чтобы не мешать транспорту. В сторону фронта, обгоняя нас, ехали полуприцепы и трехтонки, груженные бойцами. Иногда к машинам были прицеплены орудия. С некоторых машин доносились песни. Машины летели быстро. Зеленые ветки, прицепленные для маскировки к кузовам и к орудиям, трепыхались в воздухе. Завтра, а может еще и сегодня — кто знает, — эти люди будут уже на фронте... Опять становилось страшно.

Стояла невыносимая жара. Обмундирование просолилось от пота. Идти было очень тяжело. Нести приходилось много. Винтовка, скатка, вещевой мешок, полный патронов. В виду отсутствия транспорта «боепитание» было роздано по рукам. В моем мешке было полторы сотни патронов. И, кроме того, довольно тяжелая санитарная сумка.

Хуже было, однако, пулеметчикам и минометчикам. Всё приходилось нести на себе. По очереди, по несколько человек, на палках и на импровизированных носилках волокли этот тяжелый и неудобный груз... Пока на одной из стоянок не выяснилось, что один пулемет исчез. Неизвестно когда и куда. Никто его не потерял и не оставлял, а пулемета не было. Ловкость этого маневра выдавала уголовную сноровку. Виновных так и не доискались. Но начальство поняло, что рискует серьезными вещами. Стали брать больше подвод в колхозах и возить на них тяжелое оружие и снаряжение. А также иногда хилых и больных людей, которых с нами, как уже сказано, было довольно много. Сердце разрывалось при виде колченогих, кособоких, совершенно седых людей, цеплявшихся за телеги и старавшихся как-нибудь на них примоститься. Многие, казалось, совершенно безнадежно отставали. Иногда становилось легче на душе от сознания, что-де такой-то примелькавшийся старичок отстал. Отстал и, бог даст, застрянет где-нибудь в санбате или больнице. Но, глядишь, к вечеру или вообще на каком-нибудь большом привале все отстающие постепенно подтягивались. Что их вело вперед? Какая сила? Воинственный энтузиазм в них предположить было невозможно. Чувство долга? Они не могли не понимать, что долг их вовсе не в том, чтобы тя-

нуться собственным ходом, через силу и неизвестно куда, по неосмотрительности какого-то растерянного начальства. Зачем мы тянем за собой всех этих инвалидов? Может быть, у нас все-таки какая-то особая задача, может быть, мы идем не на фронт?

Под тенистым деревом, несколько в стороне от дороги, сидели три или четыре наших командира — не молодые кадровые, а пожилые ополченцы. Они напоминали людей, наслаждающихся покоем и природой, что-то даже, кажется, при этом не спешили. Кто-то из нашего батальона признал среди них своего и, проходя мимо, окликнул его, шутливо спросив, чего, мол, они тут посиживают, как на охоте?

— Да вот хочется, может, последний раз попользоваться деньком... — это ответил человек со спокойным, открытым и несколько грустным лицом.

— Ну вот, в последний... Погоди, придем на место, там и отдохнем как следует.

— Эх, ты. Неужели ты не понимаешь, куда нас ведут, неужели не видишь, — сказал тот, кивая на пролетающие мимо по дороге машины...

Да, конечно, сомнений и иллюзий никаких не должно быть. Конечно, мы движемся к фронту... Приходилось мне, впрочем, слышать разговоры о каком-то таком месте, куда нас должны привести и откуда должны быть отправлены домой все негодные для военной службы люди. Некоторых, собственно, отправляли даже и не дожидаясь прихода на это фатальное место. Был у нас в батальоне некий человек, юрист, кажется, по образованию, который ужасно действовал всем на нервы. Он отличался феноменальной болтливостью и невероятной неприспособленностью к строевому быту. Все занятия, на которых он присутствовал, всякое дело, в котором принужден был участвовать, превращалось в посмешище, в балаган. Он действовал разлагающе буквально на всех, не исключая начальства, бессильного перед этим воплощенным отрицанием всяческой дисциплины и воинственности, — этаким Швейк в квадрате.

Сам он как будто даже и не стремился к уходу из ополчения, вряд ли такая возможность могла прийти в его ирреалистические мозги. Его, видимо, направили в санроту с требованием на каких-либо условиях избавить батальон от его присутствия. И вот он вернулся с распоряжением об эвакуации ввиду наличия у него радикулита. Возможно, что и сам он не понимал всей смехотворности подобного диагноза. И ему, видно, вовсе не хотелось покидать

нас. Он долго еще слонялся по взводам, рассказывал, с ужимками и причмокиваниями, что он бы вообще всей душой рад служить трудовому народу.. но — радикулит! И он подымал палец вверх.

Как это ни странно, хотя многие больные и старые люди, несомненно, очень тяготились военизированной жизнью, сорокакилометровыми переходами, ему никто не завидовал, и все были рады — наконец-то! Он, кажется, был еврей по национальности, хотя ничего характерно еврейского, кроме, быть может, известной доли юродства, в нем не было, и с этой стороны его опять-таки никто не воспринимал и не осуждал. Просто действовала на нервы его назойливость и психопатичность. Забыли его, впрочем, далеко не сразу. Нет-нет да и приводил кто-нибудь к случаю его фамилию, как нечто нарицательное. И я его помнил долго, а человечка этого вижу ярко и отчетливо сейчас, с поднятым вверх пальцем:

— ...Но — радикулит!

Врача — начальника нашего взвода — отозвали обратно в санроту, а на его место прибыл пожилой военфельдшер, с некоторой медицинской практикой и, видимо, служивший какое-то время в кадрах в мирной обстановке. Сужу потому, что он хорошо разбирался в правах и обязанностях батальонного медика, в особенности в том, что касалось санитарии. Стал проверять кухни, чего мы раньше не делали, и приказал ротным санинструкторам организовать баню, как только придем на какое-либо более или менее твердое место.

Вот она и Медынь. Небольшой деревянный городок, совсем тихий, будто война его и не коснулась. Движение, пыль и шум только на главной улице — она же Варшавское шоссе, как, вероятно, и в мирное время. И вдруг, совсем недалеко от классических форм собора XVIII века, две свежие круглые ямы — одна побольше, другая поменьше — от сброшенных, видимо, несколько дней тому назад немцами фугасных бомб. Первые для нас следы бомбежек, о которых мы столько были слышаны. Каменный дом на соборной площади, в некотором отдалении от собора, отчасти пострадал: выбиты окна и двери, сильно выщерблены в нескольких местах кирпичные стены. А на стене собора, в непосредственной близости от которого разорвались бомбы, только облупилась штукатурка и ничего больше. Крепкий (да и крупный) кирпич делали в екатерининские времена! И клали его на хорошем растворе. Газеты писали, что во время обстрела Дюнкерка древние укрепления тоже хорошо выдерживали авиационные бомбы и артиллерийские снаряды.

Испепеляющая жара. Никаких дождей или ветров. Удивительная погода. Я стал привыкать к длительным маршам. Первое время, когда нас стали гонять километров по 35—40 в день, мне казалось, что я не выдержу. Идешь, бывало, из самых последних сил, вот-вот, кажется, упадешь. Давала себя знать не только непривычка к такой ходьбе, не только чисто физическая, но и большая нервная усталость, накопившаяся за последние предвоенные, тревожные и напряженные годы.

И я тогда урезонивал себя так: «Ладно, — говорил я себе. — Тебе очень трудно, может быть, ты и действительно сейчас упадешь, но ведь ты еще не упал и еще несколько шагов ты пройти можешь. Вот и сделай их, а там видно будет». Потом еще несколько и еще, пока не выработалась некоторая инерция и не притупилась острота чувства изнеможения. Ходить постепенно кой-как стало можно, несмотря на мучительную жажду, на обжигающее солнце. Ощущение всего этого постепенно притуплялось. Но довольно много времени прошло, покуда изнеможение не перестало ощущаться мучительно тяжело во время привалов. Когда отдавалась соответствующая команда, то можно было только лечь — не хотелось уже ни пить, ни есть. И тут же невыносимо начинали саднить потертости на ногах, болеть плечи от ремней и тесемок, начинала резко гореть кожа на обожженном лице. Вот тут уж действительно иногда казалось, что больше не встанешь.

— Что ты сделал со своей ногой, говори — что сделал?..

Это голос моего командира. Превозмогая ужасные боли в мышцах и все тянувшие кнizu силы, я надел санитарную сумку и пошел, пошатываясь, на заплетающихся ногах, на этот истошный крик. Перед моим командиром лежал на траве молодой парень с раздутой и совершенно посиневшей стопой. На ней, видно, уже дня два-три как образовалась сильная потертость, вызвавшая опухоль и воспалительные явления.

Меня удивила и огорчила подозрительность моего командира. Мне самому еще не приходили в голову подобные мысли и тем более подобные поползновения, ставшие столь понятными позже. Что он мог сам с ней сделать? Разве что из какой-то ложной стыдливости не заявил об этом раньше?

Юношу мы эвакуировали, но через несколько дней я его уже снова видел в строю. В той обстановке все удивительно быстро заживало!

В газетах давно уже появилось смоленское направление. Кой-кто поговаривал, что Смоленск уже взят. Где сейчас фронт? Мы

уже опять с неделю как стоим в лесу, роем окопы и строим блиндажики с бревенчатыми накатами. Не это ли и является предметом нашей военной деятельности?

Мы ровно ничего не знаем о войне. Тишина абсолютная. Лето все такое же сухое и знойное, как и раньше. Июль проходит. Ночи становятся темней и длинней, в этом сказываются первые признаки осени.

Снова несколько дней в походе. Пересекли однокольную железную дорогу, говорят — на Брянск. Стали около небольшой станции. Время от времени проходят замаскированные товарные составы. У станции и у станционного поселка по какой-то его заброшенности и запыленности, растерянности и обалделости людей, совершенно, с моей точки зрения, прифронтовой вид. На поселке была почта. Я упаковал небольшую посылку из остатков моего гражданского платья (плащ и еще что-то) и решил сделать попытку отправить ее домой. Посылку, к удивлению, приняли без разговоров. Спросил, до какого пункта курсируют поезда. Никто не знает. Может быть, и знают да боятся сказать... Военная тайна. От всего этого опять тревожно сжимается сердце. Что если фронт движется к нам навстречу с такой же скоростью, как и мы к нему? Но почему же никакой войны, никаких признаков войны вокруг нас ни на земле, ни на небе? Ведь мы уже почти что на полдороге к Смоленску?

Когда я шел по станционному поселку с моей импровизированной посылкой, на заборе мне попалось на глаза печатное объявление: «Советский боец в плен не сдастся!»

Почему бы это вдруг, ни с того ни с сего, такой неожиданный лозунг и в таком, казалось бы, мало подходящем для него месте? В расчете на проходящие военные части?

Очевидно, наших уже немало в плену, как в Первую мировую войну. Неужели и нас тоже ждет подобная перспектива? Первый раз представление о плене возникло в моей голове как некая отнюдь не исключенная реальность...

У нас был весьма представительный и крупный, с хорошей офицерской выправкой и в то же время вполне интеллигентного вида командир хозвзвода. Взводу него был большой, и в нем много интеллигентных и небоеспособных людей. Так как в моем окружении ни в нашем санвзводе, ни в штабе батальона, ни среди ротных санинструкторов интеллигентных людей не было, то меня, естественно, тянуло к хозвзводу, тем более, что по правилам построения батальона мы и на марше, и на стоянках оказывались всегда поблизости.

Я стал вести разговоры и с командиром взвода — преимущественно на военные темы — и знакомиться с его подчиненными, находя в них собеседников с довольно разнообразными интересами.

Командир хозвзвода по службе своей разъезжал иногда и сам и виделся много с другими людьми, выезжавшими из части в разных направлениях. Горизонт его поэтому был значительно шире моего и всех тех, с кем я непосредственно сталкивался.

«Я думаю, — говорил он, — что бои идут где-либо между Оршей и Смоленском. Это на нашем направлении. Лучше значительно обстоят дела на Украине. Все-таки, как и встарь, большие реки являются существенными препятствиями на пути даже современной техники...» Все это было приятно слышать. И главное, хотелось этому верить.

Был у него во взводе один маленький и флегматичный человечек — инженер, специалист по алюминию. Сидел и чистил картошку на батальонной кухне.

«Понимаете, такая нужная военная специальность. Как его угораздило в ополчение? Я уже и рапорт по поводу него написал...» — недоумевал его командир.

Снова мы роем окопы. Укрепляем пулеметные гнезда, рубим деревья, строим блиндажи. Все уже как по-писанному. Знаем уже, что как только кончим работу — двинемся дальше.

К нам в батальон на этой стоянке заявили командир и комиссар нашей дивизии. Я их не видел. Видел только открытую черную машину, вполне гражданского вида, на которой они приехали. Пробыли они в расположении нашего батальона очень недолго, но внесли в его жизнь значительное оживление. Сразу же произошли некоторые перемены. В хозвзводе было создано отделение боепитания и командиром его назначен человек, с которым я уже раньше был знаком, с удовольствием всякий раз с ним встречался, так как он сразу же, едва мы с ним заговорили, возбудил во мне чрезвычайную симпатию. Преподаватель физики какого-то из московских вузов, он был, несомненно, самым образованным и интеллигентным человеком в поле моего зрения. Простой и любезный в обращении, он нравился многим. В нем было что-то весьма располагающее к нему людей самого разного уровня и склада. К нему обращались многие, и он всем старался помогать словом и делом.

Он был несколько старше меня — лет на восемь, на десять. Разница небольшая, но существенная в том отношении, что хотя

лишь под самый конец, недолго, но он все же успел побывать участником Первой мировой войны и поэтому относился ко всему несколько иначе, чем я. В нем было много спокойствия и трезвой оценки обстоятельств. Меня очень тянуло к нему в тоске по интеллигентным людям, и мы довольно коротко подружились, хотя виделись, в общем, редко из-за его занятости и частых отлучек в роты и в какие-то более отдаленные места. Вместе мы оказывались на маршах, на ходу разговаривали на самые разнообразные темы, иногда уводившие очень далеко от действительности.

Относительно инженера-алюминщика комиссар дивизии заверил, что тот будет вскоре отозван. Что он сам об этом позаботится... Вообще, сказал он, будто бы в самом скором времени разберутся и с остальным личным составом.

Все мы поздравляли нашего инженера. Желали ему счастливому пути. Он повеселел, оживился и посерьезнел в то же время.

«Конечно, пойду сразу же на завод. Домой только загляну... и на завод», — повторял он, и в его словах вместо обычной инертности и какой-то покорности обстоятельствам почувствовались некие решительные и мужественные нотки. Человек явно возвращался в себя, чувствовал под собой почву и на ней свое, подобающее ему в этих условиях место...

В реальность перемен, могущих повести к возврату в Москву, стали верить и другие, попавшие по недоразумению в ополчение люди. Но пока что надо было снова двигаться вперед. Мой приятель — Петр Осипович — рассказал мне, что нас будто бы ведут на какое-то место, которое мы должны будем соответствующим образом укрепить и которое будем защищать, если к нему приблизится линия фронта. Версия эта показалась мне убедительной и как-то меня успокоила, просто как что-то реальное и определенное впереди.

Самым страшным для меня в моей солдатчине продолжала оставаться неизвестность, и прошло очень много времени, пока я не привык, наконец, к этой полной неизвестности в отношении завтрашнего дня и пока она вместо причины для волнений не обратилась в оплот спокойствия духа.

Мы вышли из леса на сравнительно открытые пространства. Все та же шоссейная дорога, но у всей природы какой-то запыленный и зачаженный вид. Что-то было во всем пейзаже совсем не то, к чему мы привыкли за время движения и стояния по лесам. Станные вещи рассказывали нам местные жители.

— Вот только с неделю как тихо стало. А то житья не было от немецких самолетов. Так бы вам не ходить по дороге, как теперь идёте... Летали по самой земле, за отдельным человеком гонялись. Один боец тут бегал-бегал от самолета, а тот все за ним и поливает из пулемета... Тот, наконец, скинул рубашку и лег на-земь, только тогда и отстал стервятник...

Как-то странно было все это слушать, и трудно было в этокое поверить, чтобы самолеты охотились за отдельными людьми.

— Ну, а наши-то по ним разве не стреляли?

— Стреляли... Станция у нас, километров двенадцать, там и зенитки есть...

— Ну и что же?

— А кто ее знает... До того низко и часто летали, ну как вороньё... С неделю вот уже как ни одного нету...

Все это было, по меньшей мере, странно. Что бы это все могло значить? Ответа получить было не от кого. Так же, как и я, никто этого толком не понимал.

На другой день, когда мы остановились на обеденный привал в невысоком кустарнике на пологом холме у небольшой речки, показалось несколько самолетов, разрозненно летевших на высоте не более тысячи метров. Летели они как-то не очень быстро и с виду были совсем как наши. Команды «воздух» не последовало, но зато где-то неподалеку началась зенитная стрельба. Видно было, как между самолетами в небе рвутся снаряды. Самолеты покружили в районе нашего расположения, никак не реагируя на зенитки, и не спеша улетели. Хотя и не произошло ровно ничего плохого, но стало как-то опять беспокойно и нехорошо на душе. Самолеты в памяти стали представляться какими-то черными, страшными, с белыми крестами у хвостов. Почему же они не боятся наших зениток?

Близость фронта ощущалась не только по немецким самолетам. Мы остановились в лесу на таком месте, где до нас на короткое время останавливались какие-то другие части. На короткое — потому, что не было вокруг сделано никаких обычных оборонных сооружений — ни окопов, ни блиндажей. Но все лесное пространство вокруг очень замусорено и загажено. Помимо то тут, то там попадавшихся нечистот, везде валялись коробки из-под патронов и снаряжения, пустые консервные банки, большое количество обрывков разной бумаги, обрывки писем... Вид у всего этого был какой-то зловещий, сугубо прифронтовой.

Точно люди наспех снаряжались для того, чтобы выйти на передовую. Может быть, и нас привели сюда с этой же целью? Действительно, мы здесь тоже получили кое-какое дополнительное снаряжение: выданы были плащ-палатки, одна на четверых. У нас был большой недостаток в котелках — их выдали теперь из расчета один на двоих.

Было объявлено, что наш полк вообще является разведочным. И что первая рота нашего I батальона тоже является разведочной и поэтому должна быть всячески усилена. В частности, приказано было прикомандировать к ней инструктора от санвзвода, и туда перебросили меня. Это обстоятельство довольно надолго разлучило меня с моими товарищами по санвзводу, о чем я жалел не очень, но также и по хозвзводу, т.е. в первую очередь с Петром Осиповичем, которого мне всегда не хватало. Я набрасывался на него со всякими разговорами, как только мы оказывались снова поблизости, и, как всегда в таких случаях бывает, мне всякий раз казалось, что самого-то главного мы как раз и не обговорили, потому что второпях и при обилии тем, которые надо было обсудить, разговоры получались бессвязными и перепрыгивали с предмета на предмет.

Последнее, что я услышал от Петра Осиповича, было сообщение о том, что наше начальство поехало осматривать новое расположение полка, то самое, о котором говорили уже и раньше, где мы должны будем прочно обосноваться и окопаться.

Начальник мой, перед тем как откомандировать меня в 1-ую роту, позволил мне как следует запастись всякими медикаментами и перевязочными материалами. Моя санитарная сумка разбухла, в вещевом мешке у меня было бог знает сколько патронов, и когда я в таком снаряжении явился в роту, старшина ее, пожилой приятный на вид человек, с которым мы легко и быстро сошлись, оглядел меня сочувственно-критически и тут же предложил пользоваться для моего имущества ротной повозкой. А когда он узнал о том, сколько у меня патронов, то тут же предложил мне сдать их ему все до единого.

— А я вам расписочку напишу, небось ее вам носить-то будет полегче...

Не только со спины моей, но и с души свалился тяжелый груз. Мне как-то внутренне стало гораздо спокойней без патронов. Во-первых, я боялся их потерять, а потом вообще — я не очень задумывался, почему собственно — сделалось значительно вольготней и легче.

Два дня мы были в непрерывном марше по каким-то холмистым и довольно открытым местам. Двигались уже не по шоссе, а по большакам и проселкам. К вечеру второго дня до нас стала доноситься глухая артиллерийская канонада... Вот он и фронт. Привели-таки! Где мы? Дороги, по сторонам которых мы двигались, были необычайно разъезжены. Колеи, следы повозок, машин, копыт и сапог занимали полосу метров на 50—60 шириной. К таким дорогам вскоре я пригляделся.

Вечернее небо казалось чрезвычайно тревожным. Рваные облака. Резкие линии на горизонте. Нас поставили на этот раз как-то довольно скученно, не так широко, как ставили раньше. Батальон, что с ним редко бывало до сих пор, весь оказался в сборе на небольшом участке. Чувствовалось, что это, видимо, еще не то место, где нам надлежит прочно расположиться. Никакие саперные работы не производились.

Где мы? На другой день выяснилось, что где-то недалеко от Ельни. Вон куда нас занесло. Ведь это почти что Смоленск!

Расположение наших подразделений, в особенности местонахождение штаба батальона, тщательно маскировалось. Это приводило к тому, что после каждого перемещения некоторое время найти эти пункты среди леса оказывалось совершенно невозможно. Ходишь-ходишь по перелескам с каким-нибудь поручением и никого не можешь обнаружить. А штаб полка, например, найти было уже абсолютно невозможно, тем более что он располагался от нас не ближе двух-трех километров. Пока не наскочишь на часового, выскакивающего на тебя тоже из-за какого-нибудь куста, можешь ходить зря день-деньской.

«Ну ладно, — думалось мне, — сейчас все тихо. А случись где-нибудь что-нибудь, ведь так никого и не найдешь...» Пользы от этой маскировки реально, вероятно, никакой, а ужасный и непоправимый вред обнаружится сейчас же, как только понадобится установить быстро контакты между подразделениями.

Километрах в 15—20 от нас непрерывно грохотала артиллерия. Это был даже не грохот, а какой-то сплошной вой и гул, как будто работали миллионы ткацких станков.

В чьих руках находится Ельня? На этот счет ходили самые противоречивые слухи. Ясно было только, что впереди нас происходит или какая-то адская артиллерийская подготовка или, может быть, наши таким образом держат оборону, отбиваются от наступающих немцев?

Вояки мы были плохие, ничего не понимали, а начальство наше не лучше нас. На другой день мимо нашего расположения шли и шли в сторону фронта тяжелые танки. Говорили, что это прибыли сибирские дивизии, что бой за Ельню достиг своего апогея. Страшная канонада не прекращалась ни днем, ни ночью. Нашу кухонную повозку в каком-то узком пространстве между плетнями зацепил и едва не раздавил танк. Немного досталось и одному из поваров, пожилому уже человеку. На его истошный голос я прибежал со своей сумкой — узнать, в чем дело. Телега слегка изменила форму, но на ней почти ничего не пострадало. Часть колбасы, впрочем, оказалась в жидкой глине — говорили — выбросило в колею, потом подобрали. Повар, которого два человека держали под руки, был бледен, глаза у него блестели, и он на чем свет истерически поносил танкистов, которые ехали, будто бы не обращая ни на что внимания.

— Вот, чуть-чуть свои ведь, что б им и так и этак, на тот свет не отправили... Разве ж можно так, да что же это за звери...

Я попытался осмотреть его, он почему-то не давался. У меня сложилось впечатление, что он, быть может, не совсем трезв, но я не стал уточнять этого обстоятельства. Убедившись, что помощи моей, видимо, не требуется, ретировался восвояси. В роте случай этот служил предметом оживленного спора: обсуждался вопрос — может или не может танк в подобном случае свернуть с дороги.

Дня через два-три мы читали в газетах и слышали от политруков об освобождении Ельни, которую немцы полностью будто бы и не успели захватить. Сообщалось о больших немецких потерях и о героизме наших частей. Публиковались награды.

Далеко ли отогнали немцев? Канонада, во всяком случае, стихла. Прекратилась или откатилась к западу? Никто этого не знал.

Отведя от этого места километров на 20 к юго-востоку, нас снова разбросали очень широко на довольно открытой местности — холмистой, овражистой, покрытой кустиками и перелесками. Я со своей 1-ой ротой оказался километрах в пяти от штаба батальона и своего санвзвода. Командный пункт роты, а возле него и я, расположился на поросшем леском бугре — сухом и песчаном, откуда открывался довольно широкий вид. Взводы расположились неподалеку в поле, в открытых неглубоких окопах. Настоящих саперных работ мы почему-то и здесь опять не производили. Командир роты и политрук ютились в шалашике. Писарь и старшина (а с ними и я) — под растянутой довольно неряшливо палаткой, прикрывавшей преимущественно боеприпасы и снаряжение.

Но из-под палатки мне пришлось вскоре же выбраться. Как-то ночью немного покапал дождь, и под нее забилося сразу несколько лишних человек. Спали в тесноте, а утром я сразу же почувствовал на себе вшей. Наши импровизированные «бани» не помогали, и завшивленность была сильная. Никто, однако, от нее почему-то не страдал и не жаловался. Наоборот, избегали мытья — больше, мол, напачкаешься, чем намоешься...

А я для себя понял, что надо во что бы то ни стало избегать скученности — поспал ночку вповалку и вот тебе, пожалуйста. На следующую же ночь я перебрался под соседнее деревце, метрах в двух от этой палатки-палатки.

Командир нашей роты был старший лейтенант, лет двадцати с небольшим, с резким украинским акцентом. В обращении грубоват, напорист. Ротный политрук — почти полная его противоположность — из небольших профработников, привычный к мало-значущим разговорам флегматик и резонёр. Как-то после читки газет и политбеседы я, заметив у него в кармане карту (мелкомасштабные карты были большой редкостью в батальонах — видимо, считалось, что они ни к чему), подсел к нему и попросил его показать, где мы именно находимся. Он с готовностью развернул карту, и мы нашли на ней близлежащую деревню. Потом палец его стал скользить от пункта к пункту по какой-то проселочной дороге.

— А вот сюда мы будем отступать, — произнес он задумчиво...

— Отступать, — недовольно проворчал услышавший эти слова комроты, — отступать... Ты показывай, мать твою так, куда мы наступать будем!

Политрук криво и виновато ухмыльнулся, ничего, однако, не прибавив и пряча карту в сумку.

Как-то я прислушался к разговору писаря и старшины. Он явно касался нашего командования. Я придвинулся к говорившим и вопросительно посмотрел старшине в глаза.

— Нет, я говорю — политрук у нас спокойный, рассудительный... А вот за ротного не поручусь, не нравится он мне. Этот куда угодно очертя голову полезет...

С наблюдениями старшины, пожалуй, трудно было не согласиться.

Одним из взводов нашей роты командовал совсем молодой паренек, лейтенант, участник финской кампании. Он был до того весь изранен, что его не взяли в армию даже и добровольцем. Тогда он пошел в ополчение, где отказу быть не могло. Был он прост

и приветлив, со всеми держался по-товарищески, охотно вступал в разговоры и обстоятельно отвечал на вопросы. Что происходит на фронте, он представлял себе не более остальных, но у него был опыт, значивший очень много. Он пренебрежительно относился к разным наставлениям и требованиям инструкций, говоря, что на фронте все это мало применимо. Из его рассказов вставал окопный фронтовой быт нашего времени, т.е. то именно, что, видимо, нас всех ожидало, и мы расспрашивали его с интересом.

— Это ерунда, — говорил он, — что костры не велят разводить. Ночью, конечно, не дело, а днем возьми чего посуше, и никто твоего костра не заметит.

— А правда, что на фронте и спать в окопах приходится?

— Ну почему? По силе возможности. Иной раз и днем вылезти можно — снимешь рубашку да и загораешь...

От таких разговоров становилось немного спокойнее на душе, возникала какая-то бытовая реальность — конкретные черты фронтовой жизни, делавшие ее понятной и в какой-то мере более приемлемой...

Нас стали посещать немецкие самолеты-разведчики — «кукурузники». Маленькие одноместные монопланы с небольшой скоростью и трескучим мотором, они летали на небольшой высоте и очень этим нас раздражали. Стрелять по ним не полагалось, дабы не обнаруживать своего местоположения.

Новот как-то самолетик оказался прямо над нами, и наш приятель-комвзвода на свой страх и риск поставил на попа пулемет и открыл по нему огонь. Уж очень ему, видно, хотелось сбить этот самолет. Мы то и дело читали в газетах, как немецкие самолеты сбивали удачными винтовочными выстрелами...

Самолетик летел на высоте в триста-четыре метра, ну прямо-таки над головой. Стрельбу он услышал, слегка накренился, летчик, которого было очень хорошо видно, посмотрел вниз. И полетел дальше, как ни в чем не бывало. Комвзвода получил нагоняй, а мы были крайне разочарованы и недоумевали все, включая и самого комвзвода, почему это «кукурузник» не только что не был сбит, но даже не испугался. Причину этого я узнал много времени спустя...

Как постепенно выяснилось, нас поставили километрах в 25 от фронта, против парашютных десантов, о которых было много разговоров среди начальства. Нет-нет, да и заставляли нас прочесывать перелески, осматривать овраги. Удивительным образом ни

разу не обнаружили мы не только парашютистов, но и ни одного парашюта, хотя бы нашего, а не немецкого.

Свою авиацию мы видели преимущественно только ночью. Позади фронта самолеты летали с огнями, чтобы их не приняли за немецкие и не открыли по ним стрельбы. Летали, видимо, и немцы, без огней и при этом весьма низко. Что им было нужно, сказать трудно, но, повторяю, никаких следов высадки не то что десантов, но и отдельных парашютистов мы ни разу не видели примерно за месяц такой «работы».

Ходили также слухи, что немецкие шпионы, проникшие за линию фронта, из тыловых расположений пускают по ночам ракеты, указывая местоположение каких-то интересующих немцев объектов. Ракеты нам действительно приходилось видеть, но что это были за ракеты, кто их пускал — немцы или наши, — определить было невозможно.

Однажды ночью мы были разбужены по тревоге: предстояла операция по задержанию вражеского сигнальщика. Кто-то в районе близлежащей деревни подал сигналы огнем. По прибытии на место мы установили, что это одна женщина ходила с фонарем проверять — не опоросилась ли свинья. Ее отправили в штаб батальона, но, кажется, не далее того и без каких-либо для нее неприятных последствий.

Но вообще начальство наше — и ротное, и батальонное — было очень подозрительно, с одной стороны, и весьма плохо разбиралось в обстоятельствах, с другой. После того, как однажды над нашим расположением пролетели два или три штурмовых самолета и один из них выпустил две или три пулеметные очереди по неизвестному объекту, я слышал, как ротный и политрук долго препирались при составлении донесения об этом происшествии: что обстрелял самолет? И сошлись на том, в конце концов, что стреляли по стаду гусей.

Однажды прибывший к нам на полуторке комбат приказал мне ехать с ним в расположение штаба батальона, в санвзвод, за получением медикаментов. В кузове машины кроме меня было еще два или три бойца. Выехали, когда довольно уже стемнело, началась гроза. Только мы двинулись, как комбат приказывает сворачивать с дороги, потому что де, мол, дорога простреливается. С большим трудом мы его убедили, что это всего-навсего за лесочком молнии...

Невольно подымались горькие мысли о возможности всяких

неожиданных трюков со стороны такого начальства в какую-нибудь ответственную минуту. А ведь в руках у такого человека жизни нескольких сотен людей.

После непродолжительного затишья опять стала доноситься отчаянная артиллерийская стрельба. Впервые тут мы услышали рокот «катюш», о которых рассказывали всяческие чудеса. Видимо, готовилось новое наступление. Или отбивались соответствующие попытки со стороны немцев? Мы ничего об этом не знали. Шел август. Кругом стояла спелая рожь, которую некому было убирать. А рядом столько бездельного народа — мы, в первую очередь. Мучительно мечталось о том, что нас пошлют на уборку урожая. Как это было бы замечательно! Подумать только — мирный труд после этого отвратительного солдатского безделья. Как будто и время занято, а ни одной производительной секунды! Но на уборку нас не посылали. Под орудийный вой безделье было особенно мучительно.

Мне, впрочем, постепенно прибывало работы. Приказано было, во-первых, взять под строжайший контроль какой-либо из колодцев в деревне и только из него одного разрешать кухне и бойцам брать воду во избежание отравлений. «Немецкие диверсанты отравляют и заражают колодцы!» Хотя ни об одном таком реальном случае я не слыхивал, но приказ есть приказ. А потом, ввиду жалоб на недостаточную пищу, необходимо было сопровождать повара, развозившего паек и приварок по взводам.

Кормили, вообще-то, довольно хорошо. Калорийно, но маловато в количественном отношении. Жизнь на свежем воздухе весьма развивает аппетит, несмотря на подавленное настроение. «Кормят на убой...» — острили некоторые.

Кроме того, я обходил каждый день взводы с санитарной сумкой, раздавал разные медикаменты, выслушивал жалобы, подавал советы, а иногда и направлял больных в санвзвод.

Во время моих хождений в деревню я познакомился кое с кем из жителей, от которых только и узнавал хоть что-нибудь о том, что творится на белом свете — не только о своих, но и о немцах. Одна баба мне с совершенным простодушием рассказывала:

— Ведь немцы недавно ближе стояли, чем теперь. Верст за десять отсюда стояли... Вон третья изба от края — переселенцы из той деревни живут, дом у них сгорел... Они их своими глазами видели. До чего, говорят, народ веселый, с гармошками — пляшут и пляшут...

Приносилось это все с оттенком некоторого если не презре-

ния, то безразличия в отношении нас. Куда, мол, вам до этих веселых немцев... И можно было подумать, что эти деревенские люди как бы чувствуют себя уже под немцами, примеряются и приучают себя мысленно к ним, а нас терпят как нечто временное и не очень желательное. Начнут, мол, тут еще бой, только нас погубят...

Но ведь мужчины из этой деревни все были на фронте — как же оно возникло, такое отношение? И все-таки оно несомненно существовало, каким-то совершенно бездумным и беспардонным образом.

Во время моих хождений по взводам наткнулся я однажды, шагая через бурьян, на листок бумаги, на котором что-то было напечатано довольно крупным шрифтом: «Пропуск через фронт! Советские солдаты, командиры и политработники, бросайте оружие и переходите на немецкую сторону. Сталин — капут! Бери хворостину — гони жида в Палестину! Имейте этот листок при себе, переходя через фронт...»

Да, не больно хитрая агитация с антисемитским дунком. Прямо точно у нас учились, подумал я. Подобренные листовки был приказ отдавать начальству. Но эту я разорвал и выкинул, благо никто у меня ее в руках не видел. Сдашь, так еще и хлопот наживешь — где именно поднял да нету ли, мол, там еще?..

Мы вели себя по отношению к деревенским жителям довольно корректно. Иногда пользовались каким-нибудь колхозным инвентарем, но, в общем, не обременяли ничем особенным деревню. Бывали, однако, случаи мелкого мародерства — заставляли бойцов роющими колхозную и даже приусадебную картошку. В таких случаях поступали жалобы, подымался крик в деревне. Мародеров начальство наказывало, а баб мы по-товарищески пытались стыдить, но куда там...

— У нас у самих ничего нет... вы у начальства у своего просите...

Точно вовсе чужие, не желающие вникать в солдатскую долю люди. А ведь в каждой семье есть солдаты, о судьбе которых так же ровно ничего не знали они, как и мы о судьбе своих родных, оставшихся дома или эвакуированных неизвестно куда.

Однажды я встретил на деревенской улице мальчика лет 14-ти, в форме ремесленного училища — форма эта тогда еще была в диковинку, как и само это сомнительное и отдающее царским режимом сталинское нововведение.

— Как ты сюда попал?

— А нас сначала вызвали в училище, в Вязьму, а потомпустили. Директор сказал — эвакуации не будет. Идите, мол, кто куда. Я и приехал домой.

Мальчуган веселый, видимо, вполне довольный неожиданным возвратом в родную деревню. Что ему немцы... Мужчины в деревне были все только такого возраста, да калека — председатель колхоза, да три-четыре глубоких старика... Которые чуть попроворней, хоть и старики, а забрали на трудовую... т.е. на рытье окопов и на другие прифронтовые работы. А на носу уборка. Может быть, додумаются, в конце концов, да пошлют нас?..

Канонада на фронте то затихала на какое-то время, то с новой силой возобновлялась. При этом миг наступления тишины бывал почему-то неуловим. Сознание того, что наступила тишина, появлялось уже тогда, когда тишина полностью наступала и продолжалась какое-то время... Почему я ни разу не уловил момента наступления тишины?

Однажды на наш командный бугорок привели человека лет 30 на вид, среднеазиатского облика, видимо, узбека. По словам приведшего его командира отделения, он шел со стороны фронта и вышел на наше расположение. Добиться от него какого-либо толку оказалось невозможно.

— Ничего не соображает по-русски, товарищ старший лейтенант. А в нашем отделении ихних нету..

У него был довольно странный вид — без оружия, без шинели и без пилотки, в неподпоясанной гимнастерке. На вопросы он отвечал спокойно, но как-то односложно. Иногда даже произносил, видимо, и некоторые русские слова, но очень коверкая их, и понять что-либо у него было действительно невозможно. Относился он ко всему безучастно, смотрел вокруг равнодушным, рассеянным взглядом. И только когда в небе раздавался звук пропеллера, он вскакивал и бросался бежать.

При взгляде на него думалось, что посади его на коня, дай ему в руки саблю, и это был бы боец дикой дивизии, с гиканьем мчащийся на врага. А современные средства войны, непосильные и невыносимые для его психики, привели его в депрессивное состояние. После бесплодных расспросов его отправили в батальон.

Некоторые из присутствовавших при его допросе бойцов отнеслись к нему участливо и с пониманием постигшей его трагедии. Других же он раздражал. Они или не верили ему — придуривается, мол, знаем мы таких... или начинали злобно ругать всех вообще нацменов, не умеющих и не желающих воевать.

— Только и могут, что за нашей спиной жить, говорили они, забывая, что мы и сами еще не только не проявили никакого героизма, но неизвестно, были ли способны хотя бы на некоторую выдержку.

В общем же, жизнь наша в этом месте приобрела определенный порядок и ритм. Внутреннее состояние мое несколько нормализовалось. Я привыкал постепенно к солдатчине, а о фронте думал уже как о чем-то неизбежном, куда я рано или поздно обязательно приду.

Мы начали аккуратно получать письма. Сначала их пришло сразу несколько — накопившихся за время наших блужданий. Я узнал из них, что жена моя с детьми эвакуировалась в Чувашию. Отец вскоре выехал туда же. В Москве оставалась только мать, работавшая в метро в качестве врача при бомбоубежище. Бомба, попавшая в Вахтанговский театр, выбила в нашем доме почти все стекла. Мать писала об этом с некоторым юмором. Вообще письма ее были необыкновенно спокойны, как если бы они были адресованы не в военную прифронтовую часть, а куда-нибудь в экспедицию. Я же писал, особенно поначалу, совершенно растерянные и тревожные письма. Теперь я об этом вспоминал уже с некоторым сожалением.

За признак того, что я входил в какую-то колею, следует, вероятно, принять мое возвращение к занятию мирного времени — писанию стихов. Но робко, урывками, совсем не так, как раньше... Они мне не нравились, казались беспомощными, работать над ними я не мог и не имел сил — писал как получалось сразу.

* * *

Я деревянный солдатик.
Живу, прижавшись к земле.
Серое, грубое платье
Лежит, как земля, на мне.

Я обезличен пылью
И связей живых лишен.
Небылью отступили
Жизнь и домашний сон.

Я деревянный солдатик
В громе и тьме войны.
По мне безутешно плачут
Мирные ночи и дни.

* * *

Вдруг настает момент, как будто нет войны.
Ни звука грубого в пределах слуха.
День светит счастливо. Им все кругом полны —
И люди, и леса, и вся небес округа.

Всё так, как будто час назад не грохотал
Тяжелым чугуном мертвящий гром орудий,
Как будто мир войны улегся на привал,
А мирный мир воспрял и дышит полной грудью.

Ни выстрела в лесах, ни самолета в небе.
Иди в широкий круг деревьев и цветов —
И нет в тебе войны как не было, чтоб в неге
Осеннего тепла прилечь и спать без снов.

Однако нет нам сна, как нет войне конца.
Вся жизнь настороже в предвидении обмана.
Пусть тихий день прошел, и ночь теплей свинца.
Всё чувствует войну за горизонтом рваным...

* * *

У нас бывают дни таинственных затиший —
Громовой и шальной войны слепой каприз,
Когда гнилой трухи над разоренной крышей
Вдруг шорох пролетит по черной ряби изб.

И ветер и земля вдруг обретают голос,
Утраченный для всех натруженных ушей.
И чувствуешь опять, как шевелится волос
На голове без снов, желаний и вестей.

И вытоптанный лес в тот день как сад весенний
От мертвых голосов и дрожи канонад,
Как мирный человек, воспрянуть духом рад,
Свой раскрывая лист и цвет белокисейный.

Как будто бы война не буйствует на свете,
И пулею не бьет, и бомбой не бомбит.
Мы, пыльный строй солдат, глядим, как солнце светит,
С душою, спрятанной в наряд под цвет травы.

Но эти стихи мне были очень дороги почему-то. Я их ощущал как какой-то дневник, который приятно перечитать на другой день. Я их берег и переписывал в маленькую записную книжку...

На протяжении августа месяца я очень сильно похудел. Живя

в большом внутреннем напряжении, в ожидании и в боязни фронта, я мало ел. Просто в меня ничто не лезло. В особенности нутро не принимало ничего сладкого и ничего жирного. Вокруг была такая гибель ягод и грибов, а мне земляника обжигала рот — до того она мне все еще казалась противоестественной в военных условиях. Иногда я чувствовал голод, но как-то подавлял его в себе и, в общем, пока еще не страдал от него. Хлеб я, правда, поедал весь, но прочее — котелок-то бывал на двоих — ел с товарищем так, что он две ложки, а я одну. Так мне казалось почему-то лучше, от этого становилось немного спокойнее на душе...

Я втайне надеялся: может быть, ослабею и заболесю? Мне представлялось необыкновенно заманчивым — заболеть. Это бы меня совсем отключило от всей этой обстановки. Может быть, даже положили бы в больницу?..

Был у нас в санвзводе один санитар, пожилой уже человек, воевавший в Первую мировую войну и побывавший в немецком плену. О плене у него сохранились очень неприятные воспоминания: голодал, терпел всякие наказания, издевательства...

— Буду до последнего биться, но в плен второй раз не пойду, — говаривал он убежденно.

Но потом у него начался фурункулез, его отправили в полк, и он больше не вернулся — то ли по возрасту был эвакуирован в тыл, то ли прижился где-нибудь при госпитале в санитарях.

Я ему очень завидовал, когда вспоминал о нем. Как бы ни сложилась его судьба, но он избежал фронта. Мне это представлялось большим счастьем.

Один раз, идучи полем по проселку, я увидел впереди едущую медленно от фронта грузовую автомашину. Она еще была в добром километре от меня, но с нее явственно доносилось какое-то унылое и неверное пение. Что это может быть такое? Какие-то пьяные едут? Звуки человеческих голосов усиливались... Нет, это не пение. Но что же это такое? Понял я далеко не сразу. Звуки голосов обострялись, когда машина раскачивалась на неровностях. После того как она еще немного приблизилась, стало все наконец-то ясно. Это разноголосые вопли нескольких человек. Это раненные, которых таким способом эвакуируют с фронта в полевую госпиталь. Сколько их там, за бортами кузова, не было видно. Но очень долго еще, когда машина давно прошла уже мимо, продолжали доноситься до меня эти страшные завывания.

Нет, уж пусть лучше угрожает сразу, что ли...

А слухи опять упорно настаивали на том, что мы в скором времени придем на фронт, что тыловая жизнь должна скоро кончиться.

Если раньше фронт пребывал в непрерывном движении и ежедневно на нас наступал, то теперь, по крайней мере на нашем участке, он остановился, притих, и мне стало казаться, что немцы, может быть, не продвинутся вообще дальше Смоленска на этом направлении. «Но Смоленск, — говорили одни, — уже давно в немецких руках». «Неправда, — говорили другие. — Одна сторона — наша. Фронт стоит на Днестре». Хотелось этому верить. Так же точно была толком неизвестна и судьба Киева. То говорили, что Киев сдан. А потом поползли слухи, будто его отбили обратно. Тоже очень хотелось этому верить. Но когда я услышал, как про это рассказывал один младший лейтенант, я понял, что все это один фольклор, и всякая вера во мне пропала.

— Зашли немцы в Киев, а там как почали из окон стрелять — из винтовок, из автоматов — немцы и убежали...

Это-то мы и по своему опыту уже хорошо понимали, что стрельбой из винтовок немца не напугаешь и не прогонишь...

На юге фронт был в движении. Но где он — видимо, тоже на Днестре, а кто говорит — уже подбирается к Дону. Разобраться в этом было невозможно. Газеты к нам попадали нерегулярно, потому что на всех не хватало, и их один день посылали в одно подразделение, другой — в другое. К нам они опять попадали уже только дня через три-четыре. Да и тут надо было ловить момент: бумаги курительной не хватало, и газеты жили недолго.

Куревом нас не обижали. Выдавалась очень хорошая, крепкая, так называемая «гродненская» махорка. Она выглядела как грубый трубочный табак. Я курил довольно много вообще. Коробки папирос и в домашних условиях едва мне на день хватало, а на войне стал курить еще больше. Но у меня образовался некоторый запас табака — так помногу и часто нам его выдавали.

Как-то лежали мы в траве — несколько человек, с нашим приятелем — молодым и бывалым командиром взвода, и разговоры опять велись в отношении фронта. Правда ли и скоро ли?

— Конечно, правда, — отвечал он. — Командир полка уже и место знает. Вот отведут какую-то часть сюда на отдых, а нас на их место...

— А вдруг наступление, ну куда мы годимся? Мы же и не учились ничему совершенно.

— Война научит... Участок нам дают тихий-спокойный. Загорать будем...

Эти разговоры снова вселяли в меня некоторое спокойствие. Мне уже, наконец, становилось невозможно это непрерывное ожидание неизвестности... Хоть бы скорее уж... Может быть, и впрямь ничего там не будет страшного — на фронте? Не везде же сплошной огонь... Есть же, небось, и тихие участки, так сказать, промежуточные. Вряд ли нас действительно могли бы поставить на какое-нибудь ответственное место. Мы и вооружены-то, в конце концов, кое-как...

За такими мыслями быстро бежало время. Вечера стали свежеваты, сумерки наступали раньше. Много времени проводили в потемках. Стала давать себя знать ночная караульная служба. Часовые у нас нет-нет да и засыпали. Их наказывали нарядами, грозили полевым судом и расстрелом...

Чем более налаживалась и упорядочивалась наша жизнь, чем больше обживал я теплый песчаный холмик, где под деревьями и между кустиками мы чувствовали себя совсем уютно, тем упорнее становились слухи о скором движении к фронту и тем тревожнее делалось на душе. За это время мы опять основательно отвыкли от страха, как-то приземлились и притерпелись к этому месту и обстоятельствам. Даже как будто обжились.

* * *

Я произнес: «Пойдемте, погуляем» —
И удивился собственным словам.
Мы обо всем так быстро забываем
В стремлении к мирным и простым вещам.

Мы побрели детьми в осенний вечер,
Во взбитую пропеллерами гладь,
По-волчьи остро, не по-человечьи,
Глаза вперяя в неба благодать.

Мой спутник, как и я, едва ли воин.
Гул канонады — звон колоколов.
Душевный мир как воздух беспокоен
В процессии за цепью облаков.

Мы молимся всяк собственному богу
О ниспосланыи полной тишины.
А пушки бьют и бьют свою тревогу,
Волнуя вечер трепетом войны.

* * *

Часы безделья тяжки на войне.
Как в лихорадке бьется мысль о смерти.
Мечты о доме яркие, как во сне.
Мечты о мире жалостны, как дети.

И неизвестность полная на миг
Не отпускает цепи суеверья.
А если фронт невидимый затих,
Предвосхищает горький счет потерям.

И только время движется быстрее,
Отчетливей и много напряженной,
Чем в самый боевой из мирных дней,
Нам ставших дня рожденья отдаленней.

Мученья духа, свойственные мне,
В часы безделья в полном апогее.
Не воин — я впервые на войне
И жить минутой этой не умею.

Некоторым приходили уже не только письма, но и посылки. Кто-то из подобных счастливицев пытался угощать меня конфетами. И обиделся, когда я наотрез отказался...

Переход к фронту

Но вот однажды вместо отбоя наконец была подана команда строиться. Выступаем. Выступаем серьезно, потому что старшина грузит на подводу ротное имущество. Уже смеркалось, когда вдруг прибыла в совершенно необычное время почта. При всей радости, которой всегда сопровождалась раздача писем, на этот раз во мне она произвела дополнительную тревогу. К тому же произошло событие из числа таких, какие происходят в самые тревожные моменты, при роковых обстоятельствах и не получают достаточно рациональных объяснений...

Кто-то вдруг поднял шум: «Почему мне нету письма? Я совершенно точно знаю, что мне должно быть сегодня письмо».

Принесший почту оправдывался — он роздал решительно все, что у него было. Нашлись, несмотря на общее подавленное состояние, любители пошутить — пишут, мол, еще, придется подождать до следующего раза.

Но человек не унимался и все настаивал на том, что тут что-то не так. ...Не знаю, как на других, на меня это отчего-то производило тягостное впечатление.

Наконец мы двинулись. Прошли по уснувшей уже деревне в довольно густых сумерках, мрачность которых подчеркивалась черными избами и блестящими стеклами темных окон. За деревней стало немного светлей. Только мы вышли на большак, я увидел в кювете что-то белое, какую-то бумагу или конверт. Выйдя из строя, я было сделал несколько шагов по направлению к этому предмету. Но человек, ждавший письма, предупредил меня... «Вот оно, мое письмо, — слышался его радостный крик. — Ведь говорил же я, что мне есть письмо...»

Видимо, боец, несший почту, обронил его второпях. Все, конечно, имеет под собой простую и реальную подоплеку, а вместе с тем чертовщина какая-то — и откуда он мог знать, что ему должно быть письмо?

С такими мыслями я шел по направлению к фронту. Должно быть, все же я притерпелся к мысли о фронте настолько, что она не подавляла меня, как раньше. Идучи, я не был погружен всецело в собственные мысли и ощущения, а с некоторым вниманием наблюдал и за другими: с какими чувствами они приближаются к фронту? Так же ли это их волнует и угнетает, как и меня, или они притерпелись ко всему этому еще больше?

Строчные ряды, как это всегда бывало при наших переходах, вскоре нарушились, шли мы неровной гурьбой, и даже дорога не очень определяла ширину нашей шеренги. А поскольку ряды смешались, расстроились и ротные подразделения. Я обратил внимание на двух совсем молоденьких лейтенантов — командиров взводов — видимо, только что из училища. В их повадках и манере держаться было еще много мальчишески-школярского. Шли они в обнимку, как два однокашника, и о чем-то, как мне показалось, весьма душевно между собой вполголоса переговаривались.

Народ вообще шел хмуро, сосредоточенно, и разговоров не было слышно, отчасти, может быть, просто из-за ночного времени. Кругом была тишина, которую неловко да и непозволительно было бы нарушить. Кроме того, всем, конечно, просто хотелось спать. Мы отвыкли уже от ночных походов — ложились и вставали с петухами.

Я приблизился к приятелям-лейтенантам. Мне было любопытно, что поверяли друг другу эти юноши в такой ответственный

момент, на пути, может быть, к смерти, во всяком случае перед настоящим боевым крещением?

«Эх, да скоро ли мы, наконец, придем? Лягу я тогда за пулеметик... жжж...» Это было произнесено таким проникновенным, таким задушевным тоном, как если бы речь шла, по крайней мере, о какой-то любимой, весьма занимательной игре. Совершенно очевидно, что говорящий абсолютно не ассоциирует эту воображаемую пулеметную стрельбу с какой-либо реальностью... Он не осознавал ни того, что это связано с убийством других, ни с возможной собственной смертью. Это была только «жжж» — одна беспредметная пулеметная стрельба. Возраст их был еще таков, что они, видимо, заранее не могли ощутить военной реальности, она воспринималась ими все еще только как игра в солдатики...

В тот момент я был одновременно и умилен, и очень удивлен такой детскостью и несерьезностью моих командиров. Мне сделалось одновременно ужасно жалко и их, жалко и нас, страшно за нашу судьбу, отданную в руки этих добродушных, но шаловливых игрунов в войну...

Я вспоминал эту сцену позднее, когда много повоевавшие молодые офицеры рассказывали мне об ужасном отвращении к долговременному пребыванию в окопах.

— До того все осточертеет, что когда посылают тебя за чем-нибудь в штаб, нарочно медленно и поднявшись во весь рост идешь от окопа — думаешь, вот бы ранило, на месячишко-другой попадешь в лазарет, а совсем повезет, так и домой на неделю-другую...

И это были не какие-нибудь случайные на войне люди, чуждые военному быту. Все это кадровые командиры, по доброй воле избравшие войну (или, точнее, игру в войну) своей специальностью, выученики военных школ, психологически сильно протравленные военным духом. Хотя, конечно, было много и таких, которые на войне становились настоящими волками, приобретали вкус к убийству, к шалой жизни без завтрашнего дня. Но большинству людей, даже и «военных», воевать было крайне тяжело.

Мы шли так часа два в совершенной темноте по большаку, потом остановились. Нас свели с дороги в редкий и довольно сухой лесочек. Все сразу же легли на землю, хотя ясно было, что спать удастся навряд ли — приказано было не раздеваться. Мне показалось, что только я задремал, как раздался шум многих автомобильных моторов. Нас снова вывели на большак, на котором больше

угадывались, чем были видны, кузова многих грузовиков. Началась посадка, с толкотней и матом. Все давно уже погрузились, но машины долго еще не шли. Сидение в абсолютной темноте, в страшной тесноте, в чертовски неудобных позах, которые почти невозможно было изменить, не причинив неудобства соседям, казалось невыносимо. «Почему, черт возьми, стоим?» Наконец-то двинулись. Хотя машины шли очень медленно, на неровностях большака раскачивало и подбрасывало чрезвычайно сильно. И все-таки все это воспринималось в какой-то полудреме, пока мы не съехали с большака на проселок, быстро сменившийся бревенчатой лежневкой. Вот тут начался настоящий ад. Кидало и било немилосердно друг о дружку, о борта и днище машины. Лежневка казалась бесконечной. «Господи, да скоро ли уж, наконец, будет фронт?» Казалось, что если такая езда продлится еще хоть немного, не надо будет и никакого фронта — до того отбиты и смещены все внутренности.

Когда эта езда прекратилась, я пребывал уже в совершенно одурелом состоянии. Не помню, когда и как вылез из машины, и только уже на довольно почтительном расстоянии от дороги, когда был объявлен привал, сообразил, что оставил в машине вещевой мешок. При посадке в машину я его снял и пытался примостить под себя, а потом и вообще забыл о нем. В нем была смена белья, еще кой-какие необходимые принадлежности походного быта и книга, взятая из дому, которую я совершенно напрасно иногда пытался читать — сосредоточиться на ее сложном содержании в той обстановке оказывалось совершенно невозможно — это была «Миф и религия» Вундта.

Я опрометью бросился назад, на дорогу. Машины еще стояли. В предрассветной мгле я все их осмотрел до единой, но мешка моего уже не было. Сначала меня охватило отчаяние. Но очень быстро пришла на ум фатальная мысль — раз потерял, стало быть, это уже и не нужно. Какие могут быть вещи на фронте? На мне противогаз, в сумке которого лежали письма из дому, мыло и полотенце, ложка... Вот и все, что в этих новых условиях может быть человеку нужно... И я вернулся на место с чувством окончательной свободы и отрешенности от всего, что меня еще продолжало связывать с прежней жизнью, даже с жизнью вообще. Сколько я о том знал — и был к этому внутренне готов, — на фронте нет уже совершенно никакой жизни в прежнем и обычном смысле. Живы только, пока не убьют, одни инстинкты...

Мы снова пришли к раннему утру на лесную опушку. Рассвет

застал нас среди вытоптанной травы. Как уже это бывало и прежде на наших стоянках, вокруг валялись пустые патронные коробки, консервные банки, нечистоты... Кто-то до нас здесь отдыхал и снаряжался, может быть, даже и не один раз. Сознание этого поддерживало уверенность в том, что мы идем по какой-то проторенной дорожке к фронту, проделываем путь, пройденный до нас другими военными частями.

Как и прежде, во время этого передвижения я вновь оказался с моими друзьями из хозвзвода. В особенности мне было приятно увидеться с Петром Осиповичем. Мы, как и всякий раз при встрече, сразу же делились новостями и впечатлениями, а затем вступали в бесконечные, а иногда и в достаточно беспредметные беседы, нередко уводившие нас очень далеко от действительности.

Оказавшись снова бок о бок с моим командиром санвзвода и прежними друзьями-санитарами, я убедился, что в батальоне за истекший месяц ничего не изменилось. На приеме в санвзводе толпились те же инвалиды (у нас был человек с одним глазом, с анкилозированным голеностопным суставом и другие в этом же роде). Никто их никуда так и не отправил. Оказалось, что и инженер-алюминщик продолжает чистить картошку на батальонной кухне. Наше дивизионное начальство или не довело свои намерения до конца, или у него тоже были короткие руки...

Я убедился в том, что мой Петр Осипович оброс за это время хозяйством. Под его командой находились теперь две или три подводы с боепитанием. Мой же командир весьма обрадовал меня тем, что сообщил об исполнении высказанного им недели полторы тому назад намерения вернуть меня в санвзвод, на что он получил теперь разрешение. Так что я уже больше не в 1-ой роте — я снова вместе с Петром Осиповичем и снова на более или менее настоящей медицинской работе. Людей, обращавшихся за регулярной медпомощью, в батальоне действительно было немало. При всех приобретенных навыках в походной и прифронтовой жизни мы все еще оставались в значительной мере инвалидной командой.

* * *

Мы начали войну столь пестрыми людьми,
Несхожими в своих повадках, в платье.
И странно было нам на первых днях самим,
Что вместе предстоит страдать и воевать нам.

Но долгие пути, лишения и страх
Нас взяли быстро всех в суровую работу —

С одних столичный лоск, с других сермяжь рубах
Содрали о сучки в далеких переходах.

Мы стали серы все, как небо и земля
В ненастную осеннюю погоду.
Мы стали дики, грубы — в нас нельзя
Определить вчерашнюю породу.

Нас гонит голод, холод, клонит сон,
И сортирует смерть по батальонам.
Мы всё забыли. Лучшего не ждем.
К нам худшее приходит, как к знакомым.

Наш разбитной язык стал беден и убог.
Лишь бранные слова не знают угомона.
Зол смех, и от простых улыбок глаз отвык,
И шулки тяжелы, как ржавые обоймы.

И водит нас война по замершим лесам,
Которые от нас, увы, не ждут пощады.
И где мы ни прошли, увядший лом и срам
Унылых пустырей живые ранит взгляды.

* * *

Как ни бессмысленны жалобы —
Миллионы в таком положении —
И все мы, сильные, слабые,
Ждать не должны снисхожденья —

Все же мне надо выплакать
Те из моих мучений,
Которых скупая выкладка —
Целое отречение.

Самое злое и страшное
Мне — человеку в шинели —
Это неведение завтрашней
Судьбы и непротивление

Движенью без цели заданной,
Когда и шаг — неизвестность.
Существование украдкой
В земле или чаще леса.

Мы создали столько заманчивых
Удобств и приспособлений,
А сами как звери прячемся
В темные норы и щели.

После бессонной походной ночи солнце слепило глаза, надо было бы поспать, но жаль расставаться с давно не виданными людьми. Угломонились мы все только после обеда, когда нас окончательно разморило. Но, кажется, вот только уснули — подъем! Комвзвода обеспокоен: снова передвижение и снова, кажется, на машинах. Опять на машинах? Ну, это уже, несомненно, на фронт. Стали бы нам давать машины при каких-нибудь других обстоятельствах? Никто, кажется, на этот счет не сомневался.

В сумерках, наступивших раньше обычного из-за сгустившейся облачности, нас опять построили и повели. Вели лесом по узкому и неровному проселку. Ноги то и дело натыкались на корни и пни или на колеса повозок. Откуда-то вдруг поднялась мучительная усталость. Казалось — вот бы стукнуться обо что-нибудь как следует или ноге бы угодить под колесо, вот я бы и лег, и меня бы куда-нибудь отнесли... Из этого полубредового состояния меня вывел начавшийся дождь — мелкий, но довольно холодный и все более набиравший силы. Под ногами захлюпало, ботинки вскоре промокли, плечи и спина тоже стали чувствовать сырость. Бог его знает, сколько времени мы так шли, уже без всяких мыслей, но все с тем же непрерывным желанием лечь. Наконец нас остановили прямо в лесу. Привал. Темно — хоть глаза выколи. Нашупал рукой какую-то обломанную ветку на ближайшем дереве и повесил на нее винтовку. Снял с плеча и бросил на землю сумку. Звук был при этом такой, как если бы она плюхнулась в воду. И тут же лег. Уснул моментально, не отдавая себе отчета ни в чем. Так почему-то необыкновенно хотелось спать — и больше ничего...

Пробуждение, уже при утреннем хмуром свете, было совершенно ужасно. Ломило все кости. Зуб не попадал на зуб. Все было абсолютно мокро. Ни есть, ни пить было невозможно, да, кажется, ничего и не было из еды. К счастью, вскоре двинулись снова, на ходу разогрелись и пришли снова в себя. Подошли к деревне, хмурой, с черными после дождя избами. Кой-где виднелись следы пожарищ, впрочем, не очень свежие. Жителей почти что не было видно.

Наш батальон растянулся довольно широко за деревней по огородам и уже убранному полю. Приказано было окапываться, строить блиндажи, над окопами делать козырьки. Сделали и мы себе два блиндажа для санчасти — один для раненых, другой для себя, но жили пока на поверхности в шалашиках — все-таки как-то суше и дышать легче, чем в подземелье.

Новости были такие: мы уже больше не ополчение. Просто военная часть номер такой-то. Мы занимаем второй эшелон. Ору-

дийные выстрелы, слышные время от времени поблизости, — это наша артиллерия. Постреляет-постреляет и меняет позицию. Артиллерийские разрывы — это ответный немецкий огонь. До нас снаряды не долетают, но иногда рвутся у другого конца села. Так что можно считать, что мы на фронте. Передовая от нас километрах в полутора. Нас уже зачислили на водочное довольствие. Завтра-послезавтра начнут выдавать.

Как-то все это случилось незаметно и неожиданно, хотя ждали всего этого от самого выхода из Москвы. То не верили, то ждали. И вот мы у фронта. Только что не на самой передовой. И как-то никаких волнений внутри. Как-то все воспринимается туно и глухо.

До сих пор в голодные моменты, когда или основательно отставали из-за долгих, но торопливых передвижений кухни, или из-за плохого подвоза продуктов, мы считали, что все эти недостатки в питании прекратятся, когда мы приблизимся к фронту. Фронт-то уже, конечно, снабжают как следует... Теперь мы поняли, что лучше всего нас кормили у самой Москвы, а чем ближе оказывались к фронту — тем хуже. Каково же было в окопах на передовой, это мы теперь знали от людей, то и дело по разным поводам приходивших оттуда: «Днем из окопа головы не высунешь из-за пулеметного и минометного огня. Бомбит еще очень с самолетов. С утра до вечера летают без перерыва над самыми окопами. А у нас ни самолетов, ни зениток... Минометы плохонькие — батальонные, как стреляют, еще слышать, а как у немцев мины рвутся — не слышно и не видно. Есть горячее можно только ночью, да и то, как заметит — закидывает минами...»

По нашим подразделениям отдан приказ: в случае вражеского наступления танки пропускать, пехоту обстреливать. Как-то мимо наших окопов по направлению к фронту прошло какое-то небольшое — рота или две — разрозненно двигавшееся соединение. Разглядывая нас, некоторые бойцы оборачивались и говорили: «Ребята, в случае там чего, если отступать придется, по своим не стреляйте, ребята...»

«Да, — думалось мне, — может это как раз и входит в наши задачи — в случае чего стрелять по своим...»

Мой командир выхлопотал у комбата разрешение занять для служебного помещения санвзвода часть ближайшей избы. На зимней ее половине жили хозяева — старуха и ее дочь с двумя маленькими детьми. Старуха была неразговорчива и вообще сурова, молодая женщина оказалась гораздо приветливей и доверчивей.

Через несколько дней совместного пребывания она мне сообщила, что в их деревне в августе месяце недели полторы стояли немцы.

— Уж до чего все обрадовались, как немцы-то пришли... Колхоз распустили, хлеб да лошадей поделили... Не понравилось, что ли, им тут чего: «Нисгут, — говорили, — нисгут, матка», и отошли опять за речку, такая, скажи, обида...

Мне многое было интересно узнать о поведении немцев, но я как-то не решался выспрашивать ее при товарищах, ждал случая остаться с нею наедине.

В избе мы сначала расположили аптечку и производили приемы больных. Раненые к нам, хотя мы и находились близко от передовой, так ни разу и не попали. Один раз немецкий самолет из тяжелого пулемета обстрелял скопление наших бойцов у другого конца села — одного убил и одного ранил. Раненого видел мой командир, находившийся в это время случайно поблизости, но направил его не к нам, а в санбат передовой части.

Наши подразделения повзводно, а иногда и до роты, придавались действующим на передовой частям для поддержки небольших наступательных операций. Были у нас и потери, но я их не видел — раненые все попадали в медчасти передовых подразделений. Да и что бы мы, действительно, стали с ними делать? У нас так все еще и не было никаких транспортных средств для эвакуации раненых.

Ночи стали еще более длинными и холодными. Мы с командиром ночевали в избе. Он был человек уже не молодой, на вид лет сорока пяти, жаловался на ревматизм. А тут еще эта водка. Некоторые, как, например, и я, ее вовсе не пили. Зато другие ухитрялись прихватить порции по две, по три. И почему-то спанье на земле после такой выпивки нередко давало себя сразу же знать: люди простужались, опухали, жаловались на нервно-мышечные боли.

По прохладной погоде больше хотелось есть. Стало довольно голодно. Приварок был далеко не густ, а кроме того только хлеб да сахар. Я, при всей моей идиосинкразии к сладкому, не удерживался и поедал теперь иногда также и сахар. Командир мой стал посылать меня на батальонную кухню снимать пробу, видимо, перессорившись с хозяйственным начальством. Я как-то раз рискнул записать в журнале для снятия пробы, что мало отпускается на человека жиров, чем вызвал ужасную бурю со стороны поваров:

— Что мы ворует, что ли?

— Так я же не пишу, что кто-то ворует, я пишу, что отпускается, по-моему, недостаточно.

Повара, однако, не унимались и призывали на меня все смертоубийственные средства, какие только могли нам угрожать с земли и с неба.

Однажды к нам в избу во время приема больных вошел офицерский чин с двумя шпалами на воротнике и три или четыре меньших чина.

— Это помещение занимает штаб такого-то подразделения, — сказал он мне тоном приказа...

Я попытался объяснить, что здесь, мол, амбулатория...

— Все равно, меня это не касается, найдите другое место.

Командира моего не было. Я прервал прием больных и ретировался. Когда пришел командир, и я ему доложил об этом, он выругался, но возражать не стал. Впрочем, он выяснил, что помещение это понадобилось чужому начальству вряд ли надолго. Какая-то фронтовая часть отходила на отдых, и это был ее хозяйственный арьергард. Вечером в нашей избе шла уже форменная попойка, и до глубокой ночи слышалось пение... На следующий день наши незваные гости глядели на нас несколько сконфуженно и значительно приветливее, чем вчера. Они объясняли свое поведение долгим постом на передовой, а майор разоткровенничался и сказал:

— Мне известна ваша судьба. Нас отводят на двухнедельный отдых, а вы займете наши позиции...

Что ж, все это выглядело вполне правдоподобно. Мы с моим командиром были приглашены пользоваться помещением, что и не преминули сделать. Слушая их разговоры, я узнавал некоторые подробности фронтовых обстоятельств.

— Мы-то отошли очень удачно, — разглагольствовал майор. — Задержались немного и выбрались в полном порядке... А вот такая-то часть ударилась в панику, ринулась, боясь оказаться в окружении, и их порядочно попримяли наши же танки, тоже, видно, никак не желавшие задержаться...

Из разговоров этих можно было понять, что произошло, видимо, какое-то небольшое изменение линии фронта на нашем участке. Карт у нас не было, представить себе все это более наглядно было невозможно. Каково оно, то место, тот участок фронта, который нам предстояло занять?

На этот раз я служил источником новостей для Петра Осиповича и его товарищей по хоззводу. Мы уже больше недели находились с ним снова вместе. Много разговаривали. Делились новостями и слухами. Строились разнообразные догадки и предположения. Нам обоим очень хотелось знать, что происходит за линией фронта. К сожалению, в нашем распоряжении не было никаких решительно данных.

— Я думаю, что там идет грандиозное строительство дорог, — говорил Петр Осипович. — Немцам до зарезу нужны дороги...

У меня не было оснований с ним на этот счет не соглашаться. Действительно, казалось бы немецкая военная техника, о которой мы, впрочем, могли судить только отчасти и преимущественно по авиации — мы даже немецкого танка ни одного еще не видели, нуждалась в какой-то помощи со стороны техники гражданской. Мы представляли себе, что, вероятно, и наше гражданское население и военнопленные брошены немцами на строительные работы.

Мы знали, что в немецких руках находится уже значительная советская территория; какова судьба ее населения? Об этом у нас не было никаких известий, которым можно было бы безоговорочно верить. Если газетные сообщения представлялись тенденциозными, то и рассказы крестьянских женщин о покладистости и веселости немцев, только будто бы и делающих, что пляшущих под гармошку, представлялись, при всей их свежести и непосредственности, достаточно невероятными.

Военнопленные... Какова их судьба? Мы знали из газет о том, что значительная часть наших войск, воевавших на занятых немцами рубежах, оказалась в окружении. Мы то и дело читали настойчивые заклинания о том, что из окружений надо выходить. Писалось и о том, что у немцев нет сплошной линии фронта — они идут по дорогам, обходят леса... Но вот мы же стоим в лесистой местности, а перед нами фронт?

Однажды вызвал меня из избы какой-то человек в гражданском полукрестьянском платье, с винтовкой, назвался партизаном и попросил медицинской помощи. И тут же к нам подошло еще пять-шесть таких же, как и он, людей.

— Откуда вы?

— С той стороны. Под утро проходили вброд речку — немцы заметили, начали мины кидать... У меня в паху осколок торчит...

Я расстегнул ему одежду и извлек пинцетом небольшой, как

чешуйка, стальной осколок, торчавший с внутренней стороны бедра. Помазал йодом и перевязал. Это была моя первая настоящая военно-медицинская работа.

— Куда же вы теперь? — спросил я их, когда они поблагодарили и стали прощаться.

— А мы опять на ту сторону подаваться будем...

Зачем они сюда приходили? Каковы были их задачи? Выспрашивать представлялось как-то неудобно. Держались они довольно просто, но уж очень спокойно и равнодушно... Внешний их вид был тоже как будто немного какой-то костюмированный. Кто его знает, что это были за партизаны? Может быть, они просто хотели перебраться на ту сторону, к своим родным, и поэтому так и обрядились для наших? Но, с другой стороны, у нас ведь такая строгость в отношении всяких документов, паролей и бог его знает еще чего... Я, во всяком случае, потом пожалел, что не выспросил их толком о той стороне — может, что-нибудь правдоподобное и толковое бы услышал?

Один чужой боец, простоватого вида болтливый человек, рассказывал с чужих же слов: «У нас один замешкался и оказался у немцев... Не в плену, но на их стороне, и захотел посмотреть, как оно там — нельзя ли, мол, приземлиться? Да видит, немцы наших построили, вызывают и расстреливать начинают... Он и давай отсюда тягу опять на нашу сторону».

Все это звучало по меньшей мере несообразно...

Петр Осипович не любил и боялся немцев. Но мы с ним оба считали, что если начнется новое немецкое наступление, риск для нас оказаться в плену будет довольно велик. Он говорил об этом с горечью и волнением. Я, хотя тоже испытывал страх перед неизвестностью, не ощущал в себе такого острого внутреннего протеста при мысли о плене. Тем более, что угроза его была довольно-таки реальная. Я спросил Петра Осиповича — почему он так опасается плена?

— Я больше всего боюсь оказаться надолго оторванным от родных, — ответил он.

«Странно, — подумал я. — Странно и нелогично». Как будто мы и теперь не оторваны от них? Конечно, в плену, вероятно, очень легко погибнуть. Но разве та гибель, которая ждет нас тут ежесекундно, не еще более страшна и нелепа? Ведь нет ни малейшего ощущения того, что мы хоть сколько-нибудь разумно и организованно боремся с врагом. Просто приходит момент, и мы попадаем на его растерзание...

Петр Осипович настаивал на том, что плен ему представляется унижительным. Мне же наше положение казалось самым унижительным и нелепым из всех возможных. Всё вокруг оборачивалось для меня предельной бессмыслицей: наши представления о ходе военных дел, наши идиотские попытки наступать на немецкие пулеметы, наше абсолютное незнание и непонимание обстановки... Наша сознательная и бессознательная ложь в сообщениях о положении на фронте...

Страшнее всего была бессмыслица нелепых, ничем не оправданных действий начальства, не понимавшего даже приблизительно сути обстоятельств. Эти юноши, шедшие в обнимку, мечтавшие о пулемете и вызывавшие во мне, как дети, снисходительную улыбку, временами становились безумно страшны.

Один из вернувшихся с передовой товарищей рассказывал, как они «воевали». Взводу нужно было перейти, и при этом днем, простреливавшуюся полянку. Заданное время было на исходе, и командир взвода — молодой лейтенант — скомандовал: «Шагом марш, напрямки!»

— Мы его убеждаем: «По опушке бы обойти, товарищ комвзвода. Немцы-то ведь вон они — только и ждут чего такого...» А он: «Я вам приказываю...» — и кобуру расстегивает... Ну и пошли... Те как начали мины класть — кого побило, кого поранило, кто в лес уполз... Лейтенанта самого тоже убило...

Что, кроме отчаяния, могли подымать в душе такие рассказы?

А почти ежедневные наши «наступления»? Наступления, которые производились не по приказу каких-либо стратегически мыслящих работников штабов, а наших же непутевых начальников, понятия не имеющих о том, что впереди, что слева и справа. Должно быть, это называлось «разведка боем». Почти ежедневно на нашем участке фронта рота, а то и две, ходили в «наступление», то есть вылезали из окопов и с криками «ура» устремлялись к немецким линиям под кинжальный пулеметный огонь. Атака довольно быстро захлебывалась, и начиналось под огнем — тут уже еще и минометным — отползание назад, продолжавшееся чуть не сутки. В результате — совершенно бессмысленные потери, потому что после такого «наступления» командование части не умело, наверно, даже и рапорта грамотного составить. Не знаю, что могли дать кому-либо такие «разведки».

Даже и тыловые предприятия приводили иногда к катастрофам. Одному отделению поручено было заминировать определенный

участок перед нашими позициями. Два дня они работали аккуратно, а потом, вероятно, им это надоело — в результате взрыв целого ящика мин, несколько убитых, да так, что от некоторых подобрали только отдельные части тела. Так как это произошло не на передовой, хоронили мы их в крашенных красной краской гробах. Домой были посланы извещения о гибели «при исполнении долга».

Все это передавалось из уст в уста, обсуждалось и осуждалось, а меня, кроме того, приводило в полнейшее отчаяние.

Война, раз уж она началась, представлялась мне чрезвычайно ответственным делом, не менее ответственным, чем всякое обращение со взрывчатыми веществами, чем вождение поездов или морских судов в тумане... А тут такое бездумное, бессмысленное шалей-валяйство! У одних по полнейшему недомыслию, у других из нелепейшей, отвратительной фанаберии. Как все это ужасно, как безнадежно-непроглядно!

Я пользовался каждой свободной минутой, чтобы сбегать к Петру Осиповичу. Он был свободнее меня, был общителен, добр к окружающим, и к нему за моральной поддержкой прибегали многие. Он в ней никому не отказывал. Так что я нередко находил его в чьем-либо обществе и иногда внутренне на это сетовал: не дают, мол, свободно перекинуться словом...

* * *

Четвертый день по Вас скучаю.
Вы здесь мне заменили всех
Моих друзей, семью и стаю
Привычных бедствий и утех.

Мы с Вами в дружбе одиноки —
Здесь редки новые друзья.
Безличны люди как сороки,
В забвеньи маленького «я».

Они ругаются и спорят
Из-за куска, из-за клочка.
Придя в леса, по волчьим воют,
Пугая мирного зверка.

Воют, воют. Жизнь-индейка
Нам улыбается пока,
С самой судьбой вступивши в сделку
И ржавя лезвие штыка, —

Но не следя за переменой
В лице людей, времен и стран,

Вновь рушащей глухие стены,
Наш окружающие стан.

Мне некому без Вас замолвить
Словцо за мир беспечных лет,
День не с кем нынешний исполнить
И в будущем искать просвет...

* * *

В ушах клубится мертвый грохот
Орудий, бьющих в горизонт.
В нем гаснет зренье, память глохнет
И жажда обметает рот.

В нем жизнь исходит в лихорадке
Огня, бубнящих глухо дул
И долго ждет мгновений кратких,
Когда б умолк их мертвый гул.

Мы сами немые, но бессильны
Посеять мир и тишину.
Мы серые, одеты пылью,
Стихийно втянуты в войну.

И я — в таком же сером платье,
Иду сквозь глухоту и дрожь,
Округой, плачущей о счастье
Услышать ветер, рожь и дождь.

Где туча, властью доброй силы
Широким вставшая крылом,
Чтоб верхней мира половины
Тряхнув пространство, грянул гром?

Мной этот голос был бы понят,
Как слово к миру и добру,
Ни на секунду не напомнив
Войны громовую игру.

Угрозы раздраженной тверди,
В противовес грозе войны,
Я принимаю вплоть до смерти,
Перед которой не равны

Уничтожающие средства:
Пусть надо мною грянет гром,
Избавив душу от соседства
С войны убийственным огнем...

В этот день снаряды и мины рвались где-то совсем недалеко в лесочке, на опушке которого мы стояли. Огонь достигал временами большого напряжения. Нервы тоже были очень напряжены. Хотелось знать, чем это кончится, чем обернется. А ну как правда вот-вот двинутся на нас немецкие танки?

Улучив момент, я побежал к Петру Осиповичу. Он со своими боеприпасами как раз и маскировался в лесочке. Я застал его утешающим человека, которого мне и раньше приходилось видеть: простое, довольно интеллигентное, хотя и мало выразительное, лицо. Ополченец как ополченец. Таких у нас было довольно много: московский житель и, вероятно, какой-нибудь служащий. Но теперь у него дергалось искаженное страхом лицо, тряслись руки, дрожал голос и из глаз текли слезы. Он пришел с тем же, с чем и я, — узнать, не начало ли это нового наступления, не конец ли это нашей жизни? Петр Осипович его спокойно и добродушно утешал; уверял, что он скоро привыкнет ко всей этой стрельбе и перестанет на нее реагировать. На войне и не то бывает, но ко всему человек привыкает и приспосабливается...

Увидев меня, Петр Осипович обратился ко мне — вот-де как человеку страшно, как он взволнован и как бы это его успокоить?

А во мне вдруг поднялась ужасная злость против этого человека. Должно быть, потому, что я тоже боялся и тоже нервничал, и готов был в землю зарыться от канонады, от неизвестности, от обреченности.

Я стал на него кричать, говорил ему, что это свинство так распускать себя. Все еще гораздо страшней, чем он, вероятно, думает. Все это знают, все понимают, что перед нами смерть, но как-то сдерживают себя в своих страхах и этим как бы поддерживают других. А он — если будет себя так вести — дождется, что его кто-нибудь из своих же пристрелит, чтобы не отнимал последней надежды...

Он как-то сжался, съежился и тут же куда-то ушел. А Петр Осипович мне стал выговаривать за мое жестокое обращение...

— Он учитель. Никогда на военной службе не был. И он нервный больной человек. Не будь этого ополчения, его бы никогда не мобилизовали...

Пусть все это так, я был не в состоянии ему посочувствовать, хотя он в этом, несомненно, очень нуждался. Вероятно, я тоже в этом очень нуждался и храбрился уже от одного только отчаяния, без всякого рассуждения.

Огонь между тем утих, и беседа наша с Петром Осиповичем перешла на более спокойные рельсы... Вероятно, это немцы отбивали наше очередное «наступление», думали мы.

Я рассказал Петру Осиповичу о разговоре с фронтовым майором, о предстоящем нашем занятии передовых линий. Он нашел это вполне правдоподобным, но предположил, что прежде чем это произойдет, его должны будут снабдить некоторыми боеприпасами.

— Держать оборону моими резервами нельзя и в течение суток... — развел он руками.

Отступление в районе Спас-Деменска

Ночью мы были построены и пошли пешим ходом в направлении противоположном фронту... Шли мы и на другой день. Вокруг было тихо. Стоял конец сентября. Погода была сухая, слегка свежеватая, но солнце среди дня еще пригревало немного. Настроение сделалось сразу более спокойным. Маршировалось довольно легко, даже с некоторым удовольствием. Покуда что идем не на фронт, но куда? Петр Осипович сказал: есть слухи, что нас ведут на переформировку. Но что-де это неправда, будто мы уже вовсе не ополченцы. Хотя мы и называемся номером, как всякая другая регулярная часть, но в чем-то наши ополченские особенности должны сохраняться. В чем именно, никто, однако, не знал.

Нас отвели обратно к Спас-Деменску и поставили километрах в 6—7 от города, на некотором расстоянии от смоленского шоссе. На этот раз нам было сразу же разрешено расположить санвзвод в жилом помещении. Была использована большая изба со свободной летней половиной. На зимней половине жила женщина с двумя детьми. На другом краю деревни, также в избе, на сей раз расположился штаб батальона. Роты находились за деревней, главным образом на огородах, в окопах с землянками, в которых были сколочены нары из тонкого круглого леса и установлены примитивные печи. Печи топились, а в нашей избе было чертовски холодно по ночам, чуть только потягивал ветерок.

К концу сентября температура воздуха была уже значительную часть суток около нуля. Временами над сухой и мерзлой землей кружился легкий снежок. Было очень зябко снаружи. Со своих обходов по ротам я возвращался с опущенными бортиками пилотки — зябли уши. Стояла ранняя и суровая осень. Недалеко была, видно, и зима.

Война, судя по всему, принимала затяжной характер. Фронт как будто остановился и законсервировался. Мне опять стало временами казаться, что он где-то на линии Смоленска и остановился. Некоторые наши командиры поговаривали с определенной надеждой о том, что вот-де еще пройдет месяц-другой и станут возможны краткосрочные отпуска, можно будет съездить в Москву, повидать родных...

Между тем на холоду все больше хотелось есть и все меньше бывало возможности утолять возрастающий аппетит. Мы с завистью поглядывали на офицерский паек нашего командира. Он получал белый хлеб, сливочное масло, даже печенье. Замечая наши голодные завистливые взгляды, он пытался иногда с нами делиться и угощал того или иного из нас, уделяя от своего, тоже в общем весьма скромного благополучия. Хозяйка варила нам каждый вечер чугунок картошки на молоке. Это было чертовски вкусно, и мы его опорожняли в момент и благодарили ее конфузливо...

— Картошка покуда есть, слава богу нынче уродилась... — говаривала она нам в утешение.

Спал я на полу, в шинели с поднятым воротником, не разуваясь, с противогазом под головой.

Через несколько дней по приходе на это место нам было предложено построиться для проверки оружия. В результате этой проверки у нас были изъяты дисковые пулеметы, десятизарядные винтовки и даже винтовки образца 1940 года. У нашего взвода, в том числе и у меня, винтовки вообще были отобраны. Сказано было, что через некоторое время выдадут другие. А сейчас-де на фронте не хватает оружия.

Расставшись с винтовкой, я почувствовал чрезвычайное облегчение. Значительно большее, чем когда расстался с патронами, оттягивавшими мне спину. Было такое чувство, что я уже до какой-то степени перестал быть солдатом. Но в то же время удивляло и возмущало это заявление, что на фронте не хватает оружия. Мы так привыкли жить все последние годы в сознании полной обеспеченности армии всем необходимым. Столько писалось и говорилось о качестве и количестве нашего вооружения, о наших самолетах, летающих дальше всех и выше всех. Где же они — эти самолеты? В тылу по ночам мы их еще видели кое-когда. На фронте же, как правило, действовала одна только немецкая авиация. Летают, как на параде...

Вспоминалась жуткая и нелепая финская война, после которой

мне сделалась ясной беспомощность нашего военного начальства: о линии Маннергейма узнали только тогда, когда на нее наперли. Брали ее «в лоб», чего никогда и никто не делает в таких случаях. Автоматическое оружие наши военные заводы изготавливали во время войны по трофейным образцам. Об этом писали в наших газетах как о каком-то геройстве, как о какой-то высшей оперативности...

Незадолго до начала войны с немцами я познакомился с одним капитаном — участником финской войны, находившимся в длительном отпуску по причине нескольких ранений. Он мне рассказывал, что у финнов был очень точный и интенсивный пулеметный огонь, что наши войска несли очень большие потери не только в рядовом, но и в командном составе. Командиры очень быстро выбывали из строя, потому что у финнов был-де приказ стрелять по ремням, которые отличали наш командный состав от рядового. Он был помощником начальника штаба полка и был послан проверить на месте ход какой-то боевой операции. Сразу же он получил несколько ран и остался бы там, если бы не его ординарец, вытащивший его из-под огня с опасностью для собственной жизни.

Он был весь изрешечен пулями, форменный инвалид, но не мог добиться демобилизации. Он и сам этому удивлялся, видимо кое о чем догадывался, но я не понимал тогда того многозначительного удивления, с которым он сообщал о невозможности демобилизоваться. Теперь-то мне это стало ясно — и тогда уже, видимо, командование готовилось к столкновению с немцами и не хотело отпускать кадровых офицеров, даже в полуинвалидном состоянии...

Так или иначе, без винтовки я стал чувствовать себя спокойней. Мои медицинские обязанности меня нисколько не тяготили. В этом отношении я себя ощущал совершенно на месте. Это было, пожалуй, единственное дело, которое я мог делать на войне с сознанием того, что мое участие в ней не бессмысленно.

Факт нашего перевооружения и моего временного разоружения действовал на меня и на всех моих товарищей успокаивающе и обнадеживающе: значит, мы все-таки ополчение и у нас какие-то свои задачи, может быть, более соответствующие нашему «полуинвалидному» профилю. Успокоение это чувствовалось у всех решительно, с кем бы мне ни приходилось говорить. Все сделалось как-то обходительней, добрее и спокойней, не исключая и нашего кадрового начальства.

В той связи и моих ушах с очень большой горечью звучали слова одного из фронтовиков, отступивших на наши позиции и

бывших свидетелями нашего отхода, вместо того, чтобы нам занять, как это обещал майор хозчасти, передовую линию. Человек этот был явно огорчен и разочарован:

— А мы-то надеялись и радовались — вот подойдет ополчение, будет на кого понадеяться да с кого пример взять...

— Вы что — шутите что ли? Вы себе представляете, из кого состоит наше ополчение? Нас ведь с бору по сосенке собирали — колченогая команда...

— А мы кто? А нас как собирали? У вас много бойцов еще с гражданской войны — люди с героическим прошлым, с боевым опытом. Мы на вас всерьез очень рассчитывали...

Может быть, и начальство военное рассуждало отчасти в таком же роде и поэтому привело нас на фронт? Была же какая-то доля истины в том, что в наших рядах были не только участники предшествующих кампаний советского периода, но и Первой мировой войны. Вот уж действительно ирония судьбы: мы, как тот заяц из сказки, который решил было от страха и отчаяния утопиться и был удивлен тем, что есть на свете еще и пугливей его — лягушки, попрыгавшие при его появлении в воду...

На наших кадровых эти новые обстоятельства сказались довольно удивительным образом. На моих почти глазах сыграны были две или три свадьбы наших лейтенантов с девушками из ближайших деревень. Свадьбы эти выглядели концунственным, воспринимались или как крайнее отчаяние, или как совершенное разгильдяйство. При всех обстоятельствах у этих людей не могло быть надежды на то, что они останутся со своими женами более чем неделю-другую. Но, видимо, у них появилось чувство несколько большей прочности своего собственного существования.

К сожалению, всяческим проявлениям этого успокоения не суждено было хоть сколько-нибудь продлиться. В один из холодных, но ясных дней, в двадцатых числах сентября, мы наблюдали примерно над шоссеиной дорогой, предполагавшейся к югу от нас на расстоянии шести-семи километров, довольно значительную авиационную активность. Было видно, как немецкие Stukas (Sturzkampfflugzeuge) пикировали на невидимые нам объекты. Можно было думать, что они препятствуют продвижению к фронту нашей техники или подвозу боеприпасов. Картину эту мы довольно спокойно наблюдали и день и два. К концу этого второго дня, часов в девять вечера, когда мы уже,

поужинав, собирались улечься спать, в нашу избу вошло четыре младших офицера с неким капитаном во главе, весьма утомленного вида.

После того как они сориентировались, напились и пришли немного в себя, они поинтересовались, что мы за часть и где у нас фронт. Мы показали им направление расположения наших подразделений.

— Ну а немцы давно уже вон там, — сказал кто-то из них, показывая рукой в противоположном направлении...

Мы часть штаба полка. Уже неделю как отступаем. Кажется, вышли из окружения, но где наша часть и как проходит линия фронта, не знаем...

Я как-то сразу даже не мог взять в толк всего, что было за этими словами.

— Где находится штаб вашего батальона? — спросил капитан моего командира. — Пошлите кого-нибудь из ваших людей за командиром батальона, передайте, чтобы немедленно прибыл сюда...

Комбат не заставил себя ждать, нас выдворили за дверь, и вскоре же он ушел обратно. Было уже очень поздно, и мы улеглись спать. Часа в три-четыре утра нас подняли по тревоге. Батальон строился на краю деревни. Построились, но никуда не пошли. Усталые, невыспавшиеся, ложились тут же на землю, чтобы продлить прерванный сон. А утром стали понемногу разбредаться, поскольку явно не предвиделось в ближайшее время движения.

Я отправился с каким-то делом в нашу избу и застал хозяйку в панике. Приходил председатель колхоза и предлагал эвакуироваться. Дают подводу. «А куда эвакуироваться?» Она назвала деревню, расположенную километров на 20—25 к востоку... «И что же вы думаете делать?»

— Вот и не знаю, милый человек, вот и не знаю, и посоветоваться не с кем. Мужа нет, одна я с детишками... Что на этом возу увезешь, и кто нас там примет... А оставаться тоже боязно. Муж в Красной армии. Ну, как немцы преследовать начнут?

Действительно, каково этой женщине, одной с двумя маленькими детьми, ехать неизвестно куда от своей избы, от картошки, лежащей под полом? Сколько она может взять ее с собой — мешка два-три, не больше. Конечно, я не имел никакого права наводить ее на такие мысли, и я понимал это. Кто бы мог поручиться за то, что лучше, — ехать или не ехать? Но на меня напала какая-то злость, обидно было смотреть на всю творившуюся вокруг бессмыслицу...

— Ну куда вы поедете? Вы подумайте только. Раньше других уж никак не делайте этого. Куда же это броситься так, очертя голову, с маленькими детьми? И что такое 20 километров? Если немцы сюда придут, так и туда тоже. И опять ехать куда-то надо. А где же конец? По-моему, надо сидеть на месте, пока изба цела и люди кругом свои...

Она как будто немного поуспокоилась от моих слов. Благодарил: «Никто ведь не посоветует, всяк боится. И ехать страшно, и оставаться — глядишь, наши фронтовые придут. Пешком погонят — чего, мол, не вакуировалась?» Я ее пытался урезонить тем, что живут же наши под немцами — никого не выгоняли. Разве всех выгонишь — старых и малых. Ведь не было же этого, а то мимо нас бы и гнали...

На этом мы и расстались. При всей неуверенности мне казалось, что я все же был прав в моих советах. Эвакуация для нее в таких условиях представлялась мне нелепой и заведомо гибельной.

Мы двинулись среди дня. Петр Осипович объяснил мне, что так долго ждали потому, что сначала не было приказа (комбат послал донесение в полк, оттуда сообщили в дивизию — пока суд да дело), а потом еще ждали маршрута. Маршрут куда указан только на сегодняшний день — какая-то деревня километрах в пятнадцать. Это он знает от командира хоззвода.

К вечеру выпал снег. Мы расположились среди холмистой местности в мелколесье. Селений никаких вблизи не было видно. Изредка слышалась орудийная стрельба, и в небе частенько, уже невидимые, пролетали в разных направлениях самолеты. Было очень тревожно. Огонь разводить настрого запрещено, но так как то тут, то там стали появляться огоньки костров, то и у нас начали их раскладывать, не считаясь с запретом, — уж больно холодно, так замерзнешь... Вскоре стало видно, что далеко-далеко, насколько хватает глаза, по лесным косогорам и оврагам стояли наши войска. Стало как-то немного веселей на душе. Самолеты продолжали летать, но бомбить — не бомбили. То ли наши, то ли немецкие, да им не до нас?.. Так я и уснул на снегу, опустив на уши бортики пилотки и упрятав голову в воротник шинели.

Утром было объявлено, что прибыла фронтовая труппа Вахтанговского театра и будет спектакль. Меня это и огорчило и обрадовало. Приятно было повидать москвичей, может быть, узнать от них что-нибудь новое и более определенное, чем пишут в газетах, о судьбе города. Но спектакля мне не хотелось. В такой

обстановке, в полнейшей неизвестности и страхе за ближайшие полчаса... Какие уж тут представления?... Момент казался мне совершенно неподходящим.

На поляну, где разместилась крытая брезентом вахтанговская машина-фургон, собралось много народу и, кажется, не только из наших частей. Мелькали какие-то никогда прежде не виданные физиономии, явно при этом не ополченского характера... Вахтанговцев оказалось человек 10—12, среди них две-три женщины. Их осаждали наши ополченцы настолько, что трудно было и приблизиться. Настроение у них было довольно приподнятое, отшучивались... Взмахами рук, шутливо, как комаров, прогоняли самолеты, которые почти на бреющем полете то и дело проносились над нашими головами, но не бомбили и не стреляли, хотя вряд ли не замечали. Видно, им действительно было не до нас. Самолеты, во всяком случае, были явно немецкие...

Случайно я стал свидетелем того, как один из наших совал в руки молодой актрисе письмо-треугольничек и просил опустить в ящик в Москве.

— Я обязательно это сделаю. Непременно, непременно... Как только попаду в Москву. Не знаю только, когда это будет... И если не очутимся в окружении...

Оказалось, что они уже очень давно, еще летом, выехали из Москвы. Так что знали они не больше нашего. И не более нашего были уверены в своей судьбе...

Началось представление. Какие-то сценки, большей частью комические, из столетней давности эстрадного репертуара. Они их показывали то с грузовика, а то просто на земле — точнее на снегу — перед грузовиком, в тесном кругу солдат, которые были очень довольны и реагировали очень живо.

Удивительно беспечные мы создания. Происходит явно что-то страшное, абсолютно неизвестное, а мы радуемся какой-то совершеннейшей ерунде, которую в мирной обстановке любой бы из нас наверно назвал халтурой.

Вахтанговцы еще дотемна куда-то уехали, а мы побрели, дождавшись ночи. Было довольно холодно, ветрено. Дорога угадывалась только ногами. Мы шли с Петром Осиповичем вдвоем. Сначала говорили о чем-то, а потом дремали на ходу. Я шел, положив одну руку на край телеги, чтобы не отстать, а другая рука грелась в это время в кармане. Глаза слипались, и моментами я форменным образом засыпал.

Мы, во всяком случае, ушли от снега. Хотя температура оставалась та же, но все-таки казалось как-то немного теплей. А днем иногда даже пригревало солнце, и на лесных дорогах, в затишье, впрямь становилось иногда так тепло, что хоть снимай шинель. Было только очень голодно. Сухой пашк, который мы получали во время марша, состоял, в сущности, из четырех сухарей и куска сахара. Сухарей получалось как-то гораздо меньше, чем хлеба. Но и тут меня выручал Петр Осипович. Идучи вместе и глядя в мои голодные глаза, он запускать руку в карман шинели, вытаскивал оттуда сахарную корочку и с очень доброй улыбкой предлагал ее мне.

— Но ведь это же ваш пашк?..

— Нет, что вы. У нас в хозвзводе несколько другие возможности. Это сухарный лом. Его неудобно выдавать в подразделения... Подходишь к ящику да и насыпаешь в карман пригоршни две... все-таки веселей немного. Берите, пожалуйста, не придумывайте...

И действительно, становилось не то что веселей, но немного теплей внутри, и идти было легче.

Мы опять всё ходим и ходим по лесам. Немцев никаких нигде не видать. Но зато самолеты не отпускают нас теперь ни на час из виду. Летает большое количество «стрекоз» — легких разведывательных самолетов, разглядывающих нас с небольшой высоты и обстреливающих из пулеметов. Хотя такой «кукурузник» все время над нами и все время трещат его пулеметные очереди, так что это даже начинает весьма раздражать и беспокоить, в особенности когда слышишь его из-за спины, но я не видел ни разу, чтобы хоть кто-нибудь был убит или ранен...

Петр Осипович тут же на ходу разработал даже теорию, соответственно которой такие пулеметные обстрелы для нас безопасны потому-де, что самолет движется со скоростью значительно большей, чем мы.

Летали и так называемые «рамы» — большие машины с двойным фюзеляжем, напоминавшие пустые квадраты — говорили, что это именно они сбрасывают листовки. Эти летали на сравнительно большой высоте. И еще, пожалуй, выше пролетали эскадрильи бомбардировщиков, по 20—30 самолетов, сомкнутым строем, но без всяких прикрытий, в направлении нашего тыла. Куда они летали среди бела дня, что за объекты их ожидали, — нам было невдомек, а поблизости нигде не было слышно ни стрельбы, ни бомбежки.

Один раз, правда, когда мы проходили в дневное же время по

проселку опушкой леса, в лесу стали раздаваться на очень близком расстоянии от нас пулеметные и автоматные очереди. Что это было такое? Кто стрелял и по ком? Так это нам и осталось неизвестно. Мы продолжали свой марш. Может, это была учебная стрельба, как предположили некоторые? Очень уж это было, однако, мало правдоподобно в такой обстановке... Мы быстро прошли мимо, никто в наших рядах, в пределах моей видимости, не пострадал, да и свиста пуль не было слышно. Верней всего, это было то же самое, что уже при более понятных обстоятельствах произошло опять-таки среди бела дня через несколько суток, которые, впрочем, становилось все труднее и труднее разделять и отсчитывать. Спали мы очень мало, урывками, шли и ночью и днем, с небольшими и нерегулярными стоянками. Представление о времени начинало смещаться и путаться...

Наступил, однако, октябрь, хотя я и не отдавал себе в этом отчета. Дни стояли погожие и сравнительно теплые. В одно утро «кукурузники», как всегда, неотступно летели над нами, а нас почему-то оказалось довольно много: по одной и той же проселочной дороге двигались вперемешку разные части — в одном направлении, толкаясь и обгоняя друг друга. Машин, впрочем, и вообще техники, было довольно мало, шла пехота с конными обозами. И вот один «кукурузник», после того как он обычным порядком обстреливал нас из пулемета, выбросил вдруг небольшую, взорвавшуюся в воздухе ракету или шашку, которая выкинула из себя клуб черного дыма.

— Ох, нехорошо это, — сказал мой Петр Осипович. — Накликает он нам беды...

Впереди образовался затор из сгрудившихся повозок, между которыми, безуспешно фырча и сигналя, пытались пробиться какие-то грузовые машины. Нам пришлось остановиться, и, не разбредаясь далеко в стороны, мы, кто сидя, кто лежа, отдыхали на опушке по обеим сторонам дороги, в ожидании возможности двинуться дальше. И вдруг над нами раздался гул авиационных моторов. К нам приближалась, резко идя на снижение, эскадрилья самолетов, тотчас же открывших пулеметный огонь. Мы — кто куда. Я и большинство моих ближайших соседей прилегли в неглубокую канавку у самой дороги, но все же среди кустов и небольших деревьев. Попрытаться гуще в лес успели лишь немногие. Столпотворение на дороге при появлении немецких самолетов весьма усилилось, и рассредоточиться ему было не так просто. Тут же у дороги, на большой поляне, бродило и паслось десятка два-три распряженных лошадей. Самолеты кружились над нами в разных направлениях, как

стая хищников, поливая округу дождем золотистых трассирующих пуль. На пытавшиеся сдвинуться с места машины, сгрудившиеся на дороге, посыпались бомбы. Поднялась ужасная паника. Взрыв одной из бомб вскинул на воздух лошадь.

Все это происходило метрах в 50 от нас и привело меня в полный ужас — вид бомб, взрывающихся в человеческой толпе, был для меня невыносим, и меня обуяло такое безотчетное безумие, что я вскочил и бросился из нашего укрытия на поляну — лишь бы подальше от дороги. Вдогонку мне неслись ругательства моих соседей, воспринявших мой поступок как демаскировку нашего укрытия.

Среди поляны лежало на бревнах нечто вроде гати из более мелких бревен, выступавших концами над более массивными бревнами основания. Я забился под эту гать, но лицом к поляне, и поэтому продолжал быть зрителем происходившего. На поляне, как было сказано, паслись лошади, представлявшие собой прекрасную цель для пулеметного огня с самолетов. Некоторые из них были тут же ранены и продолжали щипать траву, несмотря на то, что их внутренности волочились за ними по траве... Это тоже было для меня невыносимым зрелищем, и кроме того дождь пуль, сыпавшихся на поляну, подсказывал мне мысль о недостаточности моего укрытия. Я снова вскочил и бросился в недалекую теперь уже от меня лесную чащу. Я бежал до тех пор, пока не перестал слышать стрельбу и звуки моторов. Это наступило, к удивлению, довольно быстро. Тогда я бросился на землю и пролежал в оцепенении несколько минут...

Надо было, однако, возвращаться обратно, хотя в лесу было удивительно спокойно и хорошо. Я поднялся и побрел в обратном направлении, постепенно ускоряя шаг. Я стал теперь бояться, что вдруг не найду своих.

Когда я вскоре вышел на поляну, самолетов уже не было. Раненые лошади в большинстве еще продолжали пастись, некоторые уже лежали на земле. Свалка на дороге рассеялась, но наши были еще на том же месте. Петр Осипович ругал меня за безрассудство. Я оправдывался как мог.

Через некоторое время мы двинулись дальше. Я со страхом смотрел на то место, куда особенно густо падали бомбы, но не обнаружил даже воронок — бомбы были маленькие. Немецкие штурмовики не несут тяжелых бомб.

Вечером, на кратковременной стоянке, я слышал, как полтрук одной из рот — московский ополченец — срывающимся от

бессилия или от страха голосом говорил окружившим его людям, что перед нами немецкие десанты, через которые нам предстоит прорываться к своим. На меня — холодного, голодного и давно как следует не спавшего — это сообщение не произвело сильного впечатления. К тому же я перестал верить в немецкие десанты. Но на лице политрука, как мне казалось, написано было отчаяние.

Мы с Петром Осиповичем спали стоя, прислонившись к стволу дерева, по очереди, чтобы не отстать от своих. Остановки были короткими, начинались и прекращались неожиданно и без громкой команды. Я старался спать на ходу и всячески отвлекал себя от сна во время стоянок. Мне, как впрочем и многим другим, представлялось очень страшным отстать от своих. Сон на ходу был вполне возможен, если держаться за оглоблю или за самую телегу. Хуже было засыпать без подобной опоры, но все-таки я то и дело засыпал и просыпался, когда ноги теряли направление и сворачивали в кювет.

А на стоянке, среди ночи, я, чтобы не уснуть, думал о доме, о матери. Эти мысли всегда были беспокойны и прогоняли сон... Я загадывал себе: если вспомню, как называется то место в Средней Азии, куда моя мать в 1937 году ездила на солнечное затмение, то, может быть, я снова увижу ее, а если не вспомню... И я мучительно старался вспомнить это тюркское название железнодорожного пункта, где-то недалеко от Оренбурга. Во время стоянки я так и не вспомнил его и пришел было в уныние, но зато потом, на ходу, когда задремал и перестал уже об этом думать, вдруг оно всплыло в памяти: Акбулак — и я очень обрадовался...

Радость эта, разумеется, была недолгой. Чему, собственно, радоваться? Тому разве только, что человеческая память устроена так, что способна выводить из каких-то глубоких закромов когда-то раз слышанные и давно забытые вещи, если очень на этом настаивать и дать памяти спокойно поработать. Больше всего я радовался, вероятно, тому, что весь этот тонкий механизм памяти не отказывал, а действовал в такой совершенно неподходящей обстановке.

Утром следующего дня мы, как обычно, шли после бессонной ночи, во время которой тоже главным образом шли... Прошли какое-то большое село, на дощатых и соломенных крышах которого в лучах еще низкого солнца блестел иней. Пройдя по полям и лугам этого села, через поросшую кустарником местность, стали углубляться в лес. Вдруг впереди раздались резкие пулеметные очереди (работали тяжелые пулеметы), и нам навстречу побежали

шедшие впереди люди. Движение остановилось. Что там такое? Кто-то из наших ротных командиров закричал:

— Что в самом деле — какого-то паршивого автоматчика испугались. А ну, выкатывай пулеметы!

Это приказание произвело совершенно обратное действие. Люди, еще стоявшие спокойно на месте в нерешительности, повернули обратно — кто зашагал, а кто и побежал назад к селу. Незадачливый командир роты, махнув в отчаянии рукой, двинулся за отступавшими бойцами.

Через некоторое время из разговоров людей, шедших до этого впереди нас, стало известно, что за небольшим лесом пролегалo шоссе, а на шоссе стояли немецкие танки, открывавшие огонь по выходившим из лесу нашим бойцам, не давая им возможности пересечь шоссе.

С другой стороны села, у лесной опушки, к которой мы тем временем приблизились, стояла группа каких-то офицеров с высокими знаками различия — полковники и майоры, — о чем-то оживленно между собой споривших. Из леса в этот момент выехала маленькая танкетка, которую, мне кажется, я и раньше уже где-то видел. Передняя ее броня была открыта, и в ней виднелся один только человек. Меня поразило спокойствие и даже равнодушие, с каким он оглядывался вокруг. Один из офицерских чинов с широким жестом произнес: «Ну вот, я вам привел танк...» Он, видимо, хотел дать понять своим штабным коллегам, что сделал некое большое дело, исполнил важную миссию... Нам они ничего не сказали, и мы продолжали углубляться в лес, где инстинктивно чувствовали себя спокойней.

У нас в 1-ой роте был один человек по фамилии Мидлис, с выраженно еврейскими чертами лица. Он был не менее выраженным членом партии, что явствовало из каждого его слова. Я поэтому держался от него подальше. Мой вид и поведение ему, видимо, тоже ничуть не импонировали. Все это изменилось, однако, когда мы оказались в окружении. Он стал очень тянуться ко мне, много со мной разговаривал, и видно было, что он вообще не хочет терять меня из вида, может быть инстинктивно чувствуя во мне человека, которому его национальные черты не были сами по себе неприятны.

Но меня очень раздражали его разговоры. Он не понимал ничего в происходящем. Хотя он и чувствовал инстинктивно, что творится что-то странное и страшное, но он и мысли не допускал

о возможности поражения. Его пугал рост антисемитизма среди наших бойцов и огорчало падение патриотических чувств.

— Только бы нам отогнать этих сволочей... — не переставал он повторять. — Только бы отогнать, все сразу станет на место...

Меня эти заклинания вывели в конце концов из себя, и я высказал ему совершенно откровенно все, что думал о происходящем.

— Неужели вы не понимаете, почему немцы так свободно идут по нашей земле? Мы не только перед ними безоружны, но и беспомощны из-за полнейшего непонимания их тактики... И почему вы претендуете на какой-то патриотизм, на какую-то любовь к нашей жизни, такой бессмысленно-трудной, идущей под знаком полнейшего презрения к отдельному человеку..

Каждое мое слово буквально его ранило. Лицо его искажалось, он кидался из стороны в сторону...

— Ах, что вы говорите, что вы только говорите... Вас обязательно надо изолировать, непременно и немедленно изолировать...

Конечно, думал я, с каким-то внутренним торжеством отчаяния, ты бы изолировал меня сейчас же, будь у тебя такая возможность. И ты сделаешь это, если только нам удастся выйти из окружения. Но мне было все равно. Меня душило возмущение против всего, вокруг меня происходившего. На фоне нашей общей безудержной и бессмысленной гибели моя собственная судьба представлялась совершенно несущественной. И потом, происходило все-таки что-то грандиозное и вконец нарушавшее все прежние связи. Теперь этому Миддису даже некому было и пожаловаться на меня, никто его уже и слушать не стал бы...

Дальнейшая его судьба осталась мне неизвестна. Я его после этого разговора никогда больше не видел.

К вечеру стало известно, что мы направляемся к какому-то другому пункту, где предстоит пробиться через немецкий «десант» и переправиться через небольшую речку, а на той стороне наши...

Перспективы эти не предвещали ничего хорошего, но голод, холод и, в особенности, бессонница повергли меня уже несколько дней тому назад в какое-то отупение и равнодушие. Я смотрел по сторонам и прислушивался к тому, что говорилось, довольно спокойно и бестрепетно.

О том же, что вокруг нас происходит все же нечто серьезное, свидетельствовали горящие со всех сторон деревни. Огни пожаров становились тем ярче, чем темней делалась ночь.

Я как-то не сразу понял, что это горят деревни — такое это

было странное, непривычное зрелище. В разных направлениях виднелись скопления даже не пламени, не огня, а скорее чего-то, напоминавшего массу отпылавшего жара только что истопленной русской печи. В моем притупленном и ограниченном в движениях сознании эти красные пятна, обладавшие какой-то внутренней жизнью, торчали перед глазами раздражающими, но непонятными объектами. Насколько-то это было привлекательно глазу, но совершенно непонятно тупому и полусонному уму.

Перед нами, в направлении нашего движения, в ночном небе стояли длинные галереи разноцветных ракет, как какие-то бесконечные проспекты. Кто и для чего держал в воздухе эти сады ракет? Наше командование? Раньше мне нигде и никогда не приходилось наблюдать ничего подобного. Даже отдельные ракеты, мелькавшие до этого то тут, то там в ночном небе, вселяли всякий раз подозрительность, а то и панику в сознание моего непосредственного начальства. Мы настолько свыклись с мыслью о необходимости полнейшей маскировки, глубочайшей тайны и секретности каждого нашего шага, что и в голову, казалось, не могло прийти пустить в небо ракету и этим дать себя обнаружить, в то время как было строжайше запрещено чиркнуть в воздухе спичкой... А тут эти ракетные фейерверки!

Будь у меня в те ночи свежей и свободней голова, я, может быть, и тогда уже понял бы, что это такое. Хотя для кого бы то ни было из окружающих, включая и все наше непосредственное начальство, зрелище это было совершенно необъяснимо. Только позднее, вспоминая об этих ночах и связанных с ними впечатлениях, приходивших на память как какой-то сумбурный, страшный сон, я догадался, что ракеты эти держали в воздухе немецкие танковые соединения, прошедшие далеко вперед и посредством этих ракетных магистралей позволявшие немецкому командованию все время наглядно судить о положении своих наступающих танковых войск. Это был непонятный для нас тактический прием. Мы ведь тогда и представить себе еще не могли, что передовые немецкие части так далеко продвинулись вперед и что наши блуждания в их тылах в достаточной степени бессмысленны. Мы не понимали, что нам самим в этих условиях надо было сделать именно то, что стремились с нами сделать немцы посредством воздушных атак, подобных недавно мною пережитой, — возможно более рассредоточиться. Мы бы, вероятно, могли еще просачиваться сквозь эти танковые гряды и преграды небольшими группками, но не громоздкими соединениями и тем более огромными бесформенными толпами.

Когда мы углублялись в лес, мне сквозь дрему мучительно думалось о том, что надо бы подбить Петра Осиповича уйти со мной поглубже в лесную чащу, спрятаться где-нибудь там и переждать эти нелепые происшествия или, по крайней мере, хоть отдохнуть немного...

К полуночи мы подошли опять к какой-то деревне. Улица ее довольно резко уходила под гору в темноту, которая становилась еще черней от горящих где-то на другом конце деревни изб и от то и дело пересекавших небо по параболе красновато-огненных мин, падавших куда-то в темноту, как казалось, в глубину леса. На этом конце деревни сгрудилось много машин и конных обозов, много лишенных какого-либо строя бойцов. Раздавались время от времени какие-то пулеметные очереди, ружейная стрельба и даже какие-то небольшие взрывы, иногда совсем неподалеку от нас, что заставляло меня несколько раз припадать инстинктивно к земле...

Время от времени раздавались истошные крики: «Конная батарея вперед!» Где она, эта конная батарея, почему ее никак не дозовутся? Кто-то из бывших неподалеку бойцов объяснил мне, что батареи в действительности никакой нет, что это ложная команда, которую надо передавать возможно громче, чтобы ввести немцев в заблуждение...

О господи, какая глупость! Но что же делать — кричать, так кричать... И я с остервенением, вместе с другими, время от времени орал: «Конная батарея вперед!»

На всякий случай мы с Петром Осиповичем отошли за небольшой бревенчатый сарай, который в момент неожиданного огня мог бы послужить прикрытием. И тут я вдруг увидел, что в двух шагах от меня стоит один из моих коллег и музейных сотрудников, с которым мы вместе пошли в ополчение и не видались с июля месяца.

— Дмитрий Александрович, вы здесь? А где же все другие наши?

— Весь наш полк здесь. Все они там впереди — ведут наступление на немецкие позиции.

— И Алексей Петрович здесь, и Евгений Иванович? — я называл имена моих ближайших товарищей по работе.

— Алексей Петрович тут, а Евгений Иванович, наверно, давно в Москве, уже месяца полтора как эвакуирован из-за болезни желудка.

— Да-да, ведь я помню — у Евгения Ивановича всегда был больной желудок¹.

И снова вопли: «Конная батарея вперед!»

Было сказано между нами еще что-то. Но вот он вдруг исчез из поля моего зрения так же внезапно и непонятно, как появился. Я даже звал и искал его, насколько позволяли обстоятельства. Мне хотелось задать ему еще много разных вопросов...

Удивительней же всего то, что когда я потом вспоминал об этой встрече — и меня это поразило далеко не сразу, — Дмитрий Александрович предстал в моей памяти не в военном обмундировании, а в том своем гражданском платье — и даже в фетровой шляпе, — в котором я его видел в первые дни ополчения. «Неужели им так и не выдали обмундирования? — гадал я по этому поводу. — Не может этого быть...»

Когда я в 1956 году вновь встретился с этим человеком и спросил его — помнит ли он об этой нашей последней встрече, он отвечал, что помнит конечно, но, разумеется, совершенно исключал возможность того, что он мог быть в гражданском платье. Была ли это галлюцинация, вызванная резкой психической перегрузкой и недосыпом? Вероятней всего.

Немецкий плен

Под утро, но еще в полной темноте, двинулись, наконец, за своим обозом и мы. Двинулись по деревенской улице, в направлении горящих домов на другом конце села. По сторонам валялись разбитые машины и подводы, приобретавшие неестественные формы в отблесках пожара. Лошадей погоняли. Подводы наши двигались с такой скоростью, что за ними приходилось бежать. Я одной рукой держался за оглоблю телеги, а другой — за Петра Осиповича из боязни его потерять.

Стреляли ли по нас? Были ли у нас жертвы? Ничего не знаю. Ничего такого не заметил. Все внимание было сосредоточено на том, чтобы проскочить, не отстать, не потерять и не потеряться...

Пробежав так по деревне, мы очутились в редком лесу, наполненном звуками пулеметной стрельбы. Как-то сразу стало гораздо меньше народу. Подводы наши повернули в одном направлении,

¹Упомянуты сотрудники ГИМ: Д.А. Крайнов, А.П. Смирнов, Е.И. Крупнов.

мы же с Петром Осиповичем почему-то отстали от них и пошли несколько другой дорогой. Дороги, собственно, определенной не было — весь лес был вытоптан и изборожден следами повозок. Мы бежали за какими-то людьми, в том направлении, откуда не раздавалось стрельбы.

Небо стало сереть. Светало. Убавив шаг, мы через некоторое время оказались на опушке. Перед нами был луг, от которого высоким плетнем отгорожено пахотное поле, не круто подымавшееся к деревне, находившейся на расстоянии не более километра. Кругом было пустынно и тихо. Впереди нас стояло еще несколько бойцов и один кавалерист. Люди в нерешительности остановились.

Меня одолевала такая страшная усталость, было так холодно, так все внутри дрожало, что я не задумываясь и громким голосом предложил перелезть через плетень и идти в деревню. Кавалерист, опасливо поглядывая вперед, нерешительно произнес:

— Да, пожалуй, как раз и нарвешься... И поехал медленно в сторону, держась лесной опушки. Мы продолжали стоять на месте.

— Немцы, вон немцы... — сказал Петр Осипович, показывая на что-то движущееся в не совсем еще полном свете.

Я пригляделся и обрадовался:

— Да что вы, Петр Осипович, право — это мальчишка гонит овец...

Обрадовались, оживились и повеселели все остальные. После этого мы, уже не споря и не сговариваясь, направились к плетню, перелезли через него и решительно зашагали к деревне.

Так мы шли, когда вдруг метров за 400 от нас заработал пулемет и вокруг засвистели пули. Откуда? И тут-то наконец мы увидели немцев. У края деревни устроен был маленький окопчик, и немцев там было человек 12—15, не больше. На секунду приостановившись в растерянности, мы бросились бежать назад к плетню, к лесу, но все это было от нас уже далеко. Пулеметная стрельба усилилась.

Пробежав метров 50—60, я почувствовал, что задыхаюсь и больше бежать не могу. Я крикнул Петру Осиповичу, бежавшему метров на 10 впереди, и упал на землю. Он было сделал то же самое, но потом, вскочив, пробежал еще немного и лег за небольшой холмик, знаками приглашая меня последовать его примеру. Я перебежал разделявшее нас пространство и лег рядом с ним. Мы были вместе. Пулеметная стрельба прекратилась, но вместо нее начался минометный огонь. Бац, бац, бац — мины падали все ближе и ближе...

— Пристреливаются... — прошептал Петр Осипович, — следующая мина ударит по нас...

— Может быть, они перестанут... — взмолился в ответ я.

Нам повезло. Огонь действительно прекратился. Я перевернулся на спину и стал оглядываться по сторонам. Товарищей наших поблизости не видно. Только неподалеку лежит кем-то потерянная пилотка. Убит кто-нибудь? Но ничего больше не было видно.

Что делать дальше? Мы совершенно закоченели, после того как пролежали на холодной заиндевелой траве, вероятно, больше получаса.

— Петр Осипович, надо встать и идти к этому окопу..

— Что вы говорите, нас сейчас же убьют, как только мы подыдемся.

— Но, может быть, они не будут больше стрелять... Ведь так мы тоже долго не вылезем, а бежать все равно бессмысленно.

— Я не хочу идти в плен. Я этого больше всего боялся.

— Нам ничего другого не остается...

— Я не буду поднимать руки.

— Хорошо, это сделаю я за себя и за вас...

Пока мы так переговаривались, над нами вдруг раздалось отрывисто и громко: «Aufstehen. Hände hoch!»¹ Перед нами стояли два немца в зеленовато-серых шинелях, в металлических касках, и у одного из них был пистолет, который он направил на нас. Я встал с земли и поднял руки. Встал и Петр Осипович. Немец с пистолетом в руке приблизился ко мне. «Выстрелит», — мелькнуло у меня в голове, но я не шелохнулся.

— Jude?

— Nein.

— Ist gut².

Такой же вопрос был задан и Петру Осиповичу. Второй немец со свободными руками подошел к нему и снял с него кожаный ремень, надетый поверх шинели, и бегло ощупал его карманы и бока, видимо в поисках оружия. Глядя на это, я расстегнул шинель, под которой у меня был брезентовый ремень, не заинтересовавший немца.

«Sind Sie ein Arzt?»³ — спросил меня один из них при виде моей санитарной сумки с красным крестом. Я затруднился ответом. Разговорным немецким языком, как помянуто, я не владел совершенно.

¹ Встать. Руки вверх!

² Еврей? — Нет. — Хорошо.

³ Вы врач?

Кое-как я объяснил ему, что я не врач, а научный сотрудник, археолог... Осведомившись у Петра Осиповича о его профессии, они остались довольны, узнав, что и другой их пленник — ученый. Пистолет был спрятан. Нам дали знак идти за ними в деревню. Как только мы приблизились к немецкому окопу и навстречу нам из него выскочило несколько солдат, наши конвоиры громко объявили:

— Wieder die russischen Wissenschaftler gefangen genommen...¹

Очевидно, и до нас на их пути попадались московские ополченцы, и в плену оказывались находившиеся среди них в некотором проценте научные работники.

Когда мы вошли в деревню, нас поразило большое количество немцев, в разных направлениях сновавших по ее улице. То и дело откуда-то подъезжали и куда-то уносились большие и быстрые мотоциклы, каких я не видел раньше. У многих из стояли грузовые и легковые автомобили разных размеров и фасонов. Это разнообразие транспортных средств меня, человека, привыкшего к трем-четырем видам автомобилей (у нас в то время из грузовых были преимущественно полторки и трехтонки, значительно реже встречались пятитонки, а из легковых — только газики и эмки), сразу же потрясло. Немецкие солдаты и офицеры (я еще совершенно не мог отличить одних от других), в их чистой и подтянутой униформе, с отделанными серебряным галуном воротниками, погонами и фуражками, выглядели несравненно представительней наших солдат и командиров, в нашем грубом, бесцветном и непрезентабельном обмундировании, которое к тому же, ввиду нашего постоянного пребывания под действием атмосферных условий, выглядело всегда измятым и грязным. В грубых башмаках и расползающихся обмотках, в висящих мешками шинелях, мы должны были производить весьма жалкое впечатление на высоко культивировавших всяческую, и в особенности военную, форму немцев.

Нас толкнули в пустую избу, в которой одна половина была густо усыпана куриными перьями, а в другой на деревянной постели лежал в бессознательном состоянии и, видимо, агонизировал наш боец с огнестрельной раной в области грудной клетки. К пуговице его гимнастерки была привязана картонная бирка, на которой было что-то написано беглым почерком по-немецки, чего я разобрать не смог.

Вскоре к нам вбежал какой-то немец, видимо санитар, и стал

¹Опять русские ученые взяты в плен...

мне что-то быстро говорить, с употреблением непонятных для меня и, вероятно, диалектных выражений, жестами указывая на раненого, после чего так же быстро удалился.

Я поднял у лежащего человека гимнастерку, увидел пулевую рану на правой стороне груди, из которой при каждом вдохе выступала легочная ткань. Я вскрыл индивидуальный пакет и сделал ему простейшую перевязку, понимая, что пользы от этого никакой не будет. Дышал он очень тяжело и аритмично.

В избу тем временем вошел другой немец с красным крестом на рукаве и объяснил мне, что я должен отдать ему мою санитарную сумку — она-де достаточно хороша, а у него никакой нет... При этом он сказал, что содержимое ее я могу оставить при себе.

Не без удивления и сожаления расстался я с сумкой, распахав по карманам и в противогазную сумку, выкинув из нее предварительно противогаз, перевязочные материалы, лекарства и инструменты.

За это время в избу вошло еще несколько наших, один из которых тащил на спине большой бумажный мешок сухарей. Вошедшие оживленно и возбужденно обменивались впечатлениями. Говорили о том, как они спасались от огня и как, уже миновав, видимо, так же, как и мы, немецкие линии, в лесу наскочили на подбитую машину с продовольствием и овладели этим мешком сухарей. Содержимое его стало быстро разбираться присутствующими. Мы с Петром Осиповичем также получили по несколько штук. Примостившись на подоконнике и съев сухарь или два, я вдруг почувствовал ужасную усталость и сонливость. Опустившись на пол, я тут же провалился в небытие, весьма должно быть глубокое после стольких бессонных суток и такого нервного напряжения.

Когда я проснулся, в избе уже яблоку упасть было негде. Стояли, лежали, сидели наши бойцы — человек 50—60. Было невыносимо душно, накурено. Раненого моего уже не было. Где он, я добиться не мог. Вероятно, он за это время умер, и его вынесли вон. Я бы, может, предпринял и дальнейшие поиски, но появилось несколько немцев и под крики «los, raus» выгнали нас всех из избы, построили и повели прочь из деревни.

Опять нас на короткое время окружил грохот мотоциклов, выкрики команды и быстрые движения немцев. На нас никто уже не обращал внимания. При виде большого количества валяв-

шихся там и сям наших противогазов, за полной ненадобностью выброшенных вон по собственной ли воле нашими солдатами, по приказу ли немцев, я вдруг только теперь, при этом именно зрелище, остро почувствовал, что мы в плену и что так или иначе, но мы окончательно отвоевались. При всем сознании неопределенности и неизвестности нашего положения это было какое-то очень легкое чувство, так, как будто бы с души свалился очень тяжелый груз какой-то ответственности и какого-то беспредельного страха. Война где-то уже позади. Это было в тот момент самое главное. Конечно, это было совершенно ложное и мало на чем основанное чувство. Это был какой-то кратковременный, но довольно яркий мираж, под впечатлением которого я прожил несколько очень легких и светлых минут, как бы вырвавшись из всего окружения в некий иной мир.

Петр Осипович, видимо, вовсе не разделял моего настроения. Он был очень сосредоточен и грустен, глаза его неопределенно блуждали. Он, видимо, пытался осознать создавшееся положение в каком-то другом, для меня еще неведомом плане. Когда я спросил его, чем он в данный момент так огорчен, он ответил мне, что считает непростительной глупостью то, что мы пошли к этой деревне, вследствие чего и попали в плен. Если бы мы задержались в лесу и постарались несколько ориентироваться, этого могло бы и не случиться.

— Это так ужасно, что мы попали в плен... Теперь мы погибли...

И хотя я совершенно не чувствовал этого ужаса, не разделял его огорчения, несмотря на ту внутреннюю легкость, какую я ощущал при мысли о том, что фронт у меня позади, во мне самом начали шевелиться подозрения, что мы угодили в плен в результате нашей собственной — более того, именно моей оплошности. Ведь это я настаивал на том, чтобы идти в деревню... Подозрения эти были во мне усилены тем, что с нами не было никого из состава нашего батальона. Вокруг все совершенно чужие люди из каких-то неизвестных подразделений. Мысли эти заслонили и отогнали мою легкость и радость, не дав ей даже хоть сколько-нибудь во мне утвердиться. В особенности меня огорчало сознание, что мое поведение определило судьбу Петра Осиповича, которая могла бы быть иной, которому плен представлялся невыносимым, а мысль о гибели в плену — ужасной.

Нас вели полем и перелеском. Освещение было каким-то неполноценным, время суток определялось с трудом — то ли утро, то

ли вечер. Сколько я проспал, было мне совершенно неизвестно. С той стороны, куда нас вели, раздавалась беспорядочная стрельба... Куда и зачем нас ведут?

Вскоре мы оказались у совершенно сожженной деревни. Только некоторые избы были еще целы, большинство же чернело обгорелыми бревнами. Вокруг подымался дым, смешивавшийся с туманом и морозной мглой. Обстановка была достаточно злоеющей. Я скорее догадался, чем убедился в том, что нас привели в ту самую деревню, через которую мы прорывались в ночь перед пленом.

Нас выстроили на дороге, присоединив к небольшой группе стоявших уже тут до нашего прихода бойцов. Всего же нас оказалось до сотни. Стали мы в одну неровную шеренгу. Вокруг нас на треногах торчали пулеметы, и около них копошились угрюмого вида немцы.

Звуки выстрелов раздавались со всех сторон, но совершенно непонятно было, кто же и зачем стреляет. Сосредоточившись на этом, я понял, что выстрелы раздаются из догорающих изб, где, видимо, рвутся брошенные нашими боеприпасы.

Так мы стояли, пожалуй, около часа, а при нас четверо или пятеро стороживших нас немцев, вооруженных винтовками. У одного из них на груди висел металлический предмет в форме лунного серпа, а через плечо болтался автомат. Несколько позже я узнал, что серп — это отличительный знак начальства полевой жандармерии.

Мимо нас, сзади нашей шеренги, прошли два немецких солдата, и мне послышалось, как один спросил: «Разве этих тоже расстреляют?..» — «Не знаю», — довольно равнодушно ответил другой.

У меня все упало внутри, тем более, что и самая окружавшая нас обстановка наводила на подобные подозрения: чего мы тут стоим столько времени перед этими пулеметами?..

Первой моей мыслью было сообщить о слышанном Петру Осиповичу и другим, стоявшим рядом товарищам. Но тут же я подумал, что только скажи я это, как наши начнут разбегаться, и тогда нас наверняка перестреляют... И кроме того, может быть, мне просто послышалось? Ведь я не так-то легко воспринимаю на слух немецкую и тем более простонародную, диалектную речь. Мог что-нибудь и перепутать. Я решил, что будет разумнее покуда что помолчать, пока обстоятельства не станут более явными. Меньше всего мне бы хотелось теперь еще спровоцировать подобный расстрел.

Пока я так раздумывал и прикидывал, раздалась команда, и сто-рожившие нас солдаты под начальством человека с металлическим серпом на груди, жандармским фельдфебелем, повели нас прочь от деревни, сначала по проселку, а вскоре вывели на большак.

Я довольно быстро разговорился с этим фельдфебелем, оказав-шимся судетским немцем, т.е. собственно больше чехом, чем нем-цем, и мы понимали друг друга, употребляя немецкие, чешские и русские слова.

Из этого разговора я выяснил два обстоятельства: прежде всего фельдфебель сообщил мне, что нас отнюдь не собираются кор-мить — никакого довольствия для пленных не существует. Когда и как мы будем питаться, выяснится только по приходе на место, которое он мне хотя и назвал, но название это мне ничего не гово-рило. Кроме этого, я отважился сообщить ему о слышанном мной разговоре во время пребывания в сожженной деревне и спросил, правильно ли я этот разговор понял, и если да, то что он вообще об этом думает? Он мне спокойно ответил, что понял я этих нем-цев, вероятно, правильно, так как незадолго до нашего прихода в эту деревню, где-то около нее, было расстреляно до полусотни советских военнопленных. Расстрел был произведен в порядке репрессии, так как в одной из сгоревших изб был обнаружен обо-жженный труп немецкого солдата, как предполагалось, раненого и брошенного в огонь русскими. Но собирались ли расстреливать также и нас, он не знает.

В результате этого первого общения с немцами передо мной приоткрылись весьма безрадостные перспективы: какая-то слу-чайность спасла нас от беспричинного расстрела, а о том, что нас ждет впереди, хотя бы отчасти приходится судить по тому, что нас куда вовсе не намерены покормить.

Тут уж я поделился моими грустными мыслями с Петром Оси-повичем. Ряды наши во время марша расстроились, и можно было беседовать, не будучи слышимыми кем-либо еще. Петр Осипович и без того был настроен весьма мрачно и грустно. Его особенно тяготило то, что если он даже и сохранит на какое-то время жизнь, то уж, во всяком случае, никогда не получит возможности обще-ния с семьей. Мы с горечью вспоминали о том, что никому из нас не был известен хотя бы один случай возвращения домой военно-пленных финской кампании 1939—40 годов, а их ведь, наверно, было не так уж мало...

Тем временем нас привели к какой-то деревне, перед кото-рой на большаке, при его соединении с шоссейной дорогой,

толпилось огромное количество наших военнопленных, исчислявшееся уже не десятками и сотнями, а многими тысячами. Совесть моя здесь могла несколько успокоиться: среди этих людей было очень много наших — не только бойцов, но и командиров. И даже машина («паккард») командира нашей дивизии, которую я до того несколько раз встречал на моем пути, оказалась здесь же. Так что наше пленение было отнюдь не случайным промахом, но совершенно фатальным происшествием. Разумеется, кой-кто по счастливому стечению обстоятельств вышел из этого окружения. В частности, один мой коллега, которого я встречал потом после войны, рассказал мне, что он присоединился случайно к группе офицеров, имевших карты и обладавших боевым опытом этой войны, которые после долгих блужданий вывели его на нашу сторону.

Я и в тот момент не решился бы утверждать, что весь наш батальон оказался в плену, но я видел очень много наших и, в частности, многих своих санитаров, и своего командира взвода, так же как и командира хозвзвода.

Как только нас вывели на шоссе, мы попали в непрерывный поток грузовых машин, мчавшихся нам навстречу. Одна за другой, одна за другой, без единого интервала! Огромные двадцатитонные грузовики, с колесами в человеческий рост. Никогда ничего подобного я не видывал, не мог себе даже вообразить. Другие машины поменьше — десятитонки, но зато каждая с двумя прицепами. У нас вообще тогда не было машин с прицепами из-за наших плохих дорог. Еще на некотором расстоянии от шоссе я услышал уже гул автомобильных моторов и характерный звук тяжелых пневматических шин. Теперь это все рулило, несло у меня перед глазами нескончаемой вереницей. Это подтягивались немецкие тылы вслед за продвинувшейся на этом участке фронта километров на полтораста передовой линией. Машины всяческого назначения: с боеприпасами, продовольствием, огромные почтовые машины, радиостанции, санитарный транспорт — чего только тут не было.

И все эти бесконечные потоки машин шли и шли на восток. Какая страшная сила, думал я. Ведь это только одна, и далеко не главная, дорога. А по ней за короткое время прошло машин больше, чем я, может быть, видывал в своей жизни, и таких машин, каких я не видывал вообще никогда. И мы хотим противопоставить себя этой силе. Наши жалкие конные подводы, наш еще более жалкий автотранспорт. Какие-то несчастные пыхтелки и сопелки по сравнению с этими немецкими левиафанами.

Что может остановить эту невероятную лавину? Кажется, не будь у немцев никаких танков, никакой штурмовой авиации, а одни только эти огромные бесчисленные грузовики, и то нам бы их не задержать, не остановить нипочем и ничем... Так думал я в ужасе, наблюдая первый раз в жизни современный европейский военный транспорт в его движении. Я совершенно не мог себе представить в тот момент силы, способной прекратить его движение вперед.

Всю эту массу пленных, которая все время увеличивалась в числе за счет подходивших с разных сторон групп, вроде той, в которой прибыли сюда мы с Петром Осиповичем, согнали с дороги и поместили на большом колхозном картофельном поле, окруженном плетнем. Вокруг него расположилась охрана с пулеметами.

Лагерь наш представлял собой невообразимое зрелище. Ошалелые люди в растерзанном обмундировании непрерывно сновали туда и сюда в разных направлениях, оглашая воздух громкими выкриками. Все искали своих товарищей, находили их и снова теряли...

— Иванов, эй, Иванов, такой-то роты, такого-то полка... Фетисов, Фетисов.

Я тоже ходил и кричал: «Петр Осипович, Петр Осипович...» Мы с ним обещали друг другу ни за что по своей воле не расставаться, но движущиеся туда и сюда людские волны нас то и дело отбрасывали в разные стороны.

Ноги очень устали, но сидеть на земле можно было только тесно сбившись в кучу, иначе был риск, что тебя затопчут мечущиеся и с трудом пробивающиеся в нужном им направлении люди. Это был какой-то бешеный, сумасшедший толкун, в котором очень легко было потеряться и заблудиться, но почти невозможно было найти кого-либо или просто оставаться на одном месте...

На нас с Петром Осиповичем натолкнулся вдруг один пожилой уже человек — писарь хоззвода, кажется счетный работник также и по гражданской специальности и еврей по национальности. Он нам очень обрадовался, но вообще пребывал в ужасном и безутешном отчаянии.

— Что же делать, что же мне делать, — повторял он в полубреду, — ведь немцы меня уничтожат, обязательно уничтожат, а так хочется жить... Как вы думаете, не может ли мне помочь то, что в паспорте у меня сказано, что я беспартийный... ведь они считают евреев коммунистами...

— Отчего вы так уверены, что немцы действительно уничтожают евреев? Я допускаю, что наши газеты все это преувеличивали. Меня вот было тоже приняли за еврея...

— Вы — это другое дело. Вам это не угрожает, а у меня же еврейская фамилия... Что же мне делать... — в отчаянии повторял он.

Петр Осипович очень трогательно утешал его, но тоже не мог ничего определенного посоветовать. Немецкие репрессии и зверства в отношении евреев были для нас все еще совершенно не конкретны, у нас в этом отношении не было никакого реального опыта, а я так просто не верил, что немцы — такой культурный и трезвый народ — могут действительно уничтожать евреев только за то, что они евреи. Мне это представлялось преувеличением нашей газетной пропаганды.

Фамилия этого писаря была Фридман. Голубоглазый человек, с сильно седеющими и далеко не очень черными волосами. Он вполне мог бы забыть о своей еврейской принадлежности и стать лицом немецкого происхождения. Увы, он, видимо, ни сам до этого не был в состоянии додуматься, ни мы ему этого не догадались посоветовать. Слишком еще все это было для нас невероятно, маловероятно и, главное, как-то совершенно неожиданно. Мы даже не сказали ему, чтобы он не вздумал оперировать своим паспортом, а лучше бы всего его уничтожил — самые простые вещи, до которых, наверно, тут же додумался бы любой мелкий воришка, не говоря уже о каких-нибудь партийно-подпольных конспираторах, тогда нам совершенно не приходили в голову.

Быстро темнело. То тут, то там вспыхивали костры, разложенные из сухой картофельной ботвы. Вокруг них тесно сидели люди, грелись и пекли тут же под собой из земли вырытую картошку. Мы с Петром Осиповичем тоже было присоединились к одному такому костру, но тут раздался вдруг громкий голос, призывавший медицинских работников к выходу из нашего импровизированного лагеря. Я немедленно отправился на зов. Подошло еще человек пять-шесть. К нам обратился немецкий офицер на чисто русском языке. Назвав себя капитаном полевой жандармерии, он объявил нам, что завтра мы все начнем двигаться к городу Рославлю, в тамошний лагерь военнопленных.

— В деревне, по сараям и избам, лежит немало русских раненых. Ваша задача собрать их и организовать транспортировку. У нас для этого транспортных средств нет. Подберите брошенные на дороге телеги — сколько будет нужно — и вызовите желающих везти их на себе до города. Мы организуем санитарный отряд, который будет двигаться отдельно от общей колонны. Вот вам повязки с красными крестами. С этими повязками вы можете беспрепятственно

выходить из лагеря и находиться вне его. Когда раненые будут собраны в одно место, обратитесь на жандармскую кухню — возможно, что их удастся покормить...

С этого началась моя пленная деятельность. Прежде всего я отправился за Петром Осиповичем и включил его в группу лиц, тут же начавших поиски и концентрацию раненых в большой и теплой сушилке для зерна. Через час или два мы собрали таким образом около полусотни раненых, из которых около десятка имели тяжелые ранения с переломами костей. После того как мы их разложили в сушилке на свежей соломе, с немецкой кухни был принесен большой бидон с остатками супа. Его хватило не только на раненых, но и на нас, и он показался нам с большого голода совершеннейшей пищей богов. Спали мы вместе с ранеными, в сушилке. После всех блужданий по лесам и всех треволнений это была первая спокойная теплая ночь.

Утром раздобыли несколько брошенных нашими телег и подготовили их для перевозки тяжело раненных. Отобрали сотни две добровольцев, согласившихся попеременно везти на себе телеги.

Когда медиков накануне вызывал жандармский капитан, среди нас было несколько врачей и военфельдшеров. Утром я отправился их разыскивать: среди раненых были такие, в транспортабельности которых уверенности не было. Надо было бы показать их врачам. Выяснилось, что медики, выйдя из лагеря, устроились в одной из деревенских изб. Когда я вошел туда, там находилось два врача и три или четыре фельдшера. Моего командира взвода среди них почему-то не было.

На мой призыв откликнулась только женщина-врач. Врач-мужчина заявил, что он в такой обстановке не может заниматься медициной и к своим обязанностям приступит лишь в больнице. Фельдшеры поспешили присоединиться к нему:

— На соломе, в грязи, в пыли бессмысленно делать какие-либо перевязки или тем более операции.

В этом была, разумеется, доля правды. Но раненые наши чувствовали себя погибшими, потому что их бросили. Когда мы собрали их в сушилку, они, прослышав об этапе на Рославль, умоляли не оставлять их на произвол судьбы. Наконец, появление врача имело бы некоторое чисто моральное значение.

Я был очень рад тому, что женщина-врач согласилась произвести обход в нашем импровизированном лазарете. Во время этого обхода со всех сторон сыпались вопросы и просьбы, которые не

могли быть удовлетворены. Но мы кипятили воду и поили мучимых жаждой температурированных раненых. Варили картошку и раздавали ее тем, кто был голоден. Раненых было много, и одних этих забот хватало нам с лихвой.

Часов в 8—9 утра началось интенсивное движение немецких пехотных частей мимо нашего лагеря. Видимо, в результате того наступления, которое обратило нас в военнопленных, какая-то территория оказалась уже у немцев в тылу, и на наших глазах происходило перемещение передовых немецких частей. Некоторые подразделения проходили очень быстро, в боевом порядке, так, как если бы они шли в атаку. Другие же задерживались на какое-то время близ нас, разглядывали нас и много фотографировали. Меня поразило, что у многих солдат имелись фотоаппараты — вещь совершенно невозможная по тем временам в нашей армии. Всякое фотографирование, произведенное частным порядком, в военных условиях рассматривалось бы как шпионаж.

Моя врачиха останавливала на себе внимание многих. С ней заговаривали и ее фотографировали особенно часто. *Russische Ärztin*¹ в шинели и пилотке, среди военнопленных, вызывала у большинства любопытство, а у некоторых даже сочувствие.

Нас предупредили, чтобы мы не торчали у дороги во время прохождения немецких частей. А когда я один раз почему-то нарушил этот запрет и пытался перебежать дорогу между двумя маршировавшими частями, со всех сторон раздались резкие недовольные восклицания: «Los, fort...»²

По окончании этого продвижения, в середине дня, выступили и мы. Сначала прошла огромная колонна, составленная из людей, находившихся до этого на картофельном поле. Наблюдая ее прохождение, я еще раз увидел моего командира взвода. Он тоже заметил меня, остановился было, хотел что-то мне сказать, но потом вдруг съехался, отвернулся и зашагал прочь. Больше я его на своем пути не встречал.

Вслед за колонной двинулся и наш больничный обоз. Сначала шли здоровые люди, предназначенные для того, чтобы попеременно тащить телеги с ранеными. Сзади них шел и наш медперсонал. А затем двигались телеги, влекаемые тянущими их за оглобли и подталкивающими сзади людьми — человек по восемь на телегу. В каждой из них лежало по пять-шесть раненых. К моменту выступления этих телег было у нас около десятка.

¹ Русская женщина-врач.

² Пошел прочь.

Двигались мы медленно и очень скоро отстали от большой колонны. Сопровождавшая нас небольшая охрана нас не подгоняла. Часа через три такого марша мы остановились в придорожной деревне на ночлег. Раненые были помещены в сарае на соломе. Здоровые разместились в пустой конюшне. Медперсоналу было разрешено ночевать в жилой избе. Из колхозного бурта раздобыли картошки. Мы с врачихой, которую, как оказалось, звали Мария Абрамовна, опять варили картошку, кипятили воду и обслуживали раненых.

То же самое было проделано и на следующее утро. При обходе раненых обнаружили два или три трупа. Умирали нуждавшиеся в срочном хирургическом вмешательстве или в активной терапии. Ни то, ни другое в наших условиях не было осуществимо. Позавтракав и похоронив трупы, двинулись дальше. Таким порядком мы делали не более 10—12 километров в день.

Умирали у нас люди и на ходу. На одной из телег некий человек все никак не мог найти себе места. И тот-то ему мешал, и другой-то его толкал. При попытках устроить его поудобней приходилось теснить и тревожить других, они были недовольны. И вот я вижу, как его начинают пихать из стороны в сторону, каждый отталкивает от себя. Я подбегаю к этой телеге и выговариваю лежащим на ней за то, что они так грубо обращаются с тяжело раненным человеком...

— Да уберите его, доктор, — вдруг сказал один из них, — ведь он же помер...

— Помер? Как же это вдруг так помер, ведь только что просил положить его поудобней...

— Ну вот, а теперь помер...

Остановили телегу. Я убедился, что человек действительно мертв. Позвали охрану. Фельдфебель распорядился положить его на обочину дороги. Похоронить его на пути нам не дали. Надо было двигаться вперед.

И так как-то неожиданно легка и быстра была эта смерть, что оставила по себе глубокую память. Только что человеку было нужно удобное положение, внимание, забота, о чем он очень настойчиво заявлял. Нужно это все ему было, видимо, именно потому, что он агонизировал, но ни он сам, ни я этого не понимали. И вот он уже умер, вдруг, быстро и непредвиденно, а никто из его соседей, только что выражавших недовольство по поводу его беспокойства и назойливости, этому совершенно не удивляется...

* * *

Мы раненых везли дорогой заснеженной,
Соломой приукрыв бескровные тела.
Понятно было им, что жалобы никчёмны,
Но стонами была полна сырая мгла.

Везли без лошадей, в разбитые телеги
Ослабленных колен впрягая боль и дрожь.
А ранняя зима своим тяжелым снегом
Валила на полях неубранную рожь.

Их к смерти все влекло: гноящиеся раны,
Простуда, голод, тряская езда.
Нас равнодушные, застлав глаза туманом,
Лишало жалости, терпенья и стыда.

Лишь кто-нибудь из них, безропотно, как старец,
Кончая здешний путь, терял последний вздох,
Мы волокли его, грубей, чем санитары,
С телеги вниз, схватив за жерди рук и ног.

И тут я оценил всю легкость и беспечность,
С которой смотрит жизнь в дырявые глаза
Бездомной смерти — страх и человечность
Безмолвствуют равно, в поддержке отказав.

А облегченный воз, неверно и недружно,
Волочим мы опять из вязкой колеи.
И снова этих тел унылый стон, придушен
Паденьем снега, в серый дым летит.

Стояли небольшие морозы. Погода была то серая, хмурая, то довольно солнечная. Навстречу нам, не так, впрочем, уже интенсивно, как в первый день нашего выхода на шоссе, двигались немецкие машины — грузовые и легковые — самых, как мне казалось, разных фасонов. Потом, когда я по привычке к их виду, я понял, что фасонов хотя действительно несколько, но не так уж много. Легковых, кажется, пять-шесть фасонов, ну а грузовых немного побольше. Научился я позднее различать немецкие и французские машины.

По-прежнему очень трудно было представить себе, что же нас ждет в будущем. Каков будет наш плен? Петр Осипович продолжал очень грустить и огорчаться по поводу происшедшего, хотя к нему вернулась его прежняя общительность и желание подбодрить в моральном отношении более слабых из числа окружавших

его людей. Я видел его беседующим со многими из тех людей, с кем судьба столкнула нас уже только в плену. Мне, ввиду моих санитарских обязанностей, почти не приходилось принимать в этом участия, хотя мы по-прежнему старались не терять друг друга из вида ни на секунду. Спали мы с ним всегда вместе, в одном помещении.

Однажды я увидел на дороге человека в русском обмундировании, возившегося с немецким мотоциклом. Этакую картину пришлось мне тогда наблюдать впервые. Явно русский военнопленный, но без охраны и при деле. Это было совершенно ново. Видимо, он не первый день в плену. Я подошел к нему и стал расспрашивать. Он отвечал односложно, без всякого интереса к разговору, почти не подымая головы и не прекращая возни с мотором.

— Да я еще у границы попал, в июле месяце...

— И каково же оно?..

— Да вроде ничего, не обижают...

— А в лагерях как? Вы где ж находитесь-то?

— Как я автослесарь, меня один пан сразу и определил к ним в мастерскую.

— А в лагерях как наши живут?

— Не знаю. Не видал я никаких лагерей...

Не видал лагерей... Как это странно. Может быть, почему-нибудь не решается рассказывать? Дальнейшие расспросы пришлось прекратить, потому что наши телеги тем временем продолжали двигаться. Мы с Петром Осиповичем недоуменно обсуждали эту встречу и пытались ее осознать и истолковать.

Во всяком случае, покуда что не было видно никакого немецкого прифронтового строительства, которое мы воображали, будучи еще у своих и пытаясь представить себе, что делается по эту сторону фронта. Русское население спокойно сидело по деревням, где в больших количествах стояли немецкие части. Стояли по избам, жили вместе с нашими, видимо, в каком-то довольно мирном контакте. Мне уже не раз приходилось по просьбе немцев помогать им в переговорах с хозяевами помещений. Иногда эти разговоры носили шутливый, добродушный характер. Все это вносило некоторое успокоение в мою душу.

Однажды меня остановил у края села какой-то посторонний нам немец и просил поговорить с группой крестьян, нерешительных стоявших с лопатами в руках.

— Они должны вырыть братскую могилу для нескольких умерших на дороге русских солдат. Они не хотят этого делать из бояз-

ни, что могила эта для них самих и что мы их расстреляем. Объясни им, пожалуйста, камарад, что мне от них нужно...

Мужички мои очень обрадовались, когда я им перевел слова немца. Обрадовался неизвестно чему и я сам, недалеко, видимо, отстоя в понимании происходящего от этих растерянных мужичков...

Мне приходилось эти дни много общаться с Марией Абрамовной — единственным врачом в нашем этапе, принимавшим участие в уходе за ранеными, при отсутствии элементарных санитарных условий и при полной невозможности оказания реальной медицинской помощи. Она, как я уже говорил, вместе со мной кормила и поила раненых, участвовала в приготовлении для них пищи, делала что могла для облегчения их страданий — у нас были кое-какие скудные лекарства, сохраненные мной из мосей санитарной сумки, — поправляла или заменяла повязки и т.п.

Из разговоров с ней я узнал, что она из Рославля, и, стало быть, наш этап должен был привести ее домой. Меня удивило, что она этому как-то ничуть не радуется, настолько, что я как-то даже спросил ее об этом. Она ответила довольно уклончиво — там-де у нее сейчас никого нет. Муж ее тоже где-то на фронте, где именно, она даже толком и не знает, а больше с Рославлем ее ничего и не связывает...

Удивило меня и то, что находившийся с нами врач-мужчина, с которым она, по всей видимости, вместе попала в плен и который первое время проявлял к ней всяческое внимание и не отходил ни на шаг, стал постепенно, но весьма заметно от нее отстраняться.

Причины всего этого стали мне более понятны только после того, как она однажды назвала мне свою фамилию — Зингерова, сказала она, переиначивая ее немного на русский лад.

Ах так, подумал я, она Зингер, а это значит, скорее всего, что она еврейка. Хотя, кроме имени и смольяного цвета волос, ничто не выдавало в ней этого еврейства. Она была молода, достаточно миловидна, с небольшим, слегка вздернутым — совершенно «арийским» — носиком. Говорила она на чистом русском языке, с очень небольшим западным акцентом.

Я не хотел увеличивать ее беспокойства и поэтому не спрашивал о ее национальности и вообще не затрагивал еврейского вопроса. Тем более, что со мной самим произошел небольшой инцидент, огорчивший и снова настороживший меня в этом отношении. Какой-то оказавшийся на нашем пути немецкий чин

(не знаю, солдат или офицер — я в то время еще очень плохо понимал немецкие знаки отличия) обратил внимание на какой-то непорядок, с его точки зрения, в обслуживании наших раненых. Он спросил конвоиров, кто здесь осуществляет санитарное наблюдение, и ему указали на меня. Кажется, он мне даже не сообщил, в чем было дело, но сразу же набросился на меня в резкой и грубой форме: «Почему вы так плохо ухаживаете за вашими ранеными, ведь вы же называете себя врачом, впрочем, вы, конечно, еврей...»

Я ему ответил довольно спокойно, но очень затрудняясь в немецких словах, что, во-первых, я не врач, а археолог, и медик только в военных условиях и поневоле, так что если что у меня и не так, то именно по этой причине. К тому же я не еврей, а русский...

Человек этот несколько опешил, на лице его отразилась некоторая досада, и, пробормотав что-то, чего я уже вовсе не уловил, он ретировался, и этим инцидент был исчерпан. Но во мне поднялось из-за этого смутное беспокойство, что это, наверно, не последняя неприятность, какую мне придется претерпеть в связи с немецким антисемитизмом. И только тут, собственно, я впервые по-настоящему ощутил, что этот немецкий антисемитизм — вещь совершенно реальная, неизвестно, впрочем, насколько распространенная и какие последствия имеющая для евреев.

Что меня принимают за еврея, я несколько удивлялся, хотя подобные случаи бывали и до войны. Потом я сообразил, что заросший, немытый, ужасно исхудавший, я действительно должен был приобрести бог знает какой вид...

Еще день или два такого путешествия, и наша тягловая сила начала приходить в уныние. Жили мы на одной картошке, без хлеба, без соли. Да и картошки-то не всегда бывало вволю. Люди стали отказываться тянуть телеги. Тут мне мой фельдфебель, возглавлявший наш конвой, стал объяснять что-то насчет попутных машин, чего я, впрочем, толком не понял, но стал все же утешать товарищей — раненых и здоровых — тем, что нас, видимо, должны погрузить на какие-то машины...

И вот, действительно, останавливается перед нами с десяток крытых грузовиков, и я вижу, как стоящих впереди здоровых военнопленных, под крики «los, los aber schnell»¹, начинают загонять в машины. Потом раздается команда грузить раненых... И мы, оставшиеся при них, в спешке, впопыхах, не слушая жалоб и причитаний, бросаем в машины наших раненых, не успев даже

¹Давай, давай быстро.

раздобыть для подстилки свежей и очень нужной соломы. Одна надежда, что путь будет недолгим. Потом заталкивают в последнюю машину с ранеными Марию Абрамовну и меня, подымается задняя стенка кузова, и вдруг я вижу, что Петр Осипович стоит на дороге недалеко от машины и смотрит с необыкновенным унынием в нашу сторону. Я кричу ему, чтобы он лез к нам, протягиваю ему руки, но он продолжает стоять в полнейшей неподвижности и нерешительности, с грустным, совершенно серым лицом, с опущенными вниз руками, и наша машина трогается, оставляя его на дороге все в той же позе... Прямо как во сне, когда снится, что что-то необходимо сделать, что произвести нечеловеческие усилия без всякого эффекта... Так я расстался с Петром Осиповичем, после того как мы обещали друг другу ни за что не расставаться на все время войны...

Рославль — лагерь военнопленных

Ехали мы очень недолго. Оказалось, что до Рославля осталось всего километров пятнадцать. При въезде в город машина, на которой я ехал, остановилась, и, откинув брезент, какой-то немец с земли спросил, нет ли тут кого-нибудь, кто хоть сколько-нибудь говорит по-немецки. Отозвались я и Мария Абрамовна. Нам тотчас же было приказано слезть, а машина поехала куда-то дальше.

Мы стояли у ворот двухэтажного дома с кирпичным низом и деревянным верхом. В нижнем этаже до войны помещался, по-видимому, какой-то магазин — бог его знает какой — ни вывески, ни какого-либо следа прилавков не осталось. Внутри стояла обитая жестью голландская печь с оторванной дверцей.

Введший нас во двор немец сказал, что здесь будет лагерь военнопленных и что я буду в нем переводчиком, а Мария Абрамовна врачом. Ее он после этого заявления увел куда-то, а я остался один во дворе, оглядывая пустые сараи и какой-то открытый настежь кирпичный полуподвал — в прошлом явно складское помещение, где сделаны были двухэтажные деревянные нары.

Вернувшийся немец сказал мне, что пленные в лагерь придут часа через два-три, а за это время надо кое-что приготовить к приему. Прежде всего, надо привезти сюда походную русскую кухню, стоящую где-то недалеко на дороге. Он пошлет со мной одного немецкого солдата, знающего, где находится эта кухня. Солдат этот тотчас же явился, и мы вышли с ним за ворота,

прошли по деревянному, немцами наведенному мосту над железнодорожным путем и пошли по направлению к Москве. К Москве — это знал я потому, что только что мы сюда по этой самой дороге приехали, да кроме того перед мостом стоял столб с немецкой надписью: до Москвы четыреста с чем-то километров. Видно, они туда уже всерьез собирались ездить.

Когда мы вышли с немцем из нашего будущего лагеря, у меня было почему-то довольно приподнятое настроение. Чувство было такое, что вырвавшись только что из ада войны, я уже предпринимаю нечто для упорядочения нашей здешней жизни. Если первые этапы плена были сопряжены для меня со всяческими страхами, то вот теперь плен, может быть, начинает оборачиваться для меня какой-то другой стороной (?)... С такими мыслями я шагал по пустынной улице, в уже начинавшем темнеть вечернем морозном воздухе.

Вдруг я обратил внимание на фанерный щит, прибитый к стене какого-то, видимо, немцами занятого дома. На нем большими печатными буквами было выведено: «...мы пришли в страну диких зверей. Здесь человеческие нормы и законы не применимы...» Сердце у меня сразу упало. Я со страхом, тотчас же вернувшись ко мне, посмотрел на шагавшего рядом немца, который, как и все они, казался мне подтянутым, сосредоточенным, полным какой-то не свойственной нам, русским, внутренней силы и достоинства. Он шагал хмуро, безразличный к окружающему, глядя прямо перед собой. У меня не повернулся язык задать ему какой-нибудь вопрос по поводу этой надписи... «Будь что будет, — подумал я. — Это все тысячекратно сильнее нас...»

Кухня оказалась недалеко, и я ее без особенного труда приволок в лагерь. Немец шел и туда и обратно рядом, пытаясь вести какие-то разговоры, но я его понимал очень плохо, впервые столкнувшись с каким-то простонародным диалектом. Вернулись мы, однако, уже в темноте, и когда я заглянул в помещение с нарами, то оно все оказалось заполнено спящими людьми. На нарах места нигде не было, или так мне показалось в темноте, и я улегся на полу, в проходе между нарами.

В этот день я ничего не ел, а в предшествующие питался урывками одной картошкой, и поэтому, вероятно, мне снились огромные праздничные столы, заставленные хрустальной посудой. Спал без просыпа, ничего не чувствуя. Так началась моя жизнь в немецких лагерях для военнопленных.

Утром я все же проснулся раньше других, может быть, из-за неудобного положения на холодном бетонированном полу. Выйдя

во двор, я увидел коренастого рыжего немца, уже не первой молодости, который будто бы именно меня и дожидался.

— Na, Pan, komm schon...¹

Я подошел к немцу. У меня тоже было уже на уме одно дело.

— Herr Offizier... — начал было я. Он скорчил недовольную гримасу, из чего мне стало понятно, что я промахнулся, и это никакой не офицер.

Он не дал мне опомниться и перестроиться. У него в руках оказался веник, который он тут же протянул мне:

— Besen... sauber machen².

Я покорно взял из его рук метлу и направился было к дальнему углу двора, чтобы начать оттуда подметание. Но он опять задержал меня:

— Halt mal. Ich mache nämlich heute UvD, verstanden?³

Я, разумеется, не понимал еще, что такое UvD. (Это был дежурный по части, нечто вроде нашего дневального, но с более широкими функциями и полномочиями. Сокращение это расшифровывалось как Unteroffizier vom Dienst. Обязанности UvD мог исполнять ефрейтор, кажется, даже простой солдат.) Но я не сумел ему объяснить, что мне это еще невдомек. Он посмотрел на меня и произнес, видимо, в заключение данных им мне объяснений:

— Russisch ist russisch und deutsch ist deutsch. Verstanden?⁴

Это я, разумеется, понял, вероятно даже в значительно более широком смысле, чем он мог и хотел себе представить. Почувствовал я даже и то, что это была, вероятно, краткая и вольная интерпретация нацистской политграмоты, которой он, хотя бы по одному своему возрасту, вряд ли имел бы что противопоставить.

Я принялся за подметание, но мне, однако, не пришлось долго предаваться этому занятию. Ко мне опять подошел уфод и спросил:

— Ты переводчик?

— Да, — ответил ему я.

¹ Ну, пан, иди сюда...

² Веник... убирай.

³ Постой. Потому что я сегодня дежурный, понятно? UvD — «уфод» — дежурный по части.

⁴ Русское есть русское, а немецкое есть немецкое. Понятно?

— Иди, фельдфебель хочет с тобой говорить.

Я отправился за ним в примыкавшее к магазину одноэтажное жилое помещение, где, видимо, расположились немцы. Он ввел меня в довольно просторную комнату. Посреди нее стоял стол и две скамейки, а у стен две железные кровати. На одной из них под серым шерстяным одеялом спал человек, а на другой сидел пожилой брюнет, во френче и форменной немецкой фуражке. Виски у него были с проседью, выражение лица — задумчивое.

— Вы говорите по-немецки?

Я ответил утвердительно и добавил:

— Очень немного.

— Вы не еврей?

Я ответил отрицательно.

— Потому что, понимаете ли, мы не должны иметь дело с евреями... Кто вы по гражданской специальности?

Мой ответ его, видимо, удовлетворил и обрадовал. Он стал со мной сразу более приветлив.

— Откуда вы родом и где жили до войны?

Мои ответы заставили его осведомиться, не офицер ли я.

— Можете ли вы писать немецкими буквами?

Получив утвердительный ответ, он сказал мне, что ему требуется поименный список всех находящихся в лагере, с указанием года рождения, национальности, рода войск и гражданской специальности. Он добавил, что это будет лишь предварительный список. Позднее их писарь соберет с моей помощью более подробные данные...

— Где вы ночевали? — спросил он затем. — Вы будете жить вместе с другими переводчиками. Пойдемте, я покажу вам это помещение...

Так вот как. Оказывается, у меня имеются коллеги? Кто они такие и каково-то мне с ними будет иметь дело? Фельдфебель не дал мне отдаться этим тревожным мыслям.

— Мы команда дорожно-ремонтного батальона. На нашем попечении участок дороги в 8 километров — четыре в одну и четыре в другую сторону от нашего лагеря. Пленные ежедневно в 7 часов утра будут выходить на работу. Сегодня мы им дадим поспать немного подольше, а в 8 часов будет произведено построение, и вы составите мне список...

Пока он говорил это, мы поднялись по кривой деревянной

лестнице на второй этаж над магазином. В маленькой комнатке стояла небольшая кирпичная печь с плитой, а вдоль стен шли одноэтажные узкие нары, на которых могло разместиться не более четырех человек. Когда мы вошли, с нар поднялись два спавших там человека. Фельдфебель сказал: «Вот ваши товарищи. Где-то здесь должен быть еще один человек с золотым зубом. Кажется, он учитель. Хотя он не говорит по-немецки, но возьмите его к себе, он будет вам немного помогать...»

Оставшись одни, мы стали знакомиться. Один из них был маленький, черненький человек, уже с сильной проседью. Он отрекомендовался Димитрием Александровичем Мячиковым, старшим лейтенантом и командиром пулеметного взвода. Был он из-под Москвы, по профессии пекарь. В плену у немцев второй раз. Первый раз долго был в плену в войну 1914 года, жил у немки в деревне, кажется в Тюрингии, за мужа, горе видел только пока находился в лагере да и то промышлял всякими поделками из конского волоса и из других материалов, на что, видимо, был мастер. Говорить по-немецки научился в плену на слух, грамоты немецкой не знал ничуть. Второй — Иван — был немец из Поволжья. Он изъяснялся на очень плохом русском языке и на еще более скверном немецком. Ни те, ни другие его толком не понимали, но немцы относились к нему хорошо, хотя и огорчались его бескультурьем и ограниченностью. Грамотой он тоже не обладал ни немецкой, ни русской.

На следующий день нашли мы и нашего четвертого компаньона. Василий Иванович — человек средних лет, преподаватель литературы в средней школе, как и я, московский ополченец, несколько замкнутый и пришибленный обстоятельствами человек. У меня было такое впечатление первое время, будто он еще толком не соображает — где он и что с ним именно происходит, настолько чрезвычайны и беспрецедентны были происшедшие с нами перемены. Немецкого языка он не знал совершенно, что его угнетало и ошарашивало дополнительно.

Все мы были ужасно голодны и никак не могли наесться той баландой из картошки с кониной, которой нас два раза в день стала кормить наша кухня.

Мои новые товарищи, так же как и все другие военнопленные, прибыли из огромного лагеря, расположенного за Рославлем на каком-то разбитом бомбежкой (или, может быть, наши сами его перед отходом взорвали) большом заводе. Они там прожили несколько дней и не чаяли, как оттуда выбраться. Там скопились

десятки, если не сотни тысяч пленных, загнанных в полуразрушенное огромное здание, в котором все не помещались. Часть, как и мы перед тем на картофельном поле, разместилась вокруг завода на открытом пространстве, огороженном колючей проволокой. Все, конечно, стремились внутрь здания, где все-таки было немного теплей, и там люди сидели буквально друг на дружке. Выйти наружу, в особенности со второго этажа, было совершенно невозможно, оправляться было негде. Люди, расположившиеся ближе к окнам, пытались делать это из окон, на что немецкая охрана реагировала автоматными очередями. Многие таким порядком были убиты или изранены. Где-то там, в таких же примерно условиях, находился и тот пресловутый русский лазарет, куда направлены были те раненые, которых мы сюда привезли от Спас-Деменска.

Кормили в этом лагере сырой — замороженной и подгнившей — капустой. Ее привозили на возах, и разъяренная голодная толпа, не реагируя на стрельбу, бросалась на эти возы и не столько поедала эту капусту, сколько втаптывала под ноги в грязь. Выйти из этого лагеря, хотя его разгружали понемногу ежедневно, было очень трудно, потому что, когда объявлялось, что нужны 500 или 1000 человек, — бросались все, и опять подымалась давка и стрельба.

Так что вырвались они чудом, сами не понимали, как это произошло, с ужасом вспоминали о проведенных в этом лагере днях, которых они не могли даже и сосчитать — настолько они слились для них в один страшный и отвратительный сон.

Здесь была благодать. После того как все были выстроены и мной переписаны, из общей массы вывели всякого рода специалистов: кузнецов, конюхов, сапожников, пекарей и т.д. Все они были отданы под команду Мячикову. Остальных же разбили на две, кажется, роты, и командирами их назначили двух украинцев, выбранных немцами помимо кого-либо из нас, переводчиков. Хотя они по-немецки и не говорили, но с ними как-то объяснились и дали им понять, чего от них хотят. Им были выданы русские винтовки, и под их командой, разумеется в сопровождении нескольких немцев, в первый же день все наши пленные, за исключением ремесленников, отправились на работу, а вернулись нагруженные картошкой — кто в карманах, кто в пилотке, кто в противогазной сумке, — которую тут же принялись варить в котелках, в консервных банках — в чем попало, у кого что было. Варили, ели и снова варили до поздней ночи.

Иван был переводчиком при двух немцах, обеспечивавших лагерь продовольствием — добывавших на полях из буртов картошку,

подбравших павших лошадей. Он тоже был сыт и с презрением взирал на голодную ораву своих солагерников.

— И варют, и варют — целый день варют... — восклицал он, то и дело выглядывая из окна нашей каморки на лагерный двор...

Лагерь был совершенно импровизированный. Начинался он у ворот, выходящих на московское шоссе, проходившее через весь город и составлявшее его главную улицу. Но здесь, напротив наших ворот, стояли небольшие деревянные домики. Если стоять лицом к улице, то по левую руку располагался дом-магазин, где внизу было оборудовано помещение для пленных, а наверху жили мы и Мария Абрамовна, у которой была отдельная комнатка. Тут же жили и какие-то настоящие жильцы этого дома — «цивилисты», т.е. русские гражданские лица: какой-то старичок и еще кто-то — бог их знает. Их почти не бывало видно, и никакого дела ни мы с ними, ни они с нами не имели. Справа располагался кирпичный одноэтажный флигель, где жили наши немцы и где помещалась *Schreibstube* — их небольшая канцелярия. За этими зданиями находились окружающие двор с внутренней стороны помещения: большой деревянный сарай, в котором помещались склад дорожных инструментов, конюшня для нескольких лошадей и уборная для военнопленных. К этому сараю, протянувшись на всю правую сторону двора, примыкало кирпичное полуподвальное помещение, где также разместились военнопленные и где я ночевал первую ночь. Это здание — бывший склад — располагалось прямо против ворот. С левой стороны тоже было складское помещение — легкое, дощатое и разделенное на несколько чуланов. В них помещались наши «специалисты» — конюхи, повара, сапожники и т.п. Между кирпичным полуподвалом и этими чуланами существовал проход в небольшой сад с фруктовыми деревьями. В нем находился какой-то легкий деревянный павильон, который мы через несколько дней пребывания в этом лагере довольно легко и удачно оборудовали под баню: открытый котел для воды, несколько распиленных пополам в продольном направлении бензиновых бочек в качестве лоханок и шаек, скамейки вдоль стен — вот тебе и баня. Сад был огорожен колючей проволокой, но не серьезно, как в настоящих лагерях, а чисто символически, в три или четыре горизонтальных ряда, с большими промежутками между ними, так что человек мог пролезть между двух проволок не зацепившись. Охраны никакой с этой стороны не было. Правда, в соседнем с нашим доме, также выходящем тыльной стороной в этот сад, жили еще какие-то немцы,

которые могли бы, вероятно, заметить хождение по саду в неурочное время и попытки выбраться из него через проволочный забор. Пребывание в саду, во всяком случае, нам не возбранялось: там-то главным образом и производилась варка картошки в индивидуальном порядке. Между чуланами с мастерскими и магазином располагалась наша походная кухня — в широком проходе под нашим домом, ведущем к соседнему помещению с чужими немцами.

Немцев, в распоряжении которых находился наш лагерь, было человек двадцать, т.е. примерно отделение. Им командовал фельдфебель Фридрици — человек уже не молодой, лет около пятидесяти, с некоторым опытом войны 1914 года. Как выяснилось позднее, он побывал в 1918 году в Москве, которой, впрочем, почти не видел: он сопровождал в составе охраны вагон с военными представителями, прибывшими для предварительного обсуждения условий Брестского мирного договора. Вагон этот несколько дней стоял где-то среди товарных составов, а он все время был при вагоне.

Он любил поговорить на военно-политические темы, поругать Россию и Францию за грязь и бескультурие, поморализировать, пофантазировать о будущем, помечтать о скором окончании войны. Характер у него был неровный — то веселый и добродушный, то крикливый и раздражительный. На меня он, впрочем, никогда прямо не кричал, а когда бывал недоволен именно мною, то отворачивался и бранился в пространство.

Мне он представлялся весьма профашистски настроенным, превозносящим национал-социалистские идеалы и всю гитлеровскую кампанию. Но я смутно чувствовал, что он все же далеко не то, что состоявший при нем унтер-офицер Гохбергер, напоминавший мне весьма неких наших политработников — человек резкий, презрительный, которого, как я заметил, побаивались и многие немцы.

Фельдфебель Фридрици был по своей гражданской деятельности, как я узнал у него самого, — шоссейный мастер. Гохбергер же был учителем средней школы, не знаю по каким предметам, но он был, видимо, весьма «подкован» политически, резок и определен в распоряжениях и вообще в словах. На груди у него висела большая металлическая бляха с двумя перекрещивающимися мечами — признак принадлежности его к какому-то нацистскому партийному подразделению.

Второй унтер-офицер — Лаутербах, состоявший при этой же команде, был полная противоположность Гохбергеру. Сдержанный, очень мягкий, не способный, видимо, вообще повышать голос, он сам отрекомендовался школьным учителем литературы. Он знал

французский язык, и мы с ним мешали французские слова с немецкими при переговорах, так как мне первое время по-французски было значительно легче объясняться, чем по-немецки. Обязанности его были чисто хозяйственные. Узнав кой-что обо мне и поговорив со мной, он стал брать меня в некоторые свои поездки.

Как-то раз утром он посадил меня с собой в маленькую легковую машину — я был еще с ним почти не знаком — и повез в какую-то деревню, где, как он мне сказал, стоял перед тем, как был переведен в Рославль. По дороге он неожиданно стал читать стихи, то ли испытывая меня, то ли почувствовав во мне что-то, что позволило ему это сделать. Стихи были его собственные. Они звучали торжественно и несколько высокопарно, но очень меня растрогали и из-за необычной, неожиданной ситуации и потому должно быть, что я давно не слышал стихов.

Я спросил его, не разрешит ли он мне перевести что-либо из его стихов на русский язык. Он обрадовался и сказал, что как раз хотел сам просить меня об этом, так как собирался подарить несколько своих произведений одной знакомой ему русской учительнице.

Лаутербак

Стихи о России

1

Живут здесь люди,
Подобные бездумным детским снам.
И если ты в глаза им поглядишь,
То ужаснешься
Тому, что свойственны быть могут человеку
Столь низменно звериные черты.
Жестикаляция их душист наше сердце.
Их улыбки в нас вызывают внутреннюю дрожь.
Они — еще не призванные души.
Живительные ангела уста их не коснулись лба.
Но он придет, их час. Они восстанут к жизни,
И в их губах проснется первопенье,
И их движение будет тем экстазом,
В котором зарождаются миры.
От бледных их небес
Падут на них дрожащие виденья.
В них крик возникнет,
Вширь распространяясь:
«О господи — я есмь».

2. Пастушка

В соединенных своих руках
Несешь ты судьбу твоего народа.
Внутренний пламень твой
Небо готов прожечь насквозь.
И там, где стоишь ты твердо, не тронута
Бешеным вихрем событий,
Примет земля поток первобытной
Девственной силы
И, содрогнувшись в глубинах,
Новую жизнь родит.
Скрывает ли чрево твое будущих князей земли?
Должны ли несчетные звезды
Указующий блеск лучей на тебя обратить?
Сдерживай сердце,
Пока в изобилии чувств твоих
Не растечется, вишь разливаясь, оно.
Сдерживай сердце крепко в груди
И накапливай силы —
Судьбы людей твоих несть.

3

Всегда бывает какая-нибудь надежда.
Когда на летнем, вечернем небе
Красно и медленно солнце
Долго заходит за синие ели,
Погружая еще раз все предметы
В густой золотой свет —
Тогда безграничная ширь
Теряет свой страшный облик.
Грубый мир
Становится теплым прекрасным домом
Доверия и добра.
Наверно, даже и одиночество — призрак,
Как и другие эгоистические чувства.
Прекрасно и мирно сияет вечерний свет
За завесью темных туч,
Проникает сквозь них глубоко в синь
И горит еще долго
Далеко в бесконечном.

4. Женщины России

Если бы знали они,
Что их чужестранные сестры прекрасны

И учат своим обольстительным телом
Нас полноценности вкуса.
Потерянные в пустырях,
Идут вековые батрачки
Денным путем, из низеньких изб нищеты
На пашни бездоля.
Рабыни от юности страшной
И до безрадостной старости —
Вольно им жить не дают
Пустые поля и бесцветные степи.
Горбится тяжело плечо,
Не освященное лаской любовной ничьей.
И ни одна колдовская мужчины рука
К жизни не вызвала спящее тело ее.
Храмом не стало оно благодатной любви —
Это только лишь поле
С деторождения силой звериною в нем.
Но глаза ее жалобы шлют нам.
Ибо на сердце ее лежит, запав глубоко,
Мечта о прекрасной и радостной жизни...
Все же, известно ли им,
Что они еще тысячелетья торжественных взлетов
К свету и благодати весть непременно должны?
Думай, любимая, в час, когда мы ощущаем
В полном и сладком блаженстве бессмертье,
Думай о сестрах твоих обездоленных
И о них помолись...

5

В саду, далеко,
Куда еще только мечты
Иной раз жадно стремятся,
Проходит сияя Диана
Под старыми каштанами,
Предшествуемая ланью.
Все звери, деревья и травы
Отступают перед ней.
Пан не дышит,
Мощью
Недоступной красоты
Обессиленный.
Все желанья и жаркая похоть
Молчат,
Если святая природа

Издали одинокое сердце тронет..
Диана идет сквозь сады
И к воде,
Которой нога ее только коснется.
Сияет браслет золотой
Долго еще по лугам.

Когда мы приехали в деревню и вошли в ту избу, где он перед этим жил, его с выражением симпатии и радости встретили две женщины — видимо, мать и дочь. Мать совсем пожилая, да и дочь не первой молодости. Но эта последняя обнаружила к моему Лаутербаху весьма горячие чувства. Причитая и всхлипывая, она обняла его и несколько раз поцеловала. Я, при всей симпатии, которую ощущал с недавних пор к этому немцу, был шокирован ее поведением и поспешил отойти в сторону. Видно, и он это почувствовал и явно смутился.

Пожалуй, это был первый случай, когда я мог наблюдать проявление со стороны русской женщины такой открытой и в то же время достаточно специфической симпатии к немцу, с которым она могла быть знакома всего лишь очень недолго. Но тут же я вспомнил, что уже и в Рославле был свидетелем того, как одна молодая женщина очень кокетливо разговаривала, с помощью польских и немецких слов, с ухаживавшим, видимо, за нею немцем.

— Никс панинка, — картинно разводя руками, объясняла она ему, — матка, цвай киндер...

Мы довольно быстро уехали из деревни, а вечером Лаутербах принес мне с десятков своих стихотворений, написанных на польско-русские темы, которые я, несмотря на чрезвычайную занятость — меня теребили с раннего утра до позднего вечера, — довольно быстро перевел.

Обязанности мои по лагерю были достаточно многообразны. Помимо того, что я должен был переводить распоряжения фельдфебеля или унтер-офицеров (а также следить за тем, чтобы они были правильно поняты и выполнены), меня требовал буквально каждый солдат, когда он не мог сам относительно чего-нибудь договориться. Меня теребили поминутно наши со всякого рода просьбами, устными и письменными. Последние отнимали у меня особенно много времени. Слухи о том, что немцы отпускают из плена украинцев, белорусов и жителей других оккупированных местностей, муссировались в нашей среде со все большим упорством. В связи с этим очень многие обращались ко мне с просьбами написать от их

имени заявление о том, что-де он такой-то и происходит оттуда-то и просит отпустить его домой. Отказывать в этом я не мог, дабы люди не думали, что их не отпускают только потому, что они не могут довести до сведения немецкого начальства свои заявления.

Нередко меня вызывали к воротам или в шрайбштубе для посредничества в переговорах с какими-либо людьми из деревни или из города, обращавшимися с теми или иными просьбами или вопросами к нашим немцам.

Кроме того, наш дорожно-ремонтный батальон использовал на работе гражданское население (с подводами). Их регистрировали, с ними расплачивались, им отдавались те или иные распоряжения, весьма нередко также через меня.

Мне полагалось, кроме всего прочего, помогать Марии Абрамовне в качестве фельдшера на процедурах, во время приема больных. Я изо всех сил старался исполнять эту мою вторую должность и из любви к медицинской работе, и из желания помогать Марии Абрамовне и иметь, таким образом, возможность общаться с нею. Мы привыкли друг к другу за время нашего этапа. Однако это становилось для меня все трудней и трудней. Только начинался прием, только я принимался за какую-нибудь перевязку, как за мной прибегали и мне приходилось извиняться перед Марией Абрамовной.

— Ну что ж, — говорила она, — конечно, идите, я и сама тут управлюсь...

После двух или трех таких неудачных «приемов» я подыскал ей через посредство начальства, из такого же, как наш, и тому же батальону подчиненного лагеря, молодого и с виду очень симпатичного фельдшера, которым она, как мне казалось, осталась вполне довольна.

Ею, как русской женщиной-врачом, продолжали интересоваться немцы, в особенности батальонные медики. У нас один раз появился молодой, вполне интеллигентного вида врач в чине лейтенанта, а кроме того раза два или три заглядывали какие-то средние медработники с фельдфебельскими погонами.

Особенный фурор вызвало среди них известие о том, что Мария Абрамовна собственноручно извлекла у одного из наших сидевший в брюшной полости осколок, который ей удалось прощупать. Для этой операции понадобился стерильный материал, который и был ей предоставлен немецкими медиками. Любопытные немецкие медработники пожелали присутствовать при

операции, нашли, что она была произведена безукоризненно (*lege artis*), и сказали, что у них женщины-врачи ничего подобного не делают...

У Марии Абрамовны в связи с этим несколько поднялось настроение. Она сообщила нашему начальству о том, что она жительница Рославля, и ей разрешено было выходить за пределы лагеря. Она ходила к каким-то знакомым, вернулась не очень веселая, но в гражданском платье. У меня не было случая спросить ее как следует о ее впечатлениях от города и от встреч со знакомыми людьми. Поскольку мы перестали вместе работать, я ее видел лишь урывками. Можно было бы, конечно, специально зайти к ней вечером в ее комнату, но это я считал не очень удобным для ее же репутации. К тому же в связи с ее популярностью среди немцев она то и дело могла ждать посещения своих немецких коллег или кого-либо из начальства, которое тоже не прочь было посудачить с хорошенькой русской врачихой, а может быть, и поухаживать за нею...

У нас уже была баня, но не было мыла. Унтер-офицера Лаутербаха послали на рославльский мыловаренный завод, продолжавший в какой-то мере функционировать. Он прихватил меня, и мы поехали туда в надежде получить бочку жидкого мыла. Заводик был расположен где-то на окраине, сильно разорен — без окон, без дверей, но труба его дымила, и около одной из печей возился человек явно еврейского вида. Предположение мое относительно его национальности подтвердилось полностью, когда он, уловив минуту, обратился ко мне по-еврейски. Я его разочаровал, но в свою очередь поинтересовался, каково его положение и не испытывает ли он каких-либо неприятностей от немцев.

— Пока что ничего, не обижают, — ответил он довольно уверенно.

Я вспомнил при этом старичка Фридмана и его отчаяние в первый день нашего плена — там, на картофельном поле, и у меня опять появилась было надежда на то, что, может быть, положение евреев у немцев не так уж вовсе трагично...

Только мы успели с ним перемолвиться парой фраз, как к заводу подкатил легковой автомобиль, из которого вышли два офицера: рыжий полный гауптман (капитан) и обер-лейтенант — брюнет довольно интеллигентного вида. Гауптман прокричал по-немецки несколько фраз, которые другой, вытребовав начальство завода, перевел по-русски. Не было никакого сомнения, что передо мной русский человек в немецкой военной форме.

— Простите, пожалуйста, вы русский? — обратился было я к нему.

Он поглядел на меня хмуро и недовольно:

— А вам что за дело?..

Потом добавил несколько более мягко:

— Сейчас не время говорить об этом...

После коротких переговоров, из которых явствовало, что перед нами представитель военной комендатуры Рославля, требующий, чтобы вся продукция завода поступала в распоряжение коменданта, гауптман вышел.

— А кто вы такой? — обратился ко мне теперь обер-лейтенант.

Я объяснил ему, кто я...

— Извините, что я некстати задал вам этот вопрос, но ведь мы были совершенно отрезаны все эти годы от русских, оказавшихся за границей, от людей, из которых многие продолжают быть интересны и которым сочувствуешь...

— Но ведь вы же видите — на мне немецкая офицерская форма, — ответил он. — Стало быть, я немец по государственной принадлежности и как военнослужащий при начальстве не должен вступать с вами в посторонние разговоры...

Он вышел, сказав на прощание еще более приветливым тоном несколько ободряющих слов:

— Ваше положение постепенно будет регламентировано. Каждый найдет свое место...

Вскоре и мы уехали, получив необходимое нам мыло. Я был взволнован этой встречей и другими впечатлениями дня. А по возвращении рассказал обо всем Василию Ивановичу и Мячикову.

Василий Иванович меня не одобрил:

— Я бы не стал разговаривать с белогвардейцем...

— Во-первых, это не белогвардеец — в худшем случае сын какого-нибудь белогвардейца. На вид ему лет 35—40, так что это уже второе поколение эмиграции, вернее — человек, вывезенный из России ребенком. А потом — что значит белогвардеец? Среди эмигрантов были разные люди.

Василий Иванович помрачнел. Ничего мне не ответил. Он вообще много молчал, был задумчив и, видимо, с трудом осознавал происходившие на свете события и свои собственные передраги.

Времени у него для этого было несравненно больше, чем у меня.

Языка он не знал, и его никто не теребил. Мне же бывало легче что-либо сделать самому, чем гонять его. Я прибегал к этому лишь в крайних случаях.

Мне стало казаться, что он тяготится своим двусмысленным положением, и я предложил ему помогать в изучении немецкого языка, заметив, что он раздобыл где-то хороший немецко-русский словарь. О систематических занятиях речи быть не могло. От случая к случаю я задавал ему уроки, немного читал с ним, объяснял ему непонятные обороты. Он огорчался из-за того, что успехи были незаметны. Ему хотелось все одолеть в два-три дня...

Мячиков и Иван легко общались с немцами, разговаривая на диалектах — особенно непонятно для меня изъяснялся Иван, но немцы его кое-как понимали, хотя и страшно издевались над его языком.

Мячиков много и охотно рассказывал о своем плене в войну 1914 года. Он и тогда довольно быстро оказался в плену. Долгое время находился в каком-то большом лагере для военнопленных и первоначально очень бедствовал. Но потом вспомнил свои детские повадки и стал плести из конского волоса, который ему раздобывали работавшие на подводах товарищи, разного рода тесемки, цепочки и другие поделки, пользовавшиеся спросом у немцев.

— Я, — говорил он, — стал приглядываться к немцам и к своим — кто чего ищет, кто чем занят и чем подшибает деньги... Потом попробовал... Безделушки мои понравились. Себя кормил и товарищей не забывал...

Надо сказать, что он и здесь быстро освоился с положением и стал извлекать из него определенные выгоды, не забывая при этом и нас. Поскольку он был командиром всего ремесленного и вспомогательного персонала, в том числе и поваров, ему выдавались унтер-офицером Лаутербахом в некотором количестве трофейные пищевые концентраты — гречневая или пшенная каша, которую он должен был выдавать поварам для заправки нашей тощей баланды из картошки с кониной. Выдавалось это в таком количестве, что в котле крупа эта исчезала бесследно, не без того, вероятно, что часть ее, минуя котел, поедалась поварами.

Когда Мячиков однажды вечером извлек из-под своей постели несколько пакетов каши, заявив, что это для нас, мы было с Василием Ивановичем возмутились. Но он стал клясться и божиться, что это не из того количества, которое отпущено для лагеря, а добыто им сверх того.

— Унтер-офицер говорит мне: «Димитрий, возьми на неделю столько-то пакетов»... А я беру пакетов на 20—25 больше... Разница в нашу пользу. Контроля — никакого. Каши у них этой много... Так что я ворую не у ребят, а у немцев...

Конечно, и в такой форме это было мало приемлемо, тем более, что приходилось верить Мячикову на слово и допускать, что немцы дают себя так просто обьегоривать... Но мы были такие голодные... Баланда, если ее есть больше нормы, ничего не давала, кроме поноса и колита. Картошку добывать, как это удавалось пленным, выводившимся на дорожные работы, нам было нелегко. Приходилось мириться с обстоятельствами. Мы быстро привыкли к тому, что по вечерам нас ждал котелок гречневой или пшенной каши... Кашеваром стал Василий Иванович. Только у него было для этого и время, и возможность улучшить момент и незаместным образом приготовить ужин...

Расстрел евреев. Мария Абрамовна

Так шли дни. Октябрь приближался к концу. Мимо нас с грохотом, лязгом, стоном, иногда в несколько рядов, мчались в направлении к Москве военные и грузовые машины разных размеров и типов. Война уходила все далее в глубь страны, приближаясь к Москве. В противоположном направлении мимо нас ежедневно двигались огромные массы пленных. Непрерывно раздавалась ружейная и автоматная стрельба... Пленные то и дело отбегали с дороги, кто за картошкой, кто — напиться, кто — по нужде. Запрещающие окрики конвойных оставались непонятны и игнорировались. По людям стреляли... Стреляли без разбора, куда попало. Попадало и совсем не туда, куда стреляли. Как-то привезли одного нашего молодого паренька с простреленной на вылет верхушкой легкого. Он работал с другими на дороге, мимо гнали новых пленных, и пуля, предназначенная другому или пушенная в пространство, угодила в него.

Мария Абрамовна его перевязала, на этот раз опять с моей помощью — случай был все-таки из ряда вон выходящий, и мы, по оказании ему первой помощи, отправили нашего раненого в лазарет или госпиталь, в таинственную больницу для русских военнопленных при большом лагере... У нас не было даже маленького стационара.

Немцы наши пребывали последнее время в веселом возбуж-

дении: Москва в окружении, говорили они, делая для наглядности из своих рук кольцо.

— Скоро-скоро Сталин капут, и мы все пойдем домой. Мы к себе, вы к себе...

Нам было нелегко разделить эту радость. В особенности мне. Я боялся, что от Москвы уже ничего не осталось, что она разрушена бомбардировками еще задолго до того, как будет теперь взята. В том, что немцы возьмут Москву, я больше почти не сомневался... Что могло бы их остановить?

В небе было черно от транспортных и от боевых самолетов. А о своей авиации мы и думать забыли, хотя нам и было отдано распоряжение о светомаскировке, которого, впрочем, и сами немцы не выполняли. В Рославле жили так, как будто война ушла за многие сотни километров.

Кульминацией этих настроений у немцев было распространившееся сообщение о том, что мимо проехало несколько духовых оркестров, несомненно направленных на парад по случаю предстоявшего вступления немецких войск в Москву..

Проезжавшие мимо солдаты заглядывали к нам и спрашивали, не кончена ли уже война. Кто-то из наших немцев, которому уже надоело, видимо, отвечать на подобные вопросы, саркастически заметил: «Дорогой мой, когда вы узнаете, что война окончена, мы будем уже дома...»

— Ну-ка, гляньте. Айда за ворота, — крикнул мне запыхавшись наш новый фельдшер, собрат мой по ремеслу, понимавший прекрасно, что мне тоже будет интересно то, что так привлекло его внимание. Я выскочил следом за ним.

— Ну, что такое?

По шоссе, в московском направлении, двигались не густо, не толпой, но все же заметно, один за другим, через некоторые промежутки времени, калеки-военнопленные — хромые, безрукие... У одного рука болталась на перевязи. Кисть и половина предплечья отсутствовали. Их съела сухая гангрена. Вместо всего этого из рукава шинели торчала белая-пребелая локтевая кость...

— Наших отпустили из пленного госпиталя!

Да, видимо, это было именно так. Немцы отпустили из госпиталя для военнопленных при большом лагере калек, которые были способны двигаться собственным ходом. Может быть, среди идущих мимо нас были и кое-кто из тех, кого месяц тому назад мы привезли из-под Спас-Деменска. И вот они идут. Но куда же?

Да домой, конечно. На ту сторону фронта. Кто их теперь задержит? Кому они нужны? Подойдут к фронту, подождут где-нибудь в деревне, покуда он не передвинется немножко в ту или другую сторону, и айда дальше... Глядишь — и дома будут.

Но госпиталь, госпиталь... У них, видно, до сих пор нету хирургических инструментов — кость не могли отпилить человеку... А может и сам не дался — хочет нести ее перед собой, пропуском через фронт...

Во всяком случае, всем немцам чертовски хотелось домой. Но на этом все и остановилось. Шли дни за днями, а известия о взятии Москвы не приходили. Пленные на дороге шли в значительно меньшем количестве.

Однажды у наших ворот остановился грузовик. Шофер о чем-то переговорил с часовым. Нам было отдано распоряжение открыть кузов и снять лежащего в нем человека. Человек был наш, в одной гимнастерке, без шинели. Он был мертв. Лицо у него было несколько монгольское. Я достал его смертную бирку и прочел на ней какое-то тюркское имя. Уфоде приказал нам похоронить его у нас в саду. Быстро была вырыта могила, и я с нашим фельдшером собирался уже опустить в нее труп, как вдруг показался немецкий солдат-санитар и спросил, неужели мы его так и зароем без религиозного обряда? Я ответил ему, что у нас тут нет духовенства. Тогда он сказал, что он пастор, чему я был немало удивлен, и что готов прочесть над покойником молитву. Я выразил согласие, после чего он профессиональным жестом сложил молитвенно руки на животе и скороговоркой прочел полатыни «Отче наш», из чего я понял, что он католик.

Некоторые из числа присутствовавших при этой сцене наших стали креститься... От всего этого сделалось вдруг очень грустно, и на глаза навернулись слезы. Опять во всей остроте возникло отступившее было ощущение безнадежности... Нет и не может быть никаких надежд. Не знаю как для других, но для меня жизнь окончилась с объявлением войны — думал я с еще большим, чем прежде, упорством...

* * *

Мы движемся мышиною массой
Вдоль перекопанных дорог.
Бой позади, но мы с опаской
Ступаем, съезжившись, вперед.

Да, смерть как прежде перед нами
В холодном блеске облаков,
В унылом голоде, в мерцании
Нас подгоняющих штыков.

У нас звериные повадки
Слепой, растерянной толпы.
И в воздухе склонились шатко
Войной подбитые столбы.

* * *

Пленный, раненный в грудь человек
Умер и брошен был на дороге.
Ржавые крыши посыпал снег.
Зима наступила в ранние сроки.

Нам приказали его зарыть
В саду, за разрушенными парниками.
Земля крошилась, жестка как жизнь.
Мы в будущем бились своими кирками.

Думали о невзгодах плена,
О близких, дрожащих за нашу судьбу.
Всякий клал невысокую цену
За дни, оставшиеся ему.

Смерть, как снег, легка и поспешна,
Наш окружила тесный сонм.
На белом фоне ее неизбежность
Мы отенили серым пятном.

Немец, скромный солдат-католик,
Шепотом стал читать Pater noster.
Мы сняли шапки — так мало стоит
Наша вчерашняя иррелигиозность.

Зарыли и крест косой поставили —
Грубый крест над прежней жизнью.
Потом себя осенили знаменьем,
Рукой, поднявшейся без усилия.

* * *

То, что случилось — трудно оценить.
Мы только наблюдаем перемены.
Быть может, в общем грохоте звучит
Песнь новых дней и крепнет постепенно.

Но мы не слышим песни новых дней.
Смущенный слух подавлен и контужен.
Нам тишина — единственный елей,
И только мир излечит наши души.

Зловещий гул бесчисленных машин,
Грозящий смертью городу родному,
Нас окружив безумным вихрем шин,
Колотит в грудь тревогой и ознобом.

Чужие люди и чужой язык
Владеют нашим светом и сознаньем.
Мы им подвластны. Жизни каждый миг
Подавлен этим новым состояньем,

Безвыходность которого — стена,
Нас отделившая от прежних связей.
Всю ночь мы шарим, не найдя окна,
И мысль о доме — вся в тисках боязни...

* * *

Когда я стал стирать белье,
Тяжелое от груза грязи,
Чрез неумение мое
Вся горечь плена вскрылась сразу.

Она из тощих недр души
Слезами к горлу подступила.
О, как бы дома насмешил
Я стиркою двух женщин милых!

Презрительных советов стрелы
В меня летели б с двух сторон,
Пока, в конце концов, от дела
Я б не был вовсе отстранен...

Здесь я один перед лоханью,
Над колыханьем мыльных волн.
Ко мне никто не подошел
С улыбкой или назиданьем.

Мы предоставлены себе
В мечтах, заботах и тревогах,
И в мире о моей судьбе
Никто не знает, кроме бога.

И я в неведении слепом
О самых близких и немногих...

Жизнь стала малым островком
И бесконечно одиноким.

* * *

Германский унтер-офицер
Со мною ехал утром темным.
Холоден, синевато-сер
Был силуэт его безмолвный.

Как будто в этой серой мгле,
На фоне пережитых бедствий,
В его лице был явлен мне
Дух непреклонности немецкой,

Воинственности, глухоты
К моим невинным устремлениям,
С каким немецкие посты
Стоят вокруг голодных пленных.

Всё в перспективе грустных изб,
Полей, дорог, лишенных мира,
Мне оборачивало жизнь
Пустой военною квартирой.

И я был очень поражен,
Когда суровый этот немец
Вдруг стал стихи читать. Как сон
Звенели строки. Отщепенец

Он был ли в собственной среде —
Носитель редкий гуманизма?
Но стало ясно мне — и здесь
Еще скребутся корни жизни —

Той мирной, светлой суеты,
Которой страшная утрата
Легла безмолвием черты
На гребне времени горбатым.

Нам стали выдавать грамм по 200 немецкого хлеба. Это было, пожалуй, хуже, чем ничего, по крайней мере так мне казалось. Голод по хлебу давал себя особенно резко знать, когда этот кусочек попадал в рот, не утоляя ничуть этого голода. Но стали говорить о том, что скоро будет открыта пекарня для военнопленных и хлеба у нас будет больше...

Наши «украинцы» — командиры работавших на дороге рот — и

Мария Абрамовна стали получать питание на немецкой кухне. Это было для многих предметом зависти. Завидовать, однако, было, видимо, нечему, потому что по получении немецкого питания и не удовлетворившись им ребята эти ходили и на нашу кухню. Это как бы дискредитировало немецкую пищу, почему и вызывало неудовольствие немцев. Украинцам было сказано, что так дело не пойдет...

Не менее остро дело обстояло с куревом. Русский табак попадал в лагерь все меньше и реже. Гражданскому населению тоже курить было нечего. Немцы делились с нами своим куревом неохотно, угощали редко.

Однажды унтер-офицер Гохбергер, заметив, что я собираю на дворе лагеря окурки, завел меня в шрайбштубе и объявил: «Вопрос о куреве для военнопленных, вероятно, будет со временем как-либо разрешен». А пока что он может мне предложить случайно оказавшуюся у него пачку махорки: «Для вас и ваших товарищей»...

Так или иначе я ему был очень признателен. Но так как желающих было много, от этой пачки через час-другой не стало и следа. Василий Иванович рассказал мне, что видел у немецкого санитаря целый мешочек махорки — больше килограмма... «На что она ему? — недоумевал Василий Иванович. — Ведь они махорку не курят...» Окрыленный, я отправился к санитару и обратился к нему с соответствующей просьбой. Не тут-то было. Я получил одну только небольшую щепоть, а немец долго объяснял мне, что махорка зачем-то нужна ему самому.

Я думал по наивности, что немецкие священники добрей наших. Когда я рассказал об этой неудаче с чувством огорчения и обиды товарищам, Мячиков презрительно буркнул: «Нашли тоже у кого просить — у этого снегу среди зимы не выпросишь...»

У него же самого курево не переводилось, как, впрочем, легче с этим было и всем другим, выходявшим за пределы лагеря. Стал я курить от случая к случаю и больше по вечерам, когда возвращались из города Мячиков, Иван и другие, работавшие за воротами.

Оркестры к Москве давно проехали, но время шло и шло, а о взятии города ничего что-то не было слышно. На мои вопросы немцы растопыривали пальцы, изображая ими круг: «Moskau ist schon eingekesselt...»¹

¹ Москва уже окружена.

Это мы уже слышали...

Мария Абрамовна еще раза два или три ходила в город к своим знакомым, но с последней прогулки вернулась очень расстроенная и рассказала мне, что в предшествующую ночь в городе были арестованы и помещены в особый лагерь все евреи — около 200 человек, в том числе несколько медработников.

«Может быть, немецкие власти в городе боятся с их стороны каких-нибудь провокационных действий?» — подумал я. Евреев ведь нередко отождествляют с коммунистами...

Так или иначе мне тоже стало не по себе. При этом известии меня охватила инстинктивная и безотчетная тревога. Я, быть может, первый раз в жизни почувствовал, что я не только русский, но и еврей. Вероятно, впрочем, я бы чувствовал в тот момент совершенно то же самое, не будь во мне никакой еврейской крови. Я встречал потом людей разных национальностей, говоривших мне, что перед антисемитами они ощущают себя евреями...

Но отвлеченная сторона дела занимала меня только отчасти. Во мне поднялся острый страх перед тем, что и меня могут принять за еврея, как это уже случалось раза два, и отправить в этот же лагерь...

Страх и чувство обреченности возвращались ко мне всякий раз с очень большой легкостью. Какая-нибудь минута, и я уже чувствовал себя совершенно так же, как и на фронте. Гибель по-прежнему где-то за самой спиной. Страшно мне было и за Марию Абрамовну, которой все это могло коснуться еще скорее, чем меня: ведь надо же ей было оказаться в своем городе, думал я с невольной досадой...

Еще через несколько дней Мячиков — он всегда раньше других узнавал разные новости — сообщил: немцы говорят, что в лагере, конечно, имеются евреи. Они говорят: «Вот скоро вас перепишут, тогда все выяснится...»

Как же это они собираются выяснять такие вещи?

Через три-четыре дня действительно было объявлено, что немецкий писарь будет составлять карточки на военнопленных. Все должны являться к нему по отдельности, лично. Я должен присутствовать при этом в качестве переводчика.

Что же это такое, думал я, начинается сыск в знакомом уже нам энкаведешном стиле: выясняются бабушки, прабабушки и прочие обстоятельства — есть ли родственники за границей и т.д. Но, с другой стороны, как все это можно документировать? Считанные

люди среди нас сохранили какие-нибудь удостоверения или паспорта. У меня, например, при мобилизации документы были отобраны, а взамен не выдано решительно ничего. Кроме писем матери, с моей фамилией и адресом, у меня не было ничего, удостоверяющего мою личность.

Среди всех этих волнений и недоумений началась наша перепись. Была выделена комнатка, в которой сидел за столиком молодой немецкий солдатик-писарь, а по сторонам его расположились я и Мячиков (может быть, для контроля моего перевода?). Поодиночке заходили военнопленные и отвечали на задаваемые писарем на ломаном русском языке вопросы. Бабушками и дедушками все же не интересовались. Задавался лишь вопрос о национальности родителей. А в общем все было почти так же, как и при составлении первого, сделанного мною списка.

Зачем это все было затеяно? Могли же немцы знать заранее, что эти сведения будут той же степени достоверности, что и уже имевшиеся? Так это для меня и осталось непонятно.

Я очень боялся опроса Марии Абрамовны. Что она скажет? И ведь в отношении нее при желании как раз могла быть произведена реальная проверка. Но вот было объявлено об окончании нашей работы, а ни Мария Абрамовна, ни наше украинское начальство на перепись не явились. Почему? Я не стал задавать лишних вопросов. С меня было достаточно и того, что Мария Абрамовна не фигурировала перед нашим опросным столом и мы были избавлены от этого спектакля.

Вечером всезнающий Мячиков объявил, что Марию Абрамовну спрашивали отдельно в шрайбштубе и что она будто бы сказала, что мать у нее русская, а отец еврей. Муж тоже русский. Правильно ли она поступила? И каковы будут последствия этого?

Как-то утром, очень скоро после этого опроса, в кузов грузовой машины посадили меня, еще несколько человек, а рядом с шофером сел наш фельдфебель. Мы выехали из города и поехали по проселку. Было туманное поздне-осеннее утро. На земле лежал густой иней. Освещение было мрачное — господствовали розовато-синеватые тона. Кругом было совершенно пустынно и уныло. Остановились мы у края какой-то деревни перед картофельным полем. При нашем приближении из ближайшей избы вышел немец с офицерскими погонами, кажется лейтенант, и весьма дружелюбно поздоровался с фельдфебелем. Они быстро о чем-то договорились, и фельдфебель сказал что-то шоферу, указывая пальцем на поле. Тот двинул машину вперед, она пошла по

полю, и через несколько секунд мы оказались у начатого и прикрытого ботвой картофельного бурта.

«Los. Aufladen!»¹ — крикнул нам шофер. Мы соскочили с машины и с помощью валявшейся тут же дырявой корзины начали грузить картошку. Моментально одеревенели руки. Я грел их, стараясь запустать поглубже в картошку.

Через несколько минут меня громко позвал фельдфебель: «Jelnitzky!» Он все еще разговаривал с офицером, потирая руками попеременно уши. Морозец действительно давал себя чувствовать. Ковыляя по неровному полю, я направился к нему.

Он представил меня своему собеседнику, соответственным образом отрекомендовав. Я отдал честь, а тот кивнул мне с доброжелательным взглядом и явно в расчете на меня стал рассказывать о том, что в большом лагере до сих пор творятся вопиющие вещи — люди сидят друг на друге без крыши над головой, без пищи и что было много случаев самоубийства. Фельдфебель междометиями выражал свое негодование, а затем остановил офицера, сказав ему, что я понимаю по-немецки, а он не хотел бы, чтобы я это все слышал...

На другой день фельдфебель взял меня с собой на дорогу. Дело было уже под вечер, наши все были уже в лагере, но он сказал, что должен о чем-то поговорить с русским ремонтером. Выйдя за город, фельдфебель перешел на прогулочный шаг, хотя мела поземка и было довольно неуютно.

— Наша команда вскоре должна быть переведена за Брянск, на другую дорогу...

Я выразил искреннее сожаление по этому поводу. Мы, действительно, привыкли уже к этим немцам, а новое всегда страшно.

— Лейтенант, который будет на нашем месте, очень хороший человек...

Потом он спросил меня, знаю ли я, что Мария Абрамовна еврейка? Я ответил отрицательно и выразил удивление и недоверие.

— Она полуеврейка... Ее отец — еврей.

— А это опасно для нее?

— Пожалуй, что для полуевреев нет, — не очень, впрочем, решительно ответил фельдфебель. — Я бы с удовольствием взял ее с собой, — сказал он затем, — но мне этого не разрешают. В лагере нужен врач...

¹Давай. Нагружай!

Я подумал, что ей бы, вероятно, было лучше уехать отсюда, но только, может быть, не с этими людьми, которые знают о ней больше, чем следует...

Унтер-офицер Лаутербах явился к нам в овчинном тулупчике. «Это я выменял в одной деревне», — сказал он. Я выразил удивление тому, что он запасается теплыми вещами: «Война ведь скоро должна закончиться, так все говорят». — «О, — ответил он, — я в это совершенно не верю. Не верил с того самого момента, как мы перешли русскую границу. Это очень большая ошибка нашего командования...»

Он выразил те мысли, которые сидели у меня где-то в глубине сознания и которые я из суеверия боялся высказать даже самому себе. Все, казалось, говорило против них — и общее настроение немцев, и самый ход военных действий. С другой стороны, Лаутербах казался мне умным и прозорливым человеком. Меня как чем-то теплым обдало от его слов.

— Война будет длиться долго, к этому надо быть готовым, — продолжал он.

Затем он наклонился ко мне и прошептал: «Die Juden sollen nicht ihre Nationalität angeben... in keinem Falle...»¹

Запоздалый совет. Если бы он это сказал раньше Марии Абрамовне... Впрочем, кто знает, может быть, он уже и говорил ей это?..

«Wir haben doch keine Juden hier»², — ответил я с ударением. Он удовлетворенно, но несколько недоверчиво кивнул головой.

Перейдя затем к делу, Лаутербах попросил меня при случае объяснить его русскому шоферу русской же полуторки, на которой возились продукты для военнопленных нескольких лагерей, подобных нашему, что он не должен вести себя как немецкие шоферы. «Наши шоферы выбрасывают бумажные бутылки из-под масла. Он делает, подражая им, то же самое и этим ставит меня в затруднительное положение. Нам ничего не полагается. Все приходится выпрашивать, как милостыню. И необходимо поэтому очень экономить...»

Своего непослушного и непонятливого шофера Лаутербах привел дня через два после этого разговора к нам. Это оказался молодой паренек, разбитной и веселый. В руках у него была гитара. Он сел и,

¹ Евреи не должны указывать свою национальность... ни в коем случае...

² У нас же тут нет евреев.

не заставляя себя просить, запел под гитару высоким, немного надтреснутым голосом, с блатноватым пошибом:

Я такая еще молодая,
А душе моей тысяча лет...

И по тому, как эта песенка отозвалась у меня в душе, по тому необычайному волнению, которое она во мне вызвала, по неожиданным слезам, выступившим сразу же на моих глазах, стало мне понятно, до какой степени напряжены и натружены нервы, раз так ранит и трогает душу самая немудрящая, самая пошлая музыка...

Мячиков тем временем действительно был назначен заведующим пекарней для военнопленных, открывшейся где-то поблизости от нашего лагеря. С работы он приходил теперь поздно вечером, почти всегда с буханочкой теплого хлеба под мышкой в телогрейке...

Зима вступала в свои права. Температура понижалась до -10°, -15°. Начались снегопады и метели. По утрам немцы подолгу возились с машинами, не умея запустить переохладившиеся моторы.

Меня и еще человек пять-шесть послали в расположенный в городе на главной улице солдатский переночевочный дом — *Rasthaus für deutsche Soldaten*¹, как на нем было написано. Необходимо было утеплить окна и двери, починить нары и переменить солому на них.

Когда мы стали сбрасывать с нар старую слежавшуюся солому, в нос ударил аммиачный запах и на нарах обнаружили следы испражнений. Видимо, некоторые солдаты по ночам то ли из страха выйти на улицу вражеского города, то ли просто от усталости мочились прямо под себя в солому... Мы по этому поводу обменялись саркастическими репликами. И вдруг как-то почувствовалось, что вот-де она — граница возможного для немцев в этой войне... Условия, которые ставили им обстоятельства, оказываются непосильны, и на наших глазах *Übermensch*'и² обращаются в испуганных зверей...

Обмундирование как на нас, так и на немцах было летнее. Впрочем, у немцев оно было из искусственной шерсти (*Baumwolle*), их нательное белье тоже было теплым, на каждом под гимнастеркой шерстяной джемпер (*Pullover*), на ногах шерстяные носки. Они все в сапогах, а на переменуку имеют ботинки.

¹Дом для отдыха немецких солдат.

²Сверхчеловеки.

Наступившие морозы они переносили подчеркнуто легко. По лагерю и вокруг ходили без шинелей, требовали было и от нас того же, но наше бумажное нижнее и верхнее белье не грело еще и потому, что было выношено и очень грязно — отстирывалось плохо. Особенно мерзли руки и ноги. Ни днем, ни ночью невозможно было расстаться с шинелью...

Однажды Мячиков и его пекаря явились в немецком обмундировании, надетом поверх нашего. Оказалось, что это было старое и, как они сказали, выброшенное из какого-то немецкого лазарета обмундирование, которое кучей валялось где-то невдалеке от пекарни, и какой-то «пан» разрешил им выбрать себе из этой кучи по паре.

Все это происходило вечером, а на другой день меня потребовали в шрайбштубе, и унтер-офицер Гохбергер начал кричать с бранью и резкой жестикуляцией, что-де пекаря украли немецкое обмундирование и что они за это наказаны — поставлены на дворе без шинелей и будут стоять так до вечера... Я сообщил ему, что было об этом известно мне, и категорически отверг версию о воровстве. Но унтер-офицер продолжал настаивать на своем и браниться на чем свет стоит. Ему, собственно, ничего от меня не было нужно. Он просто, видимо, хотел обнародовать свое отношение к этому факту и решение о наказании, а также поторжествовать передо мною из-за того, как плохи и вороваты русские... Я обещал ему произвести дополнительное расследование. Стоявшие на морозе в своем новом обмундировании пекаря были довольно спокойны и заверили меня в том, что все рассказанное ими по поводу способа приобретения этих вещей святая правда, сообщив при этом кое-какие дополнительные подробности, с которыми я и направился тотчас же обратно к унтер-офицеру. Когда я вошел в шрайбштубе, там уже кроме унтер-офицера находился также и фельдфебель. Меня встретили словами: «Ельницкий, инцидент с обмундированием исчерпан. Мы все выяснили».

— Должны ли пекаря сдать взятое ими обмундирование?

— Нет. Они могут оставить его себе.

Я повернулся и вышел. Пекарей на дворе уже не было, а в помещении мы все дружно поругали немцев и особенно унтер-офицера за дурость и фанаберию.

— Не принести ли вам, товарищ переводчик, штаны и рубашку?

Я попросил принести в расчете на всех переводчиков и вообще на всех нуждающихся и желающих...

На следующий день в моих руках были брюки и френч. В первый момент мне это показалось настоящим блаженством. Хотя и старая, но такая на вид теплая и мягкая одежда! Есть, конечно, дырочки, но это ничего — залатаем... Боже мой! А это что же такое? Вдоль всех швов с внутренней стороны шли какие-то ровные белые полосы. Приглядевшись, я понял, что это гниды платяных вшей так ровно и аккуратно расположились вдоль швов. Оторопело смотрел я на эту дотоле еще невиданную картину. Что же делать с этой одеждой?.. Я сообразил, в конце концов, что гниды, конечно, мертвые, помороженные, но чувство брезгливости и отвращения от этого не уменьшилось. Я взял перочинный нож и стал старательно счищать эти белые полосы, что давалось с некоторым трудом — так прочно сидели на шерстинках яички.

Произведя эту работу, я все-таки не мог сразу надеть обмундирование на себя, а спрятал его на нарах под солому, с тем чтобы оно еще немного полежало и я бы привык к нему постепенно в мыслях.

Вдруг распространился слух, что рославльская военная комендатура распорядилась расстрелять всех находившихся в еврейском лагере людей и что приказ этот вот-вот должен быть приведен в исполнение.

Немцы, хотя и делали всячески вид, что они совершенно равнодушны к судьбе этих евреев, были очень возбуждены и все разговоры невольно сворачивали на эту тему.

Мария Абрамовна была очень бледна и мрачна в этот день и попросила меня вечером прийти к ней в комнату. До этого я почти не бывал у нее, потому, главным образом, что ею, как уже было сказано, очень интересовались немцы, и всякий раз, заходя к ней, я почти обязательно заставлял у нее кого-нибудь из батальонных медиков или офицеров. Кроме того, мне не хотелось афишировать мои к ней симпатии, поскольку я считал себя тоже на подозрении в отношении еврейской принадлежности.

Когда я вошел к Марии Абрамовне, она лежала на кровати и плакала. Сквозь рыдания она стала спрашивать меня, что ей делать, как спастись от смерти?

— Унтер-офицер Лаутербах предлагает увезти меня отсюда куда-то в деревню, где меня никто не будет знать... А вдруг он предлагает мне это с определенными намерениями? Мне трудно поверить в его бескорыстие...

Надо было, конечно, сказать ей, что подобный риск не идет в

сравнение с риском быть выданной полиции и попасть в лагерь смертников. Но я почему-то не нашелся в тот момент и только пробормотал, что в этом случае трудно судить со стороны — она-де сама должна решить, что для нее легче — предаться неизвестности или остаться в лагере. Что-то сказал я и о том, что она, вероятно, могла бы и не говорить ничего о своем еврействе, никто, мол, не тянул ее за язык.

— Я боялась, что они все равно это узнают — ведь я же здешняя...

Это тоже было резонно, но безвыходность ее положения мучила и раздражала меня. Так бывало со мной и раньше. Я вспомнил в этот момент, как мальчишкой злился на свою малолетнюю сестренку, забравшуюся на крышу и боявшуюся оттуда слезть. Что-то подобное я испытывал и теперь при мысли о судьбе Марии Абрамовны.

— Вы не должны были все-таки говорить этого... Неизвестно, сколько мы здесь пробудем. Могут всем лагерем увезти в другое место, а вы совсем не похожи на еврейку.

— У них какой-то нюх на это. Почти каждый спрашивал меня, не еврейка ли я.

— Всех брюнетов об этом спрашивают. Им бы, может быть, и в голову не приходило задавать вам эти вопросы, если бы вы не пытались говорить по-немецки, вероятно употребляя при этом жаргонно-еврейские слова...

— Какие еврейские слова? Я совершенно не знаю еврейского жаргона...

Хотя и это было вполне резонно, но мне все продолжало казаться, что она произносит немецкие слова на еврейский манер... Так я ей ничего путного не посоветовал и ничем не утешил. Совесть мучила меня, когда я ушел от нее, видя перед собой ее искаженное страхом, залитое слезами лицо.

«А должен ли я ее утешать?» — думал я в свое оправдание. И немецкие разговоры, и якшанье с немцами — все это от недостаточного осознания угрожающей ей опасности. Не будь всего этого, может быть, и действительно никому не пришло бы в голову подозревать ее в чем бы то ни было подобном. Пусть-ка сама поразмыслит обо всем всерьез и примет какое-нибудь решение не по чужому совету, а по собственному соображению...

Через день или два все наши немцы и все другие, каких пришлось мне видеть в эти дни, пришли в совершенное осатанение

и ярость — евреев расстреляли. Всех до одного... Немцы только об этом и говорили. Это не давало им никакого покоя...

— А ты знаешь, переводчик, их всех расстреляли вчера. Всех до единого — 200 человек. Да, если бы не евреи, не было бы этой войны... Евреи, только евреи во всем виноваты...

Я машинально кивал головой и старался изобразить на своем лице возможно более полное равнодушие...

Марию Абрамовну в эти дни я старался не видеть, это было свыше всяких сил...

Дня через два после этого меня вызвали в помещение немецких солдат, где наши лагерные плотники под руководством какого-то немца, которого я раньше никогда не видел, устанавливали дополнительные двухэтажные койки. Всякие новые немецкие лица меня и раньше пугали и настораживали. В эти дни такие встречи были почему-то особенно страшны. Но я старался сохранять видимость полнейшего спокойствия. Медленно и весомо произносил каждое слово.

Разговоры о расстреле евреев не прекращались. Немцы продолжали испытывать чрезвычайное возбуждение и раздражение, как потревоженные осы. Ко мне подскочил какой-то диковатого вида немец — в какой-то странной форме, которой я тогда еще ни разу не видел — это была, по-видимому, униформа ОТ — организации, с которой мне пришлось познакомиться гораздо позже, и крикнул: «Ach, du verdammter Jud...»¹ И при этом он замахнулся на меня. Удивительным образом, я не испытал ни страха, ни резкого возмущения. Я выпрямился: «Was sagen Sie und was wollen Sie machen?»² — произнес я громко, но спокойно и при этом пристально смотрел на стоящего передо мной человека. Рука его остановилась в воздухе, и он стал медленно отступать от меня, бормоча что-то себе под нос. Находившиеся в помещении немцы стали ему что-то объяснять, употребляя непонятные мне диалектные выражения. Он что-то как будто понял, лицо его сделалось дружелюбным: «Gut, nun gut...»³ — крикнул он мне и принялся за работу. Я почувствовал себя победителем и ретировался далеко не сразу.

Конечно, торжество это было эфемерным. Я понимал, что оно практически ничего не означает, да и ощущение его удерживалось во мне очень недолго. Ко мне вернулось чувство страха и обречен-

¹Ах ты, проклятый еврей.

²Что вы говорите и что вы хотите делать?

³Ну хорошо, хорошо.

ности, в котором я пребывал почти все время, когда оставался наедине с собой. По счастью, это бывало редко...

Еще дня через два или три после этих событий в шрайбштубе вошли, как раз когда я по какому-то делу был там, два полевых жандарма — я узнавал их по характерным серпообразным знакам на груди — и один из них, глядя на меня, громко спросил: «Man sagt dass Sie hier einen Juden haben, was?»¹

У меня упало сердце. Все кончено, подумал я. Но унтер-офицер Гохбергер, которого я имел все основания считать недобрым и подозрительным человеком, спокойно произнес в ответ: «Nein, das ist keiner... Das ist unser Dolmetscher»².

Кажется, он прибавил еще что-то, чего я не слышал, но после этого жандарм посмотрел на меня уже совершенно иначе, и со словами «gut, gut» оба они вышли вон. Я сделал вид, что смысл этой сцены до меня не дошел, и исполнив поручение, деланно равнодушно удалился.

Все эти происшествия, с одной стороны, укрепляли во мне сознание обреченности и усиливали чувство страха. Но, с другой стороны, поскольку существует, видимо, граница для всяких человеческих эмоций, во мне стало развиваться какое-то равнодушие к судьбе и принятие этой обреченности. И тут обрисовалась практическая сторона всех этих обстоятельств: я нашел место и высмотрел необходимые приспособления для того, чтобы я мог моментально повеситься, если в этом возникнет необходимость.

Мария Абрамовна тем временем немного поуспокоилась, но перестала выходить в город. Много времени она проводила в одиночестве, которое мы все как будто бы очень неохотно нарушали.

В один из этих дней меня снова вызвали в шрайбштубе. Там стояла какая-то молодая женщина. «Ельницкий, что она хочет?» Выяснилось, что она интересуется каким-то унтер-офицером, которого у нас не знали. Гохбергер обратился ко мне: «Сходите в Гестапо — это через три дома отсюда — и спросите там, не знают ли они, где находится этот унтер-офицер, а женщина пусть подождет здесь».

Гестапо? Я и не подозревал о существовании в нашем соседстве подобного страшного учреждения. Отправлялся я туда с

¹Говорят, что у вас здесь есть еврей, так?

²Это не еврей, это наш переводчик.

мыслью, что, вероятно, навряд ли мне придется вернуться оттуда обратно. Гестапо!

Домик был совершенно обыкновенный. Вывески, кажется, никакой не было. Я постучал в дверь. Вышел какой-то молодой человек благообразного вида, которому я отрекомендовался и объяснил цель моего прихода. Он посмотрел на меня внимательно и спросил: «Эта женщина еврейка?»

«Нет, это русская женщина». Он попросил меня подождать и ушел во внутреннее помещение. Я довольно спокойно для самого себя ждал, что будет дальше. Он вернулся сравнительно быстро и сказал, что они не знают такого унтер-офицера...

Я откозырял и вышел. Не чувствуя ног, вернулся в шрайбштубе и доложил о результатах хождения в Гестапо.

«Ага», — с каким-то непонятным для меня ударением произнес Гохбергер.

Слухи о том, что немцы будут распускать военнопленных, происходящих из оккупированных ими областей, время от времени возникали с новой силой. Поэтому не прекращался поток заявлений и просьб, которые мне приходилось переводить на немецкий язык, довольно стереотипного, впрочем, содержания: «Заверяю немецкое командование в своей лояльности и прошу отпустить меня домой, к семье...»

Наше начальство давало на эти заявления не менее стереотипные ответы: с выяснением подобных вопросов необходимо повременить до получения соответствующих распоряжений командования.

Однажды меня вызвал во двор уже в довольно позднее время кто-то из наших, весьма взволнованный тем, что фельдфебель сообщает что-то важное относительно освобождения из плена, а понять толком ничего нельзя...

Во дворе, действительно, толпилась довольно большая группа людей, обступивших фельдфебеля Фридрици. При нем находился Иван, но разговор, видимо, был слишком сложен для его немецких, и особенно русских, возможностей. Наши, во всяком случае, сочли, что он им чего-то недосказывает.

Фельдфебель Фридрици объяснил, что на вопрос об отпуске домой украинцев, заданный ему только что одним из наших, он может сообщить пока о каких-то слухах, циркулирующих среди немцев, соответственно которым украинцы должны якобы быть отпущены из плена, но не по домам, а в какие-то воинские части,

которые из них будут формироваться. Он подчеркивал, что официально на этот счет ничего еще не известно.

Я, разумеется, не верил тому, что немцы могут распустить пленных. Слишком это представлялось невероятным во время военных действий, при отсутствии сплошной линии фронта и при наличии в тылах партизанского движения, о котором мы, правда, в то время еще весьма мало были осведомлены. Но, с другой стороны, было же время, в самом начале войны и вплоть до осени, когда немцы не брали, вернее не задерживали, военнопленных. Вообще, эта война не похожа на прежние, и разница в технических возможностях немецкой и нашей армии мне представлялась в то время несоизмеримой... Другое дело — рабочие или вспомогательные военные формирования из украинцев. В этом было нечто соответствовавшее нашей собственной психологии. Я бы не удивился, думалось мне, если бы у нас из пленных немцев, буде таковые окажутся в ощутимых количествах, стали бы создавать немецкую антигитлеровскую (разумеется «добровольческую») армию.

Я передал это нашим, всячески подчеркивая бесплодность надежд на скорое возвращение домой. Конечно, горько было лишать людей этой, пусть наивной и беспредметной надежды, но мне представлялось нежелательным и нечестным плодить на этот счет какие-либо небывлицы во избежание недоразумений, могущих обернуться кто его знает как. Уж очень велика тяга домой, и случаи побегов были не столь уж редки. Благодарение богу, немцы покуда смотрели на это сквозь пальцы...

Последствия подобных разговоров сказались в том, прежде всего, что у нас объявился неожиданно один украинский немец по фамилии Траутман, до того скрывавший свое происхождение. Он попросил объяснить нашему начальству, что отец у него немец, а мать украинка. Немецкого языка он, впрочем, не знал совершенно. Фельдфебель Фридрици был очень обрадован и весело приветствовал нового *Folksdeutsch*'а, а унтер-офицер Гохбергер довольно презрительно и не без ехидства заявил, что хуже всего, когда человек ни то и ни сё...

Однажды меня вызвали в шрайбштубе, где один из наших что-то пытался сам объяснить немцам. Он был несколько смущен моим появлением, но потом оправился и заявил, что ему известно место, где зарыт денежный ящик их части. По его рассказам, это было где-то километрах в 40 от Рославля. Парень, видимо, рассчитывал на какие-то льготы в связи с этим заявлением. Впрочем,

я в этом не уверен, потому что поиски, сколько мне известно, были произведены, но остались безрезультатны.

Один пожилой уже человек просил меня написать от его имени заявление о том, что он хочет активно бороться против Советской армии. Не знаю, удалось ли ему осуществить свои намерения впоследствии, но в то время и это заявление, сколько помнится, было оставлено без последствий.

Вскоре, однако, было предложено составить списки украинцев, хотя, казалось бы, они и без того уже должны были быть известны немцам по произведенной ими недавно переписи. Тем не менее, составлен был новый список, и это опять взбудоражило весь лагерь, поскольку многие не сомневались, что это список на отпуск по домам...

Еврейский вопрос было приутих, разговоров среди немцев об этом стало как-то меньше, хотя для меня его острота все время поддерживалась наличием Марии Абрамовны, угнетенное состояние которой передавалось и мне. У нас ее жалели, видимо, многие из посвященных в эти обстоятельства. Василий Иванович и Дмитрий Александрович к ней наведывались иногда по вечерам...

Поэтому, когда мне сообщил вдруг один немецкий солдат, которого я до этого почти не замечал, что к нам привезли из продовольственного склада для отправки в главный лагерь одного пленного, потому что Дмитрий сказал, будто он еврей, я ничего сначала не понял. Мячиков действительно бывал на продовольственном складе и должен был, во всяком случае, что-то знать об этом. Вечером я его спросил, что это все значит.

— А он с немцами стал говорить по-еврейски, вот они его и раскусили...

Вообще это звучало вполне правдоподобно. На другое утро я увидел этого паренька: он слонялся по двору, не обнаруживая на своем лице признаков какого-либо беспокойства...

— Ты кто по национальности? — спросил я его, думая, что он на еврея мало похож, и, может быть, все это выдумка или, во всяком случае, он мог бы скрыть правду, если уж она была такова.

— Юд, — сказал он с некоторым раздражением, — ну да, юд...

Мне показалось, что он психически неуравновешен, но что можно было предпринять в этом случае? Я пошел от него прочь, а потом его очень быстро увезли или увели...

Мария Абрамовна как-то рассказала мне, что после недавнего расстрела всех рославльских евреев остался было в живых какой-

то врач или фармацевт, но вскоре и за ним приехала ночью машина и куда-то его увезла...

Эти разговоры и происшествия всякий раз вызывали во мне безотчетную и беспредельную тревогу, так, как если бы это все касалось непосредственно меня и угрожало неминуемой гибелью мне самому. Не только было страшно за всех евреев, но и себя самого я чувствовал с некоторых пор загнанным и затравленным евреем, которому не избежать гибели от фашистских рук...

Через несколько дней стало известно, что фельдфебель Фридрици со своим отделением переводится в другое место. Наш лагерь переходит под командование какого-то лейтенанта из этого же батальона, но совершенно не известного мне человека. Мячиков, впрочем, как будто бы знал его и отзывался о нем положительно.

Это известие прибавило к моим страхам новые. Другие немцы, другое лагерное начальство — тогда я еще пытался цепляться за какие-то привычки, за что-то уже познанное и потому менее страшное перед лицом неизвестности... Через некоторое время я отделался от этих ложных чувств и надежд, уговорил себя, что в этой обстановке любое мгновение может принести гибель, которая к тому же, скорее всего, все равно совершенно неизбежна...

Но я еще был в плену у всего этого, когда фельдфебель как-то отозвал меня в сторону и, сообщив мне снова о своем переводе куда-то за Брянск, сказал, что берет с собой человек 20—30 пленных из этого лагеря и трех «украинцев». Одним из них был полунемец Траутман и, кроме того, два еще ранее известных мне командира наших рот — одного из них звали Володя, он выдавал себя за украинского националиста, был неинтеллигентен и чем-то мне внутренне несимпатичен, другой же был для меня позднее на протяжении довольно долгого времени приятным, а иногда и почти единственно возможным собеседником в свободные минуты — Степан Леопольдович Тульчевский, бухгалтер откуда-то из-под Киева, человек по своему характеру весьма живой и разносторонний.

— Я хотел бы взять и вас, — добавил он, — но предоставляю это всецело на ваше собственное усмотрение. Если вы скажете «нет», то останетесь в этом лагере, как и прежде... Можете это же передать и вашим товарищам-украинцам, потому что для того, чтобы ехать с нами — а вы должны будете ехать именно с нами, а не с теми остальными военнопленными, которых привезут немного позднее, — вам придется взять на себя определенные обязательства.

Хотя это последнее его заявление меня и смутило несколько, но мне настолько почему-то хотелось уехать из Рославля, из этого лагеря, где меня все время преследовали страхи и за Марию Абрамовну, и за себя самого — и мне так страшно было расставаться с этим фельдфебелем и другими немцами, к которым, каковы бы они ни были, я все-таки как-то приспособился и привык, что без особенных колебаний я тотчас же выразил согласие. Я подумал — ведь неизвестно еще, что это за обязательства. Дойдет до них дело — тогда и посмотрим...

Дня через два меня и троих украинцев пригласили в шрайбштубе. Там был один фельдфебель. Он подал каждому из нас по бумажке с напечатанным текстом и довольно торжественно объявил, что их подписание ставит нас чуть ли не в равное положение с немецкими солдатами. Что мы-де должны отнестись к этому со всей серьезностью и ответственностью...

Покуда он все это говорил, я пробежал глазами текст на поданной мне фельдфебелем бумажке. Он был составлен на двух языках — по-немецки и по-польски — и состоял из трех или четырех пунктов: 1) выражение согласия производить работы по указанию батальонного начальства; 2) обязательство сохранять в целости вверенный землекопный инструмент; 3) декларация о непринадлежности к еврейской национальности и о неимении родственников-евреев.

Мои товарищи, за исключением Тульчевского, немного говорившего по-польски, не могли сами проникнуть в содержание этого текста. А фельдфебель мне не давал приказа его переводить. И только после того, как я с довольно легким сердцем подписал эту бумажку, это же сделали и все остальные. По окончании всей церемонии, уже во дворе лагеря, Тульчевский с некоторым беспокойством спросил меня, что мы такое подписали. Я ему не без иронии пояснил, что нас, в числе каких-то поляков, приняли на земляные работы. Он понимающе ухмыльнулся...

Но вечером того же дня в лагере было уже широко известно о нашем отъезде, о том, что нас вызывали и что мы подписали немецкую присягу...

Это была, очевидно, версия украинцев, которые таким образом набивали себе цену и старались показать, что они уже почти что немцы...

Я не пытался опровергать этой версии даже перед моими товарищами-переводчиками, потому что, как только стало из-

вестно о нашем отъезде, я почувствовал с их стороны хотя и не очень явную, но все же определенную враждебность и, во всяком случае, отчуждение. Мячиков и Василий Иванович намекали мне, что я-де, видно, не доволен их компанией, раз собрался уезжать...

Я понимал, что мой отъезд ставит Василия Ивановича в затруднительное положение, потому что вместо меня, вероятно, появится другой переводчик, и неизвестно, кто это будет... Но я не мог отделаться от чувства необходимости покинуть этот лагерь. Я им сказал, что они чудаки... Меня-де никто не спрашивал — хочу ли я ехать. Мне просто сказано было, что я еду и всё... В конце концов, это было не так далеко от истины, и неизвестно еще, как был бы воспринят мой отказ, если бы я на него отважился...

На другой день утром приехал унтер-офицер Лаутербах и тоже укорял меня за отъезд.

— Лейтенант, который будет командовать этим лагерем, — сказал он, — очень хороший человек, а вы уезжаете с этим сумасшедшим и грубым фельдфебелем Фридрици...

Мне было искренно жалко расставаться с Лаутербахом — интеллигентным гуманным человеком, видимо большим умницей. Меня огорчало, что он не понимает моих чувств, стремящихся увести меня отсюда, но я не мог ему всего этого растолковать отчасти потому, что говорил еще плохо по-немецки и не находил для всего этого слов. Я только смущенно молчал... Молчал и в то же время думал, что при всей симпатии моей к Лаутербаху Фридрици и Гохбергер мне представляются в этих условиях людьми более надежными, чем он. Он, безусловно, не антисемит и не нацист. Но что он сделал реально для той же Марии Абрамовны, кроме, видимо, достаточно двусмысленного предложения увести ее куда-то в другое место? Его предупреждение о том, что евреи не должны заявлять о своей национальности, было сделано после составления лагерных списков... А в серьезном и хорошем отношении ко мне со стороны Фридрици и Гохбергера у меня теперь больше не могло оставаться никаких сомнений.

Отъезд был уже очень близок. Мы поняли это из того, что нам на рукава нацепили повязки с номером батальона, освободили от работы и разрешили выйти за пределы лагеря просто так — на прогулку что ли или для прощания с городом Рославлем.

Настроение было тревожное, но немного приподнятое. Мы пошли по нашей улице и зашли в пекарню к Мячикову. Там всю кипела работа. Пекарня обслуживала все рославльские лагеря, и нагрузка у них была порядочная. Топилось несколько печей, и то и дело перед нами мелькали длинные противни с хлебными буханками. Нас угостили свежее испеченным хлебом, который казался слаще пряника.

Пошли дальше... Улица приняла городской вид, появились каменные дома. Вернее, не дома, а их остовы, уцелевшие от бомбардировок и пожаров. Ощущение непоправимости всего происшедшего за последние месяцы вновь со всей остротой поднялось во мне, и я не захотел идти дальше. А у спутников моих были еще какие-то дела и желания. Они и до этого часто бывали в городе, пригляделись к его виду и кое с кем перезнакомились. Мы растались, и я вернулся в лагерь.

Мое одинокое возвращение было, очевидно, замечено и отмечено начальством. Через некоторое время меня вызвали в шрайбштубе, и Гохбергер обрушил на меня град упреков:

— Ельницкий, почему нет ваших товарищей? Было сказано ясно, что вы можете пойти ненадолго и должны вернуться вместе. Это прямое неподчинение, они будут наказаны по возвращении и никогда больше не получают подобного разрешения...

Да, наши украинцы, видимо, и впрямь почувствовали себя на воле и должны будут за это сразу же поплатиться. Мне повезло именно потому, что я ни на секунду не забывал о плене.

— Извините меня, господин унтер-офицер, в этом виноват я. Очевидно, я им недостаточно определенно передал ваше приказание...

— А, Ельницкий снова принимает вину на себя, — закричал он, стукнув по столу. — Они будут наказаны, передайте им это...

Я набросился на моих товарищей, как только они вернулись, с упреками:

— Глупо забывать, где мы и в каком положении. Немцы меньше всего склонны терпеть разгильдяйство, даже такое невинное...

Ребята были смущены и как будто немного испуганы. Но больше ничего не последовало. Видимо, все-таки мой демарш достиг цели.

Утром мне сообщил уфодер, что мы уезжаем около двух часов дня, и передал приказание быть совершенно готовыми к отъезду.

Лагерь военнопленных в Яхонтово. Фельдфебель Фридрици

На дворе уже декабрь. День на редкость морозный и ветреный. Я впервые надел на мое износившееся, заскорузлое обмундирование немецкие штаны и френчик, которые до этого дня, после того как я их очистил от гнид и постирал, лежали у меня на нарах под соломой. Надо было во что бы то ни стало утеплить ноги. Я обратился к Василию Ивановичу с просьбой дать мне несколько старых немецких газет, которых у него была целая куча. Он их выпрашивал у немцев на курево, но мы с ним иногда пытались и читать из них кое-что для практики в языке.

Он выразил явное нежелание поступиться частью своего запаса — до такой степени меня уже считали здесь отрезанным ломтем... Я обратил на него град упресков, и газеты были мне все же выданы.

— Вы не должны были соглашаться на отъезд, — сказали мне в один голос Василий Иванович и Мячиков. — Вы не подумали о том, каково будет тут теперь нам...

Они не понимали, что и независимо от моего отъезда дела могли обернуться для всех нас как угодно плохо...

— Чудаки, — говорил я им, — неужели вы думаете, что речь тут идет хоть сколько-нибудь о моей воле и что от кого-либо из нас вообще что-либо зависит в этой ситуации...

Но они, должно быть, не способны были проникнуться таким фатализмом и продолжали считать мой отъезд своего рода предательством. Быть может, известную роль сыграл в этом унтер-офицер Лаутербах, которому могло стать известно, что мне была предложена альтернатива, и он мог сообщить об этом Мячикову.

Последние час-полтора нашего совместного пребывания проходили в недобром и неприятном молчании. За это время наши вернулись с работы, и я пошел попрощаться с товарищами. Многие мне искренно желали благополучия и выражали сожаление по поводу разлуки.

Конечно, жалко и боязно расставаться с привычными людьми и хоть сколько-то насиженным местом, но ведь во время войны не может быть вообще ничего постоянного. Только привыкнув к этой мысли, и можно выносить все, что с нами теперь происходит...

За подобными думами и разговорами прошли последние минуты моего пребывания в лагере. С Марией Абрамовной попрощаться

нельзя — у нее прием. Я даже обрадовался такой неудаче. Как бы я на нее глядел? Что бы я ей на прощание сказал? Какая цена моим сожалениям и утешениям... Я попросил передать ей мои самые добрые чувства.

Меня позвали. Я надел через плечо сумочку противогаса со всем моим имуществом, состоявшим из писем из дому, которые мне удалось пока сохранить, из тетрадок и листочков со стихами да из нескольких тряпок...

За воротами выстроившись стояли наши немцы — человек двадцать. Сзади них находились трое наших, к которым пристроился и я. Немцы были в полном снаряжении, с ранцами за плечами. Команда наша тут же двинулась, мы прошли несколько улиц и оказались перед воротами лагеря, видимо такого же, как и наш, и принадлежавшего тому же дорожному батальону.

На дворе толпились военнопленные, как мне показалось, вида еще несколько более несчастного, чем у наших. Возможно, что к своим я просто привык и пригляделся за тот месяц с небольшим, что мы прожили вместе, и поэтому они мне уже не казались такими опустившимися и одичавшими...

Среди немцев мне тут попались на глаза несколько человек, виденных раньше, некоторые из них не преминули меня поприветствовать. Я заметил, что здешний военнопленный переводчик, болтавшийся у ворот, — юноша довольно выраженно еврейского вида. Я смотрел на него с двойственным чувством и не знал, радоваться мне за него или огорчаться...

Было сказано, что мы проведем здесь ночь. Ночевал я с тремя товарищами в каком-то темном и холодном закутке.

Утром наши немцы и мы погрузились в крытый брезентом грузовик. Часть немцев разместилась на скамейках вдоль длинных бортов, остальные, в их числе и мы, прямо на днище машины у заднего борта, чтобы можно было смотреть на дорогу. Ехали быстро, нигде не останавливаясь. Один из молодых немцев, которого я позднее узнал ближе, паясничал, передразнивая автобусного кондуктора, торгующего билетами и называющего остановки, видимо где-нибудь в Кельне или где-либо на шоссейной дороге в Кельнской области, так как все наши немцы были оттуда. По их веселым лицам и одобрительным восклицаниям можно было догадаться, что они сейчас мысленно совершают путешествие по своей родной земле...

Через некоторое время Траутман начал ерзать и вполголоса жалобно материться.

— Что с тобой?

— Терпезу нет, слезть надо....

— Ну вот, черт возьми, потерпи уж все-таки...

А по прошествии еще нескольких минут он запричитал уже во весь голос: «Ой, ребята, не могу больше, в штаны придется на-
делать...»

Я обратился к Гохбергеру, который уже и сам о чем-то начал догадываться: «Trautmann muss heraus...»¹

Машину остановили. Под общий хохот и улюлюканье немцев несчастный Траутман сброшен был как мешок на дорогу и таким же порядком водворен обратно. «Fertig? Weiter fahren...»²

Уже сильно стемнело, когда мы прибыли в Брянск. Остановились где-то в пригороде, в небольшом полупустом домике, где всего лишь одну комнату занимали две женщины — мать и дочь, жавшиеся друг к другу, но, впрочем, не обнаруживавшие страха перед немцами. Они, видимо, привыкли к постою, не удивлялись и нам, русским в немецкой компании.

Владимир и Тульчевский завели с ними длинные разговоры, а мне как-то жалостно было на них глядеть, и напившись немецкого чая, имевшего вкус шалфея, я улегся в другой комнате, где расположились и наши немцы, в уголке на соломе, и быстро уснул.

Утром мы поехали дальше, по морозу еще более крепкому, чем накануне, — градусов, пожалуй, на -20°. Брянск, как мне показалось, мало пострадал от войны. При беглом взгляде с борта машины разрушенной представлялась лишь привокзальная часть города.

Засветло мы добрались до Карачева — городишка, о котором я раньше слыхивал только в связи с древнеславянскими археологическими находками. Он тоже показался мне совершенно целёхонек, на улицах был народ, немцев не так много, как в Рославле или Брянске. Нас разместили в каком-то пустом двухэтажном здании, с широкой внутренней деревянной лестницей, видимо в каком-то бывшем училище. Потолки были довольно высокие, комнаты большие, но совершенно пустые. На полу лежала солома, на которой и до нас, очевидно, неоднократно спали люди.

Езда по морозу утомила и разморила нас всех. Кроме того, мы, русские, были основательно голодны: в пути мы получали только

¹Траутман должен выйти...

²Готов? Поехали дальше...

приварок, один раз в день, да кофе или немецкий чай. Сухого пайка, как немцам, нам никакого не выдали. Курить тоже было почти нечего — стреляли сигаретки у немцев. Поэтому мы поспешили улеяться, по принципу — утро вечера мудренее.

Наутро первое, что я увидел, был брившийся безопасной бритвой молодой немец, забавлявший нас дорогой. Брился он почти посуху, кой-как предварительно умывшись снаружи, на морозе. Заметив, что я наблюдаю за ним, он подошел ко мне, на ходу продолжая свое занятие, потом, взглянув в карманное зеркало на плохо выбритое свое лицо, сказал с удовлетворением: «Для России достаточно (*genug für Russland*)». Я не мог не улыбнуться в ответ на эту остроту. Тогда он снова принялся болтать. Тотчас же я узнал, что скоро будут раздавать маршевый паек, который получим и мы тоже. Действительно, вскоре мы получили по буханке на двоих немецкого хлеба, сероватого по цвету из-за смешанной муки, который они называли *Kommisbrot*, и по кусочку масла. Словоохотливый немец объяснил мне тут же, что это не масло, а маргарин, но что позднее мы получим и настоящее (он сказал «хорошее») масло, и сразу же осведомился, довольны ли мы этим. Я, разумеется, выразил полное удовлетворение от лица моего и моих товарищей, которое они, со своей стороны, подкрепили мимикой и междометиями.

После завтрака всем было приказано спуститься вниз, на первый этаж, и построиться в просторном зале. В построении участвовали еще примерно четыре таких подразделения, как наше. После команды «*Stillgestanden*»¹ появился командир батальона — гауптман, т.е. капитан — немолодой, невысокого роста человек, с сухим скучным лицом, в помятой фуражке, выглядевшей гораздо более старой, чем она могла бы состариться с начала войны, — видимо, она была на нем с более давнего времени, не реликвия ли войны 1914 года? Он обратился к своим солдатам со словами, из которых явствовало, что батальон (или часть батальона) будет расположен на участке шоссеиной дороги Карачев-Орел и что участок этот трудный. Батальон, который они сменяют, не позаботился о зимних помещениях для военнопленных — предстоит большая работа, и при этом он явно поглядел на меня. Я внутренне вздрогнул и сообразил, что он как бы дает мне этим почувствовать долю лежащей на меня в связи с этим ответственности. Гауптман смотрел на меня при этом приветливо и обнадеживающе.

¹Смирно.

По окончании построения и после ухода начальства наш фельдфебель сказал, что я должен его сопровождать к карачевскому бургомистру, у которого он намеревался добыть кое-какие строительные материалы. Мы пошли в направлении видневшейся над крышами маленьких домиков церкви, повернули раза два за угол и очутились на небольшой площади со сквером, перед которым стояли три виселицы с висевшими на них трупами. Их поворачивало ветром, и на груди можно было различить фанерные таблички. При виде них я непроизвольно остановился. Кратчайший путь к городской управе, расположившейся в доме за сквером, вел мимо виселиц.

— Партизаны, — сказал фельдфебель.

— Господин фельдфебель, я не могу здесь идти...

Он хмуро посмотрел на меня и сказал: «В конце концов, я вас понимаю...» — и свернул в сторону, обходя площадку кругом.

Позднее я узнал, что одним из повешенных был работник местной прокуратуры, чем-то проинтригованный и скрывавшийся от уголовного преследования. Очевидно, почувствовав себя в связи с приходом немцев в безопасности, он вернулся из своего убежища домой, а немцы, вероятно толком не разобравшись и по чьему-либо доносу, вздернули его как крупного советского функционера...

Бургомистром оказался человек довольно интеллигентного вида и, как мне показалось, несколько еврейской внешности (я тут же выругал себя внутренне за то, что мне повсюду теперь мерещились евреи), как потом я узнал, местный врач, немец по национальности. Он, выслушав фельдфебеля, направил нас к своему заместителю, который тоже оказался русским немцем, более простоватого, но все же достаточно благообразного вида, для разговора с которым фельдфебелю опять-таки не понадобилось мое посредничество. Я не очень вникал в их разговор, оглядываясь по сторонам и на сновавших по коридору людей, но когда мы вышли, фельдфебель сообщил мне, что ему удалось выпросить всего лишь несколько листов железа да какое-то количество гвоздей.

Возвращаясь, мы подошли к дому, где была расквартирована какая-то немецкая часть. Фельдфебель вошел внутрь, а меня просил подождать на лестнице. Покуда я там стоял, я увидел на дворе несколько военнопленных из нашего рославльского лагеря. Как тут же выяснилось, их привезли сюда сегодня, так же, как и нас, на грузовой машине. Я сообщил им все, что мне стало известно о нашей дальнейшей судьбе.

На следующий же день мы поехали дальше по довольно безлюдной дороге. Снегу было вокруг уже много, и кое-где его расчищали военнопленные. Под конец мы свернули с шоссе на дорогу и проехали, как мне показалось, километра три по проселку, пока не въехали в разбросанную по всхолмлениям большую деревню. Немецкая часть, которую мы прибыли сменить, покинула деревню на привезшей нас машине.

Первые несколько часов ушли у меня на беготню по деревне вместе с уфодой в поисках подходящих квартир для немцев. Когда все были устроены, стало уже совершенно темно, хоть глаз выколи. Освещая путь карманным электрическим фонариком, имевшимся у кого-то из наших украинцев, мы отправились вчетвером искать пристанища на ночь для себя. Нам было приказано разместиться по двое где-либо неподалеку от шрайбштубе. Оказывается, еще засветло мои товарищи приглядели для нас жилье в двух соседних, на высоком бугре стоявших избах. В каждой из них стояло по двойной (одна над другой) деревянной койке, какие обычно делали для себя немцы, квартировавшие у гражданского населения, но никогда не размещавшиеся в одиночку. Я оказался в одной избе с Тульчевским, а Владимир — по соседству, с Траутманом.

Наша изба, хотя была и довольно просторна, но многолюдна: муж и жена, престарелая бабушка за печкой и пятеро детей — старшему лет восемнадцать, младший же еще лежал в люльке. Едва приглядевшись ко всему этому при свете тусклой копилки, мы, промерзшие и усталые от беготни, завалились спать.

Утром, еще в темноте, нас поднял уфода: построение. Неумытые, плохо выспавшиеся и как следует не согревшиеся за ночь, голодные, мы пристроились сзади мрачно и молчаливо стоявших немцев.

Вышедший из шрайбштубе фельдфебель начал с крика: «Стоявший здесь до нас батальон — это не люди, а черт знает что. Они ничего не сделали для себя, они поморозили пленных... Мы пришли на пустое место. Все надо устраивать с самого начала, но на дороге много снега, и нужно сегодня же начать работать...»

Из строя солдат раздался резкий голос: «Я сегодня не пил кофе...»

Фельдфебеля это взвинтило до крайности. Он точно ждал чего-либо подобного. «Без кофе не умирают... — завопил он истощенным голосом. — Сейчас же вывести и построить пленных...»

«Идем», — крикнул мне уфода и направился к стоявшему не-

подалеку большому амбару и распахнул дверь в боковую пристройку. Там в полутемном, наполненном махорочным дымом помещении сидело человек пять наших военнопленных, явно из командного состава. На некоторых из них были надеты выдававшие это обстоятельство фуражки. Когда отворилась дверь, они встали, обнаружив при этом известную выправку и подтянутость.

«Вызови коменданта лагеря», — сказал мне уфоде. «Кто здесь комендант лагеря?» — спросил я по-русски. К нам вышел спокойный, на вид лет тридцати, неторопливый человек и отдал честь. Я козырнул ему в свою очередь... «Нужно вывести на работу пленных», — передал я ему распоряжение уфоде. Вслед за комендантом из помещения вышли еще трое и все вместе направились к большой недостроенной конюшне, крыша которой хотя и была покрыта соломой, но стены еще не были обмазаны глиной, а представляли собой просвечивавший насквозь плетень. Я пошел вслед за ними и увидел следующую картину: в огромном помещении конюшни, рассчитанной на сотню, а то и больше лошадей, через стены которой можно было наблюдать наружное окружение, стояли две больших кирпичных печи, отапливавшие белый свет. Все пространство конюшни на высоту более метра было завалено соломой, в которой копошились люди.

По окрику коменданта: «Подымайсь, строиться!» — люди с одутловатыми от холода лицами, неумытые, все в соломенной трухе, медленными неуверенными движениями стали выбираться наружу. Это было страшное зрелище, в котором в первый момент нельзя было отдать себе полного отчета, так все это было ужасно. Пленные постепенно выходили наружу и строились. Немцы для ускорения процедуры покрикивали: «Aber los, los». Уфоде в свою очередь командовал по-русски: «По три, по три!» — для наглядности подымая вверх руку с тремя растопыренными пальцами.

Я подошел к одному человеку, двигавшемуся весьма неуверенно, и спросил его, не болен ли он. Пока он в ответ бормотал что-то не вполне вразумительное, я заметил, что по его шинели ползают какие-то рыжеватые козявки. Приблизившись вплотную, чтобы их рассмотреть, я понял, что это вши — огромного размера и несколько необычной окраски. Инстинктивно отшатнувшись, я вспомнил тут же о том, что в детстве, в гражданскую войну, я находил иногда таких же огромных и напоминавших клопов вшей на своем белье...

Уфоде крикнул мне, чтобы я попросил коменданта разбить

пленных на столько-то отрядов по столько-то человек. Я перевел. Комендант флегматично, но довольно грубоватым тоном, свойственным, впрочем, нашему младшему и среднему комсоставу вообще, начал производить разбивку. Люди, руководствуясь личными соображениями, перебегали из группы в группу, сбивая нашего коменданта с толку, да он и сам путался, потому что групп должно было быть около десятка, разного количественного состава. Уфоде глядел на все это с нетерпением и нескрываемым раздражением, но не вмешивался. Наконец, он крикнул мне: «Какой чин у этого коменданта?» Я спросил его, в каком чине он служил в Советской армии. Оказалось — в чине старшего лейтенанта... «Обер-лейтенант! — воскликнул уфоде. — Скажи ему, что я всего только унтер-офицер, но я построю людей моментально». Подбежав к строю, он, расталкивая людей, растасовал их на нужное ему количество групп и презрительно поглядел на коменданта. Тот посматривал на все это довольно равнодушно... задет за живое он, во всяком случае, не был.

По уходе пленных в сопровождении конвоя и наших украинцев на дорогу фельдфебель опять поднял страшный крик в адрес стоявшего здесь раньше батальона.

— Это не немцы, это какие-то идиоты. Быть такими ленивыми скотами... до такой степени равнодушными к самим себе...

Начальство, т. е. фельдфебель, унтер-офицер Гохбергер и унтер-офицер Питроф — он же сегодняшний уфоде — удалились в шрайбштубе, приказав мне дожидаться дальнейших распоряжений.

Я пошел вместе с комендантом и еще тремя-четырьмя людьми, тоже, видимо, из бывшего командного состава, в их помещение. Все мы немного намерзлились во время развода и с удовольствием вошли в тесный, но теплый закуток, с маленьким, почти не дающим света оконцем. Койка над койкой, маленький столик — вернее несколько грубых досок, прибитых впритык к окну, вот и все внутреннее убранство. Уселись на нижние койки, упираясь друг в друга коленями, и стали крутить сигарки. Мне тотчас же предложили целую пачку махорки, а то и две. «Махорки у нас много...» Табак оказался испорченным — видно промокшим или замороженным, лишенным крепости, довольно затхлым, но и на том спасибо...

Двое из присутствующих были лейтенантами, один из них — Шура Иванов, москвич, — показался мне интеллигентным и симпатичным. Они считались здесь командирами рот и обычно ходили во главе своих людей на работу. Нашему немецкому начальству это, очевидно, еще не было известно, и они теперь оказались вне строя.

— Как же получилось, что пленные живут чуть ли не под открытым небом?

— Да морозов не было. Только с неделю как зима началась... — спокойно объяснил мне комендант.

— И наступила она совершенно неожиданно. За одну ночь поморозилось человек сорок...

— А где они?

— Рядом, в амбаре...

Я поднялся и вышел. За мной вышел еще один человек, пожилой уже, как оказалось, в прошлом учитель, здесь исполнявший обязанности медика. «Санитетер», — сказал он мне по-немецки. Он же распахнул одну половину широких дверей амбара. Оттуда пахло аммиачно-гнилостным запахом. Войти туда оказалось невозможно: в два горизонта до самых дверей шли сплошные нары, на которых в соломе лежали люди. Печи там не было, но амбар был бревенчатый, крепкий, и хватало тепла человеческих тел.

Лежало там человек двадцать с лишним с некротизированными конечностями.

— Двенадцать уже померли, тут вокруг барака их и хороним, — показал мне мой коллега на покрытые снегом неровные холмики...

Медикаментов и инструментов у него никаких не было, за исключением немецких таблеток — жаропонижающих, желудочных и на другие случаи жизни.

— А что же предполагалось делать с помороженными?

— Не знаю. Смотрел их какой-то немецкий врач — не то что смотрел, но вот как мы сейчас — подходил к амбару.. Переводчика у нас не было.

— Совсем не было переводчика?

— Был одно время еврейчик один, плохо понимал по-немецки, да и его увезли куда-то недели уж две...

— Чего вы нас, мать вашу так, морозите, — раздалось из амбара.

Мы поспешили затворить дверь. Из шрайбштубе вышли фельдфебель и унтер-офицер Гохбергер. «Пойдемте искать место для лагеря», — сказал фельдфебель. Придется начинать с самого начала...

Мы пошли под порывами неожиданно поднявшегося теплого ветра. Снег садился и темнел на глазах. Через какой-нибудь час или два повсюду журчали ручьи, и ноги мои в поизносившихся уже армейских ботинках стали абсолютно мокрыми.

Прежде всего мы осмотрели здание школы, находившейся за нашей же деревней, в полукилометре от той недостроенной конюшни, в которой жили военнопленные. К сожалению, она оказалась совершенно разгромленной. Ни оконных рам, ни дверей. Полы и те были разобраны и растащены. Стало понятно, почему школа не была использована под лагерь. Однако, обойдя несколько близлежащих деревень, начальство мое не обнаружило ничего подходящего: то очень далеко от шоссейной дороги, то негодные помещения. Вернулись они с тем, что необходимо ремонтировать школу в нашей деревне. Мне было приказано разыскать и привести старосту. Таковых оказалось двое. Наша деревня, резко делившаяся на две части глубоким оврагом, имела перед войной два колхоза. Колхозы с приходом немцев распались, а их председателей заменили выборные старосты. Сельсоветы были обращены в волости, а на место председателей избраны волостные старшины.

Приведенным мною к фельдфебелю старостам было объявлено, чтобы завтра к 7 часам утра все работоспособное мужское население явилось к нам на развод, при этом плотники и столяры с инструментами — для ремонта школы. Старостой нашей части деревни оказался молодой паренек, бывший рабочий Орджоникидзеградского (Бежицкого) паровозостроительного завода, вернувшийся в связи с ликвидацией завода в свою деревню (надо сказать, что в отличие от рославльских и брянских мест, где молодые мужчины были в редкость, на орловщине все мужское население осталось дома — не успели мобилизовать). Другой староста был человек средних лет, бывший председатель колхоза той части деревни, старостой которой он теперь являлся.

В ответ на это распоряжение оба старосты с сомнением покачали головами, но сказали, что они оповестят о нем своих односельчан.

Ночью ветер переменялся, и к утру стоял опять сильный мороз с небольшим туманом. Пленные в 7 часов утра были выведены на работу, из гражданских же лиц ни один не явился. Фельдфебель был взбешен этим явным неповиновением. Впрочем, не только неповиновением. Он бесновался и кричал, что русские настолько дики и ленивы, что не желают даже прийти на помощь друг другу. «Военнопленные замерзают, а живущие рядом крестьяне не желают принять участие в оборудовании лагеря. Это неслыханно», — горячился фельдфебель.

Имевшимся налицо солдатам было приказано выстроиться в одну шеренгу и, двигаясь по деревне, стрелять вдоль улицы. Я был послан

за старостами. Старосты другого конца деревни не оказалось дома, а наш испуганный паренек прибежал за мной к фельдфебелю. Тот бросился на него с пистолетом и произвел два или три выстрела в воздух, а затем пистолетом сбил с него шапку. «Hände hoch», — орал разъяренный фельдфебель. Паренек поднял вверх голые руки, а фельдфебель, размахивая перед его лицом пистолетом, кричал, что он будет так стоять до тех пор, пока не соберутся все его мужчины.

Староста мой явно перетрусил (потом он признался мне, что думал, будто и вправду ему пришел конец), побледнел, а руки его совсем побелели, как обмороженные. Я было попытался надеть на них мои варежки — «вязенки», как называют их там, которые за день или за два перед тем подарила мне какая-то сердобольная женщина.

«Прочь, Ельницкий, прочь!» — закричал на меня фельдфебель, взмахивая пистолетом. Одна варежка упала наземь, а другая повисла на пальцах старосты.

Мужчины тем временем начали собираться, а в связи с этим стала проходить и острота момента. Фельдфебель отдал собравшейся толпе распоряжение: за два дня привести в жилой вид школу. Так как школьного помещения было недостаточно, нужно было привезти откуда-нибудь и поставить рядом еще два-три бревенчатых здания — избы или амбары... Были мобилизованы все наличные лошади с санями. Таковых набралось с десятков.

Работа закипела. К школе потянулись подводы с бревнами, замелькали пилы и топоры. Пленные долбили вокруг школы мерзлую землю, вкапывали столбы и натягивали на них колючую проволоку...

За два дня сделано было много, но закончить работу не удалось. Людей в новый лагерь перевести было еще нельзя. Пылу у мужичков хватило, однако, ровно на два дня. На третий день опять никто не явился вовремя на работу. Снова пришлось выгонять народ с солдатами, и так как проволочный забор был готов раньше всего другого, фельдфебель пригрозил, что не выпустит никого домой, пока не закончат дело... К ночи было произведено переселение. Помимо школы и небольшого дополнительного барака с одним окном, была выстроена закрытая кухня и небольшой домик для коменданта и прочего лагерного персонала. У ворот лагеря поставлена избушка для караула.

Все эти дни меня угнетало сознание, что около трехсот человек

на таком морозе спят чуть ли не под открытым небом. И я как-то не замечал ничего вокруг... В этот вечер я вернулся в избу с чувством какой-то внутренней расслабленности, точно после длительной физической работы. Тульчевского еще не было, и я посидел некоторое время с хозяевами, поспешившими накормить меня ужином. Они стали меня вообще подкармливать, как только заметили, что я не получаю такого пайка, как Тульчевский, а только раз в день приношу суп, да утром и вечером кофе или чай. Я не очень отказывался, потому что действительно находился между небом и землей: с лагерной кухни брать питание мне стало неудобно (да и далеко бегать), поскольку приварок давали и на немецкой. Но кроме приварка я по прибытии на место не получал уже ничего. Хлебом меня тоже кормили хозяева, благо он у них был, хотя и со свеклой, в достаточном количестве. Картошки тоже было вволю. Вскоре я стал с ними обедать, а немецкий суп отдавался детям, которые поедали его с любопытством. Пробовали охотно и взрослые, за исключением бабушки, гнушавшейся басурманского варева...

Разговорившись впервые с хозяином, я узнал, что он в колхозе не состоял. Будучи хорошим плотником, работал в одном из соседних сел на военном складе.

— Поэтому вас и не мобилизовали? — высказал я догадку.

— Да нет, не потому. У нас все дома остались, кроме тех только, у кого была явка без повестки. А до нас пока дошло распоряжение, тут уже и немец подошел. Мы было собрались в район по приказу, выехали на сашу, а уж по ней немецкие танки едут, ну мы и подались к дому...

Тут же был его сын призывного возраста, в этом году окончивший девятилетку, и другой, лет шестнадцати. Жена его, худощавая женщина с изможденным лицом, слушая мой рассказ о том, как я попал в плен и как меня привезли к ним, прослезилась и запричитала:

— Болезный ты мой, не видать тебе дому, убьют тебя немцы... Да ведь и то сказать, вы там в городе-то хоть жили — селедку ели... хочется небось соленья-то...

Хозяин недовольно заворчал на свою половину, наделенную такой непосредственностью... Но ее остановить уже было нелегко.

— Убили ведь, небось, переводчика-то они, какой до тебя тут был.

— А что это был за переводчик?

— Да молодой, чернявый такой, еврей что ли, говорят. Кто го-

ворит, увезли и по дороге застрелили. А то вербниковский один мужик говорит — своими глазами видел: сняли с него штаны и в снег посадили, он и замерз...

От этих невеселых разговоров я пошел в соседнюю избу навесить товарищей. Там же оказался и мой Тульчевский. У соседей было просторней и тише. Хозяева — старик да старуха — были незаметны. За столом сидели Владимир и Тульчевский и вполголоса напевали песню, которую и я где-то слышал и тут же подхватил:

Приходи вечор, любимый,
Приголубь и обогрей...
А на зорьке за работу,
За работу веселей...

Наверно, это впервые после начала войны вырвалась из моего горла песня. Вряд ли бы она, однако, вырвалась, если бы я знал тогда, что слова эти из еврейского фильма о Биробиджане...

Траутман стоял посреди избы, босиком, в одних кальсонах, слушал и задумчиво жевал бутерброд — с таким умиротворенным и отрешенным выражением лица, что прямо было завидно...

Может быть, конечно, для него процесс насыщения и раньше бывал связан с подобной внутренней сосредоточенностью и отрешенностью от всего, что его могло бы нарушить, а может быть, это просто был очень изголодавшийся человек, который уже в чисто физиологическом порядке отдавал все внутреннее внимание процессу поглощения пищи...

Бедняга Траутман был, однако, очень уж недалек, и инстинкты, владевшие им, повели его вскоре совсем не туда, куда нужно. Он возомнил, что его немецкая фамилия дает ему право вести себя как вздумается и делать все, что захочется. Кончилось это плохо. Он, будучи зачислен в разряд «украинцев» и получив винтовку для хождения с пленными на дорогу в качестве вспомогательного конвоя вместе с Тульчевским и Владимиром, решил использовать свое начальственное положение и отнял у кого-то из пленных часы, а тот пожаловался немцам. Фельдфебель, узнав об этом, очень рассердился, выгнал его из украинцев и отправил куда-то в другой лагерь — больше мы его не видали, и разговора о нем никогда больше никакого не было...

На другой день я с немецким солдатом отправился в волость с распоряжением фельдфебеля собрать там к определенному часу всех старост. На этом собрании фельдфебель произнес речь о том,

что волость должна взять на свое попечение обеспечение хлебом нашего лагеря. Попеременно каждая деревня должна предоставлять лагерю определенное количество печеного хлеба и картофеля.

Кроме того, мы ввели с этого же времени в практику ежедневную посылку одной подводы с солдатом и одним из украинцев по деревням для сбора пожертвований в пользу лагеря. Просили не только о хлебе, но и о теплых вещах. Население в большинстве отзывалось на эти просьбы, но были, рассказывали мне, и такие, которые заявляли, что-де нечего попрошайничать — надо было как следует воевать...

Кроме того, люди, работая на дороге, когда работа велась неподалеку от какой-нибудь деревни, имели возможность сбегать туда поодиночке и «подшибить» (или как у нас говорилось еще «побомбить») кусок хлеба и пару вареных картофелин. Питание наше, таким образом, стало довольно сносным. Конину в необходимом количестве мы обеспечивали себе сами за счет негодных лошадей, брошенных на дороге. Немцам, следовательно, мы не стоили ничего. Никакое организованное питание, никакой паек для военнопленных немецким командованием, по крайней мере в прифронтовой полосе, предусмотрен не был. Изменения этого порядка вещей происходили постепенно и медленно.

Но еще до появления первых признаков этих перемен наступило Рождество. Как известно, это самый большой и торжественный праздник у немцев. Так это было и в военных условиях: посылки из дому, маленькие, искусственные и чуть побольше, настоящие елочки, которые они украшали только кусочками ваты. В качестве *Marketenderwaren*¹ продавалось вино, сладости, сигары, сигареты и пр. Бесплатно были выданы в большом количестве дешевые пряники и конфеты. Этих последних подарков перепало некоторое количество и нам, т.е. «украинцам» и мне, на радость хозяйским ребятишкам. Идиосинкразия к сладкому, развившаяся у меня на фронте, не прекратилась и здесь. Вкуса этих пряников я, во всяком случае, не помню. Для пленных выделили 25 декабря лишнюю картошку и конину. И когда я сказал унтер-офицеру Гохбергеру, что мы могли бы приготовить из этого провианта целых два блюда, он не удержался, чтобы не съязвить: «О, да вы настоящие господа!»

За два с лишним месяца, проведенные вместе с этими немцами, я начал постепенно их различать по чертам характера и даже по политическим позициям, поскольку стал легче понимать диалектную речь и улавливать оттенки сказанного.

¹ Продукты для солдат (военная торговля).

Еще в Рославле тот же Гохбергер как-то спросил меня:

— Ну, как, Ельницкий, вы теперь лучше понимаете по-немецки?

— Да, — ответил я, — значительно лучше...

— И даже Вилли вы понимаете?

— Да, и Вилли понимаю...

— Представьте, а я его совершенно не понимаю, — сказал Гохбергер под общий хохот присутствовавших при этом людей.

Вилли был долговязый парень с явными признаками дегенеративности. Факт его нахождения в армии свидетельствовал о том, что в Германии мобилизованы были все, кто хоть как-то шевелил ногами. Мало того, что этот Вилли употреблял в особенности простонародно-диалектные выражения, у него еще к тому же заплетался язык, и понять его бывало действительно очень трудно. Так что я явно преувеличил, когда заявил, будто понимаю его. Просто было жалко беднягу...

Гохбергер, несомненно, образованнее Фридрици, поскольку он учитель, а Фридрици лишь дорожный мастер. Но этого как-то почти не чувствовалось. Гохбергер представлялся мне довольно примитивным нацистом, относившимся с презрением ко всему прочему — к аристократизму, к беспартийной интеллигентности. Это было заметно по его обращению со своими, к которым он относился с большим или меньшим презрением. Русские же, по-моему, для него вовсе не существовали. Он никогда не имел дела с пленными и презирал Фридрици, считавшего своим долгом о них заботиться. Он этого даже не скрывал, когда после ремонта школы и перевода туда лагеря Фридрици переселился из шрайбштубе ближе к лагерю. Он не мог этого понять... Подчиненные, впрочем, платили ему тем же. Однажды, после того как Гохбергер по случаю Рождества перепил вина и испытывал жестокий Katzenjammer¹, санитар Айклер, к которому он относился с подчеркнутым презрением, саркастически рассказывал при мне кому-то, как Гохбергер — этот неверующий нацист — поминал черта: «oh Teufel, oh Teufel...»²

Но, с другой стороны, Гохбергер был гораздо более ровен с подчиненными — не то, что Фридрици, который мог накричать и даже ударить, да — ударить. Был, говорят, такой случай, когда он ударил по лицу одного перепившего солдата. Тот, кто мне об этом рассказывал, присовокупил, что по их уставу такой инцидент

¹ Похмелье.

² О, черт.

должен быть обжалован на протяжении 24 часов, после чего жалоба уже не имела силы. Но в этом случае жалобы как будто не последовало. То ли он ему простил, то ли не захотел связываться...

Писарем здесь первое время был Рамляу — тот черномазый молодой человек с интеллигентной внешностью и актерскими наклонностями, с не очень серьезными, но явно антинацистскими повадками. Он проявлял некоторый интерес к русскому быту, расспрашивал меня кое о чем и мне рассказывал кое-что о себе, в частности, что его дед состоял в родстве с неким польским архиепископом...

Нередко он затевал со мной разговоры о евреях, от которых я всячески уклонялся, в частности потому, что, как выяснилось, среди наших военнопленных оказался еще один молодой еврей, и я боялся, что речь пойдет именно о нем. Но его, видимо, вообще волновал, как и многих других немцев, еврейский вопрос. Видя мое нежелание продолжать подобные разговоры, он обращался с тем же к кому-нибудь из своих — не к Гохбергеру, разумеется, — и как-то раз при мне доказывал даже, что жизнь в Германии в результате преследования евреев сделалась более унылой...

Но Гохбергер, к моему удивлению, хорошо относился к Рамляу. Я замечал, что он бывал к нему добр и прощал ему некоторое шутство.

Однажды, в большой мороз, когда Гохбергеру нужно было спешно куда-то ехать за несколько километров, а на нем не было ничего, кроме шинели, я предложил ему крестьянский чепан, данный мне на время хозяином избы, в которой помещалась шрайбштубе. Он брезгливо отказался, но тем не менее я видел, что он был тронут этим предложением.

А морозы стояли лютые, с сильными ветрами. Работать на дороге бывало чертовски трудно и довольно бесполезно. Не успевали дорогу расчистить, как ее тут же заносило опять...

* * *

Мы не должны и малой радостью
Смягчать отчаянье свое,
Чтобы тревоги чуткий градусник
На миг не падал в забытье.

И помнить мы теперь обязаны
О том, что жизнь на волоске;
Что связь времен и действий связанность
Не в нашей замершей руке.

Мы только жалкими игрушками
Лежим в ногах, поднявших спор
Гигантов, к играм равнодушных,
Но любящих войну, как спорт...

* * *

Я только ночью существую.
Мне сладок сон, как никогда.
А днем мятется и тоскует
Мой дух, как темная вода.

Гнетет беда событий страшных,
Страх перед смертью или страх
Перед дальнейшей жизнью нашей
У неизвестности в тисках.

А ночью сны легки, сумбурны
И время медленно течет
Движением ровным и ажурным
Воздушных волн больших высот.

* * *

Долго ли, долго ли все это будет?
Жизнь не реальна, как сонный сумбур.
Будем мы живы — ни в жизнь не забудем
Дней этих сумрак, тоску этих бурь.

Я за полгода никак не привыкну
Жить без надежды на завтрашний день,
Плакать без дрожи, без слез и без крика,
Все принимать, ни о чем не жалеть.

Прежняя жизнь, как она ни печальна,
В мирном труде и любви протекла.
Каждая мелочь была не случайна.
В памяти каждая краска свежа.

Краски сегодняшней жизни бесцветны,
Мертвенно-серой подернуты мглой,
Скрывшей и искру мечты беззаветной,
Тянушей жалкую душу с собой...

* * *

Рождество твое пришло еще раз
Первый раз в такой ужасный год.

Все же мы еще на радость щедры,
Улыбаемся сквозь страх и лед.

Каждый все, что только мог, утратил,
Вплоть до самой тайной из надежд,
И не ждет ни мира, ни изъятия
Из указанного наперед, в обрез.

Если все же праздничные мысли
Шевелятся в скованном мозгу,
Если смерть не омрачила высей,
Розовых в тумане и снегу —

Это только потому, что с жизнью
Совладать не мыслимо войне.
Здесь меж нами жизнь теперь бессильна,
Но светло сияет в вышине.

* * *

Скоро месяц, как я в этой хате живу,
Жизнь скупую ее наблюдая.
В эти сонные, зимние дни, наяву
Мой утраченный дом воскресает.

В этих людях я вижу себя и своих.
Сходству радуюсь в детях и взрослых.
Видно, стала везде одинакова жизнь,
Как узоры на окнах морозных.

Так же мало они свой убогий уют
Ценят — ссорятся и тяготеют
Всякой мелочью. Так же, как мы, сознают
Плохо грозной войны беспощадность.

Как ни хочется мне научить их уму,
Что по крохам в отчаянии нажит —
Точно зрячий слепого, они не поймут
Этих истин трагичность и важность.

Не поймут, что им выпала доля из доль:
Жить семьею в нетронutom доме,
В тот момент, когда в мире миллиардами доля
Жизнь развеялась в дыме и громе.

Люди падают в снег, как в могилу одну
Бесконечную. Мы копошимся
Среди трупов, и нас уже клонит ко сну
Сила страшная гибели зимней.

Дорога была запружена грузовыми автомашинами, водители которых отсиживались по избам придорожных деревень. Вместе с заботами о дороге наше начальство занималось тем, что выгодно попрятавшихся по деревням солдат-шоферов на дорогу... Это было зловещее зрелище: десятки, сотни машин в поле зрения, груженных самыми различными грузами — почта, провиант, боеприпасы, — и всё стоит, а вокруг ни души — подходи и бери, что хочешь...

И брали-таки, хотя и побаивались. Немцы угрожали за это расстрелом на месте... а другие наоборот, то ли из сочувствия, то ли из хулиганства, подстрекали нас к этому... Я, разумеется, всячески предостерегал наших товарищей от подобных провокаций.

У нас произошел забавный случай, и именно с Гохбергером. Кто-то из военнопленных нашел на дороге в снегу немецкий пистолет. Желая, видимо, выслужиться перед немцами или получить за это лишнюю пайку, он по возвращении в деревню с работы заскочил в шрайбштубе, где в это время был один Гохбергер, и вытащил из кармана злополучный пистолет... К его полному недоумению «пан» тотчас же поднял кверху руки...

Хотя времени скучать у меня совершенно не было, но я с некоторой грустью вспоминал о Рославле и об оставшихся там товарищах. Мячиков, Василий Иванович казались мне опять дружественными, привычными, не говоря уже о Марии Абрамовне. Как к ней отнеслось новое начальство? Жива ли она?

Из числа теперешних товарищей симпатичнее других мне был Тульчевский, но виделся я с ним мало. Он возвращался домой такой перемерзший, что сразу же, поевши, заваливался в постель. Шура Иванов представлялся мне, может быть, еще приятней, но, во-первых, и он возвращался с работы в таком же состоянии, а кроме того мне до лагеря было минут пятнадцать ходу, и я не всегда ими располагал, да и к тому же во мне постоянно могла возникнуть у немцев нужда — к нашему начальству стали обращаться со всякими просьбами и нуждами жители окрестных деревень, и к дорожно-ремонтным обязанностям у него прибавились обязанности местного коменданта.

Шура — москвич, инженер-геолог, вероятно, многое мог бы рассказать, но разговаривать нам о прошлом и о домашнем было некогда, да и в голову оно не шло. Он рассказывал мне только о том, как попал в плен. Был он артиллерист и командовал батареей, с которой отступал-отступал, пока не напоролся прямо на немцев... «По нас открыли огонь чуть ли не в упор, я прыгнул куда-то

в канаву и вижу — вот он уже стоит передо мной с пистолетом... Я поднялся и говорю ему: “Ну что ж, стреляй!” — “Никс, никс”, — отвечает он — я даже удивился — не думалось, что жить буду...»

Был он худой и очень чернявый, с румяным, смуглым лицом. Меня это беспокоило, тем более что не обходилось без инцидентов. Как-то раз шла группа пленных под его командой, и один немец, вообще казавшийся мне вполне приличным и отнюдь не фашизированным человеком, вдруг громко крикнул: «Это что такое — еврей командует пленными!...»

Шура понял, но не рассердился и не испугался, а как-то весьма добродушно ухмыльнулся в ответ. Случай этот не имел последствий, но во мне все это нагнетало и нагнетало всяческий ужас и внутреннее убеждение в трагичности нашей судьбы вообще, а для таких людей, как я и Шура, в особенности. Но что было делать...

Колоритную в своем роде фигуру представлял «украинец» Владимир. Был он человек по имени, по языку и всем повадкам русский, но выдавал себя за украинца и даже за украинского националиста, может быть, не без определенного политиканства. Он много рассказывал о преследованиях, которым подвергался перед войной, о пребывании в сибирских лагерях. Я как-то спросил у Тульчевского, с которым они вместе служили в армии, как он расценивает эти рассказы. Тот осторожно сказал мне, что, по его мнению, Владимир отбывал наказание по уголовному делу. И кроме того, дал мне понять, что Владимир очень живуч и напорист. «Я, — говорил он, — видел его в таких переделках, когда, казалось бы, никак нельзя было выбраться, но он предпринимал какое-то сверхчеловеческое усилие, доходя до предела физического и морального напряжения, и преодолевал непреодолимое...»

Немцы наши относились к нему хорошо, верили его преданности и искренности. Разумеется, он, в силу своей культурной ограниченности, не всегда и не во всем мог правильно учесть обстановку. В частности, он, подобно многим другим простым мужичкам, верил в глубине души, что немцы должны отпустить украинцев домой. К тому же он не отдавал себе правильного отчета в том, что перед ним за немцы — что могут и чего не могут. Он по простоте душевной считал нашего фельдфебеля большим начальством и полагал, видимо, что для него наступил момент активно добиваться отправки на родину. Обратившись несколько раз с соответствующими просьбами к начальству и получив отказы со ссылкой на несвоевременность подобной просьбы, он решил форсировать дело другим способом и стал симулировать болезнь.

Как-то среди ночи прибежал Траутман и разбудил меня: «Володе плохо, бегите скорей к нам...»

Я побежал, но то ли потому, что был очень неожиданно разбужен, то ли еще почему, едва взялся я за его пульс, в то время как он метался на своей койке, сам потерял сознание, свалившись при этом прямо на него. Этот инцидент напугал уже всех, не исключая и Владимира, пришедшего сейчас же в себя, как только он почувствовал, что я валяюсь на него в обморочном состоянии. Меня отвели обратно на мою койку, и на этом ночное происшествие кончилось. Но наутро, на разводе, Владимир стоял перед начальством с таким удрученно-несчастливым видом, что его оставили по крайней мере на этот день дома.

Мне почему-то довольно отчетливо представлялось, что он симулирует, при этом чувствовалась определенная выучка и повадка. Я, разумеется, не пытался его разоблачать не только перед немцами, но и перед своими. В этой обстановке, думалось мне, каждый волен идти своим путем, и поскольку это не касается прямо еще кого-либо, никто не вправе что-либо брать на себя в отношении кого бы то ни было... Думаю, что это сознание владели тогда многими.

После этого я стал снова расспрашивать Тульчевского о Владимире: «Вы ведь служили с ним в одной части, считаете ли вы искренним его украинофильство?»

Тульчевский улыбнулся, потом задумчиво произнес: «Володя очень настойчив...»

Немецкое же начальство верило в его искренность очень. Мне приходилось иногда убеждаться, что какой-либо щекотливый вопрос, прежде чем обратиться ко мне, они консультировали с ним...

Вьюги и морозы не утихали. Наши усилия держать дорогу в проезжем состоянии почти ни к чему не приводили — ее заносило снова на наших глазах, а огромные сугробы снега по ее сторонам делали эти заносы более глубокими...

На фронте у немцев дела были, видимо, тоже не блестящи. Давно уже не слыхал я фронтовых сводок, которые зачитывались Гохбергером на построении в случае, если они бывали благоприятны.

Однажды фельдфебель Фридрици набросился со страшной бранью на юношу-еврея из нашего лагеря, которого он до того будто не замечал.

«Свинья, ты должен работать!» Он вырвал у него из рук кирку

и ударил его ею плашмя по спине так, что сломалась надвое рукоять. Парень взвыл нечеловеческим голосом: «Я же иду работать, я же иду работать...» — выкрикивал он по-немецки...

Многие немцы отвернулись от этого зрелища, бормоча неслестные вещи в адрес фельдфебеля. Дня через два после этого я высказал мою, немного деланную, зависть одному из солдат — полуинтеллигентному человеку, не однажды со мной просто и сочувственно разговаривавшему: «Как хорошо, что вы едете в Карачев, я слышал, что там играет немецкий театр...» Он ответил мне с нескрываемой горечью, заставившей меня покраснеть: «Ах, переводчик, здесь у нас ежедневно такой театр, после которого хочется только напиться пьяным...»

А еще дня через три, что-то около нового года, нас быстро и на ночь глядя передвинули было опять километров на 20 по направлению к Карачеву, до которого осталось после этого не более 12 километров. Стали в небольшом поселке, вытянутом вдоль шоссе — Дороги, он так и назывался — Долгий.

В этом поселке, куда мы прибыли поздно вечером, трудно было найти свободные избы для постоя — все было занято немцами, — и мы с фельдфебелем долго ходили из избы в избы. В одной из них натолкнулись на какого-то офицера в довольно высоком чине — не то майор, не то оберст¹. Указывая на тыкву, он спросил по-русски, употребляя заученное выражение: «Што такой?» — «Это гарбуз, батюшка, по-русски то гарбуз...» — ответила ему старуха — хозяйка избы, хотя это и было скорее по-украински, чем по-русски. В одной избе меня задержал фельдфебель перед стоявшим на окне кактусом. У меня на безымянном пальце левой руки образовалась стрептококковая язвочка, долго не проходившая. Фельдфебель отрезал перочинным ножом кусочек кактуса и велел приложить к язве. Я что-то было сыронизировал, но лекарством воспользовался, и не напрасно — язва быстро затянулась, оставив по себе, впрочем, след на всю жизнь, почти как от пиндинки. Хуже у меня обстояло дело с цингой. Все зубы шатались и причиняли мне невыразимую боль, когда пища бывала сколько-нибудь жесткой.

Мы с Тульчевским оказались в избушке, наполовину вросшей в землю, где жила женщина с двумя маленькими детьми. Лагеря тут никакого не было. Немцы считали, что мы здесь временно — на днях должно что-то выясниться... А покуда что я опять остался без пропитания. Тульчевский великодушно готов был делиться со

¹ *Oberst* — полковник.

мной пайком, но я видел, что ему и самому-то его мало. Обедать одинокую женщину и детей, живших несравненно более скромно, чем наши яхонтовские мужики, тоже представлялось совершенно невозможным. Но голодал я недолго. Дня через два фельдфебель повез меня на попутной машине в Карачев. По дороге он буркнул, что хочет добиться для меня пайка. Когда мы шли с ним по городской улице, он спросил меня: «Ельницкий, вы действительно из самого города Москвы? Это нехорошо».

— Почему? — спросил я.

— Нам рекомендуют использовать как *Hilfswillige*¹ в первую очередь украинцев, а уж если русских, то не москвичей. Но ничего. Мы все-таки попробуем.

Он подвел меня к дому, на котором было написано, что это штаб какой-то дивизии, и предложил подождать его на лестнице, а сам поднялся на второй этаж. Ждать мне его пришлось недолго. Вышел он довольный и протянул мне бумажку, напечатанную типографским способом, на которой значилось, что я — *Jelnitzky Leo von Moskau* — освобождаюсь из плена для службы при таком-то дорожно-ремонтном батальоне...

— Вот, — сказал он, — теперь вы можете заявить, что вы тоже немецкий солдат...

Нужно ли говорить, что я принял эту бумажку с весьма двойственным чувством. Но отказаться от нее было в тот момент совершенно невозможно. «Тогда, голубчик, — говорил я себе, — надо было бы тебе оставаться в Рославле. Ведь этой возможности никто, по крайней мере на словах, у тебя не отнимал...» Самая мысль об этом сразу мирила меня с нынешними обстоятельствами. «Посмотрим, что будет дальше», — сказал я себе и спрятал эту бумажку в нагрудный карман красноармейской гимнастерки, заменившей мне нижнее белье.

Тульчевский очень обрадовался, узнав, что я тоже обеспечен пайком: «Хоть жить на этом пайке нельзя, но, по крайней мере, не умрете с голоду...» Видно, я и впрямь производил такое впечатление на людей, что могу умереть с голоду. Когда некоторое время перед тем мне то же самое заявил унтер-офицер Гохбергер, я ответил ему, что от голода не умру, а вот от тоски могу умереть...

— Ну, черт возьми, от тоски не умирают, — ответил он убежденно.

¹Добровольный помощник.

Через несколько дней нас опять подняли с места и — о, радость — мы вернулись в наше почти что родное Яхонтово. Радовались этому необыкновенно. Встреча была у меня очень трогательная со всеми, но в особенности с Шурой Ивановым, с которым я толком не попрощался, и с моими хозяевами, к которым тут же я и вернулся обратно на постой. Такое было чувство, что вот-де вернулся домой, в этой моей второй — военной — жизни. О настоящем доме и не думалось, как будто бы он был на другом свете.

К большому сожалению, мне пришлось расстаться со Степаном Леопольдовичем. Немцы, стоявшие здесь эти несколько дней, успели извлечь из лагеря еще несколько «украинцев» и оставили их по своему уходу здесь. Начальство наше решило объединить всех украинцев в одном месте и устроило для них нечто вроде казармы неподалеку от лагеря. Тульчевский уходил в нее от меня, естественно, с еще большим огорчением. Тот минимум домашнего уюта, которым мы с ним пользовались в этой избе, для него прекращался.

Когда он ушел, хозяин мой предложил мне спать на деревянном самодельном диване, на что я с удовольствием согласился. «А койку ломаем...» И сломали. В избе сразу стало как-то просторней, и все стало сразу же выглядеть еще более по-домашнему.

«Казарма», в которой жили наши украинцы — семь-восемь человек, несших вместе с немцами караульную службу у ворот лагеря, имела и лагерный вид. Люди эти были чем-то вроде «самоохраны» наших собственных, советских тюремных лагерей — термин в те времена, несомненно, уже существовавший, но мне тогда еще неизвестный. Это всё были, как я замечал, люди, избегавшие по тем или иным причинам физического труда, — чаще младшие командиры — и, к счастью, отнюдь не прирожденные тюремщики, каких на свете не так уже, видно, и много. Когда дежурил такой паренек, находившимся в лагере было много свободней, чем в дежурство немца, хотя надо сказать, что и те, в общем, не очень притесняли пленных: по одному, по двое люди отпрашивались на часок и бежали в какую-нибудь знакомую избу подшибить пару картофелин.

Казарма эта была предметом неусыпного внимания со стороны фельдфебеля. Он считал своим долгом учить украинцев уму-разуму, прибегая при этом не раз к моей помощи. Он очень любил вспоминать старую немецкую военную службу, с разными церемониальными и парадными аксессуарами.

— Теперь нету этого в армии, все уже не то...

Однажды при мне произошло целое представление, редкую возможность которого вряд ли кто-нибудь из присутствовавших, кроме меня, мог оценить по достоинству: он шагал перед нами гусиным шагом, демонстрировал сложные фигуры салютования и «отдания чести» разного вида оружием — винтовкой и воображаемой шашкой, которую ему заменяла его самодельная трость или, как говорили наши мужички, «костыль».

Мне так и не стал до конца понятен смысл нашего «отступления» к Карачеву и быстрого возвращения обратно. По-видимому, все-таки это было именно отступление. Потом мне стало ясно, что произошли какие-то перемещения на линии фронта в связи с немецким поражением под Москвой, о котором мы тогда ничего не знали. Чувствовали только, что произошла какая-то заминка.

Однажды вечером немцы по возвращении с дороги, но еще не разойдясь по квартирам, оживленно обсуждали какие-то полученные только что новости:

«Так что же, третьей роты, видимо, больше не существует, или как?» — нарочито громко и в явном расчете на меня сказал санитар Айклер. У меня екнуло сердце, но я сделал вид, что не понимаю, о чем идет речь, и не задал по этому поводу никаких вопросов. Неужели немецкий фронт заколебался, и они стали попадать в плен целыми соединениями, подобно нам? Это казалось невероятным. Может быть, я и впрямь ослышался? Новость эта под величайшим секретом была сообщена мною друзьям в лагере.

Но в наших местах все было спокойно, если не считать того, что в северо-восточном направлении иногда по ночам мелькали какие-то слабые зарницы. Фронт по кратчайшей линии находился от нас, по словам фельдфебеля Фридрици, километрах в ста — что же тут увидишь...

Я, в частности, мог судить о переменах только по прекращению сносшибательных фронтовых сводок с сообщениями о больших продвижениях, сотнях уничтоженных танков, орудий, сбитых самолетов, тысячах и десятках тысяч пленных. Фронт, видимо, замер, немцы чего-то ждали или, может быть, вынуждены были остановиться. Можно было заметить и некоторую перемену настроения у отдельных немецких солдат. Конечно, не у Гохбергера... Он только временами отчего-то становился более возбужденным...

Но вот немецкий повар — их было, собственно, два, один постарше, лет сорока пяти, бургомистр какой-то прирейнской

деревни, а другой помоложе, как оказалось, киномеханик, с которым мы стали иногда поигрывать в шахматы, — так вот, пожилой повар, любивший выпить и легко хмелевший, в пьяном виде пускался временами в такие разговоры, на которые не отважился бы при мне в трезвом состоянии. Прежде всего он накидывался на фельдфебеля, ругал его на все корки и говорил, что если бы были другие порядки, то именно он командовал бы теперь здесь, а не Фридрици... Как-то он заявил, что им приняты дома все меры на тот случай, если ему предстоит здесь погибнуть... «Моя семья будет обеспечена...» — «Почему вы думаете, что вам предстоит погибнуть, отчего такие мрачные мысли?» — спрашивал я. «Ничего неизвестно, — с особенным ударением говорил он. — Еще ничего не известно...»

Я вспомнил тут моего рославльского Лаутербаха. Как он тогда угадал, что война не может окончиться быстро.

В одно темное февральское утро, когда почему-то особенно хотелось спать и было зверски холодно и знобко в ожидании развода, Гохбергер зачитал приказ, вдруг открывший мне всю бездну и всю безнадежность нашего бесправия. Объявлялось, что за беспричинное убийство советского военнопленного полагается две недели карцера.

Было и так известно, что мы не обладаем правами военнопленных, действовавшими в войну 1914 года. Тогда военнопленные могли раз в месяц сообщать о себе родным и получать от них, а при отсутствии родных — от Красного креста, продовольственно-хозяйственные посылки. Естественно, что военнопленных не должны были убивать без причины, хотя рассказов об издевательствах в немецких лагерях в ту войну приходилось мне слышать немало...

Я понимал, что наше нынешнее бесправие в немецком плену объясняется тем, что Советский Союз не является членом Международного красного креста. У нас есть свой «Красный крест и красный полумесяц», который, однако, не имеет контакта с международными организациями. Всё, видимо, потому, что наше начальство не хочет, чтобы советские люди сдавались в плен, и думает, что с этим можно бороться такими способами.

Кой в чём, однако, наше бесправие нам помогало. Во-первых, мы оставались на своей земле и недалеко от фронта. Нас охраняли спустя рукава и не очень огорчались из-за побегов. Мы не были лишены контактов с местным населением, и нам не препятствовали искать у него помощи.

Покуда что наша жизнь налаживалась не так уж плохо. Мы не были столь голодны. Мы раздобывали кой-какое теплое тряпье в дополнение к нашему изношенному летнему обмундированию. Работой нас немцы не перегружали, потому что очень мерзли сами. Хотя они были обмундированы гораздо лучше нашего, но и у них обмундирование было только летнее. Гитлер планировал не хуже нашего начальства: война должна была закончиться по его расчетам до наступления зимы. Теплые вещи стали поступать немцам только в конце февраля, и то преимущественно не военного, а гражданского образца, в порядке Winterhilfe¹ — мероприятия, как мне рассказывали, практиковавшегося в гитлеровской Германии в какой-то форме также и в мирное время. Валенками наши немцы обеспечивали себя за счет организованных, где можно было по наличию специалистов, валяльных мастерских и посредством конфискации у населения через местную немецко-русскую администрацию. Валенки на всех не хватало, и ими пользовались по очереди те, кому это бывало нужнее. Фронтовые части, сколько мне приходилось видеть при их передвижениях, обеспечивались теплым обмундированием немногим лучше наших тыловиков.

Что касается нас, то никто, даже так называемые украинцы, никакого обмундирования организованным порядком от немцев не получали. Многие же наши вели себя в отношении своего советского обмундирования совершенно легкомысленно: обреза-ли полы у шинелей и выменивали куски шинельного сукна на что-либо съестное или на курево у крестьян. Меняли ботинки на какие-нибудь развалившиеся валенки или чуни. Мои уговоры помогали плохо. На словах со мной соглашались, что-де поступать так неосмотрительно, а потом нет-нет да и опять я замечал, как кто-нибудь вместо шинели оказывался в тришкином кафтане или вместо ботинок — в опораках...

Стыдил было я и крестьян — как, мол, у вас хватает совести брать у голодного человека последнюю одежду, ведь немцы не посмотрят, что бос и раздет, все равно на мороз погонят...

— Эх, Андреич, — говорили мне в ответ, — а где нам и взять-то что-нибудь, как не у вас? Что мы тут раньше видели? Сапог и башмаков у нас отродясь не бывало. Зимой в чунях, а летом босняка гоняли...

Возразить на это им что-либо тоже бывало нелегко.

¹ Гуманитарная помощь от немецких граждан для немецких солдат.

Как-то в конце февраля 1942 года к нам пригнали человек 60 новых пленных. Выглядели они почти так же, как и мы, так что сразу нельзя было распознать, что за народ и откуда. Но оказалось, что они свеженькие, всего дня три-четыре как с нашей стороны фронта. Конвой у них был не наш. Узнав, что я переводчик, задний конвоир просил меня объяснить отстающим, что лагерь-де недалеко и чтобы они прибавили шаг. Но это были всё очень изможденные люди, и никакие посулы не могли заставить их двигаться быстрее. Особенно один, страдавший острым колитом, видимо от неумеренной порции конины, то и дело присаживался по нужде. Видя меня при них, конвойный махнул рукой и побежал за шедшими впереди. А мы тогда и вовсе уже перестали торопиться, и я спросил ребят, как они угодили в плен. Неужели идут бои?

— Боев особых нет, — ответили мне. — Немцы стоят тихо. Но наше начальство решило наступать на своем участке фронта — ордена себе добывать. Гоняют нас день и ночь в атаку. Потери каждый раз чуть не в половину состава, а толку нет. Ну, немцам, видно, это и надоело — открыли они фронт километра на три-четыре в ширину, а наши давай туда переть — чуть не дивизию в эту дыру загнали... Немцы глядят, народу порядочно, да и техника кой-какая с нами есть — взяли и перекрыли обратно фронт...

Видно что-то в этом роде произошло в действительности, потому что подобные рассказы мне пришлось слышать и от нашего фельдфебеля.

Это опять подогрело мое затихнувшее было негодование по поводу тупости, беспомощности нашего командования, не имеющего ни разведки, ни элементарной сообразительности, ни желания сохранить свои живые силы до лучших времен...

Чувства эти были усугублены двумя обстоятельствами, производшими на меня сильное впечатление.

Как-то днем, во время обычных дел в шрайбштубе (приходили крестьяне из соседних деревень то за пропусками — так именовались записочки, которые писал им фельдфебель, с указанием, что русский крестьянин такой-то, из такой-то деревни направляется туда-то, по таким-то надобностям, то ли по делам, связанным с немецкими повинностями), вдруг в дверях остановился какой-то бородатый, пожилой мужик и по некотором размышлении бухнулся фельдфебелю в ноги. Ползая перед ним на коленях, он повторял: «Благодарю тебя, благодарю тебя, что ты спас меня... освободил меня...»

Фельдфебель недоумевающе смотрел на эту картину, ожидая, видимо, что дело как-то разъяснится само собой, но присутствовавший при этом менее терпеливый Гохбергер раздраженно спросил:

— Ельницкий, что ему нужно?

Пришлось объяснить положение, и хотя я, как мне казалось, не выразил никакого своего отношения к происходящему, но, видимо, моя интонация, а может быть и самая нелепость поведения этого мужичка, заставила Гохбергера вскипеть, и он принялся кричать истошным голосом:

— Вот! Вот до чего, Ельницкий, доведен ваш народ... Я знаю, вы не верите в искренность этого человека, но на каком основании? Мы сейчас это проверим, спросите его, что он хочет?

Вместо ответа на этот вопрос мужик встал, еще раз поклонился в пояс и, пятясь назад, вышел...

— Вот видите, вот видите, что вы сделали с вашим народом...

Фельдфебель тоже был поражен этим зрелищем, но повторял только с большой выразительной силой, подчеркивавшей его удивление:

— *Junge, junge, junge...*¹

Через несколько дней в такой же позе перед фельдфебелем оказалась пожилая супружеская пара — отец и мать одного из находившихся в нашем лагере пленных, родная деревня которого была всего километрах в 60 от Яхонтова. Они просили отпустить сына...

Меня спросили, знаю ли я его. Я сказал, что он болен и что старики прибыли, узнав об этом. Тогда фельдфебель, после краткого совещания со своими, заявил, что больного нет смысла держать в лагере и что он его отпускает... Я сломя голову кинулся в школу. Парню было приказано изображать еле двигающегося больного. Когда к лагерю подъехали на санях родители, сошлись почти все немцы и сбежалась половина деревни. Мы вывели под руки «больного». Увидев родных, он было рванулся им навстречу...

— Ползи, ползи, сукин сын, — шипел я на него, — испортишь все дело...

Но дело было сделано. Парня уложили в сани и под общие радостно-прощальные крики увезли от нас...

Очевидно, по мне можно было легко угадать, что я при этом

¹Выражение удивления.

чувствовал. Стоявший рядом Рамляу вдруг спросил меня: «Ельницкий, а могли ли бы вы кого-нибудь убить?»

«Да, — ответил я. — Есть один человек, которого я убил бы своими руками, — Сталин...» — сказал я и сам испугался, что произнес это имя. Ей-богу, я был совершенно искренен в этот момент. По-думать только! Эти немцы и за людей-то нас всерьез не считают, а пожалели и отпустили из лагеря пленного врага, и это на фоне всего того бездушия, безжалостности и презрения, какое мне приходилось ежедневно наблюдать со стороны кадрового начальства в бытность мою в нашей армии...

Конечно, фельдфебель при этом жесте ничем абсолютно не рисковал и действовал, разумеется, не без известной демагогии. В тот момент не хотелось ни о чем таком думать... Отпустили, все-таки отпустили, ведь пожалели же...

Возможно, что этот акт был продиктован еще и тем, что война принимала затяжной характер, и немцы стали менять отношение к своим возможностям, к нам, ко всему окружающему. Страшная наша зима 1941—42 года, гораздо более суровая, чем обычные зимы, тоже не могла не произвести определенного впечатления... Наступал март, а холода ничуть не становились меньше.

* * *

Грустные вести приносят соседи:
Снова война подступает, и к нам
День приближается с нею последний
Слухов и слез по горячим следам.

Наша защита — бесчувственный случай,
Наша надежда — мгновенная смерть.
Меньше напрасных желаний и лучше
Мысли на вечный замок запереть.

Будем готовы к последнему, худшему.
Все потеряв и оставшись ни с чем,
Будем признательны каждому случаю,
Нам сохранившему завтрашний день.

* * *

Живу твоими утешеньями
И письма свято берегу.
Ты предвещала возвращение
И снова жизнь в родном кругу.

Тебе я верю и не верю.
Не верю, потому что мы
Стоим перед стозубой смертью
В плену растерзанной земли.

И верю, потому что душу
Живых инстинктов не лишить,
И нашу истинную дружбу
Проливой кровью не разлить.

Живу твоими обещаниями.
И сила материнских слов
Пребудет век непререкаема
Для спящих мертвым сном сынов.

* * *

Я болен и долго не выдержу
Этой ужасной войны.
Войны на последнюю выдержку
В аду очумевшей зимы.

Я мерзну до самого сердца
Днем на прозрачном морозе.
Ночью не может согреться
Тело в бессоньи тревожном.

Таких напряжений безумнейших
Никто никогда не испытывал.
В теле остывшем и умершем
Все отдано, выжато, выпито.

* * *

Единственно, что слезы радости
Бросает льдинками к глазам —
Добро, которое оказывают
Солдаты побежденным нам.

Добро — в противовес пословице,
Что человек другому — волк,
(Войны жестокие условия
Взять этого не могут в толк).

Бывает миг, когда приветливо
Взгляд победителя скользнет
Мне по лицу, и вдруг осветится
Улыбкою застывший рот.

В знак добродушия минутного
Он сунет сигаретку мне.
Поделится заботой смутною
О дальнем доме, о войне...

И наша участь безнадежная
На миг становится светлей —
Зима бездушно-бесконечная
Как бы короче и добрей.

* * *

Сегодня солнце первый раз
Не только диск блестящей бронзы.
Озябших пригревая нас,
Оно игрою красит слезы.

Как провозвестницы весны,
Их капли по щеке сползают,
Пока мороз не убивает
Их влагу — сателлит войны.

Зима еще сильна, длинна.
Темны ее перипетии.
Чем дольше эти дни крутые,
Тем бесконечнее война.

Стояли тридцатиградусные морозы, злобные вьюги заносили нашу дорогу. Деревня зарылась в снег, и люди с ужасной неохотой и только в силу крайней нужды высовывали нос наружу.

Однажды, в момент острой потребности в человеческих руках на дороге, фельдфебель, неудовлетворенный количеством вышедших на работу, отправился сам по избам, прихватив меня с собой. Повсюду нас встречала одна и та же картина. Было уже не столь раннее, очень морозное утро. Солнце заглядывало в обледеневшие окна и позволяло видеть, как в холодных, со вчерашнего дня еще не топленых избах, все обитатели помещались на печке. При нашем появлении с печки, как птенцы из гнезда, свешивались русые головы хозяев — взрослых и детей. Волосы у них были всклокоченные, лица заспанные, бледно-желтые от недостатка свежего воздуха...

Фельдфебеля все это приводило в бешенство. Начав этот обход в довольно благодушном настроении, он постепенно зверел и, распахивая двери изб настежь, размахивая клюкой, которую

держал в руке, сгонял людей с печи: «Aber los!»¹ Они кричали от страха и холода, показывали, что они раздеты-разуты, что им не в чем идти на дорогу...

Я спросил фельдфебеля, неужели ему ничуть не жалко этих людей, которым ведь действительно будет невоготу на таком морозе.

— Меня бесит то, что они морят себя сами на этих печах, что они целыми днями лежат там в духоте и зловонии. Если этим людям действительно суждено погибнуть в эту войну, то пусть, по крайней мере, они хоть что-нибудь получают от жизни...

Должен сказать, что какая-то доля его негодования становилась мне в тот момент понятна. Это запечное существование, ослаблявшее и вконец отуплявшее людей, не могло, пожалуй, не вывести из себя любого свежего человека, не видывавшего такой жизни, такой зимней звериной спячки...

По деревням начались болезни. Медицинской помощи поблизости не было нигде никакой, если не считать наших двух санитаров — пленного и немецкого Айклера. Ни тот, ни другой не были настоящими медиками, да и у нашего, кроме того, было очень мало медикаментов. У Айклера они были, но он первоначально жадничал и не склонен был расходовать их на русских, покуда не понял, что из этого может получиться для него недурная доходная статья. Приходившие к нему за помощью люди, получая от него через мое посредничество аспирин или еще что-нибудь, благодарили его за это кто чем мог — кто молоком, кто яйцами. Особенно он ценил яйца (куры к этому времени начали понемногу нестись). Он их и поедал, и копил, а затем делал посылки своей матери в Германию, на зависть всем остальным. Многие смотрели с неудовольствием на доходы попа, как его презрительно называли некоторые, недоволен был, как я замечал, и фельдфебель.

Но, видно, более высокое начальство поощряло подобную медицинскую помощь нашему населению во избежание вспышек инфекций, и ему в этом не препятствовали. Ему даже рекомендовалось объезжать раз в неделю окрестные деревни на лошади. А так как он не мог обойтись без переводчика, то ему придавали в помощь меня.

Ездили мы верхом, на неоседланных лошадях с привязанным

¹Пошли.

к лошадиной спине шерстяным одеялом. Все-таки хоть что-то, да и теплее... Я с большим удовольствием принимал участие в этих поездках. По дороге мы с ним вели разговоры на разные, нас обоих интересующие темы. В деревнях, когда приходилось осматривать больных, я с удовольствием занимался опять медициной.

Гулял какой-то тяжелый грипп, осложнявшийся иногда крупозным воспалением легких. У нас против этого был один только, правда очень действенный, немецкий аспирин.

Так мы и ездили, подобно двум странствующим монахам. У меня при этом становилось приятно и легко на душе, а Айклер вдобавок возвращался с добычей... Иногда, впрочем, рассерженный конюх-немец отказывал нам в лошадях: «Ничего, ничего. Попу не вредно прогуляться пешком...»

Ну что ж, пешком так пешком. Я считал, что хорошо и так, но Айклер был не таков. Он шел к фельдфебелю, и лошади с проклятиями, к которым он оставался равнодушен, выводились-таки из конюшни.

Я узнавал у него о некоторых существенных для меня сторонах гитлеровского режима. Он рассказывал мне, что, занимаясь преподаванием латыни в школе, оставался, тем не менее, монахом-францисканцем, хотя, видимо, и не жил в монастыре...

— Почему же вы пошли на войну, если вы монах?

— Гитлер распустил мужские монастыри и мобилизовал всех монахов. Отказавшиеся подчиниться были расстреляны... А женские монастыри обращены в лазареты.

Этот же Айклер проявил себя однажды с совершенно неожиданной для меня стороны. Как-то пришел ко мне староста одной из соседних деревень и пожаловался на то, что один немецкий солдат из стоящих в нашей деревне явился к нему один, чего-то от него требовал — чего именно, он понять не мог, а тот пришел в крайнее раздражение и стал угрожать ему пистолетом. Староста просил меня пойти с ним к фельдфебелю и перевести его жалобу. Я попросил старосту показать мне этого солдата. К моему величайшему удивлению, им оказался Айклер. Уверив старосту в том, что произошло какое-то недоразумение, я объяснил ему, что-де этот солдат-санитар, а в гражданстве священник — не обидит и мухи... Староста, хотя и остался при убеждении в своей правоте, все же поддался моим уговорам и от дальнейших шагов отказался.

Я спросил у Айклера, был ли подобный случай. К новому моему удивлению, он его подтвердил и стал ругать старосту за нерас-

торопность. Я рассказал ему тогда, что староста приходил на него жаловаться, и думал, что это его испугает ввиду плохого к нему отношения со стороны начальства. Но он ничуть не смутился и заявил, что ему-де на это наплевать — пусть жалуется. «Ай да немецкие монахи», — подумал я. Да еще при этом интеллигентной профессии. И тут же вспомнил, как совсем недавно по какому-то случаю Гохбергер распорядился, чтобы к нему явились по одному человеку с каждой квартиры (часть немцев — человек 8 — были расквартированы в старой школе, остальные жили по двое — по трое по избам). Из одной квартиры не явился никто. Он осведомился, кто именно должен был прийти. Уфодэ доложил ему, что Айклер, но что-де тот решил почему-то, будто являться необязательно...

Гохбергер вскипел, и я впервые видел его в таком бешенстве. Стукнув кулаком по столу, он закричал: «Eikler wird geholt... (Айклера приволокнут)». Не знаю только, чем кончилось это происшествие и привел ли Гохбергер в исполнение свою угрозу.

Зайдя однажды в вышеупомянутую немецкую «казарму» с каким-то поручением от фельдфебеля, я застал там очень любопытную и неожиданную сценку. Вокруг одного очень юркого, с хитрыми глазами и гаерскими повадками небольшого немчика тесно сгрудились все остальные обитатели казармы. А он, аккомпанируя себе на губной гармонике и немного приплясывая, пел какую-то разудалую и, видимо, мало соответствующую «великогерманским» настроениям песенку с припевом, повторявшимся после каждого куплета:

Mit Hering, mit Hering,
Mit Hering im Salat...

Мой приход не только его не смутил, но наоборот, он сейчас же обернулся в мою сторону и стал исполнять этот спектакль как бы для меня. Пахнуло вдруг той Германией, о которой мы знали из произведений, посвященных немецкому быту времен после Первой мировой войны, Германии революционных лет, дух которой в значительной мере влиял и на наши тогдашние общественные настроения и душевные проявления...

Wenn die Soldaten kehren nach der Heimat...¹

в тон ему начал было я, а он ее тут же подхватил на один момент — эту старую, именно времен конца той войны антивоенную песенку...

¹ Когда солдаты вернутся на родину...

Но тут же изобразил на лице страх, испуг и сказал с ухмылочкой: «Ts, ts — verboten. Jetzt ist alles verboten, mein lieber...»¹

Дух этой «казармы» был, видимо, известен начальству. Фельдфебель как-то, во время нашего совместного рейда по деревне, заглянул в нее в отсутствие обитателей и тут же принялся изрыгать проклятия: «Verfluchte Schweine»² — и т.д. По-моему, в казарме все было в достаточном порядке. Но фельдфебель с двух коек, обитатели которых были ему, несомненно, точно известны, стащил одеяла и сбросил их на пол, в отместку за что угодно, но не за то, мне кажется, что они действительно были неаккуратно заправлены.

Один из живших в этой импровизированной «казарме» немцев был мне особенно приятен и представлялся почему-то очень трогательным. Человек немолодой, видимо очень добрый, он в силу своей душевной прямоты и простоты никак не скрывал своих антигитлеровских настроений. Мне он довольно быстро сообщил, что он бывший социал-демократ и «настоящий» социалист. Я его после этого признания иначе как «социал-демократ» и не называл. Признался, что он было поддался гитлеровской пропаганде, познакомившись с нашей русской действительностью.

— Я решил было, что русский социализм — это выдумка и обман, но теперь, глядя на тебя, переводчик, на то, как ты обращаешься с товарищами, вижу, что был не прав...

Он не верил в победу немецкого оружия и открыто это высказывал, за что его очень шпыняли оба командира, в достаточно, впрочем, мягкой, а иногда и полушутливой форме.

Однажды он, будучи в очень мрачном настроении, довольно жалостно и просительно обратился ко мне, остановив меня где-то на пути моей вечной беготни:

— Переводчик, у меня к тебе очень большая просьба — не можешь ли ты мне достать у кого-нибудь один соленый огурец?..

— Огурец? Да есть ли тут в деревне огурцы — я не видал ни разу?..

— Есть, переводчик. Мне говорили. Спроси, пожалуйста.

Оказалось, что огурцы, действительно, кое у кого были, и я без труда исполнил его просьбу.

— Спасибо, переводчик. Ты не представляешь себе, как я тебе за это благодарен. Теперь я могу умереть спокойно...

Неуверенность в поведении и боязнь этого нашего, в сущности ведь очень мало правомочного начальства, была очень заметна у не-

¹Тс, тс — запрещено. Теперь все запрещено, мой дорогой...

²Проклятые свиньи.

которых солдат. Однажды пришел ко мне один весьма тихий солдатик, с которым я как-то до этого не имел почти никакого дела, и попросил меня пойти с ним к фельдфебелю. Я тут же оделся, и мы вышли. Заметив, что перед шрайбштубе нет никого из русских, я спросил его, что, собственно, должен я у фельдфебеля делать?

— Я не мог выполнить приказа, мне надо ему об этом доложить, и он меня будет ругать...

— Но чем же я-то могу в этом помочь? Я думаю, что мне лучше при этом не присутствовать, а то он будет недоволен еще больше.

— Нет, камарад, пожалуйста, пойдем со мной. При тебе он меня не будет так ругать, ты почтенный человек, он тебя уважает, ему будет стыдно...

Что было делать, я пошел, придумав к случаю какое-то несущественное дело.

Среди немцев ходили разговоры о партизанах, в деревню привезли ручной пулемет, и солдат стали обучать, как им пользоваться. Но вокруг все было тихо. Среди наших никаких разговоров на этот счет я не слышал, не говоря уж о том, что самими партизанами и не пахло.

Однажды только, когда я как-то пришел на квартиру к фельдфебелю, он попросил меня перевести ему то, что говорила его квартирохозяйка — он сам ничего не понял.

— А ты скажи ему, — зашептала она, — если наши вдруг придут, хай не боится — спрячем, под пол укроем...

Я перевел это с некоторым сомнением — не станет ли он на нее негодовать за эти разговоры? К удивлению, он только покачал головой, ласково посмотрел на хозяйку и произнес: «Ach, lieber nicht (лучше, чтобы этого не было)». Значит, он все-таки допускает подобную возможность? И мне вспомнились опять разговоры, которые вел в Рославле унтер-офицер Лаутербах по поводу возможной продолжительности и сомнительности исхода войны.

Весна 1942 года.

Знакомство с Натальей Александровной из Юрасова

Однажды поздно вечером — я уже лежал на своем диванчике и засыпал — меня вдруг вызвали в шрайбштубе. Что такое могло там приключиться в ночное время? Впрочем, неожиданности были повсюду и везде. Я давно привык решительно ничему не удивляться и при любых обстоятельствах сохранять хладнокровие.

За столом сидело много народу. Сначала при тусклом свете керосиновой лампы я не разглядел, кто именно. Фельдфебель попросил меня к столу. Я приблизился, неловко сел на край скамейки и тут только заметил, что среди сидящих женщина и какой-то мужчина в пиджаке — видимо, русские. Остальные всё были наши немцы.

— К нам в гости приехали супруги-учителя из Юрасова, — сказал фельдфебель. — Помогите нам и примите сами участие в разговоре...

Мы познакомились. Его звали Цешковский — стало быть, поляк, ее — Лёвшина. Выглядели они вполне интеллигентно. До войны жили в ближайшем районном селе Шаблыкино, а потом перебрались сюда — в Юрасово, в четырех километрах от Яхонтова. Тут было легче с продовольствием. По-немецки они немного понимали, но разговор на сколько-нибудь отвлеченные темы не получался. А они, как и немцы, стремились к разговорам на политические темы.

Чувствовали они себя свободно, немцев ничуть не боялись и не стеснялись, резко критиковали советскую предвоенную действительность, мне показалось, что даже как-то чересчур нарочито...

Вообще, при всем моем интересе к этим, оказавшимся неожиданно под боком, в трех-четыре километрах отсюда, людям, разговор этот в поздний час, после целого дня всяческих переводов и беготни, был для меня утомителен. Вопросы сыпались со всех сторон — только поспевай. В избу я вернулся во втором часу ночи, с распухшей головой, проклиная в душе этих словоохотливых и, как мне представилось, развязных соотечественников. Особенно назойливой мне показалась она. Муж ее держался несколько более сдержанно.

Я было решил в душе, что не стану искать продолжения этого знакомства, тем более что мне показалось, будто в отношении меня они вели себя несколько провокационно, подчеркивая свою особую лояльность и доверительность к немцам.

На другой день утром я зашел к моим приятелям — поварам. Один из них был тот самый человек, который исполнял обязанности уфода в первый день моего пребывания в рославльском лагере. Он любил, как уже говорилось, заложить за воротник и навеселе становился много шумнее и разговорчивее. Но даже и в пьяном виде он не решался полностью раскрывать мне свои прогнозы в отношении исхода войны, предоставляя об этом догадываться лишь по некоторым намекам. Алкоголь возбуждал в нем ще-

длость. Он совал мне в пьяном виде сигары и сигареты, уверяя, что я на этом не разбогатею, а он не обеднеет... Я, принимая его дары, откладывал их в сторону, а уходя «забывал». На следующий день о них уже не бывало речи...

Другой повар — тот, что был моложе, интеллигентней, а мне приятней и интересней, охотно играл со мной в свободное время в шахматы, всякий раз по две партии. Если он проигрывал первую, то начинал вторую словами: «Zum Abgewöhnen» (буквально — «чтобы отвыкнуть», т. е. чтобы больше не проигрывать).

В это утро я застал его в необычном настроении: он был рас-терян и чем-то очень озабочен. Напарник его храпел у себя на койке...

Я в конце концов спросил у него, что случилось.

— Густав вчера был сильно пьян, пошел в лагерь и роздал пленным все казенные сигареты. А завтра выдача пайка. Совершенно не представляю себе, что мы будем делать. У меня есть 70 штук, но это ничтожно мало...

Не знаю уж, как они вышли из этого положения. Для меня же это был лишний намек на то, что у них беспокойно в душах в связи с положением на фронте, а может быть и в тылу, о чем я толком не знал, в сущности, ничего.

Подобные же чувства, вызванные тем же беспокойством и боязнью за неудачный исход войны, испытывали, вероятно, и другие немцы. Разумеется, они были вообще очень сдержанны, в особенности с нами, но в пьяном виде сокровенные вещи прорывались наружу. К кому-то из наших немцев приходил в гости один фельдфебель из соседней деревни, этого же самого батальона. В пьяном состоянии он направился к лагерю, прогнал стоявшего у ворот украинца, открыл ворота настежь и стал выгонять пленных из лагеря: «Aber los, Mensch, fort...»¹ А те, хоть и не понимают, в чем дело, но видят, что немец пьяный, и не идут... Насилу этого фельдфебеля урезонили выбежавшие из караулки немцы...

Мне иногда попадали в руки немецкие газеты, и даже довольно свежие, но читать их внимательно, и особенно пытаться читать между строк, у меня не было времени.

Февральские вьюги и заносы не прекращались и в марте. А движение на дороге начало оживляться, требовалось неукоснительно держать ее в рабочем состоянии. На работу выгоняли живого

¹Эй, люди, пошли вон...

и мертвого. Само наше начальство торчало день-деньской на дороге. Я неоднократно ездил туда с фельдфебелем на санях. Мы по нескольку раз в день объезжали нашу трассу — участок километров в десять-двенадцать...

Он понукал немцев, а те покрикивали на наших. На этот раз фельдфебель замерз, по-видимому, на санях, решил пройтись пешком, а мне велел тихонько следовать за ним, съехав с дороги, чтобы не мешать движению машин, так как на ней расчищен был только узкий коридорчик, в котором две машины могли разминуться с очень большим трудом.

Я ехал по целине за линией сугробов сброшенного с дороги снега. Лошадь моя иногда проваливалась по брюхо... И вдруг, совершенно неожиданно, начался такой снегопад и пурга, что в один момент кругом ровно ничего не стало видно. Проехав некоторое время наугад, я почувствовал, что сбился с направления и, наверно, удаляюсь от дороги. Лошадь совершенно тонула в снегу. Приходилось вылезать из саней и тянуть ее под уздцы. Промаявшись так некоторое время — а какое именно невозможно было толком сообразить, — я пришел в совершенное уныние и хотел было уже круто изменить направление. К счастью, я вдруг заметил, как ветром пронесло мимо меня кусок газеты. Нет, значит все-таки дорога где-то рядом. И я стал тянуть лошадь в ту сторону, откуда, как мне казалось, принесло ветром газеты.

Действительно, пробившись с трудом через высокие сугробы, я спустя некоторое время оказался на дороге. Но в каком ее месте? Вокруг меня никого не было. Севши в сани и погоняя лошадь, я проехал порядочный участок нашей трассы — ни души. Стало быстро темнеть. Я понял, что работа окончена, пленных увели, а гражданские сами разбрелись по своим деревням. Я бы тоже мог уехать в нашу деревню. Дорогу туда, мне казалось, нашел бы я без особенного труда. Но ведь я ехал с фельдфебелем. Другого нашего транспорта на дороге не было никакого. Может быть, он все-таки ждет или ищет меня где-нибудь тут? Я решил, что уехать в деревню я могу и через час, а пока надо еще поискать фельдфебеля. И поехал по трассе в обратном направлении. Доехав до поворота к нашей деревне, я остановился. За это время совершенно стемнело. Было ясно, что на дороге никакого фельдфебеля нет и нужно ехать в деревню. Но я все же как-то не решался уехать с шоссеиной дороги.

Вдруг я услышал цоканье лошадиных копыт и голоса. Показались сани. Это были наши — два немца и с ними Владимир, отправившиеся меня разыскивать. Оказывается, было уже высказано

подозрение, что я вместе с санями и лошастью подался к партизанам, чему, впрочем, фельдфебель не хотел все-таки верить. Приехавшие за мной люди обрушились на меня с упреками, перемешанными с радостными возгласами.

В шрайбштубе, куда я был доставлен, Гохбергер встретил меня с нескрываемым удовольствием: «Это очень хорошо, что вы себя так вели, но в другой раз будет разумнее, если вы явитесь сюда и доложите о том, что вы потеряли того, с кем вы ехали». Он положил передо мной очень хорошую карту нашей местности. «Тотчас же посылаются два наряда, берущие наш дорожный участок в клещи. Вот сюда и сюда, понимаете?» Это доверие с его стороны явно служило наградой за мое постоянство и выдержку.

Как-то фельдфебель вызвал меня и лагерного коменданта, чтобы предупредить о прибытии через день или два какого-то военного начальства над военнопленными. Всё в лагере должно быть приведено в возможный порядок... Существование подобного контроля тоже было для меня неожиданным. Я поговорил с нашим санитаром относительно возможной чистоты и сказал ему при этом, что если у приехавших будет свой переводчик, то чтобы и он и все прочие без стеснения жаловались на плохое питание, отсутствие одежды, медикаментов и т. п.

— Преувеличивайте, — говорил я, — авось беды не будет...

— То есть преувеличивать в лучшую сторону? — не понял меня наш санитар, привыкший за свою жизнь только к одного рода преувеличениям — преувеличениям благополучия.

— Да не в лучшую, а в худшую, — вскипел было я.

— Спасибо, товарищ переводчик, спасибо...

Все-таки в каком же страшном мире мы жили, — подумал я, — если человек благодарит за побуждение говорить правду и не замазывать недостатки. Вот уж действительно в нашем довоенном быту вряд ли кто-нибудь, включая и меня самого, посоветовал бы ему этакое...

Контроль оказался довольно формальным. Прибыл офицер, кажется гауптман, с ним еще двое не в столь высоких чинах. Не знаю, был ли среди них переводчик, но меня, когда я был им представлен, весьма корректно спрашивали только об обращении с пленными. Присутствовавший при этом фельдфебель призывал меня смело высказывать все, что я думаю...

С этой стороны жаловаться было не на что. Обращение, если не считать единичных случаев, было достаточно человеческим в этих условиях.

— Если бы все остальное соответствовало обращению, — ответил я, — желать было бы больше нечего.

— Что вы имеете в виду? — спросил гауптман.

— Питание и обмундирование, — ответил я.

— Относительно обмундирования со временем будет, если не ошибаюсь, предпринято нечто, — ответил он. — Не надейтесь, однако, на многое... Что же касается питания, то молитесь богу, чтобы не было хуже...

«Да, — подумал я, — видно ты не нацист и не политик, если так разговариваешь с военнопленными...» Я отдал ему честь, прищелкнув по немецкой манере каблуком.

— Вас тут муштруют?

— О, нет — это я сам пытаюсь подражать, — улыбнулся я и в ответ получил такую же улыбку...

«Господи, — подумал я, — если бы не война, сколько интересных встреч и самых душевных собеседников можно было бы мне найти среди немцев».

Если не ошибаюсь, именно вследствие этого визита началось у нас строительство бани, хотя мыла мы не видали за все время плена ни кусочка. То мыло, что мы принесли с собой в плен, немцы тут же повыменяли у нас на хлеб или на сигареты. У них было ужасное, глинистое, без признаков жира мыло, вроде нашего мыла «кил» для морской воды.

Баня все же была величайшим благом, тем более что вместе с ней сделали мы еще и «вошебойку» — каменку, над горячим паром которой можно было дезинфицировать одежду. Немцы сделали для себя небольшую отдельную баньку, перетащив в нее настоящую эмалированную ванну из разрушенной больницы в одном из соседних сел.

Проведя в бане 20–25 минут, я испытывал такое блаженство — я не только смывал с себя грязь — от меня отступали все горькие и страшные мысли, все заботы. «Вот бы сейчас умереть, — думал я, — какое бы это было счастье...»

И ничего, что мое первое мытье дважды, кажется, перебивалось тем, что в баню вваливался какой-нибудь немец с каким-нибудь русским и требовал немедленной передачи какого-то распоряжения...

Наша жизнь, при всем подспудном сознании ее ужаса, ее гибельности, при ощущении, что происходит нечто ужасное и необратимое, внешне протекала на редкость мирно. Ни одного самолета — и это давно уже, как будто их на свете и не бывало. Движение на

дороге тоже стало невелико. Как будто война приостановилась... Как-то раз ночью откуда-то очень издалека были слышны на протяжении нескольких секунд частые глухие удары по земле.

— То ли Орел бомбят... — задумчиво произнес Аким Фомич, мой хозяин. — Или, может, Навлю...

Ночи наступали для нас очень рано и длились долго. Свету почти не было из-за отсутствия керосина. Бывал, правда, автомобильный бензин, но он, даже и с добавлением в него соли, вел себя крайне непослушно в лампе, угрожая взрывами и пожарами.

Иногда в вечерней темноте со стороны фронта подымались какие-то блики и исчезали. Не доносилось никаких звуков. Фронт залегал где-то на большом расстоянии, наверно действительно не ближе километров ста...

Как-то фельдфебель сказал мне, что слышал отчетливо артиллерийскую канонаду. «Jetzt entscheidet die Waffe»¹, — добавил он. Я что-то не очень ему поверил. Сам я ничего такого давно уже не слышал.

Распорядок дня получался довольно однообразный: еще в утренней полутьме я и украинцы выходили на построение. В дощатом сарайчике недалеко от шрайбштубе мы укрывались от ветра. Часов у нас не было. Но происходило это часу в восьмом. Минут через 15—20 после нашего прихода появлялись как-то сразу, довольно организованно и одновременно, немцы, жившие по деревне в разных местах, видимо по аккуратно сведенным часам.

«Stillstand!» Отделение на секунду замирало по команде «смирно». Быстрый подсчет. «Ausgetreten...» После этой команды зачитывались приказы и фронтовые сводки. Делал это, как я уже говорил, всякий раз унтер-офицер Гохбергер — и как более грамотный, и, по-видимому, приставленный к этому делу по партийно-политической линии.

Сводки он зачитывал явно с выбором. Но даже и те, какие зачитывал, бывали теперь скучные, бессодержательные. Сколько-нибудь серьезных военных действий в них давно уже отражено не было. Однажды лишь промелькнуло сообщение о каком-то продвижении на небольшом участке, о разгроме каких-то дивизий и о взятии в плен десяти или пятнадцати тысяч человек. Прочтя это, Гохбергер спокойно и довольно холодно прокомментировал: «Na, ja, ist schon wieder etwas...»²

¹Теперь решает оружие.

²Ну, да, это уже кое-что.

Затем подходили из лагеря пленные и производилась разбивка их на отряды по 20—25 человек, поступавшие под команду немца и, по возможности, одного или двух украинцев. Часов после восьми, когда уже становилось совершенно светло, эти отряды отправлялись на дорогу.

«Русский» развод производился под командой нашего лагерного коменданта. Спокойный и довольно уверенно державшийся человек — типичный советский офицер — со всеми его положительными и отрицательными свойствами — он имел всегда аккуратный и опрятный вид, шинель на нем сидела даже довольно элегантно, почти как на немце (в гражданстве он был портным). В любой мороз, отчасти, может быть, из подражания немецким офицерам, — в фуражке. Никогда не повышая голоса, распоряжения отдавал довольно флегматично. Всеми этими качествами он, в общем, импонировал немцам, и о нем отзывались с достаточным уважением.

Единственно, что все у него получалось несколько медленнее, а иногда еще и явно сложнее, чем это требовалось. У него в голове утвердились когда-то им усвоенные схемы строевых манипуляций, от которых отступить ему, видимо, было совершенно невысказано.

Когда я впоследствии сам прикидывал — в каком среднем соотношении в смысле смекалки, расторопности и военно-служебной серьезности находимся мы и немцы, то приходил к выводу, что немецкий унтер соответствует даже не лейтенанту, а по меньшей мере майору.

Медленно и малоприметно подкрадывалась весна. Хотя морозы лютовали по-прежнему, среди дня солнце ощутимо пригревало, и дни стали гораздо длиннее, так же как утра и вечера. Построения в связи с этим стали производиться раньше — рабочий день удлинился.

* * *

Мы прожили жизнь со дня на день —
Была она временной, жалкой.
Ждали мы в будни и в праздники
Тихого дня, как подарка.

Думали — все успокоится.
Жизнь будет прочной, как прежде,
Как при отцах. Не исполнилась
Эта скупая надежда.

Вчерашняя неустойчивость
Кажется нам, по сравнению
С бедствиями сегодняшними,
Чудом умиротворенья.

Прошлого века поэты
Жаждали в бурях блаженства —
Мы, не выдавшие света
Мученики и отщепенцы,

Не помышляя о мире
И в будущее не веря,
Дикими и пустыми
Глазами меряем время.

* * *

В избе совершенно тихо.
Ходики тикают в такт сердцу.
Страх, суматоха, шумиха
Рассеялись. Скоро смеркнется.

Чувство покоя и времени
Приходит, как силы к больному.
Правда ли, что облегчение
И мир приближаются к дому?

Мирные звуки и мысли
Пугают больше, чем выстрелы.
Вовремя ли они вышли
На свет, и всё ли мы выстрадали?

Нет, конечно это не всё.
Случайны и преждевременны
Это затишье и этот расчет
На лучшее. Оцепенение

И сон, в который никнет мозг,
Новые страхи нарушат скоро.
Грозное завтра маячит сквозь
Сумерки смертным приговором.

* * *

Дети играют, как в мирное время.
Это на редкость завидно.
Пляшут без усталости юркие тени
В свете неярком и дымном.

Рядом творятся жестокие судьбы.
Близко. Иной раз и слышно —
Падают тяжело фугасные бомбы
Смертью на жалкие крыши.

Взрослые тоже не всё понимают —
Прячутся от событий.
Только неведение помогает
Глуше, беспечнее жить им.

Детская радость, иным неприятная, —
Все же таит утешенье.
Так же как небо, где свет необъятный,
В нашем не меркнет мученьи.

* * *

Пребыванье в этом тихом месте,
Как стояние в страстной четверг —
Служба длится непрерывным шествием
Вьюг, морозов, страхов и надежд.

Мы живем почти нормальной жизнью.
Все в урочный час — обед и сон.
И обман пленяет души быстро,
Покоряет, как церковный звон.

Как нарочно, в замершей деревне
Все стоит, как год тому назад.
И войны в обряде жизни прежнем
И в глазах сограждан не видать.

Это тем чудней и непостижней,
Что в бою, ужасней всех былых,
Непрестанно убывают жизни,
Где-то близко, под покровом тьмы.

* * *

Эти люди — хоть мне и чужие они —
Зимовал я в плену с ними вместе.
И теперь расставаться в начале весны
Сиротливо и грустно до смерти.

Люди очень простые — земля от земли.
Говорить с ними не о чем. Нужды
Все их — хлеб да табак. Даже близких своих
Вспоминают они равнодушно.

Я не знаю, чисты ли их души. Но время,
Нас повергшее в бездну безумья и зла,
Вызывает в них лучшие чувства, и ценят
Они ближних по добрым делам и словам.

Перед нашим прощанием мы плачем как дети,
Обещаем друг друга вовек не забыть.
Верим искренно в эти слепые заветы,
Как в могучую силу всеобщей судьбы,

Что вела и ведет — то разводит, то сводит.
Пронесла через зиму, приводит к весне...
Мы бессильно глядим, как она хороводит,
Разделяет и властвует нами вполне.

Жизнь протекала по-прежнему монотонно и тихо. Почти никаких признаков войны. Раз в два в нашей деревне на день или на два останавливались отходившие с фронта на отдых пехотные подразделения. В эти дни в деревне становилось ужасно тесно. В нашей избе вповалку спало человек пятнадцать — повернуться бывало негде. Для меня же это становилось особенно утомительно, потому что как к человеку, говорящему по-немецки, ко мне приставали буквально все, кто с делом, а кто и просто с разговорами на избитые уже темы: что я думаю о результатах войны, об отношении русских к немцам, о евреях...

К нашему начальству явился староста соседнего села Пятницкого сказать, что от них временно люди не будут ходить на дорогу, потому что у них стала немецкая часть, для которой они и будут чистить проселочную дорогу от села к шоссе.

— Спросите у него, долго ли будут стоять в Пятницком немцы? — сказал Гохбергер.

— Откуда староста может это знать? — искреннейшим образом удивился я.

— Спросите же, — настаивал Гохбергер.

Я перевел вопрос.

— До четверга, — совершенно уверенно ответил староста.

— Вот видите, — сказал мне Гохбергер не без ехидства.

Да, подумал я, даже и в этом немецкое командование умней и тактичней нашего. Наши бы из одной фанаберии ни за что не сообщили срока своей стоянки, да они бы, вероятно, его и сами не знали. Военная тайна! А немцы из такой чепухи или вовсе не делают тайны, или же не лишают ни своих, ни наших людей

необходимых для душевного равновесия иллюзий. «До четверга», — если не до среды или не до пятницы...

После развода можно было сбегать на некоторое время в избу и позавтракать вместе с хозяевами. На завтрак бывал хлеб, с большой примесью свеклы, и горячая картошка, заправленная молоком. После завтрака я отправлялся к нашему русскому лагерному начальству, которое тоже за это время успевало поесть чего-нибудь, и мы, сидя в их тесном и довольно холодном помещении, сосредоточенно курили промокшую когда-то и совершенно выдохшуюся махорку, которой, однако, у коменданта в запасе было довольно много.

Еще с декабря месяца я не раз напоминал нашему фельдфебелю о необходимости отправки в Карачевский госпиталь для военнопленных наших помороженных и обратившихся в инвалидов людей, продолжавших обитать в амбаре посреди деревни. Он заверял меня, что при первой же возможности это будет сделано. Я уже по совести совершенно разуверился в том, что это когда-нибудь осуществится. И наконец вот только теперь я получаю распоряжение вызвать подводы для их перевозки.

Как я этому все же обрадовался. Когда больные, завернутые во что только можно, укрытые соломой и сеном, в сопровождении немца и нашего санитаря тронулись в путь, на моем лице, видимо, отразилось испытанное мною в тот момент чувство удовлетворения. Это заметил один из солдат.

— Напрасно радуешься, переводчик. В Карачевском госпитале заправляют украинцы. Они вышвыривают русских из окон на улицу, довольно, говорят, они над нами поиздевались — кацапы...

— Господи! Вот ужас.

Радость мою в один момент как водой смыло.

В один мартовский вечер, в том самом амбаре, где еще недавно лежали эти обмороженные военнопленные, был устроен настоящий бал. Немцам было разрешено танцевать с русскими женщинами. До того это, видимо, запрещалось, потому что они никогда не принимали участия в плясках, происходивших где-нибудь на улице всякий вечер, когда это позволяла погода. Плясали одни девушки под аккомпанемент частушечного пения или под балалайку. Вокруг стояли молодые бабы и парни, но участия в пляске не принимали.

В этот вечер плясуньи были приглашены в амбар. Пришли молодые немцы, некоторые хлебнув предварительно шнапсу, а ста-

ричок «социал-демократ» соорудил из каких-то банок и склянок весьма причудливый музыкальный инструмент на высокой палке, который, когда его встряхивали, издавал звуки целого джаза. Ему подпевали две губные гармоники.

На торжество сбежалась вся деревня, присутствовало немецкое начальство — фельдфебель и унтеры, стоявшие в сторонке. Некоторые из наших «украинцев» тоже пустились в пляс. Танцевали на сей раз «западные» танцы: польки, фокстроты, вальсы.

Один молодой немец, обычно весьма молчаливый и вообще ни с какой стороны себя не проявлявший, сегодня был особенно оживлен и возбужден, вероятно в результате большой порции спиртного. С покрасневшимся лицом, без пилотки, с черной как у цыгана шевелюрой и с несколько семитским обликом, он лихо отплясывал с какой-то девушкой, подпевая и разводя руками. Увидев меня в толпе зрителей, он крикнул мне громко: «Вот мы какие на самом-то деле... Вы еще нас не знаете. Мы не могли себя показать, а ведь мы вот какие...» Что-то деревенски-наивное и совсем простодушное проскользнуло в этих отрывистых, прорвавшихся сквозь солдатскую личину восклицаниях.

Танцы продолжались часа полтора-два. Расходились неохотно, после того как распоряжение идти спать было повторено уфодне не один раз.

Уходя со своим причудливым тимпаном, старичок «социал-демократ», оказавшись рядом с фельдфебелем, сказал ему громко и необычайно твердо: «Ну что, фельдфебель, сегодня мы, кажется, честно заработали наш хлеб?» Тот ничего не ответил и только недовольно от него отмахнулся.

А зима все еще лютовала. В самом конце марта было больше 20° мороза. Фельдфебель, вышедший было на развод по календарю — в одном кителе, желая, видимо, задать соответствующий весенний тон, так продрог, что, идя после развода в шрайбштубе, только повторил окостеневшим от холода языком: «Nee, nee, nee»¹.

Одна из причин перехода фельдфебеля из шрайбштубе в помещение около лагеря выяснилась довольно случайно. Может быть, впрочем, это было и простым совпадением, то есть скорее результатом его уединения, а не причиной.

Явившись как-то к нему с неким делом, я застал у него русскую женщину недеревенского вида, немолодую, державшуюся

¹ Нет, нет, нет.

свободно и немного говорившую по-немецки. Так как понять друг друга они все-таки до конца не могли, фельдфебель попросил меня сказать ей, когда именно она должна прийти сюда еще раз. Оказалось, что это беженка откуда-то из-под Орла, живет в соседней деревне с дочкой 9-и или 10-и лет. Как произошло ее знакомство с фельдфебелем, осталось для меня неизвестно.

Она меня расспрашивала с участием, а дня через два пришла со своей девочкой уже прямо ко мне и с подарком — с пучком табачных стеблей. Курить тогда становилось уже совершенно нечего. Она тоже курила и запаслась табаком где-то еще в другом, более злом месте. В нашем же соседстве табак в прошлом (предвоенном) году никто не сеял.

Производила она впечатление не совсем нормального человека. Чересчур разговорчива, алогична, перескакивает с предмета на предмет... Впрочем, для женщины, думал я, быть может, это и в пределах нормы. Что-то в ней было немножко семитское, на что обратила сразу же внимание и моя хозяйка. Для них, правда, все были евреи, кто не из их деревни, а мне просто уже со страху они тоже мерещились повсюду.

Фельдфебель без особенных обиняков сказал мне, что переселился на отдельную квартиру отчасти для того, чтобы иметь возможность бывать с ней вдвоем. «Ниг — старый, — сказал он, проводя рукой вдоль верхней половины своего тела, — да — молодой...» Она же, вероятно, искала у него некоторой защиты и поддержки... Продолжалось это недолго. Только стаял снег и немного подсохли дороги, как они с дочерью подались куда-то дальше.

Еще задолго до этого, но когда установилась солнечная погода, усилилась авиационная активность. Как и в начале войны, в небе загремели эскадрильи немецких бомбардировщиков и штурмовиков. Как-то утром при виде такой эскадрильи из 25—30 самолетов мой приятель и шахматный партнер — младший немецкий повар, задрав кверху голову, следил за ней некоторое время, потом, замахав над головой кулаком, закричал: «На, ha, ha — es geht wieder los, ha, ha, ha, ha, ha...»¹ В голосе его послышалась истерическая нотка, а когда он повернул ко мне лицо, в глазах у него стояли слезы...

Не знаю, как другие, но наши немцы явно уже были сыты этой войной по горло, хотя собственно передовой никто из них еще и не нюхал. Особенно меня поразило, когда один из немецких конюхов — грубый и примитивный человек, огромного роста, бога-

¹ Ха, ха, ха, опять начинается...

тырского телосложения и несколько звероподобного вида, который мне как-то рассказывал, что они у себя в городке давно бы уже перебили всех евреев, если бы им это разрешило начальство, — тоже как-то вдруг с дрожью в голосе заявил, что он бы был готов жить в этой деревне до самого окончания войны...

Другой раз он мне сказал, что с женщинами, в избе которых он стоял, хотя они и воняют здорово, жить все-таки можно.

На моих глазах эти простые немцы, поступаясь столь высоко ценимой ими культурой быта и домашнего обихода, которую они в здешних условиях невольно с течением времени утрачивали, — немцы эти привыкали к возможностям жизни в глухой русской деревеньке, сживались с ее обитателями настолько, что и рады были бы остаться среди них, по крайней мере до конца войны...

Первое время они и слышать не желали о самогоне, отплевывались от махорочного дыма, возмущались сигарками из газетной бумаги («Mein Gott, — in Zeitungspapier — das ist ja Gift»¹), а постепенно привыкли даже и к этому. Не было сигарет — куривали самосад, за отсутствием шнапса — прикладывались к самогонке с медом.

Надо сказать, что не только эти рейнские немцы прижились в нашей деревне, но и сами ее жители тоже очень попривыкали к немцам.

После того, как однажды какие-то чужие, неизвестные нашим немцы выменяли у кого-то из здешних мужичков сотню яиц на плохонькую русскую же лошаденку (наш фельдфебель рвал и метал, когда узнал об этом факте), другие мужики пустились с немецкими конюхами в подобные же коммерческие операции. Сколько я им ни толковал, чтобы они не связывались и чтобы поняли в конце концов, что всю скотину — и лошадей, и коров — немцы в любой момент могут реквизируют — ничто не помогало. То и дело являлись на немецкую конюшню хитроумные мужички с предложениями обмена лошадьми с какой-нибудь выгодной для конюхов приплатой. Не поняли, кажется, даже и тогда, когда какую-то выменянную таким образом с немецкой конюшни лошадь по распоряжению фельдфебеля немцы водворили обратно. И плакали два гуся, полученные немецким конюхом в приплату при этом «обмене»...

Немцы, к которым привыкли, перестали быть страшны. С ними позволяли себе шутки, иногда довольно рискованные. Предупреждал я опять-таки наших, что с немцами надо поосторожней:

¹ Боже мой, в газете — это же отравка.

что-нибудь окажется ему не по нраву, возьмет да и пристрелит, и ничего ведь ему за это не будет — война... Помогали мои уговоры мало.

— Пан — ты баран... — прямо в лицо одному из немцев кричит парень лет восемнадцати.

— Что он такое сказал, переводчик?

— Он предлагает вам поиграть с ним в карты...

Ничего другого мне не пришло в этот момент в голову.

— Вот как? Ой, что-то мне не верится...

И немец, грозя пальцем пареньку, удаляется прочь.

— Ну что ты за дурак, что за осел — не терпится заработать от немца по шее? — говорю я парню, который, краснея, тоже убегается восвояси...

Весенняя погода располагала к благодушию, отчего мысли о войне, о недалеком фронте, а для многих немцев также и о том, что они из этой тыловой части могут быть переведены в боевые соединения, становились почти невыносимы и особенно страшны.

Я еще тогда ни от немцев, ни от своих ничего толком не слышал о партизанах. Наши, может быть, хотя вообще-то и были беспредельно болтливы, побаивались делиться со мной подобными вещами, поскольку я был постоянно при немцах. Немцы тоже имели основания не разглашать среди нас соответствующие сведения, если они ими располагали, дабы не подзадоривать нас и не подымать наш дух. Что-то во всяком случае было, потому что однажды меня совершенно неожиданно спросили — при этом все наше начальство было в сборе, — как я думаю, имеется ли у кого-либо в деревне оружие. Я, разумеется, тут же отверг подобное предположение.

— А вот увидим, — зловеще произнес Гохбергер. — Сейчас будет произведен обыск...

«С чего бы это, господи? — подумал я. — Или случилось что-нибудь, о чем я не знаю?» Меня несколько успокоил фельдфебель Фридрици, сказавший, что, по правде говоря, он тоже не думает, чтобы в деревне имелось припрятанное оружие... Мне стало ясно, по крайней мере, что это не местная инициатива.

Кто-то из унтер-офицеров высказал предположение, что у крестьян, быть может, имеется охотничье оружие. Я ответил, что в самом начале войны было отдано распоряжение о повсеместной сдаче охотничьего огнестрельного оружия властям.

К моему большому удовольствию обыск ничего не дал. Крестья-

не недоумевали — чего это у них ищут. Думали — припрятанное добро или продовольствие, но такого ничего не забирали. Лазили по чердакам да подпольям. Когда я объяснил, в чем дело — только сердито отмахивались: «Ошалели, что ли? Какое у нас может быть оружие, не было его отродясь...»

Немцы были довольны, что ничего не найдено, и заметно поуспокоились.

Улучшение погоды позволило предпринимать и некоторые прогулки. Как-то с фельдфебелем и с кем-то еще из солдат съездили мы в Юрасово, в гости к знакомым учителям — отдали визит. Школа была расположена в небольшом, но довольно хорошо сохранившемся помещицком доме. Семейство ютилось в двух комнатенках, отапливавшихся железкой. Мебели у них почти не было. Двое маленьких ребят — девочка лет четырех и мальчуган лет двух — бегали по квартире почти голенькие. Питались они хлебом да картошкой. Продуктами их обеспечивал староста — человек серьезный и ответственный, кажется, тоже бывший председатель колхоза. Освещались коптилкой с немецким бензином, нейтрализованным солью.

В этой обстановке хозяева мне показались более симпатичными, чем когда они сидели в гостях у наших немцев. Все было проще, менее демонстративно, более душевно. Разговор касался самых неожиданных тем. Фельдфебель почему-то принялся допрашивать их — верят ли они, что человек действительно произошел от обезьяны.

— Это дело ваше, — пояснил он. — Можете думать, что вы произошли от обезьяны, если вам это приятно. Что касается меня, то я о себе так не думаю...

Это должно было звучать как острова. Из вежливости все мы старались, чтобы так оно и было воспринято.

При всей бездомности и бивуачности обстановки темы наших разговоров, облик этих людей и их детей как-то отвлекли наши души от войны, от действительности, и в свою деревню мы возвращались как в казарму. Ехали на двух розвальнях — Panjewagen, как полу-попольски, полу-по-немецки называли их немцы. Жалко мне было расставаться с новыми друзьями. И когда вскоре после этого Айклер и еще два молодых солдата — всё мои приятели: новый писарь шрайбштубе, взамен откомандированного Рамляу, отличавшийся смелыми, а иногда и довольно резкими антифашистскими суждениями, и еще один паренёк постарше, и хотя попроще первого, но

однажды признавшийся мне, что он в прошлом был членом компартии, — когда они пригласили меня сопровождать их в Юрасово, в гости к учителям, я с радостью согласился.

Отпуская нас, Гохбергер строго сказал, что мы обязаны вернуться через три часа. Выбравшись из деревни, все трое почувствовали себя совершенно свободно. Дурачились, острили — вели себя так, как если бы их отпустили не на три часа, а вовсе уволили с военной службы. Тут я узнал, между прочим, что прежний писарь — счастливчик Рамляу — переведен в прифронтовую эстрадную труппу и таким образом вовсе избавлен от солдатчины. Новый же писарь — Вильке — нередко подолгу и вполголоса беседовал с Айклером. Из того, что однажды я краем уха слышал, можно было заключить, что он глубоко религиозный и резко враждебный нацизму человек, собственно еще юноша.

В гостях мои немцы продолжали вести себя столь же непринужденно, как и по дороге. Поговорив немного с хозяевами, чьи знания немецкого языка допускали и некоторое прямое общение, они потом больше говорили между собой, чем с нами, отчасти, может быть, из деликатности, желая предоставить мне возможность пообщаться с моими соотечественниками без посторонних.

Рассчитывать на такую возможность заранее я, конечно, никак не мог, но у меня в кармане оказалась все же записная книжка со стихами, которую я тут и извлек под каким-то предлогом.

Того эффекта, который произвело мое чтение, я тоже не мог ожидать — стихи эти мне представлялись беглыми черновыми записями, над которыми у меня не было возможности не только работать, но и хоть сколько-нибудь сосредоточиться внутренне. И вот Наталья Александровна вдруг сразу ударилась в слезы. Это было неожиданностью не только для меня, но и для моих немцев, которые сразу же принялись спрашивать — что это я такое читаю. Узнав, что это мои теперешние стихи, они, скорее, чем я, признали подобный их эффект нормальным и дали нам возможность продолжать наше занятие.

Игорь Порфирьевич — муж Наталии Александровны — слушал несравненно более спокойно, хотя и очень внимательно. Я почувствовал сразу, что мне без этих людей будет теперь очень трудно.

Иметь под боком таких друзей — это в тех условиях совершенно неожиданное, невероятное счастье, в которое и поверить-то было трудно. Хотя мне совершенно не хотелось от них уходить, я стал спрашивать у моих немцев, который час, подозревая, что отпущенное нам начальством время давно истекло. Но они только отмахивались и уверяли меня, что все это совершенная ерунда

и что мы можем вернуться и несколько позже. После двух или трех безрезультатных напоминаний я решил, что ведь, в конце концов, не могу же я командовать немцами и поэтому не должен нести ответственности за опоздание.

Спихватились мы, когда стало уже совсем темно, и заторопились прощаться. Игорь Порфирьевич вызвался нас немного проводить. Добрались обратно без приключений. Мне было сказано, что я могу идти к себе, а начальству доложатся они сами. Я этому было очень обрадовался, но на следующее утро, на разводе, Гохбергер строго крикнул мне, что за вчерашнее опоздание он считает виновным меня как самого старшего по возрасту и больше никогда нас туда непустит. Я съел эту пилюлю без возражений.

* * *

Чужая, простая женщина плакала,
Слушая горькие эти слова.
Песня солдатская в воздухе плавала,
Громко мои отвергая права.

Все же победа за мной, чуть приметная:
Слезы — невинно-слепая дань
Искренним чувствам. Не слава ли это
Робко идет по влажным следам?

Искренность — первое условие
Жизни, в кругу неисчетных угроз.
Каждый миг и в каждом слове
Горечь и жар безудержных слез.

* * *

Вы просите свободных песен,
А я войной с ума сведен.
И мир, который людям тесен,
Прикрыла смерть своим крылом.

Я ничего вокруг не вижу.
Искусство не ласкает дух,
Но ранит глубже, мучит строже,
Чем тех, чей слух к искусству глух.

Меня ничто не избавляет
От страха перед каждым днем.
И только прошлое пылает
Во мне немеркнущим огнем.

Мелькают дни, пейзажи, лица,
Оставленные позади,
Встающие как небылицы
Смущенных мыслей на пути.

Происходящей перемены
Не ясен нам еще исход,
И только тот поэт блаженный,
Чей дух стихия не убьет.

* * *

Приходят же нелепые желанья!
Обрывки музыки любимой слышу я.
В консерватории (стоит ли это зданье?)
Очнуться б, вынырнув из забвения.

Мы странные, чудашливые люди!
В районе грозных дел, бредя наперерез
Опасностям смертельным и под спудом
Душевной пустоты, ждем музыки с небес.

Искусство, будто зверь, бежит, заслышав
Лихую какофонию войны.
А в памяти цветут давнишние афиши,
И еле слышен звук неведомой струны.

* * *

Я чувствую себя, как изгнанный Овидий,
Среди людей простых, беззлобных, но чужих.
Я среди них молчу, рискуя их обидеть —
С надеждою моей шепчусь я за двоих.

С надеждой... Но она глуха, непостоянна.
И вот легла болезнь на жесткую постель.
Дружней и веселей мне с нею, как ни странно.
Она приводит сны, как редкостных гостей.

И вижу я Москву и дома вижу близких,
И с матерью моей живу и говорю...
Больные эти сны мне дороги как письма.
Я боль мою, как жизнь, впиваю и терплю.

Россия

Россия снова распростерта
В крови, перед грядущим днем.
Лежит безлюдных, многоверстных
Дорог ухабистых рядом.

Лежит заиндевевым трупом,
В шинели серой, как земля,
Безликим, безыменным, жухлым,
Вперившим в небо мертвый взгляд.

Лежит разбитою машиной,
С дороги сброшенной в кювет.
Тяжелой, темной, неподвижной,
В снегу похоронившей след.

На эту мертвую Россию
Глядим, во веки ей верны,
Мы — сироты ее. Спаси нас,
О Боже, от страстной войны!

Дай мертвой родине воскреснуть
Для обездоленных детей.
Смыть жизнью трудной, бессловесной
Позор и ложь недавних дней.

Первые проблески весны принесли нам неожиданные тревожения, связанные с появлением в нашем лагере трех молодых людей — представителей, как они отрекомендовались, «Русской освободительной армии». Это было то, что потом для краткости стали называть РОА или «Власовской армией», но тогда мы столкнулись со всем этим впервые.

Двое из них были молодые русские ребята, видимо лейтенантки, в какой-то чудной — не русской и не немецкой — форме. Такой формы потом я больше никогда не видел. На власовцах впоследствии была немецкая в общем форма с некоторыми для меня мало заметными отличиями.

С ними был еще один небольшой человек не то еврейского, не то какого-то кавказского вида, чернявый, смуглый, с большим носом и торчащими ушами, говоривший по-немецки на каком-то простонародном диалекте, а по-русски тоже с некоторым акцентом. Он-то и оказался главным действующим лицом во всей этой истории.

Войдя к фельдфебелю, он предъявил ему какую-то довольно плохонькую и сильно измятую бумажку. Фридрици, прочтя ее, что-то пробурчал себе под нос, а громко заявил, что он сейчас ничего сделать не может, так как почти все пленные на работе. Человек заявил ему, что они будут ждать возвращения людей с работы. Фельдфебель обещал ему произвести построение пленных после

раздачи обеда и ворчливо добавил, что он тоже тут не должен оставаться без людей...

У меня сильно забилося сердце... Неужели погонят нас теперь в эту армию? Разговоры были ведь только в отношении украинцев. А сейчас уже фельдфебель боится, что останется без людей? Что же делать, как этого избежать?

В ожидании возвращения пленных с дороги чернявый человек ходил по деревне и общался весьма панибратски с немцами, которые, хотя принимали его, видимо, не очень всерьез, именовали его «пан», но относились к нему вполне добродушно.

Когда пленные были перед ним выстроены — все до одного, в том числе и я с «украинцами», он обратился к нам с речью: «Создается русская освободительная армия. Вы не будете больше сидеть в лагерях, не будете голодать и холодать. Вам дадут обмундирование, жить будете в благоустроенных казармах...»

О задачах этой «армии» не было сказано ничего. После этого он спросил, есть ли бывшие командиры, и заставил всех их выйти из строя и стать в первую очередь в сторонку. Потом он прошелся вдоль строя и вывел из него всех более молодых и здоровых ребят. Меня он только спросил: «Ты тут переводчиком?» — и прошел мимо.

«Слава тебе господи», — с некоторым облегчением подумал я.

Фельдфебель молчал, но смотрел хмуро на всю эту операцию. Отобранных оказалось с полсотни, если не больше. После этого чернявый обратился к фельдфебелю и заявил ему, что он забирает отобранных им людей. Фельдфебель поднял истошный крик:

— Что я тут кукла, при этом лагере? Как это вы так распоряжаетесь — полновластным хозяином? Мое мнение тоже что-нибудь да значит...

— Herr Feldwebel, wir wollen doch dieser Krieg gewinnen?¹ (чернявый произнес *gewine*, вместо *gewinnen*).

— Na, ja, natürlich², — отозвался фельдфебель более спокойным и примиренным тоном...

Комендант и Шура Иванов тут же заявили о своем отказе идти во Власовскую армию. Фельдфебель сказал на это чернявому, что он не имеет права забирать людей насильно. Чернявый ответил, указывая на Шуру, что если этот не пойдет, то он обязан сдать его в какое-то подразделение СС.

¹Господин фельдфебель, мы ведь хотим выиграть эту войну?

²Ну, да, конечно.

— Mit seinem Aussehen da wird er kaputgeschlagen...¹ — на что фельдфебель грустно, но утвердительно качнул головой.

Я бросился к Шуре и стал его умолять не отказываться. Передал ему только что мною услышанное заявление чернявого человечка.

— Шура, голубчик, заклинаю вас всем святым, ради бога, ради бога, не отказывайтесь сейчас, не принципиальничайте. Все это еще двадцать раз может перевернуться и, во всяком случае, вы в спокойной обстановке сообразите, как от этого лучше избавиться...

После некоторых колебаний Шура выразил согласие, о чем я и поспешил доложить чернявому, подведя к нему Шуру.

— Ну вот и хорошо, правильно, — сказал он и благодушно добавил, — со мной вместе жить будешь...

Всех отобранных тотчас же от нас увели, и никого из них я больше никогда не видел. Это был мой последний разговор с Шурой, о котором я вспоминал часто и всегда с беспокойством.

Коменданта нашего, к моему удивлению, оставили в покое. Он сохранял все время невозмутимое равнодушие, и я не мог не выразить ему моего восхищения твердостью его поведения. Он и тут равнодушно заметил: «А что особенного? Ничего не будет...»

Понимал он или нет, с каким огнем играет? Кто ж его ведает...

Весна принесла немало и других хлопот. Деятельность нашей «комендатуры» оживилась. То и дело из соседних деревень являлись люди с просьбами о выдаче им пропусков в более или менее отдаленные от нас места. Более всего люди стремились в Орел, до которого было километров 60, — за солью. Циркулировали маловероятные слухи о том, что в Орле у вокзала лежит целая гора соли, брошенной нашими при отступлении. Слухи эти подогревались ужасным соляным голодом, царившим повсюду в наших местах. В Карачеве, расположенном несколько ближе, соли, по видимому, тоже не было.

Как-то от старосты другой половины деревни прибежал посыльный с сообщением, что из Шаблыкина (бывшего районного центра для той половины деревни) прибыла русская полиция для реквизиции одной коровы по распоряжению шаблыкинской немецкой комендатуры. Фельдфебель сказал, что ему известно о подобном мероприятии, что реквизиции скота на мясо возможны и в дальнейшем, но для первого случая он послал меня на место,

¹С его видом там его забьют..

с тем чтобы проследить, как все это произойдет. У старосты я застал двух людей, одетых по-городскому, в очень хороших зимних пальто с каракулевыми воротниками и в меховых шапках. Физиономии у них, однако, были совершенно бандитские. Меня как переводчика местного коменданта они встретили и выслушали вежливо. Я сказал, что комендант просил меня присутствовать при изъятии коровы и в случае каких-нибудь неполадок доложить ему. У старосты я узнал, чья именно корова и по каким соображениям была предназначена для реквизиции. Прослышав о предстоящей операции, в избу стали набиваться бабы, кричавшие и голосившие от страха, что уведут именно их корову.

Полиции заволновались. «Господин староста, господин староста...» — затараторили они наперебой, торопя его заканчивать дело. Мы направились во двор семейства, лишенного детей и потому назначенного старостой на первую очередь. Хозяева, конечно, весьма взволновались и запротестовали, — требовали, чтобы я с ними шел к фельдфебелю просить у него защиты. Я им рассказал обо всем, что мне было известно, — немцы коров будут брать и впредь, по одной корове с деревни, пока может и всех не заберут, а порядок, мол, такой, что сначала должны сдать бездетные — им легче.

Покуда происходили эти объяснения, полицейские вывели корову, повалили ее на сани и, привязав кое-как, быстро уехали. Слезы и крики утихли далеко не сразу. Резоны, что-де война, что над нами немцы, что и так могли бы уже всех коров позабирать, как-то ни на кого не производили впечатления: «Мало ли что война и немцы, а как же теперь без коровы-то...»

Перед моими глазами встали сожженные деревни в районе Спас-Деменска, среди которых я бродил в окружении; разрушения Рославля, так терзавшие и ранившие мои глаза на протяжении полутора месяцев. Здешние люди ничего подобного не видали, казалось, даже не верили ни во что подобное. Тут же я вспомнил один очень чудной и показательный в этом же отношении разговор с моим хозяином — человеком бывалым, с кругозором более широким, чем у многих его односельчан. Я ему как-то заметил, что с наступлением лета фронт, вероятно, опять придет в движение и наша благополучная жизнь здесь может нарушиться. Он отнесся к моим предположениям весьма недоверчиво: «А у нас никогда не бывало тут фронта... В гражданку, когда Деникин подходил, артиллерия за Пятницким стояла, а у нас никого не было. Все равно, и в эту войну проехали по саше на Карачев немцы на танках — более мы этих танков здесь и не видели... У нас фронта не будет», —

уверенно заключил он. И пытаться переубеждать его было бы совершенно бесполезно. Так же как и вот этим людям невозможно было объяснить, что лишиться в любой момент можно было гораздо большего, чем корова...

Однажды утром над нашей дорогой пролетело несколько советских штурмовиков. Обстреляли немецкие машины, сбросили две или три небольших бомбы. Жертв, кажется, не было. Я об этом узнал от наших пленных, видевших все своими глазами. Это был первый случай такого открытого и активного проявления действий советской авиации на наших глазах. Свидетельствовал ли он о каких-либо изменениях наших военных возможностей? Мы об этом, во всяком случае, вспоминали и разговаривали.

К середине апреля подсохло и стало совсем тепло. В небе зазвенели жаворонки. Пора было начинать пахоту. Яхонтовские мужики в обеих половинах деревни в поле делили землю... Мужчины, как я уже говорил, почти поголовно были дома. Отсутствовали два или три человека, обязанные явкой без повесток по объявлению войны.

Одна такая солдатка пришла к фельдфебелю жаловаться, что староста из боязни наказания за то, что он предоставляет землю жене бойца советской армии, отказал ей в наделе. Я тоже почувствовал себя в затруднительном положении: как изложить фельдфебелю это дело? Я стал говорить что-то о том, что этой одинокой женщине с детьми староста не хочет выделить участка. Мужа у нее нет, постоять за нее некому.

— Где ее муж?

— Она не знает...

— Говорите мне правду. Он в Красной армии?

— Вероятно, да...

— Почему вы не решаетесь мне об этом сказать? Ведь он исполняет свой долг, он защищает родину... Пойдите к старосте и скажите ему, что он не должен бояться выделить этой женщине ее участок...

В этом было, вероятно, что-то и от позы. Великодушие моего Фридрици, быть может, было немного наигранным. Но уже одно то, что он способен был играть именно на этих струнах — струнах великодушия к вражескому солдату, потому что в фельдфебеле было что-то и от нациста, враждебного всему советскому и презирающего все не немецкое, вызвало во мне чувство глубочайшего удивления и признательности.

Несмотря на весь его фашизм, думал я, несмотря на такой, в сущности, ограниченный кругозор...

Если бы я тогда мог знать обо всех ужасах, какие были проделаны уже тогда, но преимущественно в последующие годы от имени Германии, если бы он знал обо всех этих ужасах — у меня было бы еще больше оснований для удивления и восхищения подобным великодушием.

Земля очень быстро подсохла даже в оврагах. Затарахтели телеги, начиналась пахота на поделенной земле. Меня, по совести говоря, очень беспокоило, как все это будет. Лошадей на всю деревню не многим больше десятка, а хомутов и того меньше — всего штук восемь. Возникшие было трения в отношении поочередного использования тягловой силы и инвентаря были, однако, без особого труда урегулированы. И каково же было мое удивление, когда оказалось, что этими ничтожными средствами было запахано земли больше, чем нормальным порядком подымал и засеивал колхоз! Для меня это уже тогда прозвучало страшным приговором этому порядку, не получившему «мирской» поддержки.

Ночи стали короткими, вечера длинными и теплыми. Нас, находившихся вне лагеря, вечерами отпускали гулять по деревне и даже за ее пределами. Число «вольноопределяющихся» резко увеличилось, так как в лагере был зарегистрирован случай сыпного тифа и объявлен карантин. Все те, в ком немцам была нужда: лагерное «начальство», конюхи, всякого рода ремесленники — были выведены из лагеря и расселены по избам.

И подумать только, как быстро вылетели из забубенных ловушек и плен, и сама война, появился самогон, личные связи, дела, ухажерство — кому что нравилось...

Разговорившись как-то с одним из наших военнопленных — человеком очень тихим и каким-то значительно более потерян-ным, чем все мы, я узнал, что он инженер с Урала, по фамилии Федоров, в плен попал в начале 1942 года. Он был предельно грязен, всегда с заросшим лицом, на котором, из-под всклокоченных волос, глядели совсем светлые, бледно-серые глаза, с по-детски болезненно остановившимся взглядом. Заинтересовавшись им, я заметил, что его необычайно презирают и шпыняют товарищи без каких бы то ни было ощутимых причин.

— За что вы его не любите? — попытывался я.

— А за что его, жидовина, товарищ переводчик, любить?..

— Да какой же он вам жидовин, побойтесь вы бога, чисто русский

человек. Только что с образованием. Вы бы его лучше пожалели за это, ведь ему труднее, чем многим другим в нашем положении...

Мои уговоры действовали слабо. Я решил помочь ему более радикально. Поговорив о нем с начальством, получил разрешение определить его в помощники к слесарю, занимавшемуся переделкой серебряных полтинников на кольца и прочие сувениры для немцев. Пусть, мол, топит печку в сарае для слесаря. Слесарь охотно согласился взять его к себе, но через какую-нибудь неделю я заметил, что он его шпыняет совершенно так же, как и все прочие.

— За что, чем он вам не угодает?

— Да ну его, Андреич. На него поглядеть только, и сразу зло берет. Не наш это человек...

Тогда я взялся за самого Федорова.

— Пожалуйста, я вас очень прошу, приведите себя немного в порядок. Почистите шинель, побрейтесь... Вы увидите, вам самому станет от этого лучше и другие перестанут к вам так враждебно и презрительно относиться.

— Меня здесь за еврея считают...

— Но ведь это же глупости. Почему это вас так уничтожает? Меня вот тоже нет-нет да за еврея принимают, а я плюю на это, да и все. Пусть себе тешатся, кому нравится... Очень вас прошу — не падайте духом, не опускайтесь, у меня душа болит на вас глядеть...

Я думал, что помогаю ему подняться на ноги, но мои приставания, видимо, добились его окончательно. В тот день меня куда-то послали с поручением, а в это время пришла машина из какого-то недалекого лагеря, находившегося в ведении того же батальона, и забрала двадцать военнопленных. С ними уехал и мой Федоров. Я очень этому огорчился и все допытывался у слесаря — начальство ли его у него забрало или его замели случайно.

— Да никто его не заметал, Андреич. Сам вскарабкался на машину да и уехал. Туда ему и дорога...

Сам уехал... Это означает, что его доконали мои попытки изменить его поведение. Видимо, у него действительно на это не было никаких внутренних сил...

Больше он мне никогда не попадался на глаза. А может даже и попадался, да я его не мог углядеть в общей куче таких же, как он, небритых, заросших волосами и поросших грязью людей...

К 1 Мая (немцы заявили нам, что у них в нацистской Германии 1 мая — большой праздник с демонстрациями под красными знаменами; они были очень удивлены, когда узнали, что и у

нас тоже...) фельдфебель, прогуливавшийся вечерами с палочкой (или, как говорили деревенские, — с костью) по деревне, требовал уборки дворов, побелки изб, если они были обмазаны, и т. п.

Во время таких прогулок во мне проснулась и заговорила моя профессиональная археологическая жилка. На это толкали здешние совершенно мирные пейзажи, наводившие на мирные мысли и чувства. Я стал присматриваться к местности, подбирая камушки и черепочки, внимательно их разглядывая, в обнажениях почвы выискивая культурные слои.

Новый немецкий писарь, раза два сопровождавший меня в этих прогулках и ведший со мной всякие антивоенные и антинацистские разговоры, очень быстро проникся моим археологическим любопытством и стал помогать мне в моих поисках. Что-то он об этом сказал, видимо, и начальству в шрайбштубе, потому что однажды я наскочил на сцену его разноса со стороны Гохбергера. Писарь просил меня зайти за ним, чтобы вместе пойти погулять. Гохбергер, к которому он обратился за разрешением, поинтересовался, видимо, чем мы занимаемся во время прогулок. Когда выяснилось, что археологией, Гохбергер накинулся на него с криком:

— Вы не должны забывать ни на минуту о том, что вы немецкий солдат. Что это за занятие для солдата в военное время. Вы бы лучше в свободные минуты учились обращению с пулеметом.

— Но вы же не возражаете, что Ельницкий занимается археологией? Я ведь только его сопровождаю...

— Ельницкий — другое дело. Это его специальность, и его можно понять. А вы не археолог и никогда им не будете...

Естественно, писарь мой очень злился на Гохбергера за подобные реприманды и, когда мы оставались с ним, наконец, наедине, ругал и проклинал унтер-офицера на все корки.

— Имейте в виду, что это законченный нацист — из числа тех людей, на которых держится вся гитлеровская механика. Я ненавижу этих людей органически...

— Правда ли, — спросил я, — что в Германии людей, вступающих в брак, свидетельствуют с евгенической точки зрения?

— Я не знаю этого, — ответил он. — Я еще не бывал в подобном положении. Не знаю, что будет, если мне придется с этим столкнуться...

Приглядевшись к нему немного, я стал замечать, однако, что в нем, помимо его сознания, шедшего как будто бы в разрез с официальной фашистской идеологией, немало черт именно этой

самой идеологии или того, что ее порождало и воспроизводило. Так он продемонстрировал мне однажды огромный пистолет, который он прятал в вещевом мешке.

— Это мой собственный, не говорите о нем никому, а то у меня его могут отобрать: ни у кого из наших начальников нет пистолета...

— А зачем он вам?

Он затруднился мне ответить на этот вопрос. То ли это была еще чисто мальчишеская любовь к оружию?

Однажды он вдруг совершенно неожиданно сказал мне: «А вы знаете, Ельницкий, что многие у нас принимают вас за еврея?» Я весь похолодел, все мои тайные страхи сразу же вышли наружу, и он, видимо, прочел их тотчас же на моем лице, хотя я и старался сохранить внешнее равнодушие.

— Вы не бойтесь, это не так уж страшно. Вы себя очень хорошо ведете, вами довольны, а поэтому ни на чем определенном не основанные подозрения мало что значат. Главное в таких случаях — поведение.

Я понял, что передо мной в его лице, в сущности, все тот же, но только не осознающий себя таковым, унтер-офицер Гохбергер. Тот думает обо мне, несомненно, то же самое.

Писарю понравилась одна девушка, приходившая из соседней деревни к кому-то из наших жителей в гости, а там она жила как эвакуированная из какого-то города.

— Не правда ли, она ведь настоящая арийка? — спросил он меня очень серьезным и даже каким-то задушевным тоном.

— Ну разумеется, — с таким же твердым, но деланным убеждением ответил я.

Девушка была брюнетка, с выющимися волосами, смуглая и с яркими красками на лице. Я невольно думал о ней при взгляде на нее нечто совершенно другое, такое, что сам себе остерегался отчетливо высказать. Я ведь тоже поддался невольно немецкому психозу и в каждом подозревал еврея или, по крайней мере, примеривался к каждому с точки зрения возможности таких подозрений.

Но в этот момент я подумал о писаре: «До чего же ты, голубчик, пропитан нацизмом, сам того не подозревая! И какая ирония судьбы в том, что тебе образцом арийских кровей представляется нечто им, может быть, совершенно противоположное...»

Выявилась необходимость одной грустной заботы и для нас — русского лагерного начальства: могилы умерших от гангрены, причиненной обморожением, были расположены тут же у сарая,

в котором лежали больные, и вырыты были в мерзлом грунте очень неглубоко. Земля оттаяла, стал подыматься гнилостный дух...

Мы выговорили у фельдфебеля разрешение на устройство братской могилы на высоком пригорке, над деревней. Лагерному фельдшеру было поручено организовать с санитарями эксгумацию и перенос трупов в новую братскую могилу. Их было десятка полтора. Поставили большой крест, на котором хотели было написать имена всех погибших, но на это почему-то последовало запрещение. Тогда тетрадошка с именами была препоручена фельдшеру (он было хотел оставить ее на хранение у меня) как человеку более пожилому и, казалось, с наибольшими надеждами на спокойное преодоление всех ждавших нас впереди опасностей и невзгод.

Я так и не понял, почему именно немцы не позволили нам написать на могиле имена наших погибших товарищей. Какой им в этом мог быть урон? Это было мне столь же непонятно, как и многие предосторожности наших собственных властей. Пресловутое «как бы чего не вышло...»

Но еще более меня огорчило отношение к нашей затее деревенских жителей, на сей раз, впрочем, совершенно понятное в его почти животном эгоизме и безразличии:

— А ты зря, Андреич, место это под могилу выбрал — мы здесь пашем...

— Ну и что же, что пажете, неужели уж обойти нельзя будет, неужели совести хватит?..

— Да ведь пашем мы здесь, не уцелеет она все одно...

Вот и говори им, что хочешь, хоть кол на голове теши... Могилку насыпали высокую, крест поставили добротный. Неужели все зря?

Вскоре фельдфебель объявил, что их батальон переходит куда-то в другое место, а сюда придет ОТ¹ и примет у него лагерь.

— Что такое ОТ? — спросил я.

— ОТ? О, они все могут, но только не спеша, — сказал он весело.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что это те люди в шинелях табачного цвета, с красными с черной свастикой повязками на рукавах, которых я уже видел и раньше еще в Рославле и которых принимал за самых отъявленных и отборных фашистов...

Сообщение это, хотя фельдфебель и заверил меня, что я и «украинцы» отправимся с ними вместе, наполнило мою душу беспокой-

¹ ОТ — «организация Тодт» — военно-строительная организация в фашистской Германии.

ством. Опять перемены, опять новые и, конечно, неожиданные обстоятельства...

Когда же недели полторы после этого фельдфебель снова сказал с несколько растерянным видом, что на днях они уходят, но что взять им с собой никого из нас не удастся — есть-де строгий приказ всех передать ОТ, — я это принял как нечто неизбежное, должное. А как же могло быть иначе?

Незадолго до ухода из Яхонтова дорожно-строительного батальона начальству нашему суждено было пережить там еще одну страшную минуту. По обычаю, как поднялись травы, лошадей стали гонять в ночное. Стадо, правда, было ничтожно — каких-то десять лошадей... Гоняли теперь, как и в обычное время, большие ребятишки в возрасте 12—15 лет. Собираясь где-то в одном месте, они, сидя верхом на лошадях, вскачь прогоняли табун через деревню в поле.

Был уже поздний июньский вечер, довольно сильно стемнело, но я еще торчал в шрайбштубе с каким-то делом. И вдруг мимо избы с громким топотом и ребячьим гиканьем промчались в ночное лошади. Немцы мои слышали это, видимо, в первый раз и ужасно испугались. Им представилось наверно, что это не меньше чем неожиданное нападение партизан на нашу деревню. Гохбергер вскочил с места с лицом белым как полотно. Все были очень сконфужены, когда я объяснил им, что произошло.

— Дикари, — пробурчал раздосадованный Гохбергер...

В этом обычае есть что-то, наверное, от скифских или, вернее, от более поздних кочевнических привычек. Но я не стал ему этого объяснять — вряд ли бы он и понял. А страх, испытанный им, воспринял, конечно, не без ехидства и не без злорадства...

Перед самым приходом ОТ и уходом таких привычных, таких породнившихся с нами солдат фельдфебель вызвал меня и вручил мне мешок с солью — пуда полтора: «У них первое время может не быть соли для вашей кухни, — сказал он. — Я передаю это вам, а вы понемногу ее выдавайте в случае необходимости на кухню...»

Я обещал все исполнить, взвалил мешок на спину и понес в избу. Полтора пуда соли! Целое богатство! Зачем он это сделал? Ведь он мог просто передать соль, предназначенную для лагеря, сменившему его лицу. Или он хотел таким образом облагодетельствовать меня? Почти каждый из отъезжавших давал мне что-нибудь...

Этот день расставания, взбудораживший всю деревню, был также днем встречи и первого знакомства с новыми людьми и новым начальством.

Яхонтово. Труппфюрер Штреллер

В деревню въехали два больших грузовика. На одном сидели немцы, на другом — русские. И те и другие имели довольно серый, утомленный и даже жалкий вид. Если это неудивительно было в отношении русских, то таких немцев мы видели впервые. Они, кроме того, были крикливы, суетливы. Небольшой и незатейливый скарб, наваленный на машины, соответствовал этой непрезентабельной команде. Одна из машин была с прицепом. На нем стоял снятый с колес деревянный крашенный фургончик, который был поставлен на землю около шрайбштубе. Разгрузкой занимались преимущественно русские, которых было человек 25—30. Среди них выделялся небольшой коренастый темноволосый человек, к которому обращались немцы, и он им отвечал не всегда понятными для меня диалектными фразами. Это явно был их переводчик.

От всего этого переполоха и перед новыми неизвестными людьми, поведение которых не внушало мне особенного доверия, у меня разболелась голова и совершенно упало настроение. Тоска и страх снова наполнили все мое существо. Эта перемена, как впрочем и всякая другая, не предвещала мне ничего хорошего, тем более, что в этих новых немцах, на первый, по крайней мере, взгляд, было значительно меньше человечности и интеллигентности, чем в тех, с которыми мы было сжились и свыклись.

Тульчевский, видимо, до какой-то степени разделял мои чувства. Хотя он мне представлялся человеком спокойным и вообще оптимистически настроенным, в этот день он выглядел хмуро и встревоженно. Я пытался его успокоить рассуждениями вроде того, что-де не все ли нам равно, в конце концов, кто будет нами командовать — плен есть плен и война есть война. Но мне, видимо, было сделать это нелегко, потому что я сам был полон внутренних волнений и ожиданий: какой же это примет для нас, в частности для меня самого, оборот? Будут ли опять допытываться — не еврей ли я? Конечно, наверное, будут.

Я было ушел к себе в избу, чтобы немного успокоиться, но мне не сиделось на месте. На людях было все-таки как-то легче, имелись все же и отвлекающие обстоятельства...

День приближался к обеду, и я решил пойти представиться новому начальству и спросить — не будет ли каких-либо распоряжений. В шрайбштубе никого не было, но из фургона доносились голоса из-за притворенной двери. Я постучал, мне ответили, и когда я, прищелкнув каблуками, доложил, мне было сказано одним из

двух находившихся внутри людей — среднего роста блондином, с утомленным, но не лишенным внутренней интеллигентности лицом, что сейчас им некогда. Я-де могу находиться у себя, меня потом позовут. Я опять щелкнул каблуками и ретировался. Второй находившийся внутри человек был очень черен, худ, говорил резко окая, с каким-то странным произношением... Хотя этот разговор не мог меня никак успокоить, но он, по крайней мере, внес некоторую ясность на ближайшие час-полтора.

Тульчевский, ожидавший меня в избе, сказал, что среди вновь прибывших русских имеется два переводчика — старый, которого я видел, и молодой, кажется бывший лейтенант. Это сообщение не прибавило мне бодрости. Три переводчика на один лагерь, подумал я, это уже чересчур. В лучшем случае меня перебросят куда-нибудь в другое место.

Мы с Тульчевским направились в лагерь знакомиться со вновь прибывшими. Из людей, не растворившихся в массе наших прежних пленных, был повар — украинец средних лет, нарочито говоривший по-украински и производивший жуликоватое впечатление, и молодой переводчик — Володя Иванов, москвич, попавший в армию сразу же по окончании военного училища. В плену он был еще сравнительно недавно — с начала 1942 года. Володя произвел на меня очень хорошее впечатление, хотя и был мало разговорчив. Рассказал мне, впрочем, о методах работы при ОТ, похвалил начальство за невысокую требовательность и относительную мягкость обращения: с недельку походит человек на дорогу, а потом дня два krank¹. Сказал также, что как переводчика его используют только на дорожных работах и в лагере, а при начальстве действует Иван, пользующийся значительной свободой и самостоятельностью.

Возвращаясь из лагеря, я заглянул к моему приятелю слесарю, рабочее помещение которого в небольшом сарайчике находилось неподалеку от шрайбштубе, из-за чего он всегда был в центре и в курсе всяких событий. Он сразу же мне очень встревоженно заявил:

— Что он про вас говорит, их переводчик, если бы вы только слышали! Он кричит везде промежду нас, что-де ваш переводчик еврей... Вам надо пойти к начальству и объяснить им, а то ведь он и немцам, небось, все это сказал...

Вот оно начинается, как я и ожидал... Иначе, видно, и быть не могло.

¹Болен.

Я, как мог, успокоил его, просил не придавать значения таким разговорам.

— Если вы мне желаете добра, не обращайтесь внимания и не раздумывайте всего этого. Он ведь так говорит — вы понимаете почему: боится конкуренции, вот и придумывает то, на что немцы падки... К начальству с этим ходить ни к чему, пусть они сами разберутся или, по крайней мере, сами что-нибудь скажут.

Подобные же вещи мне пришлось говорить и Тульчевскому, тоже обеспокоенному этими разговорами.

На другой день первый развод сопровождался шумом и перепбранкой между немцами из-за несвоевременного выхода некоторых отъезцев на построение. Командовал разводом вчерашний черномазый немец, как оказалось Schachtmeister — по нашему прораб. Белобрысый начальник (Truppführer¹) в этом участия не принимал. Какой-то молодой немец в оправдание своего опоздания ссылаясь на часы: «Herr Schachtmeister, meine Uhr...»² — «Scheisse auf deine Uhr»³, — безапелляционно и пренебрежительно возгласил шахтмайстер. К пленным он обращался или через меня, вполне добродушно беря меня под локоть за руку, или через Володю Иванова, хотя тут же находился и черномазый Иван.

По окончании развода, когда на месте остались только мы с Иваном, повара и еще кто-то из персонала, не ходившего на до-рогу, Иван первый обратился ко мне:

— Значит, тоже переводчик будешь, — начал он с некоторой вкрадчивой ноткой. — А как звать?

— Лев Андреевич.

— А... Лёва, Лёвушка... Он, видимо, чрезвычайно обрадовался этому имени, как несомненному подтверждению высказанных им предположений относительно моей национальности. Меня резануло это «Лёва-Лёвушка», и я довольно строго заметил, что мой возраст и прежнее общественное положение позволяет мне рассчитывать на то, что меня будут называть по имени и отчеству...

Он как будто немного опешил, и дальнейших вопросов не последовало, да и вообще разговор был прерван тем, что меня позвали к начальству.

Труппфюрер встретил меня довольно приветливо, сообщил,

¹ Командир отделения.

² Господин шахтмайстер, мои часы...

³ На... мне на твои часы.

что переезд с прежнего места — они прибыли из-под Брянска — был утомителен, погода выдалась очень жаркая:

— О, как мы потели, бог знает, как мы потели... И эти мухи, чертовские мухи, ужас сколько мух...

Потом он спросил, познакомился ли я с переводчиком Иваном. Я ответил утвердительно и совершенно благожелательным тоном.

— Вы знаете, он ведь в прошлом шофер такси. В Германии шоферы такси — это люди особого сорта... — он игриво засмеялся. — Немецкий язык он знает с войны 1914 года. Тогда он был в плену в Баварии. Разговаривает уморительно, для нас целое удовольствие...

Я ответил, что-де в ту войну тоже было очень много русских военнопленных. В этом легко убедиться именно теперь, когда многие старые деревенские мужики заговорили вдруг по-немецки.

— Заговорили на диалектах тех местностей, где они проводили плен, — добавил он. — Мы определяем сразу: этот был в Саксонии, а тот в Тюрингии...

Потом он перешел к делу и сказал, что ему совершенно не нравится то, что многие пленные живут в деревне, тогда как им надлежит жить в лагере. Я объяснил, что это произошло еще зимой из-за карантина.

— Да, фельдфебель Фридрици мне объяснил... Тем не менее, это не порядок. Объясните это вашим товарищам, они должны вернуться в лагерь. Остаться могут комендант лагеря, конюхи и те двое, которые помогают на немецкой кухне.

Я спросил, не должен ли я перейти в лагерь или к украинцам.

— Нет, вас это не касается...

Я откозырял и пошел выполнять распоряжение, которое было принято многими со вполне понятным недовольством. Люди прижились на вольных квартирах, перешли с баланды на деревенское питание, которое все-таки было с ней несравнимо, да и вообще — кому охота обратно в лагерь?

Я пытался урезонить недовольных тем, что, мол, все равно война, с полной неизвестностью и неуверенностью в завтрашнем дне, но это помогало слабо. Именно, хоть день, да мой.

Доложив о выполнении распоряжения, я тут же сообщил труппфюреру об оставленной мне фельдфебелем соли — о том, что я хотел бы сдать ее на немецкую кухню, под контроль немецкого повара.

Труппфюрер обрадовался. «У нас как раз очень мало соли... Это очень кстати. Вообще, имейте в виду — с питанием произойдут затруднения. Отдан приказ о переводе военнопленных на твердый паек, и мы больше не имеем права собирать продовольствие среди гражданского населения».

Это был, действительно, очень серьезный удар, все последствия которого мы почувствовали весьма быстро.

Хлеб — некий низкосортный Dauerbrot, представлял собой какую-то неугрызаемую конкрецию; то, что порция уменьшилась, уже и не имело значения. Приварок стал совсем пустой — мяса, соленого и вонючего, давали ничтожное количество; картошка, мелкая и черная, — безвкусная и несъедобная. Да к тому же еще и повара ленились делить эту бурду надвое и выдавать ее утром и вечером. Стало ужасно голодно. Это было, впрочем, менее ощутимо для тех, кто не ходил на дорогу, но на дорогу все же ходило большинство. А сбегать куда-нибудь в деревню немного «побомбить» удавалось теперь далеко не всякому и не всякий день.

Поставки из окрестных деревень прекратились, кончились и посылки подвод с украинцами для дополнительных сборов. Формально-то эти сборы не были уничтожены, но дело это было поручено переводчику Ивану, который ездил не на телеге, а в пролетке и больше занимался заготовками чего-нибудь более интересного (яиц и т.п.) для немцев и мало утруждал себя заботами о товарищах. Он стал возвращаться под мухой... Я боялся, что из-за этого поездки его вообще прекратятся, но немцы еще больше потешались над ним и не принимали его поведения всерьез, даже когда он в пьяном виде отнял у какой-то бабы холстину на портянки, и та пришла жаловаться на него коменданту.

Отношение его ко мне радикально переменялось, в особенности после того, как он был пойман кем-то из посторонних немцев на разбазаривании казенных лопат; было назначено расследование — поехали шахтмайстер, он и я в ту деревню, где были обнаружены лопаты. Переводить вопросы шахтмайстера и ответы старосты предложено было мне в присутствии Ивана, так что он слышал, как я объяснил предварительно старосте щекотливость положения. Староста всё очень хорошо понял и заявил, что никаких лопат и в глаза никогда не видывал. Ивана и действительно обвинять было трудно — лопаты он менял по наущению кого-нибудь из немцев, а постичь, что можно и чего нельзя, было ему не так-то, может быть, и просто. Но что его вызволили из беды — это он хорошо понял и впредь всякий раз со мной советовался — что делать,

а чего нет. Дела у него бывали действительно весьма щекотливые, вплоть до подыскивания наложницы для шахтмайстера...

Как-то один из соседних старост, услышав от меня о тяжелом продовольственном положении лагеря, спросил: «Обрат будете пить? У меня немцы поставили маленький маслозаводик для лазаретов — обрат девать некуда, залью вас обратом. Свиной мужики сейчас не держат, все одно немцы отнимут...»

Это была радостная новость. Я согласовал его предложение с начальством, и нам стали ежедневно подбрасывать бочки две обрата. Стали суп варить на обрате вместо воды и так раздавать его котелками — все-таки питание.

Начальство уверило меня, что с осени, как поспеет картошка, питание улучшится, потому-де, что нам дано право требовать у районной хозяйственной команды (Wirtschaftskommando) довольно большое количество картошки для нужд лагеря. Но до осени было далеко — дело было еще в июне...

Шахтмайстер страдал плоскостопием, ходить продолжительное время ему было трудновато, он начинал вскоре прихрамывать. Я подумал как-то, что, видимо, у немцев исчерпаны все людские ресурсы, если людей с такими физическими недостатками посылают на фронт. И как бы отвечая на эти мои мысли, он мне задал вопрос, как случилось, что я попал на фронт. Я рассказал ему про ополчение, про то, как мы должны были охранять Москву и как нас привели на фронт и отдали в плен...

— Genau so wie bei uns¹, — сказал он. — Нам тоже говорили, что мобилизуют нас только для работы в пределах Германии, и вот куда, в конце концов, нас завезли.

Впрочем, вообще это был хотя и не молодой — лет 45–50, но еще очень крепкий человек. Он мог ездить и верхом на мотоцикле, приходилось мне возить его и в пролетке — за кучера и за переводчика одновременно.

Я любил такие поездки. К лошадям у меня была с детства привязанность, управлялся я с ними довольно легко — сидишь на облучке, тянешь песенку, просто душа отдыхает... Как-то раз в пролетке у меня сидели двое — шахтмайстер и еще кто-то из наших немцев. Ехали в одну из соседних деревень, к старосте, распорядиться в отношении рабочих для дороги. Я забыл о моих пассажирах, пел какую-то «ямщицкую» песенку и понукал лошадей. Дорога пошла довольно круто вниз по кособочине, экипаж мой

¹ Точно так, как у нас.

немного накренился и быстро покатился вниз за поскакавшими галопом лошадьми. Меня пьянила быстрая езда, я подсвистывал и подгикивал, горка осталась позади, лошади замедлили бег... Услышав сзади крики, я оглянулся, и каково же было мое удивление, когда я убедился, что моих пассажиров не было на месте. Они, размахивая руками, бежали с горки, крича мне, чтобы я остановился. Им показалось, когда пролетка пошла под уклон, что я или не справляюсь с лошадьми, либо решил их угробить, и они, как воробы, повыскочили в разные стороны. К их удивлению, я бесстрашно продолжал ехать, ничего не замечая вокруг. «Er sitzt wie geklebt»¹, — с ноткой восторга воскликнул один из них.

Я с удовольствием ездил за кучера, и такие поездки всякий раз наполняли мою душу миром, увы, кратковременным и весьма неглубоким, который самым разнообразным обстоятельствам ничего не стоило нарушить. Так и на этот раз. Веселое и свободное настроение улетело как дым, когда до моих ушей донесся обрывок разговора, происходившего за моей спиной между шахтмайстером и его спутником:

- Ты думаешь, что это все русские люди?
- Ну конечно, бог мой, а какие же еще?
- Но почему же они так по-еврейски выглядят?
- Ах, мой милый, ты не должен этого говорить...

Что это такое? Не по моему ли это адресу? Почему им везде чудятся евреи, в особенности вот этим двум, которые у нас тоже обязательно ходили бы в евреях из-за их черномазости и длинносости.

Так или иначе, хотя разговор на этом как будто и прекратился, хотя и неизвестно было даже, к кому он собственно относился, но хорошего настроения у меня как не бывало... Опять подымается в груди фронтовая тоска, чувство безнадежности моего положения среди этих людей — и немцев и наших, — которые каким-то инстинктом, каким-то собачьим чутьем угадывают во мне нечто себе чуждое, нечто не соответствующее тому, чем я, как им казалось, должен был бы в действительности являться, будь я полностью свой брат...

Правда, что эти пароксизмы тоски стали теперь не столь остры и не столь длительны, как это бывало раньше, в зиму 1941—42 годов. Но зато к моим страданиям и страхам по поводу того, что меня

¹Он сидит как приклеенный.

принимают за еврея, присоединились не столь волновавшие меня, но на деле не менее страшные подозрения, высказывавшиеся мне неоднократно и в весьма категоричной форме теперь, после того как я поднаторел несколько в разговорном немецком языке, что я, наверное, скрываю мое немецкое происхождение.

Пристанет, бывало, какой-нибудь незнакомый немец: «Ты говоришь очень хорошо по-немецки, — а я замечал, что малообразованные люди как-то не отдавали себе отчета в убожестве моей речи, — и на русского ты не похож — у тебя отец немец?»

— Нет.

— Мать немка?

— Нет.

— Бабушка немка?

И когда я и на этот вопрос отрицательно мотал головой, он оставался очень недоволен: «*Da lügst du mir, mein lieber*»¹, — и грозил мне пальцем... Я, мол, хорошо понимаю, почему тебе не хочется признаваться в твоём немецком происхождении — могут забрать в армию...

А в другой раз, когда я грелся на дороге в будке у ремонтера, один из зашедших туда же проезжих немцев бросился вдруг ко мне:

— Ты как сюда попал?

— Я тут работаю, я русский военнопленный...

— Что ты врешь мне, черт этакий. Ей же богу, — обратился он к другим гревшимся в будочке немцам, — ей-богу, он из нашей деревни... Я его очень хорошо знаю...

Недели через две-три нашей жизни при ОТ, когда все стало входить в какую-то колею и приобретать некоторую привычность, будучи вызван в шрайбштубе, я увидел там фельдфебеля Фридрици. При моем появлении шахтмайстер нарочно громко произнес, явно для того, чтобы я это слышал: «*Jelnitzky führt sich ausgezeichnet...*»²

«Я в этом не сомневался», — ответил ему фельдфебель, которому я обрадовался, как какому-нибудь из памятных, но давно утерянных однополчан. Он сказал, что находится где-то около Орла. Ехал мимо с каким-то делом и решил глянуть еще раз на место, где провел столько времени...

Неужели это он навещал меня? Сколь оно ни казалось маловероятно, никакой другой причины его появления я при-

¹Тогда ты мне врешь, мой дорогой.

²Ельницкий ведет себя отлично.

думать не мог. При мне не было сказано ничего такого, что позволило бы мне поверить в то, будто он явился по делу. Тем более что в нашу деревню давно уже не заглядывал никто из военных. Сознание, что он приехал сюда из-за меня — посмотреть, какво мне живется с новым начальством, — меня очень растрогало. Я видел этого человека с разных сторон, убедился, что он мог быть грубым, крикливым, моментами жестоким и к чужим и к своим, — и все-таки какое чувство ответственности, какая сердечность у этого человека, в котором столько фашистского, вернее даже, может быть, не самого фашизма, но той духовной почвы, на которой фашизм возрос и расцвел.

Все же фельдфебель был теперь уже как-то очень далек, и казалось мне почему-то, что одинок. Он уже, по-видимому, не командовал больше отделением дорожного батальона, а исполнял какие-то другие поручения. Что-то он говорил и о том, что его должны направить куда-то в тыл, где он будет обучать молодых солдат... И я вспомнил о том, как он демонстрировал нам «гусиный шаг» и другой военно-парадный артикул.

Прошел слух, что у нас в лагере имеется портной-еврей, откуда-то чуть ли не из Польши. Я долго не видел его. Он, очевидно, очень боялся всех и не показывался лишний раз на глаза. Наконец, я его как-то раз увидал в лагере. В нем было бы скорее что-то немецкое, чем еврейское, если бы не чрезвычайная его робость. Он мне показался похож на моего недавнего приятеля — монаха и санитаря Айклера. Потому-то он, может быть, и уцелел до сих пор. Наверно, и сами немцы не хотели верить в его еврейство. Портного, как и других специалистов (кузнецов, сапожников и т. д.), начальство легко и охотно отпускало из лагеря для работы у крестьян, на поруки того лица, у которого военнопленный работал. Портной кочевал из одной избы в другую и, наконец, оказался в той, где жил я. Теперь я мог наблюдать его на более близком расстоянии. Он говорил совершенно понятно по-русски, но с очень сильным сюсюкающим акцентом. У него были черные, большие и круглые, навсегда испуганные глаза. Но когда я входил в избу, он как-то особенно сжимался и съеживался, хотя я избегал с ним каких бы то ни было разговоров и вообще делал вид, что его не замечаю.

Хозяйка моя его жалела, может быть, больше для вида: «Господи, ведь вот теперь убьют его немцы... Переводчика-то, до тебя который тут был, ведь убили... Ну, а что такого плохого, что он еврей, разве ж он виноват?»

Как-то эти ее причитания звучали для моего уха несерьезно. Я отделялся какими-то односложными фразами.

— Он тебя даже боится, ты бы с ним поговорил что ли, Андреич...

— А что говорить-то, что я ему скажу хорошего?

Говорить я с ним, конечно, не мог, да и заговори — что бы я ему, действительно, дельного посоветовал?

Как-то трупфюрер Штреллер в присутствии шахтмайстера спросил меня, знаю ли я, что наш лагерный портной еврей. Я ответил отрицательно.

— Да, он еврей, — сказал на этот раз в совершенно утвердительной форме Штреллер. Шахтмайстер, решив, видимо, несколько поправить дело, неопределенно заметил: «Кажется, у него мать еврейка или бабушка?..»

— Бабушка? — переспросил иронически Штреллер, — ну, это уже слишком.

На том разговор и оборвался. Я его не поддержал, да и немцы больше не настаивали.

Со стороны трупфюрера Штреллера я стал замечать по отношению к себе все больше симпатии и доверия. Он охотно брал меня с собой в поездки на дорогу во время работы. Он не любил ездить на лошадях, предпочитал мотоцикл и усаживал меня сзади. Он говорил, что скоро ему пришлют легковой автомобиль, тогда, мол, ездить будет удобней.

Нередко, наоборот, он оставлял меня одного в шрайбштубе на час, на два, сказав, что я должен передать таким-то и таким-то его подчиненным, когда они явятся за распоряжениями. В шрайбштубе был радиоприемник, которым он пользовался довольно умеренно. Как-то уходя, Штреллер сказал, что я могу по радио слушать что угодно, за исключением советских передач.

— Не потому, что я лично против этого, — сказал он, — а потому, что если это станет известно, я получу десять лет тюрьмы...

Такая позиция и такая откровенность весьма расположили меня к нему. Как-то раз, придя утром в шрайбштубе, я увидел над его столом новый лозунг, выданный из какого-то издания: «Здесь не курятник, — прочел я, — здесь не должен каждый болтать все, что ему вздумается», и в скобках: «Гитлер. Из речи на открытии рейхстага». Я не выдержал и расхохотался. Он, видимо, остался доволен тем, что я уловил иронию, с которой он относился к этому лозунгу, и хитро мне подмигнул.

Снятый с колес фургон у дверей шрайбштубе, где первые дни помещались трупфюрер и шахтмайстер, давно стоял пустой. Мне было разрешено проводить в нем свободное время. Я нередко пользовался этим, так как одиночества в той обстановке мне как раз очень не доставало.

И еще я очень ощущал отсутствие женского общества. Работавшая у начальства деревенская девушка с другой половины деревни, крупная, цыганистого вида, мне не нравилась, но я, тем не менее, принимал ее внимание и понимание.

«Я понимаю, — говорила она, — конечно, вам скучно, не старик ведь...» Она забежала в фургон, подсаживалась ко мне на минутку и убегала опять. Я уже было начал ждать ее появлений, хотя остро ощущал ее грубоватость и примитивную резкость. Не знаю, куда бы оно привело, если бы вдруг не пожаловала ко мне из Юрасова Наталья Александровна. Я ее давно не видел. С переменой обстоятельств у меня не было досуга или, вернее, случая отпроситься к ним в гости. День был жаркий, и она пришла с зонтиком.

«Познакомьте меня с вашим новым начальством», — попросила она. Штреллер был очень рад ее появлению, принял приглашение в гости и сказал, что зонтик в ее руках — это первый зонтик, который он видит в России. «Носят ли русские женщины также шляпы или только головные платки? Употребляются ли в России детские коляски или детей постоянно носят на руках?» Она удовлетворила его любопытство с моей помощью и довольно быстро удалилась, оставив во мне сознание, что я не должен смотреть с вожделением на цыганистую деревенскую девушку. Лучше вспоминать про Наталью Александровну и постараться снова начать наведываться в Юрасово.

Я сказал Наталии Александровне, что покуда мой новый начальник не побывал в Юрасове, мне неудобно туда отпрашиваться, так как он не знает, что это за Юрасово и где оно находится. А на ее приглашение он хоть и ответил согласием, но просил немного повременить ввиду большой спешки в дорожных работах.

Наталья Александровна вскоре пришла еще раз, но, увы, в мое отсутствие. Я был куда-то послан, а когда вернулся, она, не дождавшись меня, отправилась домой. Штреллер, которому я доложил об исполнении поручения, сообщил мне о ее визите и добавил, что она ушла совсем недавно. Я был так этим огорчен и раздосадован, что, ни слова не говоря и забыв про всякий военный и военнопленный этикет, стремглав бросился за ней вдогонку по юрасовской дороге, к счастью моему, не под возмущенные

возгласы, а под хохот Штреллера, которого очень позабавила моя резвость, — ведь я вообще-то вел себя очень сдержанно и не допускал никаких аффектов.

Как бы то ни было, Наталью Александровну я догнал и проводил ее на порядочное расстояние. Это наше свидание было очень дружественным и трогательным, оно меня обдало удивительным теплом и на какой-то момент совершенно вывело за пределы войны и плена. Тем более, что на дороге, по которой мы с нею шли, пролегавшей неглубоким оврагом, поросшим кустарником, было на редкость тихо и хорошо.

Штреллер не очень торопился в Юрасово еще и потому, что у него самого появилась не то чтобы приятельница, но во всяком случае некий предмет внимания. Так как для работы на дороге было мобилизовано большое число деревенских жителей из окрестных селений и им за эту работу уплачивалась некоторая (разумеется, совершенно эфемерная) зарплата, то возникла нужда в счетоводе, который бы вел соответствующие ведомости на русском языке. Для этой цели была приглашена молодая девушка Таня, знавшая несколько слов по-немецки и довольно грамотная по-русски. Подыскана она была помимо меня, видимо, при посредничестве Ивана, но для окончательного уговора к ней поехал сам Штреллер, взяв меня за кучера и переводчика.

Из разговоров с ее матерью выяснилось, что они беженцы из Орджоникидзеграда (Бежицы), где ее муж был партийным работником на заводе. Не получив каким-то образом возможности эвакуироваться, они были захвачены немцами и уехали из голодного городка в деревню к родственникам. Мать, плача, сказала мне, что ни за что не пустила бы Таню на работу к немцам, но боится, что ее могут угнать в Германию, во избежание чего она и пошла на это, как на меньшее из зол. Я обещал ей присматривать за Таней и оберегать ее по мере возможности от каких-либо случайностей.

Таня немножко импонировала Штреллеру. Он за ней очень галантно ухаживал, используя те небольшие возможности для общения, какие предоставляли ее школьные познания в немецком языке. Мы с ним потешались весьма добродушно над ее произношением, когда она говорила Gose (вместо Hose) и т.п. Мне приходилось разъезжать с Таней по окрестным деревням для составления списков работавших на дороге и для выдачи по ним немецких марок (а также советских денег), которые в тех условиях практически ничего не значили. Штреллер нередко и с видимым удовольствием принимал участие в наших поездках. В этих

случаях его беседы с Таней происходили с моей помощью и потому бывали немного разнообразней. Но я мог убедиться в том, что они разговаривали также в мое отсутствие, без посредников.

— Wissen Sie was mir die Kleine hat mal gesagt?¹ — сказал однажды Штреллер. «Ich bin nicht so dumm wie Sie denken». Und das hat sie ganz richtig und deutlich ausgedrückt...²

И мы оба очень смеялись по этому поводу.

Съездили мы, наконец, раза два и в Юрасово, где нас неуклонно встречали очень приветливо Наталья Александровна и ее муж. Мы гуляли все вместе по их большому саду, вели не очень сложные, но все же довольно разнообразные беседы о довоенной жизни у нас и о военной в Германии — о том, что всего более интересовало обе стороны.

Приглядевшись к Юрасову и его обитателям, Штреллер сам предложил мне бывать у моих друзей в гостях в свободное время в одиночку — то, о чем я очень мечтал, но не рисковал его об этом просить — немцы очень боялись партизанских связей.

Эти неуловимые, легендарные партизаны нам были известны только понаслышке: где-то там, далеко отсюда, в брянских лесах... Но иной раз ходили слухи и о том, что гораздо ближе, в районе Карачева, т.е. всего в каких-нибудь 30 километрах от нас, партизаны нападали на штюцпункты ОТ. Так что разрешая мне подобные визиты без наблюдения со стороны немцев, Штреллер принимал на себя известную ответственность.

Надо сказать, что я ни в каком смысле не злоупотреблял оказываемым мне доверием. Ходил в Юрасово довольно редко и ненадолго. К ночи всегда возвращался восвояси, не нарушая комендантского часа, который, впрочем, официально и не был установлен. Речь шла лишь о том, чтобы не попасться на глаза ночной Streife — т.е. ходившему по деревне патрулю.

Завелся у меня благодаря Штреллеру и еще один знакомый. В его части был санитар — подобие приснопамятного Айклера, о разлуке с которым я, впрочем, не очень сожалел, — человек он был все же черствый и далеко не во всех проявлениях для меня понятный. Что касается этого санитара, то он был чех и по-немецки изъяснялся, пожалуй, даже несколько хуже меня. Но в оккупированной Чехии все хоть сколько-нибудь понимавшие по-немецки были

¹Знаете, что мне малышка один раз сказала?

²«Я не так глупа, как вы думаете». И это она совершенно правильно и ясно выразила.

объявлены фольксдойчами — и поди попробуй откажись. С подобными отказчиками расправлялись не добрей, чем с евреями.

Наш санитар, с которым я разговаривал несколько раз по-русски (а ответы получал по-чешски), представлялся мне поначалу человеком ограниченным и педантичным. Но после того как Штреллер заверил меня в том, что это «ein tüchtiger Mann»¹, и когда я к нему поближе присмотрелся, я понял, что он действительно человек весьма твердых позиций, ничего общего не имеющих с фашизмом. Он был лишь достаточно сдержан, так же как старался быть сдержанным и я. Как-то я с ним заговорил о каких-то газетных новостях — о положении на фронтах — он спокойно ответил мне: «Чего не бачил, не вем». Из этой краткой реплики мне стало понятно, что он не верит немецкой информации и надеется на другое положение вещей. Мы с ним стали общаться чаще, а Штреллер, заметив это, стал и его привлекать к нашей компании во время прогулок.

Дорогу в Юрасово я знал уже настолько хорошо, что мог без риска заблудиться возвращаться оттуда и в глубоких сумерках. Наталья Александровна была очень добра и ласкова со мной. Однажды, провожая меня через их большой и густой сад, она проявила ко мне такую нежность, на которую в обстановке военного быта и не покидавшего меня, в общем, ощущения отрешенности от жизни уже казалось бы я не мог и рассчитывать. Во всяком случае, мне бы самому не пришло и в голову добиваться ее ласки, и я только крайне удивился, что откликнулся на ее порыв как-то совсем легко и свободно. Когда мы вскоре расстались, я продолжал мой путь с совершенно необычайным чувством воскресения, охватившим меня на какой-то миг. Как удивительно, подумал я, что мне суждена была подобная радость здесь, в такое страшное время, почти на краю нашей общей гибели.

Порыв этот не был с ее стороны мимолетным. Хотя в последующие мои посещения то, что произошло между нами тот раз в саду, больше не повторялось, но она относилась ко мне с тех пор необыкновенно внимательно, сердечно и любовно. Я в страхе думал, что это должно будет привести к огорчению и ссоре со мной ее мужа, но он, замечая все это и, видимо, очень сочувствуя моему пленному положению, не выказывал мне ни тени нерасположения, что, разумеется, и с моей стороны вызывало соответствующие чувства к ним обоим.

¹Дельный человек.

Как-то раз после развода, в минуту перерыва между исполнением обычных обязанностей, я лежал на траве около сарая-мастерской моего приятеля слесаря, готовый вскочить по первому зову из шрайбштубе. Я было даже задремал, пригретый летним солнцем, как вдруг внимание мое привлекла совершенно интеллигентная речь, которой в Яхонтове давно уже ни от кого не слышал. Открыв глаза, я увидел, что неподалеку стоит какой-то гражданский человек в городской кепке, небритый, с тонкими чертами лица, и разговаривает с военнопленными. Побуждаемый любопытством, я сейчас же встал и подошел к разговаривавшим. Познакомился с ним и тут же выяснил, что это был муж сестры Наталии Александровны, с которой вместе он прибыл два дня тому назад в Юрасово пешком из Воронежа, не так давно оставленного советскими войсками. Они пришли сюда в расчете отдалиться от фронта и в надежде на более спокойную жизнь. Пленных моих товарищей он выспрашивал относительно фронта и эти же вопросы обратил ко мне, как только я к нему подошел, ради чего он, вероятно, и явился к нам в Яхонтово.

В этот же вечер я был в Юрасове, познакомился с сестрой Наталии Александровны — маленькой смуглой и темноволосой женщиной, которая тут же стала жаловаться мне, что ее то и дело немцы принимали за еврейку. Я слушал их горькую повесть об оставлении нашими Воронежа, о нежелании их эвакуироваться, так как делать это надо было пешком, а они очень ослабели от недоедания. Оказалось, что муж ее почти лишен зрения и поэтому не был призван в армию. По уходе наших, бросивших на произвол судьбы огромные продовольственные склады, они немного подкормились — пшено рекой текло по улицам, так небрежно его растаскивали, а немцы этому не препятствовали: «Берите, — говорили они будто бы, — это же ваше...» Кто его знает, сколько во всем этом было правды и сколько фольклора.

Слушать их и разговаривать с ними было, во всяком случае, очень интересно. И еще вдруг муж Татьяны Александровны сказал:

— Слушай, Игорь, ужасная жажда, как бы это поставить самовар?

На меня от этих слов пахнуло вдруг таким необычайным миром, удивительным покоем и счастьем среди войны в этом казавшемся отрешенным от нее уголке.

Через полчаса мы пили из каких-то немислимых плошек горячий «чай», заваренный липовым цветом, и даже с медом, так как у Игоря Порфирьевича был улей, из которого он по случаю

прибытия родственников накачал меду. Какое во всем этом было блаженство! Юрасово мне теперь сделалось вдвойне дорогим...

Но время шло к осени. Поползли слухи, что Штреллер со своей командой ОТ перейдет куда-то в другое место, поближе к фронту, а сюда придут другие. Я хотя уже ко многому притерпелся, но всякое изменение положения по-прежнему подымало в душе тревогу. Что не один я испытывал подобные чувства, свидетельствовала та настойчивость и нервозность, с которой ко мне обращали свои вопросы об этом разные товарищи, и в частности Степан Леопольдович. Не имея возможности сообщить что-либо позитивное, я старался всячески успокаивать товарищей, прикидываясь равнодушным к подобным неизбежным обстоятельствам и стараясь привить им хоть сколько-нибудь от такого равнодушия, которым очень хотел бы обладать сам... К Штреллеру я почему-то не мог, не считал уместным обращаться с расспросами. Да он, вероятно, и сам вряд ли знал что-либо определенное. Будем ждать того, что будет, думал я.

События между тем, хотя и весьма медленно по сравнению с общим нетерпением, поворачивали свои скрипучие и инертные колеса. Нет-нет да что-нибудь и случалось такое, что своей объективностью и абсолютностью давало почувствовать направление хода вещей.

Однажды утром над нашей дорогой вдруг на небольшой высоте опять пролетело несколько советских штурмовиков; были сброшены легкие бомбы, одна из которых повредила какой-то грузовик, и дорога была обстреляна из пулеметов и бортовых пушек. Удивительное событие, главное — произошедшее среди бела дня... Такого еще, как казалось нам, не бывало в истории этой войны. Значит, наши начинают все-таки шевелиться... Это послужило поводом для разговоров и споров...

Однажды ночью ушли пятеро украинцев-кучеров, живших вне лагеря на конюшне и поэтому с легкостью осуществивших свое намерение, о котором будто бы даже знал шахтмайстер и ему не воспрепятствовал. Заведовавший конюшней немец на разводе коротко сообщил, что die Kutscher «пошли»... Штреллер был явно раздосадован, но не учинил никаких репрессий. Он только еще настойчивей старался после этого держать людей в лагере.

К удивлению моему, через пять-шесть дней и опять-таки утром стало известно, что все беглецы возвращены русской полицией одного из ближайших сел и находятся уже здесь, на погребке под замком. Я отправился к погребу и через дверь стал расспрашивать

потерпевших о случившемся. Они на чем свет стоит проклинали русских полицаев и вообще кацапов.

Подержав сутки в погребѣ, Штреллер распорядился выпустить их в лагерь. Конечно, эти меры сами по себе не могли послужить препятствием для побегов. И когда уходил кто-нибудь один, об этом даже не поднимали разговоров. Но оценивая обстановку, уходить стали с умом. Ушел, например, сапожник, которого сманили в одну из соседних деревень, обещав ему работу и харчи. Мне было приблизительно известно, где он находится. Допускаю, что это могли знать и немцы, но доискиваться и возвращать его не стали. Характерно для отношения ко мне и то, что никаких вопросов на этот счет мне не задавали. Видимо, у начальства хватало понимания и такта, чтобы не пытаться использовать меня в подобных случаях.

Впрочем, произошло и одно довольно серьезное событие, кончившееся, к счастью, добром, но последствия его могли быть и иными. Однажды меня вызвал Штреллер и спросил, что это за советский парашютист приземлился прошедшей ночью в деревне Сергеевке? Мне не пришлось кривить душой — я и в действительности слышал об этом первый раз. Сердце у меня екнуло — что же это такое в самом деле? Какая-нибудь ошибка или провокация? В наших местах, как я уже говорил, не было никаких партизан. Ближайшие находились за десятки километров отсюда. Никаким десантам нечего было здесь делать...

— Пойдите, пожалуйста, с двумя членами нашей охранной команды в Сергеево, установите, что там такое произошло, и сообщите мне. Мне, в частности, известно, что найден парашют...

Из расспросов на месте удалось установить следующее: ночью близ деревни с самолета был сброшен тюк с партизанским снаряжением: толовые шашки, два электрических фонаря, бидон со спиртом, ракетница... Однако еще до того, как это все было обнаружено вместе с большим парашютом, в деревне объявился человек в советской военной одежде — вроде как в кожанке, — знаков отличия на нем, кажется, не было, и осведомился насчет партизан. Ему было сказано, что ближайшие партизаны в районе станции Навля, и указано направление. Он тотчас же воспользовался этими указаниями и ушел... Найдя снаряжение, мужики прежде всего распили спирт. Толовые шашки и фонари староста прибрал в сарай, равно как парашют и ракетницу. Все это нам тут же было выдано. Явившись с этой добычей к Штреллеру, мы узнали, что завтра прибудет откуда-то из-под Орла отряд по борьбе с партизанами... Штреллер

добавил, что мне придется этот отряд сопровождать в его поисках и потом доложить ему обо всем, что там реально происходило.

Все страхи, наполнявшие меня постоянно и утихавшие лишь на короткое время, поднялись во мне при этом известии с новой силой. Отряд по борьбе с партизанами... Можно представить себе, что это за публика... И почему это Штреллер так легко выдает меня с головой?.. Неужели у них нет своего переводчика? «Переводчик, конечно, есть, но, — и Штреллер повторил свое распоряжение, — я считаю нужным ваше присутствие и участие...» Мне ничего не оставалось, как отдать честь и ретироваться.

На другой день с утра прибыли две грузовых машины, полные солдат, с ручными пулеметами, гранатами, автоматами... Командовал ими капитан, при котором было еще два лейтенанта. Настроены они были, впрочем, довольно спокойно и благодушно. Капитан с первых же слов стал жаловаться Штреллеру на то, что их все время гоняют пешком.

— Это счастливый случай, что мы получили сегодня машины...

Штреллер сообщил капитану все, что ему стало известно о происшествии. Видимо, капитану это все было тоже уже известно. Он не задал никаких вопросов. Партизанское снаряжение было тут же осмотрено и с небрежением брошено в одну из машин. Относительно ракетницы кто-то заметил, что она была в действии...

После этого капитан сказал, что он должен осмотреть и прочесать местность, для чего, собственно, и прибыл сюда с отрядом. Тогда Штреллер подозвал меня, представил капитану и отрекомендовал как человека, могущего быть ему весьма полезным в этом предприятии. Капитан, кивнув в сторону молодого человека в какой-то странной форме, сказал, что у него, собственно, есть переводчик, но что я, вероятно, и впрямь буду ему полезен. Все мы погрузились в машины и поехали в Сергеево. По приезде отряд рассыпался по деревне, и был произведен беглый осмотр сараев и погребов. В некоторые находившиеся на отлете погреба были брошены ручные гранаты. Командование, а за ним и я, медленно двигались по деревне. Ко мне подбегали знакомые мужики и интересовались, в чем дело. «Партизан ищут...»

«Прочистив» таким образом деревню, отряд направился в поле, а затем к довольно густому кустарнику, занимавшему порядочное пространство. На опушке его был задержан парень с подводой. Вопросы о том, кто он такой и что здесь делает, были обращены ко мне. Я даже не знаю, где был и что в это время делал

их собственный переводчик. Я объяснил парню серьезность положения и просил отвечать его коротко и толково: он из этой самой деревни, откуда мы только что вышли, и выехал нарубить хворосту для починки плетня у своей избы. Ответ вполне удовлетворил начальство. Парня предоставили себе, а мы двинулись вдоль опушки кустарника, который все же довольно глубоко просматривался и не требовал более внимательного прочесывания.

Так дошли мы до деревни Юрасово со стороны примыкавшего к ней парка с господским домом — школой, где жили мои друзья. По пути наши ряды расстроились, и я оказался около двух солдат с длинноствольными ручными пулеметами, устанавливавшимися на треноги, которые были достаточно тяжелы, и тащить их на себе по жаркой солнечной дороге было, конечно, не весело. Солдаты ругались на чем свет стоит. Доставалось и партизанам и собственному начальству, заставляющему таскать такую тяжесть, когда есть машины...

Последовало распоряжение собрать жителей деревни на то место, где мы остановились, исполнять которое двинулась значительная часть отряда. Я было хотел последовать за ними, чтобы исключить возможные недоразумения, но был остановлен капитаном. Он, видимо, понял мое намерение и лениво махнул рукой — не надо, всё будет в порядке... Показав на школу, он спросил, что это за дом и живет ли в нем кто-нибудь сейчас. Я ему коротко рассказал о моих друзьях, и он попросил меня познакомить его с ними, когда они придут сюда. Деревню согнали довольно быстро. Молчаливая, хмурая толпа — мужики, бабы — ребятишек, кажется, не выгоняли, но многие прибежали сами. Моих приятелей не пришлось представлять — они выделялись городской одеждой и интеллигентным видом. На Игоре Порфирьевиче были даже белые брюки. Один из лейтенантов с грустью и завистью сказал: «Да, у меня дома тоже есть такие...» — «У меня тоже», — ответил ему я.

Капитан попросил осведомиться — не заходил ли кто-либо посторонний в деревню, не известно ли что-нибудь вообще о партизанах, на что получил единодушные, хором произнесенные отрицательные ответы. Тогда капитан сказал, что женщины могут идти по домам, а мужчин приказал своему отряду препроводить в Сергеево, куда обещал прибыть немедленно сам. Это произвело переполох. Некоторые заподозрили, что мужиков собираются угонять. Я на свой страх пытался их успокоить и разуверить.

Покуда же капитан со своими офицерами и с нами отправился в парк. Мы шли по его главной аллее под высокими липами, ста-

ло прохладно, полегчало на душе, и разговор стал совершенно обычным: скоро ли кончится война, были ли они когда-нибудь в Германии, есть ли у них дети...

В густой кроне одной из лип раздался какой-то шум. Капитан с недоумением поднял вверх голову. Я предположил, что это птица или белка, но Игорь Порфирьевич тоном ответственного лица сказал: «Пусть не думают, что там кто-то прячется... — и добавил по-немецки, — *schissen, schissen...*»¹ Капитан снял висевший на его шее автомат и выпустил две очереди. Посыпались листья и мелкие сухие ветки...

Когда мы пришли в Сергеево, мужчины обеих деревень стояли на улице, переговаривались, но настроение было все же довольно хмурое. Неизвестно было, что за этим последует. Капитан сказал несколько слов, смысл которых сводился к тому, что он убедился в непричастности жителей к инциденту с парашютистом и поблагодарил за сданное снаряжение. Народ повеселел и зашумел. Капитан осведомился тогда, не стрелял ли кто-либо из ракетницы. К моему удивлению, под смехи и улюлюканье из толпы вышел средних лет невзрачный мужичонка и сказал, что это он, выпивши, стрелял раз или два.

Капитан обрадовался: «О, это мой друг, мы возьмем его с собой...»

Потом он разрешил всем разойтись и выразил мне благодарность за то, что я, с его точки зрения, исполнил хорошо мою миссию и что все окончилось без каких-либо происшествий. Поймав мой взгляд в сторону стрелявшего из ракетницы мужичка, он опять засмеялся и сказал, что берет его для острстки и завтра же отпустит домой. После этого мы на машинах вернулись в Яхонтово, где капитан опять-таки очень отчетливо высказал Штреллеру свое удовольствие по поводу хода операции, поблагодарил его за мое участие и добавил, что все было очень приятно, чем Штреллер тоже явно остался очень доволен. Так закончилась эта единственная серьезная противопартизанская операция в наших местах. Страхи мои рассеялись, но в избу свою я возвращался все же достаточно обалдевший и утомленный.

Несмотря на абсолютно мирный исход этой противопартизанской операции (дня через два я с большим удовольствием узнал от кого-то из сергеевских жителей, что забранный в Нарышкино мужичок, как и было обещано капитаном, благополучно возвратился домой), я чувствовал себя как бы вернувшимся с войны.

¹ Стреляйте, стреляйте...

Как все мило и мирно было в избе... Впрочем, с печки раздавался задорный манюшкин голос:

Есть, комроты,
Даешь пулеметы,
Даешь батареи,
Чтоб было веселее...

Это пела четырнадцатилетняя девочка — хозяйская наша дочка. Так их перед войной учили петь в школе солдатские эти песни. И я вспомнил, как меня травмировали слова другой песни, распевавшейся тогда на каждом углу:

Если завтра война, если завтра в поход,
Будь сегодня к походу готов...

Страхи, преследовавшие меня, хотя и были непостоянны, но западали мне в душу достаточно часто. Они возникали не только потому, что я ждал, как меня по подозрению в еврействе отправят в какой-нибудь лагерь смерти или просто забудут до смерти в каком-нибудь ближайшем полицейском пункте. Я еще очень боялся, что мне может быть отдано какое-нибудь распоряжение, которое я ни при каких обстоятельствах не должен буду исполнить... Поэтому в каждом месте, где бы я ни обретался, я полуинстинктивно, полумашинально прежде всего высматривал возможность быстро и наверняка повеситься. И только когда я находил, как мне казалось, все, что для этого могло понадобиться, ко мне возвращалось некоторое спокойствие и я чувствовал себя более уверенно.

Уже больше года, как жили люди при немцах. Больше года, как не учились дети... Вид немцев и всё, что происходило вокруг, поражало их — поражало, но никак, по-видимому, внутренне не влияло. Немецкий язык, так как его проходили в школе совсем немного, оставался им совершенно чужд. Потешались только над маленьким четырехлетним Егорушкой, повторявшим иногда: «лямпе», «зуппе» и еще несколько подобных же, сходных с русскими, слов.

Но больше всего меня поразил необычайный и общий детский рев, когда выяснилось, что за неимением курительной бумаги отец выдирал страницы из учебников... Он смущенно пытался оправдаться тем, что-де они все равно будут теперь не годны... В ответ ему раздавались негодующие детские крики и всхлипывания. Это было поистине трогательно и по-своему героично.

Вскоре выяснилось, что у старосты есть распоряжение о подготовке юношей и девушек для отправки в Германию. Разнарядка

была невелика. Для нашей половины деревни речь шла, кажется, всего о двух душах, и одной из них должен был быть средний сын — Колюшка — моего многодетного хозяина. Пареньку шел семнадцатый год, но он был несколько недоразвит и выглядел моложе своих лет. Когда из района пришла подвода с двумя полициями, на которой уже сидели три или четыре плачущие девушки, бабы вокруг подняли страшный вой. Появился необыкновенно возмущенный шахтмайстер, пытавшийся с моей помощью убедить людей в том, что для посылаемых в Германию это чистое благо...

— Не понимают темные люди, а приедут — будут благодарить и радоваться...

Колюшку не могли тем временем доискаться. Воспользовавшись каким-то предлогом, я ушел, чтобы не видеть происходящего, — до того все это мучило душу. Как оно обернется в действительности для отъезжающих, мы уж, во всяком случае, не могли предвидеть.

Каково же было мое удивление, когда вечером Колюшка оказался дома. Староста мне потом рассказывал со смехом:

— Он как услышал, что полицаи приехали по его душу, как даст, как даст, и в рожь... Где ж ты его там поймаешь...

Я было выразил родителям опасение, что могут последовать какие-нибудь репрессии и что ему, может быть, лучше уйти на некоторое время куда-нибудь от греха в другую деревню.

Но сочувствия я не встретил. «И куда он пойдет таперя? Родных у нас близко никаких нет... Нешто будут из-за одного парня другой раз сюда ездить?»

И действительно — дело это не возымело никаких решительно последствий, и Колюшка остался дома...

Лето подходило к концу — лето 1942 года, второе лето войны, которую мы ощущали мало и главным образом психологически. А это значило, что люди с более спокойными нервами и с меньшими душевными горизонтами не чувствовали ее почти вовсе.

Урожай был хороший. Собран и обмолочен он был индивидуально. Поскольку индивидуальные гумна были давно ликвидированы, снопы развезли по дворам. Мои хозяева молотили дружно, сохраненными с двадцатых годов цепами. Вот и пригодились... Откуда-то с чердака извлекли прялку и ткацкий стан, бабушка и хозяйка принялись за коноплю, которую до этого колхоз ежегодно выращивал, но полностью сдавал государству.

Взявши у кого-то из притомившихся детей цеп, я стал помогать

молотить. Удары сыпались дружно. Я думал о том, как быстро и легко возвращается наш мужичок от механической молотилки к цепу, от колхозного строя — к прежним индивидуальным порядкам. Вспомнил о том, как в прошлом году все кругом слов не находили, ругая колхозы...

Сейчас, когда от колхоза ничего уже больше не осталось, брани этой стало слышаться как-то меньше.

— Ну что, небось и забыли даже, как жили когда-то в колхозах?

Сначала ответом мне было общее молчание, а потом хозяйка произнесла раздумчиво: «А что, мы и в колхозах неплохо жили...»

Вот так так! Стоило только уничтожить эти злосчастные колхозы, чтобы о них стали, по крайней мере, вспоминать без злобы и брани...

Поборы с крестьян оказались невелики, хлеба брали вообще немного — как объясняли, на содержание районных властей. Брали картошку, но, видимо, тоже довольно терпимо, жалоб, по крайней мере, слышать не приходилось. Владельцы коров сдавали какое-то небольшое количество молока в районные молокозаводы, как объясняли — на масло для лазаретов. И с этого-то молокозавода, на который возили молоко из Яхонтова, тоже стали привозить для нашего лагеря обрат по договоренности волостного старшины (бывшего председателя сельсовета и бывшего члена партии) с молокозаводом.

А поскольку отдано было распоряжение о переводе военнопленных на паек (75 процентов немецкого солдатского довольствия, официально), то всякое организованное снабжение лагерей за счет населения прекратилось. Хотя немецкий солдатский паек был не бог весть что (с полкилограмма хлеба, один раз в день приварок и раз в неделю по капле масла, по небольшому кусочку колбасы и по плитке плохого шоколада, да грамм 50—100 шнапса), нам перепал из него только хлеб и некое количество вонючего соленого мяса и картошки для супа — настолько мало, что ни то, ни другое в нем не ощущалось... Да раз в месяц грамм по сто сахарного песка. Хлеб мы получали не такой, как немецкие солдаты (так называемый *Kommisbrot*), а *Dauerbrot* (хлеб, рассчитанный на долгое хранение) с большой примесью древесины, твердый, как камень, и с трудом перевариваемый. На беду картошки до реализации и распределения нового урожая нам долгое время не давали совсем.

Все это было бы не так страшно, если бы мы могли по-прежнему собирать милостыню по деревням. Но начальство стало смотреть

на это косо. Во всяком случае, такого рвения, как при фельдфебеле Фридрици, отнюдь не проявляло. Выделенный для этой цели переводчик Иван больше спекулировал для немцев, чем собирал для военнопленных. Ввиду всего этого пришлось предпринимать обходным путем хлопоты о каких-либо дополнениях к нашему более чем скудному пайку. Старосты близлежащих деревень стали выпрашивать военнопленных под свою ответственность для различных хозяйственных дел. Кому помочь крышу соломой покрыть, кому еще чего. Особенно охотно брали, конечно, тех, кто хоть что-нибудь соображал в каком-либо ремесле. Столяры, сапожники, кузнецы и слесаря жили много лучше других. И по счастью, начальство в этом отношении шло охотно навстречу и, так как в летнее время на дороге делать почти было нечего, ежедневно отпускало десятка три человек на такие работы.

С сахаром у меня получился первый раз нехороший скандал, но я был так зол на всё и вся из-за наших печальных продовольственных обстоятельств, что пошел на него без колебаний, хотя и понимал, что играю с огнем.

Начальство предложило своим поварам — они же каптенармусы — выдать сахарный песок мне с тем, чтобы я его сам распределил (или проследил за распределением его между пленными).

«Вот ваш сахар», — сказал мне повар, ставя передо мной мешок с песком, на взгляд килограмм на тридцать. «Сколько здесь?» — спросил я. «Не знаю», — ответил повар. Отдаю тебе то, что получено на базе. «Но у вас же должен быть какой-нибудь документ? Мне же надо выдать каждому его порцию». — «У меня нет никаких документов», — отрезал немец. «Тогда я не могу принять у вас сахар...» — «Teufelei»¹, — выругался немец и побежал жаловаться начальству. Вернулся он с бумажкой в руках. Это была накладная, написанная через копирку и беглым почерком, но по некотором ее изучении я установил причитающуюся нам весовую норму. Я попросил взвесить сахар. Повар долго отказывался и чертыхался, но когда все-таки взвесил, то оказалось, что не хватает килограмма полтора. Я опять отказался принять этот неполный вес. Опять ругань и крики. Снова повар побежал к Штреллеру. На этот раз к нему был вызван я. У него недовольный вид. «Ну и немцы, — думал я. — Пожалуй, все-таки при фельдфебеле Фридрици этакое вряд ли было бы возможно».

— Вы что же хотите, чтобы я отдал мой и еще чей-нибудь сахар из немецкого пайка? У нас нет другого сахара..

¹Чертовщина.

— Я не хочу ни вашего, ни чьего бы то ни было другого сахара. Поймите меня, пожалуйста, правильно. Если вы хотите, чтобы я принял сахар для военнопленных, то я могу это сделать только по точному весу. У меня тоже нет никакого сахара...

Штреллер был очень раздосадован. Некоторое время барабанил пальцами по столу, но не сказал больше мне ни слова. Потом попросил прислать к нему снова повара-немца. Тот вернулся совершенно разъяренный, крича на всю округу, что эти окаянные пленные, которых вообще надо было бы давно перестрелять, получают теперь немецкий сахар, а немцы по вине переводчика останутся без сахара... На другой день об этом происшествии знали решительно все. Некоторые поглядывали на меня со злостью, но оказались и такие, которые улыбались и похлопывали по плечу. На этом инцидент и был исчерпан. Сахар я отнес в лагерь. Передал его коменданту и командирам рот, попросив раздать его по норме. Раздавали они, видимо, достаточно экономно, так как после раздачи меня позвали и честно предъявили остаток в полкилограмма, который я им предложил поделить между собой, а от своей доли отказался. Все это на общем фоне бед и потерь было сущей чепухой, но сердце мое наполнилось гордостью, и я себя чувствовал победителем немцев...

В лагере и в деревне этой победой бахвалиться я не стал во избежание лишних разговоров. Не рассказывал я, естественно, и о том, что обрат, привозимый на лагерную кухню из маслобоя, стоил денег — тех, которые мне давали для этой цели Тульчевский и некоторые из дружественно настроенных немцев, равно как и тех, какие платил Штреллер мне, включая меня в ведомости работавших на шоссейной дороге гражданских лиц. Когда Тульчевский как-то сболтнул об этом в лагере, ему, в общем, никто не поверил, не допуская и мысли о возможности подобной филантропии со стороны каких бы то ни было немцев, ни с нашей с ним стороны... Не поверили бы, наверное, и в реальность моего скандала с немцами из-за нашего пайкового сахара...

Штреллер не держал на меня за это гнева. Скорей наоборот, он стал со мной более общителен и чаще, чем прежде, брал меня в разные поездки. Он даже прямо признался мне, что ему со мной гораздо интересней, чем с кем-либо из своих, но что, например, он не может часто общаться с нашими юрасовскими знакомыми — на это-де кой-кто мог бы посмотреть косо; я же в качестве переводчика могу быть при нем так часто, как он того пожелает. Однажды он вернулся откуда-то на очень изящной закрытой лег-

ковой машине Мерседес-Бенц. «Моя фирма предоставила мне автомобиль, — сказал он. — Конечно, он устарелого типа — выпуска 1939 года, но машина тем не менее очень хорошая, со многими удобствами». С этого дня он стал ездить в этой машине и нередко брал меня с собой. Иногда с нами ездил симпатичный мне чех-фельдшер и девочка Таня.

Во время поездок вдвоем со Штреллером возникали иногда разговоры на политические темы. Он меня с интересом расспрашивал о наших жизненных обстоятельствах, о том, насколько глубоко у нас распространились новые социальные идеи.

— Я не представляю себе, чтобы здешние крестьяне могли иметь какое-либо понятие о Карле Марксе.

— И все же имеют. Имя только многие произносят не совсем правильно.

— А как?

— «Карла Марла». Точно так же, как вместо «лаборатория» произносят «лаболатория»...

— О, это и у нас сколько хотите...

Но в общем, он был достаточно осторожен. Давая обиняком понять, что он не разделяет восторгов ни по поводу национал-социализма, ни в отношении этой войны, он воздерживался от каких бы то ни было резких и прямых выражений.

В Юрасово мы с ним ездили редко и обычно в какой-либо компании. Видимо, все-таки слухи о партизанах, а быть может и какие-либо реальные факты (краем уха я слышал разговор двух немцев о нападении на кого-то и где-то — видимо неподалеку — но толком понять, что именно произошло, все же не мог), производили на него известное впечатление. Мне же одному не возбранялось путешествовать туда в свободное время пешком без какого-либо контроля и предварительных информации. Я уходил нередко под вечер, когда дела наши совершенно кончались, а возвращался уже ночью, следя только за тем, чтобы не напороться на патруль, проходивший раза два за ночь по деревне. Чтобы не беспокоить хозяев, я выговорил себе право ночевать в небольшом сарайчике, стоявшем прямо против двери в избу, где ночевал в теплые ночи обычно еще кто-либо из хозяев.

Вольное деревенское житье действовало порой разлагающе с точки зрения обстоятельств, которые требовали иногда пусть бессознательного, но все же непрямого самоподчинения. Наш комендант спутался с одной бобылкой, о которой в деревне

говорили самым презрительным тоном как о существе, не заслуживающем ни малейшего доверия. С виду она тоже была весьма неказиста, в чем, разумеется, не мог не отдавать себе отчета и комендант. Как только у него был несколько удовлетворен соответствующий голод, он от нее отступился. А она этого ему простить не пожелала: прибежала к Штреллеру с запиской от нашего старшего лейтенанта, в которой он просил ее или еще кого-то снабдить его гражданской одеждой. К этому она добавила, что ей известно о его намерении уйти в партизаны. Как всегда, такие дела делались помимо меня. Начальство убедилось, что мне удастся нейтрализовать такие истории, кажущиеся поначалу криминальными. Может быть, и тут что-нибудь можно было бы сделать, но я узнал об этом тогда, когда комендант сидел уже на каком-то погребке под стражей, а Штреллер, объявив мне об этом, заметил, что он уже известил обо всем нарышкинскую комендатуру. Он добавил, что коменданту ничто не угрожает, кроме Власовской армии, и только в случае повторного отказа он будет направлен в концентрационный лагерь. Я попросил все же разрешения поговорить с комендантом и получил его.

Вид у него, как всегда, был довольно равнодушный, но очень хмурый.

— Чего ж вы сразу не потребовали меня? Я бы, может быть, удержал начальство от обращения в жандармерию, а теперь уже поздно. Не вздумайте на сей раз отказываться от РОА. Скажите, что вы всю жизнь о ней мечтали. Может статься, что оттуда при желании и уйти будет легче...

Куда уйти, я ему даже не сказал. Сам, мол, знает. Он ничего не ответил на мои слова и даже видом своим не показал, как он относится к моим советам.

— Глупо все-таки, безумно глупо все это у вас получилось... Писать такие записки — точно не военный человек, а деревня какая-то.

Тут уж он не выдержал: «Надоело все до последних чертей. Хоть бы увозили скорее отсюда...»

Я ему пожелал на прощание счастливого окончания всей этой глупейшей истории, на что тоже не получил в ответ ни даже легко-го движения глаз.

Исподволь, как и весной, пошли разговоры о том, что этот отряд ОТ, а с ним и лагерь, должны перейти на другое место. Наконец, однажды и сам Штреллер сказал мне о том, что их, по-видимому, переведут куда-то поближе к фронту. И снова у меня

екнуло сердце — опять новые обстоятельства, опять неизвестность и страхи...

— А пленных вы возьмете с собой?

— О, по-видимому, не всех. Здесь же тоже должен кто-то остаться...

Скоро уже все в лагере знали о предстоящем переезде. Знали также и то, что поедут не все. Некоторые спрашивали, не сомневаясь в том, что меня-то начальство, конечно, возьмет с собой, как бы сделать так, чтобы и их тоже взяли. Другие же, наоборот, боялись близости фронта, того, что придется жить в страхе перед авиацией, а может быть, и перед артиллерией...

Бегая в Юрасово, я каждый раз прощался на всякий случай с моими друзьями — кто его знает, может быть, больше не увидимся. Подымут утром, шагом марш, и поминай как звали... Впрочем, у немцев так не бывает. Но готовиться они уже готовились. Штреллер предложил мне составить список тех военнопленных, которых он намерен взять с собой. Это была примерно половина. Шли разговоры о том, что на новом месте будут лучше кормить — как-никак прифронтовая полоса. Был тем временем уже глубокий октябрь. Ночи длинные и холодные, в низинках стал по утрам появляться иней. Штреллер сказал, наконец, что отъезд состоится завтра или послезавтра. И неожиданно заявил, что не хочет брать меня с собой. Я было даже огорчился и испугался. Что бы это могло значить?

— Я не хочу вас брать в более трудные прифронтовые условия. Деятельность наша будет там весьма ограниченной. Никаких контактов с населением у нас не будет. При этих условиях с меня совершенно достаточно Ивана и Володи в качестве переводчиков. Вы не беспокойтесь, вам тут будет не хуже, чем с нами. Вашей охраной будет немецкая гражданская полиция, а работы производить станет ОТ второе — организация, обычно действующая в глубоком тылу.

Полиция... Только этого еще не доставало. Наконец-то я доказался и до полиции. Уже одно то, что все будет не так, как было, повергало меня в глубокое беспокойство, и я стал опять настраивать себя на самые худшие неожиданности, которые уговаривал себя принять спокойно, как нечто неотвратимое, неизбежное.

Но сбегал в этот же вечер в Юрасово сообщить новости. Там очень обрадовались. Мы сидели за маленькой коптилкой, как в предшествующую зиму, допоздна. Часов у нас не было. Когда

я собрался уходить восвояси, было уже, вероятно, 10—11 вечера. Меня уговаривали остаться ночевать, но я не отважился на это. Ночь была лунная, дорогу я знал хорошо. Пошел. Но как только я вышел из парка, набежали тучки, потемнело, и меня охватила усталость и боязнь наскочить на патруль... Куда я пойду в такую темнотищу? Но и возвращаться мне не хотелось. Там уже, вероятно, легли спать, незачем снова их беспокоить. Я забрался в неудобную копну и решил дожидаться рассвета. Какая-то деревенская собака, бежавшая мимо, учуяла меня в копне и долго, надрывно меня облаивала. Но внимания она ничьего не привлекла, в конце концов ей это надоело, она замолкла и отошла. Я подгрел к себе солому, стало теплей, и я задремал. Проснулся часов через четыре-пять, когда начало чуть брезжить. По оврагам стоял туман, на траве выпала холодная, белесая, как иней, роса. С мокрыми ногами прибежал я, не обратив на себя ничьего внимания, в Яхонтово, добрался благополучно до своей избы и еще поспал часа два.

Утром сборы шли полным ходом. Прибыло несколько грузовиков, на которые грузили весь свой скарб солдаты ОТ. На две машины поместили пленных с некоторым лагерным имуществом. «Украинцы» наши, как оказалось, все остались здесь и теперь были в наличии в связи с предстоящей передачей лагеря. Я встретился с удовольствием с Тульчевским, которого не видал уже довольно давно. Он, как и я, был обеспокоен предстоящими переменами, хотя принимал эти новые удары судьбы уже более равнодушно, чем я.

Когда отъезжающие расположились цугом на дороге, со стоящим впереди лимузином Штреллера, в котором на этот раз сидел также шахтмайстер и еще кто-то из его подначальных, явилось двое или трое полицейских для приема лагеря. На них была форма, похожая на военную, так что сначала и отличить представлялось трудным. Штреллер отрекомендовал им меня, и мы тотчас же направились в лагерь. Там ко мне сейчас же бросились с жалобами: некоторые из отъезжающих насильно заставляли остающихся отдавать им лучшие шинели и обувь в обмен на более ношенные. Оказывается, не все отъезжающие были одновременно выведены из лагеря и, воспользовавшись заминкой, производили у нас на глазах эту нечестную операцию. Я было принялся их стыдить... Они оправдывались тем, что-де эти остаются в деревне, а они едут к фронту, где ничего не достанешь...

Заметив наши препирательства, один из полицейских, видимо старший в чине, потребовал у меня объяснений относительно происходящего. Я рассказал ему в кратких словах, что происходит.

— Мой бог, ясно. Их можно даже понять, в конце концов. Скажите своим товарищам, что мы-то как раз имеем некоторую возможность пополнить ваш гардероб. И я стал утешать обиженных, ссылаясь на его слова...

Но полицейский тут же огорошил меня тем, что в Яхонтово лагеря больше не будет — слишком далеко от дороги. В короткие зимние дни все время будет уходить на хождение туда и обратно. Пленные будут распределены по небольшим лагерям, расположенным поблизости от шоссе. Я покуда буду при нем, в бывшем домике дорожного ремонтёра, где помещалось человек десять немцев и человек 50—60 пленных. Переводчиком там был какой-то молодой паренек из лейтенантов — я его раз или два перед тем видел. Что-то у полицейских с ним плохо получалось, и требовалось мое вмешательство.

Наскоро попрощавшись с Тульчевским, которого с частью пленных направляли в Нарышкино — большое районное село километрах в 30 отсюда и уже недалеко от Орла, чем он был очень расстроен, я бросился в свою избу прощаться с хозяевами. Обещал им навещать их по возможности — пункт, в который меня переводили, находился всего километрах в пяти отсюда.

Так, ни с кем больше не попрощавшись, покинул я Яхонтово, где спокойно и мирно провел немногим меньше года. Думал я в этот момент о том, что вот я и покидаю эти ставшие милыми моему сердцу места и делаю это более спокойно, чем весной покидали их немецкие солдаты из дорожного батальона...

Нарышкинская база ОТ

Штютцпункт ОТ на дороге около деревни Вербник был мне хорошо известен и раньше, так что я знал, куда ведут меня и человек десять пленных — всё различных специалистов — слесарей, кузнецов. А остальные, так же как и украинцы, уехали, хотя куда-то и неподалеку, но в совершенную неизвестность.

Пленные на штютцпункте помещались в довольно большом утепленном сарае, очень, однако, тесном для сотни человек. Посредине помещалась кирпичная печь с плитой, а по всем стенам располагались глубокие нары в два этажа. Спать надо было головой к стене, ногами к печке.

Сразу же встретился с переводчиком — молодым пареньком, очень задорным, не терявшим надежды на лучшие времена в отношении хода военных дел. Немцы, приведшие меня, сказали,

что он обижен на то, что его в связи с прибытием полиции выселили из чуланчика в доме ремонтера, в котором он помещался, и предложили ему выгородить для себя закуток в бараке, но он, видимо, этого не понял. Я обещал все ему разъяснить и инцидент уладить.

Выяснилось же, что паренек в общем все понял, но просто был не в настроении. По каким-то признакам, главным же образом потому, что немцы устроили под избой довольно глубокое бомбоубежище, ждал он скорого прихода наших и решил на все наплевать. В отношении наших я его не разочаровывал, но, напомнив разные прежние обстоятельства, дал понять, что все это может произойти еще и не так скоро, как ему мерещится, а жить надо и ему и людям. Уговорил его не кобениться и выгородить закуток, если не хочет, как он говорил, для себя одного, то для всего лагерного начальства — повара, фельдшера и кого-нибудь еще...

Мне на эту ночь, потеснившись, дали местечко на верхних нарах. Спал я хорошо после всех дневных тревожений, но утром почувствовал, что вшей у меня значительно прибавилось против тех, которые от времени до времени заводились в Яхонтове, потому что не переводились у хозяев.

Вшей, как я тут же выяснил, оказалось действительно у всех очень много. Кто-то утром же, сняв с себя рубашку, обирал их с нее и бросал на раскаленную плиту...

Я вспомнил тут же про нашу баню в Яхонтове и обратился с просьбой к начальству сводить пленных в баню. Мне выделили двоих на подмогу, чтобы ее натопить, и мы с одним полицейским в качестве конвоя двинулись в Яхонтово. Я и не думал, что мне придется вернуться туда так скоро. Вот оно и родное Яхонтово, такое странно-непривычное без немцев.

Увы, цели нашего путешествия осуществить не удалось. Оказывается, еще вчера какие-то неизвестные нашим мужичкам немцы увезли из немецкой бани ванну. Это послужило сигналом для ликвидации обеих бань. Тотчас же все было разорено, растащены все металлические предметы и все кирпичи — столь нужные в крестьянском хозяйстве даже и по мирному времени. Топить было уже нечего. Забежав на минутку в свою избу и поздоровавшись с хозяевами, я двинулся не солоно хлебавши назад. Меня удивило и огорчило то равнодушие, с которым встретили эту новость и немцы и наши. «А черт с ней, с баней...»

Хлопоты мои были поняты так, что-де вши особенно неприятны

мне персонально, и чтобы уберечь меня от них и изолировать от себя, ребята откуда-то приволокли деревянную одиночную койку и поставили ее посреди нашего тесного барака, около печки. Это было настолько трогательно и инициаторы этого были так огорчены, когда я стал было отказываться, что пришлось согласиться. Пришлось принять это как лишнее подтверждение того, что меня тут ценят. Со стороны же немцев мне было объявлено распоряжение начальника дорожно-ремонтного участка направить меня, по использованию для урегулирования некоторых, требующих более серьезного знания языка дел с ремонтниками и старостами, в Нарышкино, где был довольно большой лагерь военнопленных и помещался сам этот начальник с его помощниками, а также русский дорожный мастер. Произойти должен был этот мой переезд через несколько дней.

Воспользовавшись поручением в Вербник, я побежал в Юрасово, чтобы попрощаться с друзьями. Времени у меня на это было очень мало — немцы чужие, ушел не спросившись... Обещал использовать любую оказию, для того чтобы сообщить о себе. Меня проводили до Вербника, то есть почти до лагеря. Сколько раз уже мы прощались? Может, и это еще не окончательно?

Своему коллеге переводчику я завещал добиваться постройки бани. Объяснил ему, где взять пустой амбар, где котел, где камень имеется, чтобы сложить печку. Все это мне по яхонтовскому опыту было известно. Объяснил то же самое и немцам. К удивлению своему убедился, что полиция и ОТ страшно между собой враждуют. Придя к ним поговорить относительно бани, я застал громкую перебранку, сопровождавшуюся взаимными угрозами. Когда чин ОТ вышел из помещения, я полюбопытствовал у моего полицейского начальника, не могу ли я чем-нибудь содействовать их примирению. Мне странно видеть, прибавил я, как два немца так сильно ссорятся.

«Ах, чепуха, — недовольно сказал полицейский. — Прежде всего это даже не немцы... Какие они в самом деле немцы? Это же баварцы...» Этим его заявлением я был поражен еще больше. Вот тебе и единая великая Германия! Гитлер ведь, кажется, тоже из Баварии?.. Но с этим недоумением я почел за благо к моему полицейскому не обращаться. Мы еще были для этого слишком мало знакомы.

Кроме полиции и ОТ, на штюттпункте находились еще два полевых жандарма — фельдфебель и унтер-офицер, оба молодые, веселые и добродушные. Унтер-офицер проявлял некоторые интеллектуальные интересы, и мы с ним вечерами не раз беседовали на разные отвлеченные темы, сидючи на крылечке.

Пора было выполнять распоряжение об отправке меня в Нарышкино. Наш полицейский попросил жандармов отправить меня на первой же попутной машине. Это вызвался исполнить мой приятель унтер-офицер. Он надел для этого нагрудную бляху, позволявшую ему останавливать на дороге машины. Машин же в этот день было совсем мало. Наконец, уже в сумерках показался грузовик, в кабине которого рядом с шофером сидел какой-то интендантский гауптман. Машина послушно остановилась, но когда гауптман увидел меня и узнал, в чем дело, он накинулся на жандарма и стал его ругать за то, что он по таким поводам останавливает машины и обращается с подобными требованиями к офицеру. Мой унтер стал навытяжку, взял под козырек, но невозмутимо отрапортовал, что он сделал это служебным порядком. Машина ушла, и мы вернулись ни с чем на штютцпункт. Фельдфебель, узнав о происшедшем, обругал вслед интенданта, а унтер заметил, что в таких случаях надо записывать номер машины. Тем временем стало уже совершенно темно, машин не предвиделось, о поездке нечего было и думать. Утешили всех наши ОТ, сказав, что завтра будет машина с нарышкинской базы, которая и заберет меня с собой.

На следующий день я действительно уехал с очень симпатичным молодым шофером, расспрашивавшим меня с интересом про различные обстоятельства русской жизни и про советские порядки. Незаметно мы приехали в Нарышкино — длинное придорожное село, в недалеком прошлом районный центр. В середине его виднелись два или три двухэтажных здания. Одно из них занимал дорожный мастер ОТ со своим персоналом. Рядом во дворе был оборудован довольно поместительный гараж, еще дальше в одноэтажном домике жил русский дорожный мастер.

Шофер привел меня прямо к немецкому начальству в чине гауптгруппфюрера. Это был долговязый несимпатичного вида человек, разговаривавший лениво и глотая окончания. Понимать его было нелегко. Он спросил меня, могу ли я писать по-немецки. Я ответил утвердительно. Тогда он сказал, что я должен ему сообщать в письменной форме обо всех непорядках в наших дорожных делах. Потом объявил, что я буду выполнять его поручения в отношениях с русским дорожным мастером и его ремонтниками, а также с лагерем военнопленных и с охраняющей его полицией. После этих инструкций он сообщил мне, что рядом с дорожным мастером в маленьком домике живут мои товарищи украинцы, с которыми должен помещаться и я.

«Да, еще вот что, — прибавил он, — напротив вашего домика

маленький мостик, который уже дороги, и шоферы в ночное время нередко застревают на нем или заезжают в кювет. На обязанности вашей и украинцев оказывать им помощь при авариях...» Я прищелкнул каблуком и ретировался. Тульчевский и остальные встретили меня как родного: «Почему так долго? Мы каждый день вас ждем и никак не могли понять, почему вы не едете».

Несколько ночей мне пришлось провести на полу, покуда мне не раздобыли такую же самую деревянную койку, как та, на которой я спал на вербниковском штютцпункте. Такие койки, оказывается, входили в инвентарь ОТ, и они их таскали за собой при всех своих перемещениях вместе с прочим инвентарем.

Помещением нашим была обычная изба-пятистенка. В первой ее половине у печки жила хозяйка с тремя детьми — старшей девочке было лет 10—11, а мы — в задней ее части, которая тонкой дощатой перегородкой тоже была разделена на две неравные части. В более темной, но теплой ее половине помещались в тесноте Тульчевский и еще два украинца, а я — в другой, между двумя окнами, где посветлее и посвежее воздух. Умывались мы во дворе из кружечки, питались с немецкой кухни, да раздобычливые мои товарищи никогда не оставались без картошки, которая бывала у нас обычно на ужин.

В первый же день меня познакомили с русским дорожным мастером — Иваном Михайловичем Полевым — человеком лет сорока, разбитным и веселым, жившим в своем доме с женой, шестилетним сыном и старухой-матерью. Была у них и корова, от которой и нам перепало иногда по стаканчику молока. Сохранился у него патефон с советскими пластинками — «Андрюшей» и цыганскими романсами. Была даже французская пластинка с танго «Il pleut sur la route»¹, которая меня особенно брала за душу. Да и прочий, хотя и пошлый, репертуар при абсолютном отсутствии какого бы то ни было искусства тоже не казался невыносимым, как это было бы прежде. Каждый вечер все пластинки последовательно прокручивались.

С утра я уходил в лагерь, находившийся в помещении школы, минутах в десяти ходьбы от базы ОТ. Там было человек 250 военнопленных, главным недостатком быта которых была плохая одежда и совершенно износившаяся обувь. Питание тоже было совершенно ничтожным, и люди едва держались на ногах только благодаря контактам с населением. Некоторую часть школьного

¹ Знаменитое танго «Дождь идет»

помещения занимал взвод полиции — лагерная охрана. На дорожные работы вместе с полицейскими выходили и два наших украинца. Тульчевский был здесь от этого освобожден. Он, как понимающий немного по-немецки, употреблялся для связей с населением. Работы велись на шоссейной дороге Орел — Нарышкино и по короткому проселку, ведущему к деревеньке, расположенной в одном километре от Нарышкина. Сначала я недоумевал, зачем им эта дорога, но от Полевого узнал, что там большой склад артиллерийских и иных боеприпасов, помещавшийся в небольшой жиденькой рощице, о чем, кстати, гласили и указательные надписи на шоссе. Немцы в этом отношении никакой конспирации не признавали — все было написано, все штабы и другие подразделения имели вывески и указатели на дорогах. Некоторые из этих надписей писал, как вскоре выяснилось, один военнопленный, как и я — московский ополченец — Петр Михайлович Петровский, живший на гражданском положении в семье нарышкинского фельдшера. Видимо, интеллигентный вид и некоторое знание языка помогли ему избавиться от лагеря, а Полевой приспособил его к написанию немецких надписей на своем участке дороги. Это был единственный интеллигентный человек здесь в моем поле зрения, мы нередко встречались по вечерам в доме Полевого, но Петровский был очень сдержан, говорил о себе очень мало — толком я так и не узнал, кто же он в сущности — какой-то преподаватель в области какой-то техники в одном из высших учебных заведений. Держался он спокойно, дружелюбно, охотно поддерживал всякие разговоры, но о себе умудрялся, не производя впечатления скрытного человека, не рассказать почти ничего.

В деревне близ военного склада Тульчевский познакомился с двумя сестрами — москвичками. Одна была врач, а другая, еще кажется студентка, помогала ей в качестве процедурной фельдшерицы. Они жили там с маленькими детьми — война их захватила на даче у родственников. С немцами по собственной инициативе они не общались, оказывали некоторую помощь населению, не имея, впрочем, почти никаких медикаментов. Единственно, что у них было в большом количестве, это очень крепкий самогон, употреблявшийся ими в качестве спирта. Побывав у них несколько раз в гостях вместе с Тульчевским и Петровским, я им сообщил мой московский адрес с просьбой известить обо мне моих родных, когда они вернутся в Москву. Просьба эта была ими выполнена, если не ошибаюсь, еще в конце 1943 года.

Помню один вечер у них, когда от хозяйского самогона мы при-

шли в довольно беспечное состояние, и Петровский вместе с младшей из сестер весьма уверенно танцевал танго и еще что-то.

На меня, да думаю, что и на других, эти ущербные увеселения, хотя на какой-то момент настроение лихорадочно подымалось, действовали угнетающе. Те же чувства, которые прежде мешали мне есть пайковый сахар или позднее немецкий шоколад, начинали действовать и тут, препятствуя поискам веселья или хотя бы просто успокоения. Хоть и понимаешь, что это все чепуха и что эти ничтожные минутные радости ничего ни у кого не отнимают, все же почему-то реакция оказывалась неизбежной — очень остро ощущалась неуместность всего этого, поскольку в любую минуту обстоятельства могли стать катастрофичными. Справедливость отречения от каких бы то ни было «мирных» чувств и их проявлений подкреплялась во мне тем соображением, что, настраивая себя на трагический лад, я всегда пребывал в полной готовности ко всему самому худшему. Мне это худшее в таком состоянии было бы легче встретить, ибо как неожиданность оно представлялось гораздо страшней и горше.

Иван Михайлович Полевой много помогал мне в устройстве лагерных дел. Прежде всего, в Нарышкине тоже не было бани. Нас, правда, вскоре по приезде моем туда погрузили однажды всем лагерем на грузовые машины и повезли в баню в Орел. В машинах надо было стоять на ветру и на ощутимом морозе в очень плохой одежке около часа (более 20 километров по плоховатой дороге). Место, куда нас привезли, оказалось знаменитым Орловским централом — огромная тюрьма, обращенная в лагерь военнопленных; вероятно, она служила и для гражданских лиц, подвергавшихся заключению. Не могу судить о режиме для тех, кто жил в ее стенах, но люди, принимавшие нас и служившие там, выглядели как настоящие тюремщики. Они производили при этом впечатление каких-то профессионалов. И были это все люди, говорившие на каких-либо славянских языках — польском, болгарском, т.е., видимо, ненастоящие немцы. Но душ был довольно теплым и помещение — чистым. Беда только в том, что нас очень сгрудили и очень торопили. Дезинфекционной камеры не было — мы ушли с теми же вшами, с какими приехали. Мылись при этом без мыла и без чего бы то ни было его заменяющего.

По возвращении из бани нас построили во дворе базы ОТ и штрассенмайстер, сам оглядывая пленных, назначал — кому брюки, кому гимнастерку, кому и то и другое. Обуви не имелось, а это было самым большим недостатком перед начинающейся

зимой. Но поскольку я ходил уже в совершенных опорках, меня посылали то и дело туда и сюда, да и вообще, видимо, сочли, что переводчик должен иметь что-то на ногах, мне были выданы рабочие ботинки — с кожаным верхом, но на толстой из одного куска дерева подошве, в которых у меня первое время от ходьбы очень болели ноги в подъемах. Но зато ноги были сухие, и это создавало некоторое ощущение тепла — довольно ложное, потому что кожа на башмаках была очень тонкая и без всякой подкладки — башмаки явно были рассчитаны не на хождение, а только для стояния в них на одном месте в помещении с каменным полом. Но я довольно быстро привык к этим ботинкам и ходил в них по 10 и более километров в день.

Так как у начальства обуви для пленных не предвиделось, Полевой посоветовал мне обратиться в лесничество за лыком для плетения лаптей. Испросив разрешение штрассенмайстера, я успешно осуществил это предприятие. Лесничество находилось на отлете, в лесу; лесничий оказался, как ему и подобает быть, довольно интеллигентным человеком, державшимся к тому же совершенно независимо — будто и войны никакой не было. Ощущение это дополнялось тем, что на стене в той комнате, где он сидел, висело охотничье ружье. К просьбе моей он отнесся внимательно и отвел нам участок леса неподалеку, где разрешил надрать липовой коры на лыко, что мы и сделали, отрядив туда однажды человек 10 пленных под присмотром одного полицейского. После этого очень скоро многие из военнопленных получили возможность обуться в лапти. Техника их плетения оказалась некоторым из наших людей знакома, и они обеспечили лаптями весь лагерь. Так же, как и в Яхонтове, стали использовать для приготовления супа обрат, который, помимо известной питательности, придавал ему необходимую кислоту, по которой люди при нашей пресной, малосоленой и авитаминозной пище очень страдали.

Являясь в лагерь каждое утро на развод, я заметил однажды, что во время распределения людей по отрядам многие бегали в уборную, что, естественно, вызывало недовольство немцев. Оказалось — вчера в супе было просо — именно просо, а не пшено. В таком виде крупа была получена старостой лагеря от немцев и пущена в дело. Это привело к массовому расстройству пищеварения из-за резкого раздражения кишечника.

Я на свой страх запретил сыпать в суп просо и пошел объясняться с начальством. Я ему объяснил, что необработанная крупа вызывает очень резкие и тяжелые заболевания, от которых люди

быстро погибают. Я знал понаслышке, что где-то неподалеку от нас губили таким же образом пленных, кормя их нерушенной гречихой. Это вызывало ужасные запоры. Гречиха колом стояла в прямой кишке, откуда люди выковыривали ее проволочными крючьями, разрывая кишечную ткань.

Но на моего шефа все это не произвело почти никакого впечатления. Он остался очень недоволен моими действиями и заявил, что у него нету для лагеря другой крупы. К счастью, быстро помог Полевой. Была снаряжена подвода в одну из ближайших деревень, где действовала крупорушка. Тульчевский поехал на ней с двумя мешками проса и вернулся к вечеру с прекрасным пшеном. Инцидент был исчерпан, а лагерный староста уверовал после этого в мои способности в отношениях с немцами и стал советоваться со мною во всяком деле. Главным из них была опять-таки баня — поездка в Орел ничего не дала. И тут нам снова помог Полевой. И избенку брошенную присмотрел, и указал, где камней можно набрать для печки. Не прошло и недели, как с благословения штрассенмайстера баня была готова. Это было довольно просторное помещение, в котором одновременно могло мыться человек 15. В одном его углу была печь со вмазанным в нее открытым котлом для подогрева воды. Вдоль стен шли лавки, а посередине, в виде бесформенной каменной кучи, возвышалась «каменка» — печь, сложенная из дикого камня. Когда она топилась, камни сильно раскалялись, и стоило плеснуть на них воды, как от нее подымался горячий густой пар. Над печью были прилажены горизонтальные палки для развешивания на них белья и верхней одежды. Одна беда — не было шаяк. Жести нигде добыть оказалось невозможно — разве что ободрать какую-нибудь крышу полуразрушенного и нежилого дома. Полевой посоветовал обратиться к бургомистру. В этом чине пребывал некий старичок — бывший присяжный поверенный, по словам Полевого, очень симпатичный человек. Дело в том, что Полевой сам первое время по приходе немцев в Нарышкино исполнял должность бургомистра. Но по прошествии некоторого времени немцы решили, видимо, что для этой роли необходимо более образованное и представительное лицо.

Сообщив обо всем штрассенмайстеру и получив от него в подкрепление одного простоватого и нескладного сотрудника ОТ, я отправился к бургомистру, сидевшему в полупустом домике, именовавшемся Нарышкинской городской управой. Принят я был очень хорошо и со вниманием выслушан, но бургомистр тут

же признался мне, что фигура он совершенно нереальная, ничем не распоряжается, все хозяйство находится в ведении немецкой комендатуры, расположенной неподалеку.

Я, разумеется, не очень был доволен таким оборотом дела. Идти к неизвестному мне немцу да еще в такой должности, связанной с военно-полицейскими функциями, мне не хотелось. Я этого попросту боялся. С другой стороны, я представлял себе, что если этого не сделаю я сам, то вряд ли есть какая-либо надежда довести дело до конца. Я знал, что немцы почти так же, как и мы, не любят своих военных комендантов, гестаповцев и т. п. Посылал же меня в Рославле унтер-офицер Гохбергер в Гестапо, вместо того, чтобы обратиться туда самому. Я считал, что полномочий моих и моего молчаливого немецкого спутника достаточно, чтобы без дальних размышлений отправиться в комендатуру. Во мне с детства жил некий инстинкт, толкавший меня к предметам, перед которыми я испытывал страх. Если, например, в темной комнате виднелось что-то белое, внушавшее мне страх, мне хотелось убежать, но что-то толкало меня на то, чтобы подойти и ощупать этот предмет.

Войдя в комендатуру, мы натолкнулись прежде всего на молодого человека в немецкой униформе, говорившего на хорошем русском языке, хотя и не без некоторого непонятного мне небольшого акцента, беседовавшего с какими-то двумя гражданскими лицами. Дождавшись паузы в их разговоре — он отчего-то закашлялся и заявил шутливо: «Чухотка напала» — я обратился к нему, объяснил, кто мы, и изложил нашу просьбу. Он ответил, что вообще-то комендатура не занимается такими делами — у них-де обстоятельства посерьезней. Например, они только вчера вернулись с облавы на советских парашютистов, сброшенных в небольшом числе где-то совсем поблизости. Это было нешуточное дело — они активно отстреливались...

Хотя осталось непонятно, чем же облава закончилась, я — отчасти из боязни услышать что-нибудь неприятное, не задавал лишних вопросов. Он со своей стороны все же добавил, что сообщит о нас сейчас коменданту. Выйдя в другую комнату, он возвратился очень быстро и сообщил, что комендант велит нам к нему войти.

Войдя в оставленную открытой для нас дверь, я увидел довольно большое, светлое и пустое помещение, в дальнем углу которого за простым деревянным столом сидел человек в одежде, виденной мною до сих пор только на фотографиях в журналах. Это была не военная, а партийная нацистская форма: на нем была коричневого цвета гимнастерка с красной повязкой на рукаве, на которой кра-

совалась свастика. Собственно, такие же повязки были и у всех наших ОТ-маннов, чем они первое время приводили меня в немалое смущение и содрогание. Но здесь это все выглядело более серьезно, и душа у меня ушла в пятки. «Всё, — подумал я, — попал к самому черту в лапы...» Тем не менее я привычно по-солдатски прищелкнул каблуком, отдал ему честь и объяснил, кто я такой и зачем пришел. Мой спутник стоял рядом и помалкивал. К моему счастью, комендант оказался вполне серьезен и оперативен. Он спросил меня только, как я думаю, где бы он мог достать для нас в Нарышкине необходимую для нас жечь. Я намекнул ему про кровельное железо с какого-нибудь разрушенного дома. Он приказал позвать к нему дежурного жандарма, который появился немедленно. Жандарму было приказано идти вместе с нами и высмотреть соответствующий дом. Я поблагодарил, и через какие-нибудь минуты дело было улажено. Жандарм подвел нас к ближайшему нежилому дому под железной крышей и сказал, что-де вот отсюда мы можем взять необходимое нам количество жести. Это было исполнено в тот же день, а еще через день в бане стояло десятка полтора великолепных железных шаек. Два дня мылся лагерь, на третий день староста пригласил меня, Тульчевского и двух наших украинцев, чтобы мыться с ним, с поваром, санитаром и кем-то еще из лагерного персонала.

Когда я явился в Нарышкино со штютцпункта, на мне было порядочно вшей. Но я замечал и раньше, что если нету откуда-нибудь притока новых чужих насекомых, то те, которые обосновались и размножаются на мне — в моем волосяном покрове и на одежде, — сами по себе исчезают недели через две под влиянием каких-то токсинов, вырабатываемых кожей. Так бывало уже не раз. Так оно было и теперь. Мытье в Орловском центре не избавило меня от вшей, но они постепенно пропали на мне после этого, так что в новую лагерную баню я пришел уже без них. Но несменяемое мое белье было черным от грязи. Стирать его было совершенно нечем. Но когда я повесил его на перекладину над каменкой и стал поддавать пару, оно довольно быстро побелело, как от стирки. Жар от каменки шел такой, что оно тут же и высохло. Это оказалась не только хорошая вошебойка, но и приспособление, заменявшее стирку.

Когда я через некоторое время осведомился, топится ли наша баня, лагерный староста мне недовольно ответил, что топят каждый день и нет никакого отбоя от немцев — и полиция, и ОТ, и

какие-то военные. Не знаю, говорит, когда еще теперь снова помоемся сами...

Я пошел с ним к полицейскому начальнику, и было обещано установить календарь, так чтобы лагерь имел два банных дня в неделю. Жизнь, таким образом, несколько вошла в определенную колею. Меньше стало забот и у нас, и у нашего начальства, которое в связи с этим проявляло ко мне некоторое благоволение — не такое, как в Яхонтове, где было все проще, но все же проявляло. При этом полиция относилась ко мне лучше, чем наш вечный брюзга штрассенмайстер, которого Полевой называл «черт без вожжей». Но некоторым уважением я пользовался и с его стороны, в особенности когда стал подавать ему в письменной форме сообщения о нуждах русской дорожной службы (по указаниям Полевого) и о нуждах лагеря. Все эти мои писания неукоснительно прочитывались штрассенмайстером вслух для его подчиненных и тут же намечались какие-нибудь конкретные меры. Я заметил при этом, что и здесь, совершенно так же, как и на штютцпункте, имеет место резкая вражда между полицией и ОТ. Полицейские к тому же мне представлялись людьми более покладистыми и добродушными. Среди них попадались люди несколько более образованные и интеллигентные, чем в ОТ, хотя через некоторое время и среди последних — только не среди начальства, а среди самого низшего хозяйственного персонала — Тульчевский обнаружил двух полунемцев-полуполяков из Данцига, с которыми нам бывало очень приятно и интересно — настолько, что мы их водили даже в гости к нашим друзьям-врачам.

Однажды на разводе в лагере я заметил, что один из пленных стоит отдельно и не попадает ни в один из снаряженных на работу отрядов. Я спросил его, в чем дело. «Не знаю, староста чего-то наябедничал...» Тогда я спросил об этом дежурного полицейского унтер-офицера. Оказалось, что староста заявил, будто этот человек занимается ни больше ни меньше как советской пропагандой, подбивает к побегу.. Его решено было изолировать, с тем чтобы переправить в другой лагерь. Я предложил выяснить через мое посредничество у старосты, на чем основаны его обвинения. Все, как и следовало ожидать, обернулось совершенной чепухой. Выяснилось, что староста и оболганный им человек чего-то между собой не поделили. Полицейское начальство было этим так возмущено, что решило было тут же сместить старосту, за которого мне пришлось теперь заступиться в свою очередь и передать от его имени обещание не прибегать более к подобным средствам расправы с

товарищами. Немцы мои искренно возмущались и не могли ничего подобного взять в толк, в то время как наши шли на такого рода ложные доносы с самой легкой душой. Полевой рассказывал мне, что и на него было сделано немцам немало ложных доносов. Немцы первое время слепо верили доносчикам, и многие люди страдали при этом так же невинно и нелепо, как и от нашего НКВД, но когда они убедились, что в большинстве случаев имеют дело с ложью и чепухой, стали безжалостно прогонять подобных доносчиков. Несколько позже мне приходилось сталкиваться с такими же, если не еще более бессмысленными, фактами и в отношении меня самого — я об этом расскажу в своем месте.

Опять наступило Рождество. Предстояли два или три праздничных дня, во время которых не производились никакие работы. Штрассенмайстер, еще когда разговаривал со мной первый раз, сказал, что ему известно о существовании у меня родственников около штытцпункта Вербник (так, с разрешения моих друзей в Юрасове, я называл их для начальства ОТ) и что если я буду хорошо работать, он переправит меня туда на Рождество. Тогда я поблагодарил его, а теперь напомнил ему об этом. Он довольно холодным тоном заявил, что не может этого сделать. Я огорчился, разозлился и, забыв кто я и где я, заявил ему, что-де нечего тогда было и обещать. Резко повернувшись, я без обычных церемоний покинул помещение. Через некоторое время я понял, что наделал глупостей и сам испортил еще, может быть, поправимое дело. На другой день утром, явившись по обыкновению к начальству и заметив его мрачный взгляд в мою сторону, я возобновил вчерашний разговор, начав с извинений и с того, что я, видимо, его не понял и сам не сумел сказать того, что хотел. Он ехидно улыбнулся и сказал, что в других случаях я изъясняюсь совершенно понятным образом. Но я повторил ему, что пусть он не думает, будто мне так легко выражать по-немецки разные тонкости. Это, может быть, и не всегда заметно, но я-то знаю, что далеко не всегда могу сказать именно то, чего хочу. К тому же я хорошо понимаю, что для меня тут не может быть никакого транспорта и что я прошу не об этом, а лишь о разрешении отправиться к моим родным на тот срок, на какой меня отпустят, доберусь же я туда и обратно сам, пешком — мы-де, русские, вообще не боимся пешего хождения, и 30 километров для меня не расстояние. Он несколько смягчился, сказал «nun gut, nun gut» и разрешил мне отсутствовать двое суток. Полевой было предложил

снарядить для меня подводу потихоньку, но я наотрез отказался — меньше всего на свете мне хотелось подвести этой моей затеей еще кого-нибудь.

На другой день, с самого утра я храбро отправился в путь, но не прошел и трех-четырех километров, как меня нагнало несколько карачевских подвод, возвращавшихся с какого-то наряда, которые и подвезли меня довольно быстро до самого Вербника. Морозец был рождественский, и, как я ни зарывал ноги в сено, именно теперь я почувствовал, что моя обувь, не приспособленная для хождения, тепла как раз только на ходу, а сидеть в ней на санях совершенно невозможно — сразу же застывают пальцы, которые я старался отогревать руками.

Путь километра в два от Вербника до Юрасова я проделал чуть не бегом. Вокруг было совершенно пусто — навстречу мне никто не попался и никто меня не обогнал — тем более были удивлены и обрадованы мои юрасовские друзья. Веселые возгласы, расспросы, рассказы о тех небольших новостях, которые произошли за это время в поле нашего зрения. Главная из них — что в школе удалось наладить занятия. Привезли немного дров, заделали кое-какие выбитые стекла. Занятия вели трое: Игорь Порфирьевич, Наталья Александровна и Татьяна Александровна. Муж Татьяны Александровны, по специальности радиоинженер, педагогикой не занимался, а учащихся именовал презрительно «трудновоспитуемые».

Я ужасно завидовал моим друзьям. Мне казалось, что я отдал бы полжизни — да какие полжизни — все, что у меня осталось, то есть полную неизвестность будущего и безнадежность, за возможность хоть немного пожить этим мирным и благородным трудом.

Время наше проходило за разговорами, общими трапезами (картошка и хлеб), чтением стихов на память. Я на сей раз явился с подарками: пайковым шоколадом для детей и сигаретами для взрослых. Праздник получился на славу. Ночевал я на куче сена, положенного в одном из классов. Было и тепло и мягко. До смерти не хотелось расставаться, но с таким начальством, как наш «черт без вожжей», шутить, конечно, не стоило. Добрался своевременно и благополучно с тем же самым молодым шофером, который впервые доставил меня в Нарышкино. На сей раз мы ехали как старые знакомые. Он рассказывал о доме, ругал начальство ОТ, а когда мы въехали в Нарышкино, нам навстречу попался тогда еще весьма редкий зверь. Это был советский командир, видимо отпущенный из плена и зачисленный в «Русскую освободительную армию», о которой мы хотя уже и получили определенное по-

нятие прошлой весной, но никогда еще не видели ее наяву. Он был вооружен пистолетом в кобуре, на нем висел планшет и еще какие-то ремни. Форма была советская. Знаков отличия не было, но вид был устрашающий и несколько бандитский. Мой шофер посмотрел на него и произнес: «Der richtige Kommissar»¹. Потрясающе! Это было как раз то самое, что мелькнуло и у меня в голове при взгляде на этого торжественно вышагивавшего вояку. Но откуда мог догадаться об этом мой немчик? Ведь он же никогда и комиссара-то ни одного не видел. Я засмеялся и закивал ему головой: «Ganz richtig...»²

Полевой и Тульчевский упрекали меня в трусости. По их мнению, ничего бы не произошло, если бы я остался еще на день. Штрассенмайстер не выказал никаких чувств при виде меня, а я ему — никаких благодарностей. Как будто ничего не было.

Когда я явился в лагерь, мне сообщили, что умер один военнопленный, как сказал наш фельдшер, от рожи. Заболел он будто бы недели две тому назад, сначала не жаловался, а последние дня четыре лежал. У него на шее было, действительно, красное пятно, но небольшого размера. Меня огорчило, что я не знал об этом раньше. Надо было вытребовать нашу знакомую врачу — моих собственных познаний в медицине не хватало, чтобы определить, действительно ли это рожистое воспаление и вправду ли он именно от этого умер. На вид ему было лет сорок, и он не выглядел изможденным. Это была единственная смерть в нарышкинском лагере за зиму 1942—43 годов.

Условия жизни военнопленных, сколь они не представлялись суровы, все же были совсем не те, как в прошлую, первую зиму войны, когда в Яхонтове к нашему приходу было уже человек 15 умерших от обморожения, да и при нас еще умерло человек семь-восемь. Один умер даже на дороге во время работы. Его зарыли до весны в снег, и один из украинцев-часовых, человек грубой души и зверской внешности, острил не раз, что-де один у него держит оборону возле дороги...

Полицейские уже знали о смертном случае в лагере. Было предложено позаботиться о похоронах. Гроб и крест нам помог соорудить опять-таки Полевой. Была выделена похоронная команда — человек 10, считая и меня. Сопровождал нас один полицейский. Похороны состоялись на нарышкинском кладбище. Мороз был

¹ Настоящий комиссар.

² Совершенно верно.

градусов на 20, могилу рыли по очереди, по двое, остальные в это время бегали по соседству погреться, а заодно и подшибить картошечки... И хотя вообще в наших лагерях дух товарищества развит был мало — условия жизни создавали обстановку равнодушия ко всему, — мы все же довольно трогательно попрощались с нашим покойным товарищем. Может быть, потому так, что все же смерть здесь у нас была в редкость и произвела поэтому впечатление. Короткую панихиду по нем отслужил дьякон — был и такой в нашем лагере, и лет ему было под пятьдесят. Не больно здоровый при том человек. Я предложил ему похлопотать об его освобождении из лагеря и об определении его в какой-нибудь действующий приход. Он с радостью согласился, хотя церковной службой не занимался уже лет двадцать, если не больше.

С этим делом мне опять пришлось идти к бургомистру. Он мне предложил написать письмо орловскому архиерею, что мною и было исполнено, в форме заявления от имени дьякона. Бургомистр обещал переправить его по назначению. Ответ не заставил себя долго ждать, но оказался отрицательным. Архиерей писал, что все его приходы укомплектованы и еще одному дьякону делать нечего... Просто было непонятно такое безразличие со стороны благочинного к своему меньшому брату. Ведь в заявлении было ясно сказано, что человек в плену, в лагере, в нужде, в беде. Приглашение на службу, хотя бы фиктивное, означало бы для него освобождение из плена, выход из лагеря... Пришлось констатировать, что шкурничество в церковной среде даже и в этих условиях продолжало процветать. Особенно негодовал и ругался по этому поводу Полевой.

Нам с ним по работе приходилось сталкиваться все чаще. Штрассенмайстер завел моду посылать его по трассе для дачи немцам всяческих советов по содержанию дороги, а меня посылал с ним, чтобы я переводил на немецкий язык то, что он найдет нужным сказать. Хотя он и сам мог, в конце концов, как-нибудь объясниться, но со мной ему бывало веселей. Ездили мы обычно на развальных, от ремонтера до ремонтера. В промежутках отогревались, иногда перепадало по стаканчику самогона.

Но один раз, в довольно холодную погоду, такое обследование трассы было предпринято самим шефом. Ехали на грузовике. Шеф сидел с шофером в кабине, а мы с Полевым стояли в кузове. Сидеть было невозможно — сильно подбрасывало на неровностях и к тому же в кузове были остатки какого-то мелкого песка, который ветром подымало со дна и кидало в глаза.

Полевой, помимо обычного зимнего пальто, надел большой

чепан на бараньем меху, служивший ему для поездок. На ногах у него были валенки. Я был в шинели поверх летнего обмундирования и в новых ботинках. Лучше всего у меня с недавнего времени была утеплена голова. Кто-то из полицейских во время работы на дороге ухитрился убить из винтовки зайца, шкуру которого и подарил пленным. Ее отдали портному. Он берег эту сыромятную заскорузлую шкурку, пока ему не пришлось в голову сшить из нее для меня шапку-ушанку (а до этого я ходил в картузе из немецкого сукна, сшитом мне в Яхонтове нашим комендантом). Не ахти какая получилась красивая шапка, но было гораздо теплее, чем в картузе. А главное, было трогательно такое отношение со стороны лагерных товарищей. В описанной экипировке ездили мы часов 5—6. Обогревы бывали редки и коротки — шеф торопился, и в кабине ему было тепло от мотора. Вернулись — зуб на зуб не попадал. Почему-то и Полевой замерз совершенно — позеленел весь и пришел в очень дурное настроение. Я же почему-то, помнится, еще пытался шутить. Но шеф, поглядев на нас, когда мы вылезли из машины, только замахал руками, давая этим понять, чтобы мы бежали греться.

Как-то Полевой заявил, что мы с ним поедem в одну деревню верст за десять с ночевкой. Нужно было поговорить со старостой этой деревни в отношении плотников, необходимых для каких-то работ. Меня он брал для компании, объяснив, что в деревне могут стоять какие-либо немцы, с которыми пришлось бы объясняться.

Доехали мы по морозцу быстро, еще засветло, как, впрочем, и было рассчитано. Подкатили к большой хорошей избе, встретил нас дородный хозяин, в новой, хорошо сшитой поддевке. Был он не молод, не стар, с окладистой бородкой и волосами в кружок. Стиль всего этого чувствовал он, видимо, великолепно. Ни дать ни взять, прасол¹ или трактирщик. Одним словом, с виду настоящий кулак, возродившийся как феникс из пепла.

Ужин не заставил себя ждать. Началось с самогона, которого несмотря на сопротивление влили в меня стакана полтора, что по моим возможностям оказалось многовато, и я, вместо того чтобы покраснеть, побледнел. Это заметил сейчас же хозяин и заторопился с закуской. Кормил он нас гречневой кашей с молоком — вещь невиданная и совершенно замечательная после непрерывного сидения на картошке. А за этим и того пуще — последовал творог со сметаной. Подавала нам хозяйка в платочке,

¹Прасол — оптовый скупщик скота и разных припасов.

подвязанном под подбородком, по старинной манере стоявшая в сторонке и не произносившая ни слова. После этой еды я маленько отошел и почувствовал себя крепче.

В деловом разговоре между Полевым и старостой, ведущемся преимущественно на междометиях, я участия не принимал. Потом, правда, немного поговорили на более общие темы, причем староста жаловался на крепость советского духа среди мужиков, который, по его мнению, усиливался. Я, хотя и понимал, что это действительно так, но пытался ему возражать в том смысле, что это, мол, от того, что война надоела, а в общем возражал не очень серьезно...

Ночевать нас поставили в избу, где были две женщины, сравнительно молодые, одна из них с ребенком. Как выяснилось потом — сестры. Та, что с ребенком, — офицерская жена из Брянска, ничего не знающая о своем муже, другая — бобылка. Полевому, видно, было что-то старостой сказано, потому что он, улегшись на одну из кроватей, которая была свободна, тотчас же начал меня подбивать не теряться, действовать и т.п. Я в шутливой форме отвечал ему тем же. Женщины молчали, делали вид, что спят. Та, что с ребенком, занимала вторую кровать, а сестра ее улеглась на маленьком коротеньком диванчике, поджав ноги. В комнате горела бензиновая, то и дело вспыхивавшая коптилка, дававшая колеблющийся, неверный свет. Я было с пьяных глаз подошел к постели женщины с ребенком, но был отрезвлен и сконфужен ее испуганным протестом. Отошел, не сумев даже толком извиниться. Полевой притих. Мне не хотелось ложиться к нему на постель, хотя она и была достаточно широка на двоих. В избе стояла еще простая, довольно узкая лавка, на которую я и улегся, предварительно погасив коптилку. Уснул не сразу. Женщина, лежавшая на диванчике, тоже долго крутилась, охала и вздыхала, не привлекая этим, однако, ничьего внимания.

Утром, когда мы проснулись, уже при солнечном свете, все было буднично-трагично в этой квартире беженки и ее деревенской сестры и хозяйки дома. Очень быстро познакомились и разговорились. Узнали всё друг про друга и, перед тем как попрощаться, извинились, ругнули старосту за то, что не мог нам отвести квартиру где-нибудь в другом месте...

* * *

Спасибо вам за ласковые письма.
От них уютом веет и теплом
Далеким, в эти дни едва ли мыслимым,
Но незабвенно-истинным в былом.

Все круче кипятков войны. В нем дружбе
Нечаянной и мига не продлить.
Не чудо ль, что она упорствует и глубже
Пускает корни в разоренный быт.

Мы познакомились на рубеже двух лет,
Который резче рубежа столетий.
Семь месяцев, как дня единый свет,
Как шалый день в пути, мы скоротали вместе.

Иной раз кажется: война лишь мрачный фон
Для бледных лиц здешних впечатлений,
Колеблемых на мертвой зыби волн,
На месте повторяющих движенье...

* * *

Любимый город, спишь ли ты спокойно
Невозмутимым, крыши скрывшим сном?
Вторую зиму мраком обездолен,
Ждешь участи, которой все мы ждем.

Ты недалеко. Нас одним объятьем
Ночь одевает неуютной мглой.
И ветер дым от паровоза пятит
За смежный горизонт, и твой и мой,

Я брежу грустным и пустым Арбатом,
Каким вступил он в дикий круг войны.
Привычные, мне камни эти святы.
Я вижу дом, в котором долго жил.

Пою с тоской про город мой любимый,
О том, как снова улыбнувшись мне,
Короткой ночью, в дымке снежно-синей,
Он спит — не спит в безлюдной полутьме.

Мороз застыл над строгой и открытой
Дорогой, над тобой и мной,
Забывшим, что и рельсы перешиты,
И фронт лежит через пути змеей.

* * *

Ваш сад меня далеко провожал.
А проводив, глядели лип вершины
Так долго вслед, как будто на чужбину
Я в даль и в снег навеки исчезал.

И вот конец картины этой всей...
Но я мечтаю, что опять увижу
Лип длинный ряд и вашу крышу,
И вас самих, моих живых друзей.

Мы целый год, впотьмах и впопыхах,
Ловили призрачные руки дружбы.
Не раз прощались навсегда и так
Друг другу стали дороги и нужны,

Что этот мир, ополонивший ад,
Где разбрелись, забылись, заблудились
Живой и мертвый, нас приводит в лад,
Которого мы прежде б не добились.

* * *

Я прикоснулся к сонным волосам
Чужой мне женщины. Рукою, винным жаром
Разгоряченной, лоск их осязал.
Впотьмах с желанным обликом связал их.

Отпор законный, прозвучав в тупом
Моем мозгу, развеял сумрак винный.
Задор упал, испугом опрокинут,
Сомнамбулой, разбуженным стыдом.

И все, что было пьяного во мне
И буйного, неслось куда-то в пропасть.
Лишь слабый смысл, прижавшись лбом к стене,
Стоял дрожа и пастью сердца хлопал.

Дрожал, боясь встревожить темноту
Над теплой, сладко наспанной постелью,
Откуда всхлип, как сноп огня плеснул —
Ее ребенок вскрикнул рядом с нею.

И в этот миг, пробившись сквозь войны
Гигантский вал, кипящий и блестящий,
Коснулся я волос моей жены,
С ребенком рядом беспокойно спящей.

Мы чувствуем, как бешено влечет,
Через разгром фронтов и мрак селений,
Нас время темное. Его слепой разлет
Вздымает зуд в груди, как вожделенье...

Когда наутро жесткие снега,
Скрипя как спирт, мне мысли прояснили,

Стыд отступил, как прежде гарь вина,
Но не отрекся от вчерашней были,
Которая не будет мне в укор,
Лишь от себя, на шаг коня, отпустит
И горькое предстанет qui pro quo
Перед улыбкой мягкой искусства.

Застольная

Не отравляйте меня самогоном —
Не заставляйте надолго терять
Нехитрый смысл и скупую свободу
Пленом придушенного бытия.

Я податлив на добрые просьбы.
Противиться благодушию как-то стыдно.
Стали б упрашивать прыгнуть в пропасть —
В конце концов подошел бы и прыгнул.

Я человек не от этого мира —
Мир мой строже и горше вашего;
Он отнимает все мои силы,
Всего использует и изнашивает.

Мне трудно всё, что для вас легко.
Зато на слезы и на экстазы
Я легок и скор, как нигде никто,
И чувств моих поезда не опаздывают.

Лошадь, в опор несущую весь,
Подстегивать — варварство и мучительство.
Жизнь на вечном скаку — болезнь
И при этом болезнь неизлечимая.

Не принуждайте же к алкоголю
Того, кто и так как спирт летуч.
Если б вы знали, чего это стоит,
Вы бы меня не вздумали мучить.

На обратном пути, под морозным утренним солнцем, Полевой, полулежа в санях, приходил в себя от выпитого вчера самогона и ворчливо говорил:

— Терпеть не могу ночевать по деревням. Только вшей набираться... Как ни сторонишься, ни бережешься — обязательно гостинцев этих домой прихватишь...

Он ехал домой из довольно обычной для него и в мирное время поездки. Если бы не немцы на дороге, не этот «черт без вожжей», о войне можно было бы вспоминать, как о чем-то нас не касающемся. Вот он вспоминает, как лихорадочно жило Нарышкино в первый месяц войны, как неожиданно быстро надвинулись немцы. Он сам по состоянию здоровья (туберкулез легких) оказался в числе немобилизованных. Им предложено было организовать отряд самообороны («истребительный батальон»), который, однако, не успел organizоваться. Так он и встретил немцев у себя дома. Как ни в чем не бывало. И довольно быстро к ним привык, тем более что кой-как мог с ними объясниться.

Вспоминает и о своей работе перед войной:

— В НКВД нам было неплохо. Порядок и дисциплина. Конечно, не без самодурства. Был у нас дорожный рабочий один, по фамилии Троцкий. Приезжает начальник участка. Я ему ведомость. Читает. Доходит до этой фамилии: «Это как же так — Троцкий?» Да, так, говорю, фамилия такая... Он несколько раз недовольно ее повторил, потом возвращает мне ведомость: «Не подпишу с такой фамилией»... Пришлось человеку экстренно фамилию менять...

В конце января — в феврале война снова начала нам о себе напоминать. Стал к нам ночью, а то и днем залетать советский самолет. Кружит, кружит где-то очень высоко. Мы его называли «прикрепленный». Иногда он бросал бомбу. То на железнодорожную станцию, то на так называемый подъездной мост, по которому железная дорога проходила над шоссе. Попадания в станцию бывали, в подъездной мост — ни разу. Как-то солнечным и морозным днем мы сидели в доме у Полевого, все было весьма мирно, и вдруг сразу два разрыва, один за другим, где-то в непосредственной близости. Это по нас... задрожал домик, ударила взрывная волна. Раздался женский плач — мать Полевого испугалась, не убило ли корову. Ей показалось, что бомба упала в сарай. Бомбы были небольшие, ямок от них почти никаких не образовывалось. Я вышел во двор и увидел немцев ОТ, собравшихся по тревоге. Один из ближайших помощников шефа — трупфюрер Фогль — выскочил с автоматом. Вид у него был очень воинственный.

По ночам начались интенсивные бомбардировки Орла. Зрелище от нас иногда бывало довольно эффектное: прожектора в небе и разрывы зенитных снарядов. Иной раз перепадало случайно и нам — кидали на какой-нибудь плохо замаскированный свет. Однажды ночью я проснулся весь засыпанный штукатуркой: бомба упала где-то неподалеку, сильно тряхнуло домик. Украинцы мои в

перепуте вскочили, стали одеваться. На меня почему-то все это тогда не производило большого впечатления и страха не вызывало. Намерзнешься за день, очень хочется спать, несмотря ни на что. Я отвернулся от света и быстро заснул.

Меня очень удивляло, что наши не бомбят нарышкинский артиллерийский склад. На дорогах везде вывески-указатели. Связь с партизанами какая-то должна была существовать — сужу по тому, что Полевой как-то предложил мне переправить письмо «на ту сторону». Я из предосторожности отказался — побоялся какой-нибудь провокации. Но склад так и не бомбили, связь-то, видно, была несерьезная...

Наши знакомые польские немцы больше водились с Тульчевским — он говорил немного по-польски. Но и меня они не гнушались и явно интересовались военными новостями не через официальные каналы. Но у нас таковых не было. И вообще, все новое мы все-таки раньше всего узнавали именно от болтливых немцев.

«Ну, что говорит искусство?» — спрашивает, бывало, меня поляк с плохо скрываемым любопытством. Что я ему скажу? «Искусство молчит», — отвечаю я (разговор к тому же происходит по-немецки). Тот не доволен ответом: «Heute Nachts aber hat sie nicht geschwiegen...»¹ Да, ночью была сильная бомбардировка Орла... Но меня в то время эти бомбардировки более огорчали и раздражали, чем радовали. Немцев в Орле, конечно, не так уж много. Бьем больше по своим. Разлетаются убогие домишки и без того вконец обездоленного населения. В какой-либо военный эффект подобных налетов верить не приходилось.

Один полицейский, уезжая в отпуск, спросил, не могу ли я ему помочь выменять на что-нибудь гуся? Ему очень хотелось привести домой такой подарок из России. В Германии, как мне это стало известно еще из разговоров со Штреллером, было достаточно голодно. Гуси-то еще кой у кого из нарышкинцев имелись, но я не помню, удалось ли мне посодействовать ему в этом предприятии. Но помню зато, как этот простоватый немец мне между прочим сказал: «Переводчик, не правда ли, ведь это же совершенно логично (es wird ja logisch), что Германия выиграет эту войну?» Я, конечно, ему поддакнул, но в глубине шевельнулось суеверно-злорадное чувство — смотри, мол, как бы эта логика тебя не подвела. Слишком уж безапелляционный расчет...

Через некоторое время после этого разговора другой полицейский чин, когда я, ни о чем не подозревая, стал напевать немецкую

¹Однако этой ночью они не молчали...

солдатскую песенку «Und wir fahren gegen England...», спросил меня, знаю ли я, что сегодня день траура. Я не понял сначала — какой-нибудь поминальный день? Он отрицательно покачал головой и протянул мне газету. Я с чрезвычайным удивлением, еще толком не понимая, в чем дело, прочел: «Выступал Гитлер и объявил о поражении немецких войск под Сталинградом. Погибла сотысячная армия. Объявлен день траура...»

Неужели это начало немецкого поражения? Пространства и господствующие в них естественные условия начинают оказывать свое действие. Нельзя уже руководить обстоятельствами, все идет уже только само собой... Я сообщил о прочитанном товарищам. «Да... вот те на...» Но в общем восприятие было достаточно сдержанное.

Через некоторое время меня поманил Полевой. Вошли в дом, где уже сидел Тульчевский. Полевой вынул из-за пазухи листовку «Вести с советской родины». Тут сталинградские события были описаны более подробно и сказано, что в окружение попало 300 000 человек. Ощущение того, что происходит какой-то перелом в войне, укрепилось во мне еще больше, хотя я, все из того же суеверного чувства, старался прогонять от себя подобные мысли: вот надеешься, поверишь, а как потом будет горько и страшно разочарование...

Через Полевого стали до нас доходить слухи, что линия фронта в ее юго-западной части приблизилась к нам. Фронт будто бы под Кромами и под той самой Навлей, про которую мы слыхали, как про партизанский район. Говорили, что ночью можно услышать артиллерийскую канонаду...

Зайдя однажды по какому-то делу в казарму ОТ, я услышал горячий разговор между труппфюрером и одним из рабочих. Первый из них шумно и горячо восклицал: «Нашу родину мы должны защищать здесь! Разве я не прав, переводчик?» — добавил он, заметив меня. Я знал, что каждый из этих людей больше всего на свете мечтает о возвращении домой, как уже о том же мечтали все те солдаты дорожного батальона, при котором я находился в самом начале плена, в 1941 году. Стало быть, эти слова были произнесены не более как по долгу службы. Разумеется, я поддакнул. У его собеседника был мрачный и недовольный вид. Но он ничего не сказал больше. Мне оставалось только догадываться, о чем между ними могла идти речь.

Дело шло к весне. Был март месяц, стояли туманные и сырые дни. Однажды с утра не поступило распоряжения о выходе на работу. Все были в сборе, чего-то ждали, на дорогу не выходили. Так

мы и просидели в ожидании неизвестно чего в своем домике. От Полевого узнали, что где-то недалеко будто бы видели советский танк, в связи с чем ОТ бояться выходить на работу и требуют их эвакуации. Знал он это, видимо, от поляков, которых незадолго перед тем в Нарышкино появился целый отряд. Они были в гражданской одежде и должны были, как и мы, работать на дороге под командой ОТ. У них был свой молодой десятник, который объяснялся с шефом через меня. Отношения с поляками у нас были очень хорошие. «Поляки, русские — одно и то же», — говаривал десятник, и мы его в этом никогда не разочаровывали. У них была, видимо, более тесная связь с польскими немцами из ОТ, и поэтому они больше знали.

На другой день на работу опять не вышли, но мне было приказано отправиться к ближайшему ремонтёру, жившему в пяти километрах от Нарышкина, в направлении Карачева, и передать ему распоряжение о выходе с крестьянами на работу по очистке проселочной дороги к артиллерийскому складу. Я шел по совершенно пустынному шоссе. Никакого транспорта не было, не было и никаких пешеходов. С ремонтёром, сидевшим в ожидании распоряжений у себя дома, мы немного посудачили о том, что бы все это могло значить. Уж не собираются ли немцы и вправду уходить из Орла? По моим представлениям, пространство между Орлом и Брянском, находившееся в немецких руках, представляло собой некий мыс, вдававшийся в линию фронта, поскольку фронт был с одной стороны где-то недалеко от Карачева, к северу от него, и с другой — где-то около Навли. Я не стал особенно вдаваться в эти подробности, хотя и чувствовал, что ремонтёру и еще двум-трем сидевшим у него мужичкам это было до смерти интересно. Не было никакой гарантии в том, что любой из этих людей не заявит первому же попавшемуся немцу с откровенностью и хвастовством: «Пан, толмач заген скоро дойч капут...»

На следующий день работы стали производиться нормальным порядком. Так мы ничего толком и не узнали. Было такое ощущение, что миновал или, по крайней мере, отсрочился какой-то кризис, а там кто ж его знает.. Полевой, впрочем, не унимался: «ОТ возят на станцию тяжелое оборудование. Хотят отправлять его по железной дороге...» Действительно, дня через два нас — я имею в виду лагерь и поляков — погнали на станцию грузить на платформы снегоуборочные машины, которые в наших условиях негодились, локомотивы, которые я тоже никогда не видел у них в действии, и какие-то большие ящики. Увезли все это в

направлении Брянска. Что-то, конечно, происходило... А может быть, просто отправляли инвентарь, в котором не было нужды?

Шеф наш уехал в отпуск, и его замещать стал труппфюрер Фогль, простой, очень энергичный человек, который много ездил по участку, во все вмешивался и постоянно таскал с собой повсюду меня. Он называл меня на «ты» и по имени — «Лео», но это у него получалось как-то просто, не фамильярно, тем более что вообще он был совершенно корректен и даже внимателен.

Наступила Пасха, было объявлено два праздничных дня, и я опять отпросился в Юрасово. С Фоглем разговаривать было проще, чем с «чертом без вожжей». Он сразу же разрешил мне Urlaub¹ и даже посадил на попутную машину. Когда я прощался с товарищами, и Полевой и Тульчевский в один голос твердили мне, что-бы я не волновался и не торопился, что всё они тут сделают сами, спешки мол никакой нет...

Я слез с машины, не доезжая до Вербника. Мне хотелось зайти в Яхонтово и повидать моих бывших хозяев, с которыми я сроднился и теперь, за зиму, по ним даже соскучился. Всех нашел на месте. Жили тихо-спокойно. Немцев в Яхонтове не было. За всю зиму стояла недолго одна какая-то часть да уехала. «Богатые были немцы», — рассказывали мне наперебой ребята. Чуть не пятеро легковых машин, электростанция, всюду, где немцы стояли, электричество провели, телефоны...

Слухи о поражении немцев под Сталинградом дошли, конечно, и до Яхонтова. Мне осталось сообщить только кое-какие подробности... Аким Фомич был настроен очень оптимистически: «Теперь скоро наши придут». Я было ему намекнул, что если наши действительно придут, то с яхонтовских мужиков спросят за то, что они вовремя не явились на призывной пункт. «Ну, вот еще, мы же поехали, нас немцы остановили... Нам же через саше переезжать, по саше, вон они, немецкие танки...»

— Опять же, война на этом не кончится, если наши придут. Война все равно еще будет долгая, и вам тогда повоевать придется.

— Ну что ж. Меня не возьмут. Я ведь на военном складе работал. Наши придут — склад восстанавливать будут. Меня опять туда на работу возьмут, я и не сомневаюсь.

— Когда фронт второй раз проходить будет, могут и деревню спалить, и народ поубивает во время боев...

— Э, у нас тут, Андреич, фронту никогда не бывало. В граж-

¹ Отпуск.

данку Деникин от Орла подходил, артиллерию слышно было, а через нас фронт не пошел... Так и теперь не пойдет...

Казалось мне, я уже слышал и раньше от него эти побасенки. Сбить его с этой позиции было совершенно невозможно... Посидели мы с ним еще, покурили.

— Всё равно победа будет за русскими. Не может того быть, чтобы немцы тут остались...

Я ему сказал, что это еще неизвестно — чья будет победа. Много надо знать, чтобы соображать такие вещи. А что немцы сильны воевать — это-де мы с ним сами видели...

В Юрасове тоже все было как прежде. Встретились опять как родные. Время проходило за бесконечными разговорами. Оказалось, что муж Татьяны Александровны как-то соорудил детекторный приемник из каких-то жестянок, и они слушали Москву. Я на них напустился: «Ведь за это могут всех перестрелять...»

— Вот еще чепуха. Его у нас немцы видели — только посмеялись...

— Ну неужели надо вам объяснять, что немцы немцам рознь? Одним наплевать, а другие пришлют сюда гестаповцев.

— Ну ладно, мы его отнесем на чердак...

— Еще хуже. Найдут на чердаке — не будет сомнения в каких-то тайных умыслах.

Сошлись на том, что приемник разберут на части, в отдельности никакого подозрения не вызывающие.

Два дня промелькнули незаметно. Надо было отправляться обратно, о чем я думал без всякого удовольствия. И не только потому, что не хотелось расставаться с юрасовцами, — все страшно развезло, кругом бежали потоки воды по обнажившейся глине, идти было очень трудно — сразу же на ноги налипали комья земли. Вдобавок еще началась ужасная мокрая пурга. Не только что ничего не видать кругом, но и лицо совершенно залепляет снегом.

Я вспомнил уговоры моих нарышкинских товарищей и решил остаться до завтра. Но на другой день заторопился не на шутку. Чтобы облегчить мне путь до шоссе, Игорь Порфирьевич исключил для меня у старосты лошадь. Но из-за полнейшей распутицы надо было ехать вечером, без седла, конечно, и даже без узды — на лошади была только обрать из куска грубой толстой веревки. Кое-как я на нее взгромоздился и, распрощавшись с друзьями, поехал нажком. Лошадь мне предложено было оставить на штыцпункте. По началу все обстояло хорошо, но когда пришлось преодолевать

небольшой косогор, некованая буланка стала скользить и чуть что не падать. Я слез и решил провести ее до ровного места на поводу. Однако она, чего-то испугавшись, уперлась и не желала сделать шагу. А когда я стал дергать повод, она, мотнув энергично головой, легко освободилась от обрати и, круто повернув, рысью побежала обратно в деревню. У меня в руках остался кусок веревки, которую я и бросил с досадой, и зашагал по воде и грязи к шоссе.

На пункте мне пришлось подождать попутной машины. В Нарышкино я прибыл только к вечеру. Встретил меня до смерти перепуганный Тульчевский.

— Представляете себе, несколько раз приходил злой, как черт, труппфюрер: «Во долметчер?» Я ему: «Вайс ниht...» А он ругается: «Ферфлюхте партизанен». Полевой тоже накинулся на меня так, как будто бы и никогда не советовал мне не торопиться.

Я тотчас же доложил и объяснил свою задержку боязнью сбиться с дороги в пургу. Фогль мрачно посмотрел на меня: «Больше никогда никуда не пушу. Знаешь ли ты, что если бы тебя не было еще час, я обязан был бы доложить генералу Гаману, — так звали коменданта города Орла, — о том, что ты убежал к партизанам?»

Я внутренне проклинал себя за то, что поддался на сей раз легкомыслию, вообще мне все-таки не свойственному. Но этого я не стал объяснять Фоглю. Когда он отпустил меня, я особенно звонко прищелкнул каблуком и подчеркнуто по-военному отдал ему честь, в ответ на что прочел в его глазах подобие улыбки...

Была уже речь о том, что в обязанности мои и живших со мной вместе трех украинцев входило оказание помощи машинам, съезжавшим с дороги против нашего домика из-за не по габариту построенного мостика, который был немного уже, чем полотно шоссе. Такие случаи нет-нет да и бывали. Однажды у нас заночевал какой-то унтер-офицер, машина которого, побывав в кювете, отказалась идти своим ходом дальше. Утром, когда мы уселись завтракать, наш невольный гость продолжал лежать, хотя уже и не спал. Выяснилось, что у него нету с собой никакой еды, поскольку он совершенно не рассчитывал на эту задержку и еще вчера должен был прибыть в свою часть... Тогда мы предложили ему разделить наш завтрак. Он без особых колебаний согласился и, когда немного поел, пришел в благодушное настроение.

— Черт знает до чего отвратительна эта война. Ну чего мы воюем? Вот вы кормите меня своим завтраком. Я же хорошо знаю, что питаетесь вы хуже нашего. Однако русский человек по природе

гостеприимен, русские не хотят с нами воевать. Это все только из-за жидов, только из-за этого дерьма...

Я заметил, что лицо Тульчевского заливается краской, сдерживающе ему подмигнул и спокойно, хотя и без особого энтузиазма, поддакнул немцу.

Потом Тульчевский сказал мне: «Иногда просто не хватает сил все это выслушивать. Вы знаете, у меня жена похожа на еврейку, так что подобные вещи приходилось выслушивать и раньше...»

Вскоре было объявлено, что нарышкинская база ОТ прекращает свое существование, а лагерь и нас разбрасывают по пунктам, расположенным ближе к Карачеву. Фогль, в частности, направляется в поселок Долгий, в 12 километрах от Карачева. Он сказал мне, что я буду направлен туда же и даже раньше, чем он, так как он должен сначала все тут ликвидировать.

Тульчевский был очень огорчен тем, что мы снова с ним расстаемся, тем более что в отношении него еще не было известно, куда именно он будет направлен. Трогательно и сердечно было также прощание с семейством Полевых.

Лагерь в поселке Долгий

Поселок Долгий был мне известен и раньше. Это была граница того участка дороги, который находился в ведении Штреллера, так что я иногда либо туда, либо оттуда добирался до Яхонтова пешком. От Юрасова же до Долгого должно было быть еще ближе, в особенности если ходить напрямик. Так что я был, в смысле ощущения близости к моим друзьям, доволен предстоящим переселением в Долгий.

Привезли меня туда на грузовой машине вместе с тремя десятками пленных, назначенных для пополнения лагеря. Привез нас полицейский лейтенант. Меня определили к «украинцам». Это были почти сплошь русские молодые ребята, преимущественно бывшие младшие офицеры — человек десять, — а старшим среди них был бывший старший лейтенант Петров, с которым у меня позднее установились хорошие отношения. Но первые дня два на меня посматривали хотя и подбострастно, но недоверчиво. Прежних знакомых у меня ни среди них, ни среди других пленных почти что не было. Мне стало как-то одиноко и сиротливо после наладившегося было житья в Нарышкине среди симпатичных и мне симпатизировавших людей. Я мечтал о Юрасове, но подымать об этом разговор было явно несвоевременно.

Получилось так, что самыми знакомыми для меня людьми здесь оказались немецкие полицейские, привезшие меня сюда, и я ходил по вечерам к ним в гости для всякого рода разговоров. Через несколько дней у них остановился проездом помнивший меня по Нарышкину полицейский офицер. Узнав, что я живу в лагере, он распорядился, чтобы мне было разрешено перебраться в какую-нибудь поблизости расположенную избу для более свободного проживания. Я не преминул этим воспользоваться, но так как никого в деревне этой не знал, то выбрал самую близкую избу, прямо против лагерных ворот, в которой, как оказалось, жила одинокая женщина с двумя маленькими детьми — старшему мальчику было лет шесть-семь.

Изба была большая и довольно чистая. Я устроился на лавке под окнами, а хозяйка, спавшая, видимо, обычно на печке с детьми, легла на сей раз внизу на большом ларе, наискосок от меня. Эта ее территориальная близость ко мне — давно лишенному женского общения, привела к неизбежному нашему сближению в эту же ночь, после чего началась наша кратковременная «семейная жизнь». Жила она трудно и бедно, и мы с ней объединили наши съестные достатки. Она требовала моего внимания к детям, что я делал охотно, но мальчишка был довольно диковат и туповат, так что я находил утешение в трехлетней девчонке, уже норовистой и кокетливой, забиравшейся охотно ко мне на лавку, приплясывавшей и напевавшей:

З'ухажера замуж выйду —
Нате-ка возьмите-ка,
Всем девчатам на завиду —
Вот моя политика.

Слова она произносила очень еще неразборчиво, но мать расшифровала мне эти популярные в их предвоенной деревне частушки. Жили они без отца уже года два. Его еще до начала войны забрали в тюрьму за какое-то мелкое колхозное воровство.

Неподалеку жила ее мать — нестарая, с виду красивая женщина, с целой кучей детей. Старшей из живших при ней дочерей было лет восемнадцать. Отношения наши с моей хозяйкой меня очень скоро начали весьма тяготить. В особенности мне было тяжело, что она как-то все принимала слишком всерьез, не понимая того, что я военный и пленный — сегодня здесь, завтра кто его знает где, — и попросту была очень рада, что бог послал ей наконец мужика. Она издевалась над моей сдержанностью в выражениях, подчеркнуто

употребляла разные забористые слова, а когда я заикнулся о том, что хочу сходить в Юрасово навестить родных, она подняла крик: «Что ты меня обманываешь, у тебя там любовница...» Хотя я и не мог считать Наталью Александровну моей любовницей, но меня все же очень поразила интуиция этого довольно примитивного в общем-то существа. Или это было просто случайное совпадение, а не догадка? Хотя я о Наталье Александровне, кажется, в рассказах упоминал. Меня злило, что она ревнует, не думая о том, что, возможно, завтра мне уже не придется у нее ночевать, и вообще она, может быть, больше никогда меня и не увидит. Все же наша совместная жизнь продолжалась около месяца, и я, ее жалеючи, несмотря на все ее фокусы, наверное, сам бы от нее не ушел. Заставили меня это сделать посторонние обстоятельства. Весна была в полном расцвете, и немецкие фронтовые части стали приходить к нам на кратковременный отдых — на три дня, на неделю. Они занимали почти всю деревню, кроме самых маленьких бедных избенок. У моей хозяйки становилось человек десять. И всякий раз на время постоя мне приходилось перебираться в лагерь, так как в избе становилось слишком тесно и немцы донимали меня разговорами.

После двух или трех таких вынужденных ретирад я решил перебраться на новое место. Чтобы не обидеть мою хозяйку, я выбрал избу ее матери, маленькую и темную, в которой никогда не бывало постоя. Ход этот оказался правильным. Она хотя в общем и недоумевала, но не обиделась. Все уговаривала меня переселиться обратно или предлагала приходить по ночам к матери, от чего я, однако, решительно отказывался.

Помимо того, что меня мучило наше полнейшее несоответствие, еще больше сдерживало несоответствие всех этих, хотя и случайных, но серьезных обстоятельств, происходивших вокруг нас. Пока я был в ее доме, это сознание не настигало меня с такой остротой, теперь же я и понять не мог, как это все могло случиться.

Матери ее было лет под пятьдесят, но на ней еще не было никаких признаков старости, и если бы не ее смуглое лицо и черные волосы (старшая же ее дочь была блондинка), между матерью и дочерью нельзя было бы угадать необходимой разницы в возрасте. Она была совсем равнодушна к своей старшей дочери, воспринимала ее как соседку, не более, ко мне же проявляла значительный интерес и всячески подчеркивала, что ей приятен мой переход в ее дом. Я, как и на прежнем месте, ложился спать на лавке, подстелив под себя шинель, а под голову положив противогазную сумочку со всем

моим имуществом, она же с печки перешла спать на пол, мотивируя это боязнью бомбежек.

Нас действительно стали довольно часто бомбить по ночам. Не нас, конечно, а периферию Карачева, от которого мы находились на расстоянии 12 километров. Бомбы, при этом иногда достаточно тяжелые, падали неподалеку, когда пойманный прожекторами самолет, стараясь улизнуть, избавлялся как попало от стеснявшего его груза. Не знаю, как бы повернулась наша с ней жизнь при других обстоятельствах, но частые ночные бомбардировки Карачева очень пугали наших крестьян, и они стали ночевать в погребах (или, как там говорили, «выходах»). В один такой глубокий «выход», расположенный где-то по соседству, стала ходить и моя новая хозяйка с детьми, оставляя свою избу на меня. Я видел в этом как бы перст судьбы, и мне становилось легче при мысли, что сами обстоятельства идут навстречу моим сдерживающим импульсам.

Немецкий постой в нашем поселке становился к тому же все интенсивней. Видимо, и вправду фронт приблизился настолько, что мы попали в зону, использовавшуюся для отдыха военных частей. Фронтовики стали ночевать, заполняя иногда все помещения, даже и в нашей избе. Мне все чаще приходилось искать спасения в лагере, пока я, наконец, не решил вовсе в него переселиться. Помог мне в этом наш лагерный санитар Федя Долгов, с которым к этому времени мы хорошо подружились. Нам удалось исхлопотать небольшое помещение, где были поставлены четыре койки для больных (четверым ежедневно разрешалось «болеть») и коечка для санитаря. Он предложил мне нарастить ее на один этаж, чтобы у меня в лагере было постоянное, и при этом самое уютное из возможных, место. Мне это очень понравилось, я почувствовал себя там гораздо спокойней и проще, чем в деревне, и вскоре обратился с просьбой к начальству разрешить мне жить в лагере постоянно, на что и последовало согласие, полученное мной от прибывшего наконец в качестве начальника этого пункта ОТ Фогля. Так мы и зажили с Федей в нашем «ревире». Была у нас там железная печка из бензиновой бочки — топили уже только для того, чтобы сварить картошки, которой в деревне на наше счастье было много и доставать ее было нетрудно.

Вместе с Фоглем пришли к нам и еще кое-какие перемены — ушла охранявшая нас полиция и вместо нее появились молодые бельгийцы или, как немцы их называли, «фламандцы». Это были совсем зеленые юноши, лет по 18–19, ненавидевшие немцев и абсолютно презиравшие нас. Говорили они или на фламандском

диалекте, понимать который было нелегко, или по-французски. По-немецки разговаривали лишь некоторые, занимавшие поэтому унтер-офицерские посты. Стоило мне, однако, заговорить с двумя-тремя из них по-французски, как я сейчас же оказался в центре их внимания и расположения. Посыпались тысячи вопросов, негодование на немцев, рассказы о домашней жизни. Какой-то юноша допытывался, не аристократического ли я происхождения, поскольку ему было известно откуда-то, что в России по-французски говорили преимущественно аристократы. Он-де бельгийский дворянин и испытывает здесь острую тоску из-за отсутствия среди товарищей себе подобных...

Я узнал от них, между прочим, что Тульчевский находится на пункте в селе Городок, между Вербником и Нарышкино. Я рассказал им со своей стороны, что это мой товарищ, что мы долго были вместе, а вот теперь уже месяца два, как я его не видал и ничего о нем не знаю. Просил передать ему при случае привет. Каково же было мое изумление, когда чуть ли не на следующий же день я увидел подъезжающего к нашему лагерю на велосипеде Тульчевского. Я ему очень обрадовался, но решил было, что мой привет и его появление здесь никак между собою не связаны и прибытие его сюда в этом смысле совершенно случайно. Однако оказалось, что наши бельгийцы по своей системе — видимо по телефону — передали в Городок, чтобы Тульчевского прислали сюда именно для свидания со мной. И он рассказал мне, что ему буквально не дали опомниться и заставили немедленно ехать ко мне. Он решил было, что что-нибудь случилось... Велосипед же у него тоже был бельгийский.

Мы с ним проболтали часа два-три. Я был рад тому, что узнал, где он, и обещал со своей стороны использовать какие-либо okazji для встречи с ним. Он мне рассказал, между прочим, что село Городок называется так потому, что посередине него находится высокий большой холм, называемый «городок». Меня это очень заинтересовало, и я действительно попросил Фогля, в ведении которого находились все пункты ОТ от Карачева до Нарышкина, взять меня с собой в Городок, если он туда поедет. Возможность такая представилась чуть ли не через неделю-полторы, и я прикатил в Городок с Фоглем на маленькой легковой машине. Действительно, посередине большого старого села, которое как бы раздвинулось для этого, образуя широкую площадь, находился большой широкий и крутобокий курган. Во мне все трепетало внутри, когда я лез на его вершину. Осмотрев внимательно осыпи, я подобрал

несколько обломков керамики с мелким ямочным и волнистым орнаментом, которая могла быть славянской керамикой не позднее XIII века. Карманы моей шинели, в которых лежали два или три моих зуба, выпавшие у меня от цинготного состояния в 1941—42 году, наполнились теперь образцами этой керамики. Фогль поинтересовался результатами моего обследования и сообщил о них командиру пехотного батальона, стоявшего в это время на отдыхе в Долгом. Тот немедленно потребовал меня к себе, проявил интерес к русской археологии, рассматривал мою керамику, проклинал войну и свою тоску по разным интеллектуальным вещам. Книг я у него однако никаких не видал да и не понял толком, какова его собственная гражданская специальность. Во всяком случае у него были широкие гуманитарные интересы, и разговаривал он со мной как совершенно интеллигентный человек.

Фогль объявил мне, что по воскресеньям работы производиться не будут, в связи с чем он разрешает мне, но не чаще, чем раз в две недели, навещать в воскресные дни моих родственников в Юрасове. Я уже исподволь готовился к такой возможности. У меня образовался целый запас сигарет, сахару и шоколаду — все это было накоплено и приготовлено для моих друзей и их детей. Это путешествие в Юрасово, предпринятое в совершенно летний июньский день, я производил по предполагаемому наиболее короткому пути. Вначале я шел наугад — в ближайших к Долгому деревнях Юрасова не знали, но вскоре мне начали указывать дорогу, и я двигался совершенно уверенно, рассчитывая пройти в общей сложности километров 8—9, не больше. Дорога была довольно живописна, все больше берегом небольшой речки, по пересеченной холмистой и овражистой местности, с перелесками и старыми садами, обрамленными вековыми липами, — остатками дворянских усадеб.

После жизни на дороге, с ее всегдашним шумом и признаками близости фронта, здесь поражала и очаровывала тишина и ничем с виду не омраченная мирная обстановка. Повстречал я и какого-то довольно интеллигентного карачевца, вступившего со мной в разговор. Он спросил, не из Карачева ли я. Узнав, что из Долгого, поинтересовался, не учитель ли я. Узнав же, что я переводчик из лагеря военнопленных, пожелал узнать, что же это на мне за форма. А она действительно должна была вызывать удивление. Наконец-то, лишь в 1943 году, немцы стали снабжать пленных — в особенности тех, кто более пообносился, верхней одеждой. Это было старое, изношенное немецкое обмундирование, перекра-

шенное в ярко красный, синий или зеленый цвета, чтобы ни с чем нельзя было спутать. Я выбрал себе синий френч и брюки. Костюм этот, видимо, выглядел на мне довольно щегольски, раз мог быть принят за какую-то немецкую форму.

В таком виде и предстал я перед моими друзьями, которые, как всегда, мне очень обрадовались. Радость их еще более возросла, когда они узнали, что я опять довольно близко от них и буду иметь возможность их навещать. Принесенные мной им деликатесы привели их в совершеннейший раж, вплоть до того, что они единодушно определили мое положение у немцев как весьма уважаемое и прочное. Я не стал их разубеждать: им, как и мне, тоже не мешало иметь в этом бурном прифронтовом мире, далеко не свободном от бандитизма, в особенности со стороны русской полиции, какую-то, хотя бы и эфемерную, поддержку.

Так как Фогль потребовал от меня, чтобы я в понедельник к 8 утра был на месте, то я в Юрасове переночевал, а в обратный путь отправился утром, часов в 6. Наталья Александровна проводила меня километра полтора-два, пыталась меня даже немного задержать, усевшись на траву и приглашая меня сделать то же. Но я, не желая ее огорчить, напомнил ей все же последствия моего опоздания в Нарышкино и сказал, что если бы даже я и пренебрег всем этим, на душе у меня не спокойно и быть с ней веселым и ласковым я все равно не могу. Когда мы расстались, я припустил как мог и лишь перед самой шоссеиной дорогой несколько сбавил шаг, чтобы еще раз насладиться сельским покоем и проститься с ним неизвестно на какое время.

Пришел я все же, как оказалось, с опозданием, часам к 9-и, и встретил Фогля уже на дороге. Не получив от него никаких репримандов, я должен был, однако, сразу же направиться с каким-то поручением, даже не заходя в лагерь.

Рядом с нашим лагерем располагался пост полевой жандармерии. Это были три добродушных человека — два солдата с молодым фельдфебелем во главе, который, как оказалось, в мирное время был служащим дорожной полиции. Занимаясь наблюдением за порядком на дороге, они несли к тому же и некоторые полицейские функции. Однажды меня вызвали к ним в качестве переводчика. Перед фельдфебелем стоял бельгиец, не говоривший по-немецки, и младшая дочь моей последней хозяйки — Прасковья, работавшая в числе еще нескольких деревенских девиц у нас в лагере по обслуживанию немецкого барака. Бельгиец обвинял ее в краже у него пары носков. При обыске у них в доме

действительно были обнаружены немецкие казенные носки, но не такие, какие могли бы быть украдены у бельгийца. Девушка утверждала, что эти носки еще в прошлом году подарил ей один немецкий солдат. Фельдфебель, оказывается, и без моей помощи во всем этом прекрасно разобрался и убедился в правоте девушки и во лжи бельгийца, но никак не мог ему этого растолковать. «Объясните ему, что найденные у девушки носки — шерстяные, выдачи 1941 года. Сейчас в армии выдают лишь носки из искусственной шерсти, какие и получали в 1943 году бельгийцы ОТ. А если он променял свои носки на яйца или на картошку, то стыдно ему сваливать это на ни в чем не повинную девушку...»

Я прежде всего успокоил ее — а она уже успела посидеть в связи с чем-то в карачевской тюрьме месяца полтора, а потом с некоторым трудом объяснил суть дела бельгийцу. С трудом, потому что мои познания во французском языке, довольно обширные за счет всякого рода отвлеченных понятий, были очень слабы в отношении конкретных, и в особенности хозяйственно-технических, терминов. Так или иначе, бельгиец ко всеобщему удовольствию был посрамлен и должен был ретироваться, имея в перспективе какое-то дисциплинарное взыскание за промот казенных носков.

А однажды мне пришлось совершить с этим жандармским фельдфебелем целое путешествие, чуть не выведшее меня надолго из строя и едва не стоившее мне ноги. Будучи однажды утром вызван за ворота, я увидел фельдфебеля у служебного мотоцикла. Он сообщил мне, что по договоренности с Фоглем я должен сопровождать его в поисках где-то приземлившегося немецкого бомбардировщика с бомбами на борту, которые он не имел возможности предварительно сбросить. Где приземлился этот самолет, в точности известно не было. Дано было лишь направление — к западу от шоссе, примерно в районе нашего расположения. Сначала на мои вопросы люди отвечали полным незнанием, потом стали давать более или менее определенные указания, пока, наконец, нам не стало точно известно, что самолет находится около села такого-то. Тут мой фельдфебель дал газ, и мотоцикл полетел стрелой, но как-то его угораздило попасть колесом в глубокую и узкую колею, что привело к очень резкому неожиданному торможению. Фельдфебеля выбросило через руль далеко вперед, а меня, вместе с упавшим на правый бок мотоциклом, проволокло по дороге. Под мотоциклом в 9—10 пудов весом оказалась моя правая нога. Когда фельдфебель освободил меня, оттащив машину в сторону, нога оказалась сильно ободрана, окровавлена и принялась

неимоверно быстро пухнуть. Фельдфебель сказал, что как это ему ни неприятно, он не может отвезти меня сразу же в лагерь. Необходимо освидетельствовать самолет, распорядиться в деревне о его охране, съездить в Карачев с донесением об исполнении распоряжения и только после этого вернуться в Долгий. Делать было нечего. Самолет оказался совсем близко. Подъехав к нему, фельдфебель помог мне слезть с заднего седла и лечь на траву, а сам полез в самолет. «Черт возьми, — кричал он, — как только они приземлились? У них подвешена 250-килограммовая бомба, отказало сбрасывающее устройство...» Потом он полез в кабину летчиков в поисках забытого оружия и... шоколада. «У летчиков всегда много шоколада», — кричал он мне оттуда. Оружия не оказалось, а шоколаду он нашел несколько плиток, из которых часть перепала мне. Мне было не до шоколада более чем когда-либо, тем не менее я припрятал его с тем, чтобы, если нога еще позволит, отнести его в Юрасово.

Все дальнейшее было как бы подернуто туманом и длилось вечность. Мне пришлось, не слезая впрочем с мотоцикла, разъяснить старосте той деревни опасность, грозившую людям, которые захотели бы, может быть, поискать чего-либо в самолете. Ему было приказано выставить к самолету охрану, которая бы препятствовала приближаться к нему детям. Потом было безумно длинное и мучительное путешествие в Карачев и обратно. Когда мы вернулись и меня сволокли мои товарищи с седла, а Федя разрезал штанину, — снять ее было уже невозможно — нога моя стала багрово-синей, с запекшейся на многих местах кровью. Фогль, увидав это, взревел от негодования и принялся истошно кричать на фельдфебеля. Тот смущенно оправдывался, как мог. Нечего говорить, что ступить на поврежденную ногу я не мог совершенно. Но когда меня принесли в «ревир» и положили на койку, мы с Федей еще раз и более обстоятельно осмотрели ногу. Решили, что кости целы и что все повреждения более или менее поверхностны. Все это было сказано Фоглю, одновременно с предложением повременить с отправкой меня в карачевскую больницу для военнопленных. Федя оказался обладателем большого запаса свинцовой примочки. Ногу обложили компрессами. Боль прошла очень скоро. На другой день я уже пробовал передвигаться с палочкой, а еще через два дня считал себя практически здоровым. Думал я при этом между прочим и то, что дома вряд ли бы я поправился так быстро. Этому здесь, как ни стран-

но, содействовали суровые военные условия, развивавшие, по теории Филатова, всяческие «биогенные стимуляторы».

Опять я стал вышагивать по дороге, обходя по собственной инициативе, если, впрочем, не бывало каких-нибудь специальных поручений от Фогля, все пункты, в которых пленные нашего лагеря производили работу.

Дорога наша местами пришла в совершенно невозможное состояние. Виноваты в этом были сами немцы. Они заставляли нас зимой счищать весь снег с дороги, что, несомненно, облегчало работу транспорта, но зато губило дорогу. Происходило неравномерное промерзание почвы — значительно большее там, где снегу не было, где дорога лежала без «одеяла». Вследствие этого весной при отогревании почвы на полотне дороги образовались, как говорят дорожники, «пучины», то есть вспучивание и разжижение дорожного полотна, которое, если оно было лишено хорошего покрытия, обращалось в форменное болото. Такие места приходилось объезжать по обочинам, где в плохую погоду тоже образовывались заполнявшиеся водой глубокие колеи из-за привычки немецких шоферов ездить след в след. «Nicht Spur fahren» — написано было повсюду, но это мало помогало.

Немцы пошли, как это ни странно, по линии наименьшего сопротивления: заставляли нас непроезжие, вспученные части дороги заваливать хворостом и засыпать сверху глиной. Но как только начиналось мало-мальски интенсивное движение, все это проминалось и разжижалось, поломанный хворост принимал вертикальное положение. Однажды на моих глазах какой-то артиллерийский чин бросился на нашего Фогля с ужасными ругательствами и угрожал ему пистолетом: «Что вы сделали с дорогой, — вопил он. — Где я должен ехать? У меня приказ прибыть туда-то во столько-то, как я его могу выполнить, когда вы сделали дорогу совершенно непроезжей...»

Возразить что-либо против этого было бы трудно. Убедившись в негодности своих попыток со всякого рода паллиативами, немцы обратились к старому русскому способу — к гати и лежневке. Лежневая дорога — это такая вещь, по которой ехать, конечно, можно, но вряд ли можно и придумать что-либо более губительное для автотранспорта и пассажиров. Проедешь километров 20—25, и машину чинить надо, а душу, вытрясенную напрочь, тоже не скоро починишь. Как бы то ни было, с этих пор все больше и больше прибежали к лежневке на непроезжих участках дороги.

У деревенских девиц, работавших по обслуживанию наших нем-

цев, вид был в большинстве полугородской, а потому нагловатый, и тон развязный. Они открыто оказывали предпочтение немцам перед нашими и проявляли полнейшее презрение к пленным. Однажды, когда нам делали прививки от холеры (!) в присутствии двух из них и когда некоторые молодые ребята из военнопленных острили: «И вам надо бы укол сделать...» — они весьма развязно и равнодушно отвечали: «А мы уже колотые...»

Однажды Фогль позвал меня к себе — у него в бараке была отдельная комнатка, выгороженная листами фанеры. Сейчас же вслед за мной вошла как бы за каким-то делом одна из этих девушек. И вдруг мой Фогль кинулся на нее как тигр, она ловко увернулась и выскочила из комнаты, а он с проклятием захлопнул за нею дверцу.

— Герр Фогль, что это все значит?

— Проклятые шпионы...

— Господь с вами, что же она тут может шпионить?

— Да, вы не знаете, что они мне про вас говорят...

— Именно?

— Что вы еврей и что родственники ваши, к которым вы ходите в гости, тоже евреи...

— Что ж, я бы на вашем месте сообщил об этом в полицию, пусть проверят. Собственно, вы и сами могли бы при желании во всем убедиться — мои родные живут здесь недалеко...

— Мне совершенно все равно, кто вы такой... Я не верю ни одному их слову.. Убежден, что все евреи, если они тут и были, давно уже выброшены отсюда...

И тут он опять закричал:

— Я не понимаю, почему они говорят про вас такие вещи, ведь вы для них делаете только одно хорошее...

— Господин Фогль, эти люди, вероятно, не всё хорошо понимают и не придают столь серьезного значения своим словам. Ведь это же, в конце концов, очень ограниченные деревенские женщины. У нас уже так повелось, что если человек не из этой деревни, то он может быть евреем и вообще кем угодно. Русскими же они считают в первую очередь самих себя...

Фогль не переставал, хотя и с меньшей яростью, возмущаться. И все же нашел нужным, после разных хороших слов, спросить меня, знаю ли я, что в Нарышкине жил некий, выдававший себя за немца, человек по фамилии Клодт. Я ответил, что знаю и что фамилия его представляется мне немецкой.

— Он оказался евреем. Он обрезан...

Я с напускным равнодушием пожал плечами. А про себя думал, что этот Клодт наверняка никакой не еврей, но при отсутствии действительных евреев, столь необходимых немцам, так сказать, на безрыбье сошел за еврея... Все это не могло не содействовать уничтожению во мне снова всяческого внутреннего равновесия, едва-едва лишь немного было восстановившегося. И я уже не верил ничему с прежней легкостью, когда мне кто-то сказал про Клодта, что все это чепуха, что он нашел в Германии родственников, к которым и уехал на зависть всем его недоброжелателям, распускавшим версию о его еврействе.

Так что было бы ошибочным на основании тогдашнего поведения его по отношению к деревенским девочкам считать Фогля хоть в какой-то мере антифашистом, в чем я позднее имел неоднократно случаи убедиться. Первый из них пришел вскоре же. Я увидел у старосты изданную немцами на русском языке книжечку под названием «Преданный социализм». Автором ее было лицо, мне случайным образом известное: году в 1938, в Историческом музее, где я тогда работал, был арестован зам. директора по хозяйственной части, немец по национальности и политэмигрант. Как оказалось, он был братом известного немецкого коммуниста и также политэмигранта, занимавшего у нас пост наркома лесной промышленности¹; последний, как мне стало известно позднее, был арестован и выслан в Германию, прямо в руки фашистов, с которыми, однако, договорился и выпустил книгу о сталинских порядках под названием «Der vergatene Socialismus». Эту-то книгу я теперь и увидел в сильно сокращенном русском переводе. Мне захотелось ее посмотреть, и я выпросил ее у старосты. Книга показалась мне неинтересной, касающейся лишь каких-то частных сталинского режима, но не его сути. У меня ее увидел кто-то из военнопленных и в свою очередь попросил почитать. Просьбу эту я выполнил, что через кого-то тотчас же стало известно Фоглю.

— Что это за русскую политическую брошюру ты даешь читать твоим товарищам?

Я ответил, что книга эта издана не так давно в Германии на русском языке и написана таким-то.

— Не может быть, чтобы она была издана в Германии. Этот человек коммунист, я хорошо это знаю, потому что он из нашего рода.

¹ К. И. Альбрехт.

— Вы правы, господин Фогль, он был коммунистом и эмигрантом, но потом выдан был Гитлеру.

И я рассказал об аресте его брата. Фогль все-таки потребовал у меня эту книгу на проверку, повертел ее с сомнением в руках и куда-то унес. На другой день он мне ее возвратил с веселой улыбкой, махнул рукой и сказал: «Можете это читать...»

Что скрывалось за его презрением к этой книге, было, впрочем, мне не до конца ясно.

Вообще редко попадались книги, которые было бы интересно читать. У наших немцев, помимо газет, не бывало никакой литературы. По деревням, хотя я и приглядывался внимательно ко всем попадавшимся на моих путях книгам, встречались почти одни только школьные учебники. Здесь же в Долгом, помимо книги, о которой только что была речь, мне посчастливилось найти «Записки из Мертвого дома», которые я перечитал на этот раз с совершенно особым чувством.

Казалось бы — что может быть общего между сибирской каторжной тюрьмой сто лет тому назад и нынешним немецким лагерем военнопленных, не имевшим в сущности никаких регламентированных установлений, никакого сформировавшегося определенным образом быта. И однако, так много общего — не только в этом быту, но и в самой психологии тех каторжан и нас, так в сущности мало ощущавших свое заключение и нахождение за проволокой. Книга эта зазвучала для меня теперь так, как будто я сам, по меньшей мере, выходец из этого Мертвого дома. К тому же я получил неожиданным образом подтверждение реальности этих, как мне представлялось, надуманных ассоциаций. У нас был лагерный сапожник, постоянно сидевший в своем бараке и пытавшийся что-то делать с нашей, пришедшей в полный упадок, обувью. Как-то я заглянул к нему среди дня и застал его в полном одиночестве.

— Скучно тебе небось и противно сидеть целыми днями в этом чертовом лагере?

— Да нет, мне как-то в привычку. Я ведь на войну прямо из нашего, советского лагеря попал. Тоже ведь так вот и жили.

— Неужели похоже?

— Еще бы не похоже, товарищ переводчик — один черт...

Как-то меня спешно вызвали днем на дорогу к Фоглю. Прибыв на место в двух сотнях шагов от лагеря, я увидел Фогля, стоявшего около грузовой машины, наполненной щебнем, и ругательски ругавшегося.

— Черт знает что, мне теперь необходимо иметь двадцать переводчиков... Скажите этому болвану, что он должен податься метров на десять назад, он ничего не понимает!

Решив, что шофер русский — такие случаи бывали, немцы не любили ездить на русских машинах, — я и произнес ему соответствующие слова по-русски. Но шофер остался сидеть неподвижно с безразличным лицом.

— Да нет, Лев Андреевич, по-русски-то он не петрит, мы бы уж ему и без вас растолковали, — пояснил мне кто-то из товарищей.

Не немец и не русский — кто же бы это мог быть? Я обратился к нему тогда по-французски, хотя до тех пор не встречал еще ни одного шофера-француза. При первых же моих словах шофер встре́пенулсѧ, выскочил из машины и бросился меня обнимать...

— Ah, mon ami, c'est embêtant...¹ ни одного человека, который бы мог объяснить хоть что-нибудь... Все орут, а понять ничего невозможно.

И хотя инцидент был тут же урегулирован, Фогль продолжал возмущаться и утверждать, что это настоящая вавилонская башня...

Через наших деревенских стало известно, что в бывшем совхозе, ныне находившемся в ведении немецкой зондеркоммандо и расположенном километрах в пятнадцати от нас по ту (восточную) сторону шоссе, произошел ночью бой с советскими разведчиками. Я было не придавал этому сначала большого значения и, только сопоставляя последующие события, понял, что это была первая ласточка приближения к нам фронтовой линии. Произошел в связи с этим и комический случай: как-то ночью была сильная гроза, пришедшая с востока, которую многие приняли за наступление советских войск, хотя и было совершенно на военные действия не похоже. В действительности же все произошло совершенно иначе, внешне малозаметным образом. В июльский день я ехал в сторону Карачева по нашему участку дороги, сидя на подводе, которая везла обед для наших пленных, работавших километрах в пяти от лагеря. И тут я заметил, как немецкий штурмовик, летевший было прямо на нас со стороны Карачева, вдруг повернул круто на восток, с ревом и на бреющем полете устремившись к какой-то цели. За ним другой, третий... Картина необыкновенно знакомая по впечатлениям 41 года. Таким способом штурмовые самолеты поражали наши танки... Но если и эти, виденные мной только что

¹Ах, мой друг, как это надоело...

штурмовики, нападают на танки, то стало быть эти танки очень близко — где-нибудь в 10—15 километрах отсюда(?).

Военные сводки приносили в эти дни сообщения о тяжелых боях на Курской дуге, сопровождавшихся с обеих сторон огромными танковыми потерями. Ежедневно выходило из строя и с той и с другой стороны по несколько сот танков...

Через пару дней картина прояснилась. Было отчетливо видно, как немецкие бомбардировочно-штурмовые эскадрильи попадают под огонь нашей зенитной артиллерии километрах в 18—20 отсюда. До этого же, как считалось, фронт находился где-то километрах в 80. Что ж, кое-чему мы, видимо, научились и кое в чем стали сильней. В 1941 году на фронте зенитной артиллерии мы не видали.

Последствия близости фронта сказались очень быстро. Карачев стал подвергаться налетам советской авиации дено и ночно. Наша дорога, превратившаяся в прифронтовую, тоже сделалась объектом советской штурмовой авиации в дневное время. Как-то мы с Федей часов в 12 дня собрались пообедать, то есть поесть картошечки, которую он только что сварил и тщательно размял в котелке, как вдруг раздался сильный гул моторов. Федя встал из-за столика и подошел к двери:

— Эх, наши летят, наши летят... разворачиваются...

Я поглядел в свою очередь: батюшки, ведь разворачиваются-то и выстраиваются в линию они прямо на нас.

— Федя, ложись, — закричал я не своим голосом, — сейчас бомбить будут...

— Ничего не будет, ничего не будет, Лев Андреевич. Вы вот прилягте тут, пожалуйста...

В это время пушечным выстрелом с самолета разнесло котел в нашей бане-прачечной и пулеметный град сыпанул по стенам жилых помещений. Где-то совсем близко разорвалась бомба, воздушная волна которой вышибла нашу дверь... Самолеты, которых было штук 10—12, после этого улетели прочь. Навешать нас они стали почти ежедневно, в том же количестве и в то же примерно время. Ночные бомбардировки также сделались интенсивней. Приходилось тщательно маскировать свет, бомбы сыпались на любой огонек.

Прежде я был довольно равнодушен к воздушным ночным бомбардировкам. Самолеты, разрывы бомб меня мало пугали. Проснувшись от произошедшего где-либо неподалеку разрыва,

я поворачивался на другой бок и тут же засыпал снова. А теперь я подолгу не мог уснуть, тревожимый зудением мотора в воздухе. Казалось, что самолет прямо над нами кружит, кружит, назойливый, как комар, и вот-вот с него сорвется и упадет прямо на нас бомба... Чтобы отключиться, чтобы ничего не слышать, я стал надевать на ночь мою заячью шапку-ушанку.

По дороге день и ночь шло интенсивное движение в обе стороны. Стоило, однако, приглядеться, как становилось ясно, что в основном это было, хотя и планомерное, но отступление, уход из того узкого мешка, который напоминало удерживаемое немцами пространство между Орлом и Брянском. Стали, впрочем, появляться первые признаки дезорганизации: к нам забрел как-то маленький изможденный немецкий солдатик и жалобно попросил есть — три дня, как он не может найти своей части, движущейся в западном направлении. «Русские сильно наступают», — прибавил он. Поесть ему дали, но дали также и понять, что он не должен распускать панических слухов...

Больше всех этих слухов на меня действовали трагические случаи, произошедшие один за другим в нашем лагере. У нас было два лагерных «полицая», из нашей же среды. На их обязанности было поддерживать чистоту и порядок в лагерных помещениях и во дворе. Теперь к этим обязанностям присоединились ночные дежурства, для того чтобы подымать пленных в случае угрозы бомбардировки лагеря. Один из полицейав был молодой, но толстый и флегматичный белорус, всеми у нас весьма любимый за добродушие и внутреннее спокойствие. Во время ночного дежурства он, как обычно, вышел за ворота, чтобы у бельгийского часового узнать время — ему уже следовало сменяться. Стоявший на посту бельгийский юноша, видимо, уснул, а проснувшись, очень испугался присутствия близ него неизвестного человека и инстинктивно выстрелил, убив нашего «полицая» наповал. Кажется, дело военное, но все решительно: и русские, и немцы, и даже равнодушные ко всему бельгийцы — были очень огорчены этим происшествием. Хоронить его было разрешено на сельском кладбище. В Долгом своего кладбища не было. Хоронили у соседей, километрах в четырех от деревни, в сторону фронта. Когда мы принесли туда гроб нашего товарища, там уже стояла минометная часть, с нацеленными в сторону фронта пулеметами и с уже налаженной телефонной связью. Она вела планомерный обстрел из полковых минометов. Дыхание войны здесь было ощутимо совершенно отчетливо. Вот он тебе опять и фронт, думалось каждому из нас.

В это почти по-фронтовому тревожное время за мной пришел однажды один из наших немцев: «Скорей, тебя хочет видеть баурат Фелленбергер». Баурат Фелленбергер — это было довольно большое начальство. Я видывал его неоднократно и раньше — полный человек среднего роста в кожаном пальто, он появлялся на короткое время, иногда отдавал распоряжения даже не выходя из автомобиля. Все наши немцы, включая и начальство, разговаривали с ним очень подобострастно. Он производил впечатление интеллигентного человека. Когда я подошел и отдал ему честь, он улыбнулся и приветливо сказал, что знает обо мне давно и много хорошего. Ему неприятно, что я нахожусь в таких условиях — быть переводчиком здесь может быть, в конце концов, кто угодно. Не хочу ли я, чтобы он похлопотал о моем освобождении из плена? Я ответил ему, что он не должен этого делать, если действительно желает мне добра. Жить на гражданском положении мне сейчас невозможно, в полиции служить я не могу, а больше делать нечего. Он одобрительно покивал головой. «Вы правы. Сделаем иначе. В нашей системе имеется небольшая геологическая лаборатория. Ею заведует мой друг, доктор Зимон. Я попрошу его взять вас к себе. Надеюсь, это будет к обоюдному удовольствию».

Я очень поблагодарил его и ретировался. Этот разговор открыл меня несколько и прибавил мне бодрости.

Появление баурата сопровождалось кроме того некоторыми переменами в нашей жизни, произошедшими немедленно. Всех наших «украинцев» со старшим лейтенантом Петровым во главе разоружили и отправили на дорожные работы в Нарышкино на бесконвойном положении. Перед отъездом они напились и слезно прощались со своими подругами или, как они их называли, женами. Те также некоторое время продолжали повторять, что их мужья в Нарышкине на работе.

И вдруг у нас среди бела дня загорелся лагерь. Рядом с жилым баракom находилась маленькая кузница — там-то и возник пожар, перекинувшийся сейчас же на жилое помещение, вспыхнувшее как спичка. И хотя в тушении пожара, вернее в растаскивании бревен, принимало участие несколько немцев (пленные были почти все на работе), спасти удалось мало что. Воды не было, возить ее было не на чем. Рядом работали в поле крестьяне с лошадьми. Я умолял их помочь нам конской тягой для подвоза воды — ни один не шелохнулся. Немцы тоже почему-то не посчитали себя вправе проявить необходимую инициативу — дело

шло ведь только о жилье для военнопленных. Ни им, ни своим до этого не оказалось никакого дела.

Фоглю кто-то дал понять, что поджог, вероятно, совершили кузнецы, которым перед этим не дали «украинского» пайка, и когда он спросил меня, что я об этом думаю, я, разумеется, отверг подобное предположение, но подумал, что немцы-то, оказывается, не хуже наших способны искать вредителей. Теперь пойдет следствие, решил было я. Но, к счастью, этими разговорами все и ограничилось — прямо даже трудно было поверить.

Новый жилой барак строить не стали, а привезли несколько круглых фанерных, так называемых «финских», палаток, в которых прямо на земле, на соломе, разместились в достаточной тесноте пленные. Можно было догадываться, что раз поставили такие палаточки, то это первый признак, что лагерь долго существовать не будет. Но это как-то тогда не пришло мне в голову. Меня беспокоило другое. Мне примерещилось, что наши палатки с воздуха должны были очень напоминать бензинные или нефтяные баки и что на них обрушатся теперь авиабомбы и снаряды. Я сказал об этом Фоглю, и он распорядился выкопать на территории лагеря щели.

Как-то средь бела дня подошла к лагерю крытая грузовая машина в сопровождении двух полевых жандармов и потребовала русского медработника. Отправились мы с Федей. В машине находился раненый русский летчик вместе со своим парашютом, который он не успел отстегнуть. Парашют был сильно перепачкан кровью. К нам его завезли для того, чтобы он не истек кровью, но кровотечение уже прекратилось само собой. Всё же мы наложили ему повязку, освободив его предварительно от мешавшего ему парашюта. Летчик ужасно ругался. Несмотря на большую потерю крови, он был в сильном возбуждении и кричал: «Черта б они меня сбили», если бы не какие-то там неполадки в управлении... Только после того, как мы его уложили снова в машину — он следовал в Карачевский русский госпиталь, — я заметил второго летчика, совершенно здорового, с капитанскими погонами и с орденом Красного Знамени. Он с довольно независимым видом прохаживался по обочине шоссе. Я не решился к нему подойти, что-то меня в этом остановило, но некоторые из наших говорили с ним: он предсказывал скорую победу, с ненавистью и презрением говорил о немцах, но с пленными был снисходителен: «Ничего, ничего, работайте покуда тут, скоро вас освободим...» Он, видимо, не понимал еще внутренне, что и сам теперь такой же военнопленный, как и мы. Сколько я видел подобных людей, у которых

от такого же точно гонора не оставалось вскоре и следа. Они-то по преимуществу и заполняли ряды Власовской армии...

Все же я стоял у ворот и смотрел на этого нервно прохаживающегося туда-сюда человека — это был первый русский офицер с погонами, какого я видел, — покуда жандарм не дал ему знак подняться в кузов машины и они не уехали в направлении Карачева.

Через пару дней, после обычного распределения людей на работу, меня потребовал Фогль. «Там за воротами, — сказал он, — стоят партизаны... Объясни им, что они должны собрать железный лом вокруг дороги на протяжении пяти километров в направлении Орла...»

Партизаны? Что бы это могло значить? Я вышел на дорогу и увидел группу крестьянских ребят, в среднем лет по 20—25. «Здравствуйте, партизаны», — сказал я им. В ответ раздался смех.

— Откуда вы знаете, что мы партизаны?

— Здорово воюете, слухами земля полнится, — пошутил я...

В ответ опять раздалась смехи.

— Ну а теперь, — говорю, — без дураков расскажите мне сами, что вы за партизаны?

Оказалось, что все это были ребята из деревень, пограничных с партизанскими районами между Карачевом и Брянском.

— Ночью у нас наши, а днем немцы. И те и другие свое требуют. Объявили у нас партизаны мобилизацию, увели нас к себе. Привели в лес, понакопаны там у них норки... Ройте и себе, говорят, такие же. Выдали нам килограмма по два немолотого зерна. Это, говорят, паек, а остальное, в том числе и оружие, будете добывать у немцев. Ну что ж, мы пожили с ними недельки две, видим — толку никакого, ну и драпанули назад. Немцы нас забрали, привели сюда за Карачев, определили в соседней деревне на постой, кормит староста, а на работу гоняют, куда придется...

Все было ясно. Выслушав эту грустно-комическую историю, я объяснил им, что надо делать... Собираем лом, — видно, не больно еще торопимся...

Я очень стремился в Юрасово, боясь, что нас могут угнать так быстро, что даже не удастся и попрощаться. Но всякий раз бывали какие-нибудь непредвиденные дела, так что даже язык не поворачивался отпроситься. Наконец, я прямо сказал Фоглю, что хотел бы попрощаться с родными. Он быстро и мрачно взглянул на меня, но ничего не сказал по этому поводу, а только буркнул: «Иди...» Я стал лихорадочно готовиться к завтрашнему

походу. У меня хранилось с весны пасхальное, крашеное в луковой шелухе яйцо, подаренное мне Наталией Александровной. Оно лежало завернутое во что-то в противогазном мешочке, где и все мои остальные ценности и реликвии. Доставая оттуда то, что мною было припасено для юрасовцев, я нечаянно уронил и разбил это яйцо. Что-то во мне оборвалось, я стоял какие-то секунды в полном отчаянии, так, как если бы уже произошло что-то непоправимое... С таким же полным тревоги чувством шел я туда на следующее утро. Внешне вокруг все как будто бы выглядело по-прежнему. Но когда я вошел в дом, то встречен был только Татьяной Александровной и ее мужем. Наталья Александровна и Игорь Порфирьевич эвакуировались уже неделю тому назад. Им дали подводу, и они решили ехать в Польшу. Через кого-то дошли слухи, что они начали очень ссориться между собой в дороге и что заболел маленький Люд...

Мне рассказали, что в Юрасово приезжали какие-то немцы, спилившие в парке несколько больших деревьев. Кроме того, приезжал какой-то офицер на легковой машине и что-то вымерял, начиная от крыльца дома, рулеткой. Видимо, тут должна была вскоре расположиться какая-то фронтовая часть.

Татьяна Александровна и ее муж решили, если это окажется возможно, остаться в Юрасове до прихода наших. Им надоело кочевать по оккупированной земле. С другой стороны, мужу ее не угрожала мобилизация — он был почти слеп... Встретив с моей стороны сочувствие, они всячески стали уговаривать меня остаться с ними, обещая прятать меня где-нибудь, покуда не придут наши. Но я, совершенно не склонный к авантюрам, чувствовал, что мне не следует этого делать, что таким образом вряд ли я куда бы то ни было вернусь. Мы очень трогательно попрощались, поцеловались, и я в тот же день отправился обратно в Долгий. На душе было необыкновенно грустно и тревожно. И если раньше я, уходя из прифронтовой тревоги нашего лагеря, находил в Юрасове и его окрестностях мир и покой, то теперь, наоборот, я почувствовал некоторое успокоение только по возвращении в лагерь. Я снова был здесь в своей среде, встретил меня никогда не унывающий Федя...

Отступление с немецкими войсками

Только в середине августа, кажется, было объявлено, что наш лагерь ликвидируется и мы переходим в Карачев. Мы еще продолжали оставаться на месте, когда вокруг нас расположились действующие части, с артиллерией и прочими огневыми силами. Они

разместились боевым порядком, отрывали около своих орудий щели. Советские штурмовики стали налетать на нас по несколько раз в день. Вокруг производили пристрелку немецкие танки. Вот мы и снова на самом фронте...

Наши полувоенные немцы ОТ были взволнованы обстановкой еще больше, чем мы. Я слышал, как какой-то маленький человечек, глядя на стреляющий в нашу сторону немецкий танк, вскакивал, подпрыгивая, и кричал возмущенно: «Безобразие, что это тут полигон, что ли?» — «Ты ошибаешься, — отвечал ему более хладнокровный товарищ, — не полигон, а фронт...»

В один из последних дней пребывания нашего в Долгом к лагерю пригнали человек 12 только что взятых в плен советских бойцов. Они стояли перед воротами лагеря на дороге и, как все военнопленные, может быть, можно было даже сказать, как все фронтовые солдаты, устало и равнодушно оглядывались вокруг. Но вид у них все же был не такой измученный и опустошенный, как у нас, когда мы попадали в плен в 1941 году, и как у тех новых военнопленных, которые пришли к нам зимой 1942 года.

Я принялся их расспрашивать — легче ли стало воевать, чем было в 1941 году. Выяснилось, что в 1941 году никто из них еще не воевал, все они более поздних наборов. Но мне самому по ним стало ясно, что обстановка уже, конечно, не та. Оно и понятно — одно дело отступать, другое — наступать. В плен теперь попадало очень немного народу — давненько, говорил я им, не видавали мы свеженьких пленных...

— Да и мы могли бы отбиться, — сказал один из них, — заблудились в кустах. Увидели немцев с тылу да и кинулись врассыпную, вот и попали. Могли бы отбиться, говорю, ну да уж что ж теперь...

В это время над головами раздался рев штурмовиков. Они же первые заволновались: «Ложись, ребята, прячься — эти дадут, так дадут...»

Я кинулся вслед за ними в кювет. И тут же в воздухе заработали пулеметы. Засвистели прямо над самой головой, в обжигающей близости от нее, пули, отбивая куски глины от стенки кювета с той стороны, куда было обращено мое лицо, слепя глаза пылью. Я теснее прижался к земле... Но вокруг нас, на земле, тоже поднялась очень сильная стрельба.

У немцев в это время, как мне показалось, не было уже разделения огневых средств на противотанковые и противовоздушные. Одни и те же орудия и пулеметы стреляли и по воздушным

и по наземным целям. Один такой спаренный тяжелый пулемет стоял в лагере, прямо у самого нашего «ревира». Рядом с ним была небольшая щель, отрытая обслугой этого пулемета, состоявшей из двух человек. А совсем неподалеку была и наша щель, в которую мы с Федей прятались теперь во время налетов советских штурмовиков. Федю, однако, трудно бывало удержать в укрытии. Любопытство тянуло его всякий раз наружу. Один раз порядочная фугаска разорвалась у самого нашего лагеря, так что земля в щели как бы сдвинулась на какой-то момент в сторону, как при землетрясении, а затем вернулась на свое прежнее место. Я припал ко дну щели. А когда поднял голову, то увидел моего Федю стоящим во весь рост и наблюдающим что-то снаружи. Потом ко мне обернулось его улыбающееся лицо.

— Ты чего?

— Да уж больно чудно — пан то к пулемету бросится, даст очередь-другую и в щель прыгнет. Минутку посидит в щели и опять, давай, к пулемету..

Один раз рев налетающих на нас штурмовиков вдруг неожиданно прекратился. Улетели? Но нет, вот рев их возник опять и уже над самыми нашими головами. Самолеты шли на бреющем полете, тогда как обычно держались на высоте метров в 400, не меньше. Это был крайне неудачный прием с их стороны. Ураганный огонь, которым они были встречены с земли, оказался весьма эффективным. На наших глазах из десяти-двенадцати машин загорелись пять или шесть. Мы с Федей были от досады и отчаяния: «Какое идиотство, какой ужас...»

Погнали нас в Карачев пешком. Двенадцать километров — расстояние небольшое... ОТ в Карачеве занимало несколько помещений складского типа на краю города. Неподалеку начинался кустарник, а за ним лес. Один из складских барakov был огорожен проволокой — за ней находились военнопленные. Туда же завели и всех наших. Мне было предложено расположиться в соседнем помещении для «украинцев». Вскоре я встретил здесь Тульчевского, как всегда с большой радостью. Здесь же были другие «украинцы» — мои товарищи по Нарышкину, здесь же оказались и те польские немцы, с которыми мы дружили в Нарышкине в зиму с 1942 года на 1943. Помещение для «украинцев» производило впечатление нежилого. Тульчевский пояснил мне, что ночные бомбежки очень интенсивны и спать приходится по подвалам. А один из поляков рассказал мне тихонько и по-немецки, что несколько дней тому назад бомба попала в помещение персонала ОТ. «Я услышал сперва сильный

взрыв, а потом стоны, ругательства... Эге, подумал я, значит на этот раз таки попало...» Он сообщил мне все это с явным удовольствием и злорадством. А ведь он же все-таки был польский немец. Только позднее и постепенно я понял по-настоящему, насколько немцы восстановили против себя не только поляков, но и тамошних людей немецкого происхождения.

В Карачеве же находился и баурат со своим эвакуированным из Орла штабом, но почти все время он бывал в разъездах.

Делать мне в Карачеве стало совершенно нечего, и я слонялся по двору нашего нового лагеря, наблюдая за тем, как прибывают и убывают разного рода грузы и люди. Поляки информировали меня также о том, что военные власти чрезвычайно торопят с эвакуацией — недавно-де приходил какой-то чин из военной комендатуры и выражал недовольство тем, что еще много чего не вывезено. Он говорил, что русские танки удастся задерживать лишь в непосредственной близости от города.

Еще через пару дней в разных частях города начали раздаваться сильные взрывы, хотя никаких самолетов нигде не было видно. Всезнающие поляки объяснили мне, что это немцы перед уходом взрывают большие здания.

— Зачем?

— Есть приказ Гитлера оставлять за собой один только пепел...

И вот на дворе появились два автобуса городского типа. В один из них погрузился штаб баурата, а в другой какие-то небольшие чины ОТ и русский персонал, обслуживавший штаб. Среди них была молодая женщина с другой, пожилой, видимо ее матерью, о которых говорили, что они обе прислуживают баурату. Он сам присутствовал при отправке этих машин. Здесь же находился и Фогль. Баурат подозвал меня и сказал, что просит ехать во втором из автобусов, вместе с одним сотрудником ОТ, которого мне укажет Фогль и которому поручено выбрать новое место для нашего лагеря. Я откозырял. Фогль подвел меня к неизвестному мне пожилому труппфюреру ОТ и сказал ему: «Вот твой переводчик, я его знаю как расторопного и дисциплинированного человека». Тот протянул мне руку, и мы с ним погрузились в автобус. Через несколько минут тут же оказался, к моей большой радости, и Тульчевский.

Болтая с ним, я наблюдал одновременно покидаемый нами Карачев — маленький старинный городок, где от старины, впрочем, ничего на поверхности земли не осталось, но который все же жалко было видеть уничтожаемым. Он как бы сжался и замер — улицы были пусты и ставни у многих домиков закрыты.

Во время этих наблюдений меня обуревали противоречивые чувства. С одной стороны, я воспринимал это начавшееся перемещение как углубление в плен, в чуждый мне мир — немецкий да и русский, поскольку я в сознательном возрасте не бывал так далеко на запад от Москвы. С другой же стороны, я двигался пока что назад, к Брянску и Рославлю, откуда я в 1941 году приехал сюда с фельдфебелем Фридрици. Но боже мой, как это все было давно, как изменилось все с тех пор, как много воды утекло и как непохоже все это было на то, что я видел тогда на моем пути. Непохоже прежде всего потому, что в зимнее время на шоссейной дороге Брянск—Карачев движение было невелико и вокруг, кроме белых снегов, ничего почти что и не было видно. А теперь мы ехали по дороге, с обеих сторон которой почти на каждом шагу виднелись воронки от бомб и валялись остовы разбитых машин. Насколько интенсивней шла здесь война, чем на нашем участке дороги!

Видя мое волнение и мои удивленные взгляды, соседи-немцы говорили: «Да, да, русские очень сильно бомбят эту дорогу. Авиация и партизаны нападают на нее непрерывно. Как-то мы еще проедем?..»

Иногда с той стороны дороги, по которой шло движение в сторону Карачева-Орла, стояли маркитантские машины, с которых едущим к фронту раздавали сигареты, сладости. Мелочь, конечно, но все же это должно было подымать настроение... К удивлению, мы достигли Брянска, не увидев ни одного самолета и не услышав ни одного выстрела. Город стоял передо мной целехонек, как на ладони, хотя немало пришлось мне за это время читать и слышать о его жестоких бомбардировках.

В Брянске мы остановились не в городе, а за его пределами, у пункта ОТ с небольшим лагерем при нем, в лесочке, километрах в четырех-пяти от города. Так как мы жили тут бивуачным порядком и ночевали на земле в виду наших автобусов, которые нас тоже не покидали, ясно было, что долго мы здесь не задержимся. Ночами можно было любоваться бомбардировками брянского железнодорожного узла и работой немецкой зенитной артиллерии в комбинации с прожекторами. Вот два прожектора на их скрещении поймали советский самолет. Он силится выскочить из полосы света, но сейчас же на подмогу бросаются другие прожектора и ведут самолет в их пучке, не давая ему уйти в сторону. Специальные зенитки начинают стрелять какими-то разноцветными снарядами, протягивая к самолету как бы цепи или гирлянды ярких шарообразных украшений. Струями несутся в его сторону

золотые трассирующие пули. Фантастическое зрелище, которое вдруг прекращается как по мановению волшебного жезла, и на какое-то время воцаряются мрак и тишина.

Нас опять бомбили прошлой ночью.
Взрывы воздух мяли и толкли.
Стены колыхались. Как из бочки,
Раздавался грубый стон земли.

Страх всеилен и произволен.
Я его, как малое дитя,
Уговариваю, но не переспорю,
Не сломя, пока не улетят

Страшные незримые убийцы,
На которых, разевая рты,
Лают зло зенитки, и косится
Луч прожектора из темноты.

Я зову на помощь обреченность,
Чувство невозвратности потерь,
Так беспрекословно понесенных
В миллионном шествии на смерть.

Но сердец безумное безверье
В унисон пропеллерам трубит.
Мы лежим, затравленные звери,
Ждем вслепую громовой судьбы...

Я встаю и выхожу наружу,
И в глазах дрожит ночной театр —
Взрывы, выстрелы, прожектора
И пожары в небе равнодушном,

Звезды в еженощной их игре...
Мне здесь лучше, как бы безопасней,
Точно смерть здесь легче и прекрасней,
Как под куполом больших арен.

Женских черт двухлетняя солдатчина
Не могла во мне перетравить.
Я такой же мягкий и податливый
На соблазны, как и до войны.

На соблазны сантиментов жалких,
Нет, да и смущающих меня,

Как сегодня, например, фиалкой,
Вылезшей из гари на камнях

У дороги, по которой к фронту
День и ночь клубится гул машин...
Так они меня сбивают с толку —
Впечатленья, розные мужским,

И видения горящей почвы
Под ногами у шальных солдат —
Мусор жизни и культуры тощей,
Битый камень, пыль и гарный смрад...

Я борюсь с моим инстинктом жизни,
Как монахи в старину с лукавым.
Я ловлю его в дрожащей линзе
Смысла, бывшего когда-то здоровым,

А теперь тревожным, воспаленным
Ставшего от треволнений смутных.
Я его сжимаю в спазме сонном
Между плоскостями рук и груди.

Как Протей, скользит он между ними,
Вечно напряженный, неусыпный,
Вспыхивающий от малейшей искры,
Будоражимый малейшим скрипом.

Он мешает мне бесстрастным взглядом
Мерить мир, в момент неизмеримо
Малый, но невыразимо страдный —
Грозно-роковой неоспоримо.

Сквозь панораму мира и спокойствия
Я в это утро шел назад к войне.
Весь обозримый круг земли безмолвствовал,
Косое солнце шло навстречу мне.

Для глаз все было выставочно ярко:
Взметенный чернозем над сбросом глин,
Расплывшийся и кажущийся марким
И пахнувший остро, как анилин.

Во влажно-сизом воздухе прозрачны
Столетние периптеры садов.

Размеренны и чуть паралитичны
Шаги коней и плавный крен плугов.

И каждым встречным дышит благодущье
Ленивого развития весны,
Чтобы ушам расслабленным не слушать
Вблизи гремящих, мертвых волн войны.

Вчера тут был воздушный бой.
Мы услышали в небе выстрелы
И как юнцы, наперебой,
На это зрелище повыскакали.

Событие совершилось вмиг.
Одна из птиц, как Феникс, вспыхнула,
Метнулась в сторону. Поник
Ее полет и круто вниз скользнул.

И небо стало чисто-зелено,
Как место кораблекрушенья,
Для глаз растеряно-рассеянных
Внезапным взрывом впечатлений.

И почему-то взволновала нас,
К чужому горю равнодушных,
Судьба людей и наша связь
С короткой драмою воздушной.

Друг друга спрашивали: «Чей?
Упал иль сел и сколько летчиков?»
И споры были горячей,
Чем брань из-за гнилой картошки;

Чем собственный горячий страх
Перед опасностями неба,
Нам уделяющего щедро
От смерти громогласных благ.

Гляжу глазами немца на Россию,
На эту грубо-серую пустыню
В оврагах и холмах с бесцветным небом
С надрывным и непрерывным ветром.

Здесь тяжело гостем быть и иностранцем,
Лишенным чувства мертвого пространства,

Лишенным равнодушия, терпенья,
Цыганской бесприютности и лени.

И в наших городах, базарно-пыльных,
Безлюдных и безлико-бесфамильных,
Разбитых неумно и некрасиво,
Чем на пустых полях, еще тоскливей.

Не радуют его и наши люди,
Больные безразличьем вечных будней,
Бесчувствием к его желаньям резвым,
Угрюмые в веселии нетрезвом.

Гляжу глазами немца на Россию,
И меркнут предо мной ее святыни —
Чудесные следы старинной силы,
Которые мы сами осквернили...

Июнь, а нет и нет тепла.
Пора цветенья скупое, бледно
Минует, наступает лето,
Но медлит взять свои права.

Как быстро пролетают сроки...
Мелькают бледные слова,
Подхваченные на дороге,
В их тарахтящем перескоке...

Все медлит общая судьба.
Что будет?... Небеса белесы
И скупы краски на земле.
И не контрастны наши слезы
И смех, в истерике, в мольбе.

Столкнулись грудь о грудь законы
Отстоя судеб, лета днй,
На бледно-бирюзовом фоне
Холодной глади зеленой.

Покуда судьбы скупое медлят,
Сердца пережжены дотла,
За эти быстрые недели
Весны, минувшей без тепла.

Я ночью делаюсь ничтожеством.
Меня так низко гнет испуг,

Что льну к земле я каждой точкою,
Какою в силах к ней прильнуть.

И тяжесть смерти чую близко
В овчине неба, свисшей вниз,
Где вереницы стимфалийских,
Железоперых бьются птиц.

Я признаю себя единственно
Приметной целью для врагов,
Звонящих крыльями, в пронзительном
Концерте множества кругов,

Сжимающихся все теснее
В безумном пеньи надо мной.
Я мыслью дорожу последней
И берегу последний вздох.

Все это непрерывный сон,
Продлившийся два горьких года.
Вот-вот я вырвусь, пробужден
Рукою родственною, дома.

Я часто думаю о нем,
Об этом странном, дальнем доме.
И без подвоха здесь — иль он
Иль я отсутствую в природе;

Иль он мне снится, весь укрыт
Густым, едва прозрачным крепом,
Иль я, мечтою пережит,
Смотрю сквозь мертвенное веко.

И люди близкие темны
В моих виденьях и условны.
Их лица странны и грустны,
Звучит искусственно их голос.

И непонятная печаль
Пронизывает эти сцены,
Как будто бы на них печать
Потусторонности и тлена.

Мы сорок верст на мотоцикле
Процикали в один присест.

В трясущиеся седла влипли,
Влились в движенья вихрь и свист.

Мы колесили по проселкам
Через ухабы и бугры,
Имея слева клубень солнца,
Клубящуюся сзади пыль.

В нас острые инстинкты живы
Каких-то предков-скакунов.
И ускоренье жадной силой
Сжимает нервы, гонит кровь.

Навстречу рвущиеся версты
Кружат и комкают пейзаж,
Киноскопично-сменный, пестрый,
Мелькающий у самых глаз.

А по приезде все дробится
Внутри, и пляшет горизонт.
И по инерции стремится
Земля, как бочка, из-под ног.

Немцы сидят за воротами в праздник,
Так, как должно быть сидели и дома.
Марши свои распевают и вальсы.
Тонко им вторит губная гармоника.

Верно поют про родные деревни,
Светлые реки, прямые дороги.
Все это чисто, как на акварели,
Все это чуждо для нас и далёко.

Песни их громки и резко ритмичны,
С нашим распевом глухим несравнимы.
Немец поет — точно ловит с поличным
Каждую мерную долю мотива.

Грустно вдвойне нам от песен немецких.
К чувствам понятным мы их сердобольны.
Музыка соединяет нас вместе,
Косноязычием разъединенных,

Разъединенных веками и верстами,
Мало кто знает какими судьбами,
Родственных внешне, но внутренне разных,
Близкие песни поющих по-разному.

Дня через два стало известно, что нас направляют nach Peklana. Что это такое, никто не знал — ни русские, ни немцы. Мне удалось только выяснить, что это пункт не доезжая Рославля. Я довольно долго думал, как могла бы звучать по-русски эта Peklana и решил, что это село Пеклино, о существовании которого я, впрочем, не имел ни малейшего понятия. Так оно и оказалось. Остановились мы на окраине этого большого села, где пункт ОТ занимал несколько больших сараев. Вокруг виднелись окопы, пулеметные гнезда... В одном из обширных полутемных сараев жило несколько русских на положении «украинцев». Я спросил: «Что, видно, партизаны тут недалеко?» Ответили: «Неделю тому назад был весьма жестокий бой с наступавшими партизанами. Едва немцы отбились...»

Удивительно было слушать — таким все вокруг веяло покоем. Пленных не было. «Вообще не было?» — спросил я. «Почему — были, но после партизанского нападения их перегнали куда-то на Рославль. Вон в том сарае жили...»

Среди русских, ехавших с нами из Карачева, оказались: один молодой дорожный мастер, разбитной парень, напевавший все время веселые частушки, худенький бухгалтер средних лет, тоже довольно веселого нрава, и мрачноватый корпулентный брюнет, как оказалось, железнодорожный машинист, спасавшийся при ОТ от использования по его прямой специальности, так как он считал, что это была бы измена родине. Здесь же он работал столяром. Человек он был серьезный и молчаливый, в разговорах на политические темы участия не принимал. Я задавал себе вопрос — зачем они поехали за ОТ из родного дома. Спрашивать об этом их самих было бы не очень тактично, да и надежды на получение искреннего ответа тоже было немного, поэтому я решил приглядеться сам. В отношении женщин все обстояло довольно явно — они оказались связаны с немцами и сопровождали определенных лиц, работа при которых давала им средства к существованию. Что же касается мужчин, то по некотором размышлении самым правдоподобным представилось мне, что они спасаются от военной службы, которая не миновала бы их сразу же по приходе наших. Могли они побаиваться и того, что их будут отгонять от фронта, так не лучше ли двигаться более благоприятным порядком? Такого рода людей я встречал в дальнейшем немало.

Среди «украинцев» меня заинтересовал один высокий и худощавый человек, бледный, болезненного вида, державшийся особняком и обычно очень спокойный. Но когда ему удавалось

раздобыть самогону, он начинал разговаривать громко сам с собой и ругаться по-польски. Как-то я с ним разговорился и узнал, что он из Западной Литвы, в Россию попал по уголовному делу и теперь пробивается в родные места.

Дня через три после нашего прибытия в Пеклино подошли карачевские военнопленные. Среди них было немало хорошо мне знакомых людей, в их числе и мой Федя Долгов, который хотя и встретил меня с прежним дружелюбием, но, видимо, почувствовал себя человеком другой судьбы. Разговору у него только и было, что вот-де скорее бы наши перерезали дорогу и отбили бы нас от немцев. Я пытался умирить его пыл — говорил, что хотя война и оборачивается явно в нашу пользу, но до Берлина еще очень далеко, а главное, что попади мы к своим, сразу же окажешься в штрафном батальоне... Он мне не то чтобы не верил, но уж очень как-то настроился на освобождение из плена, а что касается до всего остального, то какая-то очень ретивая надежда подставила ему крылья, и он с трудом отвлекался от своих мечтаний. Так продолжалось до самого моего отъезда из Пеклина, где мы пробыли недель около двух, не производя никаких существенных работ. На этом мы с Федей и расстались. С тех пор я его ни разу не встречал больше в моих странствиях по немецким тылам.

И вот мы снова в автобусе, рядом с Тульчевским. Едем опять по шоссе Брянск—Рославль, но быстро сворачиваем к востоку и начинаем двигаться какими-то плохими дорогами. Лес вокруг нас становится все гуще, и все теснее сжимаются перелески. К нам присоединяются грузовые машины с разборными бараками и со всяким другим скарбом ОТ. Машины две «украинцев», и среди них те, с которыми я жил в Долгом. Старший лейтенант Петров среди них — встречаемся очень тепло. «Куда мы едем?» Называют какой-то городок — Мглин, среди партизанских лесов, в направлении на Унечу. Немцы держат наготове оружие. Такое же распоряжение передается и «украинцам», которые опять с винтовками. «Ладно, ладно, пусть не изволят беспокоиться. Придется стрелять, так уж разберемся, куда и в кого...»

Неужели немцы и вправду не понимают, с кем они имеют дело в действительности, если рассчитывают на то, что наши бывшие офицеры будут стрелять в своих? Особенно меня насмешил один старичок-немец из ОТ, довольно благообразного вида, как оказалось Zahlmeister, т. е. бухгалтер. Он сжимал в руках какой-то до-

вольно чудного вида карабин и покрикивал в направлении леса: «Пусть только они явятся, мы будем стрелять и стрелять...»

Как я мог наблюдать позднее, он отнюдь не был пронацистом, считал себя несправедливо мобилизованным, проклинал службу в ОТ и, указывая на свои седые волосы, говорил, что он поседел в России. К нашим он относился неплохо, считал себя знатоком русского языка. Иногда, в вечернее время, он подходил к какой-нибудь группе русских, похлопывал кого-нибудь по плечу и приговаривал всякий раз одну и ту же прибаутку: «Сначала — ссать, потом — не знаю...» Он сопровождал эти слова достаточно выразительным жестом, а лицо его при этом принимало лукавое выражение, и он заливался детски-простодушным смехом. Что все это должно было означать, представлялось не совсем ясным. Вероятно, что-нибудь вроде того, что знаем, мол, мы вас — нашкодили да и в кусты...

Городок оказался маленький, весь деревянный. Каменное здание было, кажется, только одно — небольшая гидроэлектростанция, которая работала, давая ток городку. Штаб ОТ располагался на краю городка, частью в здании бывшего лесного техникума, где стояла еще русская военная часть — не больше роты, которой командовали бывшие советские офицеры под начальством двух или трех немцев — фельдфебеля и унтер-офицеров. Солдатами были местные ребята призывного возраста, мобилизованные немцами, видимо, для того, чтобы их не увели к себе партизаны... Оружия у них, мне помнится, еще не было, но они маршировали, распевая военную песенку, которой я раньше не слышивал. Она звучала переводом с немецкого:

Год пройдет и я вернусь,
Моя дорогая,
Если в воздухе собыют,
Знать судьба такая...

Перед домом, с задней его стороны, стояло с десятков финских палаток. В них располагался баурат Фелленбергер и непосредственно подчиненные ему люди. Что касается нас, то мы были расквартированы в помещении, где две или три большие комнаты были отведены для «украинцев». На другом конце города находился большой, человек на 300, лагерь военнопленных. Там был переводчик — молодой простоватый юноша Иван, видимо из младших офицеров, и несколько тоже довольно молодых и симпатичных ребят — «украинцев». С разрешения баурата я по

утрам стал ходить в лагерь для улаживания всякого рода дел, требовавших большего знания немецкого языка, чем то, каким располагал Иван.

Среди пленных оказалось немало знавших меня еще по орловской дороге, так что контакты были очень быстро налажены и доверие восстановлено. Пленные обращались через меня к немцам с самыми разнообразными вопросами, ранее не получавшими своего разрешения. Как ни ограничены были наши возможности, всякий раз бывало приятно, когда те или иные недоразумения, возникавшие на почве взаимонепонимания, бывали ликвидированы.

Среди моих товарищей и соседей по комнате оказался один москвич и инженер по профессии, кажется, как и я, бывший ополченец. Он был переводчиком в одном из небольших лагерей близ Орла и слышал обо мне от товарищей еще и раньше, так же как и я о нем, но встречаться нам с ним до сих пор не приходилось. Человеком он оказался нервическим, тяжело переносившим плен. В лагерь он тут не ходил, а если и бывал там, то не в качестве переводчика: «Надоело мне это все, — говорил он, — и опротивело...» Выискивал знакомства в городе и познакомил меня с машинистом электростанции, разговор с которым был мне весьма любопытен в том отношении, что в словах его чувствовалась ежеминутная оглядка на партизан, действовавших не только в окрестностях, но и в самом городе. Мины рвались не только на дорогах вокруг городка, но их обнаруживали в военной комендатуре и даже в радиаторах немецких легковых автомашин.

С сумерками наступал комендантский час, по городу расхаживали патрули, но пароль бывал широко известен.

Однажды промелькнул на моем горизонте Фогль. Дружелюбно меня поприветствовав, он сказал мне, что его назначили куда-то под Бобруйск — тогда мне это представилось невероятной далью. Я спросил его: «Что же это будет, господин Фогль, далеко ли мы так будем двигаться?» Он стал серьезен, помялся и сказал: «Говорят, что на Днестре возводятся мощные укрепления...» — давая этим понять, будто отступление должно происходить во всяком случае за Днестр.

Через несколько дней от нас отъезжал баурат Фелленбергер. Он тоже получил новое назначение с повышением по службе. Я слышал, как он говорил обслуживавшей его молодой женщине, с которой он бывал очень ласков, что его местопребыванием будет Унеча, а здесь появляться он должен только один раз в месяц.

На его место был назначен какой-то весьма чернявый молодой человек довольно интеллигентного и в то же время выражено еврейского вида, который панически боялся самолетов. Хотя они нас ни разу не бомбили, но стоило ему услыхать гул мотора в небе, как он стремглав устремлялся в щель — длинную траншею, окружавшую весь наш дом.

В день отъезда баурата ко мне подошел Тульчевский и стал вдруг прощаться.

— Пользуясь присутствием начальства, я подал заявление об отпуске меня домой на Украину, — сказал он, — и получил разрешение. Сегодня я уезжаю...

Как не грустно мне было с ним расставаться, я его очень поприветствовал и выразил всяческое сочувствие. Больше мы с ним никогда не встречались.

Тем ближе мне стал теперь Козлов — московский инженер и бывший переводчик, с которым, однако, как-то не получалось по-настоящему простых и дружеских отношений...

С отъездом Фелленбергера у нас началось строительство барakov, привезенных нами с собой в большом количестве. Мои товарищи, в большинстве своем бывшие кадровые офицеры, не любили физическую работу. Я помню, с какой ненавистью швыряли они наземь тяжелые части разборных барakov при их разгрузке. «Переломаем их, да и все. Нечего будет разгружать!»

Мне, хотя я и не был обязан заниматься всем этим, представлялось неловким отлынивать от подобной работы. Особенно трудно было сгружать и закатывать в бункер бочки с горючим. Руки жгло как огнем и моментально выступали кровавые мозоли.

Я подружился здесь и судьба связала меня довольно надолго с одним моим однолеткой, простым крестьянином какой-то из центральных областей. Он почему-то тянулся ко мне, а мне импонировало его добродушие и очень открытый характер. Мы работали всегда вместе, он никогда не жаловался на немочь или усталость, но из его замечаний и других малоприметных реакций я мог заключить, что ему несколько не легче работать, чем мне, но просто он гораздо терпеливее. Хотя руки его с виду и были погрубее моих, но они так же точно болели и горели, как и мои, а при земляных работах поясница его разламывалась, как и моя, но он притерпелся к этому, видимо, примерно так же, как люди умственного труда к головной боли.

Все эти наблюдаемые мной совпадения и сходства между

нами в отношении переносимых тягот очень меня радовали. Было приятно сознавать, что испытываемую мной боль и усталость от непосильного для меня труда испытывают и более приспособленные к нему люди, но только умеют все это перетерпеть и привыкли не подавать вида.

Значительная площадь, на которой еще недавно стояли финские палатки, расчищалась и разравнивалась нами для установки на ней большого количества барачков. Должен был вырасти целый барачный городок. Я стал было уже втягиваться в эту работу, стал было забывать о том, что я переводчик, тем более что у нового начальника переводчиком был некий польский немец, хорошо знавший и русский язык, сотрудник ОТ в чине труппфюрера. Он не только переводил, но и командовал всей нашей разношерстной компанией. Нам было приятно видеть и результаты этого труда — поднялись два барака, отведенные под продовольственный и инструментальный склады. Неприятной стороной нашего быта были введенные новым начальством ночные дежурства. Для этих дежурств, имевших в виду охрану складов и поднятие тревоги в случае приближения партизан, назначали по очереди всех без исключения. Дежурили мы по двое, и на часы дежурства выдавались винтовки. Если бывшие офицеры легко мирились с необходимостью брать в руки оружие, то мне, моему приятелю и некоторым другим невоенным людям это обстоятельство было неприятнее всех других. Мой друг начал было с того, что попросил меня сходить к начальству и сказать от его имени, что он отказывается от караульной службы.

— На что мне эта винтовка? Я по своим бить все равно не буду...

Насилу я его урезонил:

— А ты думаешь, другие будут? Ты думаешь, наши лейтенанты будут или я буду стрелять по своим? Да небось и немцы не такие дураки, чтобы на это надеяться. Им надо, чтобы было выполнено распоряжение, — стоял караул. Придут наши — мы же, конечно, к ним перейдем, только бы они нас взяли... Но для этого надо еще, чтобы пришли. Пока ведь вот не приходили... Ну, отказались мы с тобой, запрут нас опять в лагерь, глядеть будут, как на волков, для чего это нужно? Хуже только нам с тобой будет и никому больше...

С трудом уговорил. Но всякий раз, как подходила очередь и нужно было с винтовкой в руках лезть в окопчик, глядевший в сторону леса, на душе становилось особенно неприятно.

Однако по возведении этих двух барачков строительство пре-

кратилось. Опять мы оказались без работы, а это было явным признаком приближающегося переезда. Так оно, в сущности, и должно было быть: тот труппфюрер ОТ, которому препоручил меня баурат Фелленбергер и который теперь исчез с моих глаз, сказал мне, что новое место будет где-то далеко за Рославлем. Впрочем, конечно, он мог и ошибаться...

Активность партизан возрастала однако не со стороны нашего леса, а со стороны того, который начинался за лагерем военнопленных, то есть с другой стороны городка. Сразу за лагерем протекала небольшая речка, на которую мы ходили небольшими группами помыться и поваляться на берегу под осенним солнышком. На том берегу начинался обширный заливной луг, по которому до леса было километра полтора. По эту сторону речки в стратегически важных местах были расположены караулы из немецких частей и местных русских подразделений, которые стреливали иногда в сторону леса, чтобы дать понять партизанам, что-де приближаться не следует. Те и не приближались, но партизанские акты в самом городе и на дорогах не прекращались — на минах то и дело подрывались автомашины.

Как-то мы небольшой группкой, в которой находились также карачевский бухгалтер и «машинист», лежали на берегу речки. По ее противоположному берегу шли две женщины, одетые по-деревенски, с какой-то небольшой ношей. Наш бухгалтер вдруг поднялся с земли и начал выкрикивать в их адрес непристойности. Звал их переправиться к нам: «Идите сюда, не пожалеете...» «Машинист», заметив мою ироническую улыбку, вызванную главным образом тем, что выкрикиваемые бухгалтером обещания не очень-то соответствовали его тщедушному виду, сказал негромко, но с явной досадой: «Что ты тут скажешь, ведь вот человек умственной профессии, а не стыдится... Надо же ведь...» На бухгалтера это не произвело большого впечатления: «Пошутить тоже можно...» Женщины, однако, на нас даже ни разу не оглянулись.

Через несколько дней приятель мой сообщил конфиденциально о том, что ребята норовят к партизанам. Момент, конечно, нельзя было признать неподходящим. Вряд ли это можно было проделать где-либо еще более просто и легко, чем здесь. Я мысленно прикидывал, кто бы мог осуществить и возглавить эту операцию, и мне казалось, что вряд ли кто-либо мог сделать это лучше, чем старший лейтенант Петров. Ну что ж, думал я, посмотрим, как оно все будет. Но дознаваться подробней я не стал, с одной стороны, чтобы не спугнуть, — я в качестве свидетеля

мог бы представиться им человеком опасным. С другой стороны, я решил для себя и именно здесь впервые решил, что я не мог бы, вероятно, к ним по своей охоте присоединиться: не гожусь я на роль лесного зверя, не для меня это... Может быть, я мог бы быть полезен в качестве медика, но и медик я для самостоятельных действий недостаточный.

Денька через два ко мне пришел один очень симпатичный юноша из лагерных «украинцев» и стал меня спрашивать, как бы я повел себя, если бы представилась возможность уйти к партизанам. Я понял, что это было прямое приглашение, и поэтому совершенно откровенно сказал ему, что я об этом думаю: здесь я могу приносить своим некоторую пользу, там надо действовать винтовкой, а я сомневаюсь, чтобы из меня получился настоящий боец. Поэтому считаю, что мне лучше остаться здесь... «Пожалуй вы и правы», — сказал мне в конце концов юноша, и больше на эту тему разговоров у меня ни с кем не было. Еще дня через два, утром, стало известно, что ночью ушла группа украинцев, человек 15, среди них переводчик Иван, переводчик Козлов и другие ребята, хотевшие увлечь за собой военнопленных из лагеря, в чем им, однако, помешала лагерная немецкая охрана. Ушли они почти все с оружием. Еще через несколько дней стало известно, что Иван являлся в ближайшую деревню за самогоном, и, кроме того, с выгона угнали и зарезали корову. Я мысленно благословил свою судьбу за то, что не попал в эту компанию, деятельность которой началась с тривиального бандитизма. Старший лейтенант Петров оказался на месте и никаких чувств по этому поводу не выражал, что меня немало удивило. Я представлял его себе в другом роде. На словах-то он мне казался куда шустрей...

В один из дней, когда нам абсолютно нечего было делать и мы ждали с минуты на минуту распоряжения об отъезде, подошла грузовая машина, которую приказано было разгрузить. На ней лежало больше сотни винтовок самого разного образца — видимо со всей Европы. Вот они лежат перед нами кучей, а мы стоим перед ними в ожидании дальнейших распоряжений. Их не имел пока и тот ОТ-манн, который сопровождал машину.

Через некоторое время вышел кто-то из начальства и сказал, что винтовки должны быть совершенно поломаны, металлические части их по возможности разъединены, а обломки зарыты в яму, которую надлежит сделать поглубже. Он спросил меня, понял ли я распоряжение.

— О, да. Такой работой я готов заниматься весь остаток жизни...

По его лицу скользнула тень улыбки, он, видимо, хотел что-то сказать, но, должно быть, остерегся этого и молча ушел, а мы, в большинстве своем совершенно равнодушно, принялись выполнять приказание. Во мне все-таки некоторое время шевелилось чувство, будто бы мы делали что-то такое важное с точки зрения прекращения войны, хотя я и понимал, конечно, всю эфемерность и несерьезность моих мыслей.

Через какую-нибудь неделю после этого происшествия приказано было разбирать бараки... Я слышал, как немецкий фельдфебель — командир русской роты новобранцев, стоявшей рядом с нами, говорил кому-то из сотрудников ОТ: «Это место должно быть оставлено одним махом, уйти должны все сразу, иначе будет плохо...»

Снова пришлось грузить тяжелые бензиновые бочки и части разборных барakov. Уезжали мы на этих же грузовиках, поверх нагруженного скарба. Петров был сильно пьян, как и некоторые другие из наших. Когда мы усаживались на машины, один из них возгласил: «Черт его возьми, и куда же это я еду, ребята, ведь я же пулеметчик...»

Я наклонился к нему: «Язык у тебя пулеметчик, помалкивай-ка в тряпочку...» Он похлопал меня по спине: «Ладно, ладно, друг.. своего дождемся...» — «Разве что...» — ему в тон проворчал я.

Скорее, чем я ожидал, показался Рославль. Город был весь в огне. Над ним не было русских самолетов, его не обстреливала и наземная артиллерия. Мы проехали по его окраине среди горящих зданий, подобно отступавшим из Москвы французам, и повернули на Кричев. Начиналась новая, неизведанная часть моего пути на запад.

В этот же день мы прибыли в Кричев. Уютные деревянные домики. Высокие заборы, из-за которых свисала пышная зелень, незапыленная несмотря на осень и соседство шоссейной дороги, по которой совершалось очень большое движение. Ночевать мы расположились под открытым небом, недалеко от пункта ОТ, где, видимо, для нас не было места. Я слез с машины и расположился в компании Петрова и его товарищей, преодолевая сон, — нам обещали по кружке кофе, который кипятился в походной кухне на дворе пункта ОТ. Вдруг, откуда ни возьмись, появился маленький труппфюрер, которому меня препоручил в Карачеве Фелленбергер. «Переводчик, — сказал он мне, — теперь-то мы и

поедем с тобой искать новое место. Видишь автобус?» Неподалеку действительно стоял тот самый автобус, в котором я начал путешествие из Карачева. «Завтра утром приходи к нему, понял?» Я понял и даже как будто обрадовался, хотя мне и было грустно расставаться с Петровым. Трупфюрер поймал этот мой взгляд и ответил на него: «Die Kameraden kommen nach...»¹ — «Einverstanden»². Я распрощался с трупфюрером и сообщил новость товарищам. А утром, когда многие из наших еще спали, автобус стал подавать призывные гудки. Я поспешил к нему и уселся рядом с моим трупфюрером. Ехали мы недолго — всего часа три или, может быть, четыре — и соскочили в каком-то большом придорожном селе, около небольшого пункта ОТ, помещавшегося в просторном домике городского типа с большим сараем, в который я и устремился, так как начался дождь. Сарай был пуст, но вскоре туда же пришел странноватый человек, жгучий брюнет, с несколько аристократического вида лицом, с неправильными чертами. Мне показалось, что он не немец, и я обратился к нему по-русски. Он мне ответил с польским акцентом и отрекомендовался как здешний переводчик.

— Что нового на белом свете? Немцы отступают, это уже ни для кого не тайна. Вы приходите на наше место, а мы поедем ближе к дому...

Ворота отворились, и на двор въехала грузовая машина, на которой горой были навалены тачки. Шофер, хмурого вида человек в форме ОТ, как бы не замечая нас, соскочил на землю и стал открывать борт. Потом рванул одну из лежащих внизу тачек, так что за ней посыпался еще десяток. Послышался треск дерева. «Вот как у нас разгружают... Всё ко всем чертям...»

На эти возгласы из помещения вышел мой трупфюрер и спросил прибывшего на машине, чем он недоволен. «Verfluchte Scheisse. Alles geht zum Teuffel»³. Можно говорить, что угодно, врать, как угодно, и все же мы идем назад. Надо было забираться, положить столько сил и людей, чтобы теперь идти назад. Чертовщина!»

К дальнейшему их разговору в более спокойном тоне я уже не прислушивался. Через несколько минут трупфюрер позвал меня и сказал, что нам нужно идти к военному коменданту. Перед комендатурой, снабженной большой вывеской на листе фанеры, я уселся на завалинке. Когда трупфюрер вышел оттуда, день уже

¹Товарищи придут следом.

²Согласен.

³Проклятое дерьмо. Все идет к черту.

начал клониться к вечеру. «Мы ночуем здесь, — сказал трупфюрер, — а завтра пойдем искать дом шоссейного мастера в 5 километрах отсюда». Он завел меня в немецкий Rasthaus¹, совершенно такой же, как тот, что мы когда-то оборудовали в Рославле, в 1941 году. Тут я и переночевал в полупустом помещении на голых деревянных нарах.

Дом дорожного мастера оказался весьма поместительным, двухэтажным, окруженным большими сараями. «Вот это помещение военная комендатура отвела для штаба ОТ», — пояснил мой трупфюрер. Однако на крыльце дома мы увидели офицера хозяйственной службы в чине обер-лейтенанта, который заявил, что он прибыл сюда, чтобы занять дом под военную часть. «Как же так, — удивился трупфюрер, — комендатура назначила это помещение для ОТ?» — «Ну, ОТ, что такое ОТ? Мы — активная военная часть. Alles für Wehrmacht», — добавил он, повторяя избитый гитлеровский лозунг и изображая на своем лице сожаление, не без некоторого ехидства.

«Тогда нас надо бы отправить домой», — мрачно пробурчал мой трупфюрер. Офицер пожал плечами: «С моей стороны это не вызвало бы возражений...»

«Так, — подумал я, — значит придется снова топтать в комендатуру?» Но инцидент уладился как-то сам собой, и расторопный интендант исчез.

Чуть ли не на завтрашний день начали прибывать машины с продовольственными запасами, горючим и оборудованием нашего штаба, а также приехали все карачевцы и все украинцы, с которыми я расстался недавно в Карачеве. И опять началась разгрузка и погрузка на машины всяческих тяжестей, которые все мы проклинали последними словами. На дворе места для нас не хватило, и были поставлены фанерные палатки за воротами у самой дороги, по которой мимо нас происходило грандиозное отступление немцев за Днепр. Это было необычайное зрелище — кто только не проходил мимо нас: танки, танки, бронетранспортеры, легковые машины штабов — с высоко поднятыми осями, очень быстроходные, с простреленными ветровыми стеклами... Большое впечатление производили дальнобойные длинноствольные орудия на гусеничном ходу, с прицепами для прислуги, которая обычно лежала, погруженная в сон. Некоторые же люди читали, пользуясь кратковременным отдыхом от стрельбы, — мне

¹ Дом для отдыха.

запомнился какой-то очень длинноногий человек с усталым интеллигентным лицом, в руках которого была какая-то очень красивая, в дорогом переплете, книга...

Особенно же бесконечны были конные обозы со всяческим скарбом — немецкие, польские, русские повозки, на которых сидели не только солдаты, но и женщины — много женщин, ехавших за своими немецкими приятелями на новые места... Двигались отряды русской «освободительной армии», так называемых «власовцев» в немецком обмундировании, но большей частью с русским оружием. Сначала мы их с трудом отличали от немцев, но потом стали определять с первого взгляда: все, начиная от униформы, было у них немножко не так, как у немцев, в особенности же выдавала манера держаться.

Одна из таких рот расположилась рядом с нашей базой. Их было много, этих молодых здоровяков с офицерской выправкой. Напрасно я вглядывался в их лица в поисках интеллигентных физиономий. Характерно, что наши «украинцы» не то чтобы сторонились их, но и не искали встреч и разговоров. Конечно — по чистому недоразумению. Никакой существенной разницы между ними и нами не было в отношении преданности немцам.

В самый разгар немецкого отступления за Днепр, когда нам казалось, что вот еще неделька-другая, и мы снова двинемся на запад, нам приказали поставить две новые палатки рядом с теми двумя, в которых обретались мы сами. Только это было исполнено, как с запада прибыла грузовая машина, а в ней человек 25 в городской гражданской одежде. Это оказались поляки, почти всё варшавяне, так сказать «свеженькие» — их хватали прямо на улице, сажали в машины и отправляли на «восточный фронт». Они должны были работать, хотя работы особенной не было — дорожно-ремонтных работ мы тут не производили. Они распевали смешные злободневные песенки, сочиненные при немецкой оккупации, например, об учреждении карточной системы для польского городского населения и о самих этих «картках».

А на одну дали сахарину,
А на другу дали маргарину,
А на третью ниц не дали,
Чтобы черти их позабирали...

Может быть, это звучало и не совсем так, но, во всяком случае, очень близко к этому.

В связи с их появлением мне пришлось пережить очередной па-

роксизм страха и отчаяния. Сначала все было как нельзя лучше, мы много разговаривали, обменивались впечатлениями, узнавали друг у друга новости, я охотно исполнял для них функции переводчика. Вдруг все это прекратилось, я стал замечать на себе подозрительные взгляды, перешептывания явно на мой счет. Не могло быть сомнения — опять, видимо, кто-то высказал предположение о моей еврейской принадлежности, и оно приобретало силу, во всяком случае передавалось из уст в уста и обсуждалось. И опять собирая свои нравственные силы, я убеждал себя оставаться спокойным и равнодушным ко всему этому, будто ничего не происходило... Все разрешилось легче и скорей, чем можно было вообразить. Кто-то из них в стремлении установить истину спросил, как меня зовут. Я назвал себя. «Пан есть поляк?» — «Да, мой отец польского происхождения». — «То есть очень приятно...» Дружеские отношения моментально были восстановлены. Доверие же стало совершенно неограниченным.

У наших ворот остановилась «эмка», не виданная мной с мирных времен. Из нее вышел русский человек интеллигентного вида и стал оглядываться по сторонам. Заметив меня, а также, вероятно, мои любопытные в его сторону взгляды, он подошел ко мне и спросил, кто я такой. Он представился со своей стороны — агроном по специальности, рославльский житель, был при немцах бургомистром Рославля, а теперь с женой и дочерью эвакуируется на запад на данной им для этого немцами машине. Беда в том, что лопнула камера, запасной нет, машина идти без ремонта дальше не может. Он готов отблагодарить чем только может того, кто бы ему пришел на помощь. Я обещал всемерное содействие. Он подвел меня к машине и познакомил меня с женой, как и он, еще совершенно не старой женщиной, и дочерью — девочкой лет семнадцати. Жена его тут же принялась плакать: «Едем неизвестно куда и зачем, сидели бы лучше дома, будь что будет...» Он хмуро молчал, а я рассказал ей то, что мне было известно в отношении бургомистров тех мест, где мне довелось быть, и которых я немного знал лично.

Мое начальство ничем не могло помочь бывшему бургомистру, и мы отправились с ним по местным властям, через которых в конце концов в одном из соседних сел нам удалось раздобыть камеру и покрывку какой-то разбитой русской полуторки. Пока мы туда ходили, он мне много рассказывал о своих обстоятельствах, бранил и своих и немцев, признавался, что плывет по инерции, подталкиваемый внушенным ему страхом. Сказал,

впрочем, что дальше Польши он не поедет, там решил дожидаться конца событий. Расстался я со всем семейством самым дружелюбным образом, обменявшись, так сказать, «визитными карточками».

Только я их проводил, как у нас разыгралась весьма трагическая история, случившаяся, быть может, даже не без влияния происшествия с бургомистром. В распоряжении одного из наших трупфюреров, человека, мне до этого совершенно не известного, имелась немецкая легковая машина «Фольксваген», пользоваться которой он не мог по той же причине, что и бургомистр: из-за отсутствия резины. А тут, как на грех, какая-то проезжавшая мимо авиационная часть бросила у наших ворот двухколесный компрессор и проследовала дальше, к западу. Наши ребята стали подбивать трупфюрера снять с компрессора колесо и переставить его на свою машину. Компрессор-де брошенный, за ним никогда никто не вернется... Действительно, отступление шло в таких темпах и в таком беспорядке, что всему этому легко можно было поверить. Трупфюрер стал предлагать ребятам какую-то мзду, если они произведут эту операцию. Я со своей стороны их всячески отговаривал и предостерегал, но ухарство, вообще свойственное русскому человеку и весьма подогретое всем тем, что происходило на наших глазах, одержало верх: одно из колес компрессора было снято и переставлено на автомобиль, которым, однако, нашему трупфюреру вряд ли даже пришлось воспользоваться хотя бы раз.

На другой или на третий день явился кто-то из авиационной части, увидев компрессор без колеса, сообразил, вероятно, в чем дело, и ни слова не говоря ретировался. Вскоре явилась полевая жандармерия и начала производить сыск. Трупфюрер был так перепуган, так нервно травмирован этим, что, забравшись на чердак хозяйственного сарая, выстрелил себе в висок из пистолета. Он был жив еще около суток, но, разумеется, не мог дать каких-либо показаний. Стали тягать наших ребят, участвовавших в демонтаже компрессора. Я им всячески внушал, чтобы они ничего не говорили про полученные ими от трупфюрера подарки, а ссылались бы только на его распоряжение. Их возили куда-то поблизости на допрос, но все кончилось для них благополучно. Записали показания и отпустили.

Самоубийство трупфюрера произвело на всех наших немцев тяжелое впечатление в особенности потому, что это был бессмысленный поступок, совершенно к тому же не соразмерный обстоятельствам. Самое большое, что могло ему угрожать, это перевод из ОТ в какую-либо фронтовую активную часть в штрафном поряд-

ке... Я же по его поступку судил о страхе, внушаемом простому немецкому обывателю нацистской военной полицией.

Мутная волна отступления прокатилась через нас и унеслась на запад. На дороге стало значительно тише. Движение шло равномерно в обоих направлениях. Может быть, фронт опять остановился на какое-то время? Может быть, это не отступление за Днепр, а какая-то перегруппировка сил?

Я был занят погрузкой в стоявшую на дворе машину каких-то бидонов с краской и руки у меня были по локоть в этой краске, когда прибежал какой-то ОТ-манн и сказал, что меня требуют за ворота: «Ельницкий, с тобой хочет говорить линиеншеф»... «Линиеншеф? Черт возьми, это уже очень большое начальство, что ему от меня надо?»

На дороге стояла большая легковая машина, перед которой находился низкорослый человечек в кожаном пальто. Когда я подошел и приветствовал его по-военному, он протянул мне руку. Я извинился. Объяснил, что работал на погрузке краски и руки грязные. Он потрепал меня своей рукой выше локтя...

— Это ничего, это ничего... Знаю о вас давно от Фелленбергера и очень вам сочувствую. Ничего, что вы лишены обычных возможностей нормальной жизни. Мы все сейчас в таком положении. Я, собственно, тоже гуманитарий, занимаюсь сейчас совершенно не своим делом. Я всегда на колесах, и это мне не по силам. Может быть, поэтому я вам особенно сочувствую...

Я его очень благодарил. Поговорив со мной еще немного в том же роде, он сел в машину и уехал. Видимо, он ничего другого и не имел в виду, кроме как просто выразить сочувствие человеку, которого он считал себе близким по духу.

«Что тебе говорил генерал?» — стали приставать ко мне немцы. «Да ничего такого... Утешал, пожелал всего хорошего...» На меня поглядывали недоверчиво: «Ты с ним был знаком раньше?» — «Нет, но он знает обо мне от других...» Так этот инцидент и остался не понят до конца ни мною самим, ни моим непосредственным начальством.

К нашему пункту подошла большая группа военнопленных, среди которых были и люди с орловской дороги. Группу наших «украинцев» и меня присоединили к этой колонне, и мы на следующий день двинулись пешком в западном направлении. Совершенно как в 1941 году, наши ребята отбивались то и дело от колонны, забегали в избы придорожных сел, выпрашивали хлеб

и картошку. С той только разницей, что теперь никто по ним больше не стрелял: охрана была почти целиком своя, да и немцы смотрели на все это уже совершенно иначе.

Куда мы идем? Говорят, на Рогачев. Рогачев... Я вспомнил газеты первых недель войны, в которых писали о грандиозных танковых сражениях под Рогачевым. Тысячные колонны танков с той и с другой стороны... Здесь мы должны были, соответственно этим сообщениям, нести большие потери в танках. Где же эти танки? Неужели немцы уже повывезли все в Германию? Русские подбитые танки нам попадались лишь изредка: вот там виднеется танк, глядишь через километров 15–20 еще один... Что-то это не то. Я стал на привалах расспрашивать местных мужичков: «А где же подбитые советские танки?» — «Яки танки?» — «Которые были подбиты в боях с наступавшими немцами в июле месяце 1941 года». — «Никаких боев тут не было...» — «Как это не было? А что же тогда было?» — «Поперед шли немцы. За ними отступали наши... И только самолеты в небе як свечи горели...»

Горели самолеты... Это, видимо, немецкая истребительная авиация подавляла нашу... Так постепенно выяснялась, вставала передо мной истинная картина войны. Танковые бои происходили только в воображении штабистов или сочинялись для информации...

При приближении к Рогачеву, еще с восточного берега Днепра, стало заметно какое-то большое, не русского вида, складское помещение. Вот, подумал я, здесь уже есть кое-какое немецкое строительство... Но оказалось, что здание в основе русское, довоенное, и только немцами отремонтировано... Не зря, видно, немцы ничего не строили на нашей территории.

Мы пришли в лагерь военнопленных. Это не был Орловский централ, но все же это был форменный лагерь, обнесенный забором и проволокой, с большими электрическими рефлекторами на столбах, с серьезной охраной, так что даже заходить туда было неприятно. Нам отвели пустой барак, никак нас не беспокоили, жили мы на сухом пайке, так что ясно было — здесь не задержимся. Для того чтобы выйти из лагеря и погулять по городу, нужно было предпринимать нечто чрезвычайное — просить какое-то неизвестное мне немецкое начальство. Пока я собирался и раздумывал — просить или не просить, — появился Фогль и потребовал, чтобы я и остальные наши двигались за ним. На дворе стояла грузовая машина, на которую нас и посадили. Ехали одни «украинцы» — прочие пленные остались в лагере.

Рогачев промелькнул перед глазами как малоприметный, но и мало потревоженный войной городок. Немецкие надписи на доро-

ге сообщали, что едем мы на Бобруйск. Дорога Рогачев—Бобруйск была очень густо усеяна по обочинам разбитыми машинами. Партизанская война и здесь была интенсивной, но дорога находилась в очень хорошем состоянии, движения же по ней, когда мы проезжали, почти не было. Бобруйск поразил меня необыкновенным провинциальным уютом и какой-то непричастностью к войне. Немцев в городе было очень немного, и они, так сказать, не определяли пейзажа. Домики все были очень аккуратны, стекла в окнах целы, перед домами зеленые густые палисаднички. Вот остаться бы здесь, в этом городке, как замечательно, — возмечтал я. Но когда мы подъехали к пункту ОТ, отмеченному снаружи небольшой фанерной вывеской, от машины приказано было не отходить. Я слез наземь и стоял, привалясь спиной к кузову машины. По тротуару шагал какой-то обер-лейтенант. Я было подумал, что надо встать как следует, а потом решил, что ни к чему. Нас в этом отношении избаловали ОТ — у них не было обязательного приветствия, а от нас в этом отношении вообще ничего не требовали. И я остался стоять, как стоял, но вдруг, поровнявшись со мной, обер-лейтенант приложил руку к козырьку. Я остоленел на мгновение. Подумайте — он первый отдал мне честь, чтобы пристыдить меня... Я моментально вытянулся, лихо откозырял ему и прищелкнул каблуком. Мне запомнилось его строгое и серьезное лицо. Когда я рассказал об этом товарищам, мне не поверили: «Вот уж действительно, стал бы он вам отдавать честь. Наверно, по другой стороне улицы шел кто-нибудь старше его чином...» Но я-то знал, что сделано это было специально для меня и, вероятно, в строгое назидание.

Нас повезли на дорогу Бобруйск—Могилев, на ее примерно тридцатый километр от Бобруйска. Дорога, как мне объяснил Фогль, контролируется партизанами и движения по ней пока нет. Но туда стягиваются значительные силы, которые ее и должны освободить для движения немецкого транспорта. Шли мы туда пешком по довольно уже холодной, но яркой осенней погоде — краски этой лесистой местности казались замечательными.

Пункты ОТ под Бобруйском

Наступил октябрь 1943 года. События надвигались на нас, темпы их возрастали, но насколько именно и что в действительности происходило, сообразить было невозможно. Ходили самые невероятные слухи: взят будто бы уже советскими войсками

Гомель, на минском направлении наши будто бы уже под Борисовом. Говорили, что уже и Витебск освобожден. Особенно изощрились на предмет скороспелых предположений местные мужички.

Что нас ждет в этом партизанском краю? Здешние партизаны, пожалуй, посильней и помногочисленней брянских. Нам говорили, что вокруг маленького городка Кировска раскинулся целый партизанский район, где полностью функционировала советская власть, вплоть до того, что на 1 Мая была демонстрация и ходили с красными флагами.

Двигались мы не спеша. Скарб наш и инструмент везли перед нами на подводах. Хорошо, торопиться некуда. Шли немцы из ОТ, шли мои давнишние и новые товарищи, и среди них Петров. Шагали также и некоторые гражданские лица, в частности женщины для обслуживания начальства. Одна из них — молодая крупная и разбитная баба, с недвусмысленной физиономией — вела себя особенно весело и вызывающе. То она пела цыганские романсы:

Соколовский хор у Яра
Был когда-то знаменит,
Соколовского гитара
И теперь еще звенит..

То вдруг раздавался ее отчаянный визг, и по треску сучьев можно было догадаться, что ее увлекает в лес и возится с ней какой-нибудь очередной немец.

Село, в котором нам предстояло какое-то время жить, улицей своей было перпендикулярно шоссе, на дальнем его конце, от которого до леса было с километр, стояла противопартизанская застава — русский отряд с немцами во главе. Нам отвели избу без хозяев, у самой дороги. Начинались сильные заморозки. Мы топили русскую печку. В избе было чересчурлюдно и душно. Во избежание вшей, которых у меня довольно давно уже не было, я расположился в сених, на чем-то вроде самодельного верстака. Было, конечно, холодно по ночам, но зато чисто.

В качестве русского дорожного мастера с нами пришел из Бобруйска некий молодой человек местного происхождения, но войной занесенный на Украину, откуда он, миновав лагерь военнопленных, добрался домой пешком. Много что повидал в связи с этим, говорил об озлобленности украинского населения против русских, в частности рассказывал про одного черниговского старика, у которого он ночевал, что тот, прежде чем пустить его к себе, очень допытывался относительно его национальности, предупре-

жда, что он ни жид, ни кацап на порог не пустит... Этот паренек тоже очень интересовался складывавшейся военной обстановкой, и мы с ним решили попытаться раздобыть хотя бы самую примитивную карту, для того чтобы более наглядно представить себе положение фронтов соответственно муссировавшимся среди местного населения слухам.

Вышли мы с ним на другой день из нашей избы, и я стал спрашивать, имеется ли в селе школа и не живет ли при ней кто-либо из педагогов. Школа оказалась на другом конце, и в ней должна была обитать учительница с детьми. Туда мы и направились. Отворила нам дверь довольно еще молодая и миловидная женщина с подоткнутым подолом, с половой тряпкой в руках. По виду и манерам она мало чем отличалась от любой местной крестьянки.

При виде нас на лице ее отобразился испуг, а когда я спросил про карту, она в полном отчаянии замахала руками: «Что вы, что вы, какие же у меня карты, ничего у меня нет, решительно ничего...» — и захлопнула перед нашим носом дверь.

От дальнейших попыток мы было отказались, как вдруг, часа через два-три, к нам в избу пришла девочка лет 11—12 и, обратившись прямо ко мне, сказала, что меня зовет учительница. Я тотчас же с нею пошел. Это оказалась ее дочка.

— Вы извините, пожалуйста, что я вас так встретила, — начала учительница. — Мы всего тут боимся, не знаем, что через пять минут будет... Вид у вас военный, бог вас знает, может быть, вы к партизанам пробираетесь или наоборот — меня за партизанку посчитать хотели... Ну, теперь я спросила тут кое-кого, узнала, что вы за человек... Пожалуйста, у меня только вот учебник географии сохранился, есть тут и карта...

Так мы с ней познакомились немного и разговорились. Оказалось, что бедная женщина с детьми и со своими односельчанами все лето жили на опушке леса, не зная, куда им податься — к немцам или к партизанам. Боялись они и тех и других... «Всего недели две только, как дома живу, уж и не знали, что с нами зимой будет...»

Операция по очистке дороги от партизан дала себя знать артиллерийской канонадой и танковой атакой. Звуки эти довольно быстро удалялись. Стало известно дня через два, что партизан несколько поотогнали в лес и что дорога свободна. Но, видимо, ход военных действий в этих местах определился как-то иначе, чем рассчитывалось, и дорогой этой никто не воспользовался.

Движения по ней так и не было все то время, покуда я на ней не ходился.

Кругом процветало самогонование, и наши ребята доставали самогон как-то без особого труда и напивались иногда до полусмерти. Самогон что ли был какой-то зловредный? Я наблюдал, например, как один тихий и скромный паренек офицерского все же вида, которого мы привезли с собой из лесного городка Мглина, стоя на улице перед нашей избой и разговаривая со мной нормальным образом, вдруг умолк, потом вытянул руки в разные стороны и завертелся с невероятной быстротой, как волчок. Покружившись так с минуту, он грохнулся оземь. Оказалось, что перед этим он хватанул стакан самогона, не обладая предварительной тренировкой по этой все же особой спирто-водочной части. Пришлось его волочить в погреб для вытрезвления. Мы разговаривали с ним по душам, когда он отрезвел. Оказалось, что он действительно бывший офицер нашей армии. А в городке исполнял ни больше ни меньше как обязанности следователя полиции.

«Ну и какие же, — говорю, — бывали у вас дела?» — «Да по обвинению в связях с партизанами». — «И что же, серьезно было у немцев поставлено следствие?» — «Да какое там, одно требуют — добивайся признания, а к нему другой раз и на козе не подъедешь...»

Знакомая картина, черт возьми. Такого же рода судопроизводство, несомненно, действовало и по другую сторону фронта. Позднее я получил возможность убедиться в этом на собственной шкуре...

Здорово перепил однажды и упоминавшийся раньше «поляк» с уголовными реминисценциями. Когда его, вышедшего из подчинения себе и другим, двое ребят под присмотром немца волочили на погреб, он ужасно ругался. «Кого он именно ругает?» — допытывался немец. Я не покривил душой, когда сказал ему, что этого разобрать невозможно. Наш «поляк», хотя и был пьян, но соображал все же, что ему не следует становиться предметом политического преследования со стороны немцев. И поэтому ругательства его были нечленораздельны и больше напоминали какое-то бессмысленное гоготание.

Один парнишка, совсем молодой и еще из карачевских, упился до того, что бросился через поле к лесу. Это было запрещено немцами во избежание сношений с партизанами. По нём стреляли, но, видно, милостиво — не убили, не ранили. А он отоспался на опушке да и пришел назад.

Мой Петров тоже почти не бывал последнее время трезвым, но пил все-таки так, чтобы оставаться на ногах. Вообще он сторонился меня в пьяном виде, но тут как-то раз сам подошел ко мне и заявил:

— Лев Андреевич, вы меня должны презирать, я знаю...

— Да что это вы, товарищ Петров, за что же это я мог бы вас презирать и по какому праву?

— А что я не иду в партизаны... Вы небось думаете, не хочу. А я на каждой нашей стоянке разужаю про партизан. Вот и тут, пожалуйста, километрах в пятнадцати, вон в том лесу — местные, из этой же деревни... Я к таким не хочу. Не то партизаны, не то так — и от своих и от немцев отсиживаются. Вот помните, мы около Кричева стояли — подошли партизаны, обстреляли из орудий аэродром, сколько-то самолетов на земле повредили... Неизвестно, откуда пришли, и ушли, никто не знает куда, — вот это настоящие партизаны, да только где их найти, хоть бы кто подсказал... К таким партизанам я бы бегом побежал...

В трезвом же состоянии, когда его спрашивали: «Ну что ж, Петров, так мы и будем ходить за немцами до самого Берлина?» — он отвечал: «Нет, я только до Лиды...»

— Почему же именно до Лиды?

— А я там служил до войны. Оттуда и отступать начал. У меня там жена с дочкой осталась. Хочется посмотреть — может, и сейчас еще там живут...

Как-то под конец нашего пребывания в этом месте, в один из совершенно бездельных дней, я предложил Петрову и еще нескольким ребятам пограмотнее почитать мои стихи, написанные в плену. Предупредил, что они обязательно покажутся неинтересными, но слушать стали решительно все, главным образом, вероятно, потому, что никаких других занятий не было, а тут все-таки нечто вроде бесплатного театра. Слушали довольно внимательно — читал я не меньше часа. Реагировал на чтение один Петров, заявив, что хотя и интересно кой-что с его точки зрения, но идейная сторона ему представляется сомнительной. И он и другие, разумеется, ждали агитационных советско-патриотических стихов и в этом отношении не могли не быть разочарованы.

Недалеко от нашей избы у самой дороги стоял прицепной фургон, в котором жил замещающий исчезнувшего опять Фогля группфюрер. Он производил интеллигентное впечатление, которое и подтвердилось следующим образом: как-то он увидал у

меня в руках немецкую книгу и стал меня расспрашивать, кто я и откуда. После этого разговора позвал меня в гости к себе в фургон. Внутри оказалась довольно уютная для полевых условий комнатка, со столиком посредине, коечкой, прибитой к стене, и со столиком для занятий у окна. Над этим столиком была небольшая полочка, а на ней десятка полтора книг.

«Если угодно, выберите себе что-нибудь для чтения». Я просмотрел книги и извлек новеллы Клейста. «Разрешите взглянуть», — полюбопытствовал он и одобрил мой выбор. Я хотел было ретироваться. «Подождите, это не все...» Он извлек откуда-то большую граненую рюмку-бокал и поставил ее на стол. Потом стал осторожно наполнять ее из какой-то темной бутылки. По помещению распространился очень приятный душиловатый запах. «Пейте», — сказал он мне. «Что это такое?» — «Пейте же», — повторил он.

Это был какой-то изумительный коньяк такого вкуса и аромата, что я не почувствовал ни крепости его, ни горечи... «Спасибо, господин трупфюрер, первый раз в жизни пью что-либо подобное». — «Ага, раскусили. То-то же. Этакое могут только французы...»

Вероятно, я нашел бы и еще какую-нибудь книгу, кроме Клейста, у этого трупфюрера, но Клейста мне пришлось возвратить ему не прочитанным до конца: явился Фогль и заявил, что переводит меня в пункт ОТ, расположенный на восьмом километре от Бобруйска на минской дороге. Там нужен переводчик, а здесь все равно уже делать нечего... Он поперхнулся на этом, сказав, видимо, несколько больше, чем хотел. Я сообщил эту новость ребятам, когда собирал свои немудрые манатки, попрощался и укатил вместе с Фоглем на его маленьком фольксвагене.

Село Сычково находилось между шоссе и железной дорогами Бобруйск—Минск. ОТ занимало там два или три домика, в одном из которых — обыкновенной избе — помещались расконвоированные русские, которых постепенно перестали называть «украинцами». Немцы употребляли для обозначения нас выражение «Hilfswillige» (буквально «желающие помогать») или сокращенно «hiwi». Здешние hiwi состояли из военнопленных, местных граждан и пригнанных сюда западных украинцев откуда-то из-под Львова. Всего нас было человек 40, и располагались мы в двух половинах этой большой избы на двухэтажных, тесно поставленных койках. Моя деятельность заклю-

чалась преимущественно в сношениях с местной гражданской администрацией — старостами, старшинами и с гражданскими же дорожными работниками — шоссейными мастерами и ремонтёрами. Народ это все был простой и хороший. Работать с ними было довольно просто. Участок, который мы обслуживали, простирался от Сычкова до Бобруйска. Почти каждый день я доходил до Бобруйска и пешком (иногда, впрочем, на какой-нибудь попутной машине) возвращался обратно. Я приглядывался к тому, что происходило на дороге и по сторонам от нее. Километрах в двух от города я заметил пространство, огороженное фанерными щитами, за которыми что-то происходило, но что именно? Вдоль щитов прохаживался немецкий солдат с винтовкой. Я спросил ремонтёра, не знает ли часом он. «А здесь еврейское кладбище. Они его сначала разорили, а потом тут их расстреливали и закапывали. А теперь ямы разрывают и поливают чем-то таким, что только дым подымается и костей даже не остается...»

У меня екнуло сердце. Верный признак, что и эти места должны быть оставлены немцами, раз они так тщательно заматают следы...

Иногда мне давались поручения и в отношении военнопленных, выводившихся из бобруйских лагерей для работы на нашем участке. Среди них я встретил знакомых не только с орловско-карачевской дороги, но и более ранних — из Рославля. От них я узнал важную новость.

— Помните Мячикова, Лев Андреевич?

— Ну как же мне Дмитрия Александровича не помнить?

— Он в Бобруйске, освобожденный из плена, торгует на базаре жареными пирожками...

В следующий раз, как только меня послали к бобруйскому ремонтёру, я, исполнив поручение, бросился на базар. Действительно, в маленькой будочке сидел мало в чем изменившийся Дмитрий Александрович, а перед ним на керосинке бурлило масло с водой, в котором жарились пирожки, совсем с виду такие же, как и в довоенные времена. Обрадовались друг другу, расцеловались. Сообщили друг другу важнейшие новости. «Василий Иванович ушел в РОА. Марию Абрамовну, видно, убили. Пришел русский полицей, увел ее, и больше с тех пор никто ее не видел... Меня по старости лет отпустили. Буду теперь сидеть здесь и дожидаться наших... Лев Андреевич, скушайте пирожка...»

— Да подождите вы, Дмитрий Александрович, я не голоден...

— У меня жена... Ну, не жена, а так пристроился к жене одного офицера, с сестрой. Беспомощный человек, не дал погибнуть. Буду ждать тебя к себе в гости (он говорил мне то «ты», то «вы»).

И мы уговорились, что я отпущусь у начальства и приду к нему как-нибудь под вечер, чтобы поговорить подробней. На этом мы и расстались. Было удивительно, что в этом кажущемся хаосе, где на шаг отступи — и уже не вернешься на прежнее место, все идет по определенным путям, и вот через два года мы, оказывается, и не могли не встретиться — другого пути для нас, видимо, не существовало.

Однако возможность навестить Мячикова представилась не скоро. Я бывал еще раза два в самом Бобруйске, несколько раз был от города на расстоянии одного-двух километров, но отпроситься бывало или не у кого, или обстоятельства этому явно препятствовали. А события все нагромождались, как лед на реке, чтобы в один прекрасный момент все это нагромождение рухнуло под напором стихии.

Фогля из Бобруйска перебросили на тридцатый километр Минского шоссе. Там возникла большая база ОТ, и он был назначен ее начальником. По дороге туда он заехал в Сычково и взял меня с собой, чему я не мог не радоваться, так как чувствовал его искренне-хорошее отношение к себе и доверие. Конечно, жалко мне было расставаться с сычковскими товарищами, к которым только-только начал было привыкать. Хотя среди них не было мало-мальски интеллигентных людей, но были просто дружелюбные и добрые ребята. Меня они тоже начали было любить и уважать, в особенности после одного инцидента, который чуть было не привел к большой внутренней ссоре. Дело шло к рождению 1943 года, и нам в качестве подарка было выдано десятка по два — по три сигарет — с куревом, как и всегда, обстояло довольно плохо. Мы их поделили поровну под моим присмотром, как вдруг выяснилось, что сигареты, предназначенные для одного из западных украинцев, куда-то исчезли. Иные пытались обратить все происшествие в шутку. Сам парень поначалу смолчал... Я было подумал, что авось разберутся сами. Но к вечеру пареньек с горя чего-то выпил и начал громко и огорченно сетовать — где, мол, мои сигареты. Устроили мы импровизированное собрание и решили сложиться и возместить ему эту потерю. И как-то всем

стало сразу легко на душе, когда инцидент был исчерпан именно таким образом...

Новое наше место оказалось совершенно пустым и голым. Повсюду торчали трубы сожженных изб, что свидетельствовало о каких-то реальных боевых делах. Остались целы четыре-пять изб, не более, и две из них занимали немцы ОТ. Я было думал сначала, что это опустошение деревни — дело начальных дней войны, но оказалось, что она была цела еще в прошлом году, когда во время столкновения с партизанами оказалась выжжена, а жители переселились в пристанционное село, расположенное километрах в трех отсюда. Отряд ОТ, находившийся в нашем селе, был составлен из немцев — жителей бывшей Западной Польши, т.е. из Данцига и других мест. Фогль, хотя он ничего никогда не высказывал по этому поводу, давал почувствовать, что он презирает их внутренне как полуполяков. Разговаривал он с ними отрывисто и грубовато. У них там было на положении hiwi несколько мужичков из военнопленных, и я был сопричислен к ним. При этом какой-то дотошный и, как оказалось, довольно наблюдательный немец составил на меня целую анкету. Помимо обычных вопросов об имени, национальности, месте рождения и т.д., он спросил меня: «Sind Sie tätowiert?» — «Nein, — ответил я, — ich bin doch kein Indianer...»¹ — «Doch, doch, fast alle Russen sind tätowiert...»²

Неужели? И я впервые должен был призадуматься над этим, а когда стал приглядываться к товарищам, то действительно почти у каждого находил какую-нибудь, хоть маленькую, татуировку..

Жить мне предложено было вместе с hiwi, но когда я пришел в их маленький сарайчик, в котором они только лишь спали, то обнаружил, что для меня там попросту нету места. Я стал осматриваться вокруг в поисках других возможностей и нашел неподалеку полуразрушенное помещение с русской печкой, примыкавшее к какому-то разоренному хозяйственному комплексу — то ли телятнику, то ли курятнику. Выяснилось, что оно предназначалось немцами для шоферов автобазы этого участка ОТ, находившейся в тот момент где-то километрах в пяти, откуда они не хотели почему-то переезжать. Помещение покуда пустовало, и мне было дано разрешение занять его до появления шоферов. Я там немного прибрал, соорудил столик и табуретку, притащил откуда-то колченогий

¹ «У вас есть татуировки?» — «Нет, я ведь не индеец».

² И все же почти все русские имеют татуировки.

топчан и великолепно устроился. Стал топить печку, на ночь ее закрывал, а когда возвращался на другой день к вечеру, в помещении еще сохранялось тепло, а в печи иногда — жар. Меня спрашивали: «А не страшно вам тут одному?»

Мне почему-то не только ни чуточки не было страшно, но это редкостное за все военные годы одиночество было необыкновенно приятно. Прожил я на этих кондициях недели три, а шоферы всё не переезжали. Я чувствовал, как внутренне отхожу за этот период тишины и одиночества, выпавший мне случайно на долю, и как во мне укрепляется мое внутреннее спокойствие.

Стояла уже зима, довольно много нападало снега, бывали и легкие морозы. Меня все время гоняли по окрестным селам для организации работ по установке снегозадерживающих плетней. То я ходил с кем-нибудь из немцев, то с белорусским ремонтёром, а то и один. Партизаны в этих местах, хотя и считались загнанными в леса, по опушкам которых стояли заградительные отряды из немцев и русских, действовали повсеместно. Инциденты, хоть и не столь часто, как в брянских местах, происходили то и дело. Ходить там бывало небезопасно. Со стороны леса доносилась почти непрерывная стрельба, и я сначала думал, что это идут бои с партизанами, как на могилевской дороге, но мне объяснили немцы, что боев сейчас уже никаких нет, а что это просто Alarmschiesserei¹, так сказать для поддержания боевого духа у солдат заградительных отрядов.

Вопрос о том, что будет, если я окажусь лицом к лицу с партизанами, не мог передо мной не вставать и сколько-то меня не волновать. Психологически помог мне рассказ одного из ремонтёров, к которому в дом приходили не так давно партизаны. «Ну и что же?» — допытывался я. «А ничего. Вошли человека четыре, с лейтенантом. Он мне — довольно, говорит, на печке лежать, воевать нужно... Я ему предъявляю мой военный билет, а там сказано, что я инвалид, рука у меня повреждена... Ну, говорит, счастье твое, можешь сидеть дома... Ну и ушли».

Я подумал, что поскольку я бываю во многих деревнях этой округи, нередко путешествую по безлюдным местам совершенно один, я, видно, партизанам совершенно не нужен. Они давно могли бы забрать меня к себе, убить, вообще сделать со мной всё, что им угодно. А если я до сих пор ни одного не видел, стало быть им просто нету до меня дела... На этом я и успокоился.

¹Сигнальная стрельба.

Однажды меня все же чуть не убили, не партизаны, а, так сказать, свои. Я шел с поручением к старосте одного большого села. Шел полем, пересекая его наискось, чтобы сократить путь. На селе была обычная противопартизанская застава, на которой имелась караульная вышка. Шел я в своей обычной одежде — русской шинели и шапке-ушанке из немецкого зеленого сукна с заячьим мехом, сшитой мне еще в Нарышкине. Меня в этом виде везде в округе уже знали. И вдруг что-то резануло воздух у самого моего лица, так что вздыбился мех на шапке. Только после этого я услышал отдаленный выстрел. Стреляли по мне с вышки. Я остановился и погрозил кулаком тому, вероятно не вполне трезвому, часовому, который вздумал в меня стрелять, и при этом, учитывая расстояние чуть ли не в полкилометра, довольно метко. Выстрел, к счастью, остался одиночным. Может, кто из русских ребят решил таким образом пошутить и меня попугать? Кто ж его знает? На войне как на войне...

О партизанской активности можно было судить еще и потому, что в деревнях нельзя было найти человека, который бы согласился быть старостой. В некоторых деревнях были установлены дежурства — каждый человек один день исполнял обязанности старосты, так как немцы требовали этого непременно, а потом другой и так далее. Был у нас там один ремонтер, пожилой уже человек, классического вида белорус, с окладистой бородой и волосами в кружок, живший с женой и двумя дочерьми в одной из придорожных деревень. Сын у него во избежание угона в Германию ушел в партизаны. Это было известно, начальство местное поглядывало на него косо, но жить не мешало. Однажды вдруг, придя по делу, я обнаружил избу опустевшей. Мне объяснили соседи — все ушли в партизаны. Ночью приходил из лесу его сын и стал в сарае гнать самогон. Это заметила полиция, и всему семейству во избежание репрессий, в этом случае очевидно неминуемых, пришлось податься в лес...

Наконец-то мое одиночество должно было быть нарушено. Пришли два немецких плотника, выкинули мой топчан и столик с табуреткой, понастроили двухэтажных коек человек на десять, поставили посредине избы небольшой стол и скамьи. А потом появились и шоферы. Один из них был молодой немец, как выяснилось, — отъявленный нацист, один или два немца постарше и либеральней, один француз и один люксембуржец. Когда я было хотел ретироваться в связи с их переселением, то прежде всего запротестовал молодой нацист. Он заявил, что для

них присутствие переводчика может быть только приятно. И я остался, хотя неизбежно все мое свободное время стало уходить на разговоры и на переводы. Переводить приходилось опять не только с русского, но и с французского. И не только переводить, но и разнимать француза и немцев, между которыми возникали различные недоразумения, чаще всего на почве взаимного непонимания.

Нациста весьма интересовали различные обстоятельства советского политического и гражданского быта, и он задавал мне много разнообразных вопросов, обнаруживая при этом известную широту взглядов. Он не был столь примитивен, как многие другие мыслявшие нацистски немцы, которые считали, что русский социализм — это не более как еврейское надувательство. Но он был очень ревнив по отношению к другим немцам, пытавшимся говорить со мной о политике. А ко мне еще до прибытия шоферов стал захаживать один благообразный, очень черненький немец, тоже интересовавшийся советскими порядками, который как-то обмолвился, что он бывший социал-демократ. Пришел было он как-то раз и по приезде шоферов и завел со мной обычный разговор. Но нацист моментально набросился на него и стал добиваться, почему он, собственно, интересуется советской политикой.

— Откуда вы родом? — резко и подозрительно допытывался он.

— Я из Кобленца (южно-немецкий городок).

Когда же он заметил, что нацист смотрит на него недоверчиво, то прибавил:

— Собственно, не из самого Кобленца, а из... (некоего пункта) поблизости...

Нацист, не давая ему даже закончить фразу, буркнул:

— Na ja, ich höre schon...¹

Меня поразила прежде всего такая удивительная осведомленность в отношении местных говоров. Немцы узнают друг друга по диалектам необычайно точно.

Нацист оказался туберкулезником чуть ли не в открытой форме. Через несколько дней в связи с обострением процесса он был куда-то эвакуирован.

Более всего я подружился с люксембуржцем. Это был человек лет тридцати, мягкого склада и приятного вида, интересный мне одним уже тем, что он одинаково свободно говорил и по-немецки

¹Ну да, я уже слышу...

и по-французски. Он не проявлял интереса к политике, был достаточно космополитичен, очень симпатизировал русским и тут же подружился с одной совершенно молоденькой девочкой лет шестнадцати, ответившей ему полной взаимностью. В нашем сожженном дотла поселке была только одна изба, занятая местными жителями, которые все работали на немцев ОТ. Это все были женщины, некоторые из них с детьми. Там же жила и эта девочка. Кем они там приходились друг другу, сказать было нелегко. В этот единственный жилой дом хаживало немало гостей. Приходили и мы с люксембуржцем. Он не раз прибегал к моей помощи переводчика, пока отношения его с этой девочкой не приняли такого характера, когда в переводчике нужда уже пропадает. Но вот мы пришли туда как-то вечером, и мой шофер сидел мрачный и скучный. Когда девочка подходила к нему, он делал нетерпеливые жесты, и видно было, что он чем-то огорчен, а она пребывает в некоторой нерешительности. Потом она взяла его за рукав и увела куда-то за занавеску. Немного погодя она выскочила оттуда бледная, с широко открытыми глазами и сказала, собственно ни к кому не обращаясь, не стесняясь моего присутствия: «Ну что же делать-то, дать мне ему, что ли? Так просит, так нужит...» В комнате были две или три женщины, но ответила ей из них только одна: «Ну и что же, конечно, дай, что же ты ее беречь-то для кого будешь? Конечно, поди да дай...»

Мог ли я вмешаться в эту историю, отсоветовать девочке идти на раннее сближение с почти неизвестным ей человеком? Понимает ли она, что сохранит его присутствие самое большее на какие-то недели? Предостеречь ее от весьма вероятных и таких трудных для нее, в особенности в той обстановке, последствий? Мог бы, вероятно, но меня останавливало то, что мы среди этих своих русских женщин, ходивших за немцами, не пользовались ни малейшим авторитетом. Меня, например, они в лучшем случае немного стеснялись, но водиться считалось у них хорошим тоном только с немцами. Об одной девушке, прибывшей сюда вместе с одним hiwi, остальные женщины говорили: «Это та, которая с пленным живет...» И всякий раз слова эти звучали очень пренебрежительно.

Однажды меня послали с каким-то делом на соседний пункт ОТ. Я вошел в помещение, где квартировали три немца. Отрапортовал и встал в сторонке в ожидании ответа. В этот момент в комнату вошла русская, обслуживавшая этих немцев, женщина. Это была невысокая, коренастая и разбитная девица. Она

чувствовала себя здесь совершенно свободно и привычно. Весело крикнув «моен», что должно было означать «Morgen», с той диалектной особенностью, с которой произносили это слово ба-варцы, она подходила то к одному из них, то к другому с самыми фамильярными жестами, обнимала за шею, дергала за ухо и тому подобное. Кто-то из немцев кивнул в мою сторону и подмигнул мне. Тут только она меня заметила. «Ай», — взвизгнула она... «Моем, моем», — иронически приветствовал я ее, она взвизгнула еще раз и, покрасневшись, выскочила из комнаты под общий смех немцев.

Вряд ли мое вмешательство в отношения люксембуржца и девочки привело бы к чему-либо путному. Вернее всего, я раздражил бы против себя и его и ее, только и всего. В то время, как впрочем и в любое время среди критических обстоятельств, инстинкты, обычно сдерживаемые, очень сильно обостряются.

Между прочим, кажется именно та же самая женщина, которая так убежденно советовала девочке не беречь неизвестно для чего своей невинности, в другой раз, когда я сидел вечером в этом же доме, лежала на постели и обнималась с каким-то молодым немчиком, видимо из поляков, поскольку он шептал ей на ухо нечто, для нее должно быть понятное. Понятное и приятное настолько, что она в каком-то упоении и громким голосом ему отвечала: «Да, милый ты мой, ведь я же так не могу... Ты мне расскажи, как ты жил... Киндрики-то есть у тебя?..»

Как и можно было ожидать, люксембуржца вскоре куда-то перебросили. Он очень трогательно прощался со своей девочкой, обещая приезжать к ней не реже, чем раз в две недели. Она смотрела на него просветленными глазами и, очевидно, воспринимала свой с ним роман как большое счастье. В известной мере она, вероятно, была права: в мирной жизни, среди своих односельчан, вряд ли она нашла бы столь галантного и нежного кавалера.

Француз мне очень обрадовался, когда я однажды защитил его от коллеги немца, который просил у него какую-то автомобильную деталь и страшно ругался, что тот ему ее не дает, а француз горячился и тоже чуть не лез в драку, но не мог объяснить, почему он не дает требуемого. При моем посредничестве дело было улажено к общему благополучию и в особенности, как выяснилось, к благополучию француза, потому что он совсем недавно отсидел две недели в карцере за подобную, беспричинную с точки зрения начальства, драку. Когда я помирил его с немцем, он почувствовал ко мне симпатию и стал рассказывать о том, что он парижан-

нин, слесарь на заводе «Рено», пошел добровольцем на службу к немцам, так как считает, что гитлеризм — единственная сила, способная умиротворить Европу. Эти его утверждения отдавали некоторой истеричностью, понятной, пожалуй, в свете тех трагических обстоятельств, в которые попала Франция в этой войне. Он, однако, отдавал должное и Советской России в том же смысле, как и гитлеровской Германии, — люди-де хорошо знают, чего они хотят, и умеют утвердить и реализовать свое хотение — то, чего более всего не хватало, по его мнению, французам. Он говорил только, что ему как металлисту вещи, изготовленные в Советском Союзе, — он имел в виду, в частности, оружие — представляются незаконченными, неотделанными, хотя и во многих отношениях добротными. Несмотря на подобные рассуждения, это был француз до мозга костей, истинный парижанин, и в этой абсолютно чуждой ему обстановке живший воспоминаниями о той жизни, которая казалась ему единственно приемлемой: «В восемь часов я начинаю работать, в одиннадцать — пью мой аперитив, в три — я обедаю, в шесть — я у моей *petite amie*» и т.д. Когда я прощался с ним, он заставил меня записать его адрес и приглашал к себе в гости.

— Неужели вы думаете, что я когда-нибудь попаду в Париж?

— Почему же нет? Обязательно. Ведь это так просто...

Бобруйский дорожный мастер и здешний, подчиненный ему ремонтер пригласили меня с собой еще к одному ремонтеру, у которого должно было происходить некое семейное торжество. На мой вопрос, как можно праздновать что бы то ни было в такой обстановке, они мне оба в один голос сказали: «Вот то-то же, Леон Андреевич, и праздновать нельзя и без товарищества скучно. Привязались к случаю, хотим посидеть вместе часа два, пропустить по стаканчику».

Фогль, которому я сообщил об этом приглашении, ничего не возымел против моей поездки, но только велел возвращаться засветло. Поехали в розвальнях, на лошади нашего ремонтера. Гостей собралось человек десять-двенадцать. Среди них были четыре женщины. Все были веселы, приятно возбуждены. Не говоря уже о том, что обращались друг к другу «пан», «пани», в разговоре то и дело мелькали польские слова, а в обращении друг с другом — польская вежливость. Сохранение этой тяги к польской культуре представилось мне симптоматичным и удивительным после более чем столетнего отторжения Восточной Белоруссии от каких бы то ни было польских связей.

Видно было, кроме того, что люди имеют кое-какой достаток в пище. Помимо самогона, было и чем закусить, было даже и нечто вроде сливочного торта. После питья и еды мой ремонтёр взялся за гармонь, и начались песни. Время между тем подвигалось к вечеру. Я намекнул, что надо бы собираться, но мой ремонтёр не хотел и слушать: «Пропади они, эти немцы, с их приказами... В кои-то веки можно лишний часок отдохнуть душой...»

Стало смеркаться. Я напомнил о необходимости возвращаться еще раз и сказал, что пойду запрягать, на что ремонтёр тотчас же согласился. Как он объяснил мне уже по дороге, ему представилось, что я не найду сбрую, а если и найду, то уж лошадь ни за что не запрягу — где там городскому человеку... Но я в детстве любил возиться с лошадьми и все это сохранил в памяти. Велико было его удивление, когда минут через десять сани стояли перед крыльцом, и я погрозился уехать один. Выехали мы — уже сильно темнело, но была луна, все серебрилось от обильного инея, стояла удивительная тишина. Даже обычной стрельбы противопартизанских отрядов, к которой мы уже совершенно привыкли, не было слышно.

Минск. Работа в геологической лаборатории

На другой день явился Фогль и недовольным тоном объявил: «Лео, тебя у меня забирают, ты поедешь в Минск на научную работу, а до меня этим генералам нет никакого дела...»

Он отвез меня на своей легковушке в Бобруйск и сказал, чтобы в 8 часов вечера я явился к Фелленбергеру, находящемуся в том же доме на втором этаже. Внизу всё здесь выглядело обычным порядком — казарма для ОТ, складские помещения, кухня, вокруг которой всегда толклось много народу. Наверху же была тишина, пустота и относительная чистота.

Взойдя по лестнице, я сразу же натолкнулся на человека, спросившего, кто я и к кому. Я назвал себя — Archäologe Jelnitzky, к Фелленбергеру. Меня попросили подождать. Слышно было, как этот человек докладывал, что явился «русский архитектор». Меня попросили войти. Фелленбергер сказал, что, наконец, с большим опозданием он может теперь осуществить данное им в прошлом году обещание. Я должен находиться здесь внизу, в помещении для hiwi, и завтра или послезавтра за мной явится один ОТ-манн, который и доставит меня в Минск, в Управление ОТ Восточного фронта, при котором функционирует лаборатория по исследова-

нию дорожных грунтов, возглавляемая его другом — геологом, доктором Зимомом. Я поблагодарил. Он осмотрел меня и сказал, что попробует несколько улучшить мой костюм. Мне была вручена записка, на основании которой из вещевого склада внизу мне были выданы зеленые штаны лыжного типа, теплый на подкладке китель и теплая же толстого сукна пилотка. Все это, видимо, из бывшего французского или бельгийского обмундирования. После этого, удостоверившись, что сегодня никто за мной уже не явится, я отправился к Мячикову. Он был немало удивлен моим столь поздним появлением, а еще более тем, что я ему рассказал о превратностях моей судьбы. У него нашлось с полбутылочки самогона, мы с ним выпили на прощание; познакомил он меня со своей сожительницей — довольно представительной брюнеткой, которая, пока мы с ним разговаривали, занималась подсчетом произведенной за день выручки. Это был буквально небольшой мешок, из которого она извлекала и раскладывала соответственно купюрам — советские, немецкие и иные ассигнации, реальная стоимость которых была весьма проблематична.

Постельмнеустроивалаеесестра,гораздоменеспредставительная особа, которая вела себя впрочем необыкновенно скромно, а Мячиков, видимо, хотел услужить мне и по этой линии. Утром я должен был уйти раньше всех, чтобы в ОТ не очень было заметно мое отсутствие. Перед нашим расставанием я попросил Мячикова взять тетрадочку моих стихов, на которой написал мой московский адрес.

— Димитрий Александрович, — сказал я ему, — есть все основания думать, что вы скоро будете уже на советской стороне и, может быть, попадете в Москву. Не откажите в любезности тогда сходить по этому адресу, навестить моих родных и передать им эту тетрадку.

Он безоговорочно обещал мне исполнить просьбу.

На другой день мы выехали в Минск по железной дороге. С сопровождавшим меня труппфюрером, в качестве носильщика какого-то небольшого казенного тюка, оказался мой друг-приятель по Мглину — Николай, чему и я и он весьма обрадовались. «Привел-таки бог еще разок встретиться...»

Пути на железной дороге были перешиты немцами на европейскую колею. Поезд оказался составлен из стареньких немецких вагонов с подножками вдоль всей длинной стороны и со входами снаружи в каждое купе. Народу в поезде было очень много, сидели тесно. Хотя вагон предназначался для «цивилистов», в

нем были и военные, и ОТ. Расстояние — около 300 километров — одолевали долго — полдня и всю ночь. Ночью поезд шел особенно медленно. Перед паровозом были прицеплены две платформы: одна пустая — впереди, чтобы страдала только она одна в случае подрыва на mine, другая — с парой сдвоенных тяжелых пулеметов. Несколько раз на протяжении ночи из лесу подымалась стрельба по поезду. Тогда он останавливался и отстреливался. Потом шел дальше. Доехали, в общем, совершенно благополучно. Слезли на совершенно разбитом минском вокзале, кой-как отремонтированном, и пошли по главной (Ленинской) улице на другой конец города. Вид у центральной части города был ужасный. Почти все сколько-нибудь крупные здания разбомблены или подорваны. Те из них, которые были отремонтированы и заняты под немецкие учреждения, все были густо опутаны колючей проволокой — прямое доказательство активности минских партизан. Мой Николай — то ли у него на башмаках были очень скользкие подошвы, то ли он вообще не умел ходить по городским тротуарам, но он падал на каждом шагу так, что в конце концов мне пришлось нести его тюк и его самого вести под руку. Минское ОТ помещалось в нескольких больших и хорошо отремонтированных зданиях на краю города у начала московского шоссе или, как немцы его называли, — *die russische Autobahn*. Все это помещалось тоже за проволокой, за которую, впрочем, днем вход был свободный.

Распрощались мы с Николаем, меня сдали какому-то немцу, который, проведя через двор, остановил меня еще перед одним моложавым немцем с презрительным выражением лица.

— Вот, — сказал он ему, — еще один *hiwi*.

— Будь они прокляты, все эти *hiwi* — эти вшивые болваны. Мне сейчас совершенно некогда...

— Укажите мне — где, и я вас подожду, сколько потребуется, — сказал на это я.

Услыхав немецкую речь, человек этот, хотя и не извинился, но сразу же переменял тон. Как оказалось, он был командиром русских военнопленных, а их было при штабе ОТ человек 60. Он осведомился, откуда и зачем я прибыл, сказал, чтобы я шел куда в барак к моим товарищам, и что он скажет кому следует, дабы за мной пришли.

В тот день за мной не явился никто, и я на свободе знакомился с жителями барака. Народ был в большинстве своем молодой, почти всё военнопленные — младшие командиры, но попадались

и гражданские, даже деревенские люди. Видимо, тоже пришли сюда вместе с отступавшими немцами. Работали они в разных местах — на складах, на конюшне, на кухне и т. п. Рядом помещались два барака с русскими работниками штаба, гостиницы и базы ОТ; из числа гражданского населения — много женщин разных возрастов, работавших горничными, уборщицами, чистильщицами картошки на кухне и т.п., и мужчин, тоже занятых на разного рода вспомогательных работах. Почти все, как военнопленные, так и гражданские лица при ОТ происходили из Смоленска, где еще сравнительно недавно помещались все эти учреждения. На территории штаба ОТ стояли два или три небольших домика, в которых жили местные люди. В одном из них жил с семейством старый уже, но еще весьма деятельный человек несколько необычного для здешних мест вида, с женой и дочерью. Оказался он бывшим жокеем, специалистом по рысистым лошадям, исполнявшим теперь обязанности дворника, за что и получал пропитание и ничего не значившее жалование — на два стакана махорки на базаре. Мы с ним позднее хорошо познакомились и довольно много беседовали.

На другой день в барак пришел небольшого роста пожилой ОТ-манн и спросил, кто здесь прибыл к доктору Зимону. Я ото-звался.

— Доктор Зимон сейчас в Берлине («Вот так так», — подумал я), но он должен скоро вернуться. А пока пойдемте со мной, я объясню вам, что именно придется делать.

И он повел меня через двор, в стоящий на отлете небольшой, но очень чистенький двухэтажный корпус. На первом этаже, в конце длинного коридора, помещался мой немец в небольшой комнатке, где кроме его койки были установлены стеллажи с ящиками разных размеров. Там же находился и большой стол, на котором стояли металлические сита для просеивания грунта и бутылки с химическими реактивами.

Немец представился мне как Карл Дрегер из Берлина, каменщик по профессии, а ныне смотритель лаборатории по испытанию грунтов. «Мы производим два рода исследований, — говорил он, — просеивание через решета и сита, для определения состава грунта по размерам его составных частей, и химические анализы для определения пород камня, входящего в состав грунта. Вот этим мы с вами и будем заниматься, но пока что надо бы вымыть пол... Горячей воды для этого можно попросить на кухне». Затем мне было поручено топить углем имевшуюся в лаборатории

железную печку. Уголь опять-таки надо было брать из кухни. Когда я делал это первый раз, выскочил немец-повар и поднял было крик. Я объяснил ему, что-де это для лаборатории... Он, ворча что-то под нос, ретировался.

Поручено было также мне приносить завтрак и обед для Дрегера и лаборанта Габерланда, с которым, хотя он в это время и был в Минске, я познакомился лишь через несколько дней. Позднее он тоже достаточно редко навещался в лабораторию, считая очевидно, что нас с Дрегером за глаза довольно для той работы, которая в ней производилась.

Доктор Зимон оказался очень приятным и совершенно интеллигентным человеком, не лишенным к тому же известного юмора. Он рассказал нам, как у него перед тем, как идти ему на какое-то заседание, у кителя оборвалась пуговица. Пришивать было уже поздно, и он, сидя за столом заседания, пальцем прикрывал пустую петлю... Это был худощавый, некрепкого вида человек, брюнет, с несколько семитского типа лицом. Он был довольно широко образован, с ним можно было говорить о литературе, о музыке... Он, не в пример своему помощнику Габерланду, с которым они жили вдвоем в соседней комнате, часто заходил в лабораторию и охотно беседовал со мной на разные темы. Захаживали к нам и некоторые другие люди из числа живших в этом же помещении немцев, которым было интересно познакомиться с русским Wissenschaftler¹, а одна немка — что она тут делала, не знаю — останавливала меня в коридоре каждое утро, когда я нес для своего начальства завтрак, и говорила подчеркнуто диалектно, рассматривая и ошупывая то, что было у меня в руках: «Вуршт... кеез...»

Так началось мое минское житье. В бараке меня вскоре назначили старостой и вменили в обязанность блюсти чистоту и регулировать отношения между товарищами. Ребята относились ко мне в большинстве хорошо, и я пользовался среди них известным авторитетом. Испытанием этого отношения послужил довольно трудный случай с одним нашим товарищем, заболевшим сифилисом. Его приятельница, с нежным польским именем — Юзефа, молодая женщина с миловидным лицом, но десятипудовым, квадратным в сечении телом, не подозревала, видимо, о своей болезни — настолько она была физически крепка. А у него выраженная вторичная стадия, поскольку он, видимо, поздно обратился за медицинской помощью, проявилась весьма резко: на руках эк-

¹Ученым.

зематозно шелушилась кожа, а на шее выступили синие пятна, производившие отпугивающее впечатление. Немцы относились к нему хорошо, лечили его в своей амбулатории при ОТ, но болезнь явно брала свое.

И вот в нашей среде поднялся бунт: «Он нас всех перепаразит, изолировать его надо...» Сосед его по двойной койке отказался с ним вместе спать... Сколько я ни доказывал, что сифилис заразен лишь при определенных условиях, товарищи меня и слушать не хотели. Тогда я взял его на свою койку, поделив с ним и полочку для вещей. Это подействовало лучше всяких слов — самые брезгливые и привередливые люди сразу приутихли, и все разговоры об этом прекратились.

А Юзефа продолжала любить своего приятеля. Она, бывало, подойдет к окну, у которого стояла наша койка, и молча, улыбаясь, ждет — не покажется ли он в окне...

— Смотри, Иван, твоя Юзефа пришла, — скажет ему кто-нибудь.

— Да ну ее совсем, эту Юзефу-то, — отвечал он раздраженно и с большой горечью в голосе.

В бараке у нас висел радиорепродуктор. Вещали для нас Берлин и солдатская радиостанция «Зигфрид», которая находилась где-то здесь же, через два-три дома от нас. Бывали также русские и украинские передачи, преимущественно политического содержания: переводы военных сводок и других официальных сообщений. Но кроме того передавались иногда песни, стихи, при этом и советские, если в них не было чего-нибудь политически явного. Так мы услышали симоновские стихи «Жди меня, и я вернусь». Разумеется, категорически запрещалось принимать советские радиопередачи. Но когда немецкий радист, сидевший у приёмника, напивался, он обязательно настраивался на советское радио. Мы несколько раз слышали советскую музыку и другие эстрадные передачи. А однажды, часов в 11 вечера, когда мы было уже приготовились спать и все лежали на своих койках, вдруг зазвучал бас Левитана: «От Советского Информбюро...» И была прочитана сводка. Выслушана она была при гробовом молчании и абсолютном внимании. Когда же передача закончилась, раздались восторженные возгласы, смех, радостное улюлюканье: «Вот это да, вот это повезло...»

Как ни редки бывали подобные радиоподарки, из сопоставления немецких и советских данных можно было сделать тот вывод, что если цифры потерь в людях и снаряжении в действительности

не одинаковы, то сводки, во всяком случае, стремились подравни-
вать вражеские потери, т.е. если немцы сообщают об уничтожении
стольких-то советских танков, то примерно эту же цифру можно
найти в советской сводке в отношении соответственных немецких
потерь.

Немецкие передачи военного времени были на редкость одно-
образны. Почти ежедневно можно было слышать одни и те же
песенки подбадривающего содержания: Роз-Мари, «*Brauchst du
keine Sorgen Liebchen*», «*Es geht alles vorüber*» и др. Иногда, впро-
чем, звучала и очень хорошая классическая музыка в первокласс-
ном исполнении.

По солдатскому передатчику «Зигфрид» исполнялись военные
песни и марши или душещипательная «цыганская» музыка для
мадьяр, которых довольно большое количество стояло в Минске,
в Польше и в других тыловых местах в качестве противопартизан-
ских отрядов.

У меня установились более близкие отношения кое с кем среди
наших ребят. Имелись и такие, которые хотели знать обо мне не-
что большее, чем они узнавали от меня обычно.

— Лев Андреевич, — говаривал один из моих товарищей по ба-
раку, — а вы вот все-таки не снимаете свою русскую шинель (все
они давно уже ходили во всяком заграничном обмундировании),
видно, она вам дорога... И шинель-то, хотя и старая, но доброт-
ная, красивая, комсоставская... И чего вы от нас скрываете — вид-
но ведь, что вы были политработник...

Я только посмеивался:

— Здорово же вы меня раскусили...

Была у нас молодая супружеская пара: лейтенант, с хорошим
средним образованием, и она — из полуинтеллигентной украин-
ской семьи, войной занесенная под Смоленск. Они с удоволь-
ствием искали моего общества, и мы разговаривали с ними на ли-
тературные темы, немного занимались немецким языком...

Но особенно ко мне привязался один паренек, довольно про-
стоватый, но добродушный и мягкий, сначала пытавшийся подру-
житься со мной на почве «землячества» — он тоже был из Москвы.
А потом, разобрав, кто я такой по роду занятий и по культурному
уровню, стал знакомить меня со своей здешней приятельницей и
сожительницей Асей — преподавательницей древней истории в
одной из школ Витебской области. Она оказалась миловидной и
душевной женщиной, работавшей на немецкой кухне и немного

в связи с этим опустившейся, с трудом вспоминавшей о своем педагогическом прошлом, стаж которого впрочем был невелик. Она во время эвакуации из Витебской области разлучилась с матерью и очень от этого страдала. Нашла она ее при мне, тут же в Минске — это была для нее большая радость, настоящее возрождение. И после этого она начала несколько стесняться своего приятеля, до того остававшегося единственной ее зацепкой в жизни... Как-то она мне сказала, покраснев: «Лев Андреевич, если вы встретитесь с моей матерью, не говорите ей, пожалуйста, что я живу с Сергеем, она будет этим очень огорчена...»

Лаборатория наша почти бездействовала. Редко-редко когда поступали пробы грунтов для анализа. Говорили, что к весне положение изменится, когда начнутся дорожно-ремонтные работы. Покуда же я был в значительной мере предоставлен самому себе. В лаборатории нашлась русская книга о грунтовых условиях дорожного строительства. Дал мне Зимон и одну немецкую книжку. Дрегер приносил для меня книги из библиотеки ОТ, которые я читал, сидя в лаборатории. Он только требовал от меня, чтобы передо мной всегда стоял ящик с какими-нибудь камнями, дабы приходящие в лабораторию посторонние люди не заподозрили меня в слишком легкой жизни.

Зима стояла довольно мягкая, но выюжная, небо было почти всегда облачным, так что со стороны советской авиации мы почти не испытывали неприятностей. На дворе были нарыты глубокие и довольно благоустроенные бункера, в которых не было слышно ни далеких разрывов, ни стрельбы зениток. Так что, несмотря на пережитые недавно передраги и эвакуацию, в который-то уже раз, многие опять готовы были забыть о войне и о ее реальных угрозах. Люди вокруг меня старались пользоваться жизнью — бегали на базар, что-то покупали, что-то на что-то меняли, дружились и водились, не обращая внимания на барачные условия, на быт у всех на виду.

Длинные зимние вечера с не очень верным и тусклым электрическим освещением трудно было разнообразить. Иногда Ася жарила для моих немцев и для меня картофельные оладьи (Kartoffelpuffer) из украденной на кухне картошки с жирами из немецкого пайка. Иногда я ходил в гости в семейство дворника Хрулева — бывшего жокея — и пробавлялся разговорами на темы о рысистых лошадях и о предвоенной жизни вокруг бегового тотализатора. Читая неукоснительно немецкие газеты, в частности «Minsker Zeitung», я находил иногда кое-какие интересные

перепечатки из других газет и даже из старых книг, в частности иногда хорошие стихи, которые я от нечего делать переводил. Некоторые воскресные дни тоже бывали у меня совершенно свободны для подобных занятий, доставлявших мне подлинную радость. Из больших немецких газет, хотя и попадавших в мои руки с большим опозданием, я узнавал о том, что происходит в оккупированных немцами европейских странах и в странах союзников.

В моем поле зрения совершенно не было русских женщин, какие мне могли бы понравиться. У нас в ОТ было довольно много красивых и, видимо, достаточно интеллигентных немок, на которых я едва позволял себе поднимать глаза. С одной из них, впрочем, мне приходилось иногда вступать в деловые отношения. Это была бухгалтерша ОТ, помещавшаяся на втором этаже главного здания. За мою работу в лаборатории мне полагалось кое-какое жалование. Выплачивалось оно исправно раз в месяц, и всякий раз для его получения я должен был приходить к этой женщине. Она при этом всегда старалась сказать мне что-нибудь приятное, либо спросить меня о чем-нибудь.

Доктор Зимон тоже предпринял через Дрегера шаги в отношении улучшения моего обмундирования. Я в особенности нуждался в обуви и в нательном белье. Мои ботинки на деревянном ходу были уже дважды отремонтированы в бытность мою в Сычкове близ Бобруйска. Тамошний сапожник вместо дерева подложил под них подошвы, сделанные им из автомобильных покрышек. Это было тепло, мягко, хотя и тяжело. Но за зиму носки ботинки сделались ужасно разлапистыми, утратили форму, и это огорчало моих немцев, дороживших маркой лаборатории. Они сообщили мне, что до меня на этом месте был некий молодой француз, отлынивавший от всякой работы и занятый исключительно романами, но зато безукоризненно выглядевший. Ходатайства о выдаче мне соответствующего обмундирования велись опять-таки через эту бухгалтершу. Как-то я спросил у Дрегера, кто она, собственно, такая, откуда она, замужем ли она. Последний вопрос привел Дрегера в игривое настроение, и он спросил со своей стороны: «Haben Sie die Absichten?»¹

В бухгалтерии продовольственного отдела ОТ сидела еще одна весьма симпатичная мне молодая женщина, относительно которой я вскоре узнал, что она русская немка и минская жительница. У меня с ней не было никаких точек соприкосновения, и я мог

¹ У вас есть намерения?

только поглядывать на нее через внутреннее окно, когда ходил на кухню за получением продуктов. Но как-то я все же набрался храбрости и, улучив момент, когда она была одна в своем служебном помещении, обратился к ней по-русски и, сказав, кто я такой и откуда, попросил у нее каких-нибудь книг для чтения. Она, впрочем довольно равнодушно, сначала обещала что-нибудь для меня поискать, а потом однажды уже сама остановила меня и дала мне какие-то старые русские книги дореволюционных изданий. После этого она всякий раз мне улыбалась при встречах, и я уже начал надеяться, что, быть может, мы с ней хоть немного познакомимся, когда я приду возвращать ей ее книги, но все получилось совершенно иначе.

Собравшись вернуть книги, я стал носить их с собой при моих посещениях кухни. Но ее все не было и не было на месте. Наконец, я спросил одного из сидевших в той же комнате немцев, где она.

«А зачем она вам?» — последовал контрвопрос. Я объяснил. Немец взял из моих рук книги, вышел с ними из комнаты, но через некоторое время вернулся и отдал мне их обратно со словами, что фрейляйн такая-то уехала и больше сюда не вернется. Меня это удивило, и я стал где мог допытываться о ее судьбе. По моей просьбе Дрегер узнал следующее. Она жила в Минске со своей матерью — учительницей немецкого языка. Работая в ОТ, она вступила в связь с партизанами, которая была раскрыта. По постановлению немецкой полиции Минска она выслана вместе с матерью в Германию. Так что мне некому было возвращать эти злосчастные книги.

Вместе с горьким чувством утери человека, обещавшего как будто стать для меня важным и интересным, я почувствовал сразу непрочность и случайность моего благополучия в Минске. Так легко угодить куда-нибудь. В реальные партизанские связи этой женщины мне как-то не очень верилось.

В марте месяце доктор Зимон заявил, что нам всем предстоит поездка в Вильно для производства там каких-то лабораторных работ. Приходилось везти с собой и необходимое оборудование. Поездка была назначена на утро следующего дня, и когда я явился на другой день в лабораторию, у крыльца стояла большая шестиместная легковая машина, на которой мы и двинулись в путь, прихватив с собой наши металлические сита. До Молодечно мы ехали обычным порядком, а там выстаивали и ждали несколько часов, пока не соберется с десятков попутных машин — в одиночку ездить не разрешалось из-за опасности нападения партизан.

Выехали мы из Молодечно еще зимой, везде лежал снег, но через десяток-другой километров снег вдруг сразу кончился, так что хорошо обозначилась его граница. Дальше лежали бесснежные пространства, а в воздухе было так же холодно, как и там, где еще была зима. Ехали быстро, остановок не делали. Ненадолго задержались в одном большом, уже совершенно польском местечке, с мадоннами у каждого перекрестка. Я вышел из машины немного поразмяться. Увидев на мне русскую шинель, подошел какой-то местный житель и разговорился: «Десь я пана бачив?» Нигде, говорю, не могли вы меня бачить — я первый раз в жизни в этих местах.

«А вид кия пан?» Я сказал откуда. «Мы при советах жили — не журились, врать не стану, только жидам они дуже большую волю дали...»

Вильно поразил меня своим благообразием, чистотой и нетронутостью. Немцев было видно сравнительно мало, город жил собственной жизнью. На улицах много опрятно одетых пешеходов, местная полиция. Единственный вид транспорта — довольно фешенебельного вида извозчики, с колясками на пневматиках. Остановились на базе ОТ. Я ночевал в какой-то хорошей квартире, переделанной в казарму для русских и прочих иностранных рабочих ОТ, где металлические койки высились в три этажа под самый потолок. Утром я обратил внимание на то, что окна в доме заклеены еврейскими газетами. Я слышал краем уха в Минске про виленское гетто и поинтересовался, где оно. В ответ — пожатие плеч. Никаких евреев здесь давно нет. Остались только пустые, отчасти разрушенные дома да огромная, в классическом стиле, с куполом и фронтоном синагога, двери которой болтались раскрытыми настежь. Люди, которых я спрашивал, были нездешние и так же мало осведомленные, как и я, а контактов с местными жителями у меня не было. И поэтому, глядя на эти пустые черные окна в полуразрушенных зданиях, на эти полосы еврейских газет на окнах того дома, где я ночевал, я не ощутил того ужаса, который, несомненно, почувствовал бы, знай я подробно о судьбах еврейского населения Вильно.

За мной зашел Дрегер и повел меня в помещение, заполненное полутора десятками ящиков с образцами грунтов. Нужно было пропустить их через наши сита и записать соответствующие показатели. Наладив эту работу, Зимон и Габерланд укатили обратно в Минск. Собственно, и Дрегеру делать было нечего, но поскольку ему некуда было деваться, он сидел целый день у меня над душой. Ему не нравилось, кроме того, что я живу отдельно от него и что

за мной нужно ходить. Он попросил разрешения перевести меня в немецкую казарму. Такое разрешение было получено при условии представления мною справки о прохождении через баню и дезинфекционную камеру. Я с удовольствием помылся в просторной и очень чистой бане, где волосяной покров моющихся обрабатывался каким-то крепким, сильно щиплющим кожу раствором. В помещении, где я одевался, висел радио-репродуктор, и из него громко раздавались слова сводки советского Информбюро... Проходивший мимо меня банный рабочий — русский парень — видя, как я внимательно слушаю, хитровато мне подмигнул.

Очутившись вместе с Дрегером в немецкой казарме ОТ, я слушал рассказы о том, как почти у всех моих соседей разрушены бомбардировками и пожарами жилища в Германии; они сообщали об этом настолько равнодушно, что уже одно это говорило об общей и тривиальной участи. Казалось бы, такой результат войны должен был их возмущать, но они никакого возмущения не выказывали и вообще не вели политических разговоров. Мне иногда кто-нибудь из них говорил, что если в действие не вступит обещанное давно уже новое оружие, если Гитлер не придумает что-либо сверхъестественное, то будет плохо... «Но он придумает, вот увидите, — говорили некоторые, — alles planiert...»¹

Другие угрюмо помалкивали, давно уже, видимо, зная цену этим разговорам, утешавшим, однако, еще многих и многих...

Действуя ежедневно до позднего вечера, я проделал работу по определению состава грунтов скорее, чем это было предусмотрено Зимоном, и у нас с Дрегером оказался свободный день. С утра мы ходили на Вилию, потом гуляли по городу, смотрели на поклонение Остробраме² — на то, как люди на коленях подползали к этой иконе, утвержденной над высокой аркой, по булыжной мостовой... Наблюдали похороны, во время которых пошел такой сильный дождь, что нам пришлось укрыться у парикмахера, сидевшего без работы. Он, как и мы, наблюдал похоронную процессию и все время приговаривал, указывая на покойника: «Счастливый человек...»

Увидав букиниста, я не удержался и купил пару каких-то французских книг. Дрегер был реальнее меня и купил два весьма подозрительных пирожных, которыми торговали мальчишки с

¹ Все спланировано.

² Остробрамская икона Богородицы, находится на городских воротах Вильнюса.

рук. Заплатив за каждое по пяти марок, он щедро предложил одно из них мне. Я стал было отказываться, он приставал, недоумевая. Я объяснил ему, что мне неприятно есть что-либо на улице. Он поднял крик: «Подумайте, я немец — представитель самой культурной нации, могу есть на улице, а эти русские, с их свинскими порядками, корчат из себя аристократов». Я взял пирожное и спрятал его в карман. Он свое съел немедленно. Далее он заявил, что мы пойдем в кино для солдат. Я не возражал. Но когда мы уже приблизились к дому, где был устроен солдатский кинематограф, какой-то молодой солдатик, шедший нам навстречу, сильно толкнул Дрегера, приняв его, видимо, за поляка. Дрегер вышел из себя, кричал, что он тоже немецкий солдат и не позволит всякому молокососу... Солдатик поспешил ретироваться, а я с трудом успокоил Дрегера. Желание идти в кино у него пропало. Мы уже прошли мимо, когда нам попало на глаза объявление о выставке немецких фронтовых художников, открывавшейся именно в тот день в местном музее. С некоторым трудом я уговорил моего спутника посетить эту выставку. Мы пришли к открытию музея, как это было обозначено в объявлении, но дверь еще была на запоре. У входа стояла небольшая толпа представителей местной интеллигенции в ожидании открытия музея. Поскольку объявленное время истекло, Дрегер не пожелал ждать. Он стал стучать в дверь и громко кричал, мешая русские слова с немецкими: «Мать твою так... открывай! Здесь стоят немецкий ОТ-манн и русский профессор...» Публика саркастически смеялась, я готов был провалиться сквозь землю.

Выставка оказалась малоинтересной. Боевая обстановка, даже при немецкой организации, когда по воскресеньям не воюют, мало располагает к творчеству. Хождение по музейным залам было само по себе чем-то удивительным, остро травмирующим душу.

А глубокой ночью, нагрузившись нашими ситами, я вышагивал вместе с Дрегером по пустынным и абсолютно темным улицам в направлении железнодорожного вокзала. И когда нам показалось, что мы уже совершенно сбились с дороги и абсолютно неизвестно, куда надо идти, вдруг вспыхнул на секунду спасительный и ослепляющий луч прожектора, осветивший и мрачное небо и землю.

Не встретив на своем пути ни души, мы прибыли на вокзал и уехали в Минск с поездом, отошедшим в четыре часа ночи. Ехали мы на сей раз без всяких происшествий. По вагону из купе в купе бро-

дил подвыпивший немецкий солдатик и спрашивал кого-нибудь из сидящих: «Kamerad, hast du vielleicht 'ne Mütze gefunden?»¹

— 'Ne Mütze? Nee...

В Минске с недавнего времени стал ходить трамвай, на котором мы с Дрегером и поехали с вокзала. Вагон был полупустой. Я оказался рядом с двумя солдатами, из которых один говорил другому, поглядывая при этом многозначительно на меня: «Все это место скоро будет очищено. Мы находимся в мешке, выход из которого сохранился только у Бреста. Да и те дороги, которые контролируем мы, чтобы передвинуться, всякий раз надо очищать от партизан... Ja, ja, mein lieber... So ist das»². Эту новость, взволновавшую мою душу, я сообщил по приезду некоторым товарищам в нашем бараке.

В апреле доктор Зимон ездил в отпуск домой. Перед отъездом он очень просил меня найти ему хоть что-нибудь для его родственников, что было бы характерно для России. Задачу он этим задал мне необычайно трудную. Имей я хоть каких-нибудь знакомых из числа местных жителей, я бы, может, и нашел для него какую-нибудь безделушку, а среди тех людей, которые жили со мной, найти что-либо подобное было совершенно невозможно. Я ломал себе голову над тем, что бы такое для него придумать, как мне вдруг попался на глаза старый номер «Minsker Zeitung» с хорошей (для газетных возможностей) репродукцией рублевской «Троицы». Я вырезал ее и наклеил на картон. Получилось очень прилично, и Зимон был доволен, а по возвращении сказал, что репродукция понравилась и произвела впечатление.

Он привез с собой семена различных сортов салатов, о которых у нас не имеют и представления. Я выхлопотал у жены моего приятеля-жокея на огороде грядку, вскопал ее и посадил все эти салаты... В июне месяце был собран урожай. Когда его поделили, на мою долю достался целый большой таз с верхом салата разных сортов, который был заправлен уксусом. Я отнес его в барак и угощал товарищей, но из них только некоторые его пробовали, остальные же отнеслись к этой «траве» с презрением.

Наступление весны сопровождалось резкой активизацией действий советских военно-воздушных сил в отношении Минска. Налеты совершались почти каждую ночь, и количество сбрасываемых бомб все увеличивалось. Мы иногда прямо с вечера забирались

¹Товарищ, может быть ты нашел мою фуражку?

²Да, да, мой дорогой... Это так.

в бункера, чтобы хоть сколько-нибудь выспаться. Некоторые люди утверждали, что со стороны Борисова слышна артиллерийская канонада. О приближении к нам фронта свидетельствовало и то, что нас стали привлекать к оборонным работам, которые вряд ли могли что-нибудь изменить и чему-либо помешать. Мы, как и в 1941 году около Москвы, копали противотанковые рвы и пилили лес, видимо, для дзотов. На эти работы выгоняли всех и военнопленных и гражданских лиц мужского пола, работавших на нашей базе ОТ. Тут я получил возможность познакомиться с некоторыми людьми, жившими со мной бок о бок и, однако, очень мало с нами общавшимися. Среди них мне особенно интересным представилось семейство смоленского инженера, бывшего теперь переводчиком у русских гражданских работников при ОТ. Он жил здесь с семьей — женой, учительницей русского языка, окончившей в Москве ИФЛИ, и отцом жены — бывшим бухгалтером. Прежде всего я сошелся немного именно с отцом, чувствовавшим себя одиноко в семействе своей дочери и искавшим возможностей отвести душу. Он, как и я, стал захаживать к Хрулеву, с которым познакомился через меня.

Как и жокей, он был полон воспоминаний о дореволюционных временах и старорежимном быте. Он, видимо, ждал от немецкой интервенции каких-то мероприятий по восстановлению прежней жизни и был очень огорчен и разочарован, когда убедился, что его надежды напрасны. Он с интересом читал немецкую пропагандистскую литературу на русском языке, стараясь извлечь из нее что-либо подтверждающее его надежды на возврат к старому. От него я получил «Протоколы сионских мудрецов» — книгу, содержание которой, по мнению немецкой пропаганды, должно было подтвердить извечное стремление иудейства к мировому господству. Когда я прочел эту брошюру, у меня отпали сомнения в отношении того, что это вовсе не еврейское сочинение, а некая антисемитская фальшивка, возникшая на русской почве: в нем было сказано, что оно составлено в XVIII веке, а в действительности явно относилось к более позднему времени, поскольку содержало аллюзии на произведения XIX столетия, и в частности на басни Крылова. А мой новый знакомый относился ко всему, что написано было в этой книге, необыкновенно доверчиво и серьезно. Он говорил мне: «Вы подумайте только, вот мы с вами совершенно свободно читаем эту книгу, за хранение которой при советской власти полагался расстрел...»

Я видел, что было бы совершенно бесполезно пытаться в чем-либо его переубеждать. Его дочь — молодая, цветущая женщина,

хотя и выросла в других условиях и получила высшее образование в одном из самых хороших советских учебных заведений, своим психическим строем во многом соответствовала отцу. Она гнала от себя всякую мысль о прошлом. Старалась вообще не рассуждать, а если и рассуждала, то только в духе нацистской пропаганды, так, как будто бы никогда ничего другого и не слыхала. Когда мы с ней как-то разговорились у Хрулева и я стал вспоминать ИФЛИ, она не удержалась и спросила, не знаю ли я кого-нибудь из ифлийцев. Я ответил, что многих, но не литературоведов, а историков. Из литературоведов же знаю известного поэта, имя которого тут же и назвал. Она так испугалась этого имени, так замахала на меня руками, как если бы речь шла о каком-то совершенно одиозном человеке, преданном *damnatio memoriae*¹.

Незадолго до нашей эвакуации из Минска в поле моего зрения появился один очень странный человек. Был он, несомненно, русским, но довольно сильно отличался от нынешних русских людей какими-то трудно определимыми, но достаточно явными особенностями, сказывавшимися в одежде, в манере держаться и в его словаре. Лет ему было за пятьдесят. Познакомившись с ним, я узнал, что это был послереволюционный эмигрант, живший последнее время в Сербии, который, воспользовавшись давней своей дружбой с профессором Островским — нынешним главой фиктивного белорусского «правительства», назначенного немецкими оккупационными властями, — приехал в Россию взглянуть на свои пенаты. До революции он был смоленским помещиком и, прочтя в газетах о том, что Смоленская губерния оккупирована немцами, он решил, что чем, мол, черт не шутит — может быть, ему будут возвращены его прежние владения. Когда же он прибыл в Минск, то оказалось прежде всего, что в «Смоленской губернии» проходит линия фронта, а во-вторых, он убедился и в том, что немецкие власти меньше всего пекутся о реставрации дореволюционной собственности. Обратный путь в Сербию был затруднен — быть может, он даже не очень туда и стремился, хотя рассказывал, что жил там хорошо. Так как он в войну 1914 года был офицером, то ему было предложено принять на себя командование каким-то небольшим соединением РОА. Прослужил он там очень недолго и покинул эту службу с величайшим недоумением.

— Ничего не могу понять, — говорил он. — Приглашали меня на эту службу немцы. Военная часть, в которой я служил, как будто

¹Проклятие памяти.

бы тоже была немецкая, но люди, с которыми я в ней служил, — такие же офицеры, как и я, носившие такую же немецкую форму, — с презрением и удивлением меня спрашивали: «Да ты что, за немцев что ли?» Объясните мне, как же это так: служим у немцев по своей как будто бы воле, а всем своим духом и существом — против немцев. Конечно, мы русские, я тоже ведь русский человек, и все-таки я такого отношения к службе не понимаю.

Что было ему на это ответить? Положение действительно оказалось комическое и сложное. Все мы, с одной стороны, были во многих отношениях настроены против немцев, а с другой — цеплялись за них, а своих, за продвижением которых следили с явной или тайной радостью, боялись. Кроме того, он, вероятно, не понимал и того, что по своей воле в действительности служил только он один, советская же офицерская молодежь была загнана в РОА в принудительном порядке.

В июне месяце начались очень сильные ночные бомбардировки Минска. Со стороны Борисова действительно стала доноситься артиллерийская канонада. Немцы явно собирались эвакуироваться. Спешно вывозили на запад всяческий скарб ОТ. Транспортных средств у них становилось все меньше и меньше. Эвакуировать организованным порядком всю ту массу русского вспомогательного персонала, который существовал при ОТ, у них уже не было возможности. Было объявлено для гражданских лиц, что они сами должны позаботиться о своей добровольной эвакуации, а кто не хочет, может оставаться на месте. И было смешно смотреть на то, как люди, на все корки ругавшие немцев и — я совершенно убежден в их искренности — всей душой приветствовавшие победу советских войск, собирали свои жалкие манатки и пешком отправлялись вслед за немцами.

Незадолго до эвакуации из Минска я познакомился с человеком, жившим в одном из наших барачков в отдельной клетушке вместе с женой. При немцах он был, кажется, портным и вообще вел себя настолько тихо и скромно, что я, например, просто даже и не подозревал о его существовании. Но он обо мне, видно, знал, ему хотелось со мной поговорить, а к разговору, для которого меня привела к нему его жена, он немного хлебнул. Это был поток всяческой брани по адресу немцев. Можно было понять также, что передо мной некий советский офицер запаса, не успевший, видимо, побывать в воюющей армии.

Хрулев, остававшийся с семейством на месте, очень трогательно предложил мне остаться с ним, водил даже показывать бункер,

где они с женой намерены были пересидеть бои за город. Я без всяких обиняков объяснил ему, что не сомневаюсь в том, что меня будут третировать как врага, если я раньше времени попаду в руки соответствующего советского начальства. Он ответил мне, что откровенно-то говоря побаивается и сам, но двигаться с места не позволяет старость, а некоторую надежду на благополучный переход в руки наших вселяет в него то обстоятельство, что сын у него офицер в рядах действующей армии. Мы с ним весьма дружественно попрощались. Оставалась и Ася с матерью. Думал я без сомнений, что остается и мой недавний собеседник — портной, высказавший во время нашего разговора столько неподдельного презрения к немцам. Велико было мое удивление, когда я увидел его и его жену в группе готовившихся к эвакуации.

Зимон наш в этот момент был опять где-то в отъезде, но вот-вот должен был вернуться. Однако Габерланд с большим огорчением сообщил мне, что лаборатория, видимо, ликвидируется. Это был, по его словам, для него второй большой удар, нанесенный ему войной...

«А каков же первый?» — полюбопытствовал я. «У меня к началу войны все было подготовлено для эмиграции в Англию», — сказал он доверительно... «Так вот ты каков», — подумал я и пожалел, что мало обращал на него внимания и почти с ним не разговаривал.

Что касается меня, то мне было предложено присоединиться к колонне военнопленных, работавших при штабе ОТ, за которой следовала и колонна русских гражданских работников. Обе направлялись пока что в Вильно.

Эвакуация из Минска. Берлин. Лагерь Груневальд

Погода была очень хорошая — сухая и нежаркая. Идти не очень торопясь и не испытывая каких-либо больших лишений было довольно приятно. Опять нахлынули воспоминания первых месяцев войны, с житьем под открытым небом. Опять моя заслуженная шинель была для меня и постелью и одеялом. Шли мы вразброд, пленные и гражданские перемешались, настроение было почему-то такое, что война уже близка к концу и что мы будто бы не за немцами и не к немцам идем, а от них уже куда-то уходим.

Через три-четыре дня такого похода ноги опять привыкли к маршу и обтерпелись. Вокруг слышалась уже польская речь. В каком-то придорожном селе некоторые из имевших хоть что-то

при себе занимались на местном базаре обменной торговлей. За-видовали какой-то женщине, выгодно приобретшей свежую снедь. «Да как же это вам удалось?» — спрашивали ее. «Да уж и сама не знаю, поппекала, поппекала немножко, и вот видите...»

Я эти дни довольно много разговаривал со смоленским инженером — переводчиком гражданских рабочих ОТ. Он мне рассказывал о жизни в Смоленске до немцев и при немцах — о том, как бурно для них протекала война, неожиданно и быстро наступила оккупация... Порывшись в нагрудном кармане, он извлек из него маленькую книжечку: «Вот и профсоюзный билет даже цел, членские взносы уплачены по август сорок первого года. Если свои прихватят — чем не документ?»

Я вообще был очень сдержан в разговорах и избегал всего, что могло бы свидетельствовать о моих истинных симпатиях и антипатиях, о моем внутреннем мире. Но тут, как и все другие, поддавшись нахлынувшему чувству приближения конца войны, я распустил, видно, сдерживающие моральные узы и стал разговаривать посвободней обычного, на довоенный, что ли, лад. И не помню, в какой связи, но что-то я процитировал из Ленина. И вот мой спутник с профсоюзным билетом насторожился, посмотрел на меня внимательно... «И вы верите, что это действительно написал Ленин?» — «А почему же нет?» — спросил я. «Потому что сочинения под именем Ленина стали появляться только после 1925 года. Это все жида потом написали...»

Заявление это прозвучало для меня так неожиданно, что я даже не нашелся, что ответить. Да и не нужно было, конечно, ничего отвечать. Для меня только после этого на весь остаток моей жизни сделалось совершенно ясно, что ни формальное высшее образование, ни приверженность к советскому обиходу не способны были предохранить от глубочайшего и беспросветнейшего душевного мрака, наполнявшего человеческие особи на наших великих просторах. Разве что внешняя оболочка его лишь немного прикрывала... И я вспомнил в связи с этим, как я в конце двадцатых годов, еще в бытность мою в комсомоле, ехал на телеге из Переславля Залесского на станцию Берендеево и душа в душу разговаривал с каким-то местным комсомольским работником — молодым, как и я, пареньком. Сидели мы с ним в обнимку и поверяли друг другу какие-то свои сокровенные мысли... Кончилось тем, что я настолько, видимо, вошел к нему в доверие, что он принялся выпрашивать у меня денег, да и побольше... «Ведь там у вас в городе Москве денег куры не клюют, неужели тебе жалко?..» Но ведь то был малогра-

мощный деревенский паренек все-таки, а это человек с высшим образованием, инженер, почти что столичный житель... После этого я дал себе еще раз зарок не поддаваться ни на какие решительно удочки...

При выходе из Минска нам был выдан на неделю сухой паек. По прошествии этой недели наш провожатый, какой-то бес-толковый ОТ-манн, говоривший к тому же на каком-то мало внятном диалекте немецкого языка, не знал, где и как следует получить продовольствие. Оказавшись таким образом без пайка, наши ребята стали поговаривать о том, что-де не пора ли начинать разбегаться и переходить на гражданское положение.

Были мы, в сущности, на чужой уже земле, условия тамошние представлялись достаточно неопределенными, и подобные разговоры казались мне совершенным легкомыслием. Я предложил немцу действовать совместно по изысканию продовольствия. Он очень обрадовался. Мы высмотрели какую-то провиантскую часть, и я объяснил ее начальнику положение вещей. Он тут же согласился выдать нам недельный сухой паек под мою и немца расписку на накладной. Всё оказалось предельно просто. И я с горечью вспомнил, как в сентябре-октябре 1941 года мы бродили совершенно голодные в окружении, умоляли встречные провиантские части дать нам хотя бы сухарей, а нам только приговаривали: «Ищите ваш хозвзвод»... И это говорили люди, достаточно хорошо себе представлявшие, что они со своим продовольствием навряд ли выйдут из окружения. Но они не имели права выдавать нам что бы то ни было...

В Вильно стояла жара и духота. Мы расположились прямо на площади у каких-то фанерных палаток ОТ. Стояли мы так день, два и три. Стали ходить слухи, что дальше вообще нет хода и немцы окружены нашими войсками... Случайно я наткнулся на одного труппфюрера с орловской дороги. Он мне обрадовался и объявил, что Штреллер, симпатии к которому были во мне весьма живы, находится где-то неподалеку отсюда и проделал почти тот же путь, что и мы. Мне его, однако, так и не довелось встретить.

Я уже был снова готов ко всему и опять старался исполниться совершенным безразличием к будущему, как вдруг меня кто-то тронул за плечо: Дрегер. Оказалось, что за это время появлялся доктор Зимон, снова уехавший в Берлин. Он заявил, что лаборатория не ликвидируется и будет где-то продолжать свою работу. В связи с этим Дрегеру было предложено разыскать и не отпускать меня от себя.

Покуда что я переселился в ту палатку, где обитали они с Габерландом, от которого я узнал, что где-то в районе Бреста производятся операции по очистке дороги от партизан, поэтому-то мы и стоим.

Через несколько дней мы все же двинулись. Я ехал в кузове чем-то груженной газогенераторной автомашины, работавшей на древесной чурке. Моей обязанностью и было закидывать в куб чурку и пополнять ее запасы из специальных придорожных складов.

Скоро мы доехали до русско-немецкой границы 1939 года. По сторонам дороги виднелись совершенно целые бетонированные доты, захваченные немцами в 1941 году, как видно, без единого выстрела. Слышал я потом, что к началу войны они еще не были окончательно оборудованы.

Проскочили мы через Варшаву и Краков. Варшава еще стояла совершенно целая, поразив меня красивыми, в яркие цвета окрашенными зданиями. Разрушений виднелось очень мало. На улицах было оживленно и шумно.

Краков же поразил красотой церковей и старинных зданий, чинностью и спокойствием на улицах, не имевших на своих стенах никаких следов войны. Немцев в городе тоже почти не было видно. Так доехали мы до Жирардова. По дороге не раз останавливались на ночевку в необыкновенно красивых местах, с богатой архитектурой и живописной природой. В особенности мне запомнился какой-то огромный парк с замковыми сооружениями в нем и с большим, расположенным поблизости пивоваренным заводом. Мы с Дрегером ходили туда за пивом, вооружившись бог знает откуда раздобытыми умывальными эмалированными кувшинами. Пиво оказалось довольно вкусное, но совершенно безалкогольное.

В Жирардове остановились на пункте ОТ, занимавшем большое складское помещение у железной дороги. Все там было мне совершенно привычно: лагерь русских военнопленных, из которых одни были за проволокой, другие же на более свободном положении, как и в наших лагерях на русской территории. И работы были, в сущности, те же. Об отступлении немецкой армии из России тут еще толком ничего не знали, и мы им порассказали немало интересного. Жирардов, как и вообще Западная Польша, выглядел во многом уже совершенно на немецкий лад. Да и речь вокруг слышалась главным образом немецкая. Переночевав на базе ОТ, мы отправились с утра на вокзал. Стало известно, что мы трое — сотрудники лаборатории — поедем дальше по железной до-

роге прямо в Берлин. «Здорово, — подумал я. — Даром что как военнопленный, но в Берлине я окажусь раньше многих и многих русских...» Через некоторое время мы сидели в чистеньком вагоне, пассажиры которого были почти исключительно военные — солдаты и ОТ. Недалеко от меня сидел, впрочем, человек в гражданском платье, которого попросил было подвинуться один молодой солдатик. Не получив вразумительного ответа от гражданского, он его просто-напросто грубо оттолкнул в сторону, из-за чего тот весьма недовольно и беспокойно заерзал. Я спросил потихоньку Дрегера, что бы это могло значить. Тот мне ответил: «Поляк, вероятно...»

Я уже слышал и много раньше кой-что, а в Минске узнал уже гораздо больше об ужасном обращении с поляками в Западной, присоединенной к Германии части Польши.

Выехали мы во второй половине дня. К вечеру появилась поездная охрана, предложившая вооруженным пассажирам распределить между собой обязанности на случай нападения партизан.

«И тут партизаны, — подумал я... — И как это только немцам удастся держать фронта и коммуникации среди этого огромного моря партизанских сил?»

Ночь прошла совершенно благополучно. Я обратил внимание на то, что скорость нашего поезда не превышает обычной скорости поездов на русских железных дорогах, то есть километров 35—40 в час. Дрегер, к которому я обратился с соответствующим вопросом, объяснил эту малую скорость военным временем.

Ехали мы уже по Германии и приближались к Берлину. Меня особенно поразило то, что ехали мы иногда среди сплошных развалин. Иногда это были довольно чисто прибранные остатки нижних частей кирпичных зданий, вероятно уничтоженных давними еще бомбардировками, следы которых немцам удалось ликвидировать. «Прямо как на археологических раскопках», — подумал я. Некоторые городки и селения, мимо которых мы проезжали, живо напоминали мне остатки древнего Херсонеса около Севастополя.

Берлин. Schlesischer Bahnhof¹. На перроне стоит доктор Зимон, явившийся нас встречать. Вокруг обычная вокзальная суета. Локомотивы под стеклянной (впрочем, без стекол — одни железные переплеты) крышей вокзала напомнили мне картину

¹ Силезский вокзал..

Киевского вокзала в Москве (или, как я его по старинке называл, — Брянского). Многие приспособления — тележки, тачки — поражали меня своей добротностью.

Зимон сказал, что мы немедленно должны отправиться в Центральное учреждение ОТ (ОТ-Zentrale) на прием к главному геологу, итальянски звучащая фамилия которого была мне уже и раньше известна по учебнику дорожно-строительной геологии, который я читал в Минске. Поехали по городской железной дороге, местами напомнившей мне московскую окружную дорогу. Она пролегла большей частью по дамбе, насыпанной в пролете между тыльными сторонами обычных городских многоэтажных зданий, в очень значительной части разрушенных бомбардировками, так что мы, в сущности, ехали среди груды развалин. Заметил я и то, что многие целые здания тоже были пусты: они лишены были крыш, полы и потолки — выжжены. Тут я уже не задавал никаких вопросов. Все и так было совершенно ясно.

ОТ-Централе помещалось за городом, на шоссе, в здании, архитектурой напоминавшем особняки немецкого модерна. Вокруг него были разбросаны врытые в землю большие бараки, так что над поверхностью почвы возвышались только стены высотой не более чем на метр, с соответственного размера окнами, да виднелись фундаменты наземных барачков, очевидно сожженных бомбардировками.

Некоторое время мы находились снаружи, когда я и рассмотрел все эти подробности. Потом доктор Зимон позвал нас наверх, мы поднялись по лестнице на второй этаж, где были встречены сурового вида женщиной, вероятно какой-нибудь секретаршей, которая прежде всего заметила Зимону и Габерланду, что у них устаревшая форма: погоны в ОТ с недавних пор отменены и заменены знаками на петлицах. Габерланд стал было ей довольно ехидно объяснять, что он-де не успел произвести необходимые изменения на своем мундире, так как пришлось необыкновенно быстро отступать... Она, однако, невозмутимо пропустила все это мимо ушей и с прежней настойчивостью повторила свои замечания.

Я не мог не порадоваться тому, что административный идиотизм свойствен не только русскому, но и немецкому начальству. Подумайте, знаки отличия в то время, когда все идет явно ко всем чертам!

Шеф, к которому явились Зимон и Габерланд, оказался человеком не только итальянского имени, но и соответственного вида: смуглый, черноволосый, с большими блестящими глазами. Он раз-

говаривал с ними на ходу, в коридоре. После короткого разговора ему был представлен и я. Он улыбнулся и приветливо мне кивнул. Оказалось, однако, что этот разговор был роковым для нашей лаборатории: она должна была отныне прекратить свое существование.

Зимон, живший в гостинице, взял к себе Габерланда, а обо мне предложил позаботиться Дрегеру. Время уже шло к вечеру, определять меня куда-нибудь было уже поздно, и Дрегер сказал, что эту ночь я проведу у него. Дом его, сколько ему было известно, еще стоял, и мы могли рассчитывать на ночлег под крышей на пятом этаже берлинского дома, расположенного прямо у эстакады городской железной дороги. Мне было очень интересно побывать внутри немецкого жилища и посмотреть, как живет немецкий рабочий невысокой квалификации со своей семьей. У Дрегера дома оставались жена и дочь, которых мы и нашли в полном здравии. Жена выглядела, пожалуй, более пожилой, чем сам Дрегер, а дочь показалась мне миловидной, хотя и с мелкими чертами лица...

Квартира у них была маленькая, из двух комнат с кухней, но обставлена в общем так, как у нас обставляются жилища мелких служащих и интеллигентов, а не рабочих. Мебель при этом производила впечатление старой, сделанной еще в XIX веке. Я спал на диванчике, в одной комнате с Дрегером — он на другой день шуточно ворчал, что я не дал ему возможности поспать с женой. Утром пришел доктор Зимон и сказал, что он принимает меры к тому, чтобы меня не определили в лагерь, а зачислили в сотрудники ОТ. Я его поблагодарил, хотя почему-то мне было очень неприятно думать о служебном положении в ОТ, которому я предпочел бы лагерь. Ему я, однако, этого сказать не мог. Он бы этого явно не понял. Зимон сказал также, что известный немецкий археолог Райнерт по поручению властей призван заботиться о зарубежных археологах, в том числе и русских, оказавшихся на германской почве, и предложил мне написать ему письмо. Я ответил, что написал бы с удовольствием, но письмо получится безграмотное. Он вызвался его тут же исправить. Однако, прочитав то, что я написал, Зимон решил не исправлять написанное: «Будет лучше, если ваши истинные литературные возможности будут известны Райнерту доподлинно, чтобы он не чувствовал себя обманутым». Я вполне согласился с этим.

Дрегер повел меня в берлинский центр ОТ, чтобы меня временно куда-нибудь определить на жительство. Там мы встретили

одного труппфюрера, помнившего меня по совместному пребыванию в городке Мглине. Он очень за меня испугался, увидав меня в столь высокой инстанции и решив, что меня сюда привезли за какую-нибудь провинность. Дрегеру стоило известных усилий убедить его в том, что со мной все в полном порядке.

Меня направили в ОТ-лагерь Груневальд, где обслуживающий персонал состоял из русских военнопленных, живших на положении *hiwi*. Я сразу же подружился с Василием Ивановичем — ростовским архитектором, человеком простым и очень сердечным. Остальные ребята производили на меня не совсем обычное впечатление. Чем-то они отличались от обычных военнопленных, каким был я сам и среди которых главным образом жил все это время. Отличались они прежде всего одеждой — на них было гражданское платье, если и не немецкое, то во всяком случае добытое уже в Германии. И держались они как-то свободнее, а вернее развязней, чем все мои прежние товарищи, и причины такого поведения стали мне понятны не сразу.

На другой день, часов в шесть утра, в барак вошел труппфюрер ОТ и крикнул: «Aufstehen!»¹ Вслед за этим поднялась смуглая морда с всклокоченными волосами одного из наших. Он вскочил с койки и завопил: «Вставай с постели... горячие поспели! Побудка сделана, пан Станис...» Последние слова были обращены к труппфюреру, уже выходившему из барака. Быстро позавтракав, все отправились на работу, и я остался один в бараке. Часов в 9 утра вдруг появился Дрегер и, сказав, что у него свободный день, предложил мне походить с ним по Берлину, на что я, разумеется, с радостью согласился.

Мы доехали на штатсбане до центральных мест, кажется до Фридрихштрассе, известной мне понаслышке с детства. Собственно улицы никакой не было. По обеим сторонам ее стояли развалины домов. Тротуары и мостовая оказались настолько засыпаны битым кирпичом, что между двумя его грудями, лежавшими по обеим сторонам бывшей улицы, оставалась лишь довольно узенькая дорожка. Кое-где в нижних этажах зданий функционировали магазины, проникнуть в которые можно было по кирпичному коридору. Освещались они узкими щелями вместо окон. Местами слышался трупный запах — Дрегер объяснил мне, что далеко не всегда после бомбежек удастся найти и извлечь все трупы. Некоторые так и гниют под грудями кирпича...

Мы прошли на Унтер ден линден — широкую улицу, где раз-

¹ Встать!

рушения казались не столь велики, и кирпич, упавший из разрушенных зданий, был убран или сложен в аккуратные штабеля. Дрегер показал мне берлинскую Оперу, стоявшую в ремонтных лесах, и провел мимо Бранденбургских ворот. Потом мы оказались у бывшего императорского дворца и поглядели на выжженный внутри Антиквариум. Рядом находился Военно-исторический музей. Он был открыт, и мы вошли в него. Залы без оконных стекол и без крыш, но экспонаты в них были таковы, что им не угрожала ничем любая бомбежка — главным образом литые старинные пушки и чугунные ядра к ним.

После этого мы прошли мимо Staatskanzlei¹ — здания в новом, довольно мрачном и помпезном стиле, чем-то напомнившего мне крематорий. Все было тихо и пусто вокруг. Дрегер сказал мне, что Гитлера здесь сейчас нет, что он где-то на фронте. Однако это оказалось неверно. Когда я вернулся в лагерь, то по радио раздавались сообщения о покушении на фюрера, произведенном посредством взрыва бомбы как раз в этой самой Staatskanzlei. Мы с Дрегером прошли мимо нее минут за двадцать до этого происшествия. Все улицы вокруг, как мне потом рассказывали, были оцеплены войсками и все находившиеся на них люди задержаны. Вряд ли бы я вышел из этой мышеловки живым, попади я в нее.

Радио и газеты воздавали хвалу «провидению», спасшему фюрера. Был передан приказ расстреливать на месте всякого, кто при задержании пытался бы оказать сопротивление...

В газетах была помещена фотография помещения, совершенно обезображенного взрывом, при котором уцелел Гитлер. Позднее мне кто-то сказал, что подозрение о существовании двух Гитлеров зародилось за какое-то время перед этим, когда по газетам можно было сопоставить сообщения о выступлении Гитлера в разных местах в одно и то же время...

Дрегер сообщил мне от имени доктора Зимона, что в связи с моим предполагаемым зачислением на службу в ОТ предстоят некоторые формальности, в частности необходимо пройти медицинское освидетельствование. Соответствующее медицинское учреждение ОТ находилось тут же в окрестностях Берлина, на расстоянии километра от Груневальдского лагеря.

Я решил сделать все возможное для того, чтобы избежать зачисления на службу в ОТ. Я надеялся именно на эту медицинскую комиссию, так как имел некоторое представление о немец-

¹Государственная канцелярия.

кой медицине и о некоторых ее предрассудках. Давали же нам на Орловской дороге профилактические средства от холеры!

Осматривал меня старичок-доктор, очень внимательный и до-тошный. Надо сказать, что я вообще не отличался крепким и правильным телосложением, то есть тем именно, что в первую очередь требовалось от «остарбайтеров», как когда-то от негров. Кроме того я, ничуть не привирая и не кривя душой, сообщил ему, что у меня в анамнезе начатки туберкулеза, освободившего меня в 1925 году от прохождения военной службы, а также тропическая малярия, перенесенная в детстве. Этого оказалось более чем достаточно. Через полчаса после осмотра мне была вручена напечатанная на машинке бумажка, в которой значилось: «nicht tauglich» (то есть «не годен»). С этой бумажкой я явился в берлинский центр ОТ. Доктор Зимон заявил было, что это чепуха и что он берется все это уладить. Однако по прошествии двух-трех дней ему пришлось с огорчением сообщить мне, что препятствие оказалось более серьезным, чем он предполагал, и что на службу меня как физически негодного зачислить не могут. Речь может идти о зачислении в рабочий отряд при ОТ, для чего производится лишь самое поверхностное медицинское освидетельствование. Меня послали к тому же врачу вместе с полусотней поляков и чехов. Он нас построил полураздетыми, осмотрел нас внешне, убедился в наличии рук и ног. Все оказались годны. Доктор Зимон сказал, что похлопочет о том, чтобы я был направлен в какой-либо из берлинских лагерей ОТ, а не куда-либо к фронту.

Еще через день мне сообщили о том, что меня требует некое начальство из того учреждения ОТ, при котором находилась медицинская комиссия. Вызван я был к 9 утра. А тут получилось так, что пока я ходил умываться, из барака было забрано для дезинфекции вместе с казенными одеялами также и мое собственное. Покуда я бегал его вырывать — а отложить его поиски было нельзя, я бы уж не мог доказать потом, что среди забранных одеял имеется одно лишнее, — прошло довольно много времени, и я опоздал по вызову, хотя и бежал туда сломя голову.

Немцы необыкновенно оскорбляются и раздражаются из-за опозданий. Я сидел и терпеливо ждал вызова начальства, которому было сообщено о моем приходе. Когда он меня принял, первые его слова были — почему я опоздал, почему русские не могут не опаздывать. Сколько я ни извинялся и ни пытался объяснить ему причину, он даже и вникнуть в это не захотел. Однако меня поразило не это — к подобным вещам я уже привык — а то, что он, не

отпуская меня из своего кабинета, принялся обзванивать лагеря ОТ с тем, чтобы определить меня куда-либо. Это у него отняло, вероятно, не менее получаса, и он не прерывал дела, покуда его не закончил: выяснилось, что против меня ничего не имеют в лагере Груневальд, где я и должен был остаться на положении лагерного рабочего, как и мои товарищи по бараку. Я был этим, в конце концов, вполне удовлетворен, и Василий Иванович тоже. Он меня все более и более забирал под свою опеку.

Ко мне пришел еще раз, на этот раз чтобы попрощаться, Дрегер. Его назначили в Чехию, куда он и должен был отбыть незамедлительно. Передал он мне и прощальный привет от доктора Зимона, уже уехавшего тем временем куда-то на запад. Больше мне не довелось никого из них увидеть. Позднее я заходил однажды к родным Дрегера, чтобы удостовериться в его здравии. А попрощались мы с ним очень трогательно, и я сохранил к нему очень теплые чувства. Человек это был хотя и ограниченный в своей простоте, но очень добрый и милый. Людей, с которыми он был связан, он очень любил, старался сделать для них все, что можно, и прощал им всяческие их недостатки. От немца гитлеровской формации в нем не было почти ничего, а то немногое, что и было, относилось к вещам чисто внешним, наносным.

Итак, я попал под начало пана Станиса. Полное его имя было Станислав Красовяк, но несмотря на его явно польское происхождение, он считал себя стопроцентным немцем, а семья и дом его находились где-то в Шлезвиге. Он был несколько психопатичен (поэтому и обретался в Берлине, а не на фронте), криклив, но в общем незлобив. Нас, лагерных рабочих, было у него человек 30. Это были, с одной стороны, люди вроде меня, использовавшиеся на всякую работу по поддержанию лагеря в порядке — сюда относилась не только уборка барачных и территории, но и садово-огородные работы, погрузка-разгрузка всего, что привозилось и увозилось.

Лагерь служил гостиницей для немецких сотрудников ОТ невысокого разряда и местом формирования рабочих отрядов из людей разных национальностей (в том числе французов, бельгийцев, голландцев), которых привозили сюда в гражданском платье, обычно просто захватив их на улице, обмундировывали и отправляли на работы, как правило куда-либо на восток. Получив обмундирование, люди эти продавали (или выменивали на что-либо) свое домашнее платье за бесценок нашим ребятам, которые хорошо к этому приновились, — для них это занятие

сделалось весьма доходной статьей. Они не только сами были одеты и имели в запасе хорошие гражданские костюмы, но и сбывали их на сторону через своих подружек — женщин, работавших на кухне и по уборке помещений немецкого лагерного начальства и живших в особом лагере для советских гражданских лиц, приведенных в Германию на работы.

В обмен на эти костюмы они получали через своих женщин всякую всячину — прежде всего продуктовые карточки (талоны) и технический спирт для чистки механизмов, который с жадностью выпивался, хотя производил впечатление совершенной отравы и именовался «стенолаз».

Мои товарищи были по преимуществу всё люди молодые. Менья — тридцатисемилетнего человека — нередко называли «старик» или «отец». Среди них можно было угадать не столь уже, вероятно, маленький процент ребят с уголовным прошлым. У них были какие-то особые шашни с некоторыми немцами, и они вследствие этого частенько отлынивали от работы.

От Василия Ивановича я узнал, что некоторые из них попали сюда из каких-либо специальных лагерей для комсостава или для евреев, где они работали в лагерной службе, а теперь об этом помалкивали. Блатные свои повадки они проявляли также довольно сдержанно. Ссоры и вообще конфликты бывали у нас очень редко. Некоторые из наших числились на специальной работе: имелись два электрика, один из которых, бывший старший лейтенант кавалерии (известного корпуса Белова), стал моим хорошим товарищем. Электрики обычно и ночевали не с нами в бараке, а у себя в мастерской. Было два столяра, которые редко исполняли какие-либо другие работы, был «комендант» — красивый белобрысый парень лет 30 откуда-то из Средней Азии, куда угодил не по доброй воле. Ввиду этого своего чина он очень редко привлекался к какой-нибудь физической работе. Мы, прочие, тоже не очень перенапрягались, поскольку постоянного наблюдения за нами не было. Пан Станис занаряжал нас на какую-нибудь работу, например, убрать в бункер кучу угля или кокса для лагерных печей — кучу явно слишком большую для одного дня работы, — и говорил, чтобы к обеду все было сделано. Возражать представлялось бессмысленно, и мы, впрочем довольно равнодушно, заверяли его: «Сделаем, пан Станис». Потом начиналась работа с прохладцей, с перекурами и разговорами. Когда Станис к обеду являлся посмотреть на нашу работу, перекидана бывала лишь некоторая часть кучи.

Он подымал крик: «Робяты, в Германии так не будет работано... Ни одна минута не стояно...»

Мы его успокаивали: «Да ведь немного же остается, пан Станис, скоро кончим». Он обычно, покричав, успокаивался, и мы отправлялись обедать. В субботу и воскресенье работали только первую половину дня. Работа, хотя была малоприятная, но чаще всего нетрудная. Тяжело было только разгружать машины с углем и коксом, таскать какие-то ящики, которые то привозили к нам в лагерь, то увозили.

Василий Иванович предложил мне как-то проехаться в Потсдам. Я знал, что это недалеко, но, во-первых, у меня не было денег, во-вторых, я еще никуда не решался уходить из Груневальда. Нам запрещалось покидать лагерь, но сделать это было очень легко: в заборе из проволочной сетки имелись дыры, сделанные нашими ребятами именно для этой цели, и многие нередко в нерабочее время вылезали наружу и слонялись по окрестностям. Ходили также в расположенный где-то неподалеку лагерь для русских гражданских лиц... Я на подобные предприятия не отваживался. На моих глазах несколько раз полицейские приводили наших ребят, которых они ловили где-нибудь неподалеку, и сдавали их лагерной охране. Правда, я не помню, чтобы кто-нибудь когда-либо был наказан...

Я, во всяком случае, высказал Василию Ивановичу все свои сомнения: быть доставленным в лагерь с полицией мне представлялось неприятным.

— Глупости, — отвечал Василий Иванович. — Полиция знает почему иногда забирает наших? Вообще тех, кто ведет себя смирно, никогда не тронут, ну а когда подымают крик или возню... Не умеют люди себя вести, вот и всё...

Я все-таки решил попробовать договориться с начальством. Как-то в субботу вечером я зашел в контору лагеря и спросил дежурившего там труппфюрера, не могу ли я с Василием Ивановичем съездить ненадолго в Потсдам? «Зачем?» — спросил он меня. Я ему ответил, что мне известно, какой это красивый город — королевские дворцы, Гарнизонная церковь, Historische Mühle¹ — я пустил в ход все, что слышал о Потсдаме, — а Василий Иванович к тому же архитектор... Нам была выдана увольнительная, в которой значилось, что два остарбайтера увольняются из лагеря на три часа...

¹ Мельница в Сан-Суси, 1747 г.

Денег не было только у меня. У Василия Ивановича они водились в избытке. Он рисовал для немцев портретики родственников с фотографических карточек, грубовато, но им нравилось, и они с ним щедро расплачивались. Он, правда, предпочитал получать не деньгами, с которыми мало что можно было предпринять, а натурой или, по крайней мере, карточными талонами. С этими талонами он не раз посылал меня в лавочку за сахаром или еще за чем-нибудь...

Билеты были приобретены, и штатсбан быстро доставил нас в Потсдам. Маленький, но совершенно не тронутый войной, такой не похожий на Берлин городок. Берлин был по преимуществу городом XIX, отчасти XX века, тяжелым и некрасивым. Главное же — его ужасные разрушения ранили глаз, вызывали непроизвольную тошноту. А Потсдам был совершенно целенький. Это был город-музей, с небольшими домиками XVII—XVIII веков, веселый, светлый, зеленый. Встретила нас прежде всего Гарнизонная церковь, с ее замечательным перезвоном колоколов, на которых исполнялись старинные музыкальные произведения. Стоять бы и слушать часами. Дворец, отчасти напоминающий Царское или Петергоф, а скорей Гатчину, и при нем замечательный парк. Но на это мы только поглядели через очень красивую решетку, походили немного по улицам, и, так как я не хотел запаздывать против указанного увольнительной срока, отправились восвояси.

Поражало большое количество всяческого офицерства в Потсдаме. Не было сомнения, что немцы в надежде на то, что Потсдам бомбить не станут, поместили там всякие военные учреждения.

В соседнем с нами бараке жили в одном из отсеков молодые русские люди, не работавшие, однако, в лагере. Там было три человека в форме РОА — они об этом не говорили, но само собой выяснилось, что это были какие-то политработники не у дел. В общем же, как и все служащие РОА, каких я видел, это были просоветски настроенные люди с припрятанной в глубине души ненавистью к немцам. Старший из них по чину — лейтенант — как-то признался мне, что он немецкого происхождения и что у него где-то тут есть родственники. Но языка он почти что не знал и был самый завзятый русопят.

С ними жил еще и один худощавый человек в форме ОТ, инженер-химик, товарищ моего Василия Ивановича по какому-то предшествующему лагерю, с которым он меня вскоре же познакомил. Звали его Владимир Николаевич, был он довольно нервозен, немного чудаковат. Работал он при какой-то химической лабора-

тории, на таких же примерно кондициях, как я в Минске. Вел он себя иногда странновато — не понятно было, то ли прикидывался, то ли действительно был совершенно сбит с панталыку всем с ним происходившим. Например, он меня вдруг спрашивал:

— Лев Андреевич, а что, в Историческом музее были жида?

— Были, Владимир Николаевич.

Некоторое молчание.

— Ну и как же вы с ними?..

— Да обыкновенно, вероятно так же, как и вы с вашими. Ведь и в вашем учреждении, наверно, были евреи?

— Вот я и не представляю себе теперь, как это я с ними мог общаться?..

Мне не хотелось углублять подобные темы. Такая экстравагантность и взбалмошность отвращали меня от него, и я старался с ним по возможности не сталкиваться. Но его что-то тянуло ко мне, и он часто искал моего общества. И я ему стал обязан встречами и знакомством с людьми, приобретшими большое значение для меня в этот последний период нашего плена.

Иногда я один выходил ненадолго из лагеря, для того чтобы погулять по пустынной и узкой асфальтовой дороге, сразу уходящей в лесистую местность, как только кончался забор расположенного рядом с нашим чешского лагеря. Мне это не стоило большого труда. Меня выпускали и часовые немцы, когда я им объяснял, зачем и на сколько времени я хочу выйти. Обычно ответ был таков: «Ты можешь идти, но помни, что я сменяюсь тогда-то». Я обещал быть точным и не обманывал. Еще легче мне было выходить, когда на часах стоял бельгиец или француз. Французская речь открывала мне немедленно дверь: «О, мой друг, ты можешь идти куда хочешь и на какое угодно время. Помни только, что я сменяюсь тогда-то, после меня дежурит немец до такого-то часа, а потом опять наш». Во всем этом расположении и предупредительности ощущалась полнейшая искренность. Выпускали так и других. Однажды я встретил на этой дороге моего товарища-электрика И. Зайцева, шедшего из леса с приятного вида русской женщиной, как оказалось, из гражданского лагеря и его давнишней приятельницей. Он мне без обиняков тут же сказал, что это единственный способ уединиться.

«Далеко ходить не надо», — указал он мне на частые саженцы некоего лесного питомника. Мы проводили его жену до ворот ее лагеря, а на обратном пути он сообщил мне сам и еще более

доверительно, что он кавалерист, старший лейтенант, беловец, два раза бывал в окружении и оба раза с большим трудом выходил, а на третий решил плюнуть: «Мочи нет, как таскают по особым делам: что хотят тебе шьют — и дезертирство и шпионаж... Дали понять, в общем — еще раз попадешь — лучше не ворочайся... Вот и сижу с бабой, горюю... А хороша баба? Нет, ты по совести, хороша ведь — э!»

Я его не разочаровывал, тем более что для этого не имелось и оснований. Доверие его мне несколько даже льстило. Но он вообще был человек прямой и простой. Как-то во время одного разговора, когда, как почти всегда, предавались мы воспоминаниям о доме, о довоенном времени, кто-то ему сказал:

— Эх, Зайцев, и чего только ты тут сидишь?

— А что?

— А шел бы ты в РОА...

Он посмотрел на говорившего, потом опустил глаза в землю и решительно произнес:

— Нет, против советской власти не пойду...

Потом помолчал и добавил:

— А против жидов пошел бы...

— А чего ж тебе жиды такого сделали? — поинтересовался кто-то.

— Я за них выговор получил.

— Как это так, а ну расскажи...

— Да очень просто. Это еще году в 38-ом было. Командир эскадрона как раз в мое дежурство пришел лошадей проверять. «Чищены кони, Зайцев?» — «Чищены, — говорю, — товарищ командир, блестят как жидовские я...» — «Объявляю, — говорит, — тебе порицание за антисемитизм и три наряда не в очередь...»

Над рассказом Зайцева посмеялись, но насколько он сам при этом шутил, судить было не так-то просто. Рассказывал он обо всем этом серьезно, даже с оттенком некоторой суровости.

В общем-то еврейская тема в мыслях и разговорах занимала нас как будто не так уж и много, но все-таки... К нам как-то раза два приходила из гражданского лагеря провинциально-русского вида женщина, типа сельской учительницы. Приходила она, может быть, узнав о моем здесь присутствии, из любопытства, а возможно и с некоей более определенной целью... Во второй свой визит она рассказала мне шепотком, что у них в лагере живет еврей-инженер, выдающий себя за караима. Ему-де у них очень скучно, и не при-

ду ли я к ним в лагерь, чтобы познакомиться с этим человеком... Меня эти разговоры и это предложение внутренне раздражали — так вот и выдают немцам то ли настоящих евреев, а может быть, вовсе и не евреев. Ну что заставляет эту женщину рассказывать мне о том инженере? Она ведь ни меня не знает, что я за человек, вряд ли толком знает и этого инженера. Я ответил ей уклончиво — неудобно, мол, мне ходить по чужим лагерям. Я ведь все-таки не то, что другие наши ребята. С меня больше спросу, больше требуют дисциплины... Любопытства я к этому еврею как к таковому не проявил, и она, может быть поняв некоторую бестактность своего поведения, от меня со всем этим отстала.

Может быть, я поступил нехорошо по отношению к этому человеку? По-моему, все же нет. Зачем было фиксировать на нем какое-то внимание, которое могло ему быть во вред. Живет себе тихо, и слава богу. Будет и впредь жить тихо — может быть, даже и целее...

Лето стояло в Берлине довольно жаркое. В моем обмундировании бывало мне временами тяжело. А ведь не разденешься — это тебе не в России и не в деревне — Берлин. Мысль о том, что я в Берлине, возникала во мне, всегда сопровождаясь известным чувством внутреннего удовлетворения. Вот-де я и в Берлине... Как будто это было так предварительно предсказано, что я приду в Берлин. И так как война явно шла на убыль и к поражению немцев, то к этому примешивалось еще вовсе уже противозаконное, но неистребимое чувство того, что я — не один я, конечно, но все мы русские, находившиеся сейчас в Берлине, независимо даже от наших индивидуальных настроений и чувств — первая ласточка нашей победы над немцами, первая волна нашего наступления на Берлин. Чувства эти, обозначавшиеся иногда в моем сознании, злили меня, представлялись глупыми и преждевременными. Суеверное сознание прогоняло их — бог знает, как еще все может повернуться, если не для судеб войны вообще, то по крайней мере для наших судеб — судеб русских людей в Берлине. И я вспоминал о недавнем дне 20-го июля, когда я был, как мне представлялось, на самом краю гибели...

Я стал постепенно приглаживаться к этой небольшой — как сказано, всего человек 30, — но довольно разношерстной компании, в которой я находился. Среди нас было не так много военнопленных; значительная часть были люди гражданские, попавшие в орбиту ОТ и работавшие у немцев еще на нашей территории, в тех или иных учреждениях. Всё более определенно чувствовалось наличие в нашей среде уголовного элемента. Для того чтобы его

почувствовать и определить, тоже нужна была известная наметанность глаза, которой я тогда не обладал, и осознал эти вещи далеко не сразу, делая выводы отчасти из намеков самих товарищей на то, что они до войны не гнушались всяческих «этаких» дел. Выдавал их, кроме того, и жаргон да и самое нынешнее поведение. Я этого не чувствовал, но были среди них люди, видимо, и всерьез страшные.

Еще когда неизвестно было, останусь ли я в этом лагере, когда я еще держался особняком и больше бывал вне барака, чем внутри него, до меня долетел однажды не столь громкий, но очень встревоживший меня голос Василия Ивановича: «Ну что ж, убей, убей... Немцы не убили, видно от своих этого не миновать...»

Что такое? Я заглянул в барак. Никто никого не убивал. Василий Иванович стоял за столом в состоянии сильного возбуждения. За столом сидело еще человека три-четыре и среди них веселый и белобрысый «староста» барака — «белокурая бестия» из Узбекистана... Слова Василия Ивановича относились, видимо, именно к нему. С моим появлением все тотчас же прекратилось. Я кликнул Василия Ивановича и тут же затеял с ним, для общего сведения, какой-то совсем посторонний разговор... Потом он мне рассказал, что тот раз что-то требовали из его вещей под услышанной мной угрозой...

Был у нас один веселый и разбитной паренек — лейтенантик Ваня. Советский до мозга костей, совершенно честный, хотя и довольно оборотливый. Была у него откуда-то — видно, от какой-то кухонной девушки-приятельницы — большая стеклянная банка со свиным салом, из которой он клал, бывало, по ложечке в тощий немецкий суп. Кто-то у него раз попросил салыца, он отказал довольно грубо и не без издевки. Вдруг вижу — один из моих нередких напарников по работе, тоже Иван — Михайлов, от которого я знал по его рассказам, что он перед войной отбывал наказание за какое-то ограбление и на фронт попал из мест заключения — резко направился к Ване с очень определенными искорками в глазах. «Будет драка», — подумал было я. Но, к удивлению, ничего не произошло. Михайлов даже не произнес ни слова. Он протянул руку, и Ваня, хотя и не вовсе безропотно, но сам поставил на нее заветную свою банку, которая и была такова...

Перепродажей или обменом одежды, приобретенной у вновь мобилизованных в ОТ иностранцев, занимались чуть ли не поголовно все наши. Но среди них были совершенные виртуозы по коммерческой части. И особенно отличался один украинский паренек несколько семитского облика, по имени Яшка, которого

прозвали в связи с его торговыми наклонностями Янкель. Интересно, что эта его спекулянтская деятельность импонировала некоторым немцам — импонировала, может быть, именно потому, что спекулянтский дух преследовался и изничтожался нацизмом.

Янкель умудрялся осуществлять свои торговые операции в любой обстановке.

Мы ехали, как это случалось нередко, в одно из городских учреждений ОТ на ликвидацию последствий очередной бомбежки. Янкель что-то всучивал какому-то случайно встреченному в вагоне штатсбана русскому. Дело происходило в тамбуре. Сопровождавший нас немец с поощрительной улыбкой наблюдал за тем, как Янкель с пеной у рта торгуется. Наконец, он махнул рукой: «Бери, шут с тобой» — и, заметив внимательный взгляд немца, добавил: «Шнель фертих». А тот ему глубокомысленно кивнул головой: «Это правильно, мой милый. Быстро отделаться — это много значит...»

Соколов заявил как-то, что хочет познакомить меня с неким немцем по фамилии Вальк, жившим когда-то в России, в Киеве, но уже давно живущим в Берлине и занимающимся журналистикой и переводами. Соколов рассказывал Вальку о каких-то своих химических опытах, которым он придавал большое значение и надеялся завершить их после войны. Как-то вдруг что-то такое об этом, в довольно, впрочем, невразумительной форме, появилось в русской берлинской газете за подписью этого самого Валька. Соколов был возмущен, при мне звонил Вальку со станции штатсбана по телефону-автомату и страшно бранил его за то, что тот позволил себе разгласить его секреты, а Вальк оправдывался тем, что он-де сообщил об этом лишь в самой общей форме. Ссоры, в общем, не произошло, и как-то этот Вальк появился у нас в лагере и был представлен мне. Это был небольшой и весьма уже пожилой человек, довольно неряшливо одетый и вообще не без больших странностей. Меня он с места в карьер принял за уговаривать ходить с ним по русским лагерям и записывать частушки. Я согласился с ним, что дело это интересное и небесполезное — в Берлине сосредоточились в это время русские люди из самых разных мест Европейской России, так что сборы могли быть богаты и разнообразны. Однако участвовать в этом предприятии я не мог — не было у меня ни возможности, ни права ходить по лагерям. «Вы — другое дело, — сказал я ему. — Вы немец, переводчик, вас всюду пустят без разговоров, а если бы они и возникли, вам, вероятно, не трудно будет доказать, что эти ваши интересы имеют

научное значение... Вот вы и ходите по лагерям и записывайте. Вряд ли кто-либо смог бы в этом с вами конкурировать...»

Он как-то мне на это ничего определенного не ответил, и разговор принял другое направление. Соколов потом говорил, что об этих русских частушках Вальк ему уже прожужжал уши. Я, в общем, сделал вид, что отношусь к этому серьезно, но внутренне мне было совершенно ясно, насколько это все психопатично и беспочвенно. Никуда он не пойдет и ничего не сделает...

Знакомство с Рутой

Вскоре Владимир Николаевич сообщил мне, что у одной сотрудницы их института есть сестра — лингвистка по образованию, изучающая русский язык. Ей нужен человек, который бы поправлял ее произношение и грамматические ошибки, а также поправлял бы ее переводы. «Я, — сказал он, — пробовал с ней заниматься, но не выходит. Ей как лингвистке нужно много грамматики, а я ее не знаю».

И он предложил мне познакомиться с ней. «Она вам будет платить... Она состоятельная... Аристократка...»

Я спросил его, откуда он знает, что она аристократка. Фамилия обеих сестер оказалась фон Сильман. Разумеется, мне все это показалось очень интересно. Представляя себе уже более или менее немцев мужского пола, я почти не имел дела с женщинами. Я было предложил Соколову ориентировать его в грамматике, чтобы не отбивать у него этого урока, но он заявил категорически, что у него ничего не выходит — он-де это хорошо видит и заниматься с нею все равно больше не будет. Тогда я сейчас же согласился.

Однажды, вскоре после этого разговора, в вечернее время, но еще при солнце, мы с Василием Ивановичем лежали на траве возле нашего лагеря и предавались каким-то разговорам. Стояла сентябрьская, еще очень теплая, почти жаркая погода. Вдруг над нами раздался голос Соколова, появления которого мы, лежа в довольно высокой траве, совершенно не заметили.

— Вот, Лев Андреевич, я привел к вам фрейляйн фон Сильман... Познакомьтесь, пожалуйста...

Я, толком еще ничего не сообразив, поднял в его сторону глаза. Передо мной, рядом с ним стояла высокая, худощавая, с длинными конечностями, довольно молодая женщина, какого-то, как мне показалось сразу, совершенно необыкновенного, ан-

гельского вида... У нее были большие серые глаза, пепельного цвета волосы при очень теплом матовом оттенке кожи. Она мне показалась совершенно очаровательной. Я вскочил, извинился, поздоровался и немного опешил. Но она несколькими простыми словами вернула меня в обычное состояние. Она стала благодарить Соколова за состоявшееся знакомство, после чего тот вместе с Василием Ивановичем быстро ретировались. А мы с ней пошли по дорожке в направлении вокзала Груневальд. И она стала просить меня с ней заниматься. Я без всяких лишних слов подтвердил ей мое согласие, но выразил сомнение в том, что наши занятия будут всякий раз легко осуществимы: «Я ведь все-таки в лагере, — сказал я ей, — и на положении далеко не таком свободном, как Соколов».

«Мы будем заниматься раз в неделю, по субботам, — сказала она. — Я уверена, что мне удастся договориться на этот счет с вашей администрацией. Запишите, пожалуйста, мой адрес...» Она протянула мне авторучку. Потом я выслушал объяснения о том, как надо к ней ехать на штатсбане. На том же кусочке бумаги, где был записан адрес, появился и небольшой план. А затем мы разговаривали на совершенно посторонние темы.

Я сказал, что мне очень интересно познакомиться наконец с интеллигентной немецкой женщиной, что я надеюсь получить возможность разговаривать с ней не только о грамматике.

«Вы, вероятно, очень требовательны к женщинам», — сказала она задумчиво. Я очень удивился. «По чему это вы судите?» И последовал совершенно неожиданный ответ: «По вашей прическе...»

«Господи, да какая же у меня такая прическа?» И я спешно принялся приглаживать волосы... Правда, они у меня ложились на левую сторону, как у Гитлера. Мне на это уже обращали внимание и другие. Я с грустью сказал, что потерял в плену человеческий облик, чувствую себя уже почти стариком, а товарищи мои иначе меня и не называют...

Она очень трогательно меня утешала и просила не обижаться на молодых людей, для которых всякий, кто старше тридцати лет, — старик.

Расстались мы у вокзала Груневальд уже совершенными друзьями, а в ближайшую субботу меня вдруг попросили в контору. Когда я явился, мне протянули телефонную трубку: «Herr Jelnitzky, — услышал я приятный и знакомый уже мне голос. — Я договорилась с вашей администрацией. Вы получите увольнительную

на сегодняшний вечер. Если можно, приезжайте к шести часам». Я обещал. Труппфюрер, сидевший в конторе, протянул мне уже заготовленную, покуда мы с ней объяснялись по телефону, увольнительную и, лукаво подмигнув, пожелал мне viel Spass¹. Я был этим немного шокирован и стал было ему объяснять, что это никакие не удовольствия и тем более не приключения, но он оборвал меня и добавил шутливо: «Не теряй времени, друг».

Действительно, надо было уже ехать. Пришлось мне попросить у Василия Ивановича немного мелочи на дорогу, и я отправился, благословясь. Адрес был не сложен. Нужная мне Бабельсбергерштрассе находилась совсем недалеко от станции штатсбана Вильмерсдорф. Иду. Как и всюду, вокруг много разрушенных зданий. Вот и нужный мне дом, шестизэтажный, с небольшим палисадником между цоколем и тротуаром. Подымаюсь на четвертый этаж. На двери под указанным мне номером вижу табличку с фамилией Kadenbach. Ага, значит я неправильно читал написанное ею для меня ее имя — Fräulein von Sielmann bei Kadenbach, звучавшее для меня вдвойне аристократично. Каденбах — это фамилия людей, у которых она живет... Я позвонил. Она сама мне отворила, и я очутился в прихожей, видимо, довольно большой, очень хорошо оборудованной квартиры. Наискосок через небольшой коридорчик просматривалась кухня с блистательной белизны столиками и мебелью, с полочками, уставленными белой же эмалированной посудой. Ее комната, в которую она меня с приглашениями и приговорами вводила, была невелика, с двумя окнами, вернее с окном и балконной дверью. Мебели было немного: шкаф, пружинный топчан на низких ножках, как это нередко практикуется и у нас, небольшой узкий столик у окна и стол побольше, обеденный, посреди комнаты.

После нескольких вопросов — легко ли меня отпустили и не возникло ли каких затруднений в дороге — мы приступили к занятиям. Сидели мы друг против друга за столиком у окна. Когда стало темнеть, была зажжена настольная лампа. Стало необыкновенно уютно. Это все казалось настолько похоже все-таки на обычную для меня московскую обстановку, что трудно было отделаться от мысли, настойчиво уверявшей меня, будто война и все прочие ужасы последних четырех лет — это только сон, а вот она мирная и прекрасная реальность. Она стала читать «Анну Каренину». Я отмечал ошибки в ударениях и произношении. За-

¹Хорошо повеселиться.

тем каждая фраза подвергалась грамматическому и синтаксическому разбору. После полутора часов такого чтения фрейляйн фон Сильман осталась очень довольна. Она сказала, что наконец получает от меня именно то, что ей нужно. Во время наших грамматических упражнений выяснилось, что она весьма порядочно знает чешский язык, французский, а также древние языки. Это был, стало быть, очень образованный человек, по крайней мере с точки зрения русских образовательных возможностей. В то же время в ней было что-то на редкость простое, очень женское, совершенно лишенное какого-либо академизма. Утомившись от этих занятий, она предложила мне небольшой рассказ по-русски о проведенном ею дне. Я опять-таки должен был поправлять ее и помогать ей осмыслить каждую фразу грамматически.

Из этого рассказа я узнал, что она служила в каком-то военном учреждении. У нее есть очень ею уважаемый шеф, биолог по гражданской специальности, побывавший в войну 1914 года в русском плену. Мне неудобно было с первого же раза задавать какие-либо вопросы о ее работе и об этом начальнике. Я не выходил за пределы грамматики. По окончании урока она напоила меня чаем с каким-то коржиком, и когда чаепитие окончилось, сказала, что теперь мне надо идти и что она проводит меня до штатсбана. Я было стал отказываться от провожания, но она очень настаивала — сказала, что иначе она будет очень беспокоиться, тем более что этот сентябрьский вечер был уже достаточно темным. «Надеюсь, что вы доедете до лагеря еще до объявления воздушной тревоги», — пожелала она мне на прощание. До вокзала она вела меня под руку.

Так начались наши регулярные занятия. Вернулся я еще задолго до тревоги и довольно подробно рассказал об этом вечере Василию Ивановичу.

С наступлением осени нас стали почти каждую ночь бомбить английские самолеты. Тревога объявлялась по радио часов в 11—12, когда больше всего хотелось спать. Немцы вообще каждый час передавали воздушную сводку. Приятней всего было слышать: «Achtung, über dem Reichsgebiet befindet sich kein feindliches Flugzeug»¹. Если раздавалось «Achtung, Achtung», то это означало, что где-то предстоит или уже происходит бомбежка. Когда же сообщалось, что соединение легких самолетов находится над Шлезвиг-Гольштейном, то это означало, что надо немедленно

¹Внимание, над государственной территорией нет вражеских самолетов.

забираться в укрытие. Иногда же, когда сведения об этих самолетах запаздывали, то по радио вдруг начинала куковать кукушка. Это значило, что беги в укрытие сию же секунду, так как вражеские самолеты уже над городом.

Укрытиями в нашем лагере служили довольно узкие бетонированные щели-коридоры, по обеим сторонам которых имелись узкие скамьи для сиденья. В них горел электрический свет, но такой слабый, что читать можно было только под самой лампочкой. Налеты продолжались час-полтора, самолеты не только бросали бомбы, но иногда и какие-то горящие вещества. Бомбили обычно штатсбан, нередко с успехом, так что на следующий день движение на некоторых участках бывало на какое-то время прервано. Но ремонтировали его быстро. В нашем районе бомбы во время ночных бомбардировок падали довольно редко, но воздушной волной иногда расшатывало наши бараки. Я иной раз бывал настолько утомлен за день, что у меня не хватало сил идти в укрытие. И раза два я просыпался от сравнительно недалеких разрывов и над головой видел звездное небо...

По мере того как становилось холодней, в длинные вечера поневоле приходилось сидеть в бараке и ждать ночной бомбежки. Снаружи становилось все более промозгло и неуютно. Наши гуляки стали приводить своих подруг к нам в барак, не забывая, что согласно распоряжениям администрации они должны были уходить из лагеря не позже десяти часов. Проверяли нас, впрочем, очень редко. Однажды к нам снова пришел Вальк. Он был в обтрепанном суконном черном плаще, модном в начале века, до первой мировой войны. На голове у него была фетровая шляпа, в руке какая-то трость. Из-под плаща выглядывал иногда потрепанный и замусоленный костюм. Настоящий немец был бы в таком виде совершенно невозможен. Он был очень возбужден в этот вечер и все время требовал, чтобы ему говорили русские частушки. Я пробовал его уверить, что частушки больше помнят женщины (в этот вечер их с нами не было) и что за частушками надо идти в гражданские лагеря. Но он стоял на своем, пока наконец наш разухабистый лейтенантик Ваня не крикнул ему: «Ну ладно, доставай блокнот, записывай...» И он запел частушку — похабную и политически злую, которую мы от него уже не раз слышали. Никто, однако, не думал, что у него хватит нахальства предложить ее Вальку:

Эх калина, калина,
... стоит у Сталина.
Крупская заметила
И в блокнот отметила...

Вальк судорожно напрягал слух... «Как, как?» Кругом стоял хохот. Вальк все же достал какую-то засаленную тетрадку и все время переспрашивал, усердно записывал. Больше ему никто ничего не мог предложить. Хотя среди нас были и деревенские, был даже один председатель колхоза откуда-то из-под Ростова, но то ли они действительно ничего не помнили, то ли считали такую ерунду, как частушки, неинтересным делом.

Вальк неожиданно заявил, что хотел бы остаться у нас ночевать. Я понял, что этот несчастный человек кроме всего еще и бездомен. Но как было оставить его у нас против всяких правил ночевать? Пока мы ему это пытались втолковать, вошел дежурный трупфюрер и, обращаясь к Вальку, спросил его, кто он такой и как сюда попал. Вальк с большим достоинством ответил, что он военный переводчик.

«Военный переводчик?» Я делал трупфюреру знаки за спиной Валька, из которых должно было стать понятно, что это за человек. Трупфюрер, видимо, понял и, понизив голос, сказал: «Вы должны немедленно покинуть лагерь, у нас уже все ложатся спать» — и вышел из барака. Мы с Соколовым проводили несчастного Валька до ворот лагеря. Где он, горемыка, ночевал, один бог знает.

Другой раз у нас засиделись поздно женщины из соседнего гражданского лагеря. Не обошлось без технического спирта, и некоторые из наших оказались на порядочном взводе. В таком состоянии был и мой приятель Зайцев. Здесь же была и его жена, которую он еще недавно на все лады расхваливал. Но сегодня его внимание было занято весьма разбитной дебелой женщиной, которая и явилась-то к нам, как мне потом объяснили, имея виды именно на него. Она свободно держала себя за столом и со многими разговаривала, не лазя за словом в карман. Зайцев сидел напротив нее, рядом со мной, был очень доволен ее поведением и, подталкивая меня в бок, говорил вполголоса: «Видал б...»

Я было его урезонивал. Однако время шло, почти все женщины постепенно ушли, остались две или три, которым в столь позднее время уходить почему-то было неудобно, и среди них жена Зайцева. А он, все больше пьянея, стал ее выпроваживать — иди да иди прочь, нечего тебе здесь делать...

Она ударилась в слезы, стала его поносить: все, мол, вы здесь такие, предатели родины, только одних жидов спасти были горазды...

Я ее как мог успокоил и предложил лечь на мою койку. Зайцев к этому времени утомился и захрапел. Она тоже довольно быстро уснула после всех огорчений и тревожных волнений. Я, сколько мог, посидел у стола, а когда все улеглось, примостился на своей койке с самого ее края, чтобы не утеснить Зайцеву жену.

Утром стали просыпаться в обычное время. Мы все еще лежали, когда кто-то громко на весь барак закричал: «Зайцев, вставай, жену проспал...»

Зайцев отозвался степенно и довольно равнодушно: «То есть, как это проспал?» — «А ты погляди — она с Лев Андреевичем...» — «А, ну это ничего... Он парень видный, на племя пойдет...»

Смеху по этому поводу было немало, а я в зайцевском поведении почувствовал и ум и дружбу. Когда ему рассказали, как он вчера жену выгонял, — не поверил, а может прикинулся, что-де был без памяти пьяный.

Наступала зима 1944—1945 годов. Утрами бывало очень холодно и промозгло. Часто моросили дожди. Работать по утрам на воздухе было прескверно. Всякий норовил хоть на минуточку забежать в какой-нибудь из барakov. Несмотря на плохую погоду, а может быть, именно благодаря ей, участились дневные налеты. Их обычно производила американская авиация, большими эскадрильями, бомбившими с недостигаемой для немецкой зенитной артиллерии высоты какие-нибудь определенные районы города. В нашу сторону они не летали, и мы бывали равнодушными зрителями того, что происходило где-то довольно далеко от нас, так что самолетов не было видно вовсе, видны были только разрывы зенитных снарядов, да земля содрогалась от разрывов падавших на нее *Bombenteppich*'ов — «ковров-бомб», как называли этот способ бомбометания немцы. Состоял он в том, что все самолеты какого-либо звена сбрасывали одновременно свои бомбы по сигналу головного самолета на определенный квадрат. На этом квадрате происходили чрезвычайные разрушения (если еще было чему рушиться), а вокруг его на большое расстояние распространялась паника, вызванная землетрясением и громом. Мы обо всем этом могли судить преимущественно по рассказам. Обычно при таких утренних бомбардировках восточных и южных районов города нас даже не снимали с работы, настолько все это бывало далеко. Ночные бомбардировки затрагивали нас больше, отчасти вероятно потому, что, как оказалось, как раз в районе между Берлином и Потсдамом в лесистых и лишенных жилищ местах немцы устраи-

вали отвлекающие приманки для английских самолетов. Именно неподалеку от нас нередко интенсивно падали бомбы и фосфор.

Видимо из некоторого сочувствия ко мне, лагерное начальство определило меня в помощники к немцу, ведавшему двумя имевшимися в лагере банями. Антон — так звали моего нового шефа — оказался австрийцем, очень простым парнем, с которым мы быстро нашли общий язык. Немцев он не любил, но побаивался их и держал свои чувства в секрете. В минуты благодушия он мне говорил: «Du — gefangen, ich auch gefangen...»¹ Однажды, когда нам нужно было извлечь из кирпичной стены торчащий наружу кусок водопроводной трубы, мой Антон, взяв в руки тяжелый молоток, огляделся по сторонам, «spekulieren» (то есть «осмотреться») — произнес он и, убедившись в том, что поблизости никого нет, несколькими резкими ударами молотка перешиб трубу, упростив таким образом максимально нашу задачу...

На моей обязанности лежала преимущественно доставка к обеим баням угля и кокса, которыми топились банные печи. Работа эта не избавляла меня, однако, от разных авральных мероприятий и всяких спешных дел (например, разгрузки и погрузки автомашин, что-либо привозивших или увозивших из лагеря). После интенсивных бомбежек нас возили несколько раз на Рентген-штрассе в одно из центральных учреждений ОТ, где приходилось на тачках увозить со двора битый кирпич, предварительно разбивая кирками обломки обвалившихся стен. Для моих товарищей, занимавшихся подобным делом в этом месте не первый год (многие из них попали в Груневальд уже в 1942 году), такие поездки бывали сопряжены с бурной деятельностью по части воровства и торговли. После каждой бомбежки чем-нибудь да можно было и поживиться. Все мы хохотали до упаду, когда наш «председатель колхоза» с возможными только по-украински прибаутками и междометиями рассказывал о том, как он оделял немцев найденной после бомбежки колбасой. Во время разборки какого-то разрушенного складского помещения обнаружилось довольно большое количество раздавленной и перемешанной с битым кирпичом и цементом колбасы, на которую остервенело кинулись голодные немцы, и между ними завязалась драка. Наш «председатель» уморительно рассказывал, как он их разнимал, срамил, ставил в очередь и оделял поровну кусками драгоценной находки, не забыв, разумеется, и о себе...

¹Ты — пленный, я тоже пленный...

Недели через две после начала моих занятий с фон Сильман Руфь Карловна, как я стал ее называть по-русски, протянула мне театральный билет:

— Это на следующее воскресенье. У нас недавно отремонтировали разрушенную Государственную оперу, и там теперь происходят концерты. Исполняться будут вещи Бетховена и Рихарда Штрауса...

Я усомнился в том, что меня пустят в Оперу в моем костюме...

— Ach, Quatsch...¹ Костюм у нас не имеет значения. Впрочем, билет этот на третий ярус, там будет, вероятно, немало иностранцев, как вы.

— Но, может быть, вы сами пошли бы на этот концерт? Вряд ли теперь подобная возможность представляется часто?..

Она загадочно улыбнулась:

— У меня есть другой билет на этот же концерт...

И она объяснила мне, как проехать на Унтер ден Линден и как найти Оперу. Объяснения эти были излишни, потому что Оперу, в числе других берлинских достопримечательностей, мне уже показывал во время нашей прогулки по городу Дрегер. «Ты, конечно, матушка, сама-то будешь сидеть где-нибудь в партере», — подумал я. Каково же было мое удивление, когда, взобравшись на третий ярус, я увидел на соседнем месте Руфь Карловну. Покрысив и вспотев от удовольствия, я принялся разглядывать театральный зал. Это было похоже более всего на Мариинский театр. И все было отделано как следует. Никаких следов разрушений, ничего от военных ограничений, которые были бы вполне возможны, заметно не было. Концерт был замечательный. Он мне таким во всяком случае показался, потому что всё вокруг меня было больше от сна или от сказки, чем от живой реальности. «Я сижу в берлинской Опере? Да кто этому поверит? Расскажи об этом где бы то ни было, и никто тебе не поверит...»

Но эти мои восторженные чувства были прерваны неожиданным приступом начавшегося у меня кашля. Постоянное состояние простуды, с которым я свыкся и которое мало в чем проявлялось в обычной обстановке, здесь, в натопленном помещении, после того как я сильно разогрелся, возбудило этот кашель. «Какой ужас, — думал я, захлебываясь и конвульсивно сжимая горло. — Мало того, что я мешаю окружающим, Руфь Карловна меня,

¹Ах, вздор...

наверно, проклинает, как и саму несчастную мысль дать мне этот билет. Господи, что же делать?» И я приподнялся, чтобы выйти, хотя это тоже было бы сопряжено с неудобствами для соседей. И тут я почувствовал вдруг ее руку, усаживавшую меня на место...

— Дышите глубже, — сказала она мне шепотом.

Я последовал этому совету, и кашель действительно прекратился.

Возвращался я в лагерь вдвойне счастливый, не только от того, что побывал в Опере, а еще более — что приобрел такого удивительного друга, лишенного, по-видимому, каких бы то ни было предрассудков...

Мои занятия с Руфью Карловной продолжались своим порядком. Каждый субботний вечер я приезжал к ней и проводил у нее часа три, после чего она меня обязательно, несмотря ни на какие протесты с моей стороны, провожала до штатсбана. На занятиях она читала, писала под диктовку, рассказывала, учила наизусть коротенькие стихи. Необыкновенно прогрессировали и наши взаимные симпатии. Несмотря на это, мне сначала было очень непросто в ее доме. Например, мне ввиду моего ревматического состояния, обострявшегося работой на холоде в сырости, очень трудно было высидеть три часа, не воспользовавшись уборной. Но встать и отправиться на ее поиски или спросить ее об этом у меня не хватало простоты и, в конце концов, хорошего воспитания. Она вывела меня из этого затруднения сама, чем, во-первых, повергла в изумление и, во-вторых, еще больше к себе расположила.

После занятий мы каждый раз пили чай и немного разговаривали на посторонние темы. Эти разговоры всякий раз убеждали меня в ее необыкновенной разумности и интеллигентности. Провожая меня в абсолютной темноте (на углах улиц горели только очень слабенькие фонарики с синим светом), она брала меня под руку или позволяла мне вести ее, и я очень остро чувствовал ее симпатию, совершенно не сдерживаемую никакой чопорностью или стеснительностью. Чувство взаимной симпатии дополнялось и тем беспокойством друг о друге, какое мы испытывали оба и высказывали при расставании.

Постепенно я стал узнавать о ней разные вещи, делавшие ее для меня еще понятней и приятней. Она рассказала мне, что ее родители — совсем уже старые люди семидесяти с лишком лет — жили тут же в Берлине, и она у них часто бывала. Отец для получения

несколько большего, чем инвалидный, пайка работал в каком-то хозяйственном учреждении (кажется, чуть ли не на пивоваренном заводе), а мать занималась хозяйством, заботясь также и о ней.

— Мать не желает, чтобы я сама стирала. Она обижается, если я не приношу ей мои простыни. И несмотря на свои семьдесят лет, она всегда сама стирает все наше постельное белье...

О своем начальнике на работе она рассказала мне как о близком своем друге, которого она давно и очень сильно любила. Он, однако, женат и не хотел разрушать семью, хотя детей у него как будто бы и не было... Она рассказала мне о том, что дружба с этим человеком была для нее очень плодотворна. Он научил ее наблюдать и любить природу. Ее нынешнее отношение к окружающему в значительной мере выработалось под его влиянием. Она, однако, не бывает у них в доме, так как его жене было бы, вероятно, неприятно ее присутствие... Был у нее еще один друг, с которым она сблизилась перед самой войной, но он уже два года тому назад погиб на фронте.

Выяснилось, между прочим, что в ее доме на нижнем этаже живет русская семья — эмигранты времен революционных лет. Я очень удивился тому, что она искала себе помощника в изучении русского языка в лагерях, а не обратилась к соседям.

— Я понимаю, — сказала она, — что вы можете и должны нас ненавидеть... Мы ваши враги, причинившие вам много зла. Но мне неприятно и непонятно, за что ненавидят нас эти люди, живущие с нами уже больше двадцати лет, и которых мы кормим...

Действительно, мне уже и самому приходилось сталкиваться в Берлине со старыми эмигрантами — людьми обычно простыми, малоинтеллигентными, плохо усвоившими немецкий язык. Свою нелюбовь к немцам они обнаруживали с первых же слов...

Занятия наши начались в сентябре и не позже, чем через месяц после очередной субботы, Рута (она попросила меня называть ее просто по имени) при прощании обещала приехать в воскресенье во второй половине дня к нашему лагерю, с тем чтобы мы могли погулять с ней и с Василием Ивановичем, который по моим рассказам стал для нее интересен. Продолжала она интересоваться и Соколовым, к которому тоже в ее словах сквозила определенная симпатия. И после этого редкое воскресенье мы с ней не проводили вместе.

В первый раз мы с ней и с Василием Ивановичем погуляли по Груневальду. Я служил между ними переводчиком. Меня в этом

разговоре поразила его ужасная ограниченность — человек-то был с высшим образованием, — он как-то совершенно не мог понять, с кем имеет дело и как надо с ней говорить, несмотря на все мои рассказы, которые должны были его подготовить. Он то смущался, то обнаруживал неожиданную грубоватость, которую приходилось смягчать и затушевывать.

В следующее воскресенье мы втроем поехали в Потсдам и много ходили по дворцовым паркам. Погода была хорошая, ноябрьский день выдался очень теплый, все было голо, но как-то светло и прозрачно. Отсутствие листьев обнажило и подчеркивало архитектуру и скульптуру, которую там не закрывали на зиму, как в Ленинграде.

Несмотря на затруднения в языке, за эти поездки мы умудрились касаться таких всякого рода душевных тонкостей, что, казалось, были дружны и знакомы всегда. Между нами как-то ничего уже не стало такого, что могло держать нас друг от друга на расстоянии. Если в субботы она провожала неукоснительно меня, то в эти воскресные дни я довозил ее до Вильмерсдорфа. А во второй раз я отказался не выходя с вокзала ехать обратно, на чем она настояла первый раз, и пошел провожать ее до дому. А когда мы до него дошли, она сказала, что ни за что не позволит мне идти одному к вокзалу — так темно, что я могу заблудиться, — тут ведь несколько поворотов, и мы опять пошли в сторону штатсбана, крепко держась под руку и разговаривая такими полусловами, как могут только очень дружные и близкие люди. Когда мы расставались, я взял ее за руки и сказал, что не хочу уходить, что расставаться сейчас, в этой неверной, полной неожиданностей и страхов жизни, совершенно невозможно... «Я очень хочу поцеловать вас, — сказала она, — но боюсь, что это причинит вам еще большую боль».

И вот мы поцеловались, очень осторожно и боязливо — она по высказанной ею причине, а я больше всего на свете боялся, чтобы кто-нибудь этого не заметил. Поцелуи эти стали бы для нее роковыми...

Наших свиданий два раза в неделю по три, по четыре часа нам становилось мало. Иногда она разрешала мне появляться у нее на неделе, но такие возможности возникали очень редко — мешала ее занятость на работе, необходимость бывать у родителей, хозяйственные обязанности...

Тогда она сказала мне, что мы можем с ней еще и переписываться, но что писать я должен ей не домой, а на работу. Адрес,

который она мне дала, был адресом военного штаба, что привело меня в немалое смущение: «Hoffentlich treiben Sie keine Spionage?»¹ — спросил я ее полушутя. Она засмеялась: «O, bleiben Sie doch ruhig...»² Если уж я могу с вами встречаться, значит на этот счет все в порядке...»

Мы условились, что мои письма будут писаны по-немецки, ее — по-русски. Она будет исправлять мои ошибки, я — ее. Такими письмами мы обменивались раза два-три в неделю.

Я очень быстро проникся такой к ней любовью, так тосковал по ней и тянулся к ней, что не выдерживал, и нет-нет да и делал ей какие-нибудь упреки в том смысле, что она, вероятно, обо мне мало думает и тому подобное... Иногда она не выдерживала и отвечала (на этот раз на немецком языке) такими сногшибательными признаниями (в том смысле, что она только обо мне, дура, и думает), что я совершенно таял, совершенно выходил из себя от радости и ругал себя ругательно за невыдержанность и подозрительность.

В одно из воскресений Василий Иванович под каким-то предлогом от нас отстал, и мы с ней гуляли вдвоем: ходили по окрестностям Груневальда, любовались архитектурой, заглядывали через заборы в парки, иногда довольно большие, где бродили олени, косули и другие редкие животные. Рута объяснила мне, что по военному времени многие собственники участков разводили на них кроликов, которые очень быстро дичали — настолько, что за ними надо было потом охотиться с ружьем в руках.

Рута удивлялась во мне разным, с моей точки зрения совершенно обыденным вещам. Например, она была удивлена, когда я в ответ на вопрос — почему под сосной валяются чешуйки шишек — объяснил это деятельностью белок. Не менее она удивлялась, когда я опознал с детства известный мне и вообще широко известный голубенький цветок как цикорий. Она говорила, что среди немцев-горожан такие познания редки.

Как-то она меня попросила, чтобы я в письмах писал что-нибудь о специфически русских вещах. Я описал, разумеется, далеко не очень квалифицированно, как в деревне плотники строят деревянный дом. Это письмо она показывала своему шефу и еще кому-то, и все поражались моим познаниям в технике обработки дерева и деревянного строительства.

¹Надеюсь, вы не занимаетесь шпионажем?

²Будьте же спокойны...

Наша переписка едва не ввергла нас в большую беду. То, что произошло, кончилось ничем, но могло кончиться и весьма трагически. Одно из моих писем заинтересовало гитлеровскую службу безопасности. Как выяснилось потом, Рута сразу же поняла, не получив вовремя одного моего письма, что оно задержано, но не обратила на это моего внимания, чтобы не причинить мне напрасной тревоги: помочь все равно ничем нельзя, а может быть, все еще и обойдется. Но сама она волновалась чрезвычайно. Однажды при моем обычном визите, проведя меня в свою комнату, она бессильно опустила на стул... «Что с вами, Рутынька?..»

— Теперь я вам могу все рассказать: одно из ваших писем не пришло. Так как у нас письма не пропадают, я поняла, что «они» его задержали. Я ужасно испугалась за вашу да и за мою судьбу. Но вот через месяц оно наконец пришло. И на нем, чтобы не было никаких сомнений, стоит штамп СС. «Они», видимо, собрали необходимые им сведения о вас и не сочли вас подозрительной личностью. Теперь-то уж можно не волноваться за нашу переписку..

На лице ее было написано удовлетворение, смешанное с остатками большого душевного волнения, которое она больше не должна была скрывать. А я думал о том, что у нас, в особенности в военной обстановке, если бы какое-нибудь письмо вызвало подозрение у соответствующих инстанций, то автора этого письма прежде всего бы арестовали, а потом уже стали бы разбираться...

Рута поражалась также и моими познаниями в области немецкой литературы, хотя они были, разумеется, достаточно случайны. Когда я однажды, тоже совершенно случайно, упомянул об одном старом поэте, писавшем на аллеманском диалекте — Фрице Ройтере, она была очень удивлена моему знакомству с этим именем — его знает очень мало кто из немцев, а из тех, кто знает, также лишь немногие понимают.

Однажды я вогнал ее в краску. Мы сидели в каком-то маленьком загородном виртхаузе, где нам без карточек была предложена вареная картошка на каком-то животном жире, которую мы с большим аппетитом уничтожали под звуки радио-репродуктора, висевшего в зале. «Послушайте, — сказала Рута, — это очень хорошая старая народная песня». Исполнялась «Röslein auf der Weide»¹. «Я слышу, — ответил я, — только это не народная песня, а Гёте...»

¹ Стихотворение Гёте «Дикая розочка», ставшее народной песней.

Становилось все холодней и холодней. В декабре — и это было в районе Берлина большой редкостью — морозы достигали иногда -20° . Водоемы замерзли. Рута водила меня на берега небольших озер, где жили круглый год оберегаемые законом дикие утки. И мы видели, как на замерзшем озерке, в нескольких маленьких полыньях, плавали утки, своим движением не давая воде замерзнуть. Когда мы в следующее воскресенье пришли к одному из этих же озер, полыньи замерзли, а уток не было. «Куда же они девались?» — спросил я. «Перелетели куда-нибудь немного поюжнее или западней, к свободной воде...»

Гуляючи, я много читал Руте стихов — немецких, французских и русских. Она с удовольствием слушала Гейне, который был запрещен в Третьем рейхе и поэтому мало известен даже интеллигентным людям. Прогулки эти были так хороши, так радостны, наполняли меня таким теплом и миром, что, возвращаясь к себе в лагерь, я так же долго не мог войти в колею, как перед этим два года по возвращении из Юрасова в Яхонтово или в поселок Долгий...

Нередко мы разговаривали с ней и на политические темы — о войне, о национальной вражде, о предстоящем мире, который ощущался уже не за такими горами... Разумеется, оборот военных действий поубавил гонору и открыл глаза на многое даже и менее интеллигентным немцам. Рута не выказывала себя националистской ни в коей мере, гитлеризм был для нее ужасен — это сказывалось во всем — и тем не менее — таков уж был, видно, их общий психологический строй под некоторым произвольным влиянием нацистских идей — приходилось наталкиваться на довольно характерные суждения. Рута уверяла меня, например, что немцы действительно не могут жить вместе с евреями, так как у них совершенно разные психологии, абсолютно различное отношение к вещам. «Я служила, — рассказывала она, — одно время в довольно богатом еврейском семействе гувернанткой. Моя хозяйка целые дни преимущественно лежала на диване. Это было такое непонятное для меня и неприятное зрелище...»

Она считала, вероятно, что стремление к горизонтальному положению являлось еврейской национальной чертой...

Как-то я рассказал ей о прочитанном мной в одном из русских дореволюционных журналов очерке — как немцы уничтожали бушменов в Африке. Она пришла в страшное возмущение: «Этого не могло быть — это несомненно написал какой-нибудь еврей...»

Однажды нам было особенно хорошо и беззаботно во время такой зимней воскресной прогулки. Мы ехали с ней сначала не-

долго по железной дороге, в маленьком вагончике, наполненном скромно одетыми обывателями, на лицах которых лежала вся тяжесть пережитых ими военных лет. Наши непосредственные соседи заинтересовались тем, куда мы едем. Рута назвала пункт, куда, как она говорила, они со своим другом нередко ездили до войны. Название это вызвало неожиданную и немного грустную улыбку у сидевшей напротив женщины: «Kirschen holen, Kirschen holen» — шутливо проговорила она. Место это славилось в довоенное время вишнями...

Потом мы ходили по каким-то совершенно безлюдным дорогам и чувствовали себя абсолютно вне угнетавшей и давившей на сознание действительности. Я во весь голос распевал всякие старые русские песни, какие приходили мне в голову, а Рута с большим интересом все это слушала. Потом она вдруг сказала:

— Знаете, сначала мне казалось, что вы еврей...

Вся кровь бросилась мне в лицо. Это было как ушат холодной воды. Я взбеленился.

— Ну и что же? Что если я в самом деле еврей?

— Ничего, — серьезно и грустно ответила она. — Я бы любила вас совершенно так же.

Все-таки эти немцы то именно, что называется у них *dreiviertelkorps*¹. Вот уж кто действительно не способен жить без евреев, если не реальных, то хотя бы вымышленных... Рута смеялась.

Как она ни старалась скрыть от меня, что, в сущности, очень голодает, но в конце концов этого уже нельзя было не заметить. Хотя она к моему приходу приносила всегда хоть немного чего-нибудь вкусного, но однажды она предложила мне разделить с ней порцию супа, который ей удалось где-то раздобыть «дополнительно». Когда я наотрез отказался, она тут же с жадностью его съела, а супчик, даже по сравнению с нашим лагерным, был весьма незavidным.

Я тогда тоже начал приносить для нее что-нибудь из перепавших нам с Василием Ивановичем деликатесов: то маленькую баночку искусственного меда, то кусочек маргарина, то просто немного сахара. Василий Иванович быстро заметил, что я припасую такие вещи, которые и уношу с собой, отправляясь на урок, и стал мне помогать в этом из сочувствия к Руте. Она сначала

¹ Буквально «голова на три четверти»; здесь — дурак.

пыталась отказываться от моих приношений, но вскоре смирилась — голод есть голод...

Однажды нас — человек пять — послали в какой-то из соседних домов на ликвидацию последствий бомбежки. После работы хозяйка дома спросила меня, чем бы она могла отблагодарить нас. Я сказал ей, что она могла бы, может быть, дать какой-нибудь еды моим товарищам. «А вам?» — «А мне, пожалуйста, ничего не нужно...»

Она вынесла каждому из ребят по хорошему бутерброду, а мне дала два яблока, от которых я, думая о Руте, не в состоянии был отказаться. Действительно, для нее это был настоящий праздник. Каждое из этих яблок она пережила по отдельности...

В конце зимы в доме у них перестали топить, и она очень мерзла, больше, вероятно, от голода, чем от реального холода, так как морозов-то в сущности не было — стояла сырая, очень промозглая погода, ощущавшаяся как холодная главным образом при длительном пребывании на воздухе.

Но чувство, что Рута мерзнет, мне не давало покоя. Я спросил наших электриков — не смогли ли бы они смастерить маленькую электрическую плитку. И пообещал им за это все скопившиеся у меня, после того как я уже месяца два как бросил курить, пайковые папиросы — около полусотни — и обещал отдавать все, что буду получать впредь. И вскоре плитка была готова. Рута уже знала о ней заранее и очень ее ждала. Она называла ее «теплушка», полагая, что это очень изысканное русское слово точнее всего к ней подходит. А я ее не разочаровывал. Теплушка так теплушка. Ток еще, слава богу, был, и когда плитка стояла рядом, то тепло, исходившее от нее, ощущалось достаточно благотворно.

Однажды во время наших занятий прозвучал сигнал воздушной тревоги. Рута заволновалась. «Мы пойдем в наше домашнее бомбоубежище, — сказала она. — Я вообще поклялась себе никогда больше не ходить в бомбоубежища после того, как в прошлом году была засыпана в подвале на прежней квартире, и мы там едва не задохнулись, покуда нас откапывали. Но вас я не имею права подвергать риску.. Надо только предупредить фрау Рихтер... Хозяйева уехали в деревню».

Я уже не первый раз слышал имя этой фрау Рихтер. Рута ей, видимо, не очень симпатизировала. Но мне как-то неудобно было расспрашивать... И вот теперь мы подошли с Рутой к одной из дверей в большой комнате, соседней с прихожей, и Рута постучала.

Ответило звонкое отчетливое «herein, bitte»¹. В комнате с глухо занавешенными окнами было темно, только на столике горела лампа с плотным абажуром. Были слышны звуки радио. «Фрау Рихтер, воздушная тревога, мы с господином Ельницким идем в убежище — может быть, и вы тоже...»

Не отвечая на вопрос, соседка быстро спросила: «Не можете ли вы мне помочь, я не совсем понимаю, что они там говорят...» Она показала на приемник. Рута сделала нетерпеливое движение плечами, а я прислушался. Это был русский голос. Через несколько секунд смысл был уже ясен...

— Они говорят, что советские войска вышли на Одер и город Франкфурт находится под ударом...

— О, они уже на Одере... — произнесла фрау Рихтер несколько мечтательно и с широко открытыми глазами.

Потом она быстро добавила:

— Идите, идите, я вас догоню...

Когда мы спустились в подвал, там уже находилось, видимо, все не очень многочисленное население дома. Нас встретила испытующим взглядом пожилая женщина небольшого роста, со сморщенным неприятным лицом и с медицинской сумкой с крестом через плечо. «Со мною служащий ОТ, которого у нас застала тревога», — пояснила Рута.

«В соседнем отделении много свободных мест», — ответила женщина. В это время открылась дверь, в пролете которой показалась фигура фрау Рихтер с небольшим чемоданчиком в руке. И в тот же момент раздался близкий разрыв. В дверь бросило пыль и щебень. Фрау Рихтер ее за собой тщетно старалась захлопнуть. «Фрау Рихтер, — подчеркнуто неприязненно произнесла женщина с сумкой, — вы, конечно, можете вовсе не приходить, но если уж вы приходите, то должны являться вовремя...»

Фрау Рихтер ей ничего не ответила и пошла за нами в соседнее помещение. Мы сели. И тут только я ее впервые рассмотрел. У нее было довольно молодое, красивое и энергичное лицо. Из-под короткого пальто выглядывали брюки (женская мода на брюки появилась в Германии в военное время и тогда же перекинулась в Россию, а до этого женщины у нас носили только спортивные шаровары лыжного типа). На голове у нее был повязан платочек с узлом под подбородком на русский крестьянский манер.

¹ Войдите пожалуйста.

Вскоре был дан отбой. Когда мы вернулись в дом, я прямо спросил Руту, кто такая фрау Рихтер и что она о ней думает. «Она художница, — ответила Рута. — Муж ее, кажется, погиб на фронте... Впрочем, я не знаю... Мне не симпатична резко выраженная партийность, — вдруг сказала Рута. — Ни нацистская, ни какая другая...» Я не продолжал расспросов. Мне и так многое стало понятно из этой не очень членораздельной характеристики. «Она коммунистка, — подумал я. — Вот как интересно...»

После одного из особенно сильных американских налетов я испытал почему-то особенно острое беспокойство за Руту. Я обычно звонил после больших налетов, чтобы убедиться в том, что она жива и дом еще стоит по-прежнему... Но тут соединения не происходило. Видимо, был поврежден телефонный узел. Я отпросился у лагерного начальства, прямо сказав, что я испытываю беспокойство о Fräulein Sielmann. Меня не удерживали, и я побежал пешком через город, на улицах которого в этот час людей было больше обычного, так как никакой транспорт не действовал. Пробираться приходилось местами как в диких горах — до того бомбежка переворошила и раскидала и без того уже битый кирпич и бетон...

На Бабельсбергерштрассе все было относительно в прежнем состоянии. К счастью, и Рута была дома. Но на щеке у нее была довольно большая и глубокая ссадина, придававшая ее лицу какую-то особую скорбную прелесть. Эта ссадина шла ей, как стигматы Христу. Я было поднял крик, но она меня урезонила: ничего не произошло. Она пострадала не дома, а на работе, упав с какой-то поврежденной бомбежкой лестницы...

— Надо сделать перевязку...

— Ничего не надо: солнце и воздух — лучшие лекарства...

Она ругала меня за то, что я бежал к ней пешком по городу, но мы оба не могли скрыть друг от друга глубокой радости от этой внеочередной встречи...

Как-то явился в лагерь весьма оживленный Соколов и заявил: «А я встретил ваших знакомых...» Встреча произошла в каком-то центре для эвакуированных русских гражданских лиц, куда Соколова занесло неведомыми путями. Знакомые оказались людьми, хотя мне и довольно хорошо известными, но виденными вообще очень мало. «Там оказались два археолога, муж и жена, — рассказывал мне Соколов. — Я им тут же сказал, что у нас в лагере тоже есть один археолог — Ельницкий. «А, это москвич», — сказали мне они. Взяли у меня адрес лагеря и обещали приехать в гости».

Я посетовал на Соколова за то, что он не записал их адреса. «Ничего, — сказал он обнадеживающе. — Если не придут, мы найдем их через это учреждение».

У нас до войны было не так много археологов. Как я сразу же и подумал, это оказались дочь старого и довольно хорошо мне знакомого археолога Ю.Ю.Мартынова¹ и ее муж, который, собственно, не был настоящим археологом, но работал в Керченском музее. Я их видел обоих перед самой войной в Москве, в Историческом музее, куда они приезжали в командировку. Я что-то во время их пребывания был не то в отпуску, то ли просто очень занят, так что почти с ними не виделся и не разговаривал. А в еще более ранние времена дочь Мартынова была для меня совсем юной девушкой, мелькавшей иногда перед моими глазами во дворе их музея или в доме у Юлия Юльевича.

Они появились очень скоро, дня через два. Он выглядел почти стариком лет шестидесяти, хотя и держался бодро, а она была еще молода, хороша собой, немного даже кокетлива. Вид у нее, впрочем, был довольно утомленный. Когда меня вызвали к воротам лагеря, они стояли передо мной как призраки другого мира, в обычном гражданском платье, как какие-то мирные путешественники.

— Здравствуйте, Алла Юльевна, вот где бог привел встретиться. Заходите, пожалуйста...

Она познакомила меня с мужем («Вы ведь его, наверно, не помните?»), и я повел их в барак, где они стали предметом внимания не только Василия Ивановича, но и других, кто был любопытней из нашей компании. Выяснилось, что они еще до эвакуации их города выехали в Германию. Обретались сначала где-то на Украине и в Польше. В Берлине жили уже не первый месяц в ожидании какого-либо распределения и назначения куда-либо на более постоянное место и на работу. Один из вариантов — была возможность поселения в Висбадене у Райнерта. Они очень обрадовались, узнав, что и я писал Райнерту с просьбой взять меня к себе, и заявили, что мы поедem к нему все вместе. Жили они в гостинице и очень звали к себе в гости. И я навещал их в этой гостинице раза два.

Гостиниц даже в разрушенном городе было очень много. Без преувеличения можно сказать, что в Берлине каждый десятый дом — отель. Комната, которую они занимали, была заставлена

¹ Имеется в виду Ю.Ю.Мартин, археолог, директор Керченского музея.

двумя огромными двухспальными кроватями. Больше в ней почти ничего и не помещалось. Это, видимо, была лишь спальня какого-то большого двухкомнатного номера, обращенная теперь в самостоятельный отдельный номер. В окнах же вместо стекол была вставлена фанера и картон. Но все равно мне казалось замечательным пожить хотя бы недолго в такой гостинице, понежиться на таких необыкновенных постелях, после стольких лет спанья на земле, на досках, в лучшем случае на соломе...

И они еще несколько раз приезжали ко мне в Груневальд, привязавшись не только ко мне, но и к Василию Ивановичу. Мы гуляли несколько раз по окрестностям, причем Алла Юльевна приводила своими детски-хулиганскими выходками в величайшее смущение и негодование своего мужа: то она передразнит какого-нибудь постороннего человека, так что это могло бы быть для него и заметно, то обломает со свисающего над изгородью куста какую-нибудь понравившуюся ей ветку. Будучи замечена хозяевами, она должна была бы навлечь на себя их справедливый гнев. Муж ее приходил от всего этого в величайшее отчаяние, которое я склонен был вполне разделить. Замечая это, он апеллировал ко мне: «Ну, пожалуйста, ну, может быть, хоть вы сумеете внушить ей, насколько ее поведение бестактно и невозможно...»

А она, точно в ней сидел какой-то бесенок, видя, как это нас шокирует, нарочно выкидывала подобные фокусы.

Через некоторое время их перевели в Дрезден. Оттуда приходили грустные письма с сожалениями по поводу нашей разлуки. Одно из писем содержало горчайший вопль о том, что им пришлось пережить во время знаменитой бомбардировки Дрездена англичанами, когда этот чудесный город-музей, не имевший даже бомбоубежищ, — настолько немцы были уверены в том, что его никто не решится бомбить, — был совершенно разрушен с очень большими человеческими жертвами. В Дрездене, как и в Потсдаме, было сосредоточено очень много военных учреждений. Мои друзья уцелели. В последнем письме они сообщали мне, что пришел, наконец, долгожданный вызов от Райнерта и они уезжают куда-то на юго-запад Германии. Больше нам не суждено было свидеться. Перед отъездом в Дрезден при нашем прощании Алла Юльевна сказала мне: «Пожалуйста, если вы вернетесь на родину, — для меня это невозможно — передайте то, что вы обо мне знаете, моему отцу...» Я обещал ей это, но в то же время сказал, что ей, как женщине, может быть, легче будет пережить эту войну, конец которой, несомненно, не за горами... «Все равно я не смогу вернуться домой. Мы приняли не-

давно немецкое подданство. Для меня, как для дочери немца, и для моего мужа это не составило затруднений... Раз уж мы ушли из дому к немцам, мы должны теперь разделить их судьбу...»

Я, хоть и совсем не надеялся на возвращение домой, предвидя еще какие угодно ужасные перипетии, понял в тот момент, что ей-то уж во всяком случае никогда не будет возврата. Я подумал при этом об определенной последовательности их действий. Мне представлялся этот их шаг совершенно честным и даже смелым — в этот момент он не обещал никаких льгот. Но этим они для себя навсегда решили вопрос о родине, отказавшись от прошлого, бывшего для них, очевидно, чересчур горьким...

С куревом, что ни дальше, то становилось трудней. В лагере Груневальд нам выдавали от времени до времени какие-то очень скверные папиросы, специально рассчитанные на русских, так как немцы папирос не курят. Как они ни были плохи, главная беда заключалась все-таки не в этом, а в том, что давали их ужасно мало. Чтобы растянуть их от выдачи до выдачи, нужно было бы курить не больше двух папиросок в день. А их прежде всего трудно было бы на этот срок сохранить — настолько легко высыпалось из них содержимое, символизировавшее табак. Я курил бог знает что — сушил всякого рода ботву, собирал сухой древесный лист, перетирал все это и смешивал с небольшим количеством золы из подобранных окурков. Наконец, к концу зимы даже и листьев сухих не стало. Подбирал я уже какой-то совершенный перегной и все-таки мастерил из него подобие какого-то курева.

Сидя однажды в бараке у стола за этим занятием, я обратил внимание на то, с каким сочувственно-снисходительным видом наблюдает за мной один из наших. Это был единственный у нас человек моего возраста, из донских казаков, очень спокойный и не курящий. И меня вдруг разобрал стыд и одновременно ужасное зло на самого себя: «Как можно, действительно, быть до такой степени рабом этой отвратительной привычки?» Я с ужасным раздражением шарахнул рукой со стола жестянку, в которой изготовлял мое курево. «Все. Ко всем чертям. Больше я не курю. Все равно ведь это не курение, а совершеннейший самообман...»

Рута не только одобрила мое решение бросить курить, но заявила, что и она больше курить не будет, чтобы не вводить меня в соблазн и избавить себя самое от необходимости раздобывать сигареты. Женщины в Германии курева по карточкам получали гораздо меньше, чем мужчины.

Бросить курить нам обоим не составило большого труда. Руте — потому что она курила, в общем, немного и такой настоящей потребности, как у завязых курильщиков, у нее все-таки не было. Я же за время курения всяческой ерунды значительно отвык от никотина. У меня оставалась в сущности одна только потребность пускать вонючий и едкий дым...

Незадолго до нашего расставания Рута сказала, что ей необходимо поехать в Ванзее — попрощаться с сестрой, так как они, очевидно, вскоре должны будут расстаться. Поехали мы вечером. Я ждал ее на перроне вокзала штатсбана в Груневальде. В Ванзее на улицах была абсолютная темнотища. Рута хорошо знала дорогу, которую иногда освещала (если на пути попадались деревья или какие-либо другие препятствия) электрическим фонариком. Своих родных или друзей, у которых жила ее сестра, она называла Давидзоны.

— Давидзон у нас в России непременно еврейская фамилия...

— Они между тем проверены (*sie sind aber geprüft*)...

Меня поразило несколько, что хотя я и произнес мою тираду совершенно шутливым тоном, в Рутином ответе почувствовалась некоторая озабоченность и, во всяком случае, серьезность... «Как все-таки сильна соответствующая инерция в немцах», — подумал я.

Мы вошли в очень просто и с большим вкусом обставленную квартиру. Рутин сестра оказалась совсем на нее не похожа — яркая, очень красивая брюнетка. Здесь же находился еще и человек в форме морского офицера, сразу же завладевший разговором и проявивший понятный интерес ко мне. Понятный, потому что русские обстоятельства должны были волновать его теперь больше, чем когда-либо. Вопросы его касались более того, как, по моему мнению, русские должны поступить в таком-то или в другом случае... Держался он со мной довольно просто и непринужденно. Однако, предложив мне закурить, он, не дожидаясь ответа, вынул сигарету из портсигара собственными пальцами. А так как мой отказ прозвучал только уже после этого жеста, то Рута, а вероятно и ее сестра, поняли его как протест против подобной невежливости. Чувство это отразилось на их лицах, а Рута, когда мы с ней снова оказались на улице, даже выразила свое негодование по этому поводу: «Какой невежа... Этих сверхчеловеков, кажется, никакие обстоятельства не обратят к разуму...» Я смеялся.

— Ты же знаешь, Рутынька, что я больше не курю. Поэтому только я и отказался. Можешь себе представить, что если бы мне хо-

телось курить, я бы не обратил никакого внимания на то, как это подношение сигареты было оформлено... Собирал же я окурки...

— Слава богу, что ты больше не куришь...

Морской офицер говорил о том, что он ждет какого-то назначения со дня на день. Странновато мне было смотреть на этого молодого, прекрасно выглядевшего человека, в такой момент спокойно и довольно благодушно сидящего дома.

— А пороху-то он, видно, вовсе не нюхал?

— Нет, что ты. У него огромные связи, всю войну просидел где-то здесь в штабе...

Расстались мы с Рутой на том же вокзале в Груневальде. Было уже так поздно, что о провожании думать не приходилось...

После того, как из немецких источников тоже стало известно о выходе нашей армии на берег Одера, началась быстрая эвакуация Берлина. Высадившиеся перед этим во Франции американцы, довольно долго державшиеся атлантического побережья, тоже вдруг стали довольно быстро продвигаться вперед. Рута сообщила мне, что их учреждение эвакуируют в Лейпциг. Перед этим она должна была отправить своих родителей куда-то на юго-запад, чтобы они по возможности не оказались в русской зоне оккупации. Русских немцы боялись панически, и перед приходом наших войск все уходило на запад. Так было, по крайней мере, до сих пор. Но куда же и как бежать, когда наступление становилось таким стремительным?

Рута попросила меня помочь ей эвакуировать родителей и договорилась об этом с нашей лагерной администрацией. Меня отпустили с утра, и, заехав к ней, я впервые (и единственный, впрочем, раз) отправился вместе с ней к ее родителям. Наше знакомство состоялось в день их отъезда. Они были довольно бодры. Отец ее — высокий и очень стройный, несмотря на глубокий старческий возраст, человек — даже шутил и говорил на посторонние темы.

Все необходимое было собрано к нашему с Рутой приходу, и мы вышли оттуда, нагруженные их вещами. Я с двумя большими чемоданами в руках. Несколько раз на нашем пути к штатсбану из разных дверей и окон высывались люди и предлагали очень любезно тележку или тачку для перевозки вещей. Мы с благодарностью отказывались: потом эту тележку пришлось бы возвращать обратно, а у нас уже не было для этого времени. Состав для эвакуируемых, стоявший на какой-то из станций штатсбана,

был набит битком. Нам с Рутой с большим трудом удалось втиснуть несчастных стариков на площадку вагона. Чемоданы у меня предупредительно приняли внутрь вагона через окно. Какой-то последний предмет, находившийся у Руты в руках, я передал ее матери уже на ходу поезда...

После этого мы поехали к Руте на пустую ее квартиру. Рута должна была уехать на следующее утро, и мы решили не расставаться в эту нашу последнюю ночь — будь что будет... Она была довольно возбуждена, но тоже способна еще и шутить. Когда мы ехали с ней в штатсбане — я с ее чемоданом — кто-то тихонько сказал, глядя на меня: «OT haut schon ab...» (т.е. «ОТ уже сматывается»). Она услышала эти слова и тут же передала мне их с ноткой иронии в голосе.

По приходе домой мы принялись упаковывать ее вещи. Она стала бледна и как-то сразу очень рассеяна. Не знала, что и во что упаковывать:

— Мой отец, — сказала она задумчиво, — где-то оставил для меня веревку — не для того, чтобы повеситься...

— Рутынька, милая Рутынька, не надо, пожалуйста, так даже шутить. На твоём попечении старики, и меня ты должна любить хоть немного...

Мы не раз уже и раньше переходили моментами на «ты». Когда все было упаковано, она оставила неувязанной только постель: «Я должна поспать хоть недолго, — сказала она, — завтра будет очень трудный день. Ложись вместе со мной, — сказала она совсем просто, — тебе ведь после проводов придется весь день работать...» Я очень немного мог снять с себя, после чего лег с нею рядом. «Рутынька, — сказал я ей, — может быть, ты хочешь, чтобы мы с тобой сегодня совсем сблизились?» — «Я очень этого хочу, — ответила она, — но моя мать умерла бы от горя, если бы у меня родился внебрачный ребенок...»

Спать я не мог и поэтому, полежав еще немного, поднялся и сел за столик, у которого мы с ней так хорошо занимались русским языком. Она вскоре уснула. Я некоторое время наблюдал ее спящую, покуда и сам не задремал сидя, положив голову на руки.

Вышли мы с ней еще в темноте, а на рассвете высадились на какой-то станции У-бана (метро). «Дальше не нужно. Отсюда я все донесу сама». Прочтя недовольство в моих глазах, она добавила: «Мне помогут». Спорить не приходилось. Мы попрощались отсутствующе и растерянно, с тем чтобы никогда больше не встречаться. Но вскоре я из Лейпцига получил от нее письмо. Она писала в нем всякий вздор: что живет бездумно и шумно в каком-то

большом общежитии и спит на полу; что сослуживцы заставили ее изменить прическу; что родители где-то и как-то устроились и она уже получила от них письмо... Писала она и о том, что снова начала курить: в такой обстановке у нее не хватило силы противостоять соблазну в окружении всех куривших сослуживцев. Надо сказать, что в Германии в те времена легче было встретить некурящего мужчину, чем некурящую женщину. Рута, впрочем, курила немного, но, видимо, в то время сигарета сделалась ее единственным утешением.

По отъезде своих родителей и перед своим собственным отъездом Рута, передавая мне сверток, сказала: «Это костюм моего отца. Он очень просил вас принять его от него... События развиваются так, что вам в скором времени может понадобится гражданское платье...» Отказываться в тот момент было бы бессмысленно. Руте все равно нечего было бы с ним делать, и я его взял. Василий Иванович, узнав об этом подарке, со своей стороны подарил мне какой-то старенький плащ, пальто и шляпу. Все это я тоже взял без особых разговоров. Мне представлялось, что спорить обо всем этом в тот момент, когда надвигались очень грозные события, было бы ни к чему. Но Василий Иванович однажды очень настойчиво попросил меня надеть на себя все это гражданское платье и пойти с ним в нем погулять. Я очень неохотно исполнил его просьбу. Мы оделись и вылезли в дыру в лагерном заборе, как делали нередко. Не успели мы отойти от лагеря и двух шагов, как сзади раздался резкий окрик: «Кто такие, куда и откуда идете?» Время было уже вечернее, наступали сумерки. Кричал человек тоже в гражданском платье, его сопровождал второй, одетый как и он, и вид у обоих был довольно недвусмысленный — тайная полиция, гестапо. Я объяснил, кто мы такие и куда направляемся. «Вернитесь немедленно в ваш лагерь!» Мы с позором поворотили оглобли.

— Чтобы я когда-нибудь еще нацепил эту проклятую цивильную одежду... Когда я хожу в моем пленном мундире, всякий видит сразу, кто я такой, и никогда на меня не кричат и не задерживают...

— Чепуха, — сказал Василий Иванович. — Просто они уже и тени своей теперь боятся.

Мне было очень тоскливо и скучно без Руты. В какое-то из ближайших воскресений я почти сомнамбулически поехал в город, пришел на Бабельсбергерштрассе и позвонил в дверь. Отворила мне фрау Рихтер. Я извинился за внезапное вторжение и

спросил, не могу ли я ей быть чем-нибудь полезен. Она стала приглашать меня войти, но я воспротивился и сказал, что не хочу ее компрометировать. Тогда она вызвалась меня проводить. Мы вышли на улицу. Она с места в карьер стала меня упрекать в отрыве от жизни, в приверженности ко всяким древностям в наши времена. Я ответил ей, что увлекался в свое время и современностью и даже политикой, но разочаровался. «Думаю, — сказал я, — что на моем месте и с вами произошло бы то же самое. Особенный ужас меня охватывает теперь, когда я вижу, что война по какому-то страшному недоразумению происходит между политическими силами, совершенно подобными одна другой... Даже и методы в общем одни и те же». Она засмеялась. «У меня есть знакомый, который сидел перед войной у вас в тюрьме. Потом его выпустили и выслали сюда... Он говорит, что у вас там в тюрьмах бьют, но дают говорить, а у нас бьют без разговоров...»

Когда мы с ней расставались, она поблагодарила меня за предложенную помощь и сказала, что, может быть, ей придется ею воспользоваться, но она еще не знает, когда точно. Она попросила меня позвонить ей через неделю по телефону. «Вам ведь известен номер нашего телефона?» — спросила она не без некоторого кокетства.

С отъездом Руты я совершенно не знал, куда себя девать. Времени свободного у меня было хоть отбавляй, но заняться чем-нибудь путным не представлялось возможным — читать было почти так же нечего, как и в бытность мою на орловской дороге. Пробавлялся я, главным образом, газетами — немецкими и немецко-русскими. И те и другие как предмет любознательного чтения были очень бессодержательны.

В том доме по соседству с нашим лагерем, где мы некоторое время тому назад работали по ликвидации последствий бомбардировки, я углядел в одной из полупустых комнат большую полку с книгами, а среди них «Philosophie der Geschichte»¹ Гегеля. Тогда я не решился ее попросить, да и читать-то такую книгу мне, собственно говоря, было некогда, а теперь я о ней вспомнил и решил попросить на пару дней. Хозяйка была несколько смущена моей просьбой: книги принадлежат человеку, находящемуся на фронте. Она считает неудобным распоряжаться его добром... Я заверил ее, что беру книгу только на пять дней, а для верности сообщил ей, что ее сосед, по имени Антон, служит в нашем лагере. В случае чего она будет иметь возможность востребовать книгу

¹ «Философия истории».

через него. Она не устояла перед моей настойчивостью, и книгу я получил. Когда-то я пытался читать ее по-русски, но у меня мало что осталось в голове. И я думал, что вот теперь я восстановлю хоть что-нибудь в памяти, а что-то, вероятно, почерпну и вновь. Но, увы, сосредоточиться на такой головоломной вещи, как книга Гегеля, в тогдашних моих условиях было очень трудно. Я честно усаживался за нее каждый день, но за пять дней едва одолел сотню страниц, да и те промелькнули почти что мимо сознания. С огорчением понес я книгу обратно, не считая возможным ее задерживать. Хозяйка была тронута моей аккуратностью. «Ну и что же — понравилась вам эта книга?» Я посвятил ее в мои неудачи с попытками овладеть Гегелевой премудростью. В утешение мне, видимо, она добавила: «Знаете ли, мой муж тоже ее читал, но он полагает, что все это уже очень давно устарело...» Мне оставалось только признательно ей улыбнуться...

Случайно я прочел в какой-то из газет о том, что Берлинская государственная библиотека вновь открыта для посетителей. Сообщение это явно было рассчитано на успокоение умов, встревоженных близостью фронта. В ближайшие же дни я туда направился. Вход напоминал какой-нибудь блиндаж. Внутри все было обшито фанерой, помещения казались очень тесными. Мне сказали, что доступ в библиотеку возможен только при наличии специального ходатайства со стороны какого-либо учреждения. Я обратился к лагерному начальству. Мне тотчас же такое ходатайство выдали, с присовокуплением того, что я отлично себя зарекомендовал. Но и это не помогло: в ходатайстве должно быть сказано, что работа в библиотеке обосновывается государственными нуждами...

Раз или два я наткнулся в Берлине на букинистов. Они возили свои немудрящие товары на небольших ручных повозках. Две или три книги — что-то из древних авторов — мне удалось приобрести таким образом. Но ведь в Берлине, несомненно, должны были существовать настоящие, большие букинистические магазины. Я расспрашивал о них этих разъездных букинистов. «Нету, — отвечали они. — Было, но все это погибло». — «Но как же хозяева магазинов не постарались сохранить книги от бомбардировок и пожаров в каких-нибудь подвалах?» Пожатие плечами. «Никто никогда не думал, что город может погибнуть от бомбардировок. Гитлер заверял, что ни одна бомба не упадет на Берлин...» «Вот тебе и на, — думал я. — Легковерие, видимо, заложено в немецком характере. Но в результате погибли огромные духовные ценности.

Какой ужас, если это касается не только торговцев книгами, но и больших научных библиотек».

Судьба привела меня снова к фрау Рихтер раньше, чем она, видимо, рассчитывала. Дня через два-три снова был большой американский налет, лившийся, как всегда, часа два-три. Опять после него не было видно ни земли, ни неба, и я бросился, как и прежде, пешком на Бабельсбергерштрассе. Два раза мне пришлось делать большой крюк: на пути оказывались неразорвавшиеся бомбы (Blindgänger), районы действия возможного взрыва которых были оцеплены полицией. Улица была вся завалена кирпичом. Я прыгал, точно на болоте, с кочки на кочку, с обломка на обломок. Фрау Рихтер оказалась дома и мне обрадовалась: «Хорошо, что вы явились. То, что я рассчитывала сделать позже, можно будет осуществить с вашей помощью теперь же. Я хочу переселиться к брату. Но это довольно далеко», — сказала она с некоторой опаской. Я ее заверил, что это ничего и что я рад быть ей полезен. Она завела меня в свою комнату, где царил беспорядок, причиненный бомбежкой, — штукатурка и кирпичная пыль лежали на всем. Посреди комнаты стоял большой чемодан. Я подхватил его, и мы с ней пошли. Она пыталась иногда браться с другой стороны за его ручку мне в помощь. На одной из небольших площадей, где-то еще неподалеку от дома, через большое черное отверстие в мостовой — результат прямого попадания бомбы в тоннель подземной железной дороги — пожарные с помощью лебедки вытаскивали металлическими тросами трупы. Я отвернулся. Фрау Рихтер резко, почти истерически вскрикивала: «Мало! Все еще мало, надо больше и больше, чтобы люди наконец хоть что-нибудь поняли! Вы, конечно, можете от этого отворачиваться, а мы должны, мы обязаны смотреть... Не имеем права не смотреть...»

Мы шли еще довольно долго после этого. Она завела меня в какое-то неизвестное мне место, очень благодарила и очень подробно объясняла обратную дорогу. «Будем надеяться, что штатсбан уже починили и вы сможете доехать до Груневальда». Я не записал ее нового адреса, и больше мне ее не пришлось увидеть.

В лагере меня ждало письмо от Руты, в котором она сообщала о том, что ее учреждение переезжает на какое-то новое место, но что она принуждена уволиться со службы и ехать к родителям, испытывающим на новом местожительстве множество затруднений, и, кроме того, она боится, что позже ей, может быть, уже не удастся с ними соединиться...

Последние дни газетные и радио-известия приносили сообще-

ния о быстром продвижении американско-английских десантных войск по территории Франции. Сколько можно было понять, союзники уже приближались к западным границам Германии.

В один из больших американских налетов, когда «ковры бомб» падали с нашей стороны города, в бетонированных щелях моментами невозможно бывало усидеть — такой охватывал панический ужас от одновременного разрыва многочисленных тяжелых бомб на сравнительно небольшом пространстве. Хотя ближайшие из этих бомб разрывались не ближе, чем в 200—300 м от нашего лагеря, бетон окопов-щелей от сотрясения обращался в пыль, и дышать становилось нечем. В этот момент рядом со мной оказался какой-то посторонний ОТ-манн, видимо, застигнутый у нас этой бомбежкой. Он был очень подавлен, его внутреннее равновесие окончательно нарушено. Во время разрывов он хватался за скамью, перед которой стоял на коленях на бетонированном полу щели, точно эта скамья могла как-то амортизировать сыпавшиеся на нас страшные удары. В момент одной из передышек на лице его, помимо полнейшей растерянности, отразилась еще и судорога гнева: «Если в ближайшие дни ничего не произойдет, я теряю веру в Гитлера...» Этим он, видимо, думал очень наказать Гитлера, так твердо рассчитывавшего на веру в себя, незыблемую в немецких сердцах. Да, подумал я, сколь же крепка была эта вера в иных сердцах, если они заколебались только тогда, когда судьба гитлеровской Германии уже определилась бесповоротно... И я вспомнил унтер-офицера Лаутербаха и некоторых других людей, которые еще в 1941 году предугадывали, может быть, именно то, что и произошло в действительности.

Администрация нашего лагеря развивала бурную деятельность. Что-то куда-то отправляли и, наоборот, что-то иной раз откуда-нибудь привозили в наш лагерь. Как-то вдруг привезли откуда-то целую машину музыкальных инструментов — струнных и аккордеонов. Все это мы сгружали и прятали в один из хозяйственных бункеров. Как-то мы разгружали и перевозили в наш лагерь целый вагон картошки. Покуда мы ее насыпали в мешки и грузили на машины, к нам подбегали разные окрестные немцы со всякими небольшими емкостями и жалостно выпрашивали картошку. Я там был за старшего. Никого из немцев ОТ в этот момент с нами не было. Я не протестовал, давал, но приходилось внушать немцам, что де это же не фасон — растаскивать так казенную

картошку... «Ah Scheisse, — отвечали мне немцы, — man kriegt doch sowieso gar nichts auf Karten...»¹

Нечего говорить, что и мы сами попользовались как следует этой картошкой. Мы и раньше всякий раз воровали картошку с лагерного склада. Когда по утрам два-три человека занаряжались для того, чтобы доставить на кухню овощи из бункера, туда начиналось паломничество наших с котелками и мешочками — за картошкой. Это был единственный, вероятно, вид воровства, на который отваживался и я — без этого было не прожить... И против чего не возражал даже наш пан Станис. Он требовал только, чтобы не делали никаких запасов впрок — набрал себе котелок картошки, сварил и съел... Это ничего... Дело в том, что у нас изредка производились обыски в тумбочках и шкафчиках в бараке, и обнаруживали иной раз сырую картошку, за что наш Станис получал «so lange Zigarren»...²

Те из ребят, у кого уголовно-блатной душок был посильней, с особенным презрением относились к немцам, чего, однако, они старались не обнаруживать прямо. Они придумывали для этого разные, более или менее ехидные способы. Заметив, например, что немцы очень берегут свои, уже ничего не стоящие, пфенниги, ребята, обладавшие посредством своих спекуляций немалыми по тогдашним нашим возможностям и масштабам деньгами, раскидывали мелочь по лагерным дорожкам и со смехом и издевками наблюдали за тем, как немцы ходят и подбирают с ругательствами («verfluchte Schweine»³) эти монетки...

Значительно более явными, но, к счастью для выказывавших их, остававшимися непонятными для немцев, становились эти презрение и ненависть, когда люди были под градусом. Крутой поворот войны, для многих представлявшийся неожиданным, был некоторыми из наших, например «старостой», воспринят как нечто абсолютно должное и единственно возможное. «Всегда говорил, что так оно и кончится... Попадут товарные вагончики, и поедем мы домой...»

Как ни ясно было, что эта маячившая у него перед глазами картина окончания войны слишком уж проста и идилична, но очень хотелось верить во что-то именно в этом роде. Мало смущало то, что сюда к Берлину нам пришлось добираться гораздо сложнее,

¹Ах, наплевать, люди ведь все равно ничего не получают на карточки.

²Хорошие головомойки.

³Проклятые свиньи.

чем представлялось теперь в воображении обратное движение... Лучше не думать ни о чем таком раньше времени. Надо сначала снова пройти через фронт. Может быть, еще нам даже и не дадут немцы этого сделать? Мало ли на что они могут в последний момент оказаться способны?

Во многих местах висели печатные объявления с портретами о розыске лиц, дезертировавших из германской армии. Им выносились заочные смертные приговоры, а лицам, которые указали бы их местопребывание, сулились большие суммы в ничего не стоивших марках... «Смерть в бою — это героизм, смерть за предательство — позор». Но и в том и в другом случае — смерть, так получалось при чтении этих ужасных объявлений...

Однажды меня отправили в качестве грузчика с одним из наших немцев на машине куда-то довольно далеко — километров за 150, причем ни мой немец — простой ОТ-манн, ни шофер не знали толком дороги. Мы долго колесили по автобанам вокруг Берлина. Я сидел на ящике в кузове, нахлобучив поглубже мою фуражку, мало подходящую для зимней погоды, — в пилотке, впрочем, было бы еще холодней — и любовался на хмурые пейзажи. Думал я все о том, что война далеко еще не кончилась, а мы уже, в сущности, заполнили Германию, свободно ходим по ней и ездим, а несчастные немцы жмутся к стенкам, сторонясь нас на улице... За этими мыслями я не заметил, как откуда-то взялась нас обгонявшая легковая машина с несколькими офицерами. Они о чем-то оживленно спорили. Один из них, показывая рукой в мою сторону, произнес громко и с убеждением: «*Sehen Sie, da hockt schon ein Russe mit seinem Kartuse...*»¹ В это время машины поравнялись. Я изобразил на лице приветливую улыбку... Когда они проехали, я подумал, что разговор между ними происходил, наверно, на ту же самую тему, вокруг которой кружились и мои мысли: русские в Германии, русские наступают на Берлин... Когда мы прибыли, наконец, уже в темноте на место, машина была поставлена перед каким-то подвальчиком, из которого мне было приказано грузить на нее всякого рода столовую и хозяйственную посуду. Обратно мы ехали уже глубокой ночью. Стало чертовски холодно. Я забился под брезент, которым была прикрыта кладь, и задремал. При въезде в город нас остановил полицейский патруль. Спросили немцев, кто они и куда едут. Заглянули под брезент и обнаружили меня. «А это кто?» — «Русский

¹ Посмотрите, там сидит еще один русский в своем картузе...

из нашего лагеря». — «Документы». — «Я русский военнопленный, какие же у меня могут быть документы», — ответил уже я сам. «Так. В полицию». Меня повели, за мной последовал немец ОТ, которому я был придан. В полиции я был представлен чину с погонами штабс-фельдфебеля, учинившему мне краткий допрос: «Вы говорите, что вы русский, а между тем вы не похожи на русского». Я пожал плечами. «Что, собственно, значит “не похож на русского”? Русские достаточно разнообразны, так же как и немцы...» — «А откуда вы так хорошо знаете немецкий язык?» — «Спасибо за комплимент. Я научный работник и знаю несколько языков». — «Вот видите, среди русских это редкость... Но почему же вам не дали никакого документа? Ведь я могу вас отправить в какой-нибудь другой лагерь». Я опять пожал плечами. «Поверьте, что мне, собственно, совершенно безразлично, в каком лагере быть...» — «Ну, все-таки, у вас же там есть какие-нибудь вещи?» — «Не такие, о которых стоило бы жалеть. А что касается документов, то мой документ, собственно, перед вами — это ОТ-манн, которому я придан».

Тогда он стал ругать моего немца за то, что тот не взял для меня какого-нибудь аусвайза. Тот издавал какие-то нечленораздельные звуки... Потом полицейст стал передо мной извиняться: «Вы не сердитесь, что я вас так допрашивал... Мы, понимаете ли, ищем определенных людей и поэтому необходимо было проверить...» Я заверил его, что не имею решительно никаких претензий. После этого нас отпустили, и мы поехали дальше. Вскоре раздались сигналы воздушной тревоги, и мы добрались до Груневальда под вспышки и громы зенитной артиллерии.

Дня через два я был вызван в ОТ-централь. Мне сказали, что меня вызывает фрейляйн такая-то, — имя ее было мне совершенно неизвестно. Когда я туда явился и назвал это имя, ко мне вышла совершенно незнакомая мне молодая, невысокого роста женщина. Она заявила, что помнит меня еще по Минску, где она работала в штабе ОТ. Как-то увидела меня здесь, узнала, что я в Груневальде, и решила определить меня на более подходящую, с ее точки зрения, работу. Я должен посидеть здесь и подождать, а она тем временем все уладит...

Я остался в коридоре. «Вот еще неожиданное заступничество, — подумал я, — и неизвестно, как и чем оно обернется...» И как бы в ответ на мои недоуменные мысли из-за закрытых дверей комнаты, в которую она ушла, до меня стали доноситься возбужденные голоса. Какой-то мужчина выражал недовольство тем, что что-то делается без его ведома: «Какое вы имели право

предпринимать что-либо, не предупредив меня?» Женский голос — явно той самой девушки, которая только что выходила ко мне, — в резком тоне отвечал: «Это вас совершенно не касается. Это мое дело, прошу вас в него не вмешиваться...»

Перепалка становилась все более ожесточенной. Речь явно шла обо мне. Потом девушка с красным и сердитым лицом выскочила из комнаты и куда-то убежала, оставив открытой дверь. Я себя почувствовал причиной этого неожиданного скандала и решил попытаться исправить положение. Войдя в комнату, я извинился перед возбужденно расхаживавшим по ней чином ОТ и сказал ему, что мне в высшей степени неприятно чувствовать себя причиной каких-то недоразумений. «Мне ничего не нужно, — сказал я. — Я себя очень хорошо чувствую в лагере Груневальд...»

Человек этот сразу смягчился и стал в свою очередь просить меня не придавать значения инциденту. «Эти девчонки, видите ли, стали ужасно дерзки... Ее необходимо было поставить на место... Собственно, вы можете ехать к себе. Мы тут разберемся во всем без вас...» И я, поблагодарив его, уехал. Несколько дней провел я в неопределенных ожиданиях, и когда уже было решил, что вообще ничего больше не воспоследует, меня вызвал к себе начальник нашего лагеря труппфюрер Швермер — простой и довольно добродушный человек.

— Ты больше не будешь работать вместе с твоими товарищами. Будешь немного переводить, смотреть за порядком...

«Вот он и результат добрых усилий той девушки», — подумал я. Но вскоре выяснилось, что наш пан Станис увольняется со службы и уезжает домой. Он был последнее время весьма бледен и часто хватался руками за голову. «А может быть, все это произошло само собой, и девушка тут ни при чем?» Так это для меня и осталось загадкой...

В связи с изменением моего положения в лагере меня перевели на жительство в тот барак, где находился Соколов. Мне было очень жаль расставаться с Василием Ивановичем, и я попросил разрешения перевести и его туда же, на что и получил согласие.

Лагерь наш за последнее время порядком опустел. Были консервированы бараки, предназначенные для немцев — сотрудников ОТ. Они больше не появлялись, так же как перестали появляться и всякого рода вновь мобилизованные для работы люди из западных и восточных стран. Вместо них к нам стали являться какие-то неожиданные постояльцы. Прежде всего, в наш барак

была вселена небольшая русская компания — человек шесть, составлявшая хоровой ансамбль, до этого разъезжавший по лагерям с русскими народными песнями. Руководил этим хором пожилой долговязый актер, по фамилии или театральному псевдониму — Кубанский, человек редкой худобы и флегмы. Хористы же его были простые любители. У нас они ничего не делали — изредка, впрочем, репетировали песню «Калинка, калинка моя...». После каждой репетиции Кубанский мрачнел и упрекал своих товарищей в том, что они деградируют...

Появлялись какие-то единичные бельгийцы и французы. Двое или трое из них жили даже вместе с нами в одном бараке, и Кубанский заставлял их топить печку, издевательски именуя их «товарищи хранцузы». Мне с этими французами было довольно интересно. Они, как оказалось, прибыли не так давно из Парижа и рассказывали мне о жизни этого города во время немецкой оккупации. Я с ними жил душа в душу, покуда один из них не пришел как-то раз с маленьким кроликом в руках, которого он изловчился поймать в районе нашего лагеря. Он предвкушал ужин и расписывал, как его поджарит и съест. А кролик напоминал суслика, дрожал и прижимался к нему, ни о чем не подозревая. Я попросил кролика на минутку, подержал его в руках, погладил, а потом, как-то даже не раздумывая, поднес к окну и выпустил. Боже, что тут стало с моим французом. Он накинулся на меня с негодующей бранью и стал требовать денежного возмещения. «Я так надеялся сегодня хорошо поужинать! Как вы смели его отпустить? Я с таким трудом его поймал. Вы мне должны немедленно заплатить за мою потерю...»

Денег у меня не было, просить у Василия Ивановича я не хотел и пребывал некоторое время в замешательстве. И вдруг я вспомнил, что в кармане моей русской гимнастерки, которая давно уже совсем износилась, но которую я никак не решался выкинуть как последнюю связь с моей прежней жизнью, сохранилась тридцатирублевая бумажка — мое ополченское жалование, — которую не на что было истратить. Я извлек ее с большими сомнениями. Мне представилось, что француз придет в еще большее негодование, если я ему ее предложу. Но ничего другого мне не оставалось. «Может быть, вы возьмете эти русские деньги? Это все, что у меня имеется...» Тридцатка выглядела совсем новенькой и неожиданно очаровала моего француза. Он остался очень доволен, забыл тут же про кролика и стал с весьма удовлетворенным видом мечтать о том, как он будет в Париже показывать своим родным эти красивые русские деньги...

Появлялись у нас и какие-то женщины: беременная чешка, навещать которую приходил иногда некий чин ОТ. Затем несколько дней прожила одна русская женщина, лишенная руки и ноги, пострадавшая где-то во время бомбардировки. Мне предложено было начальством препроводить ее в госпиталь, расположенный на берегу Гавеля, в живописной местности. Ехать туда нужно было на небольшом пароходике. Когда мы с ней на него садились теплым уже и ясным мартовским утром, было хорошо видно, как на Берлин снова летят большие эскадрильи американских самолетов, едва поблескивая на очень большой высоте... В госпитале ее появление было встречено с недовольством. Сначала вовсе отказывались ее принимать, и мы долго сидели и ждали в приемной. Но потом, оглядевшись, — ей там, видимо, очень понравилось — она сказала мне, что никуда оттуда больше не поедет. И она стала меня упрашивать оставить ее одну — что тогда мол ее обязательно примут... Я послушался и тем же путем, по прекрасной цепи спокойных и пустынных озер, доехал обратно без всяких приключений: американцы за это время отбомбились и улетели...

Прожила у нас неделю или полторы еще одна чудная компания — некий профессор Александров с женой — красивой и сравнительно молодой женщиной, которую в ее окружении называли «la belle Tatiana»¹, а окружение состояло еще из трех или четырех женщин более или менее интеллигентного вида и старой культуры. Все они были откуда-то с юга, чуть ли не из Ростова, но явно не ростовского вида, за исключением, может быть, самого Александрова — крепкого, смуглого мужчины лет 45-ти. Несмотря на свою крепкую внешность, человек он был, видимо, достаточно нервный, так как очень боялся бомбардировок и каждый день уходил поэтому ночевать в ближайший Hochbunker, расположенный в районе Весткройца. Это было большое железобетонное здание, с узкими щелями-окнами, на плоской крыше которого были установлены зенитки. Прямые попадания бомб не причиняли ему никакого вреда. Василий Иванович видел однажды после бомбежки, как зенитки на его крыше валялись вверх тормашками, видимо, в результате именно такого прямого попадания.

Женщины, бывшие с Александровым, ночевали в лагере. Им была выделена секция того барака, где жили и наши ребята. На

¹ Прекрасная Татьяна.

другой же день ко мне начали поступать резкие жалобы со стороны этих женщин на грубое поведение наших: за перегородкой, разделявшей секции, слышно было каждое слово, а ребята в выражениях не стеснялись, вероятно даже подсаживали нарочно. Что можно было сделать? Я было пытался их усостыжить, доказывал им, что-де некоторые люди не привыкли и не способны подобные вещи без возмущения слышать. Они мне обещали вести себя потише, но помогало это все-таки маловато. Ненависть и презрение к интеллигенции, столь характерные для нашего простонародья, давали себя в этой обстановке чувствовать особенно остро.

Весна 1945 года

С наступлением весны наличие фронта на Одере ощущалось сильней, чем прежде, хотя линия фронта оставалась давно уже неподвижной. Наши, видимо, наращивали силы для последнего броска. Берлин сделался совершенно пуст, жители его, за небольшим исключением, эвакуировались. Пустовато стало и в вагонах штатсбана. А бомбардировки с наступлением весны всё более учащались. Казалось — ну что тут еще бомбить? И так город — это куча битого кирпича. И все-таки почти каждый день на эту кучу сыпались новые бомбы и подымали до небес пыль и гарь. Но меня они больше не трогали. Люди, за которых я мог беспокоиться, были или далеко, или, если и близко, как фрау Рихтер, я все равно о них ничего уже не знал и не имел возможности узнать что-либо об их судьбе. Мир мой опять необыкновенно сузился, ограничился на мне самом да на двух-трех людях, судьба которых, как и моя собственная, не так уже меня волновала. Мы опять стали гулять по вечерам с Василием Ивановичем и с Соколовым. Началась очень теплая и ласковая весна. Все сразу зазеленело, зацвело. Так хотелось хоть немного покоя, а чувство беспокойства, чувство надвигающейся катастрофы все более усиливалось. Немцы, которых приходилось встречать на улицах, в Груневальде ли, в городе ли, выглядели совершенно так же, как выглядели мы в 1941 году, в начале войны: расширенные, измученные тревогой и страхом глаза, чувство обреченности и неизбежности чего-то самого страшного, надвигавшегося неумолимо и быстро...

На ребятах наших эти чувства, впрочем, совершенно не сказывались. Если по ним что и было теперь заметно, так это возрастание надежды на близкий конец войны, на возвращение домой. Заме-

чалось возвращение и возрастание патриотических, просоветских настроений и некоторого отчуждения от немцев. Белобрысый Иван, староста моего прежнего барака, человек, как я уже отмечал, не лишенный вообще всякого рода трезвой и практической сметки, служил в этом отношении для меня своего рода термометром. По нему очень хорошо можно было наблюдать происходившие в мире, и в частности в наших душах, перемены. Еще сравнительно недавно он просил меня научить его хоть каким-нибудь односложным немецким выражениям: «Ну хоть чему-нибудь, а то, понимаете, едешь в штатсбане — обязательно подсядет какой-нибудь старичок и начинает тебе что-то такое доказывать, а ты сидишь как обалдуй... Ну хоть бы что-нибудь ему ответить, что-нибудь вроде “оно конечно”, “дело известное”, “надо думать”... что-нибудь годное на разные случаи...»

Действительно, стоило только ему надеть гражданский костюм, как он превращался в настоящего немца, — мало сказать в немца, в подлинного берлинца, многие манеры которого он безошибочно и, вероятно, совершенно незаметно для самого себя усвоил, но, увы, оставался бессловесным. А немцу и в голову не могло прийти, что перед ним не свой. Он, вероятно, скорее думал, что перед ним немой или глухой...

Теперь Иван уже не думал больше о немецких выражениях на разные случаи. Вот он идет, где-то чего-то набравшись хмельного, обхватив левой рукой за шею уже начинавшего его побаиваться в связи с близостью русского фронта немца. «Карл, руссиш аллес партизан! Фарштеен?» Карл, насколько ему позволяли вынужденные объятия, мотал головой: «Nein, nicht verstehe». — «Вот я тебя сейчас как благословлю по заливку, тогда небось сразу «аллес фарштеен»...» И бедный Карл, все же еще очень далекий от представлений о чем-либо подобном, продолжал глупо улыбаться.

А не то Иван мечтательно говорил: «Дело-то ихнее того, видно накрывается... — он спохватывался, взглядывая на меня, и деликатно поправлялся, — женским половым органом...» И опять повторял: «Эх, подадут скоро товарные вагончики...»

Я и тогда уже подобный оборот дела представлял себе далеко не так просто, с двойственным чувством затаенной надежды и страха: вагончики-то, может, в конце концов и подадут, а вот куда в них повезут? Залогом того, что не одного меня тревожили подобные сомнения, звучала в ушах песня, которую распевали и посещавшие нас хоровые коллективы, а за ними и отдельные индивиды:

Но я Сибири не боюсь,
Сибирь ведь тоже русская земля...

Чувство родины, чувство приближающейся победы было необоримо, и на него мало действовали гнездившиеся в душе страхи перед тем, что же впереди ждет нас — советских людей, очутившихся в германском плену, по освобождении из этого плена, по осуществлении нашей победы, в которую душа не решалась верить, не давала себе из чувства суеверия права о ней подумать, но которую в самой своей глубине тайно и упорно ждала...

Несколько наших ребят снова побывали для каких-то погрузочно-разгрузочных дел в ОТ-центrale и вернулись из города с колбасой, сахаром и сигаретами. Откуда это? Вскоре все выяснилось. Наши наворовали розовых карточек, предназначенных для приезжающих в командировки сотрудников ОТ, по которым выдавалось недельное довольствие. Часть из них они там же в городе и отоварили. У меня душа ушла в пятки от страха. Что же теперь будет? Ведь эти идиоты как ни в чем не бывало разгуливают повсюду с сигаретами в зубах... Такая история не может пройти незамеченной. За подобное воровство их пересажают, если не постреляют... Прежде всего должна была спохватиться наша лагерная администрация. Но — удивительное дело — у нее был такой вид, что все в полном порядке. Как же так? Допускаю, что она попросту испугалась ответственности, не меньшей, чем та, какая грозила нашим нахальным жуликам. Немцы нашего лагеря имели полное основание бояться, что их постреляют вместе с русскими — пойди-ка разбери, могло ли произойти подобное дерзкое воровство без попустительства со стороны немцев. Тем более, что исключить окончательно подобное попустительство и последующий дележ этих карточек между немцами и нашими тоже было, пожалуй, невозможно. Я уже имел случаи убедиться, что от «немецкой честности», некогда пресловутой, мало что оставалось в эти ужасные времена... Так вся эта история и не возымела, к счастью, никаких последствий...

Как-то ночью мы были разбужены очень интенсивной бомбежкой где-то к западу от Груневальда. Я вышел из барака и увидел, как полыхало полнеба: прожектора, неистовая зенитная стрельба и разрывы, разрывы один за другим. Временами все это сливалось в один сплошной гул. Постепенно распространялось, поднимаясь все выше, красноватое зарево большого пожара. Что же это бомбили? Наутро мы узнали, что массированному налету подвергся на-

конец и дорогой моему сердцу Потсдам. Разбит вокзал, разбита знаменитая Гарнизонная церковь, с кориллоном, исполнявшим Моцарта и Шопена. Очень пострадали жилые кварталы города. Все из нас, кто бывал в Потсдаме, очень удивлялись большому количеству всякого офицерства в этом городке. Нацисты нагло считали Потсдам не подлежащим бомбардировке музейным центром и поэтому, как и в Дрездене, сосредоточили там штабы и различные другие военные учреждения. Это, конечно, не могло остаться незамеченным для англо-американской разведки. Как ни жалко мне было Потсдама, но нельзя было не понять, что люди, действительно озабоченные его сохранностью, не должны были там размещать военные объекты. Раз они с этим сообщением не посчитались, было бы непростительной глупостью церемониться с ними. А они, видимо, именно на такую глупость и ориентировались по собственной глупости и самоуверенности. Меня уговаривали было поехать посмотреть на разбитый Потсдам, но я бы не мог вынести подобного зрелища...

В конце марта лагерь наш заполнился бельгийцами, в которых, видимо, уже не было нужды в немецких прифронтовых организациях. Однако по каким-то причинам их не эвакуировали на родину, а задерживали здесь. У меня мелькнула мысль, что, быть может, это такие люди, которые сами по разным обстоятельствам не торопились на родину, чувствуя за собой какие-нибудь политические грехи. Многие из них были вооружены. Кое-кто просто сидел по баракам, но известная часть занаряжалась на лагерные работы вместе с нами. Работы были несерьезные, явно придуманные для того, чтобы занять бездельничающих людей. Например, мы ровняли и трамбовали без того ровные и плотные дорожки. Командовал нами один пожилой труппфюрер, через военную униформу которого проглядывали черты настоящего и при этом квалифицированного рабочего. Он объяснил мне толком, что надо делать, и требовал, чтобы я это все передавал бельгийцам. Один из них выказал недовольство, когда я стал объяснять ему, что он делает не то, что нужно. «Что же это, — крикнул он труппфюреру на вполне удобоваримом немецком языке, — русские уже начинают командовать?»

На лице труппфюрера мелькнула и исчезла ироническая усмешка. Он ответил громко и резко: «Какие же мы русские, парень? Мы ведь немцы...»

Я со своей стороны объяснил бельгийцу, что в моих словах не содержится никаких моих собственных настояний. Мне это все

нужно так же мало, как и ему... Подобные недоразумения возникали, впрочем, достаточно редко. Хуже я себя почувствовал, когда начальник лагеря Швермер стал ходить по баракам и отбирать оружие у еще сохранявших его бельгийцев, а мне приказал ходить за ним с пустым ящиком, в который он бросал отобранные пистолеты. Мне было очень не по душе участие в подобной операции. Но сверх ожидания все прошло совершенно гладко, без каких-либо инцидентов.

Все эти мероприятия говорили об одном и том же — что конец все ближе и ближе... Стали доходить слухи о том, что советские войска в некоторых местах форсировали Одер. Радио, однако, передавало сообщения о прочности немецкого фронта и об огромном числе ежедневно сбиваемых американских самолетов.

Близость конца становилась ясной и из того, что с неба совершенно исчезла немецкая транспортная и боевая авиация, которой еще недавно было достаточно много. Затем по шоссе прошел мимо нас в западном направлении танк, на котором виднелось точно такое же газогенераторное устройство, как и на многих грузовых автомашинах. Это все должно было непреложно означать, что горючего больше нет. Но многие немцы, видимо, все еще не отдавали себе отчета в происходящем. Нам приходилось иногда заниматься делами, которые могли понадобиться разве что только будущей зимой. Не понимали этого и многие русские. В нашем лагере на короткое время появилась группа довольно пожилых людей, говоривших по-украински. Выяснилось, что это украинские казаки, направлявшиеся куда-то на формирование. Они были настроены довольно весело и с нетерпением ждали, когда же им наконец выдадут казачью военную форму.

В русском ресторане в городе, куда мы с Василием Ивановичем заглядывали для того, чтобы поглазеть на его посетителей, бывали русские офицеры в форме РОА, но явно не советской военной выправки. Они все были при шашках и вообще держались совершенно, как их отцы — офицеры, эмигрировавшие в первые годы революции. Заметил я как-то в этом же ресторане и совсем молодых людей в какой-то невиданной мною до сих пор военной форме. «Что это такое?» — спросил я у кого-то из наших. «Это русские СС — недавно созданное формирование...» Зачем? Зачем они были нужны немцам и зачем в них шли русские, которые, казалось, должны же были понимать хоть что-то в происходящем?

Наконец немцы стали создавать народное ополчение — *Volkssturm* — то, с чего мы начинали, а они пришли к этому только в

самом конце войны. В это ополчение зачислялись пожилые люди непризывного возраста на шестом десятке и дети 16—17-ти лет. Отряды их маршировали по улицам, но, в отличие от нашего ополчения, они все очень скоро оказались одеты в новенькую и совершенно особую по своему виду форму.

Недалеко от нашего лагеря была поставлена зенитная часть, состоявшая почти исключительно из молоденьких девушек. Видимо, немцы еще собирались воевать, совершенно, должно быть, не замечая уже в полном обалдении от происходящего, насколько все это контрастирует с полнейшим развалом и уничтожением их реального военного и гражданского потенциала. Немецкое начальство, видимо, очень заботилось о том, чтобы всячески втирать очки и своим и чужим в отношении всего происходящего.

Поскольку у нас стало много свободного времени, которое буквально некуда было девать, а доставать книги становилось все труднее, я заинтересовался зрелищными возможностями. Еще функционировали какие-то эстрады и бывали концерты. На один из таких концертов, на котором симфонический оркестр должен был исполнять Франка и еще что-то, я купил себе без труда билет. Концерт происходил, по-видимому, в каком-то кинозале, с окнами под потолком, выбитыми бомбардировками и завешанными какими-то матами. Было это днем. На концерте, как я понял из перешептывания соседей, присутствовал какой-то райхсминистр, не из самых, конечно, главных. Действительно, на следующий день в газетах можно было прочесть, что с успехом прошел симфонический концерт, на котором присутствовал министр такой-то... Сделано все это было, видимо, в расчете на успокоение общественного мнения...

Иногда обалделое поведение немцев, в том числе и наших лагерных, настолько бросалось в глаза, было настолько нелепо, что наши ребята говаривали, покатываясь со смеху: «Ой и дурни ци немци, ой дурни, ой дурни... Тай ничего. Ось Ёська приде, вин им покажэ...»

Это было уже начало апреля 1945 года. В сводках замелькали названия пунктов, расположенных по сю сторону Рейна. Был опубликован приказ Гитлера о расстреле группы высших офицеров, отменивших его распоряжение о взрыве одного из самых красивых мостов через Рейн. На станциях штатсбана, на стенах домов участились объявления с портретами офицеров, покинувших свои посты и дезертировавших из армии. За их поимку или

расстрел на месте обещалось вознаграждение. «Тот, кто боится смерти, умрет смертью труса!» — гласили эти объявления.

С востока через Берлин двигались эшелоны беженцев. Немцам было приказано, да они и сами со всей поспешностью уходили на запад. Радио и газеты кричали о зверствах русских на захваченной ими немецкой территории — разрушениях городов и селений, массовых изнасилованиях и грабежах.

На территории нашего лагеря стояло несколько очень высоких сосен. Неожиданно отдано было распоряжение их спилить. Зачем? Спилили и разрезали на части метра по четыре длиной. Пришли мастера ОТ и стали делать из этих чурбанов какие-то поначалу непонятные сооружения. Приглядевшись, мы поняли, что это были стационарные оружейные лафеты. В нашем лагере было установлено три или четыре таких лафета. Зачем они, будут ли на них действительно установлены пушки, куда и по ком они будут стрелять — сообразить пока еще не представлялось возможным.

Теплынь стояла необыкновенная. Начиналось пышное и благоуханное лето. Люди среди всего этого ходили ошалелые, бледные, с запавшими от физической усталости и нервного перенапряжения глазами. Повсюду гремели выстрелы панцерфаустов. Этот новый вид противотанкового оружия введен был совсем недавно. Вокруг нас и по всему Берлину подразделения фольксштурма принимали его на вооружение и учились им пользоваться. Тут и там раздавался грохот разрывавшихся фаустпатронов. В лагере появилось известное мне и раньше начальство из ОТ-централы. Это был довольно еще молодой, лет не более сорока, представительный и добродушный человек. В более спокойные времена он иногда приезжал в лагерь на воскресенье и бродил вокруг в кожаных трусах. Теперь он что-то громко объявлял нашему начальству. Я стал прислушиваться и по отдельным, доносившимся до меня словам понял, что управление ОТ куда-то эвакуируется. Персоналу лагеря предлагается в случае возникновения опасности окружения отходить на Потсдам...

Так. Вот оно и пришло. Значит все это становится реальностью, и мы снова на передовой? Как почти всегда в таких случаях, действительность полностью контрастировала с этими чувствами. Все было кругом совершенно тихо. Тихо и пусто. Берлин абсолютно обезлюдел. Мы с Василием Ивановичем много бродили по этому уже совершенно мертвому городу. Встречные пешеходы были весьма редки. Люди — кто и оставался — видимо прятались по домам. Да оно было и небезопасно. Воздушные тревоги объяв-

лять перестали. Отдельные самолеты подкрадывались неслышно — и вдруг, откуда ни возьмись, бомбы чуть ли не прямо на твою голову, так что слышно, как цокают и звенят осколки. В наступающих сумерках навстречу нам быстро приближаются две фигуры: высокий смуглый мужчина интеллигентного вида и рядом с ним невысокая женщина. У мужчины на рукаве пиджака повязка с желтой звездой. Еврей! Откуда он вдруг тут взялся? Это был вообще первый еврей, виденный мной на немецкой земле. Шли они быстро и решительно. Видимо, ему сейчас в этом пустом городе ничто уже прямо не угрожало, и он, вероятно, покинул какое-то убежище, в котором скрывался. Но зачем он носит эту ужасную звезду? Люди эти долго и упорно стояли перед глазами, как какое-то сказочное видение...

В одном месте мы заметили открытое кафе. Это было не менее удивительно. Встретившая нас у двери молодая официантка в белом чепчике и переднике — француженка — сказала нам, что у нее совершенно ничего нет. Но мы все-таки вошли. Маленькое полуподвальное помещение было совершенно пусто. Только за одним столиком сидел пожилой человек с опущенной на руки лысой головой. На столе лежала его шляпа, а рядом стояла пустая чашка. Услышав русскую речь, он поднял голову. Господи, это был Вальк. Мы поздоровались с ним. В нем на секунду было всколыхнулось что-то, но потом он опять уронил голову на руки, продолжая, впрочем, что-то нам говорить. Что он именно говорил, разобрать было очень трудно. Помимо того, что слова звучали весьма неотчетливо, речь его то и дело обрывалась, лицо застывало в сонной гримасе, рот приоткрывался. Уснул? Или умер? Но проходила секунда, мозговое кровообращение восстанавливалось, и он опять начинал очень медленно произносить какие-то непонятные слова. Потом умолк. Видимо, уснул более глубоко. Мы постояли перед ним немного и вышли на улицу. Картина эта была для меня в высшей степени символична. Бедный этот старик с далеко зашедшим склерозом мозга умирал вместе со своим городом. Может быть, это был последний посетитель кафе гитлеровского Берлина...

Когда мы вышли из этого кафе с чувством, что покинули доживающего последние часы человека, — вышли в доживающий свои последние часы город, мне подумалось почему-то, что вот я и в расчете теперь с Берлином и больше меня с ним, наверно, ничто внутренне не связывает. Однако это оказалось не так. Когда я через день или через два после этого снова ходил по городу, и

на этот раз в одиночестве, на какой-то из центральных улиц передо мной вдруг вырос живой Рамляу — тот самый немецкий солдатик — писарь в нашей шрайбштубе в деревне Яхонтово, который потом был переведен в какую-то театрално-музыкальную военную часть. Он стоял теперь передо мной в гражданском платье, и я готов был принять его за привидение...

— Jelnitzky, — услышал я вдруг его голос.

— Господи, Рамляу, откуда вы тут, да еще в таком необычайном виде?

— Да, я в Берлине... Я ведь и до войны жил здесь. У меня тут жена и ребенок. Меня демобилизовали по состоянию здоровья... Но я тут совсем недалеко живу, зайдите ко мне на минутку. Я вас познакомлю с женой, покажу вам одну книгу, которая вас может заинтересовать...

И мы вошли в один из ближайших подъездов, поднялись по полуразвороченной лестнице на третий этаж. Он ввел меня в очень мрачное, плохо освещенное из-за отсутствия оконных стекол помещение и усадил за ничем не покрытый и видевший военные виды и перипетии стол. Я продолжал смотреть на него с нелепой улыбкой как на что-то совершенно нереальное, невероятное...

— А вы-то каким образом очутились в Берлине?

Я рассказал ему в двух словах о том, что со мной происходило после нашего расставания. Вошла его жена — бледная, худенькая женщина, с остановившимися, равнодушными ко всему глазами. Сколько Рамляу не пытался дать ей почувствовать все чудо нашей встречи, на нее это так и не произвело должного впечатления. Она извинялась за грязь и беспорядок в доме...

— Вы помните, Ельницкий, как вы однажды сказали, что убили бы Сталина собственными руками, что это единственный человек, которого вы могли бы убить?

— Помню, Рамляу, я это действительно сказал, в ужасе от всего у нас тогда происходившего...

— Но вот Сталин уже почти что в Берлине, что же вы теперь скажете?..

— Не напоминайте мне этого, Рамляу, и не говорите об этом никому. Было бы ужасно, если бы этакое случилось обо мне известно по приходе сюда наших. Меня расстреляют тут же... Почему вы не эвакуировались из Берлина?

— У нас нету сил... И я как-то уже ничего не боюсь... И перед

русскими не испытываю такого страха, как другие... Да, я вам хотел показать вот эту книгу.

Книга оказалась собранием популярных очерков по истории новой живописи, на французском языке. В ней были довольно яркие репродукции.

— О, это хорошая книга, — заявил я, — чтобы не дай бог его не разочаровать.

Поговорив немного еще о чем-то незначительном, мы расстались. Я — с таким чувством, будто вернулся назад во времени, к 41-му году, к началу войны... Вот бы еще какое-нибудь чудо, чтобы оказаться по ту сторону войны совершенно... Я как-то не воспринимал Рамляу в его теперешнем виде и состоянии... Мне казалось — вот-вот и фельдфебель Фридрици сейчас откуда-нибудь появится. Я было осведомился о нем у Рамляу, но он мне мало что мог сказать о своих прежних товарищах по военной службе в России...

На другой день, когда я вошел в наш барак среди бела дня, мне было сказано, что кто-то там меня дожидается, — я увидел сравнительно молодую женщину довольно франтовски одетую. Она обратилась ко мне на чистом русском языке, лишь несколько архаичном, из чего можно было заключить, что она происходила из эмигрантского потомства. Отрекомендовавшись в качестве представительницы какого-то пропагандистского центра, она потребовала, чтобы я собрал наших людей для политической беседы, которую она намеревалась провести.

Во-первых, осуществить ее желание было довольно трудно — мы уже давно организованно не работали, и ребята разбредались по своим делам с раннего утра; а во-вторых, меня вообще возмутила наивность и какая-то, видимо, совершенная бездумность этой особы. Политическая профашистская беседа в тот момент, когда всё уже и без того совершенно ясно. Я спросил ее, не считает ли она, что проводить подобные беседы уже несколько позновато? «Это почему же?» — спросила она. «Да потому что, мне кажется, вам вместо этих бесед следовало бы позаботиться о своевременной эвакуации...» — «Ах, вот какие у вас, оказывается, мысли! Вы ждете большевиков? Нет, мне придется поговорить о вас с оберстом, этого так оставить нельзя...» И ушла. Я почувствовал, что разошелся, вероятно, напрасно. Черт ее знает, на что может оказаться способна подобная стерва...

А она оказалась способна именно на то самое, что и обещала. Через день к нам прикатил действительно какой-то оберст войск

СС с довольно галантно одетым в штатское платье русским переводчиком, который тоже производил впечатление эмигрантского потомка.

Оберст, как потом оказалось, заявил начальнику нашего лагеря, что среди имеющихся здесь русских военнопленных господствуют просоветские настроения и что даже имели место соответствующие выступления. Швермер принялся это горячо отрицать, справедливо уверяя оберста, что у его русских нет никакого интереса к политике — они-де заняты только спекуляцией...

А со мной разговаривал переводчик. И надо сказать, хотя и решительно, но довольно деликатно. Он задавал мне те же вопросы, что и оберст начальнику лагеря, а потом сказал, что мне бы, вероятно, следовало, исходя из нынешней политической ситуации, подать заявление в РОА. Я, разумеется, выразил величайшую на это готовность. Я еще с 1942 года привык к тому, что немцы всех политически подозрительных людей из числа русских военнопленных стараются определить в РОА. Переводчик остался очень доволен этой беседой и сказал, что в самые ближайшие дни все это будет оформлено. К счастью, я его больше никогда не видел. Очевидно, мои советы их сотруднице оказались более своевременны, чем советы и предложения переводчика оберста СС, обращенные ко мне.

Освобождение из плена

На следующий день я стоял в воротах нашего лагеря и наблюдал за необычайно интенсивным движением в сторону Потсдама. Вот идут колонны людей, одетых совершенно так же, как и я. Слышится французская речь. Это идут домой отпущенные немцами французы и бельгийцы. Идут нестройными шумными рядами. Царит возбуждение. Сделай я шаг за ворота, вступи в эту колонну, и французы будут меня принимать за бельгийца, а бельгийцы за француза, и я уйду вместе с ними на запад из пределов Германии. До сих пор ругаю себя за то, что не сделал этого. Все-таки я хоть что-нибудь да увидел бы. Прошел бы через красивейшую Западную Германию. Может быть, побывал бы даже в Париже?

Но в тот момент такой уход мне бы показался предательством по отношению к своим, хотя со стороны этих своих я и не ждал для себя решительно ничего хорошего.

Так или иначе, я чувствовал, что плен мой кончается и я опять

становлюсь советским солдатом. На другой день наш лагерь наполнился какими-то гражданскими людьми русского, а отчасти чешского происхождения. Рядом с нами располагался чешский лагерь, но там, видимо, уже не было места. Числа 20-го апреля Швермер выстроил нас всех на дворе лагеря и попросил меня сообщить людям, что дорога на Потсдам еще открыта. Он готов нас снабдить сухим пайком на трое суток и предлагает эвакуироваться на запад. Я честно перевел все, что он нам сказал, а потом заговорил от собственного имени. Прежде всего я заявил, что сам я никуда не уйду, а буду ждать прихода нашей армии. А желающих уйти хотел бы, мол, только предостеречь от опрометчивых действий. «Посмотрите в сторону Потсдама, — сказал я, — видите ли вы, что там делается?» Воздух к западу от Берлина кишел самолетами, обстреливавшими и бомбившими ведущие на запад дороги, по которым шло отступление. Человек пять или шесть выразили все же желание уйти. Я указал ни них Швермеру. «Хорошо, — сказал он, — они получают продовольствие, а мы, — он показал на себя и на остающихся, — будем отступать потом все вместе...»

Трудно было понять, что должны были означать эти слова в реальности, но пока, по крайней мере, нас больше не трогали.

Ночью я был разбужен громкими артиллерийскими выстрелами, раздававшимися, казалось, прямо над самой головой. Стреляли орудия, неизвестно когда установленные на приготовленных в нашем лагере деревянных лафетах. Начиналась битва за Берлин. С запада тоже стала доноситься канонада, слышалась даже пулеметная стрельба. Фронт, видимо, придвинулся неожиданно совсем уже близко. Остаться в бараках представлялось опасным. Мы улеглись во дворе лагеря неподалеку от бомбоубежищ. В воздухе гудели самолеты, то и дело вешавшие осветительные ракеты. В тех местах, над которыми они висели, начинали рваться артиллерийские снаряды. Это было для меня нечто новое в тактике артиллерийского обстрела. Немцы в свое время так по нас не стреляли.

Утром я обнаружил, что на территории нашего лагеря находятся некий оберст, гауптман и обер-лейтенант. Оказалось, что это штаб полка, занимавшего оборону в районе Груневальда. Капитан все время разъезжал на велосипеде, видимо осуществляя связь штаба с батальонами, а оберст — уже достаточно пожилой, разговорчивый человек, будучи в хорошем настроении, болтал с обер-лейтенантом, довольно флегматичным молодым человеком,

и с нашим лагерным начальством. Пребывали они на свежем воздухе, но поблизости от бетонированной щели, в которую обычно прятались мы. Я с часу на час ждал появления наших, и настроение поэтому у меня было хотя и приподнятое, но весьма беспокойное. Чувства мои мешались и колебались между радостью и страхом. Походив в раздумье достаточно долго по дорожке перед нашим баракom, я опустилсЯ наконец на низкую изгородь, отделявшую дорожку от газона. Изгородь эта именно для того, чтобы на нее не сажались, была обита сверху колючей проволокой. Невзирая на это, я все-таки на нее сел и пригорюнился...

— Эй ты, что ты делаешь, ведь ты разорвешь брюки! — услышал я над собой голос оберста.

Я встал и ответил ему:

— Господин оберст, дело-то ведь не в брюках...

Он меня понял и сказал, переходя на «вы»:

— Вы думаете, они придут сюда? Я этого не думаю. Если только нас не подведут (он не сказал, кто именно и в чем), мы задержим эти орды...

В этот момент обер-лейтенант поднял к глазам бинокль. На высоте не более тысячи метров, как на параде, спокойно и стройно летело несколько наших бомбардировщиков. Они стали разворачиваться. «Выходят на цель», — сказал обер-лейтенант и через секунду добавил: «Бросают»... От самолетов отделились черные сигарки, видимые и простым глазом. Оберст заторопился к щели, а за ним и мы. Я оказался последним, и когда одна из бомб разорвалась метрах в 10—15 от меня, между щелью и нашим баракom, возникло такое ощущение, что на меня на секунду направили пламя паяльной лампы и затем отвели его в сторону. Воздушная же волна прошла, видимо, выше. Вторая бомба попала в соседний барак, где два человека — чех и какой-то отставший от своих бельгиец — играли в шахматы. Барак рухнул. Над кучей древесных обломков некоторое время подымалась пыль, которую затем прорезало пламя. Барак запылал, как спичечная коробка, и очень быстро сгорел весь дотла.

Через некоторое время я услышал, как оберст, разводя руками, говорил кому-то из сотрудников ОТ: «Что же мы можем сделать? Вы же видите, как все получается?..» Еще через некоторое время и он, и его штаб покинули наш лагерь. Орудия, стоявшие в лагере, в этот день вообще уже, кажется, не стреляли. К вечеру они были демонтированы. Но еще оставались на нашей территории какие-

то солдатики, которые флегматично сидели на крыше бетонированной щели. Я прислушался к их разговору.

«Для чего в такой обстановке соблюдается вся эта ненужная форма, все эти строевые фокусы?...» — «Да, понимаешь, это такая рутина, не так-то просто решиться от этого отказаться...»

По лагерю бродил совершенно пьяный Швермер. Заметив этих солдат, он набросился на них: «Вы отступаете, трусы, бросаете нас на произвол судьбы, вы предали вашу немецкую природу...»

Солдатики смотрели на него с совершенным равнодушием. Один из них, не повышая голоса, заметил: «Он пьет наш шнапс и спьяну нас же ругает...»

В этот момент у ворот лагеря разыгралась, однако, совершенно трагическая сцена. Там стоял какой-то фельдфебель и что-то громко и надрывно кричал высокому черноволосому солдату. Тот подскочил к фельдфебелю и что-то негромко сказал ему, после чего фельдфебель с проклятиями расстегнул кобуру, извлек пистолет и выстрелил в лицо солдату. Произошло все это буквально в одно мгновение. Я наблюдал эту сцену издали, от двери нашего барака. Голова солдата резко упала ему на грудь, и с нее свалилась пилотка, а затем и он весь, как мешок, рухнул наземь. Два подбежавших сотрудника ОТ подняли его и как бы пытались снова поставить его перед фельдфебелем. Голова солдата заваливалась при этом то назад, то набок. Все они зачем-то принялись раздевать мертвого солдата, пока он не остался в одном белье. Ко мне подбежал один из этих ОТ и сказал, что необходимо вырыть неглубокую яму и засыпать его землей: «За ним потом приедет полиция... — сказал он, — и заберет его... Он отказался исполнить приказ...»

Четверо наших пошли туда с лопатами. Я слышал, как немцы кричали им, приглашая разобрать вещи убитого, к которым, однако, никто из наших не притронулся. «Какая там полиция, — подумал я. — Давно уже нет никакой полиции... Иначе небось прежде него уже забрали бы и меня...»

Выходить за пределы лагеря становилось рискованно. Но когда я после этого происшествия в возбуждении ходил по шоссе перед лагерными воротами, ко мне вдруг подошла неизвестно откуда взявшаяся невысокая старая женщина в домашней затрапезной одежде, точно она только что вышла из своей кухни, хотя вблизи лагеря не оставалось уже никаких частных жилищ. На нее никто из находившихся поблизости не обращал никакого внимания. Заметив, что я смотрю на нее, она сама подошла ко мне

и заговорила: «Зачем разрушают наши последние дома? Я не понимаю, как это можно. Ведь нужно же нам где-то жить?» Я молчал, начиная догадываться, что передо мной ненормальный, сведенный с ума всем происходящим человек. Она продолжала: «Вот вы такой молодой и сильный... Неужели вы не можете воспрепятствовать этому бессмысленному уничтожению? Скажите же вы им, чтобы они перестали разрушать последние уцелевшие жилища...» Острая жалость резанула меня по сердцу. Сквозь слезы я как мог стал утешать несчастную женщину: «Успокойтесь, пожалуйста, я обязательно постараюсь прекратить эту войну. Все скоро кончится... Я сделаю все, что могу, для того, чтобы ваш дом не был разрушен...» Она смотрела на меня с доброй улыбкой. Лицо ее оставалось при этом серьезным. Она поблагодарила меня, и после того как я спросил, не могу ли я отвести ее домой, уже не отвечая, пошла прочь. На ногах ее были домашние туфли-шлепанцы, которые шаркали по асфальту...

К вечеру в Груневальде не было видно ни одного немца в солдатской форме. Наши соседи-чехи высказывали уверенность в том, что сегодня ночью придут русские. И приглашали нас в свой лагерь — у них-де глубокие бомбоубежища. Мы приняли приглашение, и лезть пришлось прямо как в какой-то колодец. Народу внизу было ужас как много. В самое бомбоубежище мы с Василием Ивановичем даже и не проникли, а примостились к стенке у входа. Сидя на какой-то приступочке, я в конце концов и уснул. Проснулся я неизвестно когда. Электричество в бункере не горело, лишь сверху проникал скудный трепещущий свет от очень сильной артиллерийской канонады. Стреляли из легких орудий, но так интенсивно, что звуки выстрелов сливались в один сплошной стон. Иногда слышалось лязганье гусениц по асфальту. Я понял, что это проходили советские танки. Через некоторое время все совершенно стихло. Час или два сверху не доносилось решительно никаких звуков. Мимо нас некоторые люди стали пробираться к выходу. Василий Иванович заявил, что он пойдет на разведку и поищет какой-нибудь еды. Есть действительно очень хотелось. Как я его ни уговаривал хоть немного повременить, он не послушался, полез наверх и исчез. Я ждал, как мне показалось, не менее получаса — Василий Иванович не возвращался. Тогда я сам решил выглянуть на поверхность. Вокруг все было совершенно пустынно и спокойно. Через отверстие в заборе я проник на территорию нашего лагеря. Тут было заметно некоторое движение. Среди каких-то бумажных мешков стоял один из наших поваров-немцев. «Карл, — обратился

я к нему, — нет ли у вас для нас какой-нибудь еды?» — «Вон имеются галеты, — ответил он мне. — Но теперь здесь распоряжаются русские...» И он указал рукой на человека, присутствия которого я до этого момента не замечал. Это был мужичок в ватнике и зимней шапке-треухе. В руках он судорожно сжимал автомат, то и дело оглядываясь опасливо в разные стороны. Когда я крикнул ему: «Здорово, друг!» — он, точно еще больше испугавшись, скороговоркой затараторил: «Ребята, поскорей... ребята, поскорей...» Его, видимо, поставили тут в качестве конвоира немцев или нашего караульщика, а он смертельно боялся и этого одиночества среди чужих и всяческих неожиданностей. Руки его так вжимались в автомат, точно он готов был спрятаться в его ствол... «Сейчас я позову людей», — сказал я ему. Подойдя снова к лазу в погреб, я закричал вниз: «Выходите, выходите... русские уже здесь...» И народ стал вылезать. Скоро нас собралось человек 50–60. Солдатик снова заволновался: «Пойдемте, ребята, пойдемте поскорей...»

В ограде нашего лагеря танк проделал большой пролом, к которому и направил нас часовой. Через небольшой перелесок, на опушке которого я познакомился с Рутей, мы направились на другое шоссе, шедшее под углом к Avus'у¹. Неизвестно откуда взявшись, к нашему конвою тут присоединились еще два автоматчика. На шоссе стояло около десятка танков, вокруг которых толпились люди, одетые так же, как и наши конвоиры: меньше всего они напоминали своим видом солдат регулярной армии, а скорее каких-нибудь партизан. Нас остановили на расстоянии метров ста от танкового отряда, и мы, сгрудившись, смотрели на эти машины и на людей, казалось, не обращавших на нас внимания. Мои усталые от всего пережитого глаза видели в тот момент плохо. Зрелище было довольно зловещее. Было в нем что-то от той картины, которая запала мне в душу в момент нашего пленения немцами в 1941 году. «Вот повернут сейчас танки в нашу сторону да и перестреляют ко всем чертям...»

Через некоторое время к нам подошел человек, одетый, в общем, как и все остальные, но с офицерскими погонами. Хотя я уже и не впервые видел на наших командирах погоны, но все еще это было мне очень странно. Хотя они, по моим воспоминаниям, и были совершенно такие же, как и в царской армии, но общий

¹ АФУС — гоночная трасса в Берлине.

облик этих советских командиров с погонами был все же абсолютно иной. Офицер представился нам как майор и командир этого танкового подразделения. Он прежде всего распорядился, чтобы мы разделились по своим национальностям. Образовались три группы: две большие — русские и чехи, и одна маленькая — немцы. В последней я заметил Швермера. Он был все еще совершенно пьян и потерял даже свою пилотку. Из нашей группы майор приказал отделить женщин, и когда они отошли к группе чехов, он подошел к нам ближе и произнес следующее: «Так значит вы русские? Есть среди вас бывшие солдаты и офицеры советской армии?» Ему ответили, что почти все — солдаты и офицеры. «Ну, мы сейчас не будем разбираться, кто как из вас оказался у немцев. Да это и не наше дело. Наше дело — воевать. У нас не хватает танковой пехоты... Что делает танковая пехота? Да сейчас почти что ничего не делает — мин больше нет... Идет за танком... а вот, если он там засел с панцерфаустом (майор показал на ближайшие кусты), надо его оттуда выкурить. Вот для этого и нужна пехота...» При этом он криво ухмыльнулся. «Зачисляю вас в танковую пехоту...» Потом он оглядел нас еще раз. Большинство наших ребят явилось с чемоданами и мешками, наполненными нажитым за время пребывания в Груневальде барахлом. «Барахло бросьте. Оно вам не нужно». Кто-то спросил, нельзя ли его отправить домой, в Россию. Майор ответил: «Каждый боец раз в месяц может послать посылку и не такое барахло, а действительно ценные вещи... Не пейте, — прибавил он. — Выпил — значит уснул; уснул — значит отстал, а отстал — почти наверняка погиб... Война, имейте в виду, идет не впереди, а сзади нас. Когда стреляют сзади нас, это значит, что не по нас. А когда стреляют впереди нас — этого мы не любим... Вон я вижу из того здания подают какие-то знаки. Я сейчас и прикажу открыть огонь по этому дому...»

Но он, видимо, забыл об этом намерении. Из тыла стали подходить машины с боепитанием и другим снаряжением. Это была хозчасть. Из одной машины вылез человек выраженно еврейского вида. «Берман, Берман приехал», — загалдели кругом танкисты и стали громко наперебой заявлять ему всякие претензии. Майор потребовал у него какое-либо обмундирование для нас. Тот ответил, что у него ничего нет таким тоном, точно это был не приказ, а вопрос покупателя в магазине. Майор нахмурился. «Что-нибудь найдете...» Из ближайшего к нам танка выскочил человек с длинным деревянным шомполом с намотанной на него масляной тряпкой и стал быстро прочищать ствол орудия. При этом он гро-

могласно и матерными словами поносил командира хозвзвода. Ни тот, ни стоявший поблизости майор не обращали на это никакого внимания.

К нам подошел молодой лейтенант, представился как помощник политрука и принялся нас переписывать. «Хотя вы все, без различия ваших прежних званий, будете служить как бойцы, знать, где и кем вы служили в армии, нам необходимо. После того, как я опрошу вас, снова принесете присягу...»

Глядя по сторонам, я обратил внимание на происходившие вблизи передвижения других воинских подразделений. Совсем близко от нас четверо солдат какой-то пехотной части катили за собой пулемет «Максим». У них были совершенно такие же изможденные и искаженные страхом лица, как и у нас в 41-ом году. Чувствовалось ясно, что для них ничто не было важно — ни то, что они почти уже в Берлине, ни то, что война подходит к концу, — кроме того, что по ним могут тотчас же открыть огонь и они погибнут... Чувствовалось, что всякий новый рубеж, каждый шаг вперед был для них заведомо страшен, хотя бы одной своей неизвестностью...

Когда дошла очередь до меня, и лейтенант узнал, что я инструктор санвзвода, он сказал: «Вот вам, пожалуй, все-таки придется заняться вашим прежним делом — очень не хватает медперсонала». Я, разумеется, этому очень обрадовался. «Сейчас поговорю с начальством». И он обратился к какому-то офицеру. Между ними завязался оживленный спор. Не знаю, чем бы он кончился, если бы в этот момент прямо в нашем расположении не разорвался артиллерийский снаряд... И тут же, один за другим, снаряды посыпались еще и еще прямо на наши головы.

Я уже и раньше обратил внимание на то, что откуда происходили все описанные дела и разговоры, некоторые бойцы танковой части, видимо именно ее пехотинцы, с хмурыми лицами и автоматическими движениями рыли метрах в двух-трех от шоссе маленькие защитные окопчики на одного-двух человек. Видимо, они уже не раз испытали нечто подобное тому, что для меня в этот момент явилось совершенной неожиданностью.

Немецкая артиллерия, может быть та же самая, несколько орудий которой находилось недавно у нас в лагере, вела по нашей танковой части ураганный огонь. Началось совершенное безумие: на воздух взлетали фонтаны земли, с треском ломались и падали большие деревья. Люди искали укрытия в танках, которые, так же как и грузовые машины, тотчас же пришли в движение, стараясь

рассредоточиться. Я было прыгнул в окопчик, но снаряды ложились так густо, что прямое попадание в него представляло реальную угрозу. Заметив, что одна из грузовых машин буксует задним колесом на обочине шоссе, но вот-вот вырвется и умчится, я выскочил из окопа и ухватился обеими руками за задний борт машины, которая действительно сразу же помчалась по шоссе, унося меня прочь от проклятого места. Проехав в висячем положении с полкилометра, я отцепился от замедлившей ход машины и оказался на шоссе. Сзади еще доносился гул разрывов и треск падавших деревьев.

Окончание войны. Переход через Восточную Германию

Шоссе было совершенно безлюдно. Оглядевшись более внимательно, я заметил у опушки леса, около самого шоссе, советский танк. Недалеко от него под деревом сидели два офицера. Я направился к ним. Приблизившись, я спросил, не принадлежит ли их танк к той же танковой бригаде. Меня в свою очередь спросили, кто я такой. «Я бывший военнопленный, освобожденный этой танковой частью и уже почти что в нее зачисленный... Нас должны были привести к присяге, как вдруг по нас поднялся ураганный артиллерийский огонь, хорошо и сейчас слышный отсюда».

«Это все буза, — недовольно сказал один из офицеров. — Берлин (он произнес это наименование с ударением на первом слоге) будет взят...» Я ответил, что-де вовсе в этом не сомневаюсь и даже допускаю, что он уже взят, так как мы находимся к западу от Берлина, а советская армия в общем-то ведет наступление с востока...

Вместо ответа меня спросили, откуда я и в каких частях служил. Я ответил. «Эй, ну-ка, поди-ка сюда, — обратился один из моих собеседников к кому-то, находившемуся внутри танка. — Нашли тебе земляка». Последнее было произнесено не без некоторой доли иронии. Из танка вылез еще один офицер. Подойдя ко мне, он повторил все уже мне заданные вопросы, на которые я снова ответил.

«А как вы можете доказать, что вы действительно из Москвы?» — «Доказать?» Я было растерялся... Как, действительно, я ему мог бы это доказать? «Впрочем, могу», — сказал я и, порывшись в моем мешочке из-под противогаза, снова вмещавшем все мое имущество, я извлек оттуда несколько писем, полученных из дому еще летом 41-го года. «Вот письма, которые мне удалось сохранить...» Он взял один из конвертов, посмотрел на марки и штемпеля и вернул мне его обратно.

— Да, — сказал он задумчиво, — так вот что я вам должен сказать: вы не ищите эту танковую часть. Она вам не нужна. Они и зачислить-то к себе вас не имели права. Чистое самоуправство. Такие, как вы, у нас давно уже не воюют. Идите в тыл до первой военной комендатуры. Оттуда вас по этапу отправят домой. Только говорите всю правду, ничего не скрывайте...

— Да мне совершенно нечего скрывать.

— Вот, говорите всю правду, и вас в конце концов направят домой...

Я поблагодарил его и двинулся по шоссе в ту сторону, куда уехала вывезшая меня сюда из лесу грузовая машина. Долго я шел совершенно один, но постепенно дорога начала оживать, и я догонял людей, идущих в ту же сторону, что и я. Люди, попадавшиеся мне, были поляки и чехи, отбившиеся от своих и надеявшиеся к ним присоединиться с помощью военного коменданта. Около одного из придорожных зданий было заметно некоторое движение. Люди входили и выходили. Я более инстинктивно, чем намеренно, подошел к нему. Оказалось, что внутри был небольшой склад немецкого «долговечного» хлеба. Это было уже кое-что. С голоду, стало быть, я не помру. В моей противогазной сумочке появился двух-трехдневный запас этого хлеба, который от пребывания во рту, хотя и очень медленно, гораздо медленнее, чем обычный сухарь, размягчался и разжевывался. Впереди меня долго маячили три фигуры, с которыми я в конце концов поравнялся. К моему удивлению, это оказался Зайцев с женой и еще с какой-то женщиной. Мы были обрадовались друг другу, и Зайцев стал меня приглашать присоединиться к его компании и не торопиться: «Успеем, неужели не навоевались». Но во мне все было опять полно тревожной неизвестности, и я сказал, что, по-моему, зря болтаться не следует и нужно скорее дойти до комендатуры. «Ну, беги, беги, — напутствовал меня Зайцев, — местечко там для нас забронируй...»

Поселок, по которому я затем шел, показался мне чем-то знакомым. Я стал соображать. Господи, да это же Ванзее, между Груневальдом и Потсдамом, где мы с Руттой — в этот момент мне показалось, что так еще недавно — были вместе у ее сестры. Я смутно помнил адрес. Ведь это была, может быть, последняя возможность сообщить ей о себе, если только мне удастся сейчас увидеть кого-нибудь из ее родственников. Улицы были совершенно безлюдны, жалюзи на окнах опущены. На некоторых домах висели полотенца и тряпки, символизировавшие белые

флаги. В одном месте было вывешено даже что-то красное... Да, вот он и этот самый дом. Дверь его оказалась открыта настежь, а на земле у самого крыльца валялся черный военно-морской мундир, тот самый вероятно, который был на Рутином родственнике. Я подошел к двери и окликнул его предполагаемых обитателей, но мне никто не ответил. Дом был явно пуст. Тогда я попробовал постучать соседям. Тоже никакого ответа, хотя и двери и окна целы. Я было уже решил отказаться от моих попыток, как вдруг в одном из соседних зданий открылось мансардное окошечко и какой-то старичок сказал мне, что в том доме, куда я стучал, должны быть люди, надо только зайти с другой стороны. Я постучал снова в другую дверь. Мне открыла какая-то женщина, смотревшая на меня с плохо скрываемым ужасом. Вид мой, действительно, был более чем экстравагантен: выдавшая виды русская шинель нараспашку, на голове черная шляпа с полями — подарок Василия Ивановича. Через плечо противогазная сумка... Однако моя немецкая речь и тут произвела свое действие. Женщина ответила мне спокойно и довольно любезно, что Рутин сестра еще месяц тому назад выехала. Я попросил ее тогда принять от меня записку для пересылки Руте при возникновении такой возможности. Она согласилась. Я написал о том, что со мной произошло, что я снова мобилизован в армию, прощался и обещал сообщить о себе, как только для этого будет появляться возможность. У меня стало как-то легче на душе, точно мной был исполнен какой-то долг. После этого я шел дальше уже гораздо спокойней.

Дорога, по которой я двигался, явно поворачивала к северу, в обход Берлина. В каждом селении на домах, казавшихся столь же пустынными, как и в Ванзее, висели белые полотенца. Станным образом, совершенно не было видно никаких советских военных частей, только изредка мимо на быстром ходу проезжали грузовые автомашины, видимо со снаряжением. Удивительным образом не было слышно и никаких боевых звуков, если не считать гула авиационных моторов в воздухе, на порядочной, впрочем, высоте. Странно, что дорога так пустынна и никем не охраняется, как-то не похоже на наших, думалось мне. И вообще, что-то на редкость мало пехоты? То ли она как-то стороной прошла, то ли, действительно, танки вырвались на значительное расстояние вперед? Идешь точно по какой-то пустыне — не видно ни немцев, ни русских.

В одном небольшом городке, через который проходило шоссе, я вдруг увидел в кювете человеческую голову.. Вздрогнул и оста-

новился. Это была бронзовая голова Гитлера от статуи примерно в натуральную величину. Как она угодила сюда? Поблизости не было видно не только что самой статуи, но даже и какого-либо подходящего для нее места. Голова Гитлера в кювете... Только теперь я почувствовал вдруг самым нутром, что с германским фашизмом покончено...

Однако ведь где-то еще идет война? Берлин-то еще ведь все-таки, наверно, не взят? Какое же сегодня число? Я стал ломать себе голову, высчитывая — какое могло быть число, и решил, что это было, вероятно, 26 или 27 апреля. Пока я об этом размышлял, над головой вдруг раздался характерный визг авиационной бомбы, и я инстинктивно бросился в кювет. Бомба разорвалась совсем близко, осколки свистнули надо мной и заскрежетали по асфальту дороги. Она была, впрочем, невелика — воронки я никакой не обнаружил, равно как и не видно было, куда же девалась вторая (сбрасывали-то их всегда парами). Я на всякий случай полежал еще минут пять, но это было все, какая-то, видно, совершенно случайная бомбежка...

Двинувшись дальше, я набрел на двух пареньков, одетых во французское обмундирование. В ответ на обращение я услышал ломаные немецкие слова и тогда спросил их по-немецки, кто они такие. Оказалось — поляки, после чего я перешел на русский язык, и мы пошли дальше вместе, так как цель у них была та же, что и у меня, — ближайшая военная комендатура. Один из пареньков вел велосипед, к багажнику которого был приторочен небольшой радиоприемник. Втроем мы отваживались заглядывать в пустые дома в поисках чего-либо съестного, но напрасно. Только в одном месте в кладовочке при кухне стояли стеклянные банки с консервированными овощами. Банки были прикрыты стеклянными крышками, плотно державшимися за счет образовавшегося в банках — при остывании залитого в них содержимого — вакуума, — такой простой и, однако, совершенно неизвестный в нашем домашнем хозяйстве способ. Открыв одну банку, я убедился, что овощи абсолютно без соли — есть их было противно. Мы все-таки поели, сколько могли, но про запас не взяли — и тащить было неохота, и уж очень противно на вкус...

Хотя по сведениям поляков, полученным от каких-то русских солдат, ехавших на машине, комендатура должна была находиться где-то недалеко, добрались мы до нее только к вечеру. Я прошел в этот первый день моего освобождения из плена километров 25—30, и ноги у меня изрядно гудели и ныли. От ревматизма

и резкого авитаминоза голени сильно отекали и вены раздулись, а от ходьбы ноги стали как колоды. Ходить на них было трудно и больно. Я вспоминал предположения нашего белобрысого Ивана о том, что «будут поданы товарные вагончики...» Интересно бы знать, где начинается действующая железная дорога? С такими мыслями добрался я наконец до комендатуры. Узнать ее можно было по толпившемуся на дворе гражданскому люду разных национальностей. У ворот на небольшой фанерной дощечке было написано краской: «хозяйство Прохорова». Я еще не видал таких надписей и не мог понять — не шутка ли это? Я вспомнил только, что в начале войны у нас вообще не было никаких вывесок и никаких указателей. Указателей на дороге, по которой мы сегодня шли, тоже, впрочем, не было никаких. На дворе собрались люди обоего пола. Некоторые лежали на земле, другие переговаривались, сидя или стоя небольшими группками. «А где же комендатура?» — спросил я. Мне показали на дверь небольшого двухэтажного здания. Внутри обычная мебель жилого помещения была сдвинута к стенам, и только кровати с большим количеством перин явно использовались по назначению. В одной из комнат я набрел наконец на сидевшего за столом человека в военной форме, с солдатскими погонами. Вид у него был равнодушный и несколько даже осовевый. Я на него не произвел никакого впечатления. Когда я сказал ему, кто я такой, он вытащил откуда-то замусоленную тетрадку и вписал в нее сообщенные мною данные. На вопрос о том, что будет со мной дальше, он сказал, что в ближайшие дни отправят на формировочный пункт. «А поесть чего-нибудь дадут?» — «Завтра утром будет раздача сухого пайка». — «А где комендант?» — «Ходит по хозяйству...»

Выйдя во двор, я тоже решил «пройтись по хозяйству». Завернув за угол здания, я набрел на полевую кухню, около которой возился солдатик. Из разговоров с ним я выяснил, что кухня обслуживает только персонал комендатуры, а в отношении нас распоряжений еще не было. Когда я вышел к воротам, мне навстречу попался офицер с капитанскими погонами и с обнаженной шашкой в правой руке, на которую он опирался, как на трость. Был он явно на взводе, с красным лицом и мутным взглядом. Что-то проносил, ни к кому особенно не адресуясь. Хотя это и был явно наш комендант, охоты говорить с ним у меня не возникло. По окончании этой рекогносцировки я нашел себе местечко во дворе под навесом, где и улегся спать, благо было довольно тепло.

Утром нас несколько раз выводили за ворота, строили и счита-

ли. Потом был роздан хлеб — по буханочке на двоих — и кружечкой, каждому в его тару (в тряпочку, в шапку), насыпали грамм 300—400 перловой крупы. Что с ней было делать — неизвестно, но все брали, взял и я свою порцию, которую мне всыпали в бывший кисет, подаренный мне когда-то Натальей Александровной и сохранявшийся среди моих реликвий.

Нас собралось человек до сотни, разнополых, разного возраста и разных национальностей людей. Для сопровождения нам были приданы два автоматчика и две подводы — прекрасные большие телеги, запряженные парами рыжих немецких битюгов. Сказано было автоматчикам, чтобы на телеги подсаживали для отдыха более слабых. Я бодрился и сначала шел за телегой, но в конце концов, глядя на мою колченогую походку, меня стали уговаривать сесть на подводу. «Отдохни, папаша», — сказал мне наконец один из автоматчиков, совсем молодых ребят. Я уселся, а так как сидеть было мне без дела скучно, то я попросил у правившего подводой украинского мужичка вожжи. Он не очень охотно, но все же передал их мне, а сам стал закуривать. Я тем временем начал подергивать вожжи, пытаюсь заставить лошадей прибавить шаг. Это возмутило моего возницу, и он тотчас же отобрал у меня их обратно: «Тебе коней моих не жалко, а мне на них аж до самого дому ехать...» — «Да какие же они твои? Это же казенные трофейные лошади...» — «Мне их капитан дал. Сказал: “Вот тебе, отец, кони, езжай до хаты...”»

Бесполезно было пытаться объяснить человеку, что он на этой подводе доедет вряд ли дальше ближайшей комендатуры: пусть пребывает в своей блаженной уверенности. Пожилые деревенские люди, которых в свое время множество эвакуировалось с немцами, в особенности же украинцы, были совершенно уверены в том, что они через неделю-другую вернутся домой и никто им больше в этом не помешает. Раздобыть бы только харчей на дорогу... а это было дело нелегкое.

На одной из ночевок в деревенской придорожной усадьбе я заметил какое-то оживление в сарае. Оттуда выбежала какая-то женщина с криком: «Ось людям привалило счастье...» Я пошел поглядеть на это счастье и увидел, как два мужичка упаковывают в торбу пять или шесть стеклянных банок со свиным салом, видимо плохо припрятанным ушедшими немецкими хозяевами. Один из мужичков деловито приговаривал: «Мы ж как раз говорили — где взять харч? А теперь нам хватит как раз до самого дома...»

После примерно недельного хождения мы пришли в Коттбус — небольшой город к юго-востоку от Берлина, километрах в 120 от него. В городе были большие казармы, видимо еще старых времен, и там помещалась комендатура. Часть казарм была занята нашими войсками, а в некоторых корпусах виднелись люди в гражданском платье, видимо вроде нас. Но в первую ночь мы не попали в эти казармы — не было места; всей нашей компании было предложено покуда расположиться по соседству, в довольно большом двухэтажном доме. Когда я вошел в него, нижний этаж с кроватями, валявшимися на полу перинами и подушками был уже основательно занят. Заметив деревянную лесенку на антресоли, я поднялся туда. Она привела меня в небольшое помещение из трех отделений, разобщенных не дверями, а широкими арками и разного уровня полами. В первом помещении у самой лестницы расположились пять или шесть девушек. Я сначала прошел было в самое дальнее помещение, но там уже слышались голоса и при этом говорили на французском языке. Мне ничего не оставалось, как задержаться в среднем помещении, где стоял старенький диванчик, на котором уже кто-то лежал. Еще человека два лежали около диванчика на полу. Я расположился у противоположной стены. На все три помещения имелась одна электрическая лампочка в первом отделении, у девушек. Я было уже начал засыпать, как вдруг по лестнице раздалось громкое топанье тяжелой обуви и послышались мужские пьяноватые голоса. Вошли три вооруженных винтовками солдата. Один из них тотчас же поднял винтовку и выстрелил в лампочку. Грохот и тьма. Ни у нас, ни в комнате французов никто не шелохнулся. Но вскоре же раздались испуганные и возмущенные женские крики. Солдаты явились в гости к нашим девушкам — не было никакого сомнения. Возня и крики продолжались минуты две-три, после чего на негодующие возгласы девушек отвечал уже только один мужской голос — упрямей и пьянее других. Одна из девушек громко плакала, умоляла парня не трогать ее, жаловалась, что он ей вышиб зуб. А он проклинал ее, называл фашистской подстилкой, не жалеющей своих... Ему же вот завтра в бой, может убьют, а она никак не забудет своих фашистов... Почувствовав какую-то нотку сентиментальности, его начали срамить и укорять другие девушки: «Постыдился бы хоть иностранцев», — сказала было одна из них. Это вызвало новый поток ярости: «Всех гадов перестреляю...» Я благословлял судьбу за то, что никто из наших мужчин не вмешался в эту историю. Если бы нас не перестреляли сами эти парни, то потом это же самое

могло бы сделать их начальство... в порядке антифашистского террора.

Девушки стали выпрашивать парня, откуда он родом, есть ли у него мать, сестры?.. Этим способом им удалось в конце концов его утихомирить, а потом и выпроводить. Как только его шаги затихли внизу лестницы, первыми раздались негодующие голоса французов. Это был шквал возмущения и презрения. К их проклятиям присоединился мат моих непосредственных соседей. Кто-то даже предлагал сходить пожаловаться коменданту. Я вспомнил нашего первого коменданта с саблей в качестве трости и подумал, что вряд ли такой комендант нам много помог бы. А так как девушки голоса не подавали, как будто бы ничего и не случилось, то вскоре утихомирились и мы.

Утром я направился на казарменный двор в надежде разыскать там уборную. Двор за ночь наполнился военными обозными повозками. Кто-то из ездовых заметил меня и тут же проявил бдительность. «Земляк, ты чего ищешь?» Я объяснил. «Вот чудак, уборную... Садись вот посреди двора да и валяй...» Я отшутился: «В Германии так не полагается». — «А ты русский?» — «Русский». — «Так как же ты сюда попал? Пленный? Ну-ну, не похвалят тебя теперьча наши...»

Конечно, люди, пришедшие на фронт в 1943—44 годах, могли не иметь ни малейшего понятия о том, что происходило в начале войны и каково было количество попавших в плен людей. Но и в 43-ем году пленных было не так еще мало, чтобы вообще не иметь понятия, как это люди попадают в плен. Да и по физиономиям этих людей, которые разговаривали со мной таким тоном, достаточно хорошо было видно, что они более прикидываются непонимающими, а главным образом воспроизводят поведение начальства, не желающего слышать ни о каких пленных. «Русский? Как же вы сюда попали?» Слова эти, раздававшиеся со всех сторон, приводили меня в совершенную ярость...

В доме, где мы ночевали, в одной из комнат первого этажа, обнаружили хозяева-немцы — старик и его жена. Найдя где-то конверт, я написал Руте письмо, более подробное, чем та записка, которую я впопыхах нацарапал в Ванзее. Это письмо я передал старикам и попросил их, когда наладится почта, отправить его по написанному на нем адресу — это был приблизительный адрес Рутиных родителей. В России я бы не рискнул написать такой адрес, в котором далеко не был уверен. Но это была Германия. «Здесь

письма не пропадают», — сказала мне когда-то Рута, и я ей в этом хотел бы теперь особенно поверить...

К вечеру мужчин перевели в казарму, а там отделили военнопленных от гражданских лиц. Я очутился в группе бывших офицеров. Среди них были довольно интеллигентные люди, которые и меня не захотели от себя отпускать. «Ведь вы не офицер по чистому недоразумению, — говорили они. — Если бы вы не попали так быстро в плен, вам бы присвоили офицерский чин». Я не спорил, тем более что пребывание среди офицеров сулило некоторые преимущества — ими не так помыкали и обращались немного пожеливее.

Разнесся слух, что русский комендант Коттбуса вчера был убит. Когда я решил проверить этот слух у старшины, служившего при комендатуре, он равнодушно сказал: «А это почитай уже третьего коменданта убивают, никто становиться на это место не хочет...» Я представил себе, что такой комендант, как тот, с шашкой наголо, которого я видел в первой комендатуре, конечно, может по грубому обращению и непробудно пьяному состоянию стать объектом чьей-нибудь неосмысленной злобы или отчаяния. Именно здесь, в Коттбусе, я убедился, что комендатуры обслуживались войсками НКВД, — войсками, имевшими дело преимущественно с заключенными. Грубость была для них нормой поведения. В этот же день мне довелось слышать, как какой-то лейтенант, строивший группу гражданских лиц, направлявшихся на какую-то работу и недоумевавших, что за работа и справятся ли они с ней, наглово покрикивал, что работать теперь придется на такой работе, какая будет... «Кто не умеет — научим, кто не захочет — заставим...» Эта последняя формула звучала уже совершенно по-лагерному.

Вторым вопросом, обращенным мной к старшине, был вопрос о том, как бы мне написать домой. Меня это волновало с самого освобождения. И все не представлялось подходящего случая не только что для отправки письма, но даже для выяснения того, как это сделать. Старшина посмотрел на меня с явным сожалением: «Эх, браток, ну чего ты сейчас будешь писать? Ведь куда вас ведут? Ведут вас на формиловочный пункт... А оттуда пошлют тебя на передовую. Сколько ты на передовой пробудешь? Неделю — больше ты там не пробудешь: или тебя убьет или ранит... Вот, если тебя ранит, ты попадешь в лазарет, самое меньшее на месяц... Тут ты и пиши в надежде получить ответ...»

Меня поразила практическая мудрость этого человека. Я от

души поблагодарил его за совет. Конечно, он совершенно прав. Надо подождать хоть немного, трезво оценить обстановку. А то, действительно, представить себе только, что я пропадал четыре года, и вот от меня приходит письмо, после которого я опять исчезаю и, может быть, уже навсегда... Нет, необходимо повременить, старшина трижды прав.

Нам объявили, что мы зачислены в состав запасного полка, находящегося в распоряжении штаба армии. Штаб этот два или три дня как куда-то отбыл, так что и нам предстоит двигаться вслед за ним в самое ближайшее время. Командовал этим полком какой-то лейтенантик лет 22-х, но уже не войск НКВД, а какого-то пехотного подразделения. К нам, как оказалось, он относился с совершенным презрением, что воспринималось некоторыми бывшими офицерами значительно более высокого ранга довольно болезненно.

Перед началом похода нас выстроили. Офицеры оказались впереди в виде отдельного подразделения. В стороне стояло несколько конных повозок, приданных, видимо, нашему полку. Командир хмуро оглядел нас и спросил: «Кто не может идти?» Из нашего офицерского строя — всего нас было человек двести — вышло вперед десятка два, среди них и я. Лейтенант поглядел на нас еще более хмуро и, обращаясь ко мне, спросил: «Что у вас болит?» Обращение на «Вы» меня несколько окрылило, и я уже мысленно представил себя сидящим на подводе. «Ноги болят», — ответил я. «А у меня ж... болит», — сказал лейтенант. Не помню, освободил ли он хоть кого-либо от пешей ходьбы. Все это была или чистая шутка, или же он хотел видеть каких-либо настоящих калек, каких среди нас все же не было.

Хотя все мы были в большей или меньшей степени дистрофии и по лагерной терминологии «доходяги», но возраст в среднем был тридцатилетний, и угнаться мне за ними было очень нелегко. Хотя никто не кричал «шире шаг», но мне не отставать от товарищей первое время стоило величайшего напряжения. Шел я, в глазах у меня мутилось, казалось — вот-вот упаду. Я себя, как и прежде, в 41-ом году, уговаривал и подбадривал. «Хорошо, — говорил я себе, — я уже действительно почти не могу идти, но 20 шагов-то я могу еще пройти? Давай-ка пройдем, прежде чем падать, эти двадцать шагов». Потом еще двадцать и еще... В конце концов я стал втягиваться в общий ритм, совершенно так же, как это было в начале войны, когда мы шли из Москвы к фронту.

Тоже очень трудно было привыкать к сорокакилометровым переходам, хотя я тогда был и здоровей и моложе.

Но и тут, через какую-нибудь неделю, я уже шагал как человек. Опухоли на моих ногах опали, голова перестала кружиться, общий жизненный тонус стал несколько выше. Правда, что мы еще были чертовски голодны. Как и прежде, получали хлеб и крупу. Хлеб съедали, а крупу хранили впрок, в ожидании какого-либо более благоприятного случая. Кое-где нам все же перепадали какие-нибудь съедобные трофеи: то сухари какие-нибудь, а то даже и консервы. Однажды мы с остервенением накинудись на грузовую машину, груженую банками со сгущенным молоком. Стоящий на машине паренек в гражданском платье, такой же, видимо, освобожденец, как и мы, кричал отчаянно-истощенным голосом: «Товарищи, да что же вы делаете, что вы такое делаете — ведь это же не трофейная машина...»

Трофейная — не трофейная, а кто был поближе, словчился захватить баночку, а то и две молока. Рассуждать в тот момент было совершенно невозможно. Кажется, если бы по нас тогда открыли огонь, и то не сразу бы отпугнули...

На таком ходу в дневное время шинель меня порядочно тяготила. У всех, кроме меня, имелись все же кое-какие вещи — небольшие чемоданчики, сидоры, узелки. И люди приспособлялись — кто сломанный трофейный велосипед, кто детскую коляску. Я пристал к небольшой компании с такой коляской и клал на нее свою шинель. С противогазной сумочкой, висевшей через плечо, я не хотел расставаться, как меня ни уговаривали, — в ней было все мое богатство — письма и стихи.

В эти дни на дорогах Восточной Германии можно было подобрать все что угодно. Имущество, ранее сосредоточенное в домах, постепенно переместилось на дорогу.. Вот идет человек, согнувшийся под тяжестью огромного узла. Несет он его, несет некоторое время, а потом ему начинает казаться, что в доме, мимо которого он сейчас идет, сосредоточены вещи более для него интересные и ценные, чем те, которые у него в узле. Узел летит на землю, барахло рассыпается, разносится ветром, прибивается ногами, а человек устремляется за новой добычей, с которой, вероятно, поступит потом так же, как и с этой. Огромное количество всякого домашнего скарба и одежды валяется на дорогах. Проходит сильный дождь, все это смешивается с пылью, с землей, притирается к поверхности дороги, ко дну кювета...

А на дорогу сыплются все новые и новые вещи, которые ожидает та же самая участь...

Уж если надо было заниматься такого рода экспроприацией, будь она проведена организованно, миллионы людей, вероятно, могли бы быть элегантно одеты и обуты. А так все пошло прахом...

На пути от Берлина до Коттбуса я почти не видел следов войны. Продвижение советской армии не встречало здесь, видимо, уже никакого сопротивления. Но когда мы двинулись из Коттбуса в Саксонию, дороги оказались завалены брошенной или разбитой военной техникой, грузовым и легковым транспортом. Впечатление было такое, точно бои происходили здесь совершенно недавно. Развалины как бы еще дымились; в деревнях, почти вовсе лишенных жителей (ушли ли они на запад, спрятались ли где-либо здесь — трудно было сказать), некоторые дома были насквозь изрешечены артиллерией. То и дело перед глазами вставали картины последних конвульсий немецкого зверя войны, истерзанного, лишенного способности к борьбе, принужденного бросать на дороге свою смертоносную технику... Вот у дороги стоит легковая машина с развороченным снарядом или авиабомбой радиатором. Она пуста. Видимо, ехавшие в ней люди спаслись, ушли? Но посмотри внимательней. В трех шагах от машины, совсем как на картине Верещагина «Панихида», где покрытое трупами поле напоминает кочковатое болото, лежит труп человека из этой самой машины. Он в военной форме, которая маскирует его и почти не позволяет отличить от земли. Головы у него нет. Ее оторвало взрывом или отрезало осколком. Осталась только нижняя челюсть на шее, с рядом еще молодых зубов.

Идем дальше. Что это такое? Впереди, на обочине дороги, крутым пандусом спускающейся к кювету, лежит со взятыми на прицел автоматами и ручными пулеметами целое отделение немецких солдат. Вот сейчас они нас заметят, повернутся к нам и откроют по нам огонь. Но они неподвижны. Подходим ближе и видим, что это трупы. Они было приготовились к встрече врага, наступавшего по дороге, внимание их было приковано к его движению, и они не заметили, как с тыла на них налетел на бреющем полете штурмовой самолет и прошелся по ним очередью из крупнокалиберного пулемета. Никто из них даже не привстал... Так и остались лежать на месте, как лежали в ожидании врага. А жителей в ближайших селениях, видимо, уже не было, и похоронить их было некому...

А мы все идем и идем. Идем с трудом, потому что питаемся

по существу одним хлебом. Многие начали варить кашу во время привалов на кострах во всякой импровизированной посуде, без жира и соли... Но все-таки подспорье.

Я, идучи, внимательно присматриваюсь к тому, что валяется на дороге. Мне очень много чего нужно: котелок, ложка; очень нужны носки — на босу ногу в тяжелых и грубых башмаках нехорошо. И представьте, постепенно все нашлось. Котелок заменила литровая консервная банка, ложки нашел целых две — одну подарил товарищу. Носки находил по одному и основательно стирал их, в холодной, правда, воде. Один был сильно разорван на пятке, но это ерунда. Идти в них стало гораздо легче. Триумфом была находка большого куска свиной кожи, с остатками сала на ней. Я кооперировался с двумя-тремя товарищами, и мы тоже стали варить кашу, кладя в нее по кусочку свиной шкуры. Получалось очень вкусно и сытно. Так мы жили несколько дней, пока на одном из привалов я не забыл после очередной готовки убрать свиную шкуру, и она осталась лежать у костра. Я же и заметил эту пропажу к общему огорчению моих товарищей. Бросился бежать назад, а там уже сидят какие-то узбеки или азербайджанцы на отдыхе. Спрашиваю — не видали ли, тут лежал кусок свиной кожи? Улыбаются — съели, говорят, мы эту кожу. Меня злость разбирает и смех. «Как же, — говорю, — вы ее съели? Ведь вам Коран запрещает есть свинину?» Смеются, машут руками. Очень, говорят, голодные были... Ругали меня мои товарищи всякий раз, когда на привале вспоминали кашу со свиным салом...

Так мы шли и шли через всю Саксонию. Красоты природы — лесистые и скалистые горы — сменялись картинами военного разгрома. Как ни чудесны были саксонские виды, как ни романтичны таверны и отели, разбросанные то тут, то там вдоль дорог — причудливые псевдоготические здания с вывесками в средневековом стиле: «У золотого льва» и т.п., все эти впечатления тем легче перебивались и заслонялись военными, что нет-нет да где-нибудь в стороне слышалась артиллерийская стрельба — признак продолжающихся военных действий.

9-го мая мимо нас стали проноситься машины, украшенные красными флажками. Люди в них были веселы, очень часто и пьяны. Что такое? Явно они что-то празднуют. Оказалось — мир. Германия подписала капитуляцию. Уши слышат, а душа не верит... Как это вдруг мир? А что же означает стрельба вокруг нас? «Уничтожают отдельные, оказывающие сопротивление группировки...» Какой же это мир, когда вокруг повсюду война? Я в этом уверил-

ся еще больше, когда под впечатлением нахлынувших на меня чувств после известия о мире свернул немного с дороги, чтобы побыть наедине, и решил пройти по лесу. Но тут же, через несколько шагов, наткнулся на лежащий ничком труп какого-то человека в гражданском, и как мне показалось, русском платье. Можно ли ходить по лесу? Тут, вероятно, бродит еще немало немцев, отстреливающих от любого встречного. Когда я снова вышел на дорогу, товарищи мои напустились на меня за это легкомыслие: «Пережить войну и погибнуть от шальной пули...»

Хотя уже несколько дней как провозглашен мир, верится в него все меньше и меньше. По сторонам нашего пути, и при этом на небольших расстояниях, продолжают грохотать бои. Мы почти не встречаем боевых частей, но следы их пребывания в тех местах, по которым проходили мы, до чрезвычайности свежи. Впрочем, не только одни следы. Встречаются и кое-какие последки. В одном селении мы застали пожар. Горел двухэтажный, деревенского типа дом, кирпичный, но с бревенчатыми прокладками и под черепичной крышей. Несколько женщин и стариков безуспешно пытаются погасить огонь. Вдруг, откуда ни возьмись, верховой. Одет так, что не разберешь — военный или гражданский. С бранью по-украински кричит, чтобы не смели тушить, всех, мол, перестреляю. И объясняет: «Я в прошлом году получил от родных письмо — село наше сожгли немцы... А в нашем селе 62 двора. Так вот я великую клятву дал: буду палить немецкие хаты, пока не спалю 62 дома...» Я перевожу все это женщинам-немкам. Они смотрят на него со страхом, смешанным с недоверием. Одна говорит: «Может быть, это жид?» Бесполезно пытаться объяснять им что-нибудь. Они не верят в то, что немцы могут жечь, ни в то, что русские могут подобным образом мстить. Конечно, этого безумного человека можно было бы попытаться припугнуть начальством, но ведь он, конечно, не безоружен. Для него тоже враги жида и немцы. И тех и других надо уничтожать.

Однако не все так трагично. Вернее, трагедия иногда оборачивается потехой: идем утром лесочком и видим — на полянке около дороги сотни немецких перин, подушек, одеял. Нашим частям запрещалось квартировать в немецких селениях. А валяться на земле, тем более после победы, неохота. Вот они и забирают в лес спальные принадлежности из ближайших селений. Выспались и ушли. А несколько немок бродят по этому полю-спальне и ищут свои вещи.

В середине мая мы пришли в Майссен — древнюю столицу

Саксонии. Город почти цел, только разорены во многих местах черепичные крыши. Он поразил меня своим средневековым видом: узенькие улицы, здания XVI—XVII веков, на горе — бург с дворцом и готическим собором XV столетия. Собор-то как раз и пострадал немного от огня нашей артиллерии. Остановились мы именно в бурге. Мужички и солдатики расположились вповалку в залах дворца с богатой музейной экспозицией. Большинство в силу прирожденной внутренней деликатности не трогало на стенах ничего, но я насмерть сцепился с каким-то упрямым хохлом, присвоившим туалетное зеркало с оправой и ручкой из слоновой кости и с прекрасным пейзажем из бисера на тыльной стороне. Не отдам, говорит, отвезу жинке... Дело дошло до нашего самого высокого начальства, некоего гвардии майора, который не посочувствовал мародеру, но и на меня смотрел, как на самого последнего чудака. Я ему объяснил, какова моя гражданская специальность, после чего он разрешил мне прибрать на дворе камни, упавшие с пробитого снарядом шатра собора, и сложить их внутри здания для будущих реставраторов. Тут нашелся и сторож, открывший для меня собор и сводивший на колокольню, откуда открывался очень широкий вид на Майссен. Жалко мне было из этого города уходить, когда мы дня через два двинулись дальше к югу, к границам Чехии.

На майора я, видно, произвел некоторое впечатление: перед нашим уходом он заглянул в собор и спросил меня, все ли я успел собрать. А потом попросил перевести ему немецкую надпись над дверью дворца-музея: «Eintritt für die Juden verboten»¹. Я перевел. А он, обращаясь к своей спутнице — хорошенькой девушке украинского типа, — поучительно произнес: «Вот видишь, Надя, тебя бы сюда при немцах не пустили...»

Среди командного состава нашего «запасного полка» мое внимание привлек один смугленький лейтенант с довольно интеллигентной на вид физиономией. После того как мы с ним раза два три о том и о сем поговорили, он рассказал мне, что он такой же бывший военнопленный, как и я, и тоже бывший переводчик. Его офицерские погоны — чистая фикция. Просто он был переводчиком при одном капитане из этой же группы войск НКВД, которая командовала и нашим «полком», а тот исполнял обязанности коменданта в каком-то небольшом немецком городке. Он-то и надел на него этот мундир без всяких на то формальных оснований,

¹ Для евреев вход запрещен.

просто полагая, что его переводчик должен иметь соответствующий вид.

— А сейчас мне известно, что меня ждет та же самая судьба, что и вас, но наше начальство ее покуда и само не знает или хранит в секрете...

— А долго ли вы работали переводчиком при вашем коменданте?

— Да около полугода. Дело в том, что я освободился из плена еще в Польше. Я было даже письмо из дому получил, но только читать мне его не довелось... — И в глазах моего нового знакомого забегали при этом воспоминании нервные, недобрые огоньки.

— А что же случилось, если вам не неприятно говорить об этом?

— Случилось то, что я написал домой, а через месяца полтора мне пришел ответ. Вызывает меня капитан и говорит: «Пляши». А тут еще два-три офицера стоят — смеются. И так он с полчаса от меня этого пляса требовал... А я как каменный стою, жду, что дальше будет. В конце концов он отдал мне письмо: «Черт с тобой, на...» А я его взял и при нем же разорвал на мелкие кусочки.

— Как же вы с ним работали?

— А вот так и работал... Приходит какой-то немец, что-то такое просит. Я перевожу. Комендант говорит: «А ты ему скажи» — и произносит непечатное ругательство. «Только ты ему точно переведи, слово в слово». Я говорю, что-де нету в немецком языке таких выражений. Нельзя этого точно перевести, если даже и захотеть... «То-то, что не хочешь... Продались немцам, сволочи. Слова честного, какое они заслуживают, им сказать не хотите... Ладно, иди. Я ему сам все объясню...» Что уж он там ему и как объяснял, я не поинтересовался. Вот так и работал...

Горькие эти разговоры происходили у нас на ходу. «Полк» наш, растянувшись на добрый километр, все еще шагал по пустынным лесистым и гористым дорогам Саксонии...

Нам стали встречаться большие колонны немецких военнопленных, которых гнали в противоположном нашему направлении. Эти встречи тоже задали мне работы. Инстинкт мародерства развивается во время войны, должно быть, произвольно. Разумеется, тон и здесь задают люди, которые не прочь пограбить и при других условиях. Но в обычных обстоятельствах за ними не следуют люди иного толка, а на войне грабеж становится самым

обыкновенным делом: раз можно убивать, стало быть можно и грабить. Особенно противно смотреть, как грабят пленного — ведь тут уж поистине отнимается последнее.

Когда колонны встречались, из наших рядов выскакивали люди и бросались на немцев с целью отнять что-нибудь — котелок, поясной ремень, сапоги... Я не мог на это смотреть равнодушно и бросался отгонять мародеров, позоря их самыми последними, на какие только был способен, словами. Поступал я, конечно, довольно безрассудно: и мародеров таким образом не уймешь — разве что одного-двух — и самому подвернуться под чью-нибудь горячую руку недолго, тем более что в умах многих из наших подобное мародерство почиталось чуть ли не патриотическим делом. Один истерический паренек после того, как я оторвал его от немца, в которого он было вцепился, в страшной ярости кричал своему товарищу: «У, зараза, и чего ему-то надо, он-то чего заступается за немцев, сам небось гад-немец, по морде видно...» Но товарищ на мое счастье его урезонивал: «А ты пойми — ему это велено, приказ, видно, такой есть... А то кому это интересно заступаться, будь ты хоть не знай кто...»

Начальство вело себя в отношении этих грабежей противоречиво. Одни утверждали, что грабить немцев никому не возбраняется, другие же преследовали за мародерство. В одном селении к какому-то случайно проезжавшему капитану — был он, правда, на взводе — подошла старуха-немка и пожаловалась на одного из наших за то, что он у нее что-то такое отнял. Он же, как на грех, околачивался тут же, так что она прямо показала на него пальцем. Капитан пришел вдруг в невероятную ярость: «Ах, я тебя сейчас расстреляю на месте...» И стал непослушной рукой расстегивать кобуру пистолета. Парень не на шутку испугался, стал истерически умолять его не расстреливать... Испугалась и немка, хватавшая капитана за руку и громко при этом причитавшая... Я не знаю, чем там у них кончилось, смотреть на это было невыносимо.

Тем временем мы перешли на чешскую территорию. Разница была только в языке да еще в том, что города и села были нормально заселены и сравнительно очень мало разрушены. В культурно-материальном отношении чешский пейзаж, как городской, так и сельский, ничем не отличался от немецкого: архитектура немецкого типа, прекрасные асфальтированные дороги, культивированные сельские виды и местности. Казалось бы, настроение наше должно было улучшиться от того, что мы попали в более мирную и родственную обстановку, — понимать чехов на

слух было не труднее, чем поляков. Но я глядел мрачно на окружающее. Среди чехов, с которыми приходилось разговаривать, было немало ранее угнанных в Германию — и вот они уже дома и удивляются тому, что нас, бывших советских военнопленных, гонят куда-то пешком сотни километров, уводят от родины, вместо того чтобы отправить домой...

Лето вступало в свои права. Становилось жарко. Идти было тяжело, а при нашем резком недоедании — мучительно. Мы еле тащились, обессиленной, изможденной, качаемой на ветру нестройной толпой. В каком-то городке из окна дома первого этажа на нас смотрит ничего не выражающим взглядом какой-то русский майор. Облокотясь на его плечо, стоит рядом с ним чешка с красивым грустным лицом, видимо, временная его приятельница. «Николай, что это за люди?» — недоуменно спрашивает она. «Это пленные, — отвечает майор и прибавляет, немного подумав, — немцы...» Женщина недоверчиво на него глядит. Уж немцев-то она, слава богу, знает.

Я уже позабыл о том, как был готов в конце немецкого плена на всё, даже на Сибирь, на тюрьму, лишь бы только вернуться к своим. В душе подымалось горькое и обидное чувство: пленные всех стран — люди, мученики и страдалцы. Только мы одни — отщепенцы, враждебный и подозрительный элемент, с которым еще предстоят какие-то расчеты.

Пленные немцы шли нам навстречу, а нас нагоняли и обгоняли соединения чехословацкой армии. Они были в новеньком обмундировании и в хорошем настроении. Откуда это всё? Как это они уже успели? У них, видно, как и у немцев, армия прежде всего обмундировывается, только после этого она армия. Вид этих щеголеватых и сытых, не видавших настоящей войны и не хлебнувших горя чешских солдат вызывал во мне раздражение. Когда на каком-то мостике чешский отряд устремился нас обогнать, а командовавший им офицер принялся было нас понукать, я крикнул ему: «Торопились бы вы во время войны, а теперь подождете...» Мы в это время едва двигались и уж никак не были в состоянии торопиться. Да казалось, что и некуда...

Впрочем, провиантские дела, по крайней мере у нашей офицерской роты, с которой я продолжал двигаться, неожиданно пошли на поправку. Был среди нас один ополченский старший лейтенант интендантской службы, человек далеко не молодой — лет пятидесяти — бывший московский банковский работник. Он был неистощим на выдумки для улучшения своего положения.

Вообще очень энергичный, временами даже немного высокомерный, он мог в одну секунду изобразить из себя нечто совершенно неожиданное. Стоило ему заметить, что везут что-либо съестное и попытки с нашей стороны выпросить что-нибудь не увенчиваются успехом, как он вдруг преображался, подобно завязтому актеру, и обращаясь к тем же людям, которые нам только что отказали, гнусаво запевал: «Дайте, пожалуйста, старичку-то хоть немножко...» И обычно получал желаемое. Получив же что-нибудь, он с презрением поглядывал на остальных, но надо сказать, что всегда делился с товарищами. Разнюхав, что в ящиках трех застрявших на дороге машин находится комбижир и предстоит перегрузка, которую некому произвести, он тотчас же предложил наши услуги и организовал «бригаду» человек в 15. Ящики были чертовски тяжелые, работа для нас — истощенных да и вообще мало привычных к интенсивному физическому труду — непосильная, а сделать ее необходимо было быстро. Зато интенданты нас вознаградили истинно по-царски: нам были оставлены два ящика комбижира. В результате дележки каждому досталось килограмма по два-три, так что девать его было некуда. Мы так обезжирили, что первое время ели его без ничего, кусками, как какой-нибудь деликатес. Старший лейтенант, не принимавший участия в работе, потребовал себе львиную долю «за организацию»... Прошли через Теплиц, где у нас был долгий дневной привал прямо на городской площади. Жарко было нещадно, и мы из шинелей и другой одежды — у кого какая была — устраивали заслоны от солнца. Положенную нам крупу брали на этот раз с большой охотой — жиров-то у нас теперь стало сколько угодно!

Подошли к Праге и остановились в 18 километрах от нее, в каком-то замечательном замке. Он был настолько велик, что весь наш огромный «полк» разместился в нем совершенно свободно. За то время, что мы тут прожили, а прожили с неделю, на нас были составлены списки с некоторыми сведениями о прежней службе. Нам казалось, что это уже начало нашей «проверки», в чем и начальство нас не разубеждало.

Среди моих ближайших товарищей был один москвич по фамилии Карлов, из бывших небольших политработников. Ему было поручено начальством делать нам политинформации. Такое доверие очень его обрадовало. Родовались вместе с ним и мы, полагая, что это хороший признак, если уж бывшего пленного допускают к политработе. Мыслил он вообще довольно свободно, многое, с моей точки зрения, понимал и расположил меня к себе настолько,

что я прочел ему кое-какие мои стихи, в том числе и навеянные впечатлениями от гитлеризма и сталинизма. Я думал, что он их воспримет как реакцию на гитлеризм, но он хорошо понял, что я в действительности имел в виду, и дал мне это почувствовать, так что я было даже перепугался.

Мне очень хотелось посмотреть Прагу. Ведь всего 18 километров! Два дня — больше и не нужно, чтобы посмотреть центр города и Святого Стефана. Я советовался с разными людьми, пытался подбить еще кого-нибудь, но напрасно. Желающих проделывать лишние километры ради того только, чтобы что-нибудь посмотреть, не было. Говорили еще, что это большой риск — полк может в любую минуту сняться с места, и за подобную самовольную отлучку может здорово нагореть. «Подумайте, — говорили мне, — ведь с нами уже начали проверку, что же это будет за рекомендация?» Я, наконец, подал заявление командиру полка, но ответа на него не получил, а тут полк и в самом деле двинулся, так что вопрос разрешился сам собой. Двинулся-то собственно не самый полк, а только его офицерская рота, которую на сей раз без всякой охраны, под командованием какого-то бывшего майора, направили в фильтрационный лагерь для восстановления в офицерском звании.

Кстати сказать, куда надо идти, толком посылавшее нас начальство не знало — то ли в Гёрлиц, то ли в Цвикау («Цветау», как говорили наши). Направились в Гёрлиц¹. Я было вообще не хотел идти с офицерами — звания у меня никакого не было, — но меня опять уговорили не отбиваться от товарищей, ссылаясь на то, что все прочие позже придут туда же. Майор наш оказался сообразительным малым: он договорился с чешской железнодорожной администрацией, которая за несколько дней перед тем возобновила работу, чтобы нас настолько, насколько это окажется возможным, довезли по железной дороге. Нас погрузили в два пассажирских вагона и уже прицепили к какому-то составу. Наступила ночь. Свету в вагонах не было. Мы спали сидя в ожидании отправки. Меня разбудил вдруг громкий грубый и пьяноватый голос снаружи: «А это что за вагоны?» Последовало какое-то сдержанное и неслышное мне объяснение. «А ну отцепляй сейчас же... Фашистов возить... вылезай из вагонов». Мы вышли. Майор наш пытался что-то объяснить, но его не слушали. «Шагом марш!» И нас под каким-то, невидимым нам впрочем, конвоем куда-то повели.

¹ Самый восточный город Германии, на границе с Польшей.

Шли недолго. Остановились перед мрачной большой усадьбой с высокими воротами. Тут конвой, обладавший, как оказалось, электрическими фонарями, потребовал от нас, чтобы были сданы перочинные ножи, бритвы, вообще всё режущее. «Как в тюрьме», — тут же пояснили некоторые более опытные и бывалые люди.

Но мы возроптали и взмолились. «Да что вы делаете? Это всё бывшие офицеры, наполовину прошедшие госпроверку. Направляются для восстановления в звании». Те посоветовались между собой. «Заходи». Ворота отворились, и нас завели в какой-то большой сарай, двери которого были за нами заперты. Время позднее, раздумывать было нечего, правды искать не у кого... Все тотчас же улеглись спать. А поутру нам всё объяснили недоразумением и предложили следовать дальше, однако пешком.

Шли мы на сей раз очень людными дорогами. То и дело попадались навстречу наши и чешские военные части. Однажды при такой встрече с повозки вдруг соскочил офицер и кинулся к одному из наших: «Брат, брат Колька, три года не видались!..» Наша колонна остановилась. «Эй, эй стой, — кричал офицер солдату-возчику, — стой». Подвода остановилась, и в военной части произошло некоторое замешательство. Остановились и другие подводы и шедшие за ними пехотинцы. «Брат, — кричал офицер, — садись вот сюда...» Он было освободил уже и место на подводе. Но тут к нему подскочил политрук и в двух словах объяснил невозможность того, что тот хотел было сделать. «Твой брат направляется на госпроверку. Он не может следовать за нашей частью. Отставить. Шагом марш». Тронулись подводы, двинулись пешие бойцы, а офицер в полной растерянности продолжал стоять, держа брата за руку и повторяя: «Как же это так? Эх, брат, брат...»

Фильтрационный лагерь в Гёрлице

Не дойдя до Гёрлица километров двух, мы оказались перед огромным лагерем. Я таких еще никогда не видел. Он был окружен высокой оградой из двух рядов колючей проволоки, соединенных между собой колючими же переплетами, так что ни перелезть через этот забор, ни подлезть под него было совершенно невозможно. Вне лагеря помещались весьма благоустроенные бараки его охраны, которая, видимо, была достаточно многочисленна. Над лагерьем подымались через каждые метров 200 вышки, снабженные прожекторами. При лагере имелась своя, и к тому же действовавшая,

электростанция. Через проволоку видны были кирпичные одноэтажные бараки — многие десятки, даже, может быть, более сотни барakov, производивших очень мрачное впечатление. Лагерь был поделен ординарными проволочными заборами на сектора. У ворот лагеря стояла охрана (она же конвой) — солдаты войск НКВД. Переночевав в одном из внешних барakov, мы узнали на другой день от местного начальства, что пришли не туда: это был фильтрационный лагерь для рядового состава, а офицерский лагерь находился в Цвикау. Мои товарищи продолжали уговаривать меня идти с ними дальше, но я выяснил у того же местного начальства, что мне этого делать не следует: «Какие бы вы посты не занимали в армии, раз у вас не было офицерского звания, вас все равно направят оттуда или обратно сюда или в другой подобный же лагерь». Я решил остаться здесь и попрощался с товарищами, которым снова предстоял довольно долгий путь в Цвикау. Как только они ушли, я вошел в лагерь, за проволоку, откуда, как я успел заметить, людей выпускали только организованным порядком, в строю, для исполнения каких-нибудь работ.

Зашел я в первый попавшийся барак, где были люди, выбрал уголок, где обитатели казались постарше и поспокойней. Бросил свою шинель на пустую койку. Койки были одноэтажные, с натянутой на две палки парусиной, так что спать было мягко. Первые два-три дня я знакомился с лагерем, в котором все сектора были теперь открыты и объединены, хотя я наткнулся еще на нескольких французов, страшно волновавшихся и негодовавших по поводу того, что их по неизвестным причинам не отправляют домой. Пришлось опять браться за старое ремесло: я перевел их жалобу какому-то офицеру, перехваченному нами у ворот, и выяснил, что в лагере карантин — пройдет еще дней пять-шесть, и их отправят... Французы сразу успокоились и недоумевали только, почему им этого никто не сказал раньше. А сказать, видимо, было просто некому.

Покуда что занятие я себе придумал сам: ходил по баракам и собирал валявшиеся там французские, английские, итальянские и немецкие книги. Книги были интересные, из разных областей знания, видимо присылавшиеся военнопленным их родственниками через Красный крест. Не было только русских книг. Девать мне эти книги было пока некуда, и я стал складывать их под мою койку. В конце концов их набралось несколько сот, и они заполнили почти все подкочечное пространство. Мои ближайшие соседи — какие-то пожилые люди — весьма неодобрительно отнеслись

к моей затее: «Собираешь фашистские книги... И тебе за них попадет, а чего доброго и нам вместе с тобой». Я их успокаивал, как мог, но объяснения мои — видно было ясно — действия почти не производили. Моим объяснениям они предпочитали, видимо, собственный контроль. Что таковой ими производился, сужу по тому, что один из мужичков усмотрел среди моих книг очень хорошо изданную французскую Библию и все интересовался — соответствует ли она тому тексту, который был известен ему в славянском изводе и русском переводе. Он оказался удивительным начетчиком, какие возможны только среди сектантов. Он называл мне книгу, главу и заставлял переводить ему по-русски то, что там было написано. Эти проверки убедили его, что французский текст Библии вполне соответствует русскому. Так мы забавлялись несколько дней.

Между тем стало опять очень голодно. Кормили два раза в сутки картофельной похлебкой да давали пайку плоховатого хлеба — грамм 400. У меня еще, правда, сохранилось немного комбижира, и я его экономно добавлял в похлебку.

Но вот к нам в барак явился старший лейтенант из группы СМЕРШ, существовавшей с недавних дней при этом лагере, и сказал, что пора приступить к проверке находящихся в лагере людей. «Товарищ Сталин, — сказал он, — дал нам очень жесткие сроки для проведения фильтрации, и к работе надо приступить немедленно — говорите, у кого какое образование». Потом посмотрел на меня и спросил: «Сколько окончил классов?» Я объяснил ему, кто я такой. Он очень обрадовался: «Назначаю вас старшим писарем по проверке. Соберите мне в лагере 40 писарей, по возможности со средним образованием; найдите пустой барак и подготовьте его для работы. Завтра утром я к вам опять приду».

Я ходил по баракам и набирал людей. Набрал с лихвой. Собрали в один из пустых бараков столы и скамейки — помещение было готово. Писарям было велено явиться с утра в наш барак.

На другой день старший лейтенант пришел не один, а с начальником штаба лагеря — бывшим военнопленным — капитаном Носковым, произведшим на меня впечатление офицера еще дореволюционной формации, что, конечно, было невозможно. Анкета содержала много вопросов. Особенно подробно должны были быть изложены обстоятельства пленения и пребывания в германском плену. О каждом человеке исписывалось пять-шесть листов бумаги. Анкету должен был заполнять писарь со слов опрашиваемого, который ставил под ней свою подпись. После этого анкеты передавались мне, я их проверял в присутствии опраши-

ваемого, если оказывалось необходимым, что-то уточнял и, в свою очередь, сдавал старшему лейтенанту. Работали мы с утра до глубокой ночи. Это утомительное и однообразное занятие оправдывалось для меня тем, что перед моими глазами проходили тысячи судеб, в общем не столь уж однообразных. Кого только не было тут среди нас. И партийные работники (даже один член какого-то сельского райкома), и педагоги, и врачи. Был один эсэсовец из поволжских немчиков, власовцы и довольно много бывших ополченцев. Национальности тоже были очень разнообразны. Относительно много было кавказцев, в частности чеченцев, которые, узнав от начальства НКВД о том, что чеченцы выселены с Кавказа в Казахстан, дружно выдавали себя за горских евреев, надеясь таким образом получить право на возвращение домой. Не было только настоящих евреев. Из всех тысяч двенадцати людей, чьи анкеты прошли через мои руки, евреем оказался только один польский юноша, разумеется, совершенно нетипичный и с польской фамилией. При этом он рассказал мне, что уцелел потому только, что его польские товарищи к нему хорошо относились и не выдали его. И была еще женщина — медсестра из Одессы, тоже не похожая на еврейку.

Разговоры со всеми этими людьми во время проверок их анкет открывали для меня иногда какие-то новые стороны истории нашего плена и наводили на некоторые дополнительные раздумья и обобщения.

Меня, как и многих других, взволновал было слух о том, что в связи с объявлением войны Японии предстоит посылка наших контингентов на Дальний Восток. Однако из разговоров с начальством, обладавшим, впрочем, весьма противоречивыми представлениями о нашей дальнейшей судьбе, я понял, что задачей нашего лагеря, как и других подобных лагерей, является прежде всего репатриация — слово это я услышал впервые именно здесь, в лагере, а мероприятия фильтрационно-сыскного свойства имеют значение предварительных и более или менее случайных. Но так как это понимание явилось преимущественно плодом моих собственных домыслов и обобщений, а не каких-либо точных сведений, то оно было непрочное и колебалось под действием всяких слухов, которых в нашей, лишенной сколько-нибудь обстоятельной информации среде возникало великое множество. Упорнее всего муссировались слухи о том, что домой никого отпускать не будут, а станут рассылать в отдаленные местности. И я поддавался иногда этим сомнениям, и тогда во мне

подымалась горчайшая тоска и обида, несмотря на то, что я, казалось бы, уже давно был внутренне подготовлен ко всему этому. Мои же собственные соображения о будущем укреплялись во мне более всего тогда, когда приходилось утешать и успокаивать других.

Однажды ко мне подошел молодой человек, говоривший с некоторым финским акцентом. Он был русским по происхождению, но родители его не были эмигранты, а еще и до революции жили в Финляндии. Ему говорили его товарищи, что не видать, мол, ему теперь Финляндии, как своих ушей. Раз он русский, то его и оставят теперь в России, только закатают куда-нибудь подальше... Его в особенности смущало то, что все иностранцы уже эвакуированы, а он нет. «Ведь я же финский подданный, — говорил он, — а меня, должно быть ввиду моего русского имени, не хотят отправить на родину...»

Я ему старался внушить со всем убеждением, на какое был только способен, что не следует поддаваться панике и давать веру разговорам людей, понимающих еще меньше нашего. Мы находимся на репатриации, и нас именно должны отправить по родным местам. Задерживать и судить могут только военных преступников. Он же, по счастью, военнотружашим не был, а служил в том же самом ОТ, при котором находился и я. «Вас не отправляют пока, потому что по имени вы русский, и наше начальство не знает еще, что с вами надо делать. Но когда начнут рассылать людей по своим местам, тогда все это обязательно само собою и выяснится...» Он ушел от меня обнадеженный и повеселевший. Казалось, в чем-то я убедил его. Но проходило какое-то время и сомнения снова брали в нем верх, и он опять приходил искать у меня новых утешений...

Работа по составлению анкет подходила, однако, к концу. Старший лейтенант познакомил меня с тремя молодыми людьми, представил мне их как новых писарей, которым будет поручена дальнейшая обработка анкет, за чем и мне придется наблюдать. Из разговоров с ребятами я узнал, что они в нашем лагере были задержаны контрразведкой СМЕРШ по подозрению в антисоветской деятельности у немцев, но за отсутствием улик отпущены, с приобретением некоторого доверия.

Старший лейтенант при этом сказал, что он вообще анкетами заниматься больше не может — у него много следственных дел, а руководить окончанием работы по составлению анкет будет майор — начальник хозяйственной группы СМЕРШ. Майор этот оказался человеком совсем недалеким, малограмотным, к тому же он и редко бывал трезв. Все это еще больше убедило меня в том, что

к составленным нами анкетам относятся не очень серьезно. Серьезней всего к ним относились сами опрашиваемые. Люди из обслуживающего персонала лагеря, занятые своими делами с утра и допоздна, искали меня в ночное время и буквально заставляли составлять на них анкеты. Один из поваров явился с этой целью около двух часов ночи, когда я уже наконец было улегся спать. Меня буквально качало от утомления, и я так был разозлен этим, как мне показалось, бесцеремонным визитом, что не удержался и непечатно выругался, против своих обыкновений. «Ты что, с сорвался?» — спросил я его. Боже мой, что тут было! Человек, на протяжении дня мало что слышавший кроме мата, вдруг пришел в состояние крайнего негодования по поводу сорвавшегося с моего языка бранного слова. «Да как же вы можете, образованный человек, так мне говорить? Да разве ж я сорвался? Да мыслимо ли так думать? Ведь я только с кухни. Работаешь день и ночь, а вы говорите “сорвался”...» Пришлось просить извинения и приняться за составление анкеты. Однако повар мой долго еще не мог успокоиться и прийти в себя от негодования...

Мою анкету составил сам старший лейтенант. «Однако вы за время плена тоже порядочно поблуждали», — сказал он. «Наоборот, — ответил я ему. — Я только один раз переменял хозяина: из ведения военного дорожно-ремонтного батальона попал в подчинение ОТ — полувоенную организацию того же назначения. И не я один, а вся та система рабочих лагерей для русских военнопленных, в которой я находился». — «Мне придется привлечь вас к работе в группе СМЕРШ», — сказал он. Увидев на моем лице все, что я мог испытывать от подобного оборота дела, он улыбнулся и пояснил: «Вы будете только переписывать протоколы допросов, я сам не успеваю... Но вам придется дать расписку в том, что вы сохраните содержание протоколов в секрете, а за нарушение — вы сами понимаете...» Я тут же безоговорочно написал такую расписку. «Работать будете с 10 часов вечера до 2-х ночи. Таков наш режим дня».

Старший лейтенант казался мне не похожим на чекиста. «Вы и до войны работали в этой системе?» Он опять улыбнулся. «Даже и во время войны не работал. Я редактор газеты в Богодухове под Киевом. В армии был политруком в артиллерийском полку. В СМЕРШ попал совсем недавно, видимо, именно в связи с репатриацией... А один документик вам придется переписать сейчас же, он мне понадобится еще сегодня... Пиво, которое на

столе, можете выпить — я не буду, от него брюхо растет...» И он закричал: «Эй, старшина, давай сюда моих поодиночке».

Я сел за стол в сторонке и стал переписывать донесение дрезденскому прокурору о том, что такая-то группа СМЕРШ начала производством такие-то дела, ведущиеся в направлении установления шпионских связей... «Какая чепуха», — думалось мне. А в это время в комнату вошел какой-то молодой человек и сел напротив старшего лейтенанта. «Ну что, — сказал тот, — будем продолжать отпираться?» — «Нет, гражданин следователь, я подумал и решил вам все рассказать...» «Какая чепуха, какая чепуха», — повторял во мне тот же голос, но все же представить себя на месте этого человека я в тот момент еще не мог. Даже и слушать было неприятно то, что он там мог говорить. Я быстро закончил переписывать донесение и был отпущен.

Меня вызвал к себе начальник штаба лагеря или, как мы продолжали говорить, «полка» Носков. «Кажется, ваша работа при СМЕРШе закончена? — осведомился он. — Я хочу вас назначить заведующим нашей канцелярией. Мне хочется с вами работать вместе». Мне показалось, что он со мной немного кокетничает. Это предположение во мне подтвердилось, когда он стал говорить, что тут у них совсем неплохо, встал из-за стола и провел меня в соседнюю комнату, где стояла его койка. К удивлению, там оказалось еще и пианино. Он сел и сыграл «Июнь» из «Времен года» Чайковского, чем меня очень растрогал. Работать в штабе я согласился, объяснив, что буду занят в СМЕРШе лишь в вечерне-ночные часы, что как будто его вполне устраивало. «Жить, если хотите, можете прямо в канцелярии, это вам будет обеспечивать минуты одиночества — в чем мы так в этой обстановке нуждаемся...» Этим предложением я воспользовался тотчас же — перенес мою шинель и противогазную сумку, определив их в одно из пустых отделений большого шкафа, стоявшего в канцелярии, а переспал на диванчике, на котором мне предстояло сидеть днем. Утром я был представлен помначштаба, крупному человеку лет 35-ти — экономисту по гражданской специальности. Под моим началом оказались два штабных писаря. Один, в прошлом работник военкомата, сидел на составлении строевых записок; казалось бы, простая вещь, но никто в штабе кроме него строевую составить не умел, и он поэтому сразу же дал мне почувствовать свою независимость. Покуда я входил в курс дела и не подозревал еще даже об этой обязанности нашей канцелярии, прибежал вдруг часов в 10 утра Носков: «Товарищ Каплунов, почему нет строевой?» — «А я не знаю, — невозму-

тимо ответил этот человек. — Новое начальство, распоряжения не было, так я и не составлял...» Он, видимо, был в обиде, что не его назначили на должность завканца. Носков тут же распорядился, чтобы он по-прежнему составлял строевые, объяснив мне, что это каверзное дело и необходим опыт...

Другим же писарем был хмурый, застенчивый и нервический человек, с которым я тотчас же очень подружился — Михаил Николаевич Обдирин, преподаватель немецкого языка откуда-то из-под Горького. Оказалось, что и он, и Каплунов, и Носков, так же как и помначштаба и все командиры лагерных подразделений, — в прошлом офицеры, старожилы этого лагеря, в нем же и освобожденные из немецкого плена.

Старший лейтенант был осведомлен о моей работе в штабе лагеря и не возразил против этого. Он сводил меня в смершевскую столовую и распорядился, чтобы мне там давали обедать. Обеды эти казались, по сравнению с лагерными, замечательными, чуть ли не довоенными. Я выразил сомнение в том, что-де неудобно столоваться в двух местах, но старший лейтенант махнул рукой, засмеялся и посоветовал мне меньше философствовать. После того как я еще одну ночь потратил на переписывание большого протокола нескольких допросов, он сказал мне, что повезет завтра это «дело» в Дрезден, в военную прокуратуру. В связи с его отсутствием я в СМЕРШе должен был только помогать тамошним писарям приводить в порядок анкетный материал. Мы с ними посоветовались один раз и решили разобрать анкеты по алфавиту, для того чтобы ими можно было пользоваться. Работа эта была нелегкая и требовала порядочного времени. Трое ребят работали несколько дней и не успели разложить анкеты по начальным буквам. А ведь главное-то было их распределить внутри этих букв...

На другой день утром к нам в штаб прибежал вестовой из СМЕРШа: «Вас вызывает начальник...» — «Вы знаете, что старший лейтенант Мельников погиб?» — «Где и когда?» — «Сегодня ночью, на возвратном пути из Дрездена, в автомобильном столкновении... У него жена и сын дома. Пережил войну и вот... а всё вино...»

На них налетела встречная машина с пьяным шофером. Его водитель тоже, видимо, был на взводе. Таких катастроф происходило в это лето в Германии великое множество. Все сели в машины. То неумение, то пьянство приводили очень часто к беде...

Пожалели мы его, посочувствовали. Но вызывал меня начальник СМЕРШа не только за этим: «Сегодня вечером ваши писаря

составят списки на две тысячи убывающих завтрашним утром людей. Необходимо за ночь подобрать их анкеты...»

Даже если бы анкеты у нас уже были в порядке, и то трудно сказать, можно ли было за несколько часов подобрать две тысячи анкет. А так из общей кучи в два десятка тысяч анкет отобрать две тысячи было совершенно невозможно. Необходимо было сначала разложить анкеты по алфавиту. Я сказал об этом начальнику, но он и слушать ничего не хотел. Так же точно ничего не хотел слышать и лейтенант Лихачев, назначенный на место Мельникова: «Мы должны отправить людей с анкетами...» Я вернулся к начальнику и повторил ему мое мнение о полнейшей невозможности отобрать эти анкеты за ночь, даже если бы мы посадили на это дело еще человек десять. «Я не могу вас обманывать, это сделать пока невозможно...»

Начальник остался очень недоволен. «Ладно, идите, без вас сделаем...» Меня смершевцы больше не беспокоили, но лейтенант Лихачев сказал мне через несколько дней при встрече: «А знаете, как мы тогда вышли из положения с этими анкетами? Взяли да и отправили с ними все разом. Пусть они там сами разбираются...» «Ну, разумеется, — подумал я, — другого от него и ждать было нечего... Вот тебе и анкеты — составляли, составляли да и отправили все разом бог знает куда. Военная работенка...»

Но еще более ужасным и бессмысленным делом было составление различных списков, которое начало производиться у нас в штабе. Куда бы ни посылали людей — а посылать их стали малыми и большими партиями в разные места, на самые различные работы, — всякий раз требовались их поименные списки. Да еще в двух или трех экземплярах.

В этот день, как только я вернулся в штаб, выяснилось, что к вечеру действительно необходимы списки на 2 000 человек, направлявшихся на демонтаж какого-то завода. Пришлось срочно набрать десятка два писарей, разослать их по соответствующим взводам, а затем составлять сводные списки и копировать их в двух экземплярах. Спешка, в которой производилась вся эта работа, переписывание одних и тех же неразборчивых фамилий разными людьми привели к тому, что когда списки были готовы, люди построены, и их начали по этим спискам вызывать, — редко-редко кто отзывался. И так бывало почти всякий раз с этими злосчастными списками. Но несмотря на то, что всем была ясна бессмыслица этой писанины, которая реально ничему не соответствовала, все-таки начальство всякий раз требовало ее неукоснительно.

Не менее каверзная история получилась у нас со строевыми. Как-то пришел помначштаба и заявил, что кухня по своему счету имеет людей давно уже человек на 40 больше, чем это показывают наши строевые. «Строевую необходимо исправить и привести в соответствие с действительностью». Каплунов разводил руками. «А как исправить? Не могу же я просто прибавить 40 человек. Нужна для этого рапортिका в оправдание... а где я ее возьму?» — «Не знаю. А только строевую надо непременно исправить. Нельзя представлять липовые документы...»

Было совершенно ясно, что когда-то произошла описка в строевой, откуда и появилось это несоответствие. Необходимо было проверить строевые за все время, что они здесь составлялись. Этого Каплунов не мог да и не хотел, видимо, делать. Он не понимал (или делал вид, что не понимает), чего от него хотят. Пришлось мне потратить несколько часов на просмотр копий старых строевых, пока наконец я не установил в одной из них арифметическую ошибку и не написал на этот счет официальную справку, на основании которой новая строевая могла быть исправлена. После этого Носков отстранил Каплунова от составления строевых. Случай этот показал, что он обладал по этой части совершенно автоматической сноровкой, и если происходила незамеченная им сразу же ошибка, то он оказывался перед ней совершенно бессильным и беспомощным. На строевые посадили Обдирина. Он за два-три дня освоил всю технику, а Каплунов, лишившись своего ореола незаменимости, сидел сердитым и считал, что это не иначе как я подложил ему свинью: не найди я этой ошибки, так бы он и продолжал составлять строевые, несмотря на их некоторое несоответствие действительности — подумаешь — 40 человек...

Хотя работа моя в контрразведке и кончилась столь бесславно, я автоматически продолжал пользоваться правом выхода из лагеря, так как караульные все ко мне уже пригляделись. Я этим пользовался и совершал иногда по вечерам небольшие прогулки в окрестностях лагеря. Это было тем более приятно и даже просто необходимо, что лето давно уже вступило в свои права и в нашем открытом солнцу и лишенном какой бы то ни было растительности лагере временами становилось просто нечем дышать. Так что иногда, даже в обеденное время, я старался поесть как можно скорее, а потом выбирался за ворота и бросался куда-нибудь в траву под тень какого-нибудь деревца.

Меня мучило то, что я был одет совершенно не по сезону. На мне был костюм Рутиного отца, подаренный мне ею перед нашим

расставанием. Пиджак я, конечно, снимал, но под ним на мне была трикотажная шерстяная рубашка, приобретенная для меня Василием Ивановичем. Что-то надо было предпринять. И хотя нам всё обещали летнее военное обмундирование, оно не приходило, и надо было изобретать собственные средства. А средство у меня было, собственно, только одно — искать на дороге. Я вышел как-то из лагеря и стал приглядываться к тому, что валялось на обочинах и в кюветах. И в конце концов нашел желаемое: это был белый полотняный сюртучок с белыми же галунами, которые я без труда отодрал. Он был мне немного маловат, но куда ни шло. В нем я себя сразу почувствовал человеком. «Mein lieber, — сказал мне работавший в нашем лагере в качестве слесаря немец, — du siehst jetzt genau wie ein Metzger aus...»¹

Мы очень завидовали нашим ребятам, освобожденным из плена по ту сторону Эльбы американскими войсками. На них было новенькое американское обмундирование, производившее впечатление некоей спортивной формы, с целой кучей всяческих сменных и запасных вещей. Думалось невольно — неужели мы такие нищие, что не можем обмундировать своих людей, числящихся в армии и неизвестно сколько еще в ней проваландающихся? А может быть, именно то обстоятельство, что нам не выдают обмундирования, и означает, что нас скоро отправят по домам? Зависть к американскому обмундированию умерялась еще и крайне подозрительным отношением начальства ко всем, побывавшим у американцев. Если уж к нам относились как к немецким прихвостням, то те просто слыли завербованными американской разведкой...

Гуляя вокруг лагеря, я набрел на заброшенные клубничные плантации, на которых в количестве совершенно достаточном для меня попадались поспевающие ягоды. Авитаминоз был у меня так силен, что нутро мое тянуло меня к этим ягодам совершенно неудержимо. Я наедался до того, что, казалось, последняя съеденная ягода торчит в пищеводе у самого горла и не способна пройти дальше. Тогда я бросался на землю и лежал с полчаса — время, за которое все съеденное переваривалось, и можно было начинать эту ягодную пастьбу сначала. Хотя плантации в этом году не были ни вскопаны, ни прополоты, они были так велики, что ягод хватило бы на весь лагерь. Я было обратился к Носкову с предложением направлять туда подразделения наших людей, чтобы они могли поесть свежих ягод, но он отклонил это — не поймет мол и не раз-

¹ Голубчик, теперь ты смотришься точно как мясник.

решил начальство. Тогда я предложил послать туда наряд человек в двадцать с двумя подводами, чтобы набрать ягод для наших калек — у нас их было два барака — безногих, безруких и с другими значительными повреждениями. На это он согласился, и такой рейд был организован. Но когда я потом спрашивал инвалидов — получали ли они ягоды, — в ответ мне только разочарованно махали руками: «Да что там, досталось по одной горстке...» Львиная доля разошлась, вероятно, по всяческому начальству — бывшему и настоящему.

Любопытно, что окрестное немецкое население, конечно, великолепно осведомленное об этих ягодных плантациях и ужасно голодавшее, не решалось, однако, собирать «чужие» ягоды. Когда стали поспевать яблоки на яблонях, обрамлявших шоссе, они равным образом их не рвали, предоставляя это нам. Так крепко держались в них собственнические инстинкты или, может быть, вернее, столь же глубоко вкоренившееся чувство дисциплины.

Кричащей противоположностью всему этому было поведение наших, по тем или иным причинам оказывавшихся за пределами лагеря, — они немедленно принимались грабить все, что ни попадалось под руку. На это было удивительно смотреть: люди, которые никогда грабителями не были, которым в обычной обстановке не пришло бы в голову хватать что-либо им не принадлежащее, теперь в силу какого-то властного инстинкта бросались в чужие дома и накидывались на находящееся в них имущество. Главным образом по этой причине и приходилось держать ворота нашего лагеря на запоре.

Частое и долгое отсутствие нашего официального начальства вынуждало нас с Носковым самим писать пропуска на вывод людей для разных работ за пределы лагеря. Я их писал, а Носков подписывал, и действовали они неукоснительно. Нередко в отсутствие Носкова я сам писал и подписывал подобные документы. А когда однажды Носков попытался обойтись без меня и сам написал пропуск, то людей по нему не выпустили. Он пришел ко мне в раздражении и недоумении: «Почему по вашим пропускам пропускают, а по моим нет?» Я засмеялся: «Думаю, просто потому, что я мои пропуска стараюсь писать возможно более разборчиво, а у вас почерк неважный. Вахтер на воротах повертит ваш пропуск в руках, ничего не поймет и гонит людей обратно». — «Может быть, вы и правы», — задумчиво произнес Носков. «Вероятно, это именно так. Старайтесь писать разборчивей».

Михаил Николаевич Обдирин познакомил меня с «интеллекцией» русского сектора этого лагеря, проводшей в нем более или менее значительную часть своего плена. Среди них был и один архитектор, москвич, преподаватель Архитектурного института. Я предложил ему как-то сходить вместе в Гёрлиц, которого еще, собственно, совершенно не видел. Он согласился, я написал ему пропуск, и мы пошли. За нашим лагерем почти сразу же начинались пригороды, переходившие в новую часть города, тянувшуюся вплоть до реки Найссе. Мосты через реку были все взорваны, действовал наведенный нашими саперами низенький понтонный мост, по которому мы и перешли в старый город. Архитектор мой был здесь также впервые. Он знал немного только новый город, куда освободившиеся военнопленные бегали после ухода немцев именно для того, чтобы пограбить жителей. «Костюм, который на мне, взял я вон в этом доме», — показывал он мне. И ему при этом, видимо, вовсе не было страшно, во всяком случае этого не чувствовалось в его голосе, что вот он, интеллигентный человек, оказался способен заниматься мародерством... А мне даже как-то неловко было и разговаривать с ним об этом.

Мы попали на длинную площадь с фонтаном, над которым возвышалась бронзовая, почерневшая от древности, фигура Нептуна с трезубцем. Площадь была окружена домами XVI—XVII веков. Неподаляку имелась другая площадь, посреди которой стояла невысокая круглая башня, называвшаяся, как мне сказал один из жителей, — Kaisertrutz¹. Местные немцы нам охотно и любезно всё объясняли. Нас даже завели в гёрлицкую тюрьму — вполне современную и даже импозантную, которая, оказывается, была известна на всю Германию. У меня холодок побежал по коже, когда я заглянул, по наущению имевшегося при ней сторожа, в высокий трехэтажный полутемный коридор, по сторонам которого были расположены одиночные камеры, с массивными металлическими дверьми и маленькими окнами под потолком, с тяжелыми решетками... Скорей, скорей наружу.. Потом мы попали в старинные узкие улочки, где нельзя было бы проехать на современном транспорте, с домами, верхние этажи которых немного выступали над нижними, так что улица превращалась в нечто вроде коридора с уступчатыми стенами. По одной из таких улочек, где, казалось, ничуть не удивительно было бы встретиться с доктором Фаустом, мы вышли к готическому собору, как мне объяснили — XV столе-

¹ «Императорская».

тия, двери которого были заперты, но куда можно было без труда забраться через открытое окно, что мы и сделали вслед за детьми, показавшими нам эту дорожку.

Побродив таким образом всласть по городку, который я потом узнал ближе и полюбил, в частности, за то, что в нем почти не было следов военных разрушений, мы отправились обратно другим путем и оказались вблизи большого круглого здания, напоминавшего своей архитектурой какую-то мемориальную постройку. Желая узнать, что это за здание, я обратился было к молодой, несколько странного вида женщине. У нее были всклокоченные волосы и перебинтованная нога. Обратился, разумеется, по-немецки. Она мне по-немецки же ответила: «Не знаю, я тут еще совсем недавно...» Из ее речи стало ясно, однако, что она не немка. «Откуда же вы?» — спросил я. «Я русская, — ответила она. — Я караулю трофейный скот...» Действительно, вблизи, на лужайке парка, окружавшего здание, паслось несколько немецких коров. «Где же вы так хорошо научились говорить по-немецки, — осведомился я уже по-русски, — небось еще дома?» — «Да нет, больше-то здесь, — нас ведь еще в сорок втором году угнали». Из ее русской речи мне сразу сделалось понятно, что это была довольно простая, малообразованная девушка. Я еще и раньше убедился в том, что женщины оказывались более способны к языкам, чем наш брат, который, если не учил языков в школе, сколько бы ни запоминал немецких слов, совершенно не усваивал ни склонений, ни спряжений, тогда как женщины воспринимали совершенно произвольно также и грамматику.

Было уже и раньше известно, что наш лагерь находится на территории, относящейся к польской зоне оккупации, и что граница проходит по реке Найссе. Поляки, однако, сначала себя еще почти никак не проявляли. Но постепенно в Гёрлице стало накапливаться всё более польских военных. А в один прекрасный день на том понтонном мостике, который вел в немецкую часть города, появилась пограничная стража: с одной стороны — польская, а с другой — русская. Нас, хотя и пропускали через мост, но всякий раз с препирательствами. Носков заявил, что нам всем, бывавшим по служебным делам в городе, — штаб нашего лагеря перебазировался с недавнего времени туда — необходимо иметь форменные пропуска. Мы сами их заготовили, а в штабе на них поставили печати. С этого момента я обладал документом, разрешавшим мне переход польско-немецкой границы в городе Гёрлице. С этим пропуском в кармане я стал свободно гулять

один и по окрестностям и по городу. Поляки поступили с немецким населением отошедшей к ним части Германии так, как немцы поступили с поляками захваченной ими в 1939 году западной части Польши: немецкому населению были даны какие-то часы на сборы. Они могли взять с собой то, что способны были унести или увезти на том транспорте, каким располагали. И вот на протяжении нескольких дней мимо нашего лагеря двигались вереницы немцев — главным образом женщин с детьми и некоторое количество стариков, нагруженных домашними вещами, везомыми на тележках или в детских колясках. Шли и шли через восточную часть города в западную. На месте остались только те немногочисленные жители, которые могли убедить поляков в своем польском происхождении и объясниться с ними на польском языке. В этом движении было что-то стихийно-бедственное, необычайно жалостное. При этом поражала красота и какая-то несомненная человеческая породистость немецких женщин, наблюдавшихся мной в тот момент в массе.

Я ходил за ними в немецкую часть города, где они задерживались для отдыха на площадях, в садах и других общественных местах. В Гёрлице в это время не было еще никакого немецкого самоуправления, а русская военная комендатура не желала вмешиваться в эти немецкие дела. И тем не менее не наблюдалось никакого беспорядка, на ночь ни один человек не оставался на улице — все находили пристанище у местных жителей, обладавших на этот счет какой-то природенной способностью к организации.

Получив пропуск, я стал значительно чаще, чем раньше, бывать в городе. И чаще всего я ходил один — это позволяло мне более внимательно наблюдать городскую жизнь. Я любовался архитектурой, приглядывался к людям, к их растревоженному, обескровленному быту. Мне довольно быстро стал совершенно очевиден ужасный и безнадежный голод, на который было обречено городское население. У них просто не было никакой еды. Когда в конце июня или в июле месяце в лавочки стали привозить какую-то ботву, за ней стали выстраиваться огромные очереди. Попав первый раз на кладбище, которое я потом посещал неоднократно, я заглянул в часовню и был поражен количеством детских гробиков, стоявших в ней, очевидно в ожидании отпевания. Гробики эти были черные, с белыми крестами, очень строгих, экспрессивных форм, чем как бы еще более подчеркивался трагизм массовой детской смертности.

После этого я никогда больше не ходил в город без хлеба.

У нас его было много. Кухня для штаба его не жалела, и в канцелярском шкафу лежали сохнувшие и плесневеющие буханки. Отправляясь в город, я брал с собой всегда одну такую буханку, а войдя в город, резал ее на куски и раздавал детям. Вид голодных детей — совершенно невыносимое зрелище. Когда стоит на улице маленький, лет шести-семи, мальчик, очень бледный и худенький, и обращаясь к русскому солдату говорит: «Gieb mir Khleba... oder Kaeks»¹, а тот его иной раз вовсе не понимает, глядеть на это и слушать становилось невыносимо. Надо, впрочем, сказать, что проявления жалости со стороны наших военных к немецким детям я наблюдал нередко.

После того как немцы были изгнаны из окружающих лагерей местностей, а также из заречной части города, появилась возможность ходить по всем усадьбам, расположенным вдоль шоссе, ведущего в город, и по более богатым усадьбам, находившимся в стороне от дороги. Странно и страшновато было заходить в дома, где все оставалось на своих местах, — одежда и парадная посуда в шкафах, книги на полочках, застланные постели в спальнях. Кое-где остались животные. Собаки встречали меня голодным, но злобным лаем, одичавшие кошки не давались в руки, хотя и бегали за мной в надежде на какую-нибудь подачку. Меня интересовали только книги. Я просматривал все домашние библиотеки, удивлялся их малым размерам и однообразию. Почти как и у нас в деревнях: учебники, совсем немного классиков или современных популярных романов. Почти полное отсутствие политической литературы. Выбрать для чтения было совершенно нечего.

Через какую-нибудь неделю все это выглядело уже совершенно иначе. Вокруг бродило еще довольно много наших, не желавших, видимо, жить в лагерях. Они грабили эти пустые дома бесцеремоннейшим образом. Всё, что представляло для них интерес, забиралось, ненужное бросалось на пол. Все шкафы, все кладовые оказывались пусты, но зато в каждой комнате посередине лежала куча вещей, которые перебрасывались и ворошились всеми сюда заглядывавшими. Постели стояли оголенные. Даже матрацы оказывались вспоротыми в надежде на что-нибудь припрятанное. Впрочем, в некоторых домах я наталкивался на запертые двери некоторых помещений — глухих комнаток или кладовок. Мародеры почему-то не взламывали их — то ли ввиду

¹ Дайте мне хлеба... или печенья.

отсутствия соответствующих инструментов, то ли из боязни наткнуться на труп хозяина. Здесь, как и около Берлина перед его взятием, некоторые престарелые люди предпочитали самоубийство неизвестности, связанной с переменой места и всех жизненных обстоятельств.

В садах вокруг этих домов поспевали фрукты. Я обедался смородиной, крыжовником, черешнями. Все это еще, правда, не совсем созрело, но на спелое-то охотников нашлось бы много.

В стороне от дороги и километрах в полутора от ближайшей к лагерю деревни, где также почти не осталось жителей, я набрел на большой и очень импозантный замок — видимо, имение каких-то очень богатых людей. Когда я вошел в его ворота первый раз, то меня окликнул не очень дружелюбно какой-то человек (спросивший, что мне здесь нужно). Я объяснил ему по-немецки, что я из штаба ближайшего русского лагеря и хотел бы осмотреть замок. Он с некоторым ворчанием указал мне на дверь, которая и действительно оказалась не заперта. Внутренние помещения имели музейный вид. На стенах висели портреты людей XVIII, вероятно, даже XVII столетия. Стояла старинная мебель. Наконец я набрел на то, чего искал напрасно в других местах. Это была галерея на втором этаже, заставленная библиотечными шкафами. Книги на нескольких языках — старые и сравнительно новые. Я взял две-три небольших книжечки (Лессинга, Голсуорси и еще что-то), прикрыл их пиджаком и вышел из замка. Сторожа в этот момент не было. Возвращался очень довольный — у меня было наконец интересное чтение, по которому я очень соскучился. После этого я стал довольно частым гостем в этом замке. Приходил в него, как в библиотеку. Прочитанные книги приносил обратно и клал их на место, а взамен брал другие. Но сторожа там уже больше не было. Двери оказывались открыты настежь, один из портретов кто-то сорвал со стены, мебель местами была сдвинута и повреждена, некоторые книги из шкафов выброшены на пол. Книги я подбирал и ставил на место. Замок был так велик, что всякий раз я находил в нем что-нибудь новое, не замеченное раньше. Одна из таких находок повергла меня в совершенный трепет. Через какие-то коридоры я попал в помещение, заставленное большими ящиками. Стенки у ящиков были не сплошные, и видно было, что они заполнены картинами в позолоченных рамах. Это были, видимо, коллекции какого-то музея, припрятанные от бомбежек в более безопасное место. Тут же стояли большие, грубо сколоченные стеллажи, на которых лежали старинные фолианты XVI—XVII веков. Меня

очень беспокоила судьба этой коллекции, пока я не натолкнулся на двух поляков, бродивших в районе нашего лагеря с картой в руках. Они представились как музейные работники, берущие на учет памятники, подлежащие охране. С большим внутренним облегчением я им указал дорогу в замок.

Число поляков в Гёрлице и вокруг него постепенно увеличилось. Появилось довольно много военных, которые в некоторых случаях вели себя очень враждебно. Убили одного из наших лагерных ребят только за то, что он рвал яблоки с придорожных яблонь. Арестовали в городе солдата из нашей охраны, и начальство жаловалось, что вызволило его с большим трудом. На меня во время прогулки набросился было какой-то польский мотоциклист, потребовал у меня документы — все это в достаточно грубой форме. Куда девались братские чувства, какие поляки испытывали к нам во время немецкой оккупации? Я понимал, что им, конечно, есть за что к нам плохо относиться, но это так сказать вообще, а не к своим соседям, тем более временным на этой чужой и для нас и для них земле.

Но были и другие встречи. В городе появились на польском языке объявления, что по такому-то адресу можно сдавать ненужные и случайно найденные книги. Я отправился по этому адресу с охапкой книг, взятых «на пробу». Был встречен очень любезными молодыми людьми, к которым заходил после этого еще несколько раз всегда с книгами под мышкой.

С того момента, когда я почувствовал, что пребывание мое может быть длительным, я стал искать возможностей связаться с домом. И не только я об этом думал. Как-то ко мне явился один из моих бывших писарей с огромной пачкой конвертов. «Вот, — заявил он, — можно письма домой писать. Конверты есть!»

Увы, конверты оказались траурные, с черной рамкой по краю, чему он по простоте своей и неведению не придал никакого значения. Сколько я ему ни растолковывал — помогло мало. Так он как будто и не понял, почему не годятся эти конверты — ведь у нас-то никто, мол, не знает, что они траурные...

Конверты я отверг, предложил клеить их самим, а тем временем стал договариваться с начальством относительно возможности отправки писем. В штабе сказали, что письма отправят, — пишете, мол, пожалуйста.

Было объявлено по баракам, что такого-то числа в штаб будет отправлена почта для пересылки в Россию. Писем к нам в канцелярию было доставлено довольно много. Мы их переправили

в наш городской штаб, но каково же было разочарование, когда недели через полторы кто-то из наших, побывав в штабе, обнаружил все эти письма в штабном шкафу. «Нет еще полевого номера», — объяснили в штабе...

Тогда я стал искать других путей. Выспрашивал попадавшихся мне офицеров, проезжавших мимо, куда они едут. И если оказывалось, что в Россию или хотя бы в Польшу, я передавал им подготовленное заранее письмо с просьбой отправить его там, где будет функционировать гражданская почта. Что касается нашего непосредственного начальства, то оно относилось к связи с домом более чем индифферентно. «А зачем писать? Я вот уже больше года не писал... И не знаю даже, какой у нас полевой номер...» Меня это все до крайности удивляло и огорчало прежде всего потому, что становилось совершенно ясно — помощи в налаживании связи с домом от этих людей ждать не приходится. Может быть, впрочем, — тогда мне это как-то не приходило в голову — они сознательно, в силу определенных инструкций старались отвлекать нас от эпистолярных замыслов: можно ли было сказать, кто из нас и где в ближайшее время окажется?

Мучили меня также и книги — те, которые мне непременно хотелось переправить в адрес Ленинской библиотеки. Таких у меня было более полусотни, которые я считал особенно ценными и явно отсутствующими в наших библиотеках. Начальство нашего лагеря не могло мне в этом помочь, и я все выспрашивал, где же в Гёрлице может находиться пункт полевой почты. Никто мне этого сказать не мог. Даже в комендатуре не знали (или делали вид, что не знают).

Иду я как-то по городу и вдруг вижу большую вывеску: Полевая почта № такой-то. Я как-то и не сообразил, что это вовсе не почта, а просто полевой почтовый номер какого-то военного учреждения. «Ба, — подумал я, — вот она искомая мной полевая почта». Я зашел в подъезд дома и попросился к начальнику. Меня пригласили к какому-то подполковнику, который меня очень вежливо принял. Узнав, в чем дело, посетовал на то, что к нему все время обращаются со всякого рода посторонними делами, но в конце концов согласился переправить мои книги. Я выпросил у нас в штабе подводу и перевез четыре или пять хорошо упакованных пакетов с адресом: Москва, Библиотека им. Ленина. И только когда я с благодарностью распрощался с этим человеком, я понял, оглядевшись, куда я по своей наивности попал: ведь это же никакая не почта, а канцелярия полевого госпиталя... А боль-

шая вывеска с полевым почтовым номером — это просто замена вывески с надписью «Полевой госпиталь», которую госпитальное начальство не имело права повесить в силу военных правил.

Лагерь наш довольно-таки опустел. Очень много людей небольшими партиями, человек по 200—300, были направлены в разные места для трофейных работ: демонтажа заводов, железнодорожных путей и т. д. Но, как говорится, «свято место не бывает пусто». До сих пор женщины-репатриантки были сосредоточены в городской части нашего лагеря, поближе к штабному начальству. Но вот начали засылать женщин и к нам. Прежде всего было объявлено, что лагерю могут быть предоставлены женщины для хозяйственных нужд — на кухню, в прачечную и в подразделения для поддержания чистоты в бараках. Командиры подразделений должны были подать заявки. И вот перед моей канцелярией выстроилась очередь командиров рот и других наших единиц с заявками на такое-то число женщин... Выглядело это как-то нелепо и неприятно. Никто не скрывал при этом своих вожделений и надежд. Входит, например, в комнату один из командиров. В нем всё прыгает от предвкушений: «Примите заявочки — восемь женщин...» Ноги его при этом не стоят на месте. Можно было бы его, конечно, и понять, но меня почему-то разбирает злость: «Чего вы танцуете?» — кричу я ему. Он на момент приходит в себя и остолбенело глядит на меня в растерянности: «Я, я не танцую...» Становится жалко парня, и я отворачиваюсь.

А потом вообще добрая половина бараков заполнилась женщинами. Это несколько смягчило и разнообразило наш быт. Женщины сразу забрали в свои руки все хозяйственные дела. Они работали везде, даже у нас в штабе. Легко сближающиеся люди сразу же завели себе подруг. Конечно, это были преимущественно представители комсостава подразделений, жившие не в общих помещениях бараков, а уединившиеся во всякого рода подсобных каморках. Энкавэдэшное наше начальство пробовало с этим бороться, грозило наказывать за сожительство на территории лагеря, но все это было бесполезно. Само же это начальство жило здесь же, в тех же каморках, и имело в своем услужении тех же лагерных женщин.

В один прекрасный день я увидел, как женщин выводят из бараков, строят как солдат и партиями направляют в санчасть. Я пошел к Носкову узнать, что происходит. «Общее медицинское обследование», — сказано было мне в ответ. «И нас тоже это касается?» — «Нет, только женщин...»

Видимо, разговоры о том, что эвакуированные в Германию русские женщины все «перепорчены», все «жили с французами» и т.п., сделали свое дело. Начальство решило произвести обследование всех проходивших через фильтрационные лагеря женщин в отношении венерических заболеваний для пресечения распространения заразы.

У меня были хорошие отношения с санчастью. Я был знаком со многими врачами и, так как сам чувствовал себя в какой-то степени медиком, продолжал интересоваться деятельностью лагерных медицинских учреждений. Я отдал в санчасть все медицинские книги, какие мне удалось собрать в лагере и вне лагеря. Хотя среди врачей было мало читающих по-немецки, но они пользовались все же этими книгами в той мере, в какой их материал был изложен по-латыни, т.е. в отношении терминов, названий немецких медикаментов, рецептуры и т. п.

Неподалеку от нашего лагеря помещалась так называемая вензона, где были сосредоточены больные-венерики, которых, кстати сказать, было не так много, — мужчины и женщины. Мне там раза два пришлось побывать по штабным делам. Вход и выход из вензоны охранялся строже, чем вход и выход из лагеря.

Когда я увидел этих колоннами направляемых в санчасть женщин, меня что-то резануло по сердцу, что-то во мне против этого запротестовало: «Что это еще за принудилровка, неужели не достаточно собственных жалоб больных людей?» Я приглядывался к идущим на осмотр женщинам. Большинство из них были смущены и шокированы, шли с понурыми и расстроенными лицами. Некоторые, впрочем, пытались изобразить деланное безразличие и даже выказывали известную браваду. Одна разбитная бабенка вышагивала, по-солдатски размахивая руками, отбивая шаг и дерзко поглядывая по сторонам. Но таких было совсем немного. Весь медперсонал был мобилизован на это обследование. Один военфельдшерок, с которым я поддерживал отношения, жаловался мне, что никогда ему раньше не приходилось иметь дела с таким количеством женщин, да еще при условии обязательного обследования половых органов. Невольно, говорил он, после этого возникает гадливое чувство к женщинам вообще, ни о какой любви невозможно и думать... «Когда подходит к тебе твоя же приятельница-медсестра, с которой до этого ты был ласков, и прижимается к тебе, хочется ее оттолкнуть и сказать ей что-нибудь резкое...»

Мне это приходилось сопоставлять с хвастливыми рассказами некоторых из наших командиров подразделений, которые сиде-

ли как пауки в своих индивидуальных каморках и зазывали туда каких-нибудь девчонок полегкомысленней. «Их ведь сразу видно, с которыми можно... Скажешь ей только: “Землячка, зайдите...” Она помнется немного для вида, а потом и заходит...»

Дело у них и исчерпывалось обычно подобными «разовыми» посещениями. Все это, конечно, не могло не содействовать дурной славе наших женщин, хотя они, по моему мнению, в массе своей совершенно ей не соответствовали. И я был очень счастлив услышать слова одного из врачей, к которому я по окончании этого беспрецедентного в моей медицинской практике обследования обратился с вопросом — много ли оказалось больных. «Представьте себе, до 70% девственниц», — с чувством торжествующего удовлетворения сказал он мне. Видимо, его при всей этой процедуре волновало то же самое чувство обиды за женщин, что и меня. Я постарался возможно шире распространить это сообщение в нашей штабной и офицерской среде, но чувствовал, что его воспринимают со значительным недоверием — ладно, мол, рассказывай сказки...

При этом я сам страдал от отсутствия женского общества. Среди всей массы женщин разного возраста и общественного положения превалировала украинская и белорусская деревня и почти не было людей мало-мальски интеллигентного круга. Так что мне вступить с кем-нибудь из них в неделовое общение было до чрезвычайности трудно. Как-то идучи поздно вечером в темноте по лагерю, погруженный в горькие мысли о том, что на востоке разгорается война с Японией и что нам, вероятно, не избежать пересылки нас на Дальний Восток — об этом продолжали циркулировать определенные слухи, — я около одного из барачных наткнулся на какое-то невидимое мне существо женского пола и инстинктивно схватил ее обеими руками. Она взвизгнула и охнула в испуге, но резко и враждебно не отбивалась, а наоборот ласковым голосом стала спрашивать, кто я такой и зачем ее так напугал. У нас получилась короткая, но весьма душевная беседа, одобренная мягким украинским колоритом ее речи. Я излил ей все мои горести и беспокойства, а она меня, как могла, утешала. Шел я от нее к себе в канцелярию просветленный и со слезами в глазах. «Как все правильно получается на этом свете, — думал я, — ну могли бы я ей причинить действительно хоть какое-нибудь насилие?»

Через некоторое время к нам в канцелярию пришла одна певица, привезенная недавно в лагерь в составе целого коллектива «работников искусств», которые стали устраивать на открытой

эстраде концерты. Среди них оказалась одна совершенно замечательная опереточная певица из Одессы, с огромным и очень приятным голосом, настигавшим меня даже за пределами лагеря. Дело в том, что эти концерты меня почему-то очень расстраивали, и, всякий раз как они происходили, я старался покинуть лагерь — отправлялся гулять. Раз или два на возвратном пути, подходя к лагерю немного раньше, чем следовало бы, я слышал ее залиvistые колоратуры и думал о том, что человек, вероятно, срывает себе на этой открытой сцене удивительной силы и чистоты голос. Но познакомиться с ней мне так и не пришлось — она держалась особняком, специально домогаться знакомства у меня не хватило бы нахальства, а затем ее быстро переправили на какую-то более respectable работу, чем наша.

А другая певица, та, что пришла ко мне первая и по собственной инициативе, была очень проста, немного пококетничала, назвала себя Людмилой Николаевной, рассказала о том, что она тоже из Одессы, за границу попала в поисках угнанного немцами пятнадцатилетнего сына... Мы с ней довольно быстро подружились, и весь мой последний период пребывания в этом лагере до какой-то степени был окрашен ею. Человек она была довольно незамысловатый, импульсивный, податливый. В войну осталась без семьи и без работы, которая, впрочем, не была для нее никогда чем-либо большим, чем средством для заработка. Талантов особенных у нее не было, не было и выраженных настойчивых интересов. Но человек она была достаточно добрый и жизнерадостный. Мы с ней много гуляли. В воскресные дни, если не бывало работы, совершали довольно далекие походы, которые ее не тяготили. Она хорошо себя чувствовала на природе и с интересом наблюдала немецкий быт. Она охотно и свободно рассказывала о себе. Некоторые из этих рассказов меня настораживали и пугали. Получалось, что в Одессе она находилась в связи с каким-то эсэсовским офицером, который будто бы был к ней очень привязан и помог ей предпринять поездку в Германию на поиски сына. Трудно было себе представить ее дальнейшую судьбу, как, впрочем, и мою собственную. Это обстоятельство, вероятно, более всего нас с ней и объединяло. Завтрашнего дня, ясного и определенного, у нее не было. Очевидно поэтому мы прощали друг другу то, чего при других условиях простить было бы невозможно. Она была хороша собой, здорова, стремилась сохранить свою женственность, что было необыкновенно трудно в тех условиях. А преодолевать трудные вещи она, по-видимому, была очень мало способна и больше влеклась по те-

чению. Мне ее сделалось особенно жалко, когда я однажды приподнял на затылке ее окрашенные в соломенный цвет волосы и увидел, что с нижней стороны они полны гнид. Вымыть как следует длинные волосы в тех условиях, вероятно, было просто невозможно.

Обстоятельства нам благоприятствовали. Ее со мной легко выпускали из лагеря, и мы подолгу бродили по пустым усадьбам, где находили дом, а иногда даже и стол в виде каких-нибудь фруктов. А в это время начал поспевать виноград. Был он мелкий и грубоватый, но нам нравился необыкновенно.

Так продолжалось месяца два. Отношения у нас сохранялись все это время легкие и нежные. Никаких размолвок, никаких неприятных разговоров. И вдруг я почувствовал, что она от меня отходит и заводит себе другого приятеля. Мне такая неожиданная измена казалась удивительна, и я старался понять ее причину. Человек тот был в физическом отношении моего же типа — высокий брюнет, но в отличие от меня мало интеллигентный, мастер по электрослесарной части. У нас он командовал на электростанции, где работали все-таки немцы. Немного говорил по-немецки. Он был из Одессы, то есть ее настоящий земляк. Может быть, это и было одной из причин ее с ним сближения. Кроме того, он оборудовал для нее отдельное помещение, что ей было, разумеется, не только приятно, но и важно. Она давно уже тяготилась общежитием, а я в этом отношении ничего не мог бы для нее сделать.

Может быть, известное значение имело и то, что дружба наша и наши прогулки вне лагеря протекали в период некоторого затишья в работе штаба. В лагере было не так много мужчин и очень много женщин, которых не нужно было никуда направлять и никак организовывать, благодаря чему мы и располагали достаточной свободой, которой, однако, пришел с неожиданной стороны конец. Стало известно, что на место нашей группы СМЕРШ придет другая группа, которая будет заниматься уже не фильтрацией и не сыском, а отправкой людей, и прежде всего женщин, на родину. Такая группа действительно вскоре пришла. Командовал ею полковник — такого высокого чина в нашем обиходе еще не бывало — мы до сих пор не видали начальства старше майора. К его канцелярии потянулись очереди женщин за удостоверениями для возвращения на родину. Опять составлялись списки, заполнялись анкеты, в связи с чем для меня опять наступила страда, в которой я и потерял на время из вида Людмилу Николаевну.

Стали формироваться эшелоны. Обещаны были грузовые машины, на которых репатрируемые должны были быть доставлены во Львов для посадки на поезда. Львов — ведь это очень далеко, что-то около 900 километров! Нелегкое дело путешествовать на такое расстояние в открытых грузовых машинах. Но и грузовики-то пока что были еще мечтой. Однажды утром, часов в 6, подана была команда для назначенных в первый эшелон и получивших дорожный паек — те же хлеб и крупа, что и раньше, — выйти из барачных дворов лагеря. Вышли со всем скарбом, расположились на земле и ждали весь день. Машины не пришли. На следующий день повторилась та же история. Но зато потом машины стали подаваться почти ежедневно. Это были американские «шевроле» и «студебеккеры». Так бывало завидно смотреть на то, как люди уезжали — машин двадцать, двадцать пять сразу, нагруженные обитателями лагеря. Приходили машины, однако, далеко не в урочные часы, а начальство наше, дабы не задерживать погрузку, выгоняло людей из барачных дворов чуть свет, и они долгими часами валялись на дворе под солнцем или дождем в ожидании прибытия машин. Как только они приходили и объявлялась посадка, начиналась дикая свалка. Все бросались к машинам, расталкивая друг друга, теряя и выбивая из рук более слабых узлы, тюки, чемоданы... Перебегали от одной машины к другой, чтобы попасть в более свободную и захватить место получше, поближе к кабине шофера. Все это превращало посадку в какое-то столпотворение. А начальство: капитан и два, а то и три старших лейтенанта, назначенные штабом лагеря, — обязательно присутствовавшее при каждой отправке, — не находило способов изменить положение и ввести в него минимальную организацию. Наш штаб — Носков, помначштаба и я — присутствовали при первых отправках все трое. Потом Носкову и его помощнику надоело смотреть на это безобразие, и они доверили свои функции мне.

Это была как раз работа по мне, и я довольно быстро вошел в роль. Когда я, возмущенный нашими неорганизованными «посадками», умолял энкавэдэшное начальство не вмешиваться, а лишь наблюдать, всё ли с их точки зрения правильно, а людей, мол, я посажу один, без шума и скандала, без изнурительных полусуточных ожиданий во дворе, они поначалу надо мной только посмеивались, но в конце концов все-таки отступились. Назначенные к отъезду бывали предупреждены о предстоящей посадке. Мы их разбивали на группы соответственно предполагаемому числу машин, до прибытия которых предлагалось оставаться

в бараках и, во всяком случае, не удаляться от своей группы. В гёрлицком штабе мне удалось в политчасти выяснить точно права репатрианта. Его, оказывается, обязаны были доставить до места назначения со всем его имуществом. Поэтому, когда в случаях прибытия меньшего числа машин начальство начинало свирепствовать и требовать, чтобы репатрианты выкинули часть своих вещей ради более компактной посадки, я объяснял отъезжающим, что-де это произвол и что ничего подобного по существующим инструкциям начальство требовать от нас не может и не имеет права. А мы вправе таким распоряжениям не подчиниться. На меня глядели волками, но возразить ничего не могли. Так я во время каждой посадки ходил за начальством и вносил иногда поправки в его распоряжения. Однажды какой-то заливатский капитан потребовал было, чтобы женщина с грудным ребенком выкинула детскую коляску, с которой она погрузилась в машину. Женщина растерялась и уже готова была подчиниться требованию, которое было отвергнуто лишь благодаря моему вмешательству. Я объяснил ей, что если она выбросит коляску, то ребенок погибнет, — ей его будет не довести на руках за тысячу километров... Капитан в конце концов плюнул и отошел, а младенчик сохранил свою коляску.

Так мы раза два-три в неделю отправляли женщин, а также некоторых мужчин на родину. Куда точно и что там с ними происходило дальше — этого выяснить оказалось невозможно. Я расспрашивал шоферов и сопровождающий персонал. Одни говорили, что везут во Львов и грузят в железнодорожные вагоны. А из рассказов других становилось ясно, что везут, во-первых, не в самый Львов, а куда-то неподалёку от Львова, — как называется место, никто толком сказать не мог, — и что там, видимо, нечто вроде такого же лагеря, как и наш. Все эти рассказы совпадали только в каких-то общих чертах, детали же их оказывались различны. Становилось ясно, что куда не увидишь своими глазами, толком ничего не узнаешь.

Когда основная масса находившихся в нашем лагере женщин была эвакуирована, к нам стали прибывать новые контингенты. Во-первых, начали возвращаться мужчины, которых мы в начале лета отправляли на демонтажные работы. Кроме того, приходили новые мужчины и женщины из разных концов Германии. Из них многие проходили комиссию, получали удостоверения на возвращение по месту жительства и постепенно нами эвакуировались.

Стоял уже глубокий сентябрь. Я с различными okazиями от-правил домой за истекшее в этом лагере время десятка два писем, но о судьбе их не имел ни малейшего представления. Номера полевой почты наш лагерь так и не получил. Мне поэтому нельзя было указать никакого адреса для ответа. Эта невозможность связаться с домом, после того как кончилась война и я уже несколько месяцев находился у своих, меня ужасно расстраивала и дезориентировала. На каком мы, в сущности, свете? Граждане мы или нас всё же не считают за полноценных людей, и мы лишаемся элементарных возможностей и прав? Никто мне на эти болезненные вопросы ответить толком не мог.

Ясно было одно: мы отправляем на родину гражданских лиц и преимущественно женщин, эвакуированных в Германию во время немецкой оккупации. Ни одного бывшего военнопленного до сих пор домой не отправили. Отправляли бывших власовцев — целыми эшелонами, но эти отправки сопровождались такими мрачными комментариями со стороны начальства, что было совершенно ясно — их отправляют в какие-то другие лагеря, видимо более строгого типа, чем наш.

Итак, надо набираться терпения, ждать, что будет, не давая воли своим эмоциям. Работы было уже не так много. Есть Гёрлиц, есть его окрестности, по которым так хорошо гулять, — пользуйся этим, сделай одолжение... Несмотря на подобные самоуговоры, внутри все трепетало и волновалось. И не только у меня одного. Михаил Николаевич тоже, видимо, был уже на каком-то нервном пределе. Он худел, мрачнел, его нельзя было уговорить поесть. Спал он совсем плохо.

Так как Людмила Николаевна стала появляться на моем горизонте все реже, а ее новое обиталище с альковым, обвешанным какими-то коврами, с вечно задернутыми занавесками на окнах меня совсем не привлекало, я принялся за Михаила Николаевича. Мы стали с ним много гулять вдвоем, ходили в город, завели там знакомых. Он отлично говорил по-немецки, так что наши новые друзья — семейство какого-то мелкого фабриканта, очень гордившегося тем, что он не был членом нацистской партии, — имели возможность беседовать с нами на довольно разнообразные темы. Они с негодованием вспоминали о гитлеровских временах, но не были очарованы и нынешними. Когда я спрашивал, какие у них теперь устанавливаются порядки, то глава семьи, пожимая плечами, говорил: «Покуда очень мало что изменилось. Если раньше везде сидели нацисты, то теперь те же места заняты коммуниста-

ми, а мы, как и прежде, остаемся в стороне от городских дел...» Но они не любили разговаривать на подобные темы. С большим интересом расспрашивали нас о наших семейных обстоятельствах. Сожалели о том, что Обдирин не женат, и ужасались, когда он говорил, что у него не было для этого времени — так много он был занят педагогической работой. Расспрашивали нас, как нам нравится город, рассказывали анекдоты из его истории. Советовали добраться в наших прогулках до видневшихся на горизонте небольших гор, носивших не соответствовавшее их величине наименование *Riesengebirge*¹. Рассказывали, как они детьми, читая на визитной карточке их деда сокращение «in R.», что означает *in Ruhe*, т.е. не у дел, на покое, расшифровывали его шуточным порядком — *in Riesengebirgen*... И при этом весело смеялись, как только немцы могут смеяться какой-либо простодушной шутке.

Вообще же им было не до смеха. Они, как и все в Гёрлице, очень сильно голодали. Мы стали им приносить хлеб. Но это, вместо радости, повергло их в полное смятение. Сколько мы ни объясняли им, что нам он ничего не стоит, они никак не могли этого взять в толк и строили, видимо, какие-то подозрения на наш счет. Почтенный фабрикант, может быть, беспокоился, не имеет ли Обдирин каких-либо видов на его сестру. Так что вместо сближения эти попытки помочь ему и его семейству привели к тому, что мы стали бывать у них значительно реже.

По их совету мы побывали раза два в местном театре, который начал снова функционировать. Наши знакомые нам объяснили, что гёрлицкий театр был одним из лучших провинциальных театров в Германии и что здешние актеры нередко попадали затем на берлинские сцены. Так как в городе не было света — электростанция не работала из-за отсутствия горючего, — то спектакли были дневные. Этого никак не могли взять в толк наши политработники, стремившиеся водить на спектакли свои подразделения. Один старший лейтенант при мне все допытывался у администратора, чье же это распоряжение — давать представления днем. Тот сдержанно и вежливо отвечал, что-де это распоряжение директора театра. «*Hat ihr Direktor Kopf, oder hat er nicht?*»² — кричал старший лейтенант, на что администратор только ехидно улыбался.

Билеты в кассе нужно было брать, но они выдавались бесплатно. Репертуар — самый легкий — водевили. Пережившие ужасы

¹ Исполинские горы.

² У вашего директора есть голова или нет?

войны, голодные и сбитые с панталыку немцы весело смеялись в этом полутемном, почти лишенном реквизита театре. На спектаклях присутствовало немало наших, причем почти всякий раз в нежных позах с немками, которые очень охотно шли на сближение с русскими. Иногда при этом немки даже на улице позволяли себе с нашими офицерами всяческие интимности в моем присутствии, но страшно смущались и ужасались, когда выяснялось, что я говорю по-немецки.

В Гёрлице открылась пивная. Пиво было невкусное, но хмельное. Так или иначе, это был признак мира. Но и война не уступала, никак не сдавала позиций. Я это почувствовал, явившись однажды с утра в наш гёрлицкий штаб по какому-то делу. Часовой у ворот лагеря, проверивший мой пропуск, предупредил, чтобы я вел себя осторожней: «Стреляют у нас тут...» — сказал он и подмигнул при этом. Это подмигивание побудило меня не отнестись слишком серьезно к его предупреждению. Однако едва я сделал несколько шагов по лагерю, как, действительно, раздались выстрелы за углом одного из зданий. Я остановился и увидел, что в лагере идет форменная война. Лагерная охрана отстреливалась от каких-то бойцов, наступавших на нее из-за угла этого здания. Они перебегали от подъезда к подъезду, ложились и стреляли по охранникам. Воспользовавшись передышкой, я проскочил мимо этой баталии и стал искать майора — комиссара лагеря. Он, сказали мне, у раненого охранника. «У нас тут жертвы, — пояснили мне. — Никак не уговорим соседей, прорывающихся к женским помещениям».

Оказывается, расположенная по соседству военная часть стремилась к женскому населению лагеря, чему пыталась помешать охрана. Поскольку «гости» были навеселе, поднялась стрельба, повлекшая за собой человеческие жертвы со стороны охраны. Один был убит и один тяжело ранен в голову...

В конце концов я нашел комиссара. «Что это у вас тут такое делается?» — спросил я. «А ничего... банда», — ответил он. «Какая же банда, это же советская военная часть?» — «А я вам говорю — банда», — сердито настаивал на своем комиссар... Видимо, просто было очень трудно отвыкнуть от употребления оружия. Чуть что люди хватались за него и пускали в дело.

Поддержанию ощущения непрекратившейся войны содействовали и поляки. Какие-то их подразделения, расположенные по соседству с нами, то и дело открывали стрельбу, видимо просто для поднятия настроения. Как-то мы вышли с Михаилом Ни-

колаевичем из лагеря и пошли побродить немного, как вдруг поблизости начали раздаваться выстрелы. Засвистели пули... Мой Михаил Николаевич запросил пардону: «Что же это, пережили войну, а тут от шальной пули того и гляди погибнешь?» Сколько я его ни уговаривал, что надо только отойти немного в сторону и все это прекратится, он решительно поворотил обратно к лагерю.

Однажды утром по приходе в канцелярию Михаил Николаевич возбужденно сообщил мне, что его барак в полном составе отправился за получением удостоверений на выезд. «Ого, значит дают их уже и военнопленным?» Я бросился к помещению контрразведки и увидел там длинную очередь. Тогда я пошел прямо к полковнику, с которым не раз уже сталкивался по делам нашего штаба, и спросил его, действительно ли начинают отправлять бывших военнопленных. Он подтвердил мне это. «И я тоже могу получить удостоверение?» — спросил я дрогнувшим голосом. «Вы офицер или рядовой? — осведомился он совершенно равнодушно. — Год рождения? Пока еще нет. Ваш год пока не демобилизуется...» Я вернулся на свое место. «Что ж, будем ждать...» Все это я сообщил Михаилу Николаевичу, с которым мы были одногодки.

Ждать нам, однако, пришлось недолго. Прошла какая-нибудь неделя, и стало известно, что 1907 год рождения уже тоже получает удостоверение. Я пошел к Носкову и сообщил ему об этом: «Разрешите получить удостоверение?» Тот запротестовал. «А кто же будет работать? Подождите, подберем кого-нибудь сначала на ваши места — вы ведь и Обдирина заберете с собой?» — «Заберу, конечно, — ответил я. — Нам ведь почти до самого дома вместе...» До дому... Слово это наконец прозвучало как что-то реальное, после такого большого и глубокого жизненного разрыва. Я все же упросил Носкова разрешить нам получить удостоверения, с тем чтобы самый наш отъезд состоялся тогда лишь, когда он найдет это возможным.

Мы с Михаилом Николаевичем стали в очередь. Опять были заполнены анкеты, несколько более краткие, чем те, какие мы составляли раньше, хотя почти с теми же самыми вопросами: где служил, когда попал в плен и при каких обстоятельствах, где находился в плену...

Выписывавший удостоверения лейтенант просмотрел мои анкеты. «Вы москвич?» — «Да». — «В Москву не могу...» Вот оно. У меня упало сердце. «А как же быть?» — «Не знаю. Сходите к начальнику. Это первый случай, но я знаю, что в Москву мы направлять не можем...» Опять я у полковника. «Действительно, есть распоряжение

в Москву не направлять». Видя мое волнение и огорчение, он сказал: «Назовите любой пункт около Москвы, на любом расстоянии, я подпишу...» Вернувшись к лейтенанту, я назвал Звенигород. Удостоверение мне было выдано. После этого каждый день начинал я с того, что убеждался в его реальности и сохранности.

В наш лагерь не переставали прибывать новые контингенты — женские и мужские. Но отправка производилась так интенсивно, что в общем население лагеря уменьшалось. Наконец, предложено было сократить количество подразделений и заколотить освобождающиеся бараки. Командиры ликвидированных подразделений восприняли это со страшной горечью и обидой. Они поняли это как демарш нашего штаба, направленный лично против них. Приходили ко мне — Носкова они побаивались — и кричали: «Выкинули, выкинули, как использованный презерватив...»

Сколько мы им ни объясняли, что это наша всеобщая участь, что и самый лагерь вот-вот будет ликвидирован — до них это как-то не доходило, не хватало на это веры. Наконец, наш лагерь принял и препроводил дальше целый штаб одного из подобных же лагерей, работавший где-то в глубине Германии, откуда все советские репатрианты были уже эвакуированы. Штаб этот пришел к нам пешим ходом за несколькими конными подводами, на которых везли благоприобретенный трофейный скарб.

Наконец, у нас в штабе появился некий довольно молодой грузин из военнопленных, в прошлом студент, который был придан мне в помощники, хотя работы и так уже было совсем немного. Это была явная замена мне и Михаилу Николаевичу. Вскоре последовало и прямое разрешение от Носкова воспользоваться нашими проездными документами и отбыть на родину. Внутри у меня все прыгало. Наконец-то!

Новый приятель Людмилы Николаевны, узнав о предстоящем моем отъезде, пришел ко мне и стал умолять взять ее с собой. Я отправился к ней уговаривать. Застал ее стоящей перед каким-то электрическим нагревательным сооружением за приготовлением некоего сильно пахнущего разными специями блюда. Стал увещевать ее отправиться вместе с нами, чтобы проделать с моей помощью самую неприятную и длинную часть пути. Она беспомощно разводила руками, толкала вилкой сковородку и приговаривала: «Вот вы же видите... ну как я могу уехать?...»

Мне стало казаться, что она инстинктивно оттягивает срок возвращения из страха перед преследованием со стороны НКВД. Судя по ее рассказам, у нее были основания для подобных страхов. И я не стал больше приставать к ней с уговорами.

Возвращение домой

Наступил долгожданный день, когда я вышел на посадку не с тетрадкой и карандашом для подсчета отправляемых, а в шинели, с моей заветной противогазной сумкой через плечо и маленьким деревянным чемоданчиком... Нас с Михаилом Николаевичем пришли провожать некоторые из остающихся и прежде всего оставшийся вместо меня в штабе молодой грузин. С добродушной завистью и не без грусти он говорил: «Думал, попробую в этом году дома молодое вино — не придется, видно, попробовать...»

Может быть, ему все же это и удалось, хотя я и не знаю, сколько еще времени просуществовал наш гёрлицкий лагерь. Пришли и некоторые врачи. И вот началась посадка. Мне хотелось получше устроить Михаила Николаевича, посадить его поближе к кабине. Но куда там. Вся моя система посадки репатриантов на машины, всё, чего я добился, тут же пошло насмарку. Как и в самые первые дни отправки, толпа бросилась к машинам. Первыми оказались кто посильней и понахальней. «Куда залез без очереди, слезай сейчас же», — кричал я молодому толстомордому поляку. Куда там, он и ухом не повел, понимая прекрасно, что я для него больше не начальство. Так мы и остались с Михаилом Николаевичем в самом хвосте, подскакивать кверху на каждом ухабе...

Когда машины выстроились перед воротами лагеря, я забежал к Людмиле Николаевне попрощаться. Что-то вроде затаенной тоски мелькнуло в ее глазах. Разговора об ее отъезде я больше не подымал, да и поздно уже было теперь об этом говорить...

Ехали быстро. Ночевать останавливались под открытым небом, по-солдатски. Некоторые женщины постарше и послабее пытались протестовать — ночи стали уже холодными, — а наши шоферы, молодые в большинстве случаев люди, негодовали: «Вот, всё недовольны... А как же мы-то — почитай всю войну — всё наружи и наружи...» Будь они и вправду «всё наружи», вряд ли бы у них хватило совести тягаться выносливостью со старухами. Так или иначе, мы всё ехали да ехали. Ночные наши таборы с кострами, с суетой в моменты приготовления пищи были бы живописны и романтичны, если бы не фантастический мат, непрерывно висевший в воздухе. Матерились все, включая и молодых девушек, произносивших неприличные слова иногда как бы с несколько мечтательным оттенком...

Мы с Михаилом Николаевичем и еще один пожилой человек с Дальнего Востока, работавший в лагере поваром, оставались

ночевать в машине для уменьшения ревматических реакций. Повар был человек беспокойный и резонер. Его в особенности возмущал всеобщий упадок нравов. Грубая брань из женских уст чрезвычайно его в этом отношении подстегивала. Он не переставал вспоминать об идиллическом существовании его семейства в довоенное время...

Вот мы уже было совсем улеглись, вокруг совершенно темно, я было даже задремал, как вдруг у другого борта машины опять раздался голос повара: «Да что же это такое делается, да чего же она сама к нему лезет, сука этакая...» «Где, где?» — воскликнул, привскакивая, экспансивный Михаил Николаевич. Я уже не раз замечал с его стороны несколько недружелюбное, чтобы не сказать даже злобно-презрительное, отношение к женщинам. Насилу я его теперь урезонил: «Да что это вы в самом деле, Михаил Николаевич? Ведь глаз выколи — ничего не видно... Кто там куда лезет, совершенно неизвестно, оно вернее поспать».

Только мы оказались в Польше, как в машине стало немного просторней. Два или три молодых поляка покинули ее чуть ли не на ходу. То же самое произошло и в Западной Украине, где мы «потеряли», не доехав до места, еще двоих. Так что в Самбор¹, куда нас везли, прибыли мы даже с некоторым комфортом.

Хороши были Карпаты, то и дело возникавшие на западе. Иногда же дорога приближалась к ним совершенно вплотную. Привезли нас в Самбор — городок польского типа, но в то же время чем-то уже напоминающий Россию. Не только тем, что часто слышалась русская речь, но самой своей безалаберной архитектурой: одноэтажная мазаная крохотулька, а рядом с ней трехэтажный каменный дом модернистского вида. Было в нем и несколько зданий, явно обязанных своим возникновением эпохе «конструктивизма». А в общем вид у городка довольно безрадостный — глазу остановиться не на чем. Костелы новые, некрасивые. Ни одной порядочной старой церкви. Город стоит весь на каких-то косограх. Куда ни пойдешь — обязательно в гору...

Лагерь репатриантов помещался недалеко от железной дороги. Все, кого мы только ни отправляли, были еще здесь. Море людей, не помещавшихся в отведенных для лагеря зданиях и живущих поэтому в каких-то сарайчиках и временках. Но нас, бывших военнопленных, определили в городе, в большом и грязном зда-

¹Город на Украине, в Львовской области.

нии в три этажа, с многочисленными службами, конюшнями и амбарами. Все это было занято нами довольно плотно. Называлось это стройбатальон, хотя мы ничего решительно не строили. Командовавший нами старший лейтенант с подчиненными ему двумя старшинами старались занимать нас уборкой двора и помещений, уходом за десятком приданных батальону лошадей. Все было вылизано до последней соринки, но здание было такое хмурое и замызганное до самого своего основания, что очистить и осветлить его было совершенно невозможно.

Кормили нас два раза в сутки одной и той же едой: перловая каша с большим количеством очень мелких черных жучков в крупе, выбрать которых — что я сначала все же тщетно порывался сделать — оказалось совершенно невыполнимо. Так и ели эту кашу с жуками, стараясь не обращать внимания, не настраиваться на привередливость и тошноту. Тем более, что после гораздо более сытного питания в гёрлицком лагере, здесь опять было достаточно голодно.

Ходили упорные слухи о том, что стройбатальон — это всерьез. Что скоро мы займемся восстановлением разрушенных бомбежками больших домов, которых в Самборе было не так уж мало. Не ахти какая приятная перспектива. Но все это были пока одни только разговоры. Делать в общем было совершенно нечего, и я с Михаилом Николаевичем слонялся по городу. Увидел вывеску: «Парткабинет». Вот это как раз то, что мне и нужно. Довольно просторное и опрятное помещение. Большой стол, накрытый красной материей, в читальном зале. Небольшая библиотека с массовой литературой военных лет и подшивки газет. Всем этим распоряжалась средних лет женщина, педагог с виду, которая приняла нас дружелюбно и позволила рыться в книгах и газетах самим.

Я набросился прежде всего на «Теркина», на фронтовую лирику Симонова и Суркова. Просмотрел комплекты «Большевика» и подшивки «Правды». Ходили мы туда регулярно каждый день, как на службу, часов после трех, когда бывал съеден «обед» и становилось ясно, что больше сегодня, как и вчера, ничего не будет нового. Но словоохотливая сотрудница Парткабинета нам сообщила все же важную новость: недавно налажена телеграфная связь. Вот здорово! Мы решили с Михаилом Николаевичем послать по телеграмме домой. Отправились на почту, которая произвела на нас странное впечатление своей полнейшей неустроенностью и безалаберностью. Телеграммы действительно

принимали, но они стоили каких-то денег, которые наскреб, в конце концов, или где-то раздобыл Михаил Николаевич. Он уже хотел было пустить в ход свою драгоценность — часы, но я его отговорил от этого — мало ли что еще может нас ожидать впереди? Денег все же как-то и без того раздобыли и телеграммы отправили. Довольны были необыкновенно.

В двадцати километрах от нас находился Старый Самбор. Уже одно то, что он «старый», разжигало во мне любопытство: вероятно, там есть какая-нибудь старая архитектура? Что если сходить туда и посмотреть? Прежде всего я обратился к сотруднице Парткабинета — нет ли какой литературы о Старом Самборе? Литературы не оказалось. «А вам зачем?» Я объяснил и стал спрашивать дорогу в Старый Самбор. Сотрудница ужаснулась. «Да что это вы, право, да зачем вам туда ходить, там нет абсолютно ничего интересного, и дорога туда очень плохая — такая плохая дорога...»

Правды мне все-таки сотрудница Парткабинета не сказала, но некоторое сомнение в душе поселила. Почему-то, вероятно, не следует ходить в этот Старый Самбор. Только некоторое время спустя в штабе нашего лагеря мне сообщили, что на дорогах здесь ужасная партизанщина — пойди мы туда, прихлопнули бы где-нибудь безжалостно. Сказали, что и телеграмму мы посылали напрасно, — почта и телеграф существуют только для вида, действовать им невозможно. Все местное городское начальство у партизан «на крючке». Вот тебе и на...

Мы стали ходить почаще в штаб, знакомились с его работниками, расспрашивали. И очень скоро мне стало ясно, что тут в действительности происходит. Никаких стройбатов на самом деле здесь создавать не собирались. Просто получился затор. Лагерю подавали под репатриантов один состав в сутки. А прибывало ежедневно много больше. Народ оседал. В первую очередь отправляли женщин и вообще гражданское население. Нам же пришлось ждать.

Один из штабных работников — некий майор — надоумил меня наконец: «Вы бы зашли к подполковнику — начальнику лагеря, поговорили бы с ним. По-моему, он вас отпустит. Выдадут вам проездной документ, и езжайте себе, как знаете. Это у нас иногда практикуется». — «Вот спасибо-то! Самому мне ничто подобное не пришло бы в голову». На другой день я был на приеме у начальника лагеря — пожилого подполковника, видимо, человека с какой-то гражданской специальностью и образованием. Он довольно долго расспрашивал — кто да откуда, горестно говорил о

том, как сейчас нужны в России образованные люди. «Ничего ведь там сейчас нет — вы подумайте...» Потом почему-то спросил, что имел в виду Бисмарк, когда сказал, что франко-прусскую войну выиграл немецкий учитель.

Я просил за себя, Михаила Николаевича и еще одного педагога из Куйбышева. Было отдано распоряжение выдать нам проездные документы. Подполковник все время повторял при этом, что образованные люди в России сейчас очень, очень нужны... «Вот видите, какой он у нас, подполковник-то, — сказал мне с удовлетворением майор, присутствовавший при моей беседе. — Редкий старик!» Видимо, им тут действительно очень гордились и не ощущали его чудачливости.

На другой день каждому из нас были вручены напечатанные на очень слепой пишущей машинке распоряжения на станцию железной дороги о выдаче нам бесплатных проездных билетов до места. Можно было ехать. Прежде всего надо было добраться до Львова, куда ежедневно ходил местный поезд из нескольких товарных вагонов. Я хотел было доложить нашему батальонному командиру о распоряжении начальника лагеря, но его все не было и не было. Уехали мы так и не доложившись, попросив сделать это нашего дневального. Шел я немного прихрамывая: в ожидании комбата сидел на скамеечке перед нашим зданием, а по улице несколько солдат вели под руки совершенно пьяного и страшно буянившего то ли своего товарища, то ли командира. Он вырывался, брыкался ногами, а проходя мимо нас, сделал отчаянный рывок именно в мою сторону и ударил меня каблуком в коленку. Видимо, принял меня за немца, что бывало нередко. Боль поднялась адская. Я взбеленился, и первое мое движение было треснуть его чем попало в спину, но какой-то внутренний инстинкт остановил меня. Уж очень по-бандитски выглядела вся эта компания — и тот, кого вели, и те, которые его вели. Армия у нас действительно была в это время довольно-таки засорена уголовниками. Меня остановила мысль, что у меня в кармане пропуск до дома, а я лезу в драку с каким-то бандитом, который, может быть, и убьет меня тут же, а его приятели ему помогут...

На поезд погрузились мы в ночь. Он состоял из трех или четырех товарных вагонов, даже без обычных досок для сидения. Мы в нем сначала стояли, но вагон резко качало — путь, видимо, был восстановлен на скорую руку, и пришлось приземлиться в

уголке, где я и задремал. Народу в вагоне было меньше, чем следовало ожидать.

Утром оказались во Львове. Некоторое время я без всякого толку пытался добраться до дежурного по станции в страшной вокзальной сутолоке. Дежурного все не было на месте. К перрону подошел пассажирский поезд Берлин—Москва, совершенно переполненный. Люди стояли в тамбурах, в проходах. Солдат даже не было видно — одни офицеры. Что же делать? Вокзал тоже заполнен лежащим вповалку народом. Наконец, я поймал какого-то железнодорожника и стал спрашивать у него совета. По счастью, он оказался именно тем, кто нам и был нужен. «На пассажирские поезда попасть не пытайтесь, времени не теряйте. Посадку на них производят военные патрули — вас не посадят. Но сейчас разрешается ездить на товарных составах — не сгоняют. Идите вон на тот путь — видите, стоят угольные вагоны? У этого состава маршрут на Гомель. Уголь у нас не задерживают. А там еще как-нибудь доберетесь...» Оставалось только последовать этому совету. Хотелось, правда, хоть немножко посмотреть город. Но Михаил Николаевич нервничал и не понимал меня: «Уйдет этот состав, когда еще будет другой и как об этом узнаешь? Пойдемте лучше скорей сядем». Я окинул беглым взглядом привокзальную площадь и устремился вместе с Михаилом Николаевичем в указанном нам направлении. Большой угольный состав. Кое-где на вагонах, прямо на угле, люди — в шинелях и в гражданской одежде... Выбрали мы незанятый вагон и полезли наверх по скобам. И действительно, едва успели выровнять для себя небольшую площадку для сидения, как паровоз свистнул и поезд наш тронулся. Ехали не быстро, но зато и стояли мало. Прекрасная была езда. Погода держалась солнечная, довольно теплая для второй половины октября. Можно было лечь на спину, глядеть вверх и по сторонам. Казалось, что плывешь по какой-то спокойной, довольно ленивой реке на большом струе. А вокруг удивительная тишина и покой. Так бы ехать и ехать... К нам подсаживались новые пассажиры. Примостилось два таких же, как мы, репатрианта, из военнопленных же. Сел какой-то майор странноватого вида — в одной гимнастерке, ни кителя, ни шинели. Легковато одет был по этому времени года. Разговорились мы с ним. Больше расспрашивал он, а я отвечал ему. «Да, — сказал он в конце концов. — Вот вы и домой едете... А я таких, как вы, двоих своими руками пристрелил. Лезли на меня из чужого окопа, одежда на них немецкая. "Свои, свои", — кричат...

А я думаю: “Какие же вы свои, на кой вы нужны...” И пострелял их... А просили: “Не убивай нас, у нас дома дети...”»

Правду ли он говорил или так болтал, кто ж его знает? Похоже было на правду. Немало пришлось мне и раньше слышать рассказов о том, как некие ухари-бандиты расстреливали освобождавшихся из немецкого плена людей, давили их танками... Кто его знает, правда ли все это? Своими глазами такого я ничего не видел...

Гомель нас встретил мелким обложным дождичком. Спрятались под какой-то навес. Я бегал к машинистам, спрашивал — не на Брянск ли. Потом сбежал на станцию и узнал, что на Брянск пойдет к вечеру порожняк. Дождались его и уселись, несмотря на небольшой дождь, на открытой платформе. Дождь перестал к ночи. Потянул встречный ветерок, стало здорово холодно, тем более что и одежда была на нас еще сыровата... Пришлось лечь, чтобы меньше чувствовать ветер. Положив под голову противогазную сумку и подняв воротник шинели, я довольно быстро уснул...

Проснулся я от холода, мгlistым туманным утром, на какой-то большой станции. Увидел, что Михаил Николаевич лежит в какой-то странной позе — под головой у него ничего нет. Разбудил его в испуге. Он заметался — вытащили из-под головы мешок, а он спал так крепко, что и не почувствовал. А в мешке часы и вообще все, что у него было. Тут я заметил, что нету и моего чемоданчика, в котором я вез простынку и несколько книг. Простынка-то — черт с ней, а вот книги жалко. Я слез с платформы и прошел немного назад, оглядываясь по сторонам. Думал, может быть, открыли чемодан, поглядели, что в нем, да и бросили... Но ничего нигде не было. Видно, кража произошла еще где-то раньше...

Паровоза у нашего состава не было. Слезли, пошли спрашивать, где стоим. Оказалось — Унеча. Михаил Николаевич очень огорчился и нервничал из-за пропажи. Я пытался его урезонивать, но вместо того, чтобы успокоиться и примириться со случившимся, мы с ним чуть не поссорились — такое скверное было у нас обоих настроение... Вспомнили вдруг, что давно ничего не ели. Я пошел на вокзал и раздобыл кипятку в какой-то консервной банке. Хлеб у нас еще был. Михаил Николаевич вытащил из какого-то потайного кармана кусочек сахара. Мы по-царски позавтракали, отогрелись и сразу же пришли в нормальное состояние духа.

Легко сказать — Унеча. Ведь я уже почти у цели. Та самая Унеча, близ которой я находился в 43-ем году. Отсюда ведь рукой подать до Брянска. Как интересно, что я возвращаюсь тем же самым путем, каким, в обратном направлении, передвигался в плену...

Пошел опять к вокзалу, там был народ, надо было узнать, как добраться до Брянска. Оказалось — составы в том направлении ходят часто, езды каких-нибудь часа четыре... «Ну, а живете как после немцев?» Оказалось, живут плохо, все разорено, есть нечего, деньги ничего не стоят... «Ну, а евреи, которые эвакуировались в войну, вернулись?» — «А ну их к ляду — как и не уезжали...»

Пересаживаться нам даже и не пришлось. Когда я вернулся после этих расспросов к Михаилу Николаевичу, к нашему поездам прицепили паровоз, и мы бросились на свою платформу. Поехали. Где-то уже около Почепы на нашу платформу залез патруль — два паренька с винтовками — и привязался к какому-то старичку в ватнике и с мешком. «Куда едешь?» — «В большую деревню...» — «Что за деревня такая?» — «В Москву, значит...» — «Как это такое в Москву? Туда надо пропуск... Спекуляничаете небось?..» Старичок уже что-то совал патрульному в карман. До нас дело не дошло, может быть потому, что видно было хорошо — взять с нас нечего. А я уже было приготовился к проверке — стоят ли чего-нибудь выданные нам в гёрлицком лагере документы или нет?

Поскольку старичок ехал в Москву и, видно, не впервой, мы уже прямо на него и ориентировались. По прибытии в Брянск двинулись прямо за ним. Он кого-то о чем-то расспросил и направился к составу с закрытыми товарными вагонами, один из которых, однако, оказался пустым и с пробитыми стенками. В нем сидели люди. Влезли в него и мы. «Куда люди, туда и мы, — приговаривал при этом Михаил Николаевич. — Мы за народом...» Народ в большинстве своем ехал в Москву, и от него мы узнали, что от Малого Ярославца ходят дачные поезда, раза два-три в сутки. На такой поезд публика эта и намеревалась поспеть.

Малый Ярославец... Мне вспомнились его пыльные, заполненные подводами беженцев улицы, когда мы проходили через него в направлении фронта. У людей — запавшие глаза, покрасневшие от бессонницы и от страха лица. Составы с беженцами, с войсками, с оружием на железнодорожных путях... А тут всё, как по шучьему велению. Перед вокзалом пассажирский состав из дачных вагонов, к которому все мы и устремились. Вот-вот отправится... Народу в поезде много, но не чересчур. Есть свободные места. Мы с Михаилом Николаевичем — на лавочке для двоих. Все это совершенно невероятно, с одной стороны, с другой — как-то настолько обыденно и просто, что будто ничего другого себе и представить нельзя. Я начинаю волноваться по поводу билетов. Будет контроль.

Окажутся ли годными наши билеты — какие-то жалкие клочки бумаги, с неразборчивыми печатями, выданные нам в Самборе на станции? Публика сидит самая разная — военная и гражданская, но по виду все местная, едущая в Москву обычным и привычным порядком. Спокойные, тихие разговоры. Не курят. Прямо как в довоенное время. Я все жду каких-нибудь проверок — билетов или документов. Но никто ничего не проверяет. Народу больше тоже не набивается. Так мы и отъезжаем часа в четыре дня в нормально наполненном вагоне. Михаил Николаевич, притихший и сосредоточенный, думает о чем-то своем. Меня тоже обуревают тревожные мысли. Я столько писал домой — получено ли хоть одно письмо? И вообще, что там дома? Есть ли там хоть кто-нибудь? Может быть, все, как уехали в эвакуацию, так больше в Москву и не возвращались? Ведь Вахтанговский театр разрушен разрывом бомбы, может быть, и нашего дома, находящегося от него в двух шагах, тоже не существует? Все эти мысли вихрем пронеслись у меня в голове. Я как-то не успевал сосредоточиться ни на одной из них как следует.

За окнами стало темнеть. Подмосковные пейзажи, в особенности те места, где я начинал войну, мы проезжали уже почти в полном мраке. Поезд последние полчаса не делал больше никаких остановок. Совсем, совсем скоро Москва. Что меня там ждет? Ехали мы часа три от Малого Ярославца, но время это пролетело совершенно незаметно за моими вихревыми мыслями.

Вот, наконец, и Брянский вокзал — совершенно обыкновенный, со своей стеклянной крышей над платформами. Поезд остановился. Выходим. Идем за толпой. Такая знакомая и совершенно не изменившаяся платформа. И поезд подошел, как всегда, к самой крайней платформе, с правой стороны. Двигается к вокзалу толпа пассажиров. Выпустят ли нас с вокзала? В поезде никакого контроля не было, наверно при выходе будут требовать билеты и документы? У меня и то и другое наготове, во внутреннем кармане шинели, и я их нащупываю рукой. Но нас, как и до войны, на вокзал не пускают. Открыты ворота, выходящие прямо на привокзальную площадь. И представьте — никакого контроля. Люди выходят свободно и идут по направлению к Бородинскому мосту. Кругом ничто, совершенно ничто не изменилось. Точно не было никакой войны и точно я не отсутствовал пять лет — так мне тут все памятно, каждая тумбочка, каждый камень...

В окнах домов горит электрический свет. Боже мой, как давно я не видел нормального ночного освещения в городах. В Гёрлице

не работала электростанция, в Самборе, хотя и было электричество, но на ночных улицах его как-то почти не было заметно. Как это красиво, когда город свободно освещен и лампы в окнах с разноцветными абажурами.

Можно было сесть на трамвай. Но мне так захотелось пройти по вечерней Москве, через Бородинский мост, к Плющихе и Арбату. Я сказал об этом Михаилу Николаевичу. Идти-то ведь всего минут 15—20. Я знал, что у него болят ноги от сапог, и меня немного грызла по этому поводу совесть, но уж так хотелось проделать это расстояние пешком... Во-первых, посмотреть на улицы, на которых прожито полжизни, — целы ли они, а во-вторых, отдалить хоть немного момент приближения к дому. Что-то меня там ждет в этом доме?

Михаил Николаевич безропотно согласился, и мы молча зашагали с ним по мосту. Все вокруг совершенно обыкновенно. Вот и Арбат, совершенно такой же, как прежде. На углу Смоленского «Сотый» магазин. Он освещен. Входят и выходят люди. Освещены и многие другие витрины. Улица кажется празднично чистой и довольно оживленной. Вот и Вахтанговский театр. Вокруг театра высокий забор. Трудно даже сказать сразу, насколько здание пострадало. Наш переулок. Темный и пустой двор. Окна нашей квартиры. Вместо стекол во многих местах фанера... Но там, где стекла, виден свет. Стало быть, кто-то есть. Захожу в подъезд. Михаил Николаевич останавливается: «Я тут подожду. Сходите вы сначала один...»

Во мне все дрожит. Я молча беру его под руку и упирающегося, что-то бормочущего, силком подымаю по короткой, в десяток ступеней, лестнице к двери. Звоню. Дверь открывает мой шурин. В глубине, в открытой двери ее комнаты, вижу мать. Я дома... Меня, оказывается, со дня на день ждали, так как получили почти все мои письма. Самборская телеграмма не пришла.

Забитые фанерой окна — это еще война. На другой день она аукнула мне еще раз как следует, напоследок. Я пошел проводить и посадить в горьковский поезд Михаила Николаевича. Посадка была страшная — через окна, под звон разбиваемых стекол, со страшной руганью и автоматной стрельбой. Стреляли офицеры, стремившиеся сесть в поезд, стрелял железнодорожный патруль, производивший посадку. Все-таки Михаил Николаевич сел и уехал. А я вернулся домой прямо как с поля сражения. Но это были последние конвульсии войны. Выстрелы после этого иногда раздавались по ночам и в городе, но уже редко, и звучали они как-то по-другому что ли...

В общем же, я был уже дома...

Содержание

<i>Предисловие</i>	3
--------------------------	---

Война и плен

Начало войны, запись в ополчение	7
Выход ополчения из Москвы. База у Катуара	14
Путь на запад: Малоярославец, Медынь, Ельня... ..	20
Переход к фронту	54
Отступление в районе Спас-Деменска	70
Немецкий плен	85
Рославль — лагерь военнопленных	103
Расстрел евреев. Мария Абрамовна	119
Лагерь военнопленных в Яхонтово. Фельдфебель Фридрици	143
Весна 1942 года. Знакомство с Натальей Александровной из Юрасова	179
Яхонтово. Труппфюрер Штреллер	210
Нарышкинская база ОТ	239
Лагерь в поселке Долгий	267
Отступление с немецкими войсками	286
Пункты ОТ под Бобруйском	313
Минск. Работа в геологической лаборатории	328
Эвакуация из Минска. Берлин. Лагерь Груневальд	345
Знакомство с Руттой	364
Весна 1945 года	400
Освобождение из плена	410
Окончание войны. Переход через Восточную Германию	418
Фильтрационный лагерь в Гёрлице	438
Возвращение домой	469